

Содержание

Художник Д. Черногаев

Семейные узлы: Модели для сборки. Сборник статей. Кн. 1 / Сост. и редактор С. Ушакин. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 640 с.

Метафоры социального и кровного родства стали в последнее время едва ли не господствующей формой концептуализации политического, экономического и культурного развития: от «ельцинской Семьи» до «пиратского клана», от «Солдатских матерей» до «батяни-комбата», от «солнцевской братвы» до «дедовщины», наконец, от «Моей семьи» до кинодилогии о «Брате».

Используя обширный исторический, социологический и культурологический материал, статьи, собранные в этой книге, пытаются объяснить привлекательность родственных связей и семейных уз. В первом томе сборника исследуются идеологические контексты существования семей, способы формирования семейных союзов, а также разнообразные бытовые тактики и половые стратегии семейной жизни.

Книга рассчитана не только на специалистов в области истории, социологии и антропологии семьи, но и на всех тех, кого интересуют тенденции трансформации семьи в настоящем и прошлом.

ISBN 5-86793-281-8 (Кн. 1)
ISBN 5-86793-283-4

© Авторы, 2004
© Новое литературное обозрение, 2004

Сергей Ушакин. Место-имени-я: семья как способ организации жизни 7

I. ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ян Еремеев. Психопоэтика ссылки: сказка о декабристской Семье 55
Ирина Разумова. Родословие: семейные истории России 90
Александр Прохоров. «Человек родился»: сталинский миф о большой семье в киножанрах «оттепели» 114
Ольга Шабурова. Караваны историй: семейный нарратив в массовой культуре 134
Ирина Савкина. Род/дом: семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксенова 156

II. РОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Ольга Казьмина, Наталья Пушкарева. Брак в России XX века: традиционные установки и инновационные эксперименты 185
Дэвид Л. Рансель. Посиделки, приданое, свадьба: организация замужества в сельской семье XX века 219
Мария Литовская, Елена Созина. От «семейного ковчега» к «красному треугольнику»: адюльтер в русской литературе 248
Надежда Нартова. Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания 292
Брайан Джеймс Бэр. Отцы и дети и любовники: «голубые» родители в постсоветской России 316

III. БЫТОВЫЕ ТАКТИКИ

<i>Павел Шербинин.</i> «Соломенная вдова»: права и жизнь российской солдатки	335
<i>Сюзан З. Рид.</i> «Быт — не частное дело»: внедрение современного вкуса в семейную жизнь	360
<i>Нэнси Рис.</i> «Профиль» буржуазности: новая элита о себе	392
<i>Елена Ярская-Смирнова, Ирина Дворянчикова.</i> «Жила-была маленькая девочка, которая любила танцевать...»: семейные истории инвалидов-колясочников	420
<i>Илья Утехин.</i> Язык русских тараканов (к постановке вопроса)	452

IV. ПОЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ

<i>Дмитрий Михель.</i> Супружеская спальня: к «святой святых» современной семьи и от нее	493
<i>Анна Темкина.</i> Половая жизнь в позднесоветском браке	515
<i>Анна Роткирх.</i> «Беспутная жизнь»: секс, семья и социальная мобильность в мужских автобиографиях	548
<i>Дмитрий Воронцов.</i> «Семейная жизнь — это не для нас»: мифы и ценности мужских гомосексуальных пар	576
<i>Валентина Котогорова.</i> Транссексуалы и организация семейной жизни	608

Сергей Ушакин

МЕСТО-ИМЕНИ-Я: СЕМЬЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

...Семья — это как хорошая, еще крепкая машина, которую мир донатирует, — выбросить жалко, но нет смысла заводить заново.

Виктор Шкловский

Можем ли мы сказать, что семьи, которые не равняются на норму, а лишь отражают ее в определенно искаженном виде, являются плохими копиями [нормы], или же мы признаем, что сама многомерность реализации нормы сводит на нет ее идеальность?

Джудит Батлер

12 марта 2003 года в своем вечернем выпуске новостей канал *TBC* сообщил: «В Москве начались торжественные мероприятия по случаю юбилея Сергея Михалкова. 90 лет автору трех вариантов гимна и прославленному детскому писателю исполняется завтра». На несколько дней юбилей стал одной из основных тем телевизионных репортажей и многочисленных газетных публикаций. Однако и освещение торжественного вечера в Кремлевском дворце съездов (которому предшествовал визит Президента страны в только что отремонтированную квартиру поэта), и поток статей, посвященных феномену Михалкова, продемонстрировали своеобразный кризис «юбилейного жанра». Сложности с оценкой творчества «прославленного детского писателя» зачастую вели к смещению аналитического фокуса: в центре внимания оказывалось не столько собственно художественное наследие, сколько генеалогические связи и перечисление заслуг многочисленных дальних и близких родственников поэта. Интервью с поэтом, опубликован-

ное в «*Московском комсомольце*», например, начиналось с характерного пассажа:

В древнем дворянском роду Михалковых сыновей часто называли именами Сергей и Владимир. На иконе «*Спас Нерукотворный*», попавшей в музей, есть надпись: «*Сим образом благословил сына своего Сергей Владимирович Михалков 29 августа 1881 года. Этот образ принадлежал стольнику и постельничему Константину Михалкову — четверюродному брату царя Михаила Федоровича Романова*». Есть в музее и другая семейная икона, написанная в середине XVII века предком Сергея Владимировича Михалкова. Автору гимнов СССР и России, надписи на могиле Неизвестного солдата: «*Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен*», автору строк, запомнившихся с детства всем, кто говорит по-русски, — исполнилось 90 (МК, 12 марта 2003).

«*Парламентская газета*», несмотря на принципиально иной состав своих читателей, использовала сходный прием при освещении «мероприятия»: творчество автора надписи о Неизвестном солдате вновь оказалось в тени перечня имен известных родственников:

За Михалковым прочно закрепился титул — «высокий советский вельможа». Что ж, он действительно был обласкан советской властью. Что касается вельможности, то о древности рода Михалковых свидетельствуют многочисленные архивные документы. «Предков мы себе не выбираем, — замечает юбиляр. — Но вот историки нашли грамоту князя Дмитрия Пожарского, пожаловавшего в 1613 году во время войны с Польшей вотчину чебоксарскому воеводе Федору Ивановичу Михалкову «за московское осадное сидение и за то, что не покривил». ... Через год после выхода первой книжки Сергей Владимирович женится на Наталье Кончаловской — дочке знаменитого художника из общества «*Бубновый валет*» Петра Кончаловского и внучке великого живописца Василия Сурикова. Этому союзу суждено было продлиться аж 53 года... От этого брака у Михалкова два сына, оба знаменитые режиссеры — Андрон Кончаловский и Никита Михалков... Их нередко попрекают тем, что взлетать из-под крыла именитого писателя Сергея Михалкова было куда легче, чем из какой-нибудь отдаленной деревеньки. Однако сколько отпрысков великих родителей стали лишь тенью своих отцов! А вот на потомках Сергея Владимировича природа не отдохнула (*Парламентская газета*, 13 марта 2003).

Интересно, что эта генеалогическая лихорадка информационных изданий сопровождалась настойчивыми попытками самого Михалкова объяснить свою биографию несколько иначе. Для Михалкова, в отличие от прессы, «*происхождение*» являлось скорее метафорой, чем результирующим вектором конкретных родственных

связей и отношений. Логике родовой линии противопоставлялась логика политического строя, родство по крови вытеснялось родством по убеждениям. «Я человек ушедшей эпохи, и спрашивать с меня надо по законам того времени, — отмечал поэт. — Это не оправдание, а констатация. Я воспитан советским строем, кровь и плоть его, но не могу сказать, будто старался по-особенному выслужиться перед режимом» (*Итоги*, 11 марта 2003).

Праздничные ритуалы, казалось, наконец-то обнажили истинную, символическую — во всех смыслах этого слова — роль «патриарха». Важна не сама фигура, не личностные особенности конкретного *родо-начальника*, и даже не результаты его деятельности, а его (формальная) способность выступить (временно) фиксируемой точкой на оси координат, точкой, через которую может быть проведено сколь угодно много генеалогических «прямых». Как следовало из телерепортажей и газет, основная функция «патриарха» заключалась не столько в традиционной способности задать *направление* развития «своего» клана или определить *логику* его формирования, сколько в умении стать удачной канвой — *основой* — для постоянно плетущейся сети родства. Именно на фоне разреженной структуры и однотонной простоты исходной «ткани» юбиляра становились очевидными запутанность и цветистость родственных «узлов».

Сформулирую чуть иначе — основной функцией ритуального чествования «патриарха» в данном случае была не символическая легитимация его социального вклада и/или соответствующих политико-эстетических претензий. Юбилей стал ярким примером «*представления*, при помощи которого представитель образует группу, которая произвела его самого»¹. Выступая в роли структурирующего механизма, «представитель», таким образом, ретроспективно придал разрозненным поступкам отдельных людей («группе») видимость (гене)логического порядка.

Мероприятия в связи с юбилеем Сергея Михалкова, разумеется, интересны не только публичной демонстрацией технологии превращения конкретной семейной истории в династическую сагу, т. е. публичным слиянием истории семьи и истории страны. Важным, на мой взгляд, является и та настойчивая подмена, в ходе которой риторика родства — наряду с осуществлением своей традиционной функции картографии социальной местоположенности (боярин—дворянин—советский вельможа) — используется для

¹ Бурдые П. *Социология политики*. — М., 1993. — С. 88.

индивидуальной оценки. В условиях, когда в силу политических, идеологических или, допустим, эстетических причин локализация позиции индивида, т.е. фиксация его социальной местоположенности, затруднена или невозможна, траектория индивидуальной жизни часто попадает в зависимость от конфигурации связей между предками, а характер наследия — от (социальной) наследственности².

Сила *внутри*-семейных связей, иными словами, оказывается исходной точкой при *внешней* оценке ее членов: семейные узы становятся предпосылкой для уз-навания, для автоматического связывания людей, объектов и явлений, с одной стороны, и социальных смыслов и значений — с другой. Или чуть иначе — неспособность внешнего контекста сформулировать критерии оценки и сформировать практики социальной классификации зачастую ведет к наделению сети родственных отношений нормативно-организующей логикой.

Как мне кажется, именно подобная ситуация во многом определяет характер постсоветского дискурсивного пространства, и стремление «клана» Михалковых увязать случайное и (зачастую) иррациональное поведение отдельных людей с видимой объективностью, закономерностью и значимостью социальных институтов и категорий является лишь частным примером более общего развития.

В течение последних десяти лет метафоры социального и кровного родства стали едва ли не господствующей формой концептуализации политического, экономического и культурного развития: от «ельцинской Семьи» до «питерского клана», от «Солдатских матерей» до «Кремлевских жен», от «солнцевской братвы» до «дедовщины», наконец, от «батяни-комбата» и «*Моей семьи*» до кинодилогии о «*Брате*» и фильма «*Сестры*». Как можно объяснить подобную привлекательность терминологии родства для символизации «постсоветского пространства»? Каковы те символические и социальные преимущества, которые риторика родства способна обеспечить ее авторам и исполнителям?

В Толковом словаре Владимира Даля «*организовать*» или «*организовать*» означает «устроить, установить, привести в порядок, составить, образовать, основать стройно». Организация, таким образом, есть практическое воплощение определенного строя, есть определенное соотнесение имеющегося материала с устоем-

² См.: Goode W. Family changes over the long term: a sociological commentary // *Journal of Family History*. — 2003. — Vol. 28 (1). — P. 19.

моделью, способной придать этому материалу и внешнюю форму, и внутреннюю структуру.

Приведению чего бы то ни было в порядок предшествует не только осознание *возможности* «основать стройно» и «связно». В основе действий по «устройству» и организации, как напоминает Даль, лежит также и стремление воспроизвести естественное строение *органа*, или, точнее, *органического* порядка.

Задачей данного сборника во многом является сходное стремление проследить взаимосвязь процесса организации с тем порядком, или устройством, который традиционно воспринимается как «органичный» и «естественный», — порядком, «вырастающим» из семейных отношений повседневной жизни. Несмотря на различия в методологических подходах, теоретических предпочтениях, интерпретационных стратегиях и принципах отбора фактического материала, тексты, собранные в этой книге, являются во многом вариациями одной и той же темы, — темы использования структуры и/или логики семейных отношений для организации и осмысления индивидуальной жизни. «Валентность» и формы «семейного уклада» при этом, разумеется, не остаются постоянными: отрицание нормативных моделей семейной жизни может сменяться вполне позитивными попытками вернуться к «исходным» организационным принципам, либо стремлением внести в эти принципы существенные «поправки и усовершенствования». Важны, конечно же, не столько «поправки» и вновь провозглашаемые принципы организации, сколько постоянство самого стремления исправить *исходную модель*, стремление придать актуальность определенному «органическому» порядку.

Каковы причины устойчивости этой «организационно-органической» модели? Почему, несмотря на фундаментальные изменения социального строя, культурных традиций или, допустим, принципов воспитания, логика и символика родства остаются востребованными и на уровне риторики, и на уровне практических действий? Что лежит в основе этой непреходящей тяги к поиску «родственных душ»? В течение последних десятилетий отечественные исследования семьи отвечали на эти вопросы по-разному³. Не

³ Обзоры исследований семейных и родовых отношений в зарубежной литературе см., например: Peletz M. Kinship studies in late twentieth century anthropology // *Annual Review of Anthropology*. — 1995. — Vol. 24; Gottman J., Notarius C. Marital research in the 20th century and a research agenda for the 21st century // *Family Process*. — 2002. — Vol. 41. — № 2; Sprey J. Theorizing in family studies: discovering process // *Journal of Marriage and the Family*. — 2000. — Vol. 62.

останавливаясь подробно на их анализе⁴, лишь кратко прокомментирую ряд выводов, которые стали исходными предпосылками при составлении этого сборника.

«Нет правды о цветах, а есть ботаника»

Кочующие из работы в работу разнообразные вариации фразы о том, что «семья, как известно, является первичной ячейкой общества»⁵, при всей своей клишированности тем не менее хорошо передают суть господствующей аналитической традиции: несмотря на изменения типа социальной «сети» и размеров составляющих ее «ячеек», *системный* характер отношений между целым («сетью») и его частью («ячейкой»), как правило, остается постоянным. Иногда логика этих отношений приобретает гомологический характер, и семья превращается в микрокосм, отражающий суть происходящих перемен в обществе в целом⁶. В ряде случаев семья, напротив, воспринимается как «остров стабильности», защищающий свое «население» от влияния «внешних» социальных трансформаций⁷. Определяющим при таком подходе, однако, является даже не содержание *отношений* между ячейкой и обществом, а само аналитическое стремление находить логику функционирования семьи в процессах функционирования *других* институтов и систем.

Упрощая, многочисленные версии дихотомии «частное/целое», характерные для отечественных исследований семьи, можно

⁴ Полезные обзоры социологической и демографической литературы по вопросам семьи см. соответственно: Клещин А. «Социология семьи» и Захарова О. «Исследования демографических процессов и детерминация рождаемости» (*Социология в России* / Под ред. В. Ядова. — М., 1998.)

⁵ См., например: Шмелева М. Н. Некоторые проблемы этнографического изучения современной городской семьи русских (методологические аспекты) // *Проблемы и методы исследования современной семьи*. — М., 1997. — С. 24; Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М., Мещеркина Е., Пискалова М. *Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году*. — М., 1999. — С. 53.

⁶ См., например: Здравомыслова О. М., Арутюнян М. Ю. *Российская семья на европейском фоне*. — М., 1998.

⁷ См.: Римашевская Н. М. Роль семьи в условиях социальных трансформаций // *Семья, гендер, культура*. Отв. ред. В. А. Тишков. — М., 1997. — С. 117; Василенко И. В., Иваненко Н. В. Нравственные координаты внутрисемейного сознания // *Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы*. — Т. 1. — М., 1999. — С. 142.

сгруппировать по трем основным способам организации материала. Монополия *производственного подхода*, в рамках которого семья выступает, прежде всего, в виде социального института — *органа*, — призванное вносить свой вклад в дело воспроизводства общества⁸, в течение двух последних десятилетий была основательно подорвана двумя другими направлениями. При помощи сравнительно-сопоставительного анализа эти направления постарались продемонстрировать относительный, т.е. *преходящий* и исторически обусловленный характер семейных форм. Так, для *эволюционного* подхода принципиальным оказалось исследование своеобразного диахронического «континуума», своеобразной цепи временных изменений тех задач, поиски ответов на которые, собственно, и определяли в каждый исторический момент специфику семейных конфигураций, механизмы семейного *устройства*. В свою очередь, *экономическая критика патриархата*, сфокусировавшись на частной сфере как области конкуренции ресурсов, накопленных в сфере публичной, позволила рассматривать семью как определенный результат — *образование* — патриархальной культуры, в которой постоянно изменяющиеся условия доступа к разнообразным ресурсам являются причиной динамичных изменений *позиций* супругов. Обобщая, остановлюсь лишь на основных положениях обозначенных подходов.

В работе, посвященной анализу этнорегиональных особенностей семьи в России, исследователь О. А. Ганцкая отмечает:

В настоящее время семья является основой большинства фермерских хозяйств. Однако в России и части сопредельных государств в современной кризисной экономической ситуации создание семейных ферм, их выживание, рост производимой ими продукции, увеличение товарооборота, укрепление финансовой базы крайне затруднено. Причины этого прежде всего в недостаточности полученных кредитов, обесцененных инфляцией, необеспеченности ферм тягловой рабочей силой, транспортными средствами, сельскохозяйственными машинами..., самым обычным инвентарем, отсутствии традиционных надворных построек, которые были разрушены за ненадобностью после проведения коллективизации. ...Кроме этих, относящихся к внесемейной сфере причин, есть еще причины, коренящиеся в структуре самой семьи. Главная из них — нехватка рабочих рук в фермерском хозяйстве семьи с одним, двумя детьми.... В такой [малодетной] семье с расширением частного хозяйства и постепенным старением

⁸ См.: Антонов А. И., Борисов В. А. *Кризис семьи и пути его преодоления*. — М., 1990; Антонов А. И., Медков В. М. *Социология семьи*. — М., 1996.

родителей становится особенно осязаемым недостаток мужской рабочей силы, если в ней нет сыновей, или они есть, но никто не хочет становиться фермером. Довольно трудно заполучить в этом случае зятя, который работал бы на ферме родителей жены, не становясь одним из ее собственников. Призыв сыновей в армию лишает родителей их помощи и до вступления в брак⁹.

Принцип синекдохи, сводящей целое к его части, на котором строится аргументация Ганцкой, во многом является характерным для (пост)советской функционалистской традиции интерпретации общества и семьи. В данном случае при помощи серии редукций исследователь смогла выстроить последовательную цепочку: «семья» — «фермерское хозяйство» — «рабочие руки» — «(мужская) рабочая сила». Количественная логика, положенная в основу исследования — «к определяющим признакам семьи относится ее средний размер»¹⁰, — оказалась воспроизведенной и на уровне результатов: «размер семьи» трансформировался в количество «рабочих рук». Закономерен и вывод: «Выходом из создавшегося положения с необеспеченностью малолетних нуклеарных семей рабочей силой стал бы отчасти наем сезонных или постоянных работников...»¹¹.

Понятно, что аналитическая модель, в которой хозяйственные и семейные отношения оказываются синонимичными, может быть «естественной» лишь в определенном методологическом контексте. Московский социолог А. И. Антонов сформулировал суть этого контекста, пожалуй, наиболее точно, охарактеризовав семью как «общность людей, связанных отношениями супружества, родительства и родства на основе совместного домохозяйства и (или) производства, которая выполняет функции воспроизводства населения и социализации детей, а также содержания (поддержания существования) членов семьи»¹².

Ограниченность такого подхода, на мой взгляд, заключается не только в том, что интерпретация семьи как своеобразной трудовой артели, нацеленной на биологическое и материальное само-вос-

⁹ Ганцкая О. А. Этнорегиональные особенности семьи в России (некоторые проблемы и результаты сравнительного изучения) // *Проблемы и методы исследования современной семьи*. — М., 1997. — С. 18—19.

¹⁰ Там же. — С. 8.

¹¹ Там же. — С. 19.

¹² Антонов А. И. Семья как институт среди других социальных институтов // *Семья на пороге третьего тысячелетия*. — М., 1995. — С. 185.

производство своих членов — совместное домохозяйство, выполняющее функции собственного воспроизводства, — носит тавтологический характер. Проблема еще и в том, что и этот производственный подход, и риторика «эрозии семьи», раскрывающая «всю глубину нравственного упадка в обществе»¹³, которой он обычно сопровождается, лишь повторяют логику идеализированной — «*органической*» — модели общества в виде замкнутого натурального хозяйства с соответствующей ему замкнутой структурой сословий¹⁴.

Этот идеализм прошлого — и, добавлю, прошедшего, — вызывающий традиционные упреки в политическом консерватизме, однако, следует рассматривать не только как следствие собственно идеологических предпочтений сторонников функционализма, но и как своеобразный эффект их теоретической стратегии. Редукционизм, сводящий смысл того или иного социального института к его функции, возможен лишь в рамках стабильной (знаковой) системы: функция органа-«части» есть производное от определенного «целого». Стремление к риторической консервации этого «целого», соответственно, становится и условием выживания, и условием эффективности функционалистского взгляда на мир.

В свою очередь, многофункциональность институтов, их развитие и изменение, их принципиальная несводимость к *главной* «функции», т.е. их неспособность выступать в качестве *частного* проявления *общей* логики («производства»), лишает функциональный подход его основной — *системо-образующей* — предпосылки. Приведу один пример. Этнограф Т. В. Лукьянченко, исследующий семейную жизнь современных саамов Кольского полуострова, пишет:

Семья как микроединица саамского общества, призванная выполнять важнейшую функцию по передаче молодому поколению трудового опыта, традиционной культуры, участвовать в социализации молодежи, практически плохо справляется со своими задачами. Проблема воспитания детей и передачи им всего богатства традиционных навыков и знаний, которые необходимы, в частности, для занятий оленеводством и другими промыслами, неразрешима до тех пор, пока многие дети значительную часть времени живут не дома, а в интернатах. Традиционные трудовые навыки дети могут получить только от сво-

¹³ Там же. — С. 197.

¹⁴ Критику аналогичной идеализации сельской семьи христианскими демократами восточной Европы см., например: Салецл Р. (*Извращения любви и ненависти*). — М., 1999. — С. 96—97.

их родителей в семье. Тем самым создается угроза подготовке квалифицированных кадров для традиционного хозяйства¹⁵.

Неспособность *современной* семьи справиться с передачей опыта *традиционной* культуры воспринимается в данном случае не как результат изменения содержания конкретной культуры, но как следствие лишения отдельного института — «семьи» — исторической монополии на профессиональную социализацию. Стабильность «традиционной культуры», таким образом, выступает как социальная и теоретическая данность, а условием непрерывного «воспроизводства» этой стабильности становится уже знакомый тезис о необходимом количестве «рабочих рук».

Историчность семейной формы, ее зависимость от определенного экономического и культурного уклада, оказывается в функциональном подходе риторически преодоленной за счет смещения акцента с конкретного *характера* семейного производства на производство как *способ* жизнедеятельности. Такое акцентирование *процесса* позволяет использовать производственную модель семьи в качестве универсального нормативного лекала, по отношению к которому выравниваются все остальные формы семейных отношений¹⁶.

Закономерно, что вне производственного контекста семья оказывается лишенной собственной содержательной специфики, в лучшем случае выполняя функцию передатчика, ретранслятора трудовых или, допустим, культурных навыков, значимость и на-

¹⁵ Лукьянченко Т. В. Проблемы современной семьи кольских саамов // *Проблемы и методы исследования современной семьи*. — М., 1997. — С. 110—111.

¹⁶ В связи с этим показателем перечень вопросов для исследования семьи («шкала фамилизма»), приведенный в одной из работ Антонова: «1. Как вы думаете, следует ли платить детям моложе 16 лет за их работу в семье? 2. Как вы считаете, должны ли работающие дети моложе 21 года и живущие в семье отдавать всю зарплату родителям? 3. Кому следует ухаживать за престарелыми родителями — их детям или правительству? 4. Если ваши родители не советуют жениться на девушке, которую вы выбрали, женитесь ли вы на ней? 5. Следует ли детям, создавшим собственную семью, жить вместе с их родителями? 6. Как вы думаете, можно ли вступать в брак с человеком другой религиозной веры? 7. Можно ли заключать брак с человеком другой национальности? 8. Могли бы вы сделать своего сына партнером вашей фирмы? 9. Понравится ли вам намерение вашего сына пойти по вашим профессиональным стопам? 10. Следует ли советоваться по важным семейным вопросам с близкими родственниками...?» (Антонов А. И. Социологический подход к изучению взаимоотношений в семье // *Психология семьи* / Под ред. Райгородского. — Самара, 2002. — С. 402—403.)

полнение которых определяются, как правило, за пределами семьи. Соответственно, оказываются излишними вопросы и о возможных изменениях характера семейных отношений, и о выборе форм семьи, и об источниках и направлениях развития той (системной) модели общества, благодаря которой господствующим типом семейной организации стала «кузница квалифицированных кадров». «Оленеводство», подобно анатомии у Фрейда, становится здесь судьбой, а не исторически сложившейся реакцией на географическое распределение людей, условий и доступных ресурсов.

Вполне предсказуемым является и то, что при необходимости «производственная логика» может использоваться и как аргумент в защиту семьи, и как аргумент в пользу ее фактической ликвидации. В начале 1930-х годов Антон Макаренко, известный советский педагог и литератор, в одном из своих текстов, посвященных социалистическому воспитанию («соцвосу»), с жаром настаивал на том, что «именно детскому дому принадлежит советское педагогическое будущее»¹⁷. Мотивация, предложенная Макаренко, при этом принципиально не отличалась от доводов, изложенных выше:

...Через пять лет, когда наша промышленность потребует не одну тысячу женщин на производстве, когда в семью войдет матерью нынешняя свободная девушка, воспитанная в презрении к пеленочной и печной квалификации, мы обязательно скажем, что именно воспитание наших детей осталось без необходимых для этого институтов. ... Детский дом есть будущая форма советского воспитания. Он, конечно, не может быть даже подобием детского дома, наполненного искусственно изолированной беспризорщиной... Только детский дом, наполненный здоровым детством, знающим, что где-то на фабрике работают отец и мать, имеющим с ним связь и не лишенным ласки матери и заботы отца, только такой детский дом будет настоящим советским соцвосом, потому что в нем объединятся как воспитательные деятели и государство, и новая семья, и совершенно иной уже деятель — ребячий производственный, и образовательный, и коммунистический первичный коллектив.

И такой детский дом не только необходим, но и неизбежен, и, самое главное, вполне возможен. Правильно организованный и оборудованный детский дом, дающий ребенку несравненно больше того, что способна дать самая лучшая семья, в то же время представляет собой производственную организацию. ...В самых круглых цифрах можно предвидеть, что если все детство СССР будет организовано в детских домах, оно будет давать в год продукции на сумму один мил-

¹⁷ Макаренко А. С. О путях общественного воспитания // Макаренко А. С. *Собр. соч.: В 7 т.* — Т. 7. — М., 1960. — С. 383.

лиард рублей. Это обстоятельство должно определить дешевизну содержания ребенка, следовательно, выгодность для семьи помещения ребенка в детский дом¹⁸.

Макаренко во многом лишь довел до логического конца суть подхода, озвученного позднее многочисленными сторонниками производственно-производительного взгляда на семью: если производство материальных условий и воспроизводство населения являются теми базовыми функциями, на пересечении которых, собственно, и возникает семья, то насколько целесообразно существование данного института при обобществлении или, допустим, профессионализации этих функций (вос)производства? Условно говоря, что произойдет с «семьей саамов», если навыкам «оленоводства и других промыслов» станут учить не дома, а в училище? Ограниченный метафорой производства в качестве своей объединяющей идеологии и принципом синекдохи в качестве исследовательской методологии, функциональный анализ семьи — точнее, семейного (вос)производства — оказался не в состоянии объяснить природу того «неделимого остатка», благодаря которому семья — несмотря на постоянные изменения своей конфигурации — тем не менее сохраняет свою актуальность.

Во многом именно одномерность производственного подхода (количество рабочих рук, детей, браков, разводов и т.п.) стала объектом критики со стороны исследователей, заинтересованных не столько в демонстрации воспроизводства общественно значимой «нормы», сколько в анализе условий ее — «нормы» — происхождения. Стремление пошатнуть нормативную функцию «производства» реализовалось в виде попыток продемонстрировать, что исторически формирование семейных «ячеек» строилось на *различных* функциональных принципах. В итоге, наряду с анализом структурной позиции семьи в сети общественных отношений определяющим для *эволюционного* подхода стало изучение «исторически сменяемого акцентирования одного из основных семейных отношений»¹⁹, т.е. изучение диахронических изменений иерархии отношений *внутри* самой семьи. Процессуальная логика производственного процесса, таким образом, оказалась вытесненной логикой внутреннего *устройства* института, логикой его функционального развития. Три «идеальных исторических типа семьи»,

¹⁸ Там же. — С. 384.

¹⁹ Голод С. *Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты*. — Л., 1984. — С. 14.

предложенные петербургским социологом С. И. Голодом²⁰, и были призваны обозначить — и тематически, и структурно — направление этого развития.

Согласно этой типологии, *патриархальная* («наиболее архаичная») форма семейной «зависимости жены от мужа и детей от родителей» сменяется *детоцентристской* («современной») семьей, с характерным для нее повышенным вниманием к разнообразным аспектам частной жизни вообще и эмоциональной составляющей, связанной с родительством, в частности. Наконец, итоговым вариантом становится *«супружеский»* («постсовременный») тип моногамии, в основе которого лежит «симметричность прав и ответственности обоих супругов»²¹. Суть развития семьи, таким образом, заключается в следующем движении форм: «на суживающемся фоне патриархальной и, отчасти, детоцентристской семьи набирает силу супружеский тип...»²².

Аналитическая (и политическая) привлекательность эволюционного подхода понятна. Семья перестает выступать непосредственным отражением «материального базиса» и приобретает, если не собственную логику, то, по крайней мере, собственную траекторию развития. Проблема заключается, на мой взгляд, в том, что такое исследование «имманентных закономерностей»²³ семьи — или «органического порядка» в терминах Даля — базируется на предпосылках, которые, строго говоря, принципиально не отличаются от редуccionистского функционализма. Правда, в роли системы в данном случае выступает не воспроизводство общества, а сама семья; в свою очередь, роль органов-«частей» играют отношения *внутри* семьи, специфически сгруппированные в ходе реализации той или иной функции. Иными словами, новизна эволюционного подхода стала результатом не столько смены интерпретационной парадигмы, сколько смены, так сказать, диоптрий аналитической оптики: «дальнозоркость» производственного макро-анализа семьи оказалась вытесненной «близорукостью» микро-анализа эволюционного. Говоря о детоцентристском типе семьи, С. Голод, например, отмечал:

²⁰ См., например, Голод С. И. Моногамная семья: кризис или эволюция? // *Социально-политический журнал*. — 1995. — № 6.

²¹ Там же. Цит. по: *Психология семьи* / Под ред. Райгородского... — С. 245—258.

²² Голод С. И. *Стабильность семьи...* — С. 96.

²³ Голод С. И. Моногамная семья... — С. 247.

...совместное проживание мужа и жены... требует *адаптации* их индивидуальных планов, претензий и поведенческих стереотипов относительно друг друга. ...[т.е.] должен возникнуть ряд тесно связанных между собой приспособительных отношений, каждое из которых в большей или меньшей (но непременно значимой) степени оказывает воздействие на устойчивость семьи. Судя по моим эмпирическим материалам, существуют, по меньшей мере, семь адаптационных ниш: психологическая, духовная, бытовая, сексуальная, информационная, родственная и культурная. Эти ниши имеют подвижную иерархизированную структуру, сдвиги в ней детерминируются стадией эволюции индивидуальной семьи²⁴.

Хотя степень «имманентности» указанных «ниш» и наличие, вернее, наделение этих ниш «собственным», несовпадающим содержанием, и может стать предметом серьезных дискуссий, основной вопрос связан не с этим. Несмотря на общее стремление к жесткому структурированию²⁵, как мне кажется, для Голода принципиальна все-таки сама адаптация, а не ее формы. Дело в другом — в рамках структуралистской логики Голода с трудом объясняется *причина* перехода одного типа семьи в другой. Точнее, как и в любом системном анализе, источники принципиальных изменений самой системы здесь также находят(ся) вовне.

«Постсовременная семья» с ее «антирутинным механизмом», основанным на автономности интересов супругов — «круг значимого общения для каждого из них выходит за рамки супружества»²⁶, — является в данном случае показательным примером. Базовый принцип организации этой семьи, одновременно и конституирующий неустранимую различность супругов, и являющийся усло-

²⁴ Интервью с профессором Сергеем Исаевичем Голодом // *Журнал социологии и социальной антропологии*. — 2002. — №3. — С. 13; см. также: Голод С. И. *Стабильность семьи...* — С. 69.

²⁵ Свои интерпретации С. Голод строит в основном с помощью одного и того же методологического приема типологизации/таксономии. В зависимости от объекта исследования, речь может идти, например, о *типах* семьи (Голод С. И. *Стабильность семьи...*), *типах* «сексуальных отношений» и *типах/вариантах* «сексуальных связей» (Голод С. И. *XX век и тенденции сексуальных отношений в России*. — СПб., 1996. — С. 65—71; 82—83) или, наконец, о легитимных/нелегитимных сексуальных *стандартах* (Голод С. И. *Российские сексуальные стандарты и их трансформация (вторая половина XX столетия)* // *Журнал социологии и социальной антропологии*. — 2000. — № 2. — С. 142—143; Голод С. *Нелегитимные молодежные сексуальные стандарты* // *Человек*. — 2002. — № 3).

²⁶ Голод С. И. *Моногамная семья...* — С. 258.

вием стабильности супружества, заключается в широте *индивидуального* опыта каждого супруга. Иными словами, успех *семейной* жизни зависит от уникальности *вне-семейных* отношений каждого из супругов.

О семье как поле дифференцирующих отношений речь пойдет чуть ниже. Пока же мне хотелось лишь акцентировать то, что дихотомия «частное/целое» («адаптационная ниша»/«семья», «индивидуальные интересы»/«супружество» и т.п.), лежащая в основе рассматриваемого подхода, оказывается эффективной лишь в рамках более общей бинарной схемы «системное/внесистемное».

Сформулирую чуть иначе — исходное восприятие семьи «как системы» с неизбежностью требует постоянной — в данном случае методологической — цензуры, постоянного очерчивания границ, постоянного маркирования объектов, которые, находясь вне системы, собственно, и формируют ее пределы.

Вне-системным «вне-семейным опытом» супругов данная «цензура», разумеется, не ограничивается; настойчивое стремление Голода «вывести» однополюе союзы за рамки предложенной им эволюционной типологии призвано сыграть аналогичную роль²⁷. В недавней статье о «нелегитимных сексуальных стандартах» молодежи Голод, например, отмечал:

Будучи социологом, не стану множить спор по поводу этиологии гомосексуализма, скажу лишь следующее. Гомосексуализм (в обеих своих разновидностях) — природная аномалия. Поэтому гомогенные браки — нонсенс. В обсуждаемом случае сексуальность не столько автономна от прокреации, сколько от нее полностью независима. Даже английский парламент, который может все, не в состоянии обязать мужчин рожать детей. Иное лесбиянки, они, как показывает опыт, по большей части бисексуальны: прерывают на время (или навсегда) гомогенную связь и рожают детей...²⁸

Любопытным в данном пассаже является не только его содержательная сторона, причудливо увязывающая воедино *социальный*

²⁷ Сходную роль в формировании системного и вне-системного играет прием цензуры и в попытках Голода объяснить те или иные модели (сексуального) поведения в России влиянием извне. В своей работе 1997 г. социолог, например, отмечал: «В последнее время появились новые свидетельства экспансии в нашу культуру исторически чуждых поведенческих стереотипов» (Голод, *XX век и тенденции сексуальных отношений...* — С. 148).

²⁸ Голод С. И. *Нелегитимные молодежные сексуальные стандарты...* Цит. по: <<http://courier.com.ru/homo/ho0302golod.htm>>

статус («брак») с «природными» нормативами, а сексуальность — с деторождением. Примечательным является и риторическая структура этого абзаца: общие рассуждения о (гомо)сексуальных *мотивациях* молодежи неожиданно прерывает тема «гомогенного брака», артикулированная с помощью негативной лексики («аномалия», «нонсенс», «независима», «не в состоянии» и т.п.). Поддержание чистоты рядов, точнее — воспользуюсь терминологией Голода — поддержание непротиворечивости картины «целостного состояния нравов»²⁹ требует соответствующих мер: явление, подрывающее целостность системы, должно быть выведено за ее пределы.

Как показывают многочисленные постструктуралистские исследования, подобная процедура отрицания, являясь неотъемлемой частью системного анализа, однако, имеет свою собственную логику³⁰. Будучи не в состоянии контролировать объект, существование которого оно стремится поставить под сомнение, отрицание нуждается в постоянном повторении, в своем постоянном воспроизводстве. И потому, что объект отрицания имеет тенденцию возвращаться — в новых формах и в новых местах, — и потому, что именно при помощи приема отрицания конструируется сама «положительная» система, в отношении с которой отрицаемый объект приобретает свою маргинальную местоположенность³¹.

Разумеется, и общая бинарность эволюционного подхода, и его навязчивое стремление к классификациям и таксономиям, призванным выстроить (или ниспровергнуть) еще одну иерархию, и тесная зависимость его эффективности от эффективности соответствующих механизмов исключения и маргинализации вряд ли являются чем-то принципиально новым. Данная версия социологии семьи лишь повторяет путь, который проделала, например, в свое время советская семиотика³². Однако, в отличие от социоло-

²⁹ Там же.

³⁰ Как писал Жак Лакан: «То, что подпадает под эффект подавления, возвращается, поскольку подавление и возвращение подавленного — это лишь две стороны одной монеты. Подавленное всегда имеет место быть, выражая себя совершенно артикулированным способом в симптомах и целом букете других явлений» (Lacan J. *The Psychoses: 1955—1956*. — New York, 1993. — P.12). См. также: Kristeva J. *Powers of horrors. An essay on abjection*. New York, 1982.

³¹ См.: Butler J. *Excitable speech: a politics of the performative*. — New York, 1997.

³² См., например, статью И. Ревзина «О целях структурного изучения художественного текста» // *Вопросы литературы*. — 1965. — № 6. См. также полемичку Б. Гаспарова по поводу структуралистских аспектов советской семиотики: *Московско-Тартуская семиотическая школа: История, воспоминания, размышления* / Сост. С. Ю. Неклюдов. — М. — 1998.

гов, одним из ответов семиотиков на ограниченность системной логики, напомним, стал тезис об *амбивалентности* (знаковой) системы с характерной для нее «неопределенностью структуры»³³. В известной статье 1974 года о динамических моделях культуры Ю. Лотман писал:

...Состояние амбивалентности возможно как отношение текста в системе, в настоящее время не действующей, но сохраняющейся в памяти культуры (узаконенное в определенных условиях нарушение нормы), а также как отношение текста к двум взаимно не связанным системам, если в свете одной текст выступает как разрешенный, а в свете другой — как запрещенный.

Такое состояние возможно, поскольку в памяти культуры... хранится не одна, а целый набор метасистем, регулирующих его поведение. Системы эти могут быть взаимно не связаны и обладать различной степенью актуальности. Это позволяет, меняя место той или иной системы на шкале актуализованности и обязательности, переводить текст из неправильного в правильный, из запрещенного в разрешенный. Однако смысл амбивалентности как динамического механизма культуры именно в том, что память о той системе, в свете которой текст был запрещен, не исчезает, сохраняясь на периферии системных регуляторов³⁴.

Как мне кажется, сходная изначальная амбивалентность «семейной системы», точнее — прямая зависимость «системного» характера семьи от используемой — воспользуюсь терминологией Лотмана — «шкалы актуализованности и обязательности», и оказалась утраченной в эволюционном подходе. Иными словами, именно установка на «системный» характер семьи и делает возможным выделение в ней разнообразных «адаптационных ниш», а проведение границы между «частным» («внутренним») и «публичным» («внешним»), в свою очередь, позволяет говорить о стабилизирующем влиянии «вне-семейной» деятельности супругов на характер их «частной» жизни.

Попытка «реставрировать» исходную амбивалентность семейной структуры, попытка показать благодаря актуализации каких регулирующих «метасистем» и «шкал» те или иные элементы этой структуры оказались «переведенными» на положение «внутренних» и «имманентных», во многом связана со стремлением уйти от

³³ Подробнее об этом см.: Oushakine S. Crimes of substitution: Detection in late soviet society // *Public Culture*. — 2003. — Vol. 15 (3).

³⁴ Лотман Ю. Динамическая модель семиотической системы // Лотман Ю. *Соч.: В 3 т.* — Т. 1. — Таллинн. — 1992. — С. 98.

(прямо)линейности эволюционного подхода. Тезис о структурной неопределенности, о структурной амбивалентности семьи позволяет увидеть в ней социальное пространство *одновременного* действия многообразных, несовпадающих и зачастую противоречивых процессов и явлений, не укладывающихся в рамки стройных системных построений. И речь в данном случае, разумеется, идет не о релятивизме, но о внимании к *специфическим* способам решения *типичных* проблем, с которыми сталкиваются люди в поле родственных отношений³⁵. Говоря иначе, идея амбивалентности семейной структуры позволяет всякий раз «актуализировать» содержательное наполнение понятия «семейный» заново, учитывая и многообразие соответствующих контекстов, и многообразие аналитических «шкал». Предметом анализа, таким образом, становятся не только «ячейки», составляющие (социальную) «сеть», но и «нити», из которых эта «сеть» плетется.

Важным последствием отказа воспринимать деление социального поля на «семейное» и «вне-семейное» в качестве обязательной предпосылки анализа семьи, таким образом, является возможность локализовать сам момент этой дифференциации, увидеть, в силу каких причин и при каких условиях из материала тех или иных социальных отношений становится возможным выкроить «семейный» продукт, чтобы — продолжу метафору — понять, как одна и та же социальная ткань может стать основой различных «семейных» моделей.

Проблематичность момента дифференциации «вне/семейно-го» четко продемонстрировала экономическая критика патриархата. Оформившись в России последние десять-пятнадцать лет в виде своеобразного направления феминистского анализа, эта критика привлекла внимание к важной проблеме властного контекста, в котором формируются и функционируют семьи. Патриархат здесь превратился в своеобразную метасистему, регулиующую образование и осмысление большинства социальных процессов и институтов. Именно выбор подобной интерпретационной шкалы, на мой взгляд, обусловил как сильные, так и слабые стороны экономической критики семьи. С одной стороны, акцент эконом-феминизма на *историчности* патриархата позволяет прийти к логичному выводу о возможности иного — например, более эгалитарного — способа распределения ресурсов и власти. В то же

³⁵ См. об этом: Coontz S. Historical perspectives on family studies // *Journal of Marriage and the Family*. — 2000. — Vol. 62. — P.294.

самое время, собственная позиция этой критической практики (в рамках) уже сложившейся/сложенной аналитической и интерпретационной традиции, т.е. ее структурная и содержательная *зависимость от патриархата*, пока не позволила этому течению сформулировать ни собственную теоретическую, ни собственную методологическую основу³⁶.

Ярче всего «апофеоз» теоретической беспочвенности экономической критики патриархата проявился в виде явного несоответствия между критикой традиционных форм семьи, ставших итогом «разделения всей человеческой активности на приватную и публичную»³⁷, — разделения, с которым и ассоциируется собственно патриархальная культура, с одной стороны, и анализом разделения труда, ресурсов и ответственности *внутри* семьи как основным объектом эконом-феминистских исследований — с другой. Анализ разделения труда в сфере частной жизни, таким образом, ведется одновременно с общей критикой тех самых патриархальных механизмов, которые, как предполагается, сделали появление и существование частной сферы возможными. Иными словами, в то время как («патриархальный») принцип исходной дифференциации ставится под сомнение, непосредственный продукт этой дифференциации («частная сфера») превращается в основной объект исследовательских интересов и инвестиций.

В ряде конкретных исследований такая ситуация привела к любопытному методологическому явлению: производственный анализ семьи оказался слитым с эволюционным анализом внутренних механизмов ее устойчивости. Став частным проявлением патриархата, семья превратилась в «институт воспроизводства традиционной гендерной идентичности»³⁸, а брак — в «мощный бастион норм, чувств и привычек, которые закрепляют мужские привилегии и основываются на них» (*Окно...* С. 18). Однако даже это весьма решительное «обобществление» функций семьи, даже эта настойчивая демонстрация примеров того, что ткань «семейных»

³⁶ Обсуждение теоретической состоятельности отечественных «гендерных исследований» см. в моих статьях: «Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме» // *Человек*. — 1997. — № 2. — С. 62—75; «Человек рода он»: знаки отсутствия // *О муже(Н)ственности* / Сост. С. Ушакин. — М., 2002. — С.12—20.

³⁷ Римашевская Н. и др. *Окно в частную жизнь...* — С. 112. Далее ссылки на это издание даются в скобках в тексте с указанием страниц.

³⁸ Малышева М. *Современный патриархат: социально-экономическое эссе*. — М., 2001. — С. 225.

отношений не отделима и — зачастую — не отличима от ткани отношений «публичных», не привели эконом-феминизм к отказу от исходной дихотомии «частное/публичное». Попытки теоретически осмыслить правомерность и уместность подобного деления оказались в тени политического стремления придать *общественную* значимость фактам и процессам *частной* жизни (женщин).

Понятно, что в ходе таких попыток «частная жизнь» практически не изменила — и вряд ли могла изменить — свое подчиненное структурное положение в иерархии публичное/частное. Изменениям подверглось содержательное наполнение «частной жизни». Например, в коллективном исследовании «*Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году*», опубликованном в 1999 году, картина «русской частной жизни» формируется такими главами: «*Разделение труда в семье и принятие решений*», «*Восприятие качества брака и мысли о разводе или опыт развода*», «*Вербальное и физическое насилие в партнерских отношениях*». По степени избирательности в восприятии семейной жизни — домашний труд/принятие решений/мысли о разводе/акты насилия — подобное моделирование лишь повторяет (в негативной форме) идеализацию натурального домохозяйства, рассмотренную выше. Однако есть здесь и принципиальное отличие — место *процессуальной логики* производственного подхода в качестве универсального интерпретирующего принципа в экономической критике патриархата занимает идея *занятости*.

Этот переход от анализа участия в процессе (вос)производства к анализу структурного позиционирования участников (вос)производства принципиален³⁹. Категория «занятости», позволяя абстрагироваться от ее конкретного содержания, актуализирует *пространственные* характеристики членов семьи, столь важные для феминизма в целом. Смысл *места* занятости определяется не *содержанием* труда, связанным с этим местом, а социальной *оценкой* этой позиции. Одна и та же деятельность, выполняемая в разных сферах, может иметь принципиально разные значения. «Публичная сфера» — с ее механизмами спроса/предложения, конкуренцией меж-

³⁹ Подробнее см.: Harding S. Rethinking standpoint epistemology: «What is strong objectivity» // Alcoff L., Potter E., eds. *Feminist epistemologies*. New York, 1993; Hartsock, N. «The feminist standpoint: developing the ground for a specifically feminist historical materialism» // Harding, S. ed. *Feminism and methodology: Social science issues*. Bloomington, 1987. См. также: Маннхейм К. Проблема интеллигенции: исследование ее роли в прошлом и настоящем. // Маннхейм. К. *Избранное: Социология культуры*. — М., 1996.

ду людьми за доступ к ресурсам и рыночной оценкой их способностей и возможностей — воспринимается как нормативный источник признания и самореализации. В свою очередь, «частная сфера», увязанная с «неоплачиваемым трудом, выполняемым ради поддержания дома и жизнедеятельности членов семьи» (*Окно... С. 118*), и, соответственно, не подпадающая под действие механизмов рыночной регуляции и оценки, превращается в своеобразное гетто. Например, несмотря на то что большинство российских мужчин и женщин склонны считать зарабатывание денег преимущественно мужским делом (*Окно... С. 111*)⁴⁰, тот факт, что семейный бюджет в большинстве российских семей находится в управлении женщин, в рамках данного подхода объясняется не специфическим распределением *власти*, но сложившейся традицией распределения *ответственности* и, соответственно, безответственности супругов:

В России традиционно женщины несли ответственность за ведение денежных расходов с учетом нужд членов семьи. Мужья часто не имели ясного представления о семейных нуждах, и эта обязанность воспринималась как своеобразный вид каждодневной рутины. В прошлом молчаливый отказ мужчин распорядиться деньгами был обусловлен их низким заработком. Требовалось постоянное напряжение, чтобы удовлетворить базовые потребности членов семьи, исходя из среднего размера доходов мужчин. ...С началом рыночных преобразований ситуация изменилась. ...количество зарабатываемых денег стало в семьях существенно различаться... Тем не менее сегодня почти в половине семей, попавших в выборку, эту работу [по управлению семейным бюджетом] делают женщины; мужчины занимают ей только в 10% случаев. (*Окно... С. 124*)

Цитата показательна в нескольких аспектах. Отсутствие интерпретационной схемы ведет к активизации ряда риторических приемов: стадия «контроля за деньгами» выделяется из общего цикла, при этом «денежные *расходы*» увязываются не с денежными *доходами*, а с «*нуждами*». Одновременно происходит риторическое снижение статуса «управления бюджетом»: из «контроля за деньгами» оно превращается в «каждодневную рутину», в отличие, надо полагать, от традиционно насыщенного и увлекательного процесса зарабатывания денег. Сниженный статус «рутины», в

⁴⁰ По данным еще одного исследования 56,5% жен, считающих, что им удалось создать счастливую семью, отметили, что основной вклад в семейный бюджет вносит муж (26,1% — поровну, 14,6% — жена). См.: *Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится?* / Под ред. М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. — М., 2002. — С. 63.

свою очередь, дополнительно усиливается при помощи количественных характеристик «объекта контроля» («низкий заработок», «средние размеры доходов»). Любопытно, что, несмотря на *семейный* характер бюджета, упоминания о каких бы то ни было размерах заработка женщин — во избежание риторической конкуренции — отсутствуют в принципе. Существенно и другое — невозможность объяснить *сегодняшнее* состояние подменяется ссылкой на то, как «традиционно» обстоит дело в социалистическом «прошлом».

Подобная риторика интересна не только как удачный пример дискурсивных стратегий в условиях отсутствия теоретической гипотезы. Цитата наглядно демонстрирует структурную зависимость логики эконом-феминизма от «патриархальных» принципов картографии социального пространства. Только на фоне исходной дихотомии «частное/публичное» можно понять, почему при анализе одного и того же явления («семейный бюджет») одновременно актуализируются две различные интерпретационные шкалы: то есть, условно говоря, почему *формирование* (мужчинами) доходной части бюджета (в рамках «публичного пространства») может рассматриваться как проявление их патриархальных установок, а *исполнение* (женщинами) расходной части этого же самого бюджета (в рамках «частной сферы») — как проявление их ответственности перед членами семьи. Форма — «публичная/частная» — *занятости* приобретает характер (место)*положенности*, становясь в итоге не только фактом социальной биографии и/или структурной географии общества, но и объясняющим принципом, своего рода оценочной категорией. Приведу еще один пример. По мнению московского социолога М. Малышевой, тот факт, что большинство решений в российских семьях принимается женщинами,

...свидетельствует не об их власти и авторитете в доме, а о гипертрофированной ответственности, принуждающей сосредоточиваться на домашних проблемах и ограничивать притязания на успех вне частного пространства⁴¹.

Как и в предыдущем случае, важен не процесс, не само принятие решения, т.е. не сама власть и даже не обладание ею — важно *место* реализации властных полномочий, точнее, важно публичное — «вне пределов частного» — подтверждение существования этих полномочий. Важен и еще один момент: отказ воспринимать семейные стратегии женщин в терминах власти позволяет

⁴¹ Малышева М. *Современный патриархат...* — С. 275.

обойти неприятные вопросы как о собственной роли женщин в воспроизводстве патриархата, так и о тех властных иерархиях, которые они выстраивают в своих отношениях с родственниками⁴². Локализовав семью вне поля действия властных отношений, эконом-феминизм удобно ограничил сферу реализации (патриархальной) власти лишь случаями супружеского насилия, которые, в свою очередь, нередко трактуются как следствие неравного распределения ресурсов между супругами (*Окно...* Гл. 7)⁴³.

Безусловно, преобладание экономизма в феминистской критике семейных отношений во многом стало своеобразной реакцией на отсутствие признания экономической ценности домашнего труда (женщин)⁴⁴. И все же, мне кажется, не стоит преуменьшать роль этой риторики. В значительной степени именно благодаря ей изначальное стремление феминизма сделать границу между «публичным» и «частным» более подвижной и проницаемой зачастую заканчивается превращением семьи в придаток рынка, в своеобразный механизм распределения и перераспределения ресурсов⁴⁵. Структурная зависимость от исходного деления социального про-

⁴² В недавнем исследовании Сара Ашвин и Татьяна Лыткина убедительно показали, что нередко маргинализация мужчин в семьях связана с попытками жен сохранять полноту своей власти. См.: Ashwin S., Lytkina T. Men in crisis in Russia: The role of domestic marginalization. Paper presented at *Masculinity in Russia: Interdisciplinary Conference*. 10–14 June 2002, University of Illinois at Champaign—Urbana. Как отмечают исследовательницы, вторжение мужчин на «женскую территорию» приветствуется редко — сходные результаты были обнаружены и при изучении семей в Великобритании, США и Австралии. См.: Lamb, M., Pleck, J. and Levine, J. Effects of increased paternal involvement on mothers and fathers; Russell G. Problems in role-reversed families // *Reassessing Fatherhood*. Ed. by Lewis C., O'Brien M. — London, 1987. См. также: Morris L. *The Workings of the Household: A US-UK Comparison*. — Cambridge, 1990.

⁴³ Принципиально иной подход к проблеме насилия см.: Здравомыслова Е. Сексуальное насилие: реконструкция женского опыта // *В поисках сексуальности*. Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. — СПб., 2002; Ходырева Н. Причины физического насилия: сущность рода или дисбаланс власти? // *О муже(Н)ственности...*

⁴⁴ См., например: Bourdieu P. *Masculine domination*. — Stanford, 2001. — P. 96–98; Мезенцева Е. Введение. Гендер в экономическом анализе // Ред. Мезенцева Е. *Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики*. — М., 2002. — С. 15.

⁴⁵ Иной подход к анализу взаимосвязи экономики и семьи см., например, в работах: Creed G. «Family values» and domestic economy // *Annual Review of Anthropology*. — 2000; Burawoy M., Krotov P., Lytkina T. Involvement and destitution in capitalist Russia // *Ethnography*. — 2000. — № 1.

странства на «публичное» и «частное», усиленная общей тенденцией поиска приемлемого «баланса семейных и внесемейных ролей» (*Окно...* С. 214), т.е. стремления, сознательно направленного на воспроизводство границ между «частным» и «публичным», приводит исследователей этого направления к логическому выводу о том, что источником формирования «супругоцентристских» семей (с характерной для них автономией партнеров) прежде всего является «вынужденная необходимость адаптации супружеских пар к макроэкономическим изменениям в обществе». В свою очередь, сдвиг от «детоцентристской» семьи в сторону «эголитарного типа семьи» обуславливается не повышением ценности супружеской автономии, а, так сказать, снижением инвестиционной привлекательности ребенка, вступившего в конкуренцию с «ценностями статуса, выбора стиля жизни, профессиональной и личной самореализации» (*Окно...* С. 241—242). Закономерным результатом подобной концептуализации семейных отношений стала попытка рассматривать «семейные взаимодействия» как разновидность «контракта»⁴⁶.

В 1988 году, выступая против аналогичных попыток распространить логику рыночных регуляторов на брак и семейные отношения, американская исследовательница Кэрол Пейтман спра-

⁴⁶ Использование понятия «контракт» для характеристики социальных отношений в советском и постсоветском обществе в отечественной феминистской литературе не отличается особой четкостью и — подобно «гендеру» — призвано выполнять, скорее, маркирующую и метафорическую, чем аналитическую функцию. Иногда понятие «контракт» оказывается синонимичным «принуждению». С. Г. Айвазова в статье «*Контракт работающей матери: советский вариант*», например, использует этот термин следующим образом: «Представления о том, что женщина может и не трудиться в общественном производстве, вовсе не исчезло из советского общественного сознания. Именно на этом основании, определяя характер гендерных отношений в советский период, сегодняшние социологи единодушно квалифицируют его как “контракт работающей матери”». (См.: *Гендерный калейдоскоп* / Под ред. М. Малышевой. — М., 2002. — С. 291). Зачем для анализа ситуации *всеобщей* и *обязательной* трудовой занятости/повинности в СССР понадобилось квази-юридическое использование «контракта», акцентирующее возможность выбора для вступающих в контрактные отношения людей, и что при таком подходе произошло с «контрактом работающего отца», остается в данном случае непроясненным. Сходную логику в использовании «контракта» демонстрирует и О. Здравомыслова, понимая под ним определенную совокупность *представлений* о семейных взаимодействиях («традиционный» и «эголитарный» контракты). См., например: Здравомыслова О. Российская семья в 90-е годы: жизненные стратегии мужчин и женщин // *Гендерный калейдоскоп...* — С. 482—483).

ведливо указывала, что при всей своей заманчивости, применение практики и идеологии контракта в области брака и семьи чревато неожиданными последствиями. Обращаясь к философским предпосылкам, на которых строится теория контракта, Пейтман отмечала, что на всем протяжении своего действия контракт между двумя — и более! — сторонами предполагает равенство участвующих в нем индивидов с целью использования для взаимной выгоды принадлежащих каждой стороне ресурсов. Взаимное юридическое равенство сторон, иными словами, призвано гарантировать справедливый обмен ресурсами.

В отличие от контракта, брак основан на иной логике. Суть брака как юридического института — в формировании *различных статусов*, в превращении двух людей в союз «мужа» и «жены», т.е. в союз людей с неравными, несовпадающими позициями и ролями. Именно различие, так сказать, «имеющихся ресурсов» определяет здесь соответствующий юридический статус⁴⁷. Соответственно, единственная возможность преодолеть этот логический тупик заключается в отказе от «привязки» брачного статуса к полу. Как писала философ:

Если браку действительно суждено стать подлинно контрактным, то при заключении брачного контракта половое различие не должно играть никакой роли; «муж» и «жена» в итоге должны утратить свою связь с половыми признаками. Разумеется, с точки зрения контракта «мужчины» и «женщины» так же обречены на исчезновение⁴⁸.

Основная дилемма такого подхода, по мнению Пейтман, заключается даже не в том, что в результате вынесения «личностных особенностей» за рамки брачного контракта брак становится легализованным вариантом «всеобщей проституции», становится лицензией, регулирующей доступ к сексуальной собственности, т.е. юридическим соглашением на сексуальное использование друг друга⁴⁹. Суть проблемы в том, что сама идея «индивида без личностных особенностей», способного обменять в процессе социальных отношений определенное *количество* своей собственности на услуги, товары и/или деньги, является квинтэссенцией ло-

⁴⁷ Обсуждение юридического статуса однополых браков, в которых различие традиционных «ресурсов», имеющихся у партнеров, играет, судя по всему, меньшую роль, см.: Butler J. Is kinship always already heterosexual? // *Differences*. — 2002. — Vol.13 (1).

⁴⁸ Pateman C. *The sexual contract*. — Stanford. — 1988. — P. 167.

⁴⁹ Там же. — P.184.

гики патриархата. Собственность (ресурсы) как принципиальный признак *количественного* различения субъектов стал возможен лишь в гомосоциальной среде, т.е. в ситуации, когда иные различительные признаки (пол, этничность, возраст и т.п.) оказываются вынесенными за скобки.

Шейла Бенхабиб, еще одна философ феминизма, в своих работах по этике убедительно продемонстрировала, при каких условиях принцип *общности* интересов, принцип *аналогичности* позиций, акцентирующий не различия партнеров по контракту, а показатели их формального *сходства* и *равенства*, стал восприниматься как синоним принципа *взаимности*, основополагающего для любого контракта. Например, известная этическая максима, согласно которой условием оценки другого должна быть наша готовность поменяться с ним местами, возникла в ситуации, когда другой воспринимался лишь как отражение, аналог, зеркальная копия («человек человеку — волк»; «человек человеку — друг, товарищ и брат»). Место индивидуальной проекции («я на месте другого») в этой максиме заняла абстракция («другой вообще — такой же, как я»). Знание «другой» позиции свелось к ее узнаванию, к вычленению в ней уже знакомых элементов. Или — чуть иначе — к цензурированию, к вытеснению за рамки картины «неизвестных» элементов. В итоге, соответственно, исчезла и возможность морального выбора: *сходство* позиций лишило *обмен* позициями какого бы то ни было смысла⁵⁰.

Экономическая критика семейных отношений в России, с ее настойчивыми попытками подсчитать ресурсы, доступные супругам в процессе их повседневного взаимодействия, как мне кажется, во многом повторяет ситуацию, описанную Пейтман и Бенхабиб. «Ресурсный» вариант количественной логики с неизбежностью вынужден пренебрегать учетом тех специфических черт и интересов, благодаря которым, собственно, и формируется семья как поле принципиально разных, несовпадающих позиций. И вольное или невольное стремление «переступить... через конкретно-исторический субъект», как отмечал в свое время Карл Маннхейм, в данном случае есть лишь отражение выбранной методологии, ко-

⁵⁰ См.: Benhabib S. *Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics*. Cambridge, 1992. — P. 148—177. Обсуждение работ Ш. Бенхабиб см. в моей статье «Политическая теория феминизма» (*Вопросы философии*. — 2000. — № 5).

торая, — «стремясь сделать мир исчисляемым — изначально хотела узнать о нем лишь то, что в нем поддавалось исчислению»⁵¹.

Установка на многообразие различительных признаков, на равенство и несовпадение интересов, мотиваций, позиций и т.д., задействованных в семье, оказывается, строго говоря, излишней при учете количества доступных ресурсов. Похоже, что эта количественная логика сказала и на восприятии роли *другого* в отечественных феминистских исследованиях. Из механизма дифференциации субъекта, из механизма, формирующего границы субъективности и тем самым дающего этому субъекту возможность преодолеть отсутствие средств, способных описать его место-*(положенность)*⁵², — *другой* нередко превращается в инструмент нормативной критики, становясь своеобразным классифицирующим стандартом. Как и в практике контракта, идея *с-равнения* «индивидов» стала возможной за счет вытеснения на аналитическую периферию принципа взаимообусловленности их *разно-родности*⁵³.

Именно эта генеалогия понятий и категорий, на мой взгляд, зачастую и оказывается вне поля зрения экономического анализа семьи в России. В итоге, критика патриархата ведется в рамках патриархата, с помощью его категорий и логики, а определенное *без-различие* в отношении принципов, конституирующих семейную структуру и родственные отношения в целом, превращает семью в разновидность «неэффективного производства», со всем спектром типичных характеристик в виде «затратной дотационной экономики» и «низкой платежеспособности» ее членов⁵⁴. Справедливо и своевременно акцентировав внимание на роли ресурсов в оформлении семейных отношений, эконом-феминизм так и не

⁵¹ Маннхейм К. *Избранное. Социология культуры*. — М., 1996. — С. 341.

⁵² В одной из своих работ Бахтин хорошо сформулировал эту идею принципиальной зависимости от Другого, идею невозможности локализации и идентификации вне Другого. «Не я смотрю *изнутри* своими глазами на мир, — писал философ в работе «Человек у зеркала», — а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. ...У меня нет своей точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз глядят чужие глаза» (Бахтин М. *Человек у зеркала* // *Собр. соч.* — Т. 5. — М., 1996. — С. 71).

⁵³ Подробнее об этом см., например: Клименкова Т. А. *Насилие как основа культуры патриархатного типа. Гендерный подход к проблеме* // *Гендерный калейдоскоп...* — С. 128—40.

⁵⁴ Критику такого подхода см., например: Kertzer D. *Anthropology and family history* // *Journal of Family History*. — Fall, 1984. — P. 210—211.

смог сделать важный шаг в сторону изучения тех аналитических и политических процессов, при которых противопоставление «семьи» и «общества», «частного» и «публичного» стало возможным.

Подведу итоги. Три подхода к исследованию семьи, рассмотренные выше, во многом являются отражением общих изменений отечественной обществоведческой мысли: *функциональный* анализ семьи как механизма (вос)производства общества сменился *структуралистским* анализом отношений внутри семьи. В свою очередь, *экономическая критика патриархата* может стать началом определенной научной само-рефлексии, способной со временем прояснить характер отношений между используемой методологией и категориальным аппаратом, с одной стороны, и исследуемым объектом или явлением — с другой.

Типичным, на мой взгляд, является и трансформация базовой дихотомии — «частное/целое», на основе которой строились интерпретации семьи в рассмотренных выше подходах: от ячейки в общей *социальной системе* — к семье как *самостоятельной системе* в ряду других систем, а от нее — к семье как способу потенциальной оптимизации издержек «частной» и «публичной» сфер. Или, чуть иначе: от *органа* — к механизмам его внутреннего *устройства*, а от устройства — к условиям, благодаря которым такое *образование* стало возможным. В каждом из этих случаев целостность аналитической картины являлась следствием определенного дискурсивного «прореживания» тем⁵⁵, следствием использования определенных приемов — будь то метафора производства, таксономия вне/семейных практик или критика патриархата. Возможность выстроить на основе этих базовых приемов стройные и лаконичные типологии и установить причинно-следственные связи во многом и объясняет эффективность и популярность этих подходов. Именно убедительность принципов классификации, как напоминает фраза Шкловского в названии этого раздела, и позволяет забывать о том, что жизнь «цветов» и суть научного анализа («ботаники») — это не одно и то же⁵⁶. Именно линейная стройность гносеологических «решеток», точнее, плотность их рядов превращает эти решетки из способа структурирования картины реальности в препятствие, ограничивающее доступ к социальному пространству.

⁵⁵ См.: Фуко М. *Воля к истине*. — М., 1995. — С. 69.

⁵⁶ Шкловский В. *Гамбургский счет*. — СПб., 2000. — С. 105.

«Структура спутанности»

«Ценность системы, — писал в своей работе “*О социологической обусловленности методологии*” Карл Маннхейм, — следует измерять в первую очередь не ее внутренней непротиворечивостью, а шириной ее диапазона. Внутренние противоречия мышление со временем сумеет преодолеть; слишком же узкий угол зрения, избранный системой, делает любую работу мысли бесперспективной»⁵⁷. Во многом именно такая версия «системного» мышления была моим руководящим принципом при составлении этого сборника. Собирая вместе тексты, написанные в русле разных традиций и адресованные разным аудиториям, мне хотелось расширить тот «диапазон» аналитических возможностей и тот «спектр» исследовательских вопросов, которые обычно связывают с изучением семьи, хотелось если не начать «трансформацию ансамбля теоретических моделей и концептуальных инструментов», о необходимости которой в свое время говорил Мишель Фуко⁵⁸, то, по крайней мере, создать определенные условия для возможности такой трансформации.

Отсутствие методологической и тематической целостности, однако, не означает отсутствия структуры. Как и всякий дискурсивный продукт, *Семейные узы...* тоже стали возможны в результате определенного «прореживания дискурсивных субъектов»⁵⁹: сборник задумывался и формировался как коллекция текстов, которая позволила бы видеть в семье не отдельно взятый орган, ячейку, функцию, иерархию или даже сферу, но *социальное пространство*, дающее возможность занимать несовпадающие позиции, выстраивать стратегии отношений, моделировать конфигурации связей. Как и в любом другом пространстве, условность границ, конституирующих семью, при таком подходе становится особенно очевидной: количество и длина линий родства (как и протяженность пространства) отражают лишь качество доступной измерительной техники.

Обращая внимание на те «географические» места и точки, в которых возникает или исчезает семейный опыт — и как определенная практика, и как определенное дискурсивное явление, — «пространственный» подход позволяет проследить траекторию

⁵⁷ Маннхейм К. *Избранное. Социология культуры...* — С. 364.

⁵⁸ Фуко М. *Воля к истине...* — С. 91.

⁵⁹ Там же.

движения от одного родственного «пункта» к другому, позволяет увидеть, как устанавливаются связи и отношения между этими «пунктами». Существенно при таком подходе и то, что «размеры» и «статус» этих геобиографических пунктов, строго говоря, не являются определяющими: опыт и направление движения в пространстве определяются не величиной «точек», а их наличием, т.е. возможностью их локализации.

Важен и еще один момент. Делая акцент на многообразии «местных» вариантов семейной жизни, геобиографическая локализация опыта помогает четче понять, что система (нормативных) координат, облегчая ориентировку на *местности*, тем не менее не в состоянии заменить собой ни местность, ни процесс ориентации. Метафора пространства, иными словами, дает возможность продемонстрировать, что особенности семейного опыта определяются не столько масштабами доступной карты и оптикой аналитического зрения, сколько, так сказать, спецификой рельефа, спецификой того *окружающего* пространства, в котором этот опыт имел место.

Акцент на «политике и эпистемологии местоположенности»⁶⁰ при исследовании семьи имеет и еще одно существенное структурное последствие для понимания роли субъекта в процессе местонахождения. Исходная установка на недостижимость целостности, признание изначальной неполноты и опыта, и его артикуляции, как справедливо заметил Пьер Бурдьё, определяется «частичной неопределенностью и расплывчатостью» окружающего мира⁶¹. Интеллектуальным результатом такой «подвешенности» смысла⁶², разумеется, не является ни тезис о принципиальной непознаваемости социального мира, ни идея о его всеобщей сконструированности⁶³. Не претендуя на системную стройность, «пространственный» подход тем не менее позволяет проследить моменты совпадения места и человека, позволяет локализовать *место-имени-я*. «Чувство позиции» — *место-имение*, — возникающее в процессе такого со вмещения индивидуального и пространственного, служит одновременно и начальной точкой анализа пространства семьи, и его

⁶⁰ Haraway D. *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. — Stanford, 1991. — P. 195.

⁶¹ Бурдьё П. *Социология политики...* — С. 64.

⁶² Там же.

⁶³ Интересную дискуссию между «конструктивистами» и «объективистами» в исследовании семьи см.: *Journal of Marriage and Family*. — 2002. — Vol. 64.

центром⁶⁴. А сама семья, как справедливо отмечает американская литературовед Шосана Фелман, превращается в механизм «социо-символического структурного позиционирования [субъекта] в запутанном созвездии альянсов»⁶⁵.

Попытки исследования семьи, предпринятые в этом сборнике, условно можно разделить на две основные темы. Одна из них связана с исследованием эффектов *символической локализации* конкретного человека, которые терминология родства способна произвести в процессе описания ее/его жизненного опыта⁶⁶. Возникая в процессе идентификации с той или иной структурной позицией в семейном или родовом пространстве, субъект становится началом цепи необходимых и существенных социальных различий⁶⁷. Задавая систему отсчета («шкалу»), термины родства координируют характер отношений между доступными позициями («системами»), позволяя членам семьи осознать/выразить и собственную местоположенность и местоположенность других⁶⁸.

Кроме того, родство, с генеалогической и/или биографической традициями его репрезентации, дает субъекту возможность занять устойчивую — *авторскую* — позицию по отношению к собственному опыту⁶⁹. Логика формирования рода или семьи становится фабулой, благодаря которой лейтмотив собственной деятельности приобретает временную и сюжетную последовательность⁷⁰.

⁶⁴ См. подробнее: Ман П. де. *Слепота и прозрение: статьи о риторике современной критики*. — СПб., 2002. — С.112—113.

⁶⁵ Felman S. *Jacques Lacan and the adventure of insight: psychoanalysis in contemporary culture*. — Cambridge, 1987. — P.104.

⁶⁶ О роли локализации см. подробнее: Simpson D. *Situatedness, or Why we keep saying where we're coming from*. — Durham, 2003.

⁶⁷ Об эго-центричности родовой структуры см., например: Johnson C. Perspectives on American kinship in the later 1990s // *Journal of Marriage and the Family*. — 2000. — Vol. 62. — P. 633.

⁶⁸ О социально-дифференцирующей функции родства см., например: Гиренко Н. М. Латеральность и линейность как дифференцирующие признаки социального организма родства // *Алгебра родства*. Вып. 3. — СПб., 1999. См. также его полемическую статью «Госпожа Артемова познала все...», опубликованную там же.

⁶⁹ См.: Бурдьё П. Биографическая иллюзия // *ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация*. — 2002. — № 1.

⁷⁰ См., например: Jefferson R., Reyes A. History telling at the kitchen table: Private Joseph Shields, World War II, and mother-centered memory in the twentieth century // *Journal of Family History*. — 2002. — Vol.47 (4). См. также: Рикер П. Время и рассказ: конфигурация в вымышленном рассказе. — Т. 2. — СПб., 2000. — С. 95—106; Трубина Е. *Рассказанное Я: отпечатки голоса*. — Екатеринбург, 2002.

Приведу один пример того, как символическая локализация субъекта реализуется в текстуальной практике. В рассказе «Гимн семье» Людмила Петрушевская пишет:

Краткий ход событий:

- 1) Одна девушка, секретарша и студентка-вечерница, очень симпатичная, высокая, большеглазая, худенькая, была из хорошей семьи, однако у ее матери была некоторая история.
- 2) Ее мать была, в свою очередь, незаконнорожденной дочерью и плодом целой семьи, а именно:
- 3) жили три сестры, одна была замужем, вторая еще только пятнадцати лет, и муж старшей сестры натворил дел, то есть пятнадцатилетняя забеременела, и этот муж повесился, а пятнадцатилетняя сестра родила, и родила она как раз дочь висельника, которая была ей ненавистна.
- 4) Но эта дочь выросла и благополучно вышла замуж и родила в срок и как принято, и родила опять дочь:
- 5) как раз эту секретаршу и студентку Аллу. Алла выросла и в пятнадцать лет начала гулять с мужчинами, и мать ей этого не прощала, и ругалась и плакала, а затем помаленьку начала сходить с ума. Кроме того, она заболела болезнью с очень дурным прогнозом:
- 6) полная неподвижность. Алла была с ней в очень плохих отношениях, потому что:
- 7) эта Алла была воспитана своей пятнадцатилетней бабушкой (см. п. 3), которая ненавидела свою дочь, будучи старше ее на пятнадцать лет, и в тридцать пять стала уже бабушкой и взяла к себе в провинцию маленькую внучку, а сама до этого жила со стариком, который приходился ей дядей (братом матери)...⁷¹

Этот отрывок в гипертрофированной форме отражает суть семейного пространства как поля дифференцирующих отношений⁷². Каждый «ход событий» вводит новую точку отсчета, описывая новую субъектную позицию (например, «сестра») и связанную с ней субъектную функцию («родила»). Социальное значение каждой позиции, в свою очередь, определяется через ее отношение с другими позициями и позициями других («сестра родила дочь висельника»; «бабушка ненавидела дочь, а сама жила со стариком» и т.д.). Показательна и роль «главного действующего лица» — дав ход событиям («одна девушка, секретарша и студентка-вечерница»), «Алла» тем самым ретроспективно сформировала *вокруг себя* груп-

⁷¹ Петрушевская Л. Гимн семье // Петрушевская Л. *Мост Ватерлоо*. — М., 2001. — С. 139.

⁷² Философский анализ проблемы дифференциации в семье см.: Goux J.-J. *Oedipus, philosopher*. — Stanford, 1993.

пу, оказавшись в итоге в центре заданной ею сети отношений и координат (мать-сестры-муж—отец-дочь-бабушка-внучка-дядя—дед). Вновь, как и в сюжете с Михалковым, о котором шла речь выше, субъективное «Я» — из стабильной и «привилегированной категории»⁷³ — оказалось лишь временным эффектом меняющихся отношений, стало узлом, «связавшим» вместе и эти отношения, и людей, вступающих в них.

Цитата проясняет и еще один механизм. Являясь условием *связности* биографии, семейные уз(л)ы в то же время обнажают и принцип *со-поставления*⁷⁴, принцип одновременного *сближения* и *установления* родственных отношений, благодаря которому *связность* смысла и опыта становится возможной. «Структура спутанности»⁷⁵ этого многообразия различаемых, но не всегда делимых родственных позиций, амбивалентность и переплетение этих позиций и отношений, позволяя «разойтись различным нитям и различным линиям смысла», в то же самое время готова связать другие линии и нити⁷⁶ в ткань индивидуальной жизни.

Если восприятие семьи как многомерного и подвижного жизненного пространства, в котором локализуется опыт субъекта⁷⁷, во многом определило структурную направленность предпринятых в *Семейных узлах*... попыток разобраться с логикой семейных отношений, то второй важной составляющей этого сборника стало стремление понять формы реализации принципа *взаимного обмена* обязанностями и услугами, который, собственно, и составляет на практике суть родственных взаимоотношений⁷⁸. Как отмечал в своей работе Бурдые:

Если все, что касается семьи, не было бы окружено замалчиванием, то не нужно было бы напоминать, что сами отношения между предками и потомками существуют и делятся лишь благодаря непрерывной

⁷³ Ман П. де. *Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста*. — Екатеринбург, 1999. — С. 222.

⁷⁴ Деррида Ж. Различание // Деррида Ж. *Письмо и различие*. — СПб., 2000. — С. 394.

⁷⁵ Там же. — С. 378.

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ См.: Винникотт Д. *Игра и реальность*. — М., 2002. — С. 155—198.

⁷⁸ В своей работе об аборигенах Самоа Мид отмечала: «Родственниками считаются те, к кому мы обращаемся со всем множеством своих проблем и перед кем у нас множество обязанностей» (Mead M. *Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for Western civilization*. — N.Y., 1928. — P. 45).

работе по их поддержанию и что существует экономика материальных и символических обменов между поколениями⁷⁹.

Практика разнообразных материальных и символических обменов, однако, не должна скрывать из виду ее геобиографического контекста: именно факт родовой местоположенности индивида, внешняя манифестация его «встроенности» в ту или иную систему родства выступает как необходимое и достаточное условие мотивации его поведения («бабушка взяла к себе внучку»). Выступая в форме разнообразных *социальных* связей — обменов, — родственные отношения, таким образом, всякий раз обнажают свою «естественную» основу, свой «органический порядок» («ведь ты же брат мне»)⁸⁰. Именно этой способностью легитимизировать перевод, трансформацию принципов «естественных» — «безусловных» — отношений на язык социальных практик, символов и условий во многом и определяется специфика семьи. Верно и обратное. В условиях отсутствия или недоступности четко выраженных классовых, национальных, религиозных или, допустим, корпоративных форм само-описания, экономика символических и материальных обменов между родственниками может выступать в качестве универсального механизма символического *упорядочивания* ткани социальных отношений в целом. Цитата из расследования Эдуарда Лимонова может служить хорошим примером того, как попытки семейной локализации, как определение конкретных параметров семейной встроенности, т.е. определение соответствующего характера обмена обязанностями и услугами, может использоваться для придания смысла социальным ситуациям, логика которых неочевидна. Один из интервьюеров Лимонова — бывший гендиректор телекомпании — так описывает процесс покупки алюминиевого завода в Саяногорске:

Приехали московские парни, купили завод. Ситуация не так страшна для большинства людей... У Дерипаски имидж очень умного человека. Ходят слухи, что он не то племянник Сосковца, не то незаконнорожденный сын Сосковца. Он плохо не выглядит. Он как нечто неосязаемое. ...Не говорливый человек. Говорит невнятно. Взгляд как рыбы глаза. Точно родовая травма была. Ни с кем не общается в го-

⁷⁹ Бурдые П. *Практический смысл*. — СПб., 2001. — С. 323.

⁸⁰ Любопытный пример анализа использования ритуала обмена для формирования «семьи» верующих см.: Penn M. Performing family: Ritual kissing and the construction of early Christian kinship // *Journal of Early Christian Studies*. — 2002. — Vol. 10 (2).

роде. Редко бывает. Центр «Сибирского алюминия» теперь в Самаре. Чем дальше, тем меньше появляется в Саяногорске. ...Одет? Модные пиджаки, кофты, часто без галстука. Не женат. Якобы встречается с дочерью Березовского Лизой, сейчас раскручивают его с дочерью Юмашева, будто бы. Когда только приехали, он и команда на выходные летали в Москву... Смотрел на город через окно своих мерсов...⁸¹

По меньшей мере три момента интересны в этом отрывке. Прежде всего, смысл происходящего обмена «завода» на деньги становится результатом персонификации *участников* обмена: безличные «московские парни» превращаются в конкретного «Дерипаску». Аналогичным образом невозможность четко зафиксировать структурное и смысловое положение «товара» («центр «Сибирского алюминия» теперь в Самаре») проецируется на объект персонификации. Неуловимость *личностных* характеристик «Дерипаски» («неосязаемый», «неговорливый», «невнятно») отражает неопределенность его *семейного положения*. Структурная «подвешенность» завода и структурная «подвешенность» человека в результате оказываются слитыми в метафоре «родовой травмы» и незавершенной серии идентификационных позиций: «Дерипаска» «будто бы» становится «племянником Сосковца», его «незаконнорожденным сыном», другом «дочери Березовского» и, наконец, другом «дочери Юмашева». Важны в данном случае, конечно, не сами позиции — хотя существенно, что семейная идентификация оказалась единственно доступной формой символизации коммерческих отношений, — важны конкретные формы обмена обязанностями и услугами, которые эти позиции призваны обозначить не называя.

Принципиален и еще один момент. Возможная *встроенность* «Дерипаски» в известные конфигурации семейных интересов обозначается как его *удаленность* от структур символического обмена, уже сложившихся в Саяногорске («ни с кем не общается в городе»). Социальная дистанцированность («смотрел на город через окно»), в свою очередь, реализуется как дистанцированность географическая («на выходные в Москву», «меньше появляется в городе»). Наконец, это *пространственное* социальное противостояние принимает форму *структурного* противопоставления: детализацию семейных отношений («племянник», «сын», «друг семьи») призвано уравновесить монолитное, недифференцированное единство («город», «большинство людей»). Благодаря простран-

⁸¹ Лимонов Э. *Охота на Быкова: расследование Эдуарда Лимонова*. — СПб., 2001. — С. 289—290.

ственному восприятию социального мира совмещение логики родства и логики социальных трансформаций стало возможным: ареной «семейного» — *частного* — бизнеса становится все доступное *публичное* пространство, в котором в качестве навигационной карты служат конфигурации родственных связей и интересов.

Структурирующий успех логики родства, ее способность задать направление отношениям, выходящим за пределы собственно родственных, во многом определяется способностью семьи локализовать в социальном пространстве опыт индивидуальной жизни. Различение родственных позиций позволяет определить собственную местоположенность в поле социальных отношений обмена. В свою очередь, установленное геобиографическое положение — *место-имени-я* — может одновременно стать и началом отсчета очередной системы (родства), и содержательным центром повествования о ней. Вряд ли такой процесс организации жизни способен сколько-нибудь упростить «структуру спутанности» ткани социальных отношений. Его задача состоит в другом — показать из какого материала плетутся сети родства и из каких узлов формируются ячейки общества.

* * *

В работе о Сергее Эйзенштейне Виктор Шкловский замечает, что восприятие и понимание есть процесс расчленения, процесс выделения, процесс обозначения разрывов, их склеек и узлов. «Мы познаем мир, его разделяя, — писал литературовед. — Мы передаем его словами, делим на фразы. ...мы отделяем их, сталкиваем, окрашиваем путем выбора словесного материала. Мы создаем сцены, разрушаем их на главы. И вне монтажного восприятия, вероятно, восприятия нет...»⁸².

Книга «*Семейные узы: Модели для сборки*» является и примером, и результатом подобного монтажного восприятия мира. Сборник представляет собой определенное «сцепление» глав, каждая из которых, в свою очередь, строится на столкновении составляющих эти главы текстов. И хотя методы «разруба на главы» в каждом случае были свои, «срезы» реальности, возникшие в итоге, сохраняют общность очертаний: темы глав не столько определяют со-

⁸² Шкловский В. *Эйзенштейн*. — М., 1973. — С. 99.

держательную направленность статей, сколько задают траекторию их прочтения.

Смысл и значение ценностей, как правило, четче всего осознается в процессе их утраты или исчезновения. Место, освободившееся в ходе такой потери, однако, не только обнажает круг отношений, которые формировались исчезнувшим объектом; отсутствие также может стать и поводом для пересмотра уже сложившихся отношений. В главе «*Фамильные ценности*» представлены статьи, основной темой которых и стала утрата привычного социального, географического, политического *положения*, утрата, резко изменившая ценности семейной организации жизни. Локализация и активная поддержка родственных связей в данном случае превратились в способ ориентировки в изменяющемся контексте.

В статье Яна Еремеева реализация декабристами в сибирской ссылке идей и ценностей «большой семьи», точнее, инсценировка особенностей сюжетных взаимодействий семейных типов-персонажей, становится своеобразной реакцией на смену привычного социального и географического статуса. Сходная утрата привычного контекста является основным мотивом и статьи Ирины Разумовой. Однако в данном случае интерес к формированию *собственной* семейной истории, который исследовательница проследивает на материале интервью с жителями европейского Севера России, их попытки выстраивать *собственную* родословную, связаны с резким исчезновением *общей* — советской — системы привычных смысловых координат.

Статья Александра Прохорова демонстрирует иной — негативный — принцип актуализации семейного жанра. Распад семьи, рассмотренный автором на примере мелодрамы «*Летят журавли*» (реж. М. Калатозов, 1957), экранизаций Шекспира «*Отелло*» (реж. С. Юткевич, 1955), «*Гамлет*» (реж. Г. Козинцев, 1964) и комедий «*Берегись автомобиля*» (Э. Рязанов, 1966), «*Пес Барбос и необыкновенный кросс*» (реж. Л. Гайдай, 1961) и «*Самогонщики*» (реж. Л. Гайдай, 1962), стал формой критики сталинизма, переоценкой тоталитарного мифа о семье и отце народов. Сходное внимание к идеологической роли семейного жанра характерно и для текста Ольги Шабуровой. Репрезентации семьи в массовой культуре (семейные истории Оксаны Пушкиной, семейные ток-шоу на телевидении, семейные газеты и журналы), по мнению исследовательницы, стали способом ухода потребителем этого культурпродукта от реальности. Ухода, вызванного нежеланием потребителей принимать доступную им реальность в расчет. Аналогичная попытка понять харак-

тер взаимоотношений семейного жанра с меняющейся реальностью предпринята и в тексте Ирины Савкиной. На примере романов Л. Улицкой и В. Аксенова автор статьи показывает как логика строительства (и разрушения) дома и рода, проводящая четкую границу между «своими» и «чужими», позволяет придать смысл хаосу социальных перемен.

Способность определить с помощью сети родственных отношений местоположенность индивида, разумеется, не исчерпывает структурные возможности самой сети. Место-*нахождение*, т.е. *активный выбор* позиции и определяемых ею отношений, является еще одним важным последствием включенности человека в социальное пространство. Выбор форм родства, т.е. выбор круга лиц, в рамках которого обмен услугами и обязанностями становится взаимным и безусловным, рассматривается в разделе «*Родство по выбору*».

Особенностью супружеского выбора, напоминают в своей статье Ольга Казьмина и Наталья Пушкарева, является, как правило, необходимость его юридического признания, трансформирующего союз двух людей в брак. Предметом исторического обзора исследовательниц и стали особенности юридической фиксации супружеского выбора в России на протяжении двадцатого века. Вернее — особенности участия государства в процессе легитимации индивидуального выбора.

Дэвид Рансель на материале интервью с русскими и татарскими женщинами трех поколений прослеживает *практики* образования семьи в сельской России прошлого столетия. Анализ способов ухаживания и посиделок, вариаций сватовства и свадебных ритуалов наглядно демонстрирует, что супружеский выбор становится результатом комплекса мероприятий, т.е. целенаправленно организованного пространства и людей.

Вариативность самого выбора родства стала основной темой трех других статей этого раздела. В центре литературного обзора Марии Литовской и Елены Созиной ситуации, в которых *выбор* становится невозможным, т.е. ситуации, в которых само понятие возможной родственной альтернативы/противопоставления утрачивает всякий смысл. В итоге супружеская пара превращается в любовный треугольник, в своеобразную устойчивую триаду. Или, как замечают авторы, — в единую троицу.

Социальные последствия выбора родства, не подкрепленного официальной традицией, стали ключевыми для статей Надежды Нартовой и Браяна Бэра. Опираясь на интервью с лесбийскими

парами Петербурга, имеющими продолжительный опыт семейных отношений, Н. Нартова пытается уйти от традиционного стремления использовать сексуальность в качестве основного интерпретирующего принципа подобной формы семейной организации. Отсутствие соответствующих нормативных моделей и социально-юридической легитимности приводит, по мнению социолога, к тому, что определяющим для лесбийских семей становится способность выстраивать «чистые отношения», в основе которых лежат равноправие, открытость, рефлексия и близость. Используя материалы отечественной научно-популярной и художественной литературы, Б. Бэр, в свою очередь, анализирует еще один пример отсутствия позитивной репрезентации гомосексуальных союзов. Трагичные фигуры «голубого изгиба» и «преступника-педофила», став риторическими клише, сделали, по мнению автора, невозможной взвешенный анализ и спокойное обсуждение темы гомосексуального родительства.

В своей книге «*Практика повседневной жизни*» Мишель де Серто отмечал, что цель анализа многообразия «тактик», артикулированных в деталях быта, состоит прежде всего в том, чтобы вывести из тени формы разрозненного, сиюминутного творчества, с помощью которого группы или индивиды противостоят давлению социальной дисциплины и ограничениям той социальной сети, в которой они оказались⁸³. Взаимодействию и противостоянию социального порядка и бытового «творчества» в рамках семьи посвящены статьи раздела «*Бытовые тактики*».

Противодействие российских солдаток дискриминационной политике государства анализирует в своей статье Павел Щербинин. Используя обширный архивный материал, историк убедительно показывает, как социальная «неприкаянность» солдатки, ее маргинальный семейный статус стали причиной поиска новых форм устройства семейной жизни и защиты собственных прав. В еще одной исторической работе Сюзан Рид обращает внимание на иной аспект повседневной жизни. Используя в качестве своего аналитического материала советское изобразительное искусство второй половины 1950-х годов, С. Рид демонстрирует, как реформа «эстетики повседневной жизни» хрущевской поры, как попытка привести «в порядок» семейный уклад стали способом активного внедрения государства в частную жизнь людей. К сходной теме радикальной «модернизации быта» обращается в своей ста-

⁸³ Certeau M. de. *The practice of everyday life*. — Berkeley, 1988. — P. XIV—XV.

тье и Нэнси Рис. В данном случае речь идет о формировании новых бытовых привычек постсоветской элиты. На материалах журнала «Профиль», Н. Рис показывает, как этот вид постсоветской семьи становится своеобразным пространством, *стартовой площадкой*, в пределах которой испытывается и трансформируется традиционный облик власти. Тему семьи как испытания доставшегося образа жизни продолжают в своей статье социологи Елена Ярская-Смирнова и Ирина Дворянчикова. Построенная на основе бесед с инвалидами, статья исследует способы само-позиционирования и само-нахождения этих людей в пространстве семейных отношений. Выбор в пользу семьи иногда определяется вопросами необходимости, иногда — вины или ответственности, иногда — чувством любви и уважения. Стандартным остается одно — негативное предубеждение окружающих к жизни инвалидов. Как показывает статья Ильи Утехина, нередко освоение подобных моделей конфликтного взаимодействия происходит именно в семье. Опираясь на теории коммуникативного взаимодействия, автор анализирует семейные версии коммуникативных патологий, формы их проявления и способы защиты.

Повседневные тактики неотделимы от стратегий. Однако, как подчеркивает де Серто, в отличие от тактик, возникающих «здесь и сейчас», «стратегия занимает место, которое может быть описано как место *собственное (proper)*, т.е. место, способное служить основой для формирования отношений со всем, что находится вовне»⁸⁴. Политика и практика половых отношений, формирующихся с точки зрения определенного *места*, исследуется в главе «*Половые стратегии*».

Трансформацию социальной роли и архитектоники супружеской спальни — места, в котором стратегии сексуальности нередко достигают своей логической кульминации, — анализирует в своей статье Дмитрий Михель. С помощью исторического материала и свидетельств современности автор увязывает возникновение спальни как приватизированного пространства с зарождением среднего класса — будь то буржуазия Европы или советский средний класс. Собственно обсуждению сексуальных отношений советского среднего класса посвящена статья Анны Темкиной. Половая жизнь «строителей коммунизма» в данном случае реконструируется с двух позиций: обзор нормативных моделей половых отношений, сформулированных в советской научно-популярной

⁸⁴ Там же. — Р. XIX.

литературе по вопросам «брака и семьи», дополняется воспоминаниями о «рутине» семейного секса, собранными в ходе интервью с мужчинами и женщинами в середине 1990-х годов.

Сексуальность как материальную основу формирования социальных отношений исследует в своей статье Анна Роткирх. Подробно анализируя две мужские автобиографии, автор показывает, как сексуальность превращается в механизм социальной мобильности («побег в средний класс») или становится ключевым элементом профессиональной деятельности. Акцент на *основообразующем* характере сексуальности делает в своей работе и Дмитрий Воронцов. Цитируя материалы опросов и интервью, проведенные в сообществе геев в Ростове-на-Дону, психолог приходит к выводу о том, что, в отличие от понятия «партнерство», само понятие «семья», с типичным для него гетеросексуальным распределением семейных «ролей», не способно удовлетворить интересы «сексуального меньшинства» и, как правило, вступает в противоречие с сексуальными практиками и ценностями реально существующих гомосексуальных союзов. Статья Валентины Котогиной об опыте семейной жизни транссексуалов подчеркивает еще один аспект стратегической роли сексуальности. Хотя половая идентичность и является продуктом *индивидуальной* идентификации, широта самого идентификационного спектра зависит от степени чувствительности социального сообщества. Сеть существующих механизмов общественного непризнания (исключение, табуирование, медиализация, регистрация и т.п.) транссексуальной идентичности в итоге способна заблокировать возможность легитимизации реально сложившихся практик семейной жизни.

В устойчивом сочетании «семья и школа» союз «и» мог бы легко заменить союз «как». Педагогическая функция семьи, — впрочем, как и семейная риторика, окружающая школу, — давно воспринимается в качестве основного принципа, оправдывающего создание и существование самой семьи. Но очередная демонстрация универсальности дето-центристского принципа организации семей целью раздела «*Педагогической прозы*» не является. Глава посвящена ситуациям, в которых педагогические возможности «семьи-как-школы» существенно модифицируются условиями ее существования. В работе Линн Виссон таким условием становится воспитание ребенка в «смешанных» браках. Используя материалы интервью с мужьями и женами из русско-американских семей, автор обозначает сходства и расхождения двух культур в практиках семейного воспитания детей. Тему сравнительного анализа ран-

ней социализации в русских и американских семьях продолжает статья Элизабеты Мур и Александра Эткинда. Различные институты суррогатного материнства (няни, кормилицы, воспитательницы, наставники, дядьки и т.п.), сформировавшиеся в крепостной России и на рабовладельческом юге Америки, значительно повлияли на педагогический ландшафт двух культур. Став частью национальной памяти, эти фигуры, как отмечают авторы статьи, продолжают оставаться влиятельными историческими символами и сегодня.

«Как наличие нетрадиционного семейного опыта или даже отсутствие такого опыта может повлиять на формирование семейных представлений у ребенка?» — таков основной вопрос, на который пытаются ответить остальные статьи данного раздела. Привлекая итоги социологических опросов, Лариса Луныкова в своей работе анализирует изменение социальной политики государства в отношении *материнских* семей в России. Система финансовых льгот и выплат одиноким матерям, существовавшая в 1980-х годах, позволяла им самостоятельно справляться с материнскими и профессиональными нагрузками. Распад системы поддержек приводит к тому, что из формы относительно эффективного родительства, материнские семьи нередко превращаются в кризисную среду. С иной точки зрения анализируется отсутствие в семье отца в тексте Татьяны Снегиревой и Алексея Подчиненова: «неполная» семья воспринимается здесь сквозь призму *безотцовщины*. Строя свое исследование на произведениях советской литературы, авторы прослеживают эволюцию отношений «отцов и детей» в советском обществе. Еще один вариант темы отсутствия представлен в работе Дмитрия Бычкова. На материалах семейных журналов («*Семья и школа*» и «*Мир школы*») и интервью с сиротами исследователь пытается установить специфику идентификации молодых людей, лишенных большую часть своей жизни семейного опыта. Наконец, статья Ребекки Кей воссоздает картину противоречивых взглядов по поводу «предназначения» мужчины и женщины, характерных для постсоветского общества. Обзор публицистических материалов дополняется анализом интервью с участницами неформальных организаций, которые провела автор в середине 1990-х годов в городах европейской части России.

Люис Альтюссер в своей классической статье, посвященной идеологии и государственным идеологическим аппаратам, включил в состав последних наряду с церковью, образованием, правом, политической системой, прессой и т.п. и семью. Опережая обви-

нения в том, что семья традиционно относится к частной сфере, Альтюссер справедливо замечает, что абсолютно неважно, где «находятся» те или иные государственные идеологические аппараты, важно какую функцию они выполняют⁸⁵. Идеологическая функция семьи, встроенность семьи в поле политических отношений и стали предметом обсуждения в главе «*Политика частного*».

Особенности конструирования облика американской семьи на страницах «*Крокодила*», «*Работницы*», «*Семьи и школы*» обсуждаются в статье Олега Рябова. Семейные сцены из «чужой жизни» удачно сочетали в себе инаковость политического строя с инаковостью родственных отношений. Сформированные советской пропагандой времен холодной войны, карикатурные персонажи «американской семьи» стали доходчивым идеологическим средством, олицетворявшим идею принципиальной противоположности двух миров и двух типов семейной морали.

Другой пример тесного и противоречивого сращивания «*семейного*» и «*политического*» исследует в своей работе Наталия Данилова. Основой для анализа стала история и деятельность организаций «солдатских матерей» Петербурга и Ленинградской области. Возникнув на исходе войны в Афганистане, организации матерей погибших и несущих службу солдат стали важным политическим институтом постсоветской России. Однако, как отмечает автор статьи, попытки строить политическое движение на «*семейной*» идентичности неизбежно приводят к столкновению требований родства с требованиями права.

Политике литературного наследия и литературной генеалогии посвящен текст Катерины Непомнящей. Основой работы стали литературные и биографические тексты Татьяны Толстой, а также та полемика, которая обычно сопровождает публикации писательницы. В ходе обсуждения вопросов литературной *генеалогии* и литературного *наследия* автор показывает, как Толстая отражает в своих текстах формирование институтов ложной родословной, с помощью которой маскировались разрывы традиции и культурная амнезия советского периода.

Тему исторической прерывности продолжает текст Сюзан Гал и Гейл Клигман, посвященный роли семьи в процессе социальных трансформаций в восточной Европе. Как изменение формы и содержания государства может повлиять на изменение configura-

⁸⁵ Althusser L. Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation) // *Mapping ideology*. Ed. by S. Zizek. — London, 1994. — P. 110.

ции семейных отношений? С помощью сравнительного изучения социальных государств Запада и Востока, авторы статьи отвечают на этот вопрос.

Демография как политическая идеология — так можно было бы определить основное содержание статьи Татьяны Журженко. Дебаты по поводу семьи в академической и политической прессе Украины, по мнению автора, являются показательным примером того, как в процессе осуществления национальной независимости семья из социалистической «ячейки общества» превращается в символ национального возрождения и преемственности поколений.

Превращение понятия «семья» в базовую метафору политической и экономической власти исследует в своем тексте и Галина Орлова. В данном случае, однако, речь идет о превращениях вполне конкретной «ячейки общества» — «семьи Ельцина». На основе материалов печатных и электронных средств массовой информации автор статьи прослеживает метаморфозы семейственности в политическом дискурсе России последнего десятилетия. То, что Россия в данном случае вряд ли является исключением, подтверждает статья Кирило Лукеренко. Поле властных отношений на Украине, как свидетельствует автор, организуется в процессе пересечения интересов и институтов четырех семей: про-президентского политика Виктора Медведчука, бывшего вице-премьера Юлии Тимошенко, либерала Виктора Ющенко и президента Украины Леонида Кучмы.

Глава «*Жизнь в пути*», завершающая этот сборник, во многом является своеобразным примером практической реализации пространственного восприятия семьи. География, точнее перемещение в пространстве, — в данном случае стала и основной причиной резкого изменения форм семейной организации, и основным условием возможности таких изменений.

Опираясь на архивные материалы и опубликованные воспоминания декабристов, Евгения и Наталья Матхановы раскрывают в своей статье непростые конфигурации отношений, сложившиеся у ссыльных с местными женщинами. «Безнадежность возврата» во многом привела к тому, что — наряду с вполне традиционными браками с сибирячками — декабристы практиковали и разнообразные формы «гражданских браков»: от случайных и временных связей до устойчивых «вторых» семей.

Роль брака, т.е. юридически закрепленного статуса, в процессе формирования идентичности мигранта исследуется в статье Катерины Клингсайз. В процессе дискурсивного анализа трех

интервью с русскими женщинами, вышедшими замуж за австрийцев, автор приходит к выводу о том, что дискурсивная природа идентичности «мигранта» может иметь вполне материальные последствия — от разнообразных физических препятствий до ограниченного числа моделей «само-восприятия» и «узнаваемости», соответственно сужающих спектр возможных действий.

Понять логику конкретных материальных проявлений такого «суженного» спектра действий пытается в своем тексте Елена Гапова. Используя материалы включенного наблюдения, а также тринадцать интервью со специалистами по новым технологиям и членами их семей, автор анализирует поведение и самовосприятие «жен программистов», уехавших со своими мужьями в Америку. Синдром «интенсивного материнства» в данных условиях становится для «жен программистов» единственным доступным способом повысить свой социальный статус и свою значимость. Семья как основной механизм адаптации в условиях миграции исследуется и в статье Сергея Рязанцева, завершающей сборник. Как свидетельствуют материалы опроса, проведенного автором, в процессе вынужденной (стрессовой) миграции в Ставропольский край из районов военных действий и межэтнических конфликтов именно семья становилась основой материальной и моральной поддержки.

Составляя и редактируя этот сборник, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что ни монтаж глав, ни сцепление текстов не смогут преодолеть «структуру спутанности» семейных отношений. Анализ семейных уз и моделей, доступных для их сборки, предпринятый в этой книге, — это попытка начать обсуждение «семейной» тематики вне — или поверх — дисциплинарных барьеров. Закономерным результатом такого подхода стало разногласие авторских позиций, их методологическая и терминологическая противоречивость, альтернативой которым, пожалуй, может быть лишь удущающая монотонность «правильных» ответов и безопасная безликость «хорового» исполнения «старых песен о главном».

* * *

Сборник «*Семейные уз: Модели для сборки*» вряд ли появился бы в свет без помощи близких, друзей и коллег. Я благодарен Ким Лейн Шеппели за ее постоянную поддержку и участие, без которых эта книга так и осталась бы нерезализованным проектом. Мне также хотелось бы выразить признательность Татьяне Барчуновой,

СЕРГЕЙ УШАКИН

Геннадию Батыгину, Дмитрию Бычкову, Елене Гаповой, Елене Гошило, Сергею Канну, Нине Клещевой, Александру Клецину, Игорю Кону, Сюзан Ларсен, Татьяне Медведевой, Марианне Муравьевой, Дмитрию Мусолину, Бенджамену Натансу, Галине Орловой, Павлу Романову, Ирине Савкиной и Игорю Силантьеву за их помощь и советы. Возможность участвовать в конференциях «*Семья как поле битвы: социальные симптомы и экзистенциальные тупики*» (Уральский государственный университет, 2002) и «*Отец-Рейн и Матушка-Волга: местные, национальные и половые аспекты идентичности в России и Германии*» (Славянский семинар, Фрайбургский университет, 2002) помогла мне установить творческие контакты, некоторые из которых материализовались в этом сборнике в виде статей. Я благодарен организаторам этих конференций — Марии Литовской, Елене Трубиной, Ольге Шабуровой и Елене Трофимовой и Элизабет Шоре — за предоставленный шанс.

Финансовая и организационная поддержка «*Civic Education Project/SCOUT*» и редакции «*Нового литературного обозрения*» значительно облегчили подготовку и издание этого сборника; без этой поддержки «*Семейные узы...*» были бы невозможны.

Июнь 2003 г.
Москва.

I

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ян Еремеев

ПСИХОПОЭТИКА ССЫЛКИ: СКАЗКА О ДЕКАБРИСТСКОЙ СЕМЬЕ

— Сын мой, не лучше ли пройти *поприще жизни* сей стезею мира, стезею, усеянную цветами простых наслаждений? Не приятнее ли жить покойно, в светлой хижине, услаждаться дружбою, питаться млеком стад своих и одевать себя домашним руном... Не лучше ли, утолив беспокойство юного сердца, сочетать его с сердцем милой девицы — выбрать супругу верную, кроткую, соединяющую разум с нежностью? Не благоразумнее ли укрыть светильник жизни своей от вихрей случайностей, от мятежа людских страстей под тень домашнего благополучия; *быть* для того, чтоб наслаждаться бытием своим и, процвета сединами... тихо угаснуть в объятиях любимицы души твоей, в кругу семейства, опершись на веру и чистую совесть?..

— Теперь ли то время, о мой отец! чтобы помышлять о мирной жизни и тихих радостях семейного счастья? Что сказал бы ты о детях, празднующих брачный пир свой подле смертного одра умирающей матери! А разве Малороссия не мать нам?.. И кто не видит глубокой могилы, изрываемой ей самовластием тиранов?.. Да угаснут свечи брачные, да исполнится край наш слезами, стонами и молением! Пусть каждый супруг отречется разделять счастье брачного ложа с младою подругою, жених да не вводит невесты во храм и матери да поклянутся не приближаться к колыбелям первенцов своих, доколе не будет освобождено Отечество!

Федор Глинка. «*Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия*»

Мог ли Федор Глинка, член масонской ложи «*Избранный Михаил*» предположить в 1819 году, что напряженный спор главного героя его повести «*Зиновий Богдан Хмельницкий*» со старцем Вассианом вовсе не станет дилеммой его собственной жизни? Один из основателей «*Союза благоденствия северных рыцарей*», позже охладевший к де-

кабристскому движению, он блестяще обойдет все ловушки Следственной комиссии, «отделается» высылкой в Петрозаводск, где тотчас начнет свою, в целом удачную, административную карьеру (как столичный литератор и награжденный золотым оружием полковник в других аристократических поприщах он, со всей очевидностью, состоялся). Женится, под конец жизни займется археологией и общественной деятельностью, постоянно будет печататься, до самого 94-летнего рубежа жизни не оставляя духовные искания и увлечение мистицизмом. Человек, во всех отношениях реализовавший себя.

Автор всеимперского бестселлера «*Письма русского офицера*» удивился бы еще больше, узнав, что его многогранную судьбу повторит большинство благородных заговорщиков, только сообща. И все та же дилемма вновь разрешится, пусть сурово, с титаническими издержками, горестями и страхом, стрессами и сомнениями, но не менее достойным вдохновенных строк образом. На смену Отечеству — большой гражданской семье, придет Семья — малое отечество, размах приложения сил и планов сузится, став интенсивным и прагматичным. Тотальный реформизм как жизненная стратегия декабристов не угас 14 декабря 1825 года — он только вызревал.

О семье и гиперсемиотизированном поведении

...Общая идея, общее стремление к одной и той же цели давали каждому лицу тот живой интерес, возбуждали то сочувствие, которое составляло из стольких лиц одну *общую семью*¹. ...В этой *большой семье*, где юноши 18- и 20-летние ежечасно находились в столкновении с людьми пожилыми, которые могли бы быть их отцами, ни одного разу не случилось видеть или слышать не только личного оскорбления, но даже нарушения того приличия, которое в кругу людей образованных составляет одно из необходимых условий жизни общественной. Мирно текла наша жизнь, среди шума желез, которыми скованы были наши ноги. Не без пользы протекло это время для Ивана Дмитриевича: он умел возбудить в юношах... желание усовершенствоваться в познаниях, ими приобретенных, и помогал им по возможности советом и наставлением. Часто по целым часам хаживал он с юным Одоевским и возбуждал его к той поэтической деятельности, к которой он стремился (*Мемуары декабристов. Северное...* 1981, 113).

¹ Здесь и далее курсив мой. Орфография и пунктуация первоисточников сохранены. — Я. Е.

Этот отрывок из воспоминаний Е. П. Оболенского об Иване Якушкине интересен не только патетикой и эпичностью, стандартно маркирующими романтическое мировидение, но и *фоном* — единственным фоном, на котором *фигура* одного из лидеров ссыльных декабристов обретает контрастность и рельеф. «Одна общая семья», «большая семья» — это могло бы быть расхожей метонимией² для обозначения свыше ста членов тайных обществ, вынужденных терпеть казематный кров и общество друг друга (теперь уже не тайное) с 1826 по 1838 год, те тринадцать лет, за которые заговорщики, собранные на каторгу, разъехались на сибирские поселения. Если припомнить, что к двенадцати из них присоединились жены, то «большая семья» могла бы быть и синекдохой³, в силу тесного сосуществования ссыльных и неизбежной разомкнутости узкосемейной жизни в круг «Семьи ссыльных».

Но дело обстояло сложнее, чем простые игры тропами. У Николая Басаргина, еще одного из «разбудивших А. Герцена», в мемуарах поздних, уже поселенческих времен, когда эпоха Большого Каземата давно миновала, можно прочесть:

Несмотря на рассеяние наше по всей Сибири и на отправление некоторых на Кавказ, мы все составляли как будто одно *семейство*: переписывались друг с другом, знали, где и в каком положении каждый из нас находится, и, сколько возможно, помогали один другому (*Мемуары декабристов. Южное...* 1982, 130).

Наименований того, в высшей степени странного и почти сюрреалистического микросоциума, который объединил декабристов в ссылке, вольно или невольно созидался и реформировался ими, оставив неизгладимый след в их душах и в сознании их потомков, сами благородные каторжники оставили много — «сообщество», «нега общественного квиетизма», «идиллия», «истинно апостольская жизнь», «единный организм», «просвещенное общество». В этом фейерверке контекстов (равно справедливо звучащих по поводу обсуждаемого предмета) наиболее интимным и оттого употребляемым редко, но всегда в связке с личными впечатлениями были термины «*семья*» и «*семейственность*».

² М е т о н и м и я — фигура речи, где один предмет служит обозначением другого: «хрусталь» в устах обывателя — не минерал, а изготовленная из него ваза, пепельница и прочие предметы интерьера.

³ С и н е к д о х а — фигура речи, где часть служит обозначением целого: «в районе 1000 голов крупного рогатого скота» — разумеется, в районе наличествуют не только «головы», но и рога, копыта, шкуры и т.п.

В лотмановских работах по поэтике бытового поведения россиян XVIII — начала XIX века декабристам отведено особое место. На фоне характерных феноменов эпохи — общая театрализация повседневности с широким проникновением сюжетов, амплуа, условностей искусства в нормы общения и поведения, взгляд на собственную жизнь как на текст, линейно устремленный к высшей развязке, забота о «пятом акте» (отождествление себя с трагическим героем, кодированное смертью), гиперсемиотизация жестов, фраз, поступков, самосознание в матрице мифопоэтических клише — во всей этой романтизированной атмосфере жизнь тайных обществ достигала гротеска.

Юрий Лотман определяет декабриста как «культурно-исторический и психосоциальный тип», реализуемый в совокупности с другими программами (аристократ, офицер, мужчина, русский, европеец, молодой человек), но отличавшийся уникальными чертами. Это человек «спартанского действия» и «римской прямоты суждений», прокламационной серьезности и резкой специфичности языка (слово не оформляло и облагораживало свершившийся поступок, а поступок фиксировал цену словам), человек, для которого даже бытовые детали обретали сверхсмысл («русские завтраки» у Рыльева, где кочаны кислой капусты и ржаной хлеб противопоставлялись светским пирам, а кабинетные занятия — танцам, картам и волокитству); наконец, культ братства, своеобразная иерархия идейной близости (от «конспираторов» до просвещенных сверстников) (Лотман 1992). А вот о системе семейных отношений декабристов патриарх отечественной семиотики говорит немного, подразумевая родство с общеаристократическими матримониальными программами и отдельно анализируя героиню миграции жен заговорщиков вслед за мужьями. Между тем именно супружество имело кардинальное значение для сибирской будущности Тайного общества, ставшего Явным. Сложно судить, в какой мере прекрасные половины определяли характер прогрессивных контактов своих суженых до выхода на Сенатскую площадь, но то, что 12 ссыльных семей в едином психологическом, просвещенческом и коммуналном усилии спаяли по образу и подобию своему Большую декабристскую Семью, мы и беремся доказать далее. Либеральное общество — конечная цель заговора, во всей пестроте и противоречивости его идеалов, — было построено. Не в России, но в Сибири, в Большом каземате. И ключевую роль в его создании, а равно и в разрушении сыграли женщины. Жены декабристов.

Жены-первомученицы

Нерчинский рудник — нулевой уровень в лестнице ссыльного жизневосхождения декабристов. Он окрасил облик 8 мятежников в первомученические тона, но не вошел в устойчивый канон мироощущения остальной сотни. Камеры 2×3 аршина, несметное число клопов, шахты, нарочитая грубость коменданта, голодовки в знак протеста против ужесточения регламента — все это апокриф истории Новой общности. Прогрессивные, сиречь глобалистские, лондонские издания Герцена попытаются оформить нерчинский эпизод в мартиролог, придающий должный градус мракобесия одной из участвующих сторон и перманентный пафос подвига — другой. В социалистические времена прибегали к раннехристианской сюжетике широко и не страшась аллюзий, но в случае с декабристами это вышло как-то скомканно: вроде пострадали, да не совсем за то, за что *следовало*, вроде наказаны, да мягче, чем *хотелось бы*. Княгини Е. Трубецкая и М. Волконская провели эти месяцы, собственноручно штопая белье и готовя обед мужьям, ограничивая рацион даже не супом и кашей, а квасом и черным хлебом. Демократизация жизни происходила тотальная, тем более что горничных пришлось отослать обратно: вышли из-под контроля, пренебрегли обязанностями и «начали себя дурно вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками» (Волконская 1977, 40). Именно этим двум женщинам, открывшим список жен декабристов, предстояло апробировать тот уникальный стиль жизни, который позже примут и остальные и который компромиссно соединил простонародные предпосылки существования и аристократизм их воплощения.

Чем объяснялась миграция жен вслед за супругами? Да, это был акт протеста и вызова, но у него, как показал Юрий Лотман, были по меньшей мере три предпосылки: 1) следование за ссылаемыми мужьями как устойчивая традиция у низших сословий, в допетровские времена — норма для изгоев любого ранга; 2) старый армейский обычай брать в обоз семью офицера; 3) поэтизация данной модели поведения в рылеевских поэмах «*Наталья Долгорукова*» и «*Войнаровский*», обсуждавшаяся в семьях просвещенцев. В миграции дюжины жен меж виноватых могли оказаться такие строки:

Узнав об участи моей,
Она из родины своей
Пошла искать меня в изгнанье
.....

Ах, говорить ли, странник мой,
Тебе о радости печальной
При встрече с доброю женой
В стране глухой, в стране сей дальней
(Декабристы... 1975, 1: 301—302).

Впрочем, причиной отъезда могли служить и иные пассажи, как и в целом «русская литература, создавшая представления о женском эквиваленте героического поведения гражданина, и моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь» (Лотман 1992, 317). Какой бы тотальной ни была кодификация поступков женщин XIX столетия, вероятно, они все-таки немного любили своих мужей и устремились бы вослед за ними, даже не разделяя романтики вышеназванных (1—3) сюжетов. Но, как бы там ни было, Сибирь встретила двух княгинь неласково. Надо ли говорить, что декабристы восприняли их появление как «сошествие ангелов»:

Прибытие этих двух... женщин, русских по духу, высоких по характеру, благотельно подействовало на нас всех; с их прибытием у нас составила семья. Общие чувства обратились к ним, и их первую заботою были мы же... То, что сердце женское угадывает по инстинкту любви, этого источника всего высокого, было ими угадано и исполнено; с их прибытием и связь наша с родными, с близкими сердцу, получила то начало, которое потом уже не прекращалось по их родственной попечительности доставлять и родным нашим те известия, которые могли их утешить при совершенной неизвестности о нашей участи (Мемуары декабристов. Северное... 1981, 107).

Деструкцию дворянского статуса сосланных, по предположению правительства, должны были обеспечить не только приговор, в зависимости от разряда умалявший ту или иную степень их прав, имуществ, званий и заслуг, не только каторжные работы и факт высылки в колонию, но — что еще важнее — снижение этикетной дистанции в общении со стороны сибирского населения, этого своеобразного, закоренелого в преступности и невежестве «подлого человека». Именно сей пункт рельефно выступал в каждом документе, с которым знакомили спутниц благородных каторжан:

1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается... причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, т.е. будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и *начальство не в состоянии будет*

защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника... себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные....

2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне.

3. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места *населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.*

4. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших (Волконская 1977, 34).

Иными словами, декабристским семьям *гарантировалось* нарушение всех основных просвещенческих прав: на жизнь (безопасность), на собственность (распоряжение финансами, имуществом, крепостными), на свободу (передвижения, корреспонденции, будущего детей). В то же время сама Власть намеревалась во всей полноте реализовать, выражаясь фукианским языком, *паноптический принцип* тотального контроля за госпреступниками: высокородные ссыльные должны были быть а) изолированы от внешнего мира; б) финансово зависимы от коменданта и горного начальства; в) регулярно инспектируемы и г) заняты примитивно-физическим трудом, впрочем, не до изнеможения (за что, кстати, потерял свое место первый же комендант Нерчинских рудников Бурнашев, в служебном рвении перенесший систему требований и унижений с обычных каторжан на каторжан-дворян).

Планы эти, столь отвечавшие духу нарождавшейся панрегламентирующей эпохи Николая I, начали рассыпаться прямо в Нерчинске. И дело не в новом коменданте генерал-майоре С. Р. Лепарском, этом «добром, любезном, благородном старике», и даже не в российских реалиях, на корню губящих все далеко идущие проекты. А в том, что государственной общности, претендующей на всевидение и оттого полуслепой, гигантской и оттого функционально прорешливой, как плохо залатанная рыбацкая сеть, декабристы сумели противопоставить социум гораздо более органичный и надежный в своем развитии, несоизмеримо экономичный в области человеческих и денежных ресурсов, обеспечивающий максимальный выход интеллектуальных, эстетических и производственных устремлений, поддерживающий эмоциональный и правовой баланс сосуществования всех своих членов — декабристскую Семью.

Немного о семиотике и нарративной психологии, или О жизненных взглядах — наших и декабристских

Вольфганг Изер, один из мэтров рецептивной эстетики, не единожды отмечал, что литература дает выход стремлению человека к самоделериванию. «Она дарит нам опыт непривычной податливости мира и ощущение безграничного потенциала нашего собственного саморазвития» (Шенле 1997, 41). Современная постмодернистская парадигма в психологии ставит акцент еще решительней: любой образ Я, фактически сама возможность осмыслить себя и свою судьбу неразрывно связаны с текстуально-диалогическими интерпретациями мира (Potter, Wetherall 1981). Социальный конструкционизм, получивший развитие в Европе и Соединенных Штатах в 1980—1990-е годы, наметив перспективу изучения приемов «Я-выстраивания» в различных дискурсивных ситуациях, рассматривал самопонимание как интерпретативный, а не отражательный процесс, рефлексию — как аутокреацию, самоконструирование. Проект нашел воплощение в дискурсивной психологии Рома Харре и его «позиционной теории продуцирования множественных Я», в риторической психологии Джона Шоттера, в нарративной психологии Джерома Бруннера, отчасти — в теории социальных представлений Сержа Московичи и социологии Юргена Хабермаса (Качанов, Шматко 1996; Московичи 1995; Поттер 1998). В России аналогом могут послужить теоретико-методологические построения и исследования Е. Г. Трубиной (1996) или школы В. А. Шкуратова (1997; 1999)⁴.

Говоря о сходных чертах всех этих, в общем-то разных концепций, балансирующих на грани социологии групповых представлений и психологии коммуникации, нельзя не отметить два родственных элемента: 1) личность понимается не как стабильное ядро, а как исторически меняющийся потенциал для коммуникации и самопрезентации, идентичность, как и жизненные цели — продукт культурных технологий⁵. К примеру, чувство самообладания и самоконтроля — производное от практики общения и этикета XVII—XVIII веков, уважение к индивидуальности, понимание глубоких чувств, отрефлексированный душевный дискомфорт — на-

⁴ См. также: Орлова (1997), Еремеев и Хмель (1999).

⁵ Кеннет Джерджен пишет *byproduct* — буквально «побочный», «сопутствующий продукт».

следие романтизма XIX века (Gergen); 2) самосознание — это прописывание себя в смысловых координатах эпохи, Я-нарратив, *Narrative of the Self*, или, употребляя термин Хайдена Уайта, существование человека — это непрерывный *employment*, «осюжетивание» своего жизненного опыта. «В европейской культуре представление своего Я (как публичное, так и саморефлективное) непременно приобретает форму истории или рассказа о событиях жизни и своих отношений с другими, — полагает К. Джерджен. — Индивид проживает свое Я “в режиме повествования”, где рассказ оказывается не только сообщением о событиях, но и объяснением происходящего в соответствии с культурными канонами» (Якимова 1999, 41)⁶. Человеческая личность — сама изменчивость, подвижность, скорее экзистенция, чем сущность. Что же придает ей непрерывность, очертания, границы и, следовательно, объем? Life-story, жизненная история, строящаяся на тех же принципах, что и любое другое повествование — интрига (синтез событий, Я-образов, мотивов, отношений, переживаний), сюжет (временное упорядочивание опыта), идентичность персонажа. Это уже summary работ Поля Рикера, прежде всего фундаментального «*Времени и рассказа*». Декабристы могли бы послужить самым изысканным примером к такого рода рассуждениям: носители сентименталистско-романтической ментальности (где книжное, журнальное, сценическое слово пронизывали повседневность), целенаправленно выкраивающие жизнь по высокоидейным лекалам, они даже в условиях ссыльной миграции сохранили сопряженность либеральных *текстовых* ценностей и ежечасный *реальный* быт. Их «семейное Я» оставалось неотрывным от «политического», «просвещенческого», «плюралистического Я», ткань матримониальных ролей густо прошита нравственным, точнее театрализованно-нравоучительным, орнаментом.

Предлагаемый анализ не претендует на продолжение/критику декабристских изысканий Ю. М. Лотмана. Скорее, это отклик⁷.

⁶ См. также: Davis and Harre (1990).

⁷ Разделив участь истории ментальностей, обвиняемой во «всеприложимости» методов, ужасающей размытости предметной области, утере концептуального ядра (если оно вообще существовало), семиотика, особенно тартуская семиотика, действительно заслуживает серьезного и безэмоционального прочтения. Как, впрочем, и экскурсы на большинство гуманитарных «капиш» позднерестроечных времен — восторженные искания у О. М. Фрейденберг, канонизация Д. С. Лихачева, превратившаяся в оккультную секту бахтинология. Речь, разумеется, идет не о самих выдающихся исследователях и их наследии, а о нашем к нему отношении.



Декабристы на мельнице в Чите (Репин Н. П., 1827—1830 гг.)

Схема Ю. М. Лотмана, анатомирующая повседневность аристократии конца XVIII — начала XIX века, удачно вычленила поведенческие коды декабристов и их прекрасных половинок до миграции в Сибирь — собственно, классик и доводит своих героев до помещений Следственной комиссии, а героинь — до саней, направляющихся на заснеженный восток⁸. Достаточно ли семиотической схемы для понимания сибирских коллизий бывших членов тайных обществ? Работа с мемуарами, записками, воспоминаниями и письмами высокородных ссыльных приводит к убеждению, что происшедшее в Чите и Петровом заводе не укладывается в рамки романно-драматического семиозиса, хотя и на декабристскую миграцию при желании можно спроецировать:

1) *стиль поведения в соответствии с макросоциальным контекстом*: Сибирь — колония, каторга, terra incognita, страна обетованная;

2) *жанры поведения, т.е. воплощение стиля на конкретных «сценических площадках»*: острог, дорожные работы, позже — квартиры и дома жен декабристов, собственные мастерские, музыкальный зал и библиотеки, огороды, праздники и дискуссии и многое другое;

⁸ Правда, тогда возникает вопрос о том, насколько *героика* тайных встреч, манифестов, выхода на Сенатскую площадь допускает аналитические приемы, заявленные (в заглавии) как декодирующие *повседневное* поведение дворян.



Петровский завод. Дамская улица (Репин Н. П., 1830—1831 гг.)

3) *присвоенные амплуа*: первохристиане, братство Большого каземата, просвещенцы и «отцы молодой сибирской нации», люди труда и науки, артельщики, воспитатели *нового человека*;

4) *наконец, сюжеты, где стиль, жанры и амплуа сливаются в осмысленную и законченную последовательность действий и их результатов*: базовый сюжет — декабристская Семья от ее зарождения до распада, остальное — гибкая микросюжетика.

В этом сценарии не хватает только актеров — живых ссыльных дворян, каждый из которых обладает внутренним миром, психологическим и мировоззренческим своеобразием, пусть даже все названное формируется и функционирует по социокультурным (дискурсивным) магистральям. Каждый из вошедших в казематную Семью внес свой партикулярный вклад не потому, что так распределились — согласно просвещенческому сценарию — семейные роли и функции, а как раз семейно-ролевой и имущественный баланс был достигнут благодаря учету и суммации индивидуальных характеров, предпочтений, талантов, точнее — индивидуальных психосюжетов. Эту мысль можно было бы сформулировать и так: сибирская ссыльная Семья — не жесткий семиотический сценарий с произвольной заменой актеров-актеров, а импровизация на основе неповторимых жестов, реплик, экспромтов всех участников, в меру яркости и глубины жизненных сценариев каждого из них и в меру гармонизации этих разнородных актерских стилей в единую постановку.

Фридрих Энгельс в «*Происхождении семьи, частной собственности и государства*» полагал катализатором в структурировании семьи производство и собственность, модернистская гуманитаристика — фатальность матримониальных, как и вообще всех прочих, структур, постструктуралистская мысль — игру культурных, политических, гендерных знаков и значений. В последнем случае объектом анализа оказывается поэтика культуры (если вы семиотик), «Я-нарративы», сюжетно-жанровая организация персонального сознания и поведения (если вы постмодернистский психолог) или психопоэтика (если вы жаждете соединить первое и второе, т.е. приятное с полезным). Тогда в фокус внимания попадают дискурсы и моральные эпистемы века XIX, метафоры субъектности и судьбы, модели воспитания и просвещения эпохи. Личность (тем паче личность декабристская) на сломе романтизма приводила к единому знаменателю — *беллетризованному космосу* — и общество, и самое себя, и свою семью. Психопоэтика последней и есть тот самый «пятый акт», к которому устремляется статья.

Мужские заботы, или Как обустроивались «отцы Семейства»

Позвольте начать по-лотмановски, со стиля: место, время, *dramatis personae*. Размещение основной партии декабристов в Чите, в тесноте так называемого Малого каземата, где их беспрестанно обыскивали, не позволяли самим бриться, «осчастливили» дымящимися печами и заколоченными окнами⁹ и даже солдатским пайком (1 руб. 98 коп. в месяц), — все это не могло не сказаться на и без того стрессовой ситуации «взамопритирки» каторжан. После казни Иисуса, если верить Эрнесту Ренану, апостолы не удержались от ссор и взаимобвинений. Пятерых руководителей тоже было не вернуть, и декабристы начали с выяснения, кто и как себя вел на Следственной комиссии, кто кого выдал и на кого показал. Отсутствие понимающих зрителей, без которых героические жесты и фразы теряют смысл, актуализация иных (не тайнообщинных) поведенческих программ (долг офицера, обязанности присяги,

⁹ «Свет пропускали лишь два верхних стеклышка, замазанных известью» — простота и убедительность «лагерного» стиля, со страниц Солженицына перекочевавшие в потоки перестроечных воспоминаний реабилитантов, были задолго до Александра Исаевича «обкатаны» в мемуарах наших героев.

верность государю и т.п.) объясняют растерянность и замешательство заговорщиков в месяцы допросов. Однако в первые месяцы ссылки они сумели поставить крест на этом прошлом и восстановить свое общество, теперь уже не тайное, «с чистого листа», с акта взаимопримирения. Уже тогда многие «общинники» воспринимали свой круг как возврат к христианской модели — крушение иерархии чинов и титулов, обобществление скудного имущества, открытость всем нужды или «прибытка» каждого, траты — главным образом на вещи общего употребления (Завалишин, 324). Согласие, взаимопомощь и компромиссы сделались культом, ради сохранения дружественного климата было принято решение отказаться от карт, алкогольных излишеств и эгоистичных растрат (Розен 1984). Иван Пущин позже назовет пребывание в Чите «юношеской поэмой». Действительно, — пишет Дмитрий Завалишин, —

и дух свободы, и общественный дух были чрезвычайно сильны. С одной стороны, все неизбежные в человеческих обществах стремления к эгоистическим целям, к привилегиям притаились пред сильным проявлением общественного духа, чувства свободы и равенства (хотя и в тесном кругу казематной жизни), и если пытались действовать, то разве тайною интригой; а с другой стороны — ничто так не вызывало ненормальности положения России, бессилия правительства, как наше положение в т.н. работе (Завалишин, 265).

Отметим это противопоставление: *здоровый дух* насельников Малого каземата и *ненормальность* остальной империи. Что касается работы, то тут бытописатель-декабрист прав как нельзя более. Ни в Чите, ни (позже) в Петровском заводе *не было* рудников — правительство, видимо, было информировано о регионе не совсем полно — и коменданту С. Лепарскому пришлось поломать голову, изыскивая занятия для своих подопечных. Наконец был найден песчаный карьер, который следовало засыпать, и насыпь у тракта, которую следовало укреплять. Само же описание повседневной отправки на «объект» напоминает сцены из театра абсурда. С самого утра начиналась суэта прислуги в домах жен декабристов (о них — ниже) и сторожей в каземате: на место работы несли книги, газеты, шахматы, завтрак и самовар, чай и кофе, складные стулья и пр. Казенные рабочие (высокородных ссыльных обеспечили и таковыми) в то же время везли тачки, носилки и лопаты. Часов в девять в апартаменты декабристов приходил офицер и говорил: «Господа, пора на работу. Кто сегодня идет?» (по установленной очередности многие «сказывались больными» и оставались в остроге).

Если желающих собиралось до неприличия негусто, офицер умолял: «Да прибавьтесь же, господа, еще кто-нибудь. А то комендант заметит, что очень мало». Бригада доукомплектовывалась присоединившимися из соображений моциона или randevu с приятелем из другого помещения. Сторожа везли инструменты на казематном быке, декабристы в такт звона цепей запеваляли песню, как правило, революционного мотива, а офицер с конвойными преспокойно вышагивали рядом, подстраиваясь под ее ритмику. Место «трудодней» превращалось в клуб: играли в шахматы, читали журналы, дискутировали, с хохотом опрокидывали тачки и носилки в овраг, чтоб за пятак сторожа или мальчишки извлекали все это обратно. Светские мужские развлечения. Солдаты ставили ружья в козлы и, кроме двух-трех, ложились спать, офицер угощался остатками завтрака и, лишь завидев начальство, вскакивал со стереотипным возгласом «Да что ж это, господа, вы не работаете?» Часовые вскакивают, начальство проходит, стараясь ничего не замечать, «и все возвращается в обычное нормально-ненормальное положение» (Завалишин, 265).

На один-два месяца работы закрывали под предлогом жары, непогоды, мороза, эпидемии; зимой ставили ручные мельницы с дневной нормой выработки 10 фунтов муки, на которых работали (за плату) главным образом все те же сторожа (Соболев 2000, 128). Разумеется, к такому положению пришли не сразу, и блага цивилизации (из тех, что приобретаются за деньги, а за деньги, как далее покажет декабристский опыт, приобретаются они все) появились в каземате только с приездом прекрасных половин. Режим труда ни в малейшей степени не оскорблял дворянских достоинств ссыльных, и когда А. В. Соболев называет декабристское заключение *вельможной каторгой*, он, безусловно, прав. Предупредительность и такт бывшие члены тайных обществ встречали прежде всего со стороны коменданта. Воспитанник полоцких иезуитов, свободно владевший французским и немецким, отставной генерал-майор кавалерии, вырезавший на своей печати ель с девизом «не переменяется», С. Р. Лепарский «умел согласовать исполнение своего долга с такой деликатностью, что не давал никому почувствовать тяжелого положения, в каком мы находились, щадил всегда самолюбие, а с дамами обходился, как самый нежный отец», — характеризует его Полина Анненкова (Анненкова 1977, 133). Как раз тот тип Верховного правителя, который идеально соответствовал либеральной модели общества.

Страна эмигрантов, или О Сибири — земле свободы и сказочных возможностей

Вообще, открытость и благорасположенность, как представляли себе благородные мигранты, присущи всему принявшему их региону. И статье данной следовало бы стартовать, по гуманитарной традиции, с хронотопа. Мегаплощадкой для разыгрывания ссыльной драмы послужила *вся Сибирь*. Вся, поскольку и декабристы в конечном итоге оказались на поселениях по разным ее городам и весям, и «колонию российскую» воспринимали в ее перспективном единстве «Нового света», отрицающем свет Старый (Россию). «Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которое встречала везде. Была я поражена и тем богатством и обилием, с которым живет народ и поныне, но тогда еще более было *приволья* всем», — вспоминала в 1861 году П. Анненкова (Анненкова 1977, 142). «Чем дальше мы продвигались в Сибирь, тем более она выигрывала в глазах моих, — писал Николай Басаргин.

Простой народ казался мне *гораздо свободнее*, смысленнее, даже и образованнее наших русских крестьян... Он более *понимал достоинство человека*, более *дорожил правами своими* (sic!). Впоследствии мне не раз случалось слышать от тех, которые посещали Соединенные Штаты и жили там, что сибиряки имеют много сходства с американцами в своих нравах, привычках и даже образе жизни (!). Как страна ссылки, Сибирь снисходительно принимала всех без разбора... Никому и дела не было, какое он [ссылный. — Я. Е.] сделал преступление, и слово «несчастный», которым звали сибиряки сосланных, очень хорошо выражает то понимание, которое они себе составили о них. От него требовалось только, чтобы на новом... месте он вел себя хорошо, чтобы трудился прилежно и умел пользоваться с умом теми средствами, которые представляло ему новое его отечество. В таком случае по прошествии нескольких лет ожидало его не только довольствие, но даже богатство и уважение людей (*Мемуары декабристов. Южное...*1982, 64—65).

Страна прощения и снисхождения, где преступное прошлое стиралось под натиском изобильного будущего. Страна экономических надежд и свершений: за редчайшим исключением во всех декабристских мемуарах содержатся высказывания о богатеющей, процветающей, бездонной в своих ресурсах и безграничной в воз-

возможностях *Новой земли*. Ряд эпизодов призван усилить символику странноприимства и благосостояния: на речном переезде за Верхнеудинском Е. П. Оболенский с соратниками получают огромную корзину с хлебом и булками от глубокого старца, с которым имеют продолжительную и приятную беседу о предах коренного сибиряка, промыслах и доходах, о красоте края (*Мемуары декабристов. Северное...* 1981, 105). Андрей Розен экспрессивно делится своим впечатлением от посещения старообрядцев¹⁰ с их зажиточными селами, культом трудолюбия, ритуалом раннего вставания, ладным бытом, добротной мужской и нарядной женской одеждой. Теневой, отвергаемой фигурой — истинно Другим — выступает исконно русский (не колониальный) крестьянин, чьи трудовые подвиги, достаток и нравы безнадежно проигрывают в сравнении с сибиряком (Розен 1984, 280). Статистика, экономический анализ, этнографические и социологические отступления, зарисовки ярмарок в «*Записках*» вельможных каторжан — свидетельство не только интереса к «новому отечеству», но и надежд на просыпающийся край. Доносы о планах создания декабристами Забайкальской республики, отсылаемые острожными доброжелателями в III отделение и игнорировавшиеся там по причине вздорности, по большому счету не лишены некоторых оснований. Естественно, не было никаких детальных проектов, но ведь флуктуировали мечты, грезы о Земле свободы и справедливости. Где же как не в Сибири их воплощать?

Объективности ради стоит отметить, что аналитический взгляд декабристов не обходит вниманием и отрицательные достоинства колонии, прежде всего — администрацию. Сибирский чиновник корыстолюбив, невежествен, невоздержан в пристрастиях и обращении, а чаще просто бесцеремонен, безучастен к подопечным, панически предан начальству и, как выпуклое стекло, в преувеличении являет все пороки среднеимперского бюрократа и в гротеске — изъяны Престола. Интересно, что второй, *de jure* негативный персонаж — сосланный рецидивист — как раз негативности лишается. «Наш добрый русский народ», «все добрые русские люди» (это мемуары о каторжниках) по окончании срока большей частью исправляются, становятся заботливыми отцами семейств, обзаводятся

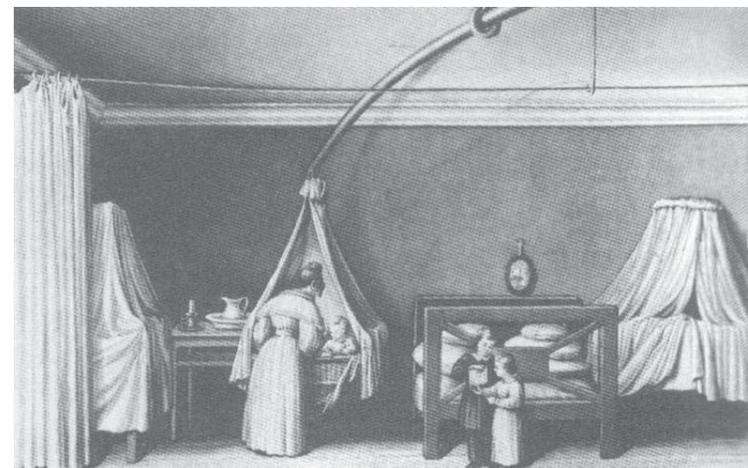
¹⁰ Эмигранты конфессиональные неосознанно, а может быть и сознательно, соотносятся с эмигрантами политическими: и старoverы, и декабристы изгнаны ксенофобистской метрополией и связывают судьбу с землей, где грядущее скорее в руке Божией, нежели в руках Государя.

хозяйством и даже берутся за торговлю. «Сколько чувства благодарности и преданности в этих людях, которых мне представляли как извергов!» — восклицает на первых же «сибирских» страницах воспоминаний П. Е. Анненкова. Немного нашлось бы таких честных людей из острогов во Франции или понтонов в Англии, продолжает она (коренная француженка!). При перестройке казематных помещений в Петровском заводе около 60 каторжников-рабочих два месяца имели прямой доступ к вещам декабристов. Не пропало ни булавки, с удовлетворением отмечает Н. Басаргин, за все время нашего пребывания здесь воровства как будто не существовало. Декабристы сначала профанируют облик дикой, вулканирующей насилем и пороком первобытной Сибири, а затем конструируют его заново, гармонизируя краеведческими экскурсами и сюжетами собственной хозяйственной и просветительской деятельности (Анненкова 1977, 48; *Мемуары декабристов. Южное...* 1982, 102). Завоеванию нового Эдема благоприятствует воистину райская природа: воздух «так благоворен и так напитан ароматами душистых трав и цветов, что дыша им, чувствуешь какое-то особенное наслаждение», «климат самый здоровый, растительная сила неимоверная». Разбивая огороды и экспериментируя с все новыми сортами сельхозпродукции (еще в читинском остроге выращивались огурцы, арбузы, дыни, спаржа, цветная капуста, кольраби), благородные ссыльные добивались фантастических результатов. «Трудно себе представить, — пишет жена декабриста, — каких размеров эти овощи: свекла была по 20 фунтов, репа — по 18, картофель — по 9 фунтов, морковь — по 8 фунтов... Конечно, мы выбрали самые крупные, но все-таки я уверена, что *нигде никогда не росло ничего подобного*» (Розен 1984, 223; Анненкова 1977, 163).

Наконец, и в первую очередь, Сибирь — страна Свободы. Той самой свободы, ради которой и задумывались все северные и южные, братско-славянские и интернациональные тайные общества. «К счастью, в Сибири нет крепостного права. На всем обширном пространстве этого края насчитывается не более 1000 человек, имеющих несчастье принадлежать своим господам» (*Мемуары декабристов. Северное...* 1981, 139). Закономерны сравнения с Североамериканскими Штатами Д. И. Завалишина (посещавшего Америку как сотрудник Русско-американской компании) на уровне экономических реалий или процитированный выше вывод Н. В. Басаргина о сибиряках, «более понимающих достоинство человека, более дорожащих правами своими». Во всей империи только здесь *достойный человек* встречает понимание и уважение своих *достоинств*.

Отправляясь на поселения в 1836 году, декабристы благодарили последнего коменданта за такт и заботу, он же отвечал: «Вы все, господа, вели себя так, что если бы на вашем месте были все Вашингтоны, то и они не могли бы лучше вести себя!» (*Мемуары декабристов. Южное...* 1982, 109). Заговорщики не устраивали «бостонского чаепития», переодевшись в индейские костюмы (хотя К. Рылеев и предлагал выйти на Сенатскую площадь в русских кафтанах), но стезя «отцов молодой нации», пусть не по ту, так по эту сторону Берингова пролива, была им предуготовлена, а некоторыми и сознательно выбрана. К сожалению, «отцовство» намного дальше ограды Большого каземата не распространилось. Чьим детищем были США — известно, и всякие сомнения уходят при взгляде на однодолларовую банкноту. Массонское влияние на структуру и программы конспиративных политических обществ России 20-х годов XIX века не преувеличить на основании факта принадлежности некоторых декабристов к мистико-просветительским кругам, но и не преуменьшить. В отличие от своих розенкрейцеровских предшественников масоны удачно синтезировали властные, финансовые и духовные притязания в модель *нового общества*, обновляющегося с каждой *новой личностью*. «Возрождение и благоустройство человеческого общества может быть совершенно только возрождением или пробуждением живых сил в них, а отнюдь не созданием каких-нибудь внешних форм», «в стремлении к общественному преобразованию и улучшению надо начинать с самого себя, возвышением в самом себе нравственной силы и расширением круга образования на истинных основах его», «всякое живое начало, дух, может возродиться первоначально только в живой личности... поэтому в подобных случаях является всегда вначале личный подвиг», — частые пассажи у Д. И. Завалишина, создателя гипотетического «*Ордена Вселенского Восстановления*», куратора образовательного вопроса в «*Северном обществе*».

Схема «личность—социум», «нравственная высота одного — общественное благоприятствование всех» даже на первый социально-психологический взгляд выглядит неполной. «Новые христиане», «отцы новой нации», «масоны-просветители» — это ведь только индивидуальные жизненные жанры, выборочные «Я-нарративы», к тому же чисто мужские. Нас же интересует общий регистр, так сказать *дискурс ссыльной жизни*. Дефицитарным моментом здесь является семья, но не в привычном значении слова, каковая имела место у нескольких ссыльных. А производная от нее другая Семья — чистый *emplotment*, возвышенный сюжет жизнестроительства, в



А. И. Давыдова с детьми в Петровском заводе (Бестужев Н. А., 1835 г.)

импровизированной постановке которого каждый актер-каторжанин выбрал себе роль в соответствии с собственным Я-нарративом, учитывая вместе с тем самобытную игру коллег.

Прибытие жен, или О многообразии выгод обретения супруги

Первой в Читю добралась А. Муравьева, вскоре за ней — Е. Трубецкая, М. Волконская и П. Польш (будущая Анненкова), после первого года ссылки — А. Ентальцева, Е. Нарышкина, Н. Фонвизина, А. Давыдова и К. Ле Дантю, ставшая Ивашевой; спустя несколько лет — супруги Якушкина и Розена. С прибытием жен ссыльная повседневность начала необратимо изменяться: замкнутый сугубо мужской мирок размыкался, комендант приобрел оценщицу широты применения своих санкций и благодеяний, о происходящем в Каземате теперь знали не только в III отделении, но и в светских кругах столицы. Прозрачным и контролируемым стало не только сообщество декабристов для Власти, но и сама Власть — для общества.

Женщины обеспечили коммуникацию. Их письма многоэтапно перлюстрировались, но воспретить им писать и свергнуть в тот

информационный вакуум, в котором изначально оказались посланные, не мог никто. Каждая из новоприбывших взяла под свою опеку до десятка каторжан, чьи нелегальные послания родным она переписывала дословно, лишь добавляя фразу «Ваш сын, брат, муж просили Вам передать...», и связь с «большой землей» была отлажена. Почтовый поток в обе стороны обрел такую мощь, что крайне ответственный С. Лепарский (первая перлюстрирующая инстанция) едва успевал прочитывать до сотни «выходящих» писем в неделю.

Снимая комнаты в городке, а позже в Петровском заводе отстроив целую «Дамскую улицу» собственных коттеджей (или, как ее именовали аборигены, «княжескую» либо «барскую»), жены декабристов экспансировали атмосферу семейственности на весь острог: все те же завтраки, обеды и ужины для мужа со товарищи, стирка и починка белья, нелегальные передачи вина, организация больницы, психологическая поддержка. «Трудно выразить то, чем были для нас дамы, спутницы своих мужей, — писал Евгений Оболенский, — по справедливости их можно назвать сестрами милосердия, которые имели о нас попечение, как близкие родные, коих присутствие везде и всегда вливало в нас бодрость, душевную силу, а утешение, коим мы обязаны им, словами изъяснить невозможно» (*Мемуары декабристов. Северное...*1981, 102). Границы моногамной семьи в этой своеобразной сибирской эмиграции раздвигались если не физически (поначалу мешал частокол), то психологически и коммунально, предметом женской заботы, причем самозабвенной, становилась вся острожная общность, состоящая из братьев, живущих по одну сторону ограды, и сестер — по другую. «Иногда, в минуты не совсем светлые, — вспоминал об А. Г. Муравьевой Иван Якушкин, —

она была уверена и уверяла других, что, кроме своих, она никого не любит, и точно можно было подумать, что по временам она всеми силами старалась сосредоточить свою любовь на своих только и тесно замкнуть себя в семейный эгоизм; но это никогда не могло ей удасться, по той причине, что оно было совершенно противно ее природе. При первом случае, когда она кому бы то ни было могла быть на пользу, она забывала всех своих и себя. Екатерина Федоровна много присылала ей и деньгами и вещами; большую часть того и другого расходовала она на тех, кому это было нужно. Довести до сведения Александры Григорьевны о каком-нибудь нуждающемся, было всякий раз оказать ей услугу, и можно было остаться уверенным, что нуждающийся будет ею успокоен», «правая рука Александры Григорьевны давала так, что про это ничего не знала левая» (Якушкин 1951, 168—169).

Первой прибывшая вслед за мужем в Читту, Александра Муравьева первой же и покинула декабристскую Семью ради мира более совершенного, чем нарождавшийся в Большом каземате:

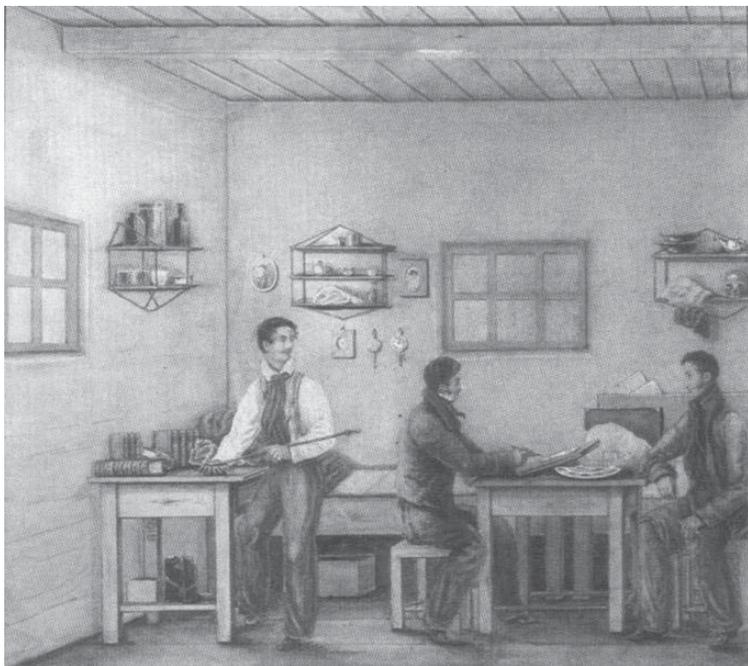
Часто хвораая, она мало обращала на себя внимания и только иногда соглашалась лечиться... но и тут, лишь только доходит до нее слух, что кто-нибудь болен или огорчен, она забывала предписание врача и собственную хворь, спешила к страждущему... В такие минуты она была воплощенная любовь и каждый звук ее голоса был обворожителен (Якушкин 1951, 168).

Смерть супруги Никиты Муравьева стала символическим разрушением частокола: спустя два месяца из Санкт-Петербурга пришло разрешение отпускать мужей-декабристов к женам на дом. Вначале это право ограничивалось случаями болезни, затем стало бессрочным, параллельно беспрепятственный выход получили декабристы-медики — Ф. Б. Вольф, А. М. Муравьев и И. Д. Якушкин, «хозяин» и «закупщик» декабристской артели (о них ниже), и под конец заключения уже было трудно понять, для чего и кого стоят караульные и ремонтируется ограда. Очевидно, на случай рейда комиссии. Последний комендант Григорий Ребиндер, посещая каземат, крестился: слава богу, хоть кого-то застал, а то, как правило, по выражению мемуаров, «шаром покати».

Казематное Просвещение, или Труды и досуг Семьи

Система подписки и пересылки через жен обеспечила ссыльных книгами, газетами, журналами. И хотя комендант С. Лепарский на каждом издании расписывался «читал» (в том числе на удовлетворивших филологические пристрастия Дмитрия Завалишина книгах на новогреческом, арабском, иврите), цензура явно дремала. Запрещенные высочайшими подписями по всей России книги пересылались через канцелярию с выданным титульным листом, замененным каким-нибудь нейтральным, чаще ботаническим, заглавием, в запрещенные газеты заворачивались посылки из дома. Упомянутый «филолог» вспоминает, что

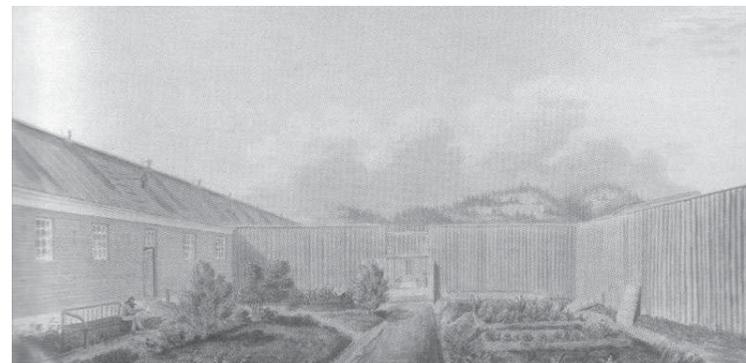
в совокупности число всех книг, находившихся в каземате и в домах у дам, перешло в последнее время за полмиллиона томов (!), т.к. многим стали, наконец, высылать целые их прежние библиотеки, состоявшие у некоторых из нескольких десятков тысяч томов. Образова-



Камера Николая Бестужева в Петровской тюрьме (Бестужев Н. А., 1831 г.)

лись даже отличные специальные библиотеки... Так, например, одна медицинская библиотека состояла более, нежели из четырех тысяч книг и самых дорогих атласов. У Лунина была огромная библиотека религиозных книг, между которыми дорогие издания всех греческих и латинских отцов церкви в подлинниках и пр. У меня также библиотека, языках на пятнадцать, состояла более, нежели из тысячи томов (Завалишин, 269).

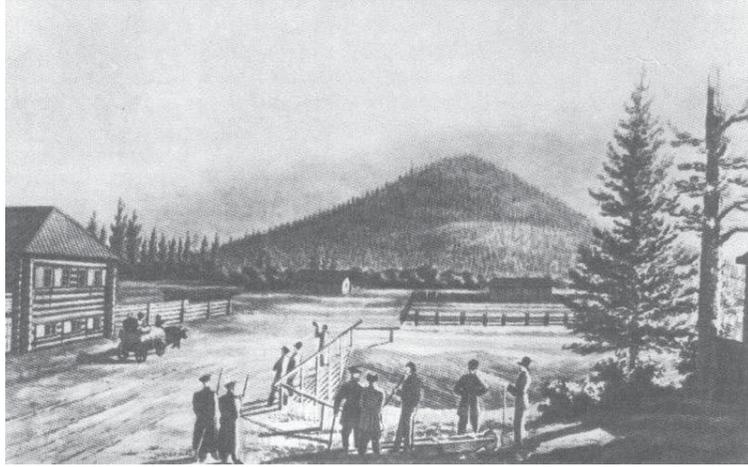
На такой материальной базе в остроге развернулось масштабное *взаимпросвещение*. Коллеги по несчастью знакомили друг друга с высшей математикой и физикой, основами медицины, анатомии и химии, политэкономии и истории, русской словесности и искусства, картографией и военными дисциплинами; давались уроки английского, испанского, итальянского, немецкого, обоих греческих, польского, голландского языков и латыни. Даже офицеры инфантерии, каста посредственная в глазах гвардейцев, по их же отзывам, стали к концу каторги «весьма образованными людьми»:



Вид внутреннего двора одного из отделений Петровской тюрьмы (Бестужев Н. А., 1832 г.)

Все, с малым исключением, учились сами или учили других, и такие постоянные занятия в нашем положении были примирительным средством и истинным для нас спасением. Будучи в беспрестанном столкновении друг с другом, более праздная жизнь была бы для нас губительна (Якушкин 1905, 148).

Логичным продолжением стала научно-исследовательская работа и творчество. Братья Борисовы классифицировали и зарисовывали флору и фауну края и, связавшись со столичным Ботаническим садом, собрали обширный гербарий и коллекцию насекомых; доктор Фердинанд Вольф помимо медицинских штудий делал разложение минеральных вод, а ассистировавший ему Александр Фролов занимался фармацевтикой; Арбузов экспериментировал с прокатом стали, Николай Бестужев — с устройством хронометров, составив к тому же портреты «сокамерников» и изготовив дамам по кольцу из кандалов мужей, снятых в 1829 году. Литературные произведения и переводы сделались уделом Одоевского, Бобрищева-Пушкина и др., музыка — Вадковского, исторические изыскания — Корниловича и Муханова, живопись и иконопись — Репина, Киреева и Андреевича. Декабристы собрали коллекцию минералов и передали метеорологические наблюдения за 10 лет в Берлинскую академию наук, написали и опубликовали множество статей по истории, политике, экономике, праву, филологии, увлеклись фольклористикой и социальным анализом Сибири (Волконская 1977, Завалишин; Розен 1984). Совместные чтения и обсуждение периодики, музицирование и хоровое пение, концерты и шахматы,



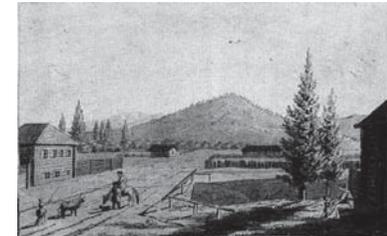
Декабристы в Чите. Работы у оврага (Репин Н. П., 1828 г.)

интеллектуально- и душеполезные беседы, наряду с полуудавшейся попыткой реанимации светских вечеров, составляли на этом фоне приятное терапевтично-развлекательное разнообразие.

Общество, охваченное просвещением (в качестве примера можно взять любую европейскую страну), актуализирует четыре вопроса — моральный, правовой, профессиональный и сословный. Для *Казематного Просвещения* эмблематичной становится идея, что каждому образованному человеку необходимо овладеть каким-либо ремеслом. Идея подкреплялась политически: мастеровой навык даст не только финансовую независимость на случай новых превратностей судьбы, но и, в силу аристократического участия, позволит «возвысить в глазах народа значение труда и, облагородив его, доказать, что он не только легко совмещается с высшим образованием», но и обогащает последнее. Были выписаны лучшие руководства на всех основных европейских языках, а равно чертежи и инструменты. Первые тяжелые годы ссылки и необходимость самообеспечения объясняют широту специализации: среди декабристов появились закройщики и портные, сапожники и парикмахеры, плотники и маляры, токари и часовщики, слесари и сталелитейщики, переплетчики и картонажники, повара и кондитеры. Учрежденные в более благополучные лета мастерские стали *кузницей нового трудового поколения* сибиряков: пример, что «этим не пренебрегают и князья», действительно подействовал, в



Камера Ф. Б. Вольфа в Петровском заводе (неизвестный художник, 1849—1850 гг.)



Чита. Чертова могила (Киреев И. В., 1827—1830 гг.). Именно у этого оврага вельможные каторжане завтракали, читали газеты, дискутировали и развлекались сталкиванием тачек и прочего инвентаря на дно

Петровский острог потянулись дети простых ссыльных и заводских служителей, из которых позже, как убеждают нас декабристские записки, вышли «все самые лучшие мастеровые и ремесленники» регионального уровня либо первые ученики только что открывшихся столичных училищ для разночинцев (Завалишин, 269—270).

Женское население совершенствовалось в рукоделии под руководством декабристских дам, что вскоре обеспечило некоторым восточносибирским местностям славу земли знатных швей и вязальщиц. Союз сословий на трудовой почве, а позже — на поселе-

ниях — и на педагогической, таким образом, был не только замышлен до 1825 года, но и, пусть отсроченно и не во всероссийских масштабах, воплощен.

Последним сплывающим шагом в развитии либеральной казематной Семьи стала рефлексивная попытка написать *собственную историю*. Памятному выходу на Сенатскую площадь, событиям, предшествовавшим и последовавшим за ним, уделялось от трети до 9/10 объема «записок», «воспоминаний» и автобиографий «мятежников», планировавших создать целый цикл жизнеописаний казненных и выживших соратников¹¹. Этот мартиролог послужил бы прологом к коллективной этико-политико-историко-программной «декабристологии», что отчасти реализовала «*Полярная звезда*» А. Герцена. «Истоки судьбы», сиречь мемуары, адресовались в первую очередь собственному потомству: злключения отцов в традициях романтичного двоемирия предопределяли двухколейность судеб детей — покорность Провидению и верность Идеалу. «Благословляю десницу Божию, — писал детям князь Сергей Трубецкой, — проведшую меня по терновому пути и тем очистившую сердце мое от страстей, мною обладавших, показавшую мне, в чем заключается истинное достоинство человека и цель человеческой жизни» (Трубецкой, 10).

Дети: будущее Семьи или Семья будущего?

У прогрессивного опыта должны быть преемники: идеи прогресса паразитируют на будущности. Семья, даже состоящая из сотни ссыльных и дюжины жен, немислима без *детей*. Оные Властью оказались совсем не запланированы. Старик-комендант был смущен, когда из писем узнал, что А. Муравьева, А. Давыдова и П. Анненкова беременны. «Позвольте вам сказать, сударыня, — обратился он к последней, — что вы не имеете права быть беременными. Когда у вас начнутся роды, ну, тогда другое дело» (Анненкова 1977, 172). Получалась инверсия, какой-то перевертыш всеподнадзорности: бумажный регламент отступал перед природным фактом, но не ранее, чем означенный факт вступал, так сказать, в полную силу действия.

Нянчили и воспитывали каждого ребенка вельможные каторжане сообща. Прежде всего все роженицы были обязаны акушер-

¹¹ Так, Н. Бестужев написал «*Воспоминания о Рылееве*» и автобиографический рассказ «*Шлиссельбургская станция*».

скими услугами декабристу-медику Ф. Вольфу. Педиатром служил тоже он, совместно с А. З. Муравьевым. Петру Свистуну и Камилле Ивашевой воспитанники декабристской Семьи обязаны уроками музыки, В. Бесчастному — русским языком, М. Лунину — английским, Н. Панову — баснями Крылова и сказками, Трубецким и Давыдовым — рисованием. Сама атмосфера демократизма в быту и общении, ценности труда и интеллектуальных занятий, психологического комфорта и защищенности, этой «жизни истинно апостольской», культивируемой в Семье, определили мировоззрение ее потомства. Понятно, что у детей, все это видевших, составилось такое понятие, что все между собой родные, близкие и что весь мир такой (другого они не видели), а потому тяжело им было потом в жизни привыкать к другим людям и к другой обстановке, писала Ольга Иванова, дочь Анненковых,

при этом *положение было слишком изолированное*, и такое положение отчуждения от жизни, от людей не могло не отзываться на детях. По крайней мере, о себе могу сказать, что много выстрадала впоследствии от недостатка житейской опытности, и если с годами приобрела сколько-нибудь практичности в жизни, то заплатила за это большой ценой (Иванова 1977, 109).

Романтизм и реализм как жизненные стратегии столкнулись здесь не только в метафорическом, как в «*Обыкновенной истории*» И. Гончарова, но и в прозаическом смысле. Жертвы были не напрасны: новое поколение впитало микроклимат казематной общности:

...если декабристы не научили нас житейской мудрости, зато они вдохнули нам такие чувства и упования, такую любовь к ближнему и такую веру в возможность всего доброго... что никакие столкновения, никакие разочарования не могли потом истребить тех идеалов, которые они нам создали (Иванова 1977, 109).

Цена за таких наследников была слишком высокой: из 25 родившихся в Чите и Петровске — 7 выкидышей и 4 умерших в раннем возрасте.

Испытать свои жизненные принципы на прочность суждено было не только детям — отправляясь на поселения по всей Сибири, декабристы испытали тяжелейший стресс: десятилетие теплоты и заботы атрофировало навыки повседневных интеракций. Осознавая это, «страшно было явиться опять на свет, лишенными всяких внешних преимуществ, всего, чему поклоняется толпа, и с такими правилами и убеждениями, которые могли показаться не

только безрассудными, но даже вредными господствующим понятиям» (*Мемуары декабристов. Южное...* 1982, 109). Закономерно, что ссыльные и их дети после 1838 года искали друг друга, поддерживали финансово и психологически, активно переписывались, старались селиться вместе, «колониями», брались за мемуары и пытались любыми средствами сохранить свой апостолическо-фуртуристический мир. И сослуживцы, встретив амнистированных спустя 20—30 лет, признавались, что декабристы выглядят счастливее их (*Мемуары декабристов. Южное...* 1982, 130).

Бюджет Семьи: вельможное хозяйство и круг обязанностей

Но декабристское Семейство ждало не только испытание обыденностью. Ведь дамы привезли с собой *деньги*. Около 2000 рублей «на первое обзаведение» и возможность денежных переводов стали первым шагом к крушению утопии. Поначалу горизонты были самые безоблачные. Если казна с 1827 по 1838 год издержала на нужды декабристов 70 082 рубля 51 копейку (примерно половина ушла на обустройство Петровского завода), то сами репрессированные получали несоизмеримо большие суммы. Правительство полагало достаточной ежегодную пересылку 500 рублей одиночкам и 2000 — семьям. Когда выяснилось, что многим неоткуда получать, под предлогом помощи товарищам некоторые каторжники получали десятками тысяч. Помимо этого «родственники посылали к декабристам и их семействам в Сибирь своих крепостных для услуг, пользуясь поездками последних для передачи ссыльным без ведома властей писем, а также денег», — отмечает А. Соболев, —

с этой целью такая крепостная прислуга часто менялась и отсылалась обратно... под предлогом непригодности и тоски по родным местам. Власти вынуждены были считаться с принципом собственности и правом жен сосланных государственных преступников свободно распоряжаться своими крепостными (Соболев 2000, 130).

Только по официальным данным, с 1827 по 1833 год Семья получила 183 272 рубля на 66 человек, с 1833 по 1838 год, когда многие уже выехали на поселение, оставшиеся 39 получили 163 350 рублей, а собственно женам родные переслали 778 135 рублей. Сверх того еженедельно обозами приходили посылки с одеждой, книгами и журналами, посудой и предметами туалета, винами, кофе,

шоколадом, московскими калачами и сайками, прочими деликатесами и сладостями (Завалишин, 262).

Подарки из России приходили не всем. Соображения взаимопомощи и послужили причиной организации Артели. Артель — самоорганизация каторжных партий — существовала, согласно Н. М. Ядринцеву и А. В. Соболеву, как нелегальный, но жизненно необходимый орган управления и контроля, выполняющий судебные, административные, хозяйственные, финансовые и прочие функции. Такие структуры бытовали и среди политических ссыльных; неудивительно, что при переселении в Петровский завод, сопровождавшемся большими затратами, несвоевременным поступлением денег, ростом конфликтности среди каторжан, ими была избрана именно такая экономическая модель¹². Комиссия из семи человек занялась выработкой устава, и 2 марта 1831 года он был оглашен и объявлен вступившим в силу. Эта «хозяйственная конституция» из 106 параграфов детально регламентировала движение всей денежной массы, находившейся в распоряжении Семьи, передавая контролирующие функции в руки Временной комиссии (пять человек, утверждающих сметы и проверяющих счета), а исполнительную власть — Постоянной комиссии, в составе а) *хозяйина* (отчеты о покупках и выполнении смет, ведение книг прихода и расхода, установление очередности дежурств на кухне и т.д.), б) *казначей* (фиксирование движения сумм по семи книгам, сбор взносов и учет сделок, взаимодействие с комендантом), в) *закупщика* (ведение книги закупок и сбор «уплатных записок» — чеков артельщиков), г) *огородника* (сметы на сельхознужды и отчеты об урожае). Это была так называемая Большая Артель, распорядившаяся финансами из расчета 500 рублей на человека в год, а в 1832 году И. Пушин, П. Муханов и Д. Завалишин создали Малую Артель — фонд для выезжающих на поселения, примерно 300 рублей «в одни руки»¹³. Возник и «Заемный банк», куда навевались мест-

¹² Еще в читинском остроге Е. Оболенский предложил *все* поступающие деньги вносить в общую кассу, сделав тем самым *всех* равноправными собственниками. Предложение было отвергнуто со стороны *женатых ссыльных* (Фролов 1882, 705).

¹³ Артельный опыт прижился: Д. Завалишин и С. Волконский создали Артель по выписке и чтению книг, регулировавшую поступление и доступ к изданиям в казематной библиотеке, И. Якушкин организовал Артель взаимопомощи соратникам, рассеянным после реабилитации по всей стране, — переписка, денежное вспоможение и т.п., существовавшую много десятилетий.

ные купцы и торговцы, посчитавшие, что кредит, взятый под 2% годовых, значительно выгоднее 10-процентного займа (обычная ставка сибирских банков того времени).

Приток финансов составлял около 400 000 ассигнациями в год. Вращение таких колоссальных денежных сумм породило в Чите, а затем и в Петровском заводе своего рода *свободную экономическую зону*. Подмывает написать «офшорную», да вот незадача: декабристы были политическими преступниками, а не экономическими, так что в отмывании денег им не было надобности:

Огромная масса денег, пущенная нами в оборот, привлекла со всех сторон торговцев и при свободной конкуренции произвела изобилие и дешевизну. Притом больные и бедные получили всякого рода вспоможение. По всему этому немудрено, что в памяти жителей эпоха нашего пребывания в Чите сохранилась как особенное благословение Божие (Завалишин, 288).

«Столичные инвестиции», динамично развивающаяся и социально ориентированная экономика, свыше десятка лавок с широчайшим ассортиментом, разветвленный сервис (у многих декабристов были свои повара, банщики, портные, хлебники, квасники, огородники и свинопасы, у женатых — гувернеры, швей, экономки), безоговорочное превращение острожных солдат и офицеров в прислугу за соответствующее вознаграждение — итоги строительства коммунизма в отдельно взятом остроге. К чести декабристов нужно отметить: они прекрасно понимали, что «в ответе за тех, кого приручили»:

По отбытию нашем жители Читы, привыкшие к легкому приобретению денег, скоро впали в бедность, еще большую прежней: лень пошла об руку с пьянством — и так, прогрессивно упадая, они дожили до той эпохи, когда их бедная деревушка была переименована в областной город Забайкальского края; сами они переименованы в казаков и выселены в Атамановку, в 12 верстах от Читы (Бестужев 1951, 165).

Конфликты и крах Семьи

В самой же Семье началось имущественное расслоение. Нельзя сказать, чтобы декабристы и раньше ощущали себя монолитным целым. Характерный для отечественных вооруженных сил всех времен, давал себя знать престиж «родов войск»: лейб-гвардия не рассматривала кавалергардов как ровню, те свысока взирали на

гардемаринов, а армейские офицеры считались чуть ли не отребьем. Помимо этого, ссыльное собрание быстро разбежалось на «кружки по интересам»: имела место Конгрегация (собиравшая поклонников душеспасительных книг и бесед, лояльных ко всем), были Славяне (по всей видимости, реликт «Общества освобождения славян»), объединившиеся на почве отсутствия финансов и принадлежности к армейской касте. «Славяне» отличились лишь однажды, особым жестом аскетизма, когда с каторжников торжественно снимали кандалы, они нестройно просили оставить их в оковах. Как только представилась возможность, на смену Малому (первоначальному) каземату отстроили пятикомнатный Большой. Семья «разуплотнилась». Первые апартаменты — «Великий Новгород» — заняли авторитетные моралисты и принципиально независимые. (Култ древней вечевой республики как «первоистока» русского либерализма разделялся большинством — новгородские нравы, мировоззрение, социальную и правовую структуру реконструировали повести и поэмы, рассказы и публицистика декабристов) (Базанов 1953, 305—310). Соседняя небольшая горница — «Псков» — была обжита их не столь влиятельными союзниками. Богатые и сохранившие аристократические привычки осели в «Москве», или «барской комнате». Наконец, последнюю горницу прозвали «Вологда», или «мужичье», а то и «холопскою» — там селились главным образом все те же армейские офицеры и разночинцы, бывшие «на послугах» у «Москвы» и составлявшие с ней альянс против «вольных» апартаментов (Завалишин, 261).

Строго говоря, перед нами нечто большее, чем четыре стилия жизнестроительства, которые при желании можно анатомировать как четыре психожанра Келвина Мюррея — комическое, трагическое, драматическое и ироническое мироощущения. Историографические идеи и идеалы конца XVIII — начала XIX века, затрагивающие судьбы отправленных в архив княжеств и вечевых республик, стали элементом идентичности наших героев, теми самыми многоупоминаемыми «Я-нарративами» (Murtagh 1985). И вот в условиях коммунального быта идейные «новгородцы» Бестужевы сотворили семиотический Новгород, аристократические Анненков и Трубецкой — символическую Москву, а демократы Борисовы обустроили фикциональную Вологду.

Поляризация усилилась с переездом в Петровский завод, где семейным выделили по комнате, остальным — по «номеру» на двоих. «По разъединению нашего помещения, позволившему каждому отделиться и избрать для себя тесный круг по сердцу и уму,

исчезла та *идеальность*, которая одушевляла всех в тесном общем остроге читинском», — сетовал А. Розен (Розен 1984, 261). Жены заботились о комфорте частного пространства, среди дам развязалось соперничество, «кто больше и лучше пришлет в каземат», с каждым годом Семью покидало все больше «отселенцев». Сепарация по комнатам освобождала от «контроля общественного наблюдения», приводя к появлению не только привилегий для состоятельных, но и «холопства из среды неизбежно возникшего пролетариата (!)». Все, что прежде рассматривалось как недопустимое — лакейство, пьянство, карты, злоупотребление общественной казной, дендизм и излишества, — достигло пределов, когда от попреков дело дошло до прямых оскорблений, что повлекло вызовы на дуэль, раздоры партий сочувствующих и заступников и т.д. Принятые меры (учреждение Артели) оказались половинчатыми: хозяин избирался общиной на три месяца, что подрывало и долгосрочное планирование хозяйства, и устойчивость социальной системы, рождая протекторат для одних и раздражение у других. Ремесла и ученые занятия, книги и светские вечера — более уже ничто не препятствовало пробуждению *частных интересов*. Супружеские пары, обустроившие свои мини-поместья за оградой завода, воспринимались теперь как последние островки согласия, и из тщеславного подражания (иметь возможность похвастать, что и для них нашлись половинки еще в казематные годы) среди холостых началась настоящая «охота за невестами» — торговля с родителями в тех окрестных семьях, где имелись дочки на выданье, щедрые обещания и разрывы соглашений, перекупка «суженых»:

Жизнь в каземате представляла необычайную суматоху и наполнилась скандалами, служившими неисчерпаемым источником сплетен. Каземат, представлявший до сих пор отдельный мир, вносивший нравственным влиянием новые понятия и чувства в мир внешний, стал, видимо, сливаться с ним и подчиняться сам его будничной жизни (Завалишин, 318).

Пустевший острог катастрофически терял в нравственности: если доверять мемуарным обличениям, то «отъявленные материалисты» Барятинский, Соловьев, Мозалевский и Свистунов тратились на покупку деревенских девиц со всей окрестности, которых потом переодетыми доставляли в каземат для «оргий». Либерализм декабристы, стало быть, понимали каждый по-своему, тем более что и «некоторые дамы давали повод к соблазну». Нам никогда не узнать, имел ли в виду Д. Завалишин те случаи, когда, движимая

состраданием, как всякая истинная француженка, П. Анненкова организовывала провоз в бочке водовоза специально нанятой девки, или факты поскабрезней. Так или иначе, рассыпавшиеся в благодарностях холостые арестанты ощутили и такую грань Семейной жизни (Анненкова 1977, 291).

Конечно, Дмитрий Ириархович, этот «зловещий пророк», обличитель и сверхморалист Семьи, несколько сгустил краски. Но его воспоминаниям нельзя отказать в тончайшем анализе развития Казематной Общины, в эволюции которой он видел *аналог всем социально-историческим условиям существования человечества*. «В фокусе, чрез самую сжатость их в пространстве и времени» эти 13 лет жизни Семьи, как он полагал, смоделировали целые религиозные, философские, этические и политические системы, прошлое, настоящее и будущее основных проблем и достижений человеческого бытия, пути падений и дороги, ограждающие от «ошибок и самообольщения». От младенческо-патриархального читинского острога, где самопожертвование и такт соседствовали с увлеченно-порывистым решением всех вопросов, удовольствием от общения после камер-одинок, благородством и романтикой, к конституционному обществу паритетов (и приоритетов) раннего Петровского завода, во всем блеске и мишуре Казематного Просвещения, и меркантильно-эгоистическому плюрализму позднего. Осмысляя этот опыт, Дмитрий Завалишин рассуждает совершенно в духе Эриха Фромма: без преобразований себя проблематично создать здоровую, полноценную семью, а вне ее фундамента любое общество конструируется и развивается патологично:

Казематский опыт ясно свидетельствовал, что наилучшие учреждения тогда только прочны, когда они составляют естественное проявление живой, разумной и потому правильно действующей силы, которую не могут заменить ни отвлеченные идеи, ни условные договоры; что утверждение власти и свободы не может быть достигнуто независимо от нравственности, одним установлением форм и признаний прав; что свобода немислива для тех, кто не умеет противостоять поработочающим влияниям страха угроз, обольщения выгоды, приманки и привычки наслаждения (Завалишин, 352)¹⁴.

¹⁴ Взгляд с социэкономической стороны приводит к несколько иным, нежели душеведческие суждения, выводам. Ф. Энгельс, развивая периодизацию матримониального эволюционирования Льюиса Моргана, был убежден, что возвращение женщины к общественному производству, превращение всех забот частного хозяйства в отраслевые области, совместный

После «развода»

Декабристская Семья рассыпалась по Сибири. После «развода» каждый из братьев и сестер жил кто вполне, а кто и получастной жизнью (дома Трубецких и Волконских сделались центром светской жизни Иркутска; в Кургане поселились Розены, М. Нарышкин, Н. Лорер, В. Лихарев и И. Фохт, в Ялуторовске — Якушкины, И. Пушин, Е. Оболенский, М. И. Муравьев-Апостол, В. Тизенгаузен и Н. Басаргин). Члены заповедного Общества создавали школы или фермерствовали, слали за границу изблечительные статьи или служили городничими, писали повести «Отчего я не женат» или растили бастардов.

общественный же уход за детьми и их воспитание, ликвидация классовых противоречий и основанных на них отношений собственности в сфере брака и половых отношений послужат предпосылками рождения принципиально новой, прогрессивной семьи — семьи «околлективной», т.е. функционирующей на принципах свободы, равенства, братства. Не были ли все эти предпосылки скромно, но последовательно реализованы насельниками Каземата? Получилась ли из них семья будущего?

Позволим себе небольшую цитату из «*Происхождения семьи*»: «Патриархальная домашняя община, встречающаяся теперь еще у сербов и болгар под названием *Zadruga*... или *Bratstvo*... образовала переходную ступень от семьи, возникшей из группового брака и основанной на материнском праве, к индивидуальной семье современного мира. Южнославянская задруга... охватывает несколько потомков одного отца вместе с их женами, причем все они живут одним двором, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов и сообща владеют излишком дохода. Община находится под высшим управлением домохозяйина (*domacin*), который представляет ее перед внешним миром... ведает каской, несет ответственность как за нее, так и за правильное ведение всего хозяйства. Он избирается и отнюдь не обязательно должен быть старшим по возрасту... Но высшая власть сосредоточена в семейном совете, в собрании всех взрослых членов общины... Перед этим собранием отчитывается домохозяйин, оно принимает окончательные решения, вершит суд над членами общины, выносит постановления о более значительных покупках и продаже и т.д.» (Энгельс 1985, 66). Конечно, Артель не Задруга — и это не более чем метафора. Из двух вариантов матримониального уклада — стадии «до» и стадии «после современной семьи» — декабристы воплотили скорее первый; иными словами, их просвещенческие усилия завершились регрессом в сторону более примитивной, но более оправданной в экстремальных условиях миграции формы распределения ролей, собственности и ответственности.

«Острожная идиллия» опрокинулась не в прошлое (как всякая сюжетная или событийная *история*), а в будущее — будущее конструируемой уже по иным моделям *жизни*. Были ли эти модели столь же возвышенны и утопичны? Знакомство с дневником Вильгельма Кюхельбекера за последние (поселенческие) 1837—1845 годы — переживание шоковое, настолько *реалистично*, невыносимо *земной тяжестью* все описываемое, и орнаментирующие хронику стихотворения и притчи не поэтизируют происходящее, а, как раз наоборот, усиливают леденящую прозу. Преобладающая семантика облика детей — «болезнь», непредсказуемое «будущее», «смерть»; образ жены — квинтэссенция «усталости» и «ненависти к жизни», наконец, собственное «Я» — в силовом поле «отчаяния», «окаменевшего сердца», «равнодушия» и «отчуждения». Жанр трагедии? Но этот inferнальный мир, насыщенный убогим бытом и одиночеством, лишен всякой гиперсемиотизации, патетики, романтических гипербол. Поселенческие письма других декабристов не всегда столь мрачны, но и только, — там место гипербол занял быт. Выход из этого репортажного нарратива у В. Кюхельбекера намечается только в самом конце, когда переезд в Курган вновь свел его со Швейковским, Бриггеном и Басаргиным — осколками Семьи (Кюхельбекер 1891).

«Жило-было общество. Начинается, как сказка; сказка и есть, слушайте. Общество называлось Тайным. Кто назвал его тайным и почему оно так именовалось — не известно. Тайное — и только, и где же — в России! Русский человек, каков ни есть, весь лицо...» (Поджо 1989, 67). Этот отрывок из воспоминаний декабриста Александра Поджо мог бы стать прологом в «Сказке о декабристской Семье», окончание которой вам теперь известно. А послужит эпилогом. Импровизированная постановка этой сказки — на острожной сценической площадке — была первой и единственной. *Психопоэтика* названного шедевра, к сожалению, не воспроизводима: ушла та *поэтическая* эпоха и нет более столь *психологически* своеобразных актеров.

Ирина Разумова

РОДОСЛОВИЕ: СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ РОССИИ

Материалом для настоящей статьи послужили тексты устных и письменных интервью, которые проводились в 1999—2001 годах в рамках исследования традиций и фольклора современных российских семей (см.: Разумова 2001). Семейные рассказы, являясь одной из важнейших составляющих культуры родственных групп, могут быть проанализированы не только в фольклористическом и этнологическом отношении (с точки зрения трансляции традиции, способов сюжетообразования, структуры текстов и т.д.). В задачи нашего исследования входили, помимо прочего, ревизия глубины и объема историко-культурной памяти современных семейно-родственных групп и анализ основных концептов и устойчивых мотивов семейных историко-биографических нарративов, т.е. историко- и культурно-антропологические аспекты.

Большинство текстов записано в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях от жителей названных регионов и некоторых сопредельных территорий. Весь материал (представляющий около 1000 семей), таким образом, собран в Северо-Западном регионе России, но мы далеки от того, чтобы делать обобщения, касающиеся его региональной или этнолокальной специфичности. Дело даже не в том, что в собственно территориальном и этнокультурном отношении границы регионов, обозначаемых как «Русский (Европейский) Север» и «Северо-Запад», условны. Северные и северо-западные территории России — это зона активных миграций населения, прежде всего из юго-западных областей. Многие из наших информантов — переселенцы или их потомки во втором-третьем поколениях. Среди них есть представители гетероэтнических родственных групп, а также моноэтнических нерусских семей, пе-

решедших на русский язык. Их традиции не могут не иметь специфических черт, но в то же время общность исторических судеб и всех контекстов существования (социального, экономического, повседневного-бытового и т.д.) придают культуре этих семей много сходных черт. Наконец, о чем бы ни шла речь, все, рассказанное и записанное информантами, рассказано и написано на русском языке. А это уже само по себе означает единство нарративной традиции.

В данной статье мы лишь обозначим те аспекты и сюжетно-тематические блоки, которые, по нашему мнению, являются узловыми при рассмотрении заявленной темы.

Утрата и реконструкция семейной памяти

В современной российской социальной жизни очевидное внимание к семье, безусловно, вызвано потребностью гуманизации общества. Проблемы семьи, ее прошлого, настоящего и будущего волнуют работников образования, здравоохранения, социальной и экономической сфер. Создаются музеи семьи и частного быта, школьники учатся составлять родословия, разрабатываются системы социальной поддержки семей, изучаются методы семейной медицинской помощи и психотерапии на примере западного опыта и т.д. «Идея семейная» занимает все больше места в жизни и мировосприятии человека в современной России. Это, безусловно, связано с тем, что большинство людей испытывают и остро переживают ощущение нестабильности своего существования и не надеются на поддержку общества и государства. В свете сказанного родственные связи приобретают исключительную значимость.

Характерными для наших информантов оказались сетования на незнание родословной. Для начала семейной биографии типична устойчивая риторика, не зависящая от реальных знаний информанта:

Сейчас люди мало что знают о своей родне, откуда они произошли. Генеалогическое древо у них будет, честно говоря, невысоким, и ветвей будет мало. А ведь раньше не забывали свою родню (Елена, 17 л., знает предков до пятого колена).

Как редко мы задумываемся о том, каковы наши корни, чем прославились бабушки и дедушки. А ведь все эти поколения незримо протягивают к нам свои руки (Даша, 13 л., из сочинения).

Часто добавляется, что раньше «все просто обязаны были знать своих предков». Таков устойчивый стереотип. Он связан с постоянным переосмыслением прагматики генеалогического знания, которая находится в диапазоне от доказательства родства с целью подтверждения имущественных и социальных прав до удовлетворения индивидуального интереса и потребности в самоопределении. Кроме того, как демонстрирует российская история, в определенных обстоятельствах средством достижения и условием социально стабильного положения становилось забвение родословия.

Информанты указывают различные причины утраты памяти о предках: «Объясняется это тем, что моими предками были простые люди: по маминой линии крестьяне, по папиной — поморы» (Светлана, 21 г.); «Мама ей (т.е. бабушка — маме. — *И. Р.*) совсем ничего не говорила. Моя мама предполагает, что дедушка был из репрессированных или врагов народа» (Эмилия, 17 л.); по словам бабушки, «вся их жизнь была пытка, и интересного ничего не происходило... Они стараются все забыть» (Елена, 17 л.).

Умалчивается также о конфликтах, разводах, самоубийствах и особенно болезненно пережитых смертях, о родственниках, которые принадлежали к криминальной среде, страдали психическими заболеваниями, алкоголизмом и т.п. Все это — в дополнение к социально опасной информации, из-за которой многие «привыкли разговаривать шепотом».

Персональная ответственность за незнание родословной возлагается обычно на бабушек и дедушек. Существенной причиной является нарушение в цепи передачи знания, связанное с отсутствием письменных источников. Есть свидетельства, что даже потомки аристократических семей жаловались на трудности собирания генеалогического материала от живых членов своего рода (Кашкин 1912, 1: 152).

В настоящее время изменилась ценностная направляющая историко-генеалогического знания: однотипные в недавнем прошлом клишированные мотивировки того, зачем нужно знать родословие и родственников («чтобы знать историю своего народа», «без прошлого нет будущего» и т.п.), заменяются на более прагматические: «надо держаться вместе», «чтобы помогать друг другу», «кто же еще поможет» и т.п. Многие семьи начали восстанавливать свою историю и генеалогию, заниматься архивными разысканиями. Они используют все возможности для возобновления родственных связей, нарушенных войнами, репрессиями, конфликтами, эмиграцией и т.д.

Восстановление семейной истории осуществляется разными путями. Многие признаются, что этому способствовало возобновление связей с родственниками, проживающими за рубежом — в Финляндии, Германии, Норвегии и т.д., которые сохранили документы, родословные таблицы и прочие мемориальные свидетельства. Для других источником сведений становятся публикации, например «*Книга памяти*», благодаря которой узнают о судьбе погибших в годы войны. Для учащихся стимулом может послужить выполнение учебного задания. Нередко один из родственников (как правило, мужчин среднего или старшего возраста) занимается специальными разысканиями в архивах, составляет родословие и оказывается, таким образом, «хранителем» семейной памяти.

Составление «книги рода» — одна из традиций, которая при всех исторических перипетиях поддерживалась в ряде семей, отнюдь не только дворянских. В настоящее время «родословные книги», компилятивные «истории рода», мемуары предков печатаются доступным способом в небольшом количестве экземпляров и распространяются среди родственников. Редкая семья не имеет своего архива. Архивы современных семей включают документы, справки, вырезки из газет, удостоверения, почетные грамоты, мемуары предков, гимназические сочинения прабабушек, школьные дневники недавних выпускников, записные книжки, юбилейные поздравления и многое другое.

Истоки родословия

Родословное или семейно-биографическое повествование справедливо назвать «автобиографией», поскольку оно опирается на коллективную память, и рассказчик или составитель семейного жизнеописания чаще всего ориентирует его на себя как часть «родственного организма». Приступая к изложению истории своего рода, П. А. Флоренский писал: «...мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, — я, конечно, в лице своих предков» (Флоренский 1992, 26).

Автобиография, в отличие от биографии, не может представлять заверченный жизненный путь. Семейное жизнеописание имеет открытый финал. Письменные мемуары адресуются и посвящаются реальным или символическим потомкам. Начало же, напротив, всегда подчеркнуто, так как семья отыскивает причины, «истоки», сущность настоящего — в прошлом, в «происхождении».

Чаще всего мотивы «порождения» связаны с местностью. Это может быть страна, край («земля»), населенный пункт. Детальный или краткий рассказ о родине предков — общее место устных и письменных семейных мемуаров:

Наш род Клиновых начался в Карелии, в деревне Клиново, которая находится рядом с известным всему миру островом Кижи (Александр В., 44 г.).

Моя фамилия берет свое начало из древнего города Углич. Он старше Москвы. Углич ровесник Новгорода (Максим, 10 л., из сочинения «Моя родословная»).

Любая местность, населенный пункт имеют свою символику, которая включается в семейное предание, систему наследуемых ценностей и влияет на самоопределение семьи и индивида:

Я по матери из Пудожского района, из Водлозерья. Со времен древнего Новгорода там селились беглые крестьяне, которые не признавали никакой власти... Народ это был очень свободолюбивый. Возможно, свою страсть к спорам я унаследовала от них. Они покорялись только здравому смыслу. Там похоронен мой дед и еще многие наши предки (Людмила Николаевна, 46 л.).

Мифологема происхождения — «исхода» реализуется в известном мотиве «выезда» предков из чужих земель, который в современных текстах чаще выражен как «переселение» или «приход» на место, считающееся «родиной». С указания на «появление» предков в результате перемещения начинается едва ли не большинство семейных биографий. Это обстоятельство давно и хорошо известно историкам-генеалогам. Анализ Л. М. Савеловым дворянских родословий по источникам XVI и XVIII веков показал, что есть «лишь 33 рода, о которых говорится, что их родоначальники выехали из русских местностей, и 96, выезд которых не указан... остальные же 804 рода принадлежат к родам выезжим. <...> Не отрицая совершенно возможность выездов из других стран, мы крайне осторожно должны относиться к ним», — делает вывод историк (Савелов (1908—1909, 14—15).

Мотив «выезда» жестко соединен с мотивом «поселения» (укоренения) предков: «Предки наши (немцы. — *И. Р.*) появились в России еще во времена Петра. Занимались торговлей. Потом обросли корнями и остались» (М. А., 27 л.). Или: «Моисеевы с давних времен жили в Нюхче. Возможно, пришли они сюда из Сибири еще до времен Петра Первого» (Лариса, 22 л.).

Констатация этнической принадлежности или ее перемены включается в семейный этиологический сюжет (сюжет о происхождении родственной группы). Мотивы локального и этнического происхождения рода близки по смыслу и часто соединены: «Предки жили на исконно русской земле — Ярославле» (Елена, 17 л.); «Наш род происходит от вепсов, живших на территории Оштинского сельсовета» (Семен, 17 л.).

Мотив иноэтнического происхождения аналогичен мотиву о «выезде» предков; он реализуется в сюжете: «перемещение предка (-ов) — перемена этничности» («преобразование»):

Самый дальний известный предок — это какой-то австрийский военный. Если Вы помните, во время Первой мировой войны часть австрийской армии попала в окружение и была взята в плен... Он взял русское подданство и женился на русской (Алексей, 18 л.).

Папин род берет начало от испанцев, которые были в наполеоновской армии в 1812 году. Часть армии осела на Урале. <...> Сменилось определенное количество поколений, итальянцы и испанцы смешались с русскими (Надежда, 19 л.).

Указание на «социальное происхождение» в семейных биографиях является данью официальному стереотипу, который во все исторические периоды обозначает общественный и государственный статус рода. Напомним также о традиции его постоянного употребления в бесчисленных анкетах, автобиографиях советского периода. Социальная (сословная + профессиональная) принадлежность — один из важных факторов семейного самосознания. Род может «происходить из крестьян, дворян» и т.д.

В целом «точкой отсчета» семейной исторической памяти (кроме точной датировки, если есть документы) можно считать 1) «первособытие», основные сюжеты которого — переселение, появление предка в определенном месте, наименование, создание семьи; возможны другие; 2) начало персонализации предков, т.е. переход от собирательного образа к персонажам, идентифицируемым, как минимум, по степени родства или имени.

Персонажи семейной истории

Семейная память, как любая другая, избирательна в отношении отдельных родственников и целых поколений. Как правило, есть этиологический миф, далее следует временной разрыв, границу

которого создает «актуальная», или «оперативная», память семейной группы. В среднем это 4—5 поколений, включая поколение эго, т.е. поколение лица, которое ведет рассказ или выстраивает свое родословие.

Актуальная генеалогическая память, как правило, распространяется на период, охватываемый воспоминаниями третьего — пятого поколений (до прауродителей бабушек — в силу трансмиссии через поколение); именно такова глубина генеалогических сведений в массовом варианте. Приведу наиболее типичное утверждение: «Из самых дальних предков я помню только прабабушку и прадедушку. А по рассказам бабушки — немного о ее бабушке и дедушке» (Елена, 17 л.).

В каждом роду есть личности, рассказ о которых составляет основу семейной биографии. Идентификация «интересных» личностей осуществляется по-разному: от признания, что «каждый по-своему интересен», до выделения одной-двух персон. Биографии и словесные портреты персонажей семейной истории дают представление об идеальных, «ярких», «интересных» типах личностей в культуре, о гендерных, социальных, этнических стереотипах. В системе семейных ролей исключительное место занимают, в первую очередь, бабушки. Из всех «идеальных образов» родственников образ бабушки — самый разработанный и определенный.

Бабушки и дедушки информантов в подавляющем большинстве являются главными персонажами семейной истории, на втором месте — прабабушки и прадедушки, далее — все остальные. Прауродители занимают в семье особое положение, поскольку в трехпоколенной семье активность «работающего» поколения родителей направлена в основном вовне, преобладает общение и передача опыта через поколение. Смежные поколения, кроме того, имеют тенденцию к «отталкиванию» в силу универсального закона равновесия, что выражается в признании фамильного сходства через поколение. Судьбы и личные качества прауродителей служат основанием для выработки жизненной стратегии, ценностных ориентиров у потомков. Очевидно, что метасюжет рассказов о бабушках и дедушках составляет преодоление трудом и силой личности таких обстоятельств жизни, которые сложно признать человеческими. Отнюдь не только «культулом предков», но тем, что прауродители выжили и спасли потомков в экстраординарных условиях, объясняется наделение их образов чертами, близкими святости.

В характеристиках прауродителей прежде всего утверждается их исключительность по сравнению с «обычными» людьми. Бабушка — «человек с золотым сердцем»; дедушка — всегда «золотые руки»; «казалось бы, такое количество качеств не может уместиться в одном человеке»; «таких людей я встречала очень редко»; бабушка — «феномен нашей семьи», она «не говорила, а баяла» и т.п. (из высказываний информантов).

Исключительность касается разносторонности знаний и умений: «Не было такой работы, которую бы прадедушка не умел делать»; «Не знаю другого человека, который бы работал в столь различных сферах»; дедушка — «мастер на все руки. Он может сделать все что угодно. За какое бы дело он ни взялся, у него все получается» (высказывания настолько типичны, что не нуждаются в атрибуции).

Представители старшего поколения наделяются «даром предвидения». Они признаются «центром семьи», являются «средоточием тех качеств, которые понемножку “распылены” на всех членов нашей семьи» (Светлана, 21 г.); «Вся любовь в нашей семье идет от них, в них наша сплоченность, наша сила» (Инна, 23 г.) и т.п.

В рассказах о прауродителях ощущается влияние характеристик фольклорных эпических персонажей:

Мой прапрапрадед родился в великий и старинный праздник Ильин день. Ребенок был крепок и здоров. Рос он не по дням, а по часам (Надежда, 20 л., из предания о фамилии Ильины).

В молодости он (дедушка. — *И. Р.*) был очень красив и силен собой. В молодости он вставал под лошадь и подымал ее от земли. Вот такая сила! (Елена, 18 л.).

Утверждение этических, социальных и прочих ценностей — функция большинства биографических рассказов о родственниках. Редкий рассказ обходится без выводов относительно жизненной стратегии персонажа или характера его «судьбы»: «Прадед Андрей был удачливым человеком. Окончив церковно-приходскую школу... он после возвращения из действительной армии стал начальником лесосплава». Далее «удачливость» прадеда иллюстрируется тем, что ему с женой удалось побывать в Ленинграде во время учебы на курсах; был он хорошим сплавщиком-профессионалом и считался «родившимся в рубашке», так как был заподозрен в проступке, но не был расстрелян в 1937 году (Юлия, 17 л.).

В целом основную сюжетную коллизию биографических нарративов составляет столкновение «жизненного труда» (реже —

сильного характера) с внешними обстоятельствами. «Труд» и «трудности» (включая производные и оппозиционные лексемы) — ключевые, связующие и самые частотные понятия. Самая устойчивая жизненная установка из тех, которые утверждаются женскими биографиями, — «надо было жить для ребенка» («надо было как-то жить, поднимать детей»); «несмотря на многие трудности, смогли дать своим детям все то, что не смогли дать им в свое время родители» и т.п.

Рассказ-жизнеописание в зависимости от контекста имеет различные значения. Он может выражать, например, идею «жестокости» судьбы или жизни в определенное время в определенном месте, утверждать/опровергать жизненную стратегию, родственную преемственность и т.д. Одной из базовых является идея «жертвенности» во имя детей. Рассказ о чрезвычайно горестной судьбе рано умершей бабушки завершается резюме: «Зато у нее хорошие дети, у всех свои семьи».

Одни биографии родственников служат напоминанием о социальном престиже, другие призваны утверждать нравственные и поведенческие нормы, третьи вспоминаются как образец негативно или печального опыта и т.д. Но в конечном итоге большинство биографических рассказов о старших родственниках приводят к выводу наподобие такого: «Мой дедушка жив до сих пор, ему сейчас 91 год, и он представляет из себя историческую ценность» (Алексей, 17 л.).

«Внутреннее» и «внешнее» время

Каждая семейно-родственная группа имеет свое, «внутреннее», время. Это, во-первых, временной диапазон существования того, что принято называть «родом»: последовательность поколений от более или менее известного первого предка, с которого ведет начало фамилия или с которым связан самый ранний историко-семейный сюжет. Это время, которое можно назвать «генеалогическим», включает в себя жизненные циклы отдельных семейных групп, основанных на брачном союзе. Для любой семьи важнейшими историческими событиями, с точки зрения семейного времени, являются рождения и смерти близких, создание и распад супружеских союзов, этапы взросления детей и внуков, разъединения и воссоединения родственников, изменения социального статуса семьи и ее пространственные перемещения (переезды). Семейное

время создается последовательностью событий жизненного цикла родственников. Эти события и составляют основные сюжеты семейных преданий и повествовательной истории семьи; они порождают наибольшее количество разнохарактерных текстов, поскольку составляют основное содержание жизни людей и сферу их ближайших интересов.

Вместе с тем история семей не может быть отделена от истории отечественной, этнической, локальной. Более того, «макроистория» — это слагаемое историй семейных, а биография каждой отдельно взятой семьи — это одновременно история страны, народа, города или местности. У семьи свой взгляд, который позволяет уловить «конкретный облик глобальной истории» (Ревель 1996, 118).

Абсолютная («календарная») хронология в семейных исторических нарративах представлена ограниченно. Включение дат в повествование указывает на его документальную основу. Дата отмечает начало рода: «Впервые фамилия Тилликяйнен встречается в 1475 году» (согласно книге рода) (Александра, 15 л.) и т.п.

Чаще всего первая дата в истории семьи обозначает рождение одного из предков. Значительно реже таковыми являются даты смерти, переезда или иные: «Корни семьи уходят в глубокую древность, в 1903 год. Именно в это время на свет появилась моя прапрабабушка» (Ирина, 17 л.); «Муж моей прабабушки был арестован и расстрелян в 1931 году» (первая дата в рассказе об истории семьи) (Анастасия, 17 л.).

Как в любом биографическом и автобиографическом повествовании, в семейных рассказах датировка весьма приблизительна: убеждение в том, что предки — новгородские переселенцы, позволяет делать вывод, что они живут на Каргополье с XIV века; фамилия с «польским» окончанием и местожительство родственников — Вятка — дают основание для заключения, что они переселились (были сосланы) в 1861 году, после восстания в Польше, и т.п.

Соотношение исторических событий официальной историографии с сюжетами семейных рассказов определяется рядом факторов. Наиболее важными следует признать 1) степень внешнего воздействия на семью (со стороны общества, государства); 2) уровень усвоения «школьной» истории, официальных исторических представлений; 3) семейные и индивидуальные формы реакций на происходящее; 4) традицию рассказывания, которая определяет отбор событий, способы создания и словесного оформления сюжета; 5) ситуативный контекст.

Отечественная история для истории семей предстает прежде всего в качестве системы координат для измерения семейного времени. Основными маркерами временных периодов выступают отдельные личности («при Петре»), политические события (войны, восстания, революции), государственные институциональные образования («при колхозах») и законодательные акты («после указа о ...»), обозначения воздействий, испытанных со стороны государства («в годы репрессий», «в период раскулачивания»).

Историческое событие закрепляется в семейной памяти благодаря родословному преданию. Так, для семей, считающих своих предков старообрядцами, начало истории — вторая половина XVII века. По наблюдениям фольклориста Л. Е. Элиасова, устное родословие сибирских казаков, в отличие от старообрядцев, не простиралось вглубь далее полутора веков, поскольку не ранее второй половины XVIII — начала XIX века произошло их разделение на «городовых» и «станичных», существенно сказавшееся на групповом самосознании (Элиасов 1960, 77—78).

Обозначение исторического факта, сыгравшего важную роль в семейной жизни, не всегда имеет точную датировку: «предки «были зажиточными крестьянами, и в определенный этап развития истории их раскулачили» (Оксана, 18 л.). Возможно и полное незнание фактических реалий: «Родители деда были дворянами... но в конце XIX века произошло какое-то событие в стране, что люди, имевшие приличное состояние, стали его прятать... тем самым резко поменяли свой внешний облик, став обычными людьми» (Юлия, 17 л.). Последующая периодизация истории рода ориентируется на события типа: «В годы Первой мировой войны моего прадеда призвали в царскую армию... После войны... Жизнь в период коллективизации... В годы Великой Отечественной войны... После войны...» (Анна, 17 л.).

В целом семейная периодизация не может не совпадать с основными вехами отечественной истории XX века, но при этом наблюдаются как известные закономерности, корректирующие официальную иерархию событий, так и избирательность при конструировании истории отдельных семей.

Многие события локального масштаба приобретают для семей, живущих в регионе, первостепенное значение. Так, если для большинства коренных жителей Карелии (Олонецкой губернии) «революция» (1917 г.) не является переломным моментом, изменившим родственные связи, то установление после нее границы между Карелией и Финляндией, несомненно, относится к таковым:

После революции жизнь в деревне резко переменялась... Между Карелией и Финляндией поставили границу, разделили деревни, а вместе с этим и семьи, родственников, близких. Прошло время, и началась война (Юлия, 18 л.).

В тридцатых годах дяди бабушки часто ездили туда на заработки. И когда они в очередной раз уехали в Финляндию, закрыли границу, и они остались там. Но один из них переплыл реку, отъединявшую Финляндию от Карелии, а второй не умел плавать, он побоялся прыгнуть в воду и остался в чужой стране (Анна, 17 л.).

Времена и события глазами семьи

По силе исключительного влияния на семейные судьбы самыми типичными являются период конца 1920—1930-х годов, обозначаемый: «колхозные времена», «период раскулачивания», «годы репрессий» — и Великая Отечественная война. Практически нет семьи, в которой основной массив исторических рассказов не был бы связан с этими временными отрезками. Данное обстоятельство объясняется и тем, что для основного поколения современных семейных рассказчиков указанные периоды совпадают с годами детства и юности. «Война» и различные обозначения периода 1930-х годов оказываются границей, отмечающей глубину исторической памяти родственного коллектива. Для современных российских семей это время, которое совпадает с оперативной памятью и воспринимается через живое предание. Кроме того, для всех без исключения семейных групп оно оказалось переломным. Показательна ремарка информанта, так оценившего семейную память: «Все воспоминания перекрыла война» (Александр, 17 л.).

Закономерно, что с 1930—1940-ми годами связан основной массив семейной исторической прозы. Именно процессы 1930-х годов и военного времени дестабилизировали семейные группы. Они вызвали волну вынужденных переселений, породивших семейный кризис, создали дисбаланс между рождением/смертью, созданием/распадом семей, соединением/разъединением родственников в пользу событий второго ряда. «Война» и «сталинские репрессии» — главные причины пресечения родословия и семейных связей. Это не только обозначения реальных событий, но мифологизированные «образы зла» (так же, как «блокада», «выселение», «закрытие границ» и т.п.).

Негативные личные и семейные ассоциации с известным событием (временем) препятствуют его воскрешению в памяти и

вербализации. Во многих семьях существует запрет на военные воспоминания, выполняющий «защитную» функцию по отношению к старшим. При необходимости рассказы заменяются официально-историческими клишированными текстами.

Когда заходит об этом разговор, то они (дедушки. — *И. Р.*) чаще всего вспоминают что-либо официальное: даты битв, вручение орденов, медалей, грамот — и переводят разговор на другое. <...> Единственное, что вспоминает папин папа, — это то, как из горящего танка <...> его вытащила собака и таким образом спасла ему жизнь. Ну, а дедушка в Мари-Туреке вспоминал, что, когда его после госпиталя отправили домой, он в подарок бабушке купил на свои последние деньги конфеты с коньячной начинкой (Екатерина, 17 л.).

«Исключения» показательны. Сюжет «чудесного спасения» в силу особой символической значимости наиболее устойчив в любых воспоминаниях. Второй рассказ показывает, как «макроистория» запоминается через эпизоды частной жизни, связанные, в первую очередь, с переживанием основных событий семейного сюжета, в данном случае — воссоединения близких или воссоздания семьи (мотив «ухаживания»).

История семьи «поправляет» официальную историю в зависимости от собственного опыта и точки зрения:

Прадед моей прабабушки... был крепостной. На уроках истории в школе мы проходили, что жизнь крепостных была ужасна, а у моего крепостного родственника водились деньги. А его дочь очень хотела быть вольной, она уговорила отца отдать барину выкуп. Все свои сбережения в виде кринки с золотом отнес предок барину. Случилось это накануне отмены крепостного права (Екатерина, 17 л.).

Данное семейное предание выявляет не столько несоответствие «реального опыта» идеологическим построениям, сколько смещение угла зрения: семейно-сословный взгляд (а) предполагает, что «ужас» положения крепостных заключается преимущественно не в отсутствии личной свободы, а в материальном недостатке, и (б) не рассчитан на верификацию ситуации как типичной. Обычно основанием для пересмотра официальной концепции служит оценка положения собственной семьи как стабильного/ нестабильного (благополучного /бедственного) в конкретных исторических условиях.

В характеристике того или иного периода большое значение имеет эмоциональное восприятие времени. Оно оценивается как

«страшное», «радостное», «спокойное» и т.п. Большой частью память фиксирует не фактическую сторону исторических событий и ситуаций, но особенную реакцию на них и специфические бытовые обстоятельства. Бабушка одного из информантов рассказывала

про времена, когда опаздывать на работу было запрещено, и опоздания, и прогулы строго карались. Однажды, когда на остановке бабушка ждала автобус, чтобы поехать на работу, оказалось, что автобус в дороге сломался, и бабушка опоздала на работу. Ее за это чуть не уволили (Николай, 17 л.).

Эпохальное историческое событие воспринимается другим информантом сквозь призму детских впечатлений матери:

Большим событием для всех был запуск первых спутников, бегали смотреть всей семьей, слушали передачи, когда должен пролететь спутник. Когда запустили Гагарина, в школе прыгали на партах (Любовь, 18 л. — со слов мамы).

Основной объект семейных исторических рассказов — особенности жизни и быта, которые характеризуют время. Рассказывает прежде всего о том, «как жили» в те или иные годы: «как отмечали праздники», «о деревне», «каким был Петрозаводск в те времена», «как голодали в детстве», «как работали на мельнице», «как ехали в эвакуацию», «как трудно жили после войны» и т.д. У каждого поколения и отдельных членов семьи свой репертуар, что не мешает остальным также быть более или менее активными его носителями, участвовать в коллективном рассказывании — воспоминании.

Время может оцениваться равно в пользу «прошлого» или «настоящего». Сюжет о «выживании семьи» вопреки трудностям («тяжелое прошлое») и концепция «утраченного рая» накладываются на канву семейного и индивидуальных жизненных циклов. Если детство может быть и «золотым» и «трудным», то «юность» обычно окрашена в оптимистические тона и т.д. Для старшего поколения характерна такая оценка: бабушка и дедушка «самыми горестными воспоминаниями считают детство и старость» (Марина, 17 л.). Аргументами являются рассказы о «голодном детстве» и горестях настоящего времени.

Рассказы о «возрасте» и «времени» содержат устойчивые мотивы. Так, повествования о «трудном детстве», к какому бы периоду оно ни относилось, включают новеллу о том, как голодный ребенок однажды наедается, ему становится плохо, и с тех пор он

больше этот продукт не ест. В рассказах о том, как раньше учились в деревенской школе, почти всегда подчеркнуто: на семью или всех детей был один предмет верхней одежды, а чаще обуви, поэтому в школу ходили по очереди. Сообщение, что подросток в годы войны работал на заводе, обязательно дополняется одной и той же деталью: под ноги ему ставили ящик. В рассказах о послевоенном голоде неоднократно встречается мотив: женщина отдает хлеб пленному немцу¹ и т.п.

Общность судеб и повторяемость жизненных ситуаций вписываются в традицию рассказывания о наиболее важных периодах и событиях. Так, рассказы о «годах репрессий» варьируют мотивы пережитого страха и сосредоточены, в первую очередь, на эпизодах ареста родственника или депортации всей деревни (реальное осуществление акций в ночное время, внезапно, немотивированно, тайно и т.д., не нуждается в дополнительной мифологизации); а также «чудесного спасения» члена семьи, «возвращения» его из заключения (обычно это слово не произносится) в неузнаваемом виде. Они включают также подробности безуспешных попыток узнать о судьбе родственника. В последнее время часто рассказывают о найденных захоронениях и о посещениях их. Типичен мотив абсурдного повода для ареста:

В 1937 году на одном из каких-то сборных концертов (праед. — *И. Р.*) вместо патриотической песни, по просьбе зрителей... исполнил старинный русский романс... Домой он вернулся в 1940 году, совершенно больной (Светлана, 31 г.).

Война в семейных рассказах

Особенно впечатляюще представлен в семейных воспоминаниях период Великой Отечественной войны. «Война» воспринимается как «испытание» для семьи, пребывание в ином качестве и в сфере непосредственного соприкосновения со смертью. У абсолютного большинства семей есть подробные рассказы о «первом» и «последнем» днях войны. Разные точки зрения на происходящее создают параллельные сюжеты: «мужской», «женский», «детский».

«Фронтной» (условно — «мужской») текст представлен главным образом рассказами двух типов: о героическом поведении и

¹ Опубликованный вариант см.: *Спустя полвека* (1994, 64—65).

«чудесном спасении». «Женские» сюжеты могут быть сгруппированы по темам: «эвакуация», «жизнь в оккупации», «в тылу» и т.д. Каждая из них варьирует устойчивые мотивы. Так, воспоминания об эвакуации обязательно включают рассказы о трудностях пути, о местном населении (его радушии или, напротив, «скупоности» и неприветливости), о возвращении.

Именно семейные воспоминания позволяют увидеть неоднозначные, часто противоречивые и изменчивые оценки «своих» и «чужих», которые являются реакцией на реальное разнообразие ситуаций. При этом в любом случае история семьи конструируется через осмысление «официальных мифов» о героизме партизан, идиллических отношениях эвакуированных с местным населением, жестокости завоевателей и т.п. в историографии советского и — с обратным знаком — постсоветского периода.

В рассказах о жизни в оккупации или о пребывании в лагере важное место занимает «образ оккупанта». Закономерно, что наряду с эпизодами «нечеловеческой» жестокости присутствуют мотивы нетипичного для врага поведения: немецкий врач делает спасительную операцию, охранники тайно приносят еду и т.п. Для такого «ненормативного» поведения находятся специфические мотивировки, например: немецкий офицер предупредил об облаве только семью родственников информанта, так как «сестра матери... напоминала офицеру его дочь» (Георгий, 29 л.).

Установление родства в любой форме: от неясных аллюзий до «брачного сюжета» — служит преодолению критического положения, является средством «спасения» и психологической компенсации. В этом причина популярности рассказов типа «истории о любви между русской девушкой и немецким солдатом». Таким образом выражается идея преодоления этнической вражды путем установления родственных отношений.

Для каждого конкретного события имеются наиболее характерные (хотя и не обязательно эксклюзивные) мотивы. Так, «блокадные» рассказы в основном опираются на обстоятельства, связанные с голодом, когда выживание человека достигается «нечеловеческими» средствами: люди едят домашних животных; ребенку продают на базаре человеческое мясо и т.п. Выживший, подобно персонажу легенд и легендарных сказок, который побывал на том свете, оказывается не просто изменившимся, но состарившимся: «После прорыва блокады к ней (бабушкиной тете. — *И. Р.*) подошел солдат и, протянув хлеб, сказал: «Возьмите, бабушка», — а ей не было и тридцати» (Александр, 20 л.).

По контрасту с военным периодом и с настоящим временем жизнь 1950—1970-х годов в семейных рассказах предстает большей частью в идеализированном виде. Современные информанты всех возрастов, осознавая себя живущими в «тяжелые времена», склонны воспринимать, как минимум, три десятилетия (1955—1985) почти «безоблачными». Для молодого поколения жизнь родителей, отчасти — бабушек и дедушек, «была интересной и разнообразной», «веселой и беззаботной», «активной» и т.п. Преобладают ностальгически окрашенные рассказы о поездках, встречах, культурных впечатлениях, развлечениях, профессиональной и любительской деятельности. Оппозицию составляет меньшая по численности группа рассказов, которые всегда касаются ситуации в деревне. В них противопоставлены город и село, а сюжетом часто является преодоление трудностей переселения в город («жизнь без прописки», тяжелая работа и т.п.).

Наконец, фонд семейной исторической прозы начали пополнять рассказы о войнах последних двух десятилетий (начиная с афганской). Запреты на рассказывание (как психологические, так и связанные с «неразглашением военной тайны») делают собственноручно воинские и «страшные» сюжеты достоянием узкого круга. «Героические» сюжеты представлены очень слабо, преобладают рассказы о «чудесном спасении», в которых подчеркнуты «сверхъестественные» жестокости и опасности. Особую категорию составляют рассказы о родственниках, прошедших войну, т.е. вернувшихся из мира смерти:

Он не любит об этом рассказывать. И вообще после Чечни (двоюродный брат. — *И. Р.*) стал очень молчаливым, у него изменился характер. Он стал очень вспыльчивым... Когда я его увидела после Чечни... он на все смотрел, как зверь (Наталья, 17 л.).

Семья и власть

История семьи — это история ее взаимоотношений с обществом и властью (государством), которая реализуется в нескольких метасюжетах. Прежде всего любая семейная биография призвана служить укреплению престижа рода, следовательно, утверждать общественную значимость и известность его представителей. Социальные связи скрепляются не только родством, но и дружбой членов семьи с известными и выдающимися людьми, коллегиальными от-

ношениями, совместной службой и даже просто знакомством. Частью семейного фольклора становятся рассказы о том, «как дед служил на даче Г. К. Жукова», а «дядя служил в одном взводе с Юрием Никулиным» и т.п. Знакомство со знаменитыми или обличенными властью людьми позволяет рассчитывать на «известность», что, в свою очередь, означает наиболее полное и выраженное существование.

Особый случай, всегда закрепляющийся в семейном предании, — встреча и общение с правителем, «великим человеком», причем родственник оказывается в выигрышном положении.

На батарею, где служил наводчиком прадед информанта, приехал Николай II с придворными и царевичем; царевич, балуясь, несколько раз расстраивал наводку пушки; после обращения к начальству «прадеду разрешили делать с царевичем, что он захочет, но чтобы пушки наконец начали стрельбу...; он взял царевича за ухо и выгнал от пушки (Александр, 18 л.).

«Женский» сюжет: на прабабку информанта, тогда — молодую девушку, «загляделся» царский наследник — по семейному предположению, Александр III (Анна, 38 л.).

«Историческая ценность» рода поддерживается участием его представителей в важных (вошедших в учебники), переломных и послуживших престижу Отечества событиях. Если верить семейным преданиям, среди прямых предков наших информантов есть участник событий, о которых повествует «*Житие Михаила Черниговского*» (XIII в.); воин, совершивший подвиг в сражении на Угре (XV в.); первые строители Петербурга; и тот самый человек, который дал «легендарный» выстрел с «Авроры» в 1917 году (это лишь выборочный перечень), не говоря о родственниках, которые воевали, возводили историко-культурные объекты и т.п. «Деяния предков» осознаются частью и «движущей силой» истории государства в полном соответствии с идеей их единства.

Рассказы о воинских, профессиональных, «общественных» заслугах — основная представительская часть семейной истории. Заслуги имеют разный масштаб, в том числе локальный. Не без основания «подвигом» называет информантка восстановление разрушенной деревеньки и организацию там школы ее отцом и его братьями в 1980-е годы (Галина, 17 л.). Христианский подвиг — спасение икон из разрушенной церкви и хранение их с риском для жизни в 1940—1950-е годы (Лариса, 22 г.) — распространенный сюжет. Едва ли не фамильной чертой считается в семье помощь

людям в несчастных случаях: дед несколько раз спасал тонущих, мать и дочь неоднократно помогали встречным, которым становилось плохо с сердцем (Елена, 17 л.).

Отношения семьи (а) с обществом и (б) с властью и разнятся, и строятся на сходных принципах. Если поимка шпиона частным лицом (есть серия рассказов на эту тему) представляется актом «государственным», то хранение икон — «антигосударственным», но при этом равно героическим, поскольку оба поступка сопряжены с риском для жизни. Идея добровольной жертвы преобладает в рассказах о сотрудничестве семьи и социума: в годы войны солдаты украли у хозяйки весь запас мяса; она «не говорила никому, дабы понимала, что своим жалеть нельзя, несмотря на то что и у них семья не маленькая» (Анастасия, 20 л.). Идея выражается не только в рассказах о героических подвигах, но и в «профессиональном» дискурсе: профессионализм требует принесения в жертву интересов семьи.

Второй метасюжет создается противостоянием семьи и «государственных интересов», а также событиями, которые воспринимаются как манифестация чужой насильственной воли. Так, популярная тема, связанная с событиями недавнего прошлого, представлена рассказами о разъединении родственников и о сложностях связи с ними. Установление новых границ, повышение тарифов на виды связи интерпретируются, в первую очередь, как насильственное разделение родных (и друзей) с некими коварными целями.

Субъект внешнего воздействия на семью персонифицируется в виде неопределенно-личного множества: «раскулачили», «убили», «закрыли (границу, учреждение)» и т.п., собственно события и ситуации («война», «разруха», «революция»), учреждения, организации («НКВД»), установления («указ», «амнистия»). В последнем случае характерно обозначение самого воздействия конструкцией с глаголом «попасть под (мобилизацию, сокращение, распределение и т.п.)». Сюжетообразующие коллизии связаны с идеей «мученичества».

Сохранить семью от исторических катаклизмов и давления властей может «чудо», «божья воля» или случай:

Петербургжанка — бывшая гувернантка из-за болезни дочери уехала с ней в провинцию; потомки считают, что «эта тяжелая болезнь спасла бабушку и ее маму от гибели, потому что после их отъезда произошла революция и смена власти в семнадцатом году (Алена, 21 г.).

Такова семантика многочисленных рассказов, составляющих едва ли не большую часть семейных хроник. Многообразие экстремальных ситуаций, обусловленных социально-историческим контекстом, не поддается учету. Оно создается принуждением властей, структурой отношений, бытовыми условиями, событийными обстоятельствами. Столь же различны средства спасения, к которым помимо «божественного» контроля относятся счастливая судьба, активность самого субъекта, действия персонажей-помощников (не исключая представителей тех же властей) и др.

С точки зрения частной жизни благоприятно положение, когда человек «спрятан», «забыт», «невидим» и т.п. Во многих рассказах о пережитом страхе встречается типовая предостерегающая реплика: «Увидит советская власть — в Сибирь сошлют» (в ответ на предложение жены забить и продать корову) (Анастасия, 20 л.). За редкими исключениями, результат воздействия на семью со стороны государства рассматривается как дестабилизирующий. Его последствия — это разъединения, переселения, понижение статуса, окончательные и «неокончательные» смерти и в конечном итоге — угроза существованию рода:

Перед самой высылкой однажды ночью пришли к ним и стали стучать, требуя хлеба... Бабушка, в возрасте 10—12-летней девочки, открыла окно и вместе с мешком выпрыгнула в окно... по моей бабушке стреляли. <...> Бабушка Тиля рисковала своей жизнью ради последних килограммов хлеба. Если бы ее не стало, то я никогда бы не появилась на свет (Юлия, 18 л.).

Таким образом, жертвенное поведение приобретает иное значение: кто-то из родственников рискует жизнью ради спасения семьи; если же это ребенок, незамужняя девушка или молодая женщина, в жертву приносится будущее части рода во имя сохранения целого.

Антагонизм семьи и государства составляет одну из основ семейной биографии, которая в подавляющем большинстве случаев предстает как история «выживания», преодоления серии кризисов с большими или меньшими потерями. В этом противостоянии сильного и слабого семейная группа выступает не только в пассивной страдательной роли. Распространенной формой противодействия является эскапизм. Помимо собственно эмиграции это и «бегство» в пределах отечественного пространства — способ избегания, который принято считать «традиционным русским»: «Когда в селе началась коллективизация, дедушка и бабушка бежали на юг, так как не хотели вступать в колхоз» (Александра, 17 л.).

«Поселение» предков (в «начальном» сюжете) и последующие перемещения мотивируются бегством их от «налогов», «гонений на старообрядцев», «воинской повинности», «притеснений помещиков», «раскулачивания» и прочих бедствий.

Особой разновидностью эскапизма можно признать все виды добровольных жертв, означающие отказ от «правил игры», согласно которым семья должна подчинить свои интересы государственным вплоть до самоуничтожения (в том числе отречения от родственников). В обмен на сохранение неприкосновенности члены семьи отказываются от статуса, имущества. Не дожидаясь «раскулачивания», они отдают нажитое в колхоз; меняют профессию, не соглашаются принять должность. Так, дед, «хоть и партийный», отказался стать председателем колхоза, так как семья могла пострадать (Алена, 21 г.).

Все эти действия, включая разнообразные виды «взяток», могут быть рассмотрены как установление договорных отношений с «властями» и одновременно — как «хитрость». Обман государства становится особым типом противодействия. Рассказы на эту тему представляют своего рода «трикстериаду» — закономерное следствие столкновения власти и подчиненных. Чтобы не отдавать лошадей в колхоз («загубят»), хозяин продает их цыганам («те позаботятся»), которые платят золотом (Светлана, 17 л.).

Такие «хитрости» помимо психологических переживаний, подробно описанных в рассказе, могут повлечь и более опасные последствия. Наряду с ними всегда существовали вполне легитимные, специфически «семейные» способы уклонения от обязанностей перед государством: брак и рождение детей.

В истории Сибири известен «год великого переполоха» (1849 г.), когда слух о том, что будут женить всех солдат иркутского гарнизона для отправки их на окраинные земли, вызвал волну массовых скоропалительных свадеб (Элиасов 1960, 168—169). Заключение брака — способ противостоять государству его же, т.е. официальными, средствами. Он предоставляет свободу передвижений или, напротив, спасает от выселения, «распределения»; позволяет избавиться от нежелательного статуса и приобрести необходимый и т.п.:

Бабушка вышла замуж, потому что после войны просто так из колхозов не отпускали и не отдавали паспорта, а она хотела уехать (Ольга, 20 л.).

Бабушке пришлось выйти замуж, чтобы не ехать в ссылку (Ирина, 17 л.).

Аналогичным образом известную эмансипацию от государства и льготы предоставляет обоим родителям рождение ребенка. Рассказы о браке и рождении с такими мотивировками выполняют преимущественно репрезентативную функцию, а не «внутрисемейную». Вербализация их допустима только в ситуации конфликта или при ограниченном общении, а также после смерти «заинтересованных» членов семьи.

Большие возможности для манипуляций предоставляют документы. Особенно те, которые удостоверяют личность, выступая ее заместителями, а также свидетельства об актах гражданского состояния и любые другие. Из документов выстраивается отчуждаемая от человека его биография, которая может оказаться единственной реальностью и вытеснить индивида из жизни². Документ предоставляет государству право владения человеком, корректирования биографических фактов: «Она (сестра. — *И. Р.*) родилась в пятнадцать минут первого 25 ноября, а ее записали на 24-е, так как не выполнялся план» (Ольга, 20 л.).

Со своей стороны, индивид и семья могут предъявить обществу «ложную» биографию, а истинную оставить фактом частной жизни. Когда мама информанта была ребенком, «чтобы была русская национальность, свидетельство о рождении пришлось купить», поэтому у нее два имени — «настоящее» и «по документам» (Ольга, 19 л.).

Перемена имен и особенно фамилий — широко практикуемый способ «спрятаться» от государства, «превратиться в другого». Вышедшие из заключения меняли фамилии, с тем чтобы оградить от последствий родственников, прежде всего детей. Перемена документа может скрыть любое нежелательное (непрестижное) обстоятельство и личность как таковую. Она же помогает добиться преимуществ.

Идеальное средство сохранить неприкосновенность частной жизни — не фиксировать ее документально или уничтожить документ. По рассказам одной информантки, после войны ее бабушка сожгла паспорт со штампом, что она «враг народа»; до 1960 года жила без паспорта, а не рассказывала об этом близким еще более

² У бабушки информанта, которая работала с детских лет, в годы войны пропали документы, и при выходе на пенсию у нее оказалось 13 лет стажа; когда же документы нашлись, ее наградили медалью (Елена, 17 л.). Семья, сбежавшая из плена, несколько лет была, по их словам, «между небом и землей», так как без документов они нигде не числились (Мария, 18 л.).

двадцати лет (Елена, 17 л.). В другой семье супруги также более двадцати лет жили, не регистрируя брак, потому что муж тайно увез жену с лесозаготовок (Вера, 18 л.). Подобные факты относятся к эзотерическому знанию, которое в еще большей степени, чем «обережные» браки, скрывается от собственных детей и дальних родственников.

Через отношение к обществу и власти в семейной биографии могут быть сопоставлены разные ветви рода. Выстраивая хроникальное повествование, один из информантов вначале подробно рассказывает о родословии матери, которое хорошо знает; причем история XX века изложена в новеллах и биографических текстах, призванных проиллюстрировать тезис о том, что «предки сильно пострадали от советской власти». Приступив к краткому рассказу об отцовском роде, замечает: «Как раз Бароновым советская власть пошла на пользу» (Александр, 17 л.). Так возникает контрапункт, благодаря которому хроникальный рассказ приобретает внутренний сюжет, подводящий к итоговому самоопределению рассказчика: «Несмотря на то что я ношу фамилию Баронов, я ощущаю себя интеллигентом, во мне очень сильные корни...» — далее идет перечень фамилий материнского рода.

Было бы несправедливо отнести данный вывод исключительно к сфере «конъюнктуры», в соответствии с которой «пострадать от советской власти» столь же престижно, как в предшествующий период — «от царизма»; кроме того, это часто означает принадлежность к образованному слою общества. Каждый случай индивидуален: информант воспитан прежде всего бабушкой со стороны матери; в доме хранится богатый семейный архив и т.п. Вместе с тем есть представления более глубокие, нежели «идеология момента». Противостояние семьи и власти предопределено их сущностью, и в этом смысле семья, много претерпевшая и выжившая, имеет наивысший статус. Кроме ореола мученичества — святости, ей принадлежат свойства «крепости», самодостаточности, самоценности.

Есть сюжеты, символическое значение которых особенно велико по сравнению с их актуальной семантикой. К таковым относятся рассказы о семейныхкладах, включенные в историческое повествование. Традиционная сакрализация клада, обусловленная не реальной ценностью предметов, но значениями «захороненной» и «сохраненной» тайны, получает еще одно подтверждение в контексте семейной истории. Клад закапывают, когда покидают родные места, лишаются самого дома, скрывают истинное поло-

жение («лицо») семьи. Сведения о нем сокровенны, являются воспоминанием о прошлом и в то же время дают надежду (часто утопическую) на будущее.

Закопанные и спрятанные в период кризисных событий и наиболее сильной экспансии со стороны государства фамильные драгоценности, деньги и просто обиходные вещи являются материализованным воплощением суверенности семейного мира и знания. В этом причина высокой частотности повествований о «зарытых» ценностях. Имеются две основных версии, обе представлены большим числом вариантов: 1) спрятанные и впоследствии «выкопанные» вещи помогли семье выжить в трудные годы; 2) «клад» до сих пор не найден, поскольку (а) тот, кто его закопал, умер, не сообщив места; (б) поиски тщетны, ибо «никто не помнит», где это могло быть; (в) попытки найти его не предпринимаются или неизвестны, что вызывает недоумение рассказчика. Каждую из разновидностей этого сюжета можно рассматривать как метафору отношения к семейной истории.

Российская социальная действительность создала в XX веке условия для «забвения» и пресечения семейной исторической памяти, но, как показывают наши материалы, забытое — вопреки традиционной мифологии — не есть уничтоженное. Семейная память продолжала сохранять неактуальное, а порой и опасное, для известного периода знание даже при утрате документальных свидетельств. Можно с уверенностью утверждать, что в ситуации востребованности с большими или меньшими усилиями реконструируется если не всё, то очень многое. В конце концов, на основании культурных норм, представлений, традиции рассказывания и т.д. может быть создан новый или обновленный «миф о семье», не лучше и не хуже любого другого (в том числе по степени достоверности). Главное — чтобы семейная память существовала и объединяла близких, давая каждому из них ощущение стабильности и «укорененности».

Александр Прохоров
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»:
СТАЛИНСКИЙ МИФ
О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
В КИНОЖАНРАХ «ОТТЕПЕЛИ»

Хейден Уайт в своей монографии «*Метаистория*» замечает, что «историк работает со своим материалом во многом так же, как лингвист работает с заново открытым языком... Историк должен сконструировать лингвистический протокол... который характеризует весь материал в целом и его составные части» (White 1973, 30). Интерпретативные стратегии такого протокола зависят от его основополагающих тропов. Такие тропы не только питают нарративные и жанровые модели культуры, но и влияют на языковые стратегии исторического периода. В этой статье я рассматриваю три киножанра «оттепели» — мелодраму, трагедию и комедию, — в которых определенный троп был использован для переоценки ценностей сталинской культуры.

Как показала в своем исследовании советского романа Катерина Кларк, «большая семья» является одним из главных тропов сталинской культуры. Основу такой семьи составляла строго иерархическая, вертикальная связь между отцом — партийным ментором и положительным героем-сыном (Кларк 2002, 104). Культурпродюсеры периода «оттепели», пытаясь изменить нарративы и жанры, тем не менее продолжали использовать уже сформированные тропы культуры, особенно троп семьи как модель советского общества. Но литература и кино «оттепели» изображали не всеобщую интеграцию в большую семью, а отчуждение индивидуальной личности от этой семьи. Такое отчуждение могло принимать различные нарративные формы: возвращение солдата с фронта (из армии как большой семьи), потеря отца или обоих родителей, противопоставление внутреннего индивидуального переживания коллективному опыту большой семьи. Смерть Сталина — постоянный, хотя часто и косвенный, референт фильмов и романов «оттепели».

Наиболее часто цитируемое описание похорон Сталина в литературе рассматриваемого периода — это первая глава романа Галины Николаевой «*Битва в пути*» (1957); в кино эквивалентом этой главы можно считать метафорическую сцену тающего снега в фильме Григория Чухрая «*Чистое небо*» (1961)¹.

Хотя ранняя постсталинская культура не ставила под вопрос миф большой семьи, масштаб репрезентируемой семьи изменился: вместо монументальной национальной семьи «оттепельные» фильмы представляли чаще малую нуклеарную семью. Кроме того, большая государственная семья и малая нуклеарная семья стали отличаться не только масштабом, но и структурой: нуклеарная семья, например, стала позволять приватность как практику не подконтрольную большой семье². Наконец, что более важно, внутренний кризис стал неотъемлемой частью структуры такой семьи.

Семья в «оттепельной» мелодраме

Нуклеарная семья как репрезентативная модель «оттепельной» культуры осложнила разрешение парадигматического конфликта между «нашими» и «чужими», характерного для дуалистического сознания сталинской эпохи (Гюнтер 2000, 7). «Кинооттепель» сделала семейную мелодраму главным жанром, который артикулировал кризис семьи. Продуктивность такой повествовательной модели становится ясна, если обратиться к определению мелодрамы как жанра, предложенному историком американского кино Томасом Шацем:

...в отличие от жанров, в которых в центре повествования стоит восстановление социального порядка (например, вестерн. — *А. П.*), в мелодраме социальные конфликты и противоречия не могут быть разрешены через насильственное уничтожение противоположной стороны (Schatz 1981, 228).

Противоположная сторона является неотъемлемой частью семьи, от которой нельзя избавиться без потери для самой семьи. В

¹ Эта сцена — визуальная цитата из «*Матери*» Пудовкина (1926).

² Интересна в этом смысле экранизация Иосифом Хейфицем романа Кочетова «*Журбины*». Название фильма «*Большая семья*» (1954) противоречит мелодраматическому сюжету о внутренних конфликтах в нескольких нуклеарных семьях.

«оттепельной» киномелодраме внутренний (семейный) конфликт становится центральным, а сохранение дисфункциональной семьи — главной целью повествования. Тематическим центром такой семейной мелодрамы чаще всего оказывается Великая Отечественная война.

Наверное, самой известной мелодрамой 1950-х стали *«Летят журавли»* (1957) Михаила Калатозова. Лев Аннинский, например, утверждает, что «оттепель» началась с *«Журавлей»* (Аннинский 1991, 8). Этот фильм акцентировал, во-первых, другую форму семьи, как модель национальной идентичности, и, во-вторых, — иной хронотоп такой семьи. Начнем со второго — с пространственно-временного измерения семьи.

Действие киномелодрам 1950-х обычно происходит в тылу, а не на переднем крае, который в основном был местом действия сталинских фильмов. В «оттепельном» кино фронт появляется редко и приобретает вторичное значение, как, например, апокалиптическое зазеркалье в *«Ивановом детстве»* Тарковского или цитата из советского киноавангарда 1920-х в начале *«Баллады о солдате»* Чухрая. Протагонисты «оттепели» обычно возвращаются с фронта (*«Возвращение Василия Бортникова»*, *«Два Федора»*, *«Баллада о солдате»*), в то время как протагонисты сталинских фильмов рвутся на фронт (*«Падение Берлина»*, *«Повесть о настоящем человеке»*, *«Сын полка»*), даже если они калеки, как герой романа Бориса Пастернака из одноименного фильма Александра Столпера.

Периферия мира войны становится важнее, чем передний край/граница как эпицентр военизированной культуры сталинизма. Киновремя новой мелодрамы подчеркивало прежде всего индивидуальные потери (гибель родных) и беспомощность героя — чаще героини — перед лицом необратимости этих потерь. Такая темпоральность диссонировала с классическим временем сталинизма, в текстах которого, по замечанию Абрама Терца, царил телеология всемирно-исторического прогресса к коммунизму (Tertz 1960, 152): персонажи, существовавшие в этом времени, должны были создавать черты будущего в настоящем. Особенностью такой темпоральности, как заметила Катерина Кларк, стала модальная шизофрения, палимпсест будущего, проступающего сквозь стираемое настоящее (Кларк 2002, 16).

В киномелодраме сталинской поры модальная шизофрения имела свой вариант. Например, в фильме Столпера *«Жди меня»* (1943), летчик Ермолов пропадает без вести, а его друг журналист Вайнштейн пытается убедить жену Ермолова Лизу (Серова), что ее муж погиб. Однако она продолжает ждать его, и он возвращается



Кадр из кинофильма *«Летят журавли»*; реж. М. Калатозов (Мосфильм, 1957)

к ней. Иначе говоря, зрители должны узнать в вере Лизы и восставлении ее нукlearной семьи, если хотите, великое зарево надвигающейся окончательной победы большой семьи.

«Журавли» Калатозова, как никакой другой фильм, карнавализовали время, в котором существовала сталинская семья. Вместо преодоления прошлого и настоящего ради будущего, героиня Калатозова, Вероника (Самойлова), пытается примириться со своим прошлым. «Оттепельная» мелодрама смещает фокус с официального государственного времени на время нукlearной семьи и отдельного человека: *«Журавли»* открываются кадром наклоненной Спасской башни. Конструктивистская перспектива на главные часы страны дает первый визуальный ключ к тому, что режиссер больше интересуется индивидуальное, а не государственное время³. Повествование подкрепляет визуально выраженный раскол между государственным и личным временем героев фильма: кремлевские куранты бьют одновременно конец свидания Бориса (Баталов) и Вероники (будущей малой семьи, которая уже никогда не появится) и начало большой войны (4 часа утра 22 июня 1941 года) — время большой эпической истории, т.е. войны, которая вторгается в судьбу и в конечном итоге калечит жизнь неэпических героев фильма⁴.

³ Ср. также фильм Калатозова с фильмом Сергея Юткевича *«Свет над Россией»* (1947), где запуск остановившихся кремлевских курантов является сигналом возвращения имперской России к ее бывшему величию.

⁴ См. похожий прием в фильме Якова Сегеля и Льва Кулиджанова *«Дом, в котором я живу»* (1956): горящие цифры 1941 обрывают свидание героев фильма.

Эпическое время большой истории/войны и время индивидуальных героев, прежде всего Вероники и Бориса, находятся в эмоциональном разногласии в течение всего фильма. Два события — начало войны и победа в конце фильма — повествовательно обрамляют фильм и являются главными с точки зрения эпического времени большой истории. В обоих случаях Борис и Вероника маргинализированы по отношению к этим эпическим вехам. Официальное объявление по радио о начале войны они проспали из-за своего долгого свидания. Оба и физически и эмоционально отделены от ликования Дня победы: Борис погиб, а Вероника не может разделить всей радости победы из-за своей невосполнимой утраты.

С одной стороны, время Вероники и Бориса находится в конфликте со временем большой семьи; с другой стороны, как и полагается в хорошей мелодраме, персональное время каждого героя находится в диссонансе друг с другом. В последний раз время героев фильма сверено друг по другу в утро перед началом войны; с началом войны «риторика опозданий и потерь» становится доминантой индивидуального времени (Doane 1991, 300). Именно эти временные несовпадения и нестыковки временных планов главных героев, как отмечает Доэн, придают мелодраме ее трогательность и вызывают сентиментальный аффект у зрителей (Ibid.). Борис уходит на фронт, не успев попрощаться с Вероникой. Травма расставания начинается с опоздания Вероники сначала на прощальный обед, а потом на сборный пункт, где ее так ждет Борис. Серия расставаний заканчивается смертью Бориса. Последнее, что Борис видит перед смертью, это свадьба, о которой они мечтали с Вероникой. Это будущее, которому не суждено сбыться.

Альтернативой времени опозданий и потерь в фильме становится темпоральность новой жизни, которая во многом основана на евангельских мотивах. Не заглушая темы расставаний, этот тип темпоральности привносит в фильм мотив возрождения. На уровне повествования мелодрама решает эту тему через прием «чудесного совпадения». Так, в кульминационный момент фильма Вероника решает покончить с собой, не в силах вынести того, что она не дождалась и предала Бориса. Вероника бежит к железнодорожному мосту, чтобы броситься под поезд, однако в решающий момент она видит бездомного мальчика, на которого несется грузовик, и бросается на спасение жизни сироты, вместо того чтобы лишиться жизни себя. Имя мальчика, спасенного из-под колес машины, по чудесному совпадению оказывается Борис. Вместо убитого жениха Вероника находит его двойника.

Второй раз такое мелодраматическое совпадение связывает разрыв между Вероникой и Марком, сводным братом Бориса, с одной стороны, и чудесное появление подарка, который Борис оставил перед уходом на фронт к дню рождения Вероники — с другой. Этот подарок — плюшевая белка с вложенным в нее поздравлением. После ухода Бориса Марк домогается Вероники, насилует ее и потом женится на ней. Однако вскоре он изменяет своей новой жене и крадет подарок Бориса, чтобы подарить его своей новой любовнице. Вероника обнаруживает белку у любовницы Марка, с которой он отмечает ее, любовницы, день рождения. Когда Вероника хватает белку, из нее, опять же по закону мелодраматического совпадения, вываливается поздравление Бориса, которое в суматохе войны Вероника так и не прочитала раньше. Теперь, после смерти Бориса, записка оказывается чудесным посланием из мира иного.

Калатозов не дает зрителям прочитать послание Бориса; вместо этого голос Бориса, как голос ангела-хранителя, читает записку для Вероники и зрителей. Поздравление Бориса звучит особенно, как поздравление с духовным воскресением еще и потому, что действие происходит в зимнюю, может быть рождественскую, ночь. Прочитав послание Бориса, Вероника порывает с Марком и остается жить с маленьким спасенным Борисом, с которого началось ее возвращение к жизни.

Таким образом, определяя время индивидуальных потерь и возрождения нуклеарной семьи как темпоральную доминанту, «*Журавли*» создают альтернативу сталинскому хронотопу преодоления настоящего ради будущего. Режиссера «*Журавлей*» — как и автора «*Доктора Живаго*», появившегося в том же году, что и фильм Калатозова, — критиковали за мелодраматические переборы (Туровская 1957, 17). Мелодраматическая темпоральность возрождения и чуда с трудом находила признание у «оттепельных» критиков. В фильме Калатозова, являясь центральным сюжетным ходом, возрождение нуклеарной семьи через чудо мелодраматического совпадения выразило главные ценности «оттепельной» культуры: антимионументализм и культ индивидуального и эмоционального.

Внешне семья Бородиных кажется похожей на традиционную сталинскую семью. Например, — хотя масштаб меньше — здесь сохранены такие элементы, как вертикальная структура и центральное положение патриарха, которым в фильме является отец Бориса, Федор Иванович (Меркурьев). Визуально «*Журавли*» ар-

тикулируют примат патриарха, выдвигая его постоянно на передний план, особенно в семейных сценах (например, последний завтрак всей семьи перед началом войны или прощальный обед перед уходом Бориса на фронт).

Иерархическая структура, однако, имеет важный изъян — у отца нет прямого наследника: его сын Борис убит. Федор Иванович также, в отличие от отца народов в «*Падении Берлина*» (1949), бессилен защитить своего сына от смерти, а его невесту — от изнасилования. Мотив бессилия отца повторяется во многих фильмах «оттепели»⁵. Важно и то, что само имя отца в «*Журавлях*» подчеркивает болезнь власти: в русской истории Федор Иоаннович был юродивым наследником Ивана Грозного — одного из любимых героев власти при Сталине. Как и отец в фильме Калатозова, Федор Иоаннович не оставил наследника и тем оборвал династическую линию московских князей.

Кроме дестабилизации вертикальной структуры семьи, «*Журавли*» осложняют семейную иерархию, привнося противоречия в конструкцию отцовской маскулинности. Главное противоречие возникает из противопоставления официального патриархатного дискурса государства и дискурса Федора Ивановича, патриарха нуклеарной семьи. Голосом официального патриарха становится радио, главной темой — война. Очень важно, что радиосообщения в фильме всегда являются ложью. Первое сообщение (в полдень) объявляет о начале войны, которая идет уже восемь часов. Второе радиосообщение, обнадеживающее слушателей, что на фронте не произошло никаких серьезных событий, звучит сразу после сцены смерти Бориса: официальное радио осталось глухо к самому серьезному событию⁶. Несовместимость трагичности смерти Бориса и официозного спокойствия новостей подчеркивает противоречие между индивидуальным опытом войны и дистанцированной интерпретацией войны по радио, которое воплощает голос патриарха-государства.

Такое же противоречие между трагедией в нуклеарной семье и триумфом воли большой семьи становится лейтмотивом заключительной сцены «*Журавлей*». Победная речь Степана (Зубков), друга Бориса, звучит неуместно и помпезно на фоне молчаливой скор-

⁵ См., например, фильм Резо Чхеидзе «*Отец солдата*» (1964).

⁶ Радиосообщение содержит аллюзию на финал романа «*На Западном фронте без перемен*» Эриха Марии Ремарка, одного из самых популярных западных писателей в России 1950—1960-х годов.

би Вероники. Визуально контраст подчеркнут противопоставлением крупного плана лица Вероники и общего плана людей, собравшихся слушать вернувшегося с победой Степана.

Федор Иванович, отец Бориса, избегает и даже иронизирует над официальным патриархатным дискурсом. Его дискурс, как патриарха малой семьи, повторяет мелодраматическую экзальтированность Вероники: во время проводов Бориса вместо тоста он замолкает и начинает плакать. В конце фильма Федор молча скорбит вместе с Вероникой. Эмоционально ему ближе личная трагедия Вероники, чем эпический масштаб победной речи Степана.

Фрагментация патриархатного дискурса — иначе говоря, сосуществование двух его форм — официального патриархатного дискурса государства и дискурса патриарха нуклеарной семьи — изменяет семантику тропа семьи. «*Журавли*» ставят знак равенства между брутальностью войны и патриархатным дискурсом государства и делают Федора Ивановича, патриарха нуклеарной семьи, защитником сирот и жертв войны. Семейная мелодрама репрезентирует конфликт между этими двумя формами патриархата, не вынося, однако, окончательного суждения (Zorkaya 1989, 212). Для советской культуры это была неслышанная двусмысленность: нуклеарная семья с мелодраматическим отцом в центре стала первым протоприватным пространством, альтернативным тоталитарной госсемье сталинской культуры.

Большая семья как трагедия

В то время как мелодрама представила репрезентативную модель, в которой в двух вариантах семьи (государственной и нуклеарной) сталкивались *два варианта* идентичности (имперской государственной и личной, вне государства), трагедия стала важной повествовательной киноформой, выражающей идею *ограниченности* «большой семьи» как модели идентичности. Экранизации трагедий Шекспира стали главными проводниками этих идей в театре и в кино «оттепели». Их, конечно, нужно воспринимать, в первую очередь, помня сталинские фильмы о лидерах-воителях, создававших империи-крепости, в центре которых обычно находились го-мозротические военизированные сообщества/квазисемьи (см. «*Александр Невский*», «*Иван Грозный*», «*Петр Первый*» и др.). Иерархичность, примат мужской дружбы, доминанта оппозиции

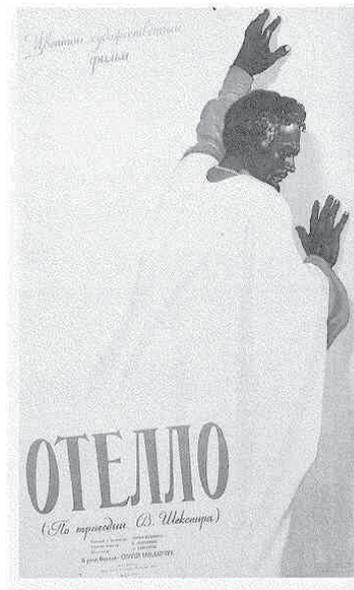
«свой»/»чужой» и включение всех «своих» в большую семью-армию составляют главные черты таких квазисемей⁷.

Экранизации трагедий Шекспира сначала Юткевичем («*Отелло*» 1955), а потом Козинцевым («*Гамлет*» 1964, «*Король Лир*» 1971) подвергли переоценке тоталитарную семейную модель социума. Хотя Шекспир был для советских людей, по замечанию Козинцева, «нашим современником», временная и культурная дистанция давала возможность ухода от прямолинейных аллюзий с современностью. Точнее, «оттепельная» интеллигенция использовала культ классики и вербального дискурса, характерного для сталинизма, для передела режима власти в своих интересах.

Например, весной 1956 года выпуск на экраны «*Отелло*» Юткевича совпал с XX съездом партии (Woll 2000, 42—43). Фильм получил резонанс прежде всего в контексте развенчания культа Сталина, т.е. временного затмения на пути к осуществлению утопии. Советский Отелло (в исполнении Бондарчука) — сталинский воитель-лидер. Его крепость-дворец представлена, по замечанию Андрея Шемякина, в «изобразительном каноне поздней сталинской эпохи» (Шемякин 1996, 138). Его главная семья — армия — в «оттепельном» фильме маргинализована. В отличие от сталинских воителей Отелло существует на границе между своей военной и нуклеарной семьей. И в эту щель между двумя семьями вползает вредитель Яго. То, что его играет Андрей Попов, знакомый зрителю по роли английского предателя-братоубийцы в «*Незабываемом 1919 году*» (Чиаурели 1951), сигнализировало зрителю узнаваемый типаж вредителя.

Шемякин приводит любопытный авторский комментарий Юткевича, видевшего в своей экранизации притчу о пошатнувшейся вере героя, который узнал, что его «справедливость была направлена по ложному пути». В отличие от «*Журавлей*» Калатозова, трагедия «*Отелло*» заключается не в обманутом индивидуальном доверии, а в поколебавшейся вере в большую тотальную справедливость: «Все правильно — тут драма несокрушимой веры, чуть пошатнувшейся и снова восстанавливаемой. Цена гармонии — устранение личности» (Шемякин 1996, 138). В духе классицистской трагедии устранение нуклеарной семьи происходит во имя долга перед

⁷ Хотя экранизации шекспировских трагедий важны как знак времени, трагедийный нарратив использовался также и для преломления канонов историко-революционного (см.: «*Коммунист*» Райзмана 1957, «*Оптимистическая трагедия*» Самсонова 1963) и криминального фильма («*Жестокость*» Скуйбин 1959).



Плакат к фильму «*Отелло*»;
худ. М. Хазановский (1956)



Плакат к фильму «*Гамлет*»;
худ. Б. Зеленский (1964)

большой. В данном случае, однако, существенны продемонстрированные Юткевичем отклонения от сталинского киноканона: гармония в большой семье восстанавливается слишком дорогой ценой — ценой преступления. И убит не враг, а один из «своих».

Если фильм Юткевича — о трагической цене сохранения большой семьи, то экранизация «*Гамлета*» Козинцева — о сохранении личности от тирании большой семьи. Дизайн плакатов для этих двух фильмов запечатлел это важное различие: минутное затмение в солнечном раю в «*Отелло*» противостоит попытке вырваться из мрака на свет в «*Гамлете*». Плакат к «*Отелло*» визуализирует тему вероломно преданной веры и гармонии: черная голова мавра лишь маленькое темное пятнышко против слепящей белизны фона. Смещенные буквы и наклоненное тело — первые намеки на нарушение вертикальной иерархии как основы пространства сталинской культуры. На плакате для «*Гамлета*» Козинцева художник карнавализирует цветовую гамму: фон — черный и лишь голова, грудь и рука белые: большая семья Эльсинора является главной ловушкой, в которой индивидуальности, личности нет места.

Именно противопоставление слегка романтизированного индивидуального «своего» героя и большой псевдосемьи братоубийц, населяющей Эльсинор, составляет как повествовательную, так и визуальную доминанту текста. Конфликт назревает *внутри* замка, а не на его стенах — между «своими» и «чужими» — согласно киноканонам сталинизма.

На уровне визуальной структуры Козинцев часто использует контраст между общими планами и внутренними лабиринтами Эльсинора, с одной стороны, и крупными планами протагониста (Смоктунувский), особенно застигнутого камерой в глубоко личные моменты раздумий/внутренних монологов — с другой. Контраст планов повторен световым контрастом. Во-первых, «Гамлет», как и «Журавли», — фильм черно-белый, визуально аскетичный. Во-вторых, переходы от темноты внутренностей замка к светлой голове принца и бесконечности неба и моря задают основной ритм мизансцене фильма. Например, вводная часть фильма, которую условно можно назвать «Скорбь лицемеров», начинается с замка, ворота которого уподоблены челюстям ада, а мрачные внутренние помещения ассоциируются с фальшивой и показной скорбью об умершем легитимном властителе — *отце* Гамлета. Первая часть (сцена встречи с тенью отца) заканчивается вне замка: крупный план белой головы Гамлета, бурлящего — с белыми барашками — моря и неба составляют главные визуальные ориентиры сцены и ассоциируются с подлинным страданием сына.

Оппозиция прозрачного для власти мрачного пространства большой семьи Эльсинора и внутреннего, недоступного этой власти, пространства эмоций и мыслей Гамлета повторена в выборе физической материи, ассоциированной с замком и принцем. Сущность замка — в стасисе камня. Ловушка, параноидальное пространство замка напоминает лабиринты Кремля во второй части «Ивана Грозного», фильма, во многом предвосхитившего мизансцену фильма Козинцева.

Камень — не только материал для стен: по мере того как Клавдий создает условия для гибели жителей замка (Полоний, Офелия, Гертруда, Лаэрт, отец и сын Гамлеты), каменные изваяния постепенно замещают живых в большой семье Эльсинора. Уместно упомянуть здесь переиздание Достоевского в «оттепель»: его лучшие убийцы (от Свидригайлова до Ивана) предпочитают создавать условия для преступления, а не совершать преступление сами. Вторая серия фильма открывается видом на каменный идол Клавдия. Перед финальной дуэлью между Гамлетом и Лаэртом каменные

двойники Клавдия постоянно маячат, как соглядатаи, за спиной принца. Интересно, что все герои (Гертруда, Лаэрт, Клавдий) умирают *внутри* замка, и только Гамлет умирает *вне* тюрьмы, превращая смерть в символическую жертву, освобождающую всех выживших в годы заключения в большой семье Эльсинора.

Если неподвижность каменного Эльсинора становится мону-ментальной инкарнацией большой семьи, то движение становится тем общим качеством, которое объединяет физические состояния материи, ассоциированные с Гамлетом. Морские волны, огонь, свежий воздух, движимый ветром, — вот стихии Гамлета. В черно-белом фильме огонь, пена волн и небо (воздух) повторяют белизну волос Гамлета.

Противопоставление тьмы и света предвосхищает столкновение Эльсинора и Гамлета: фильм открывается и заканчивается кадром, в котором замок бросает темную тень на светлые волны моря. Этот кадр, как никакой другой, выражает судьбу протагониста, который проводит свою жизнь, балансируя на пороге двух несовместимых миров: моря света и замка тьмы. Война света и тьмы — важнейший прием характеристики героев трагедии: постепенное потемнение одежд Офелии сопровождает ее безумие и смерть; тени, обволакивающие Лаэрта, визуально сигнализируют его превращение в марionетку Клавдия в его интригах против Гамлета.

Козинцев делает переход от тьмы к свету основным принципом репрезентации главного героя. В начале фильма Гамлет носит траурную одежду, только его голова и лицо светлы. После путешествия в Англию Гамлет появляется в светлом монашеском одеянии. В заключительной дуэли Гамлет сбрасывает темные одежды и дерется с Лаэртом в белой рубашке на фоне мрачных стен замка.

В «Гамлете» Козинцев переосмысляет репрезентативные практики сталинского кино, специфический миф большой семьи. Борьба света и тьмы переносится с внешних границ этой семьи внутрь семьи-тюрьмы. В сталинской культуре хронотоп крепости является метафорой монолитной семьи-империи с лидером-полководцем в ее центре. Повествовательная модель обычно включает падение малой крепости из-за предательства и окончательную победу протагониста, приходящего на выручку из большой семьи-крепости. Материал может быть разным — от войны с Тевтонским орденом в «Александр Невском» до Гражданской войны в «Незабываемом 1919-м», однако нарративная модель выдерживается последовательно. В «Гамлете» личность становится своеобразным

смертником/антителом, которое входит в семью-тюрьму в начале повествования, чтобы взорвать ее изнутри.

Большая семья в фокусе «оттепельной» комедии

Если трагедия стала серьезным жанром-стратегией, переосмысляющим миф большой семьи, то комедия стала сериокомическим жанром (Bakhtin 1984, 106—107), деконструирующем тот же миф. Важно отметить, что в 1950-е годы кинокомедия сохранила основные характеристики сталинского канона. Особенно это касается музыкальной комедии. *«Карнавальная ночь»* (1956) Эльдара Рязанова является, наверное, самым показательным примером: с точки зрения новых ценностей фильм стал символом «оттепели». Однако повествовательно и визуально фильм был ремейком *«Волги, Волги»* (1938) Григория Александрова и *«Серенады солнечной долины»* (1941) Брюса Хамберстоуна в свете последних постановлений партии и правительства (Dobrenko 1995, 49—57).

Лишь к началу 1960-х годов советская комедия стала отходить от эскапизма и пуританства сталинских мюзиклов. Продолжая оставаться тенденциозной, сохраняя сильную сатирическую направленность и все так же избегая сексуальных шуток, комедия тем не менее пережила серьезные изменения: важный сдвиг проявился в направленности шуток на фундаментальные тропы сталинской культуры, в частности на троп большой семьи. Метакультурная комедия, т.е. комедия, комментирующая свой собственный фундаментальный лексикон, открыла дорогу таким практикам, как ирония, карнавал и фрагментация большой семьи как репрезентативной модели общества. Впоследствии ироничная и эксцентрическая комедия «оттепели» окажет влияние на становление концептуализма в позднесоветском искусстве. Я рассмотрю здесь два комедийных варианта мифа сталинской семьи: иронический и эксцентрический. Как пример первого я проанализирую фильм Рязанова *«Берегись автомобиля»* (1966), как пример второго — комедии Леонида Гайдая *«Пес Барбос и необыкновенный кросс»* (1961) и *«Самогонщики»* (1962).

«Берегись автомобиля» особенно интересен тем, что в данном случае объектом иронии становится не столько сама большая семья, сколько «оттепельный» антимонументальный вариант этого



Кадры из фильма *«Берегись автомобиля»*;
реж. Э. Рязанов (Мосфильм, 1966)

тропа. Единственная полноценная семья в фильме, которой уделено внимание, — это семья Семицветовых, которую связывает общий преступный бизнес. Патриарх (Папанов) является шутовским вариантом лидера-воителя. От воинственного дискурса у него остались только галифе и армейское хамство. Интересен род занятий отставного офицера: он торгует на рынке «кулубникой». Здесь Рязанов, конечно, вводит чеховские аллюзии и продолжает начатую еще в XIX веке русскую (т.е. вывезенную из Германии) войну с пошлостью. Фильм подчеркивает, что с точки зрения закона — надо понимать, несовершенно — отец торгует на рынке легально, однако с точки зрения русской борьбы с пошлостью отец — преступник и стяжатель.

Важным нарушением сталинского канона является невертикальная связь отца и сына. Патриарх связан с младшим мужчиной — Димой Семицветовым (Миронов) — через свою дочь, жену Димы (Гаврилова). Если тесть выполняет функцию идеологического ментора, то Диме с точки зрения сталинской семьи принадлежит слегка сдвинутая ниша положительного героя. Как и положено герою, под руководством своего тестя и его дочери Дима проходит идеологическую трансформацию — но не в законченного коммуниста, а в законченного преступника. Иначе говоря, перед нами ироническая инверсия канонического сюжета советского романа: это *Bildungsroman* о герое, который торгует в комиссионном магазине из-под полы магнитофонами «Грюндик» вместо того, чтобы строить наш завод, производящий магнитофоны, которые больше, громче и быстрее, чем любой западный аналог.

Дима важен не только как комедийный злодей, но и как герой надвигающегося застоя с его викторианской любовью к статус-кво и консьюмеризмом, который, в частности, материализуется в фетишизме западных товаров. Ирония доминирует в сценах, в которых обсуждаются эти товары: когда покупательница начинает торговаться с Димой, он предлагает ей купить за ее цену отечественный товар, указывая на деревянный ящик, напоминающий фонограф Эдисона.

Наиболее полно консьюмеризм как идеология семьи Семицветовых, идущая на смену идеализму шестидесятников, выражается в отношениях между Димой и его машиной. Под аккомпанемент джаза Дима трогает за разные части кузова свою любимую и сексуализированную белую Волгу. Один из Диминых знакомых, кстати, называет его машину «блондинкой». Однако вернемся к Диме: сначала он трогает машину за зад, затем поднимает антенну, визу-

ализируя свою эрекцию. Напоследок Дима открывает дверь машины, позируя перед Деточкиным со своей любимой. Машина соединяет для Димы и зрителя фрейдистское и марксистское понятие фетиша как суррогатного объекта желания.

Машина, по сути, — еще один член (каламбур здесь — чистая случайность) семьи Семицветовых. Однако эта машина — не эйзенштейновский броненосец и не пырьевский трактор/танк, который помогает большой семье строить социализм. У этой машины — тело Грушеньки, а ее обожатели — модернизированная версия семейства Карамазовых. Для машины строится отдельный дом — гараж. Не только мужчины, но и женщины борются за право физического контакта с ней. В знаменитой сцене-цитате из *«La Dolce Vita»* Феллини подвыпившие друзья и подружки Димы обнимают и трутся о кузов Диминой любимой «Волги» до полного и окончательного оргазма. Ссылка на Достоевского здесь не поэтическая прихоть автора статьи. Протагонист Деточкин полон отсылок к Достоевскому, начиная с его детской фамилии и заботы о сиротах и кончая душевной болезнью; подруга Люба называет его идиотом. А шутовской Порфирий Петрович, следователь Подберезовиков, постоянно интересуется, не сумасшедший ли Деточкин.

Иронический дискурс касается не только модернистской и сталинской машиномании, но и прагматичности сталинской культуры. В фильме Рязанова семья Семицветовых, как и полагается советской семье, строит светлое будущее. Место стройки, однако, представляет ироническую, под Чехова, копию строек социализма: это дача, строящаяся на ворованные деньги Димы. Но, вместо того чтобы строить, Дима, его жена и тесть спорят о том, кому эта дача принадлежит. Ссора прекращается, когда Дима задает сакраментальный вопрос, почему он, человек с образованием и талантом делать деньги, должен таиться и приспосабливаться: «Господи, когда же все это кончится?» Сталинский тесть немедленно обещает настучать на Диму.

Самое главное здесь, однако, то, что строительная площадка — канонический локус соцреализма — превращается в ироническое антипространство: место, где живут не в ожидании Годо светлого будущего, а в ожидании конца абсурдного настоящего. В своих мемуарах Рязанов характеризует Диму как гротескного Лопухина: «Тогда этот персонаж олицетворял авторские антипатии. А сейчас Дима Семицветов не только типичен, он попросту “Герой нашего времени”. Чеховский Лопухин, доведенный до абсурда» (Рязанов 1995, 157).

Семья Семицветовых — не только центр повествования, но также и численно самая большая семья в фильме: у Димы и его жены широкая сеть друзей и знакомых, с которыми они поддерживают близкие отношения. Антиподом этого вульгаризированного двойника сталинской большой семьи является большая семья Деточкина — продукт его донкихотских фантазий. Каждый раз, когда Деточкин отпрашивается с работы, он ссылается на болезнь или смерть одного из своих несуществующих родственников. Даже в воображении Деточкина его родственники вымирают. Единственным живущим членом его семьи остается его идеалистическая мама (Добржанская), которая распевает революционные песни о паровозе следователю (Ефремов); тот, в свою очередь, в ответ на революционный энтузиазм, начинает подозревать маму — как и ее сына — в сумасшествии.

Невеста Деточкина, Люба (Аросева), напоминает, скорее, его вторую маму. В то время как Дима Семицветов и его жена сексуально активны и делят супружеское ложе (нечастый ракурс в советском фильме), отношения между Деточкиным и Любой напоминают отношения между ребенком и матерью: в соответствии с общим ироническим тоном фильма эволюция Деточкина карнавализована. Это не эволюция, а деэволюция. Интересно, что в повести Рязанова и Брагинского, на которой основан фильм, счастливый конец включает рождение у Деточкиных ребенка. В фильме Деточкин бесплоден по той же причине, по которой бесплоден Мышкин, роль которого ранее Смоктуновский сыграл в театре и частично воплотил опять в своем Деточкине. Он обречен на вечную инфантильность без надежды на потомство. Семья Деточкина маргинализована Семицветовыми в настоящем, не имеет будущего и имеет лишь хрупкую связь с революционной романтикой прошлого, которое даже чудной Подберезовиков воспринимает как форму психического расстройства. Таким образом, в фильме Рязанова только преступников объединяют тесные семейные узы — провидческая ирония в контексте расцвета мафии в поздний советский и постсоветский периоды.

В то время как Э. Рязанов, Э. Климов, Г. Данелия представили в своих комедиях иронический, карнавальский вариант тропа семьи, Леонид Гайдай довел миф большой семьи до лубочной схематичности и цирковой гротескности. С одной стороны, он изобрел русских *Three Stooges* — троицу Вицина, Моргунова и Никулина. С другой — Гайдай ввел в массовое сознание образ Шурика (Демьяненко), гибрид советского положительного героя и фольклорного Ивана-дурака. Троица стала шутовской пародией на боль-

Гайдай и его *Stooges* (1965)

шую семью, в то время как Шурик и позже Семен Семеныч Горбунков (Никулин) стали эксцентрическими масками положительных героев без менторов.

Троица имела отдаленную жанровую связь с военизированным маскулинным сообществом, унаследованным от сталинской культуры, и более тесную связь с лубочными разбойниками и блатными ворами. Троица, по сути, заменила сталинских кинобогатырей в массовом сознании, став их приблатненными клоунами-двойниками. В клоунской инкарнации троица воспроизводила вертикальную ось сталинской семьи: Моргунов (Бывалый) был ментором, в то время как Никулин (Балбес) и Вицин (Трус) являлись его шутовскими учениками-героями. Образы были особенно близки зрителям, половина из которых лишь недавно слезла с гулаговских нар.

Как и в классическом соцреалистическом нарративе, фокус был главным образом не на менторе, а на «положительных» героях. Никулин, профессиональный клоун, являлся главным исполнителем большинства шуток-трюков. Вицин выполнял функции слегка замаскированной для несведущих тюремной подруги Бывалого. В фильме Евгения Карелова *«Семь стариков и одна девушка»* (1968) Вицин даже пользуется женским, а не мужским туалетом. В шутовском варианте, таким образом, воспроизводилась блатная/гомоэротичная ориентация военизированной советской семьи.

В добавление к фольклорной схематичности, тройной ипостаси и телесности юмора гротескные советские богатыри вернули в

комедию алкоголь и преступление. Большинство шуток-трюков в фильмах троицы вращаются вокруг этих двух тем. «*Пес Барбос и необыкновенный кросс*» (1961) состоит из трюков, в которых алкоголь играет роль главного катализатора действия. Если до Гайдая на экране пили много только асоциальные типы, то теперь иконическое распивание пол-литра на троих вернулось как профанная версия рублевской троицы. Хотя на экране пили преступники, фильм только для проформы использовал маску преступников, чтобы вернуть на экран любимый русский досуг. Зрители ответили взаимностью героям и режиссеру, вернувшем народу старинную русскую забаву: фильмы Гайдая стали наиболее посещаемыми картинами 1960-х годов (Лайнер 2001, 40 и 53).

Во втором фильме с гайдаевской троицей, «*Самогонщиках*», троица запела. Комедии Гайдая обратились к центральному элементу сталинской комедии — массовой песне. Именно массовая песня вела героев через фильм и приводила их обычно в Москву — место, где будущее стало настоящим и где живет главный ментор-лидер. В сталинских мюзиклах песня была связана часто с физическим трудом и триумфом воли над своей и окружающей природой (рекордный урожай, головокружительный цирковой трюк и т.д.). Песня исполнялась положительными героями, а злодеи, как Бывалов (Ильинский) в «*Волге, Волге*» (1938), не могли петь и выпускали бракованные музыкальные инструменты.

В фильмах Гайдая царит карнавализованный вариант сталинской комедии. В них поют чаще всего злодеи и алкоголики, которые находятся вне контроля над своей волей и тем более средой. Вместо того чтобы закончить свое кинопутешествие в Москве, троица, как один из главных коллективных исполнителей песен у Гайдая, из фильма в фильм оказывается в тюрьме. В «*Самогонщиках*» песня сопровождает не трудовой подвиг, ведущий к высшей цели, а абсурдное производство и одновременное потребление самогона.

В добавление к клоунской семье-троице, в «*Самогонщиках*» появилась карнавальная версия машины как модернистского члена большой семьи. Эта машина не улетала под облака, как у Александра в «*Светлом пути*» (1940), и не пахала поля, как у Пырьева в «*Трактористах*» (1938). Это был, как говорила песня, «электронный агрегат», русифицированный вариант рога изобилия, из которого круглый год тек самогон. Вместо того чтобы «вести, но не уводить» нарратив фильма, машина Гайдая педалирует комический трюк. Поломка машины становится началом классической погони, которой Гайдай заканчивает многие из своих фильмов.

Кроме того, поломка машины связана с потерей алкогольного рая, в котором живет клоунская большая семья. Собака хватает зубами фаллический змеявик, самогон прекращает капать, и самогонщики вынуждены покинуть свою сказочную избушку, полную живой жидкости. В фильме самогонщики не смогут вернуть себе свой фетиш, чтобы восстановить гармонию своей комической техноутопии.

Как уже сказано, гайдаевская троица стала карнавальная инкарнацией большой военизированной семьи, а Шурик — иконическим положительным героем без ментора. Вместо карнавализации здесь Гайдай пользуется фрагментацией мифа: лишь один компонент мифа — положительный герой — включен в комические трюки. Положительный герой, которого может перевоспитывать кто угодно, явился богатейшим материалом для эксцентрической комедии. Каждое неудачное перевоспитание — это новый визуальный трюк. Особенно полно этот прием использован в «*Кавказской пленнице*» (1967), где первым ментором, ведущим Шурика, становится сексуально возбужденный осел, который тащит его за Ниной (Варлей). Затем Шурика обманывают несколько раз различные самозванцы-менторы, включая товарища Саахова (Этуш), сексуально возбужденного районного босса, который опять приводит Шурика к Нине. Наконец, самым важным ингредиентом перевоспитания становится алкоголь, который каждый раз радикально трансформирует сознательного Шурика. Фильм заканчивается анальным трюком: вместо оргазматической встречи с лидером в Москве Шурик и его друг навещают товарища Саахова, чтобы отомстить ему за Нину, и повергают его наземь выстрелом в зад.

В «оттепельном» кино троп сталинской большой семьи продолжает играть ключевую роль, претерпевая важные трансформации. Сначала большая семья потеряла свою монументальность в семейной мелодраме. Затем в трагедиях-экранизациях Шекспира (Юткевич, Козинцев) личность стала обретать свою уникальную идентичность в борьбе с разрушительной силой большой семьи-тюрьмы. Наконец, комедия поздней «оттепели» стала или давать иронический метакомментарий (Рязанов, Климов, Данелия), или фрагментировать (Гайдай) сам троп большой семьи. Если в сталинском мифе о большой семье «каждый человек был сиротой, покуда “великая семья” не помогла ему стать личностью» (Кларк 2002, 122), то в «оттепельном» кино и литературе сиротство, отчуждение от большой семьи стало условием *sine qua non* для того, чтобы стать личностью.

Ольга Шабурова

КАРАВАНЫ ИСТОРИЙ: СЕМЕЙНЫЙ НАРРАТИВ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

В переходе от советского к постсоветскому обществу в России все подверглось серьезной трансформации, включая и семью. И хотя говорят, что в любые времена люди влюбляются и женятся (т.е. семья — это некая общесоциальная константа), все громче звучат заявления о гибели семьи. В этой ситуации интересно проанализировать, как общество реагирует на эти заявления, осознает эти проблемы не на уровне законодательных дебатов и публицистических баталий, а в реальных политиках репрезентации семьи, т.е. там, где осуществляется трансляция практик, моделей, стилей жизни современной семьи, там, где воплощается современный российский дискурс семьи. Для этого мы обратимся к одному из самых сильных механизмов воздействия — массовой культуре и СМИ. В режиме ежедневной непрекращающейся работы массовая культура пропитывает пространство частной жизни, повсеместно транслируя обществу его семейные образы: подглядывая в «*Окна*», азартно перебирая грязное белье в «*Большой стирке*», каждые пятнадцать телевизионных минут демонстрируя в рекламе, как семья ест, пьет, моется, чистит зубы и т.д.

В эпоху советской цивилизации пропагандистское лицо экрана тоже представляло нам семью, но в основе той политики репрезентации семьи лежала парадигма «общество как семья» (соответственно «завод как семья», «школа как семья» и др.); на первый план выдвигался определенный тип героя, а значит, и определенный тип семьи — трудовые династии. Семья «простого человека», ее встраивание в здание Большой советской семьи — в основе лежал концепт коллективизма, сопричастности общей судьбе, приглушение индивидуалистических проявлений. «Семья как един-

ство разделенного» с ее сложной борьбой отдельных личностей за реализацию собственного «я» в пространстве семьи практически не являлась темой советского искусства и массовой культуры. Все-таки «я, ты, он, она — вместе целая страна (семья)» было определяющим по сути и, отметим, «упаковывалось» в адекватные культурные формы. Конечно же, мы понимали, что кроме рабочих династий существуют и другие семьи; обывателей волновала закулисная жизнь знаменитостей, богемы, официальных героев, но их семейные истории транслировались дозированно, покрывались флером тайны, порождая еще более неудовлетворенное любопытство и разжигая слухи.

Сегодня ситуация с репрезентацией семьи абсолютно противоположна. Массовая культура обрушивает на простого человека, растерянного и дезориентированного в ситуации смены ценностей и приоритетов, модели и стили жизни VIP-героев и их семей. Теперь телевидение, кино и пресса разной степени желтизны набрасываются на частную жизнь знаменитостей и, заполняя публичное пространство их историями, абсолютно смешают акценты в противоположную сторону. Вместо постулата общественного, коллективного утверждается частное, единичное, вырванное из системы социальных связей существование отдельных поп-героев и их семей. Это — одна линия в политике репрезентации семьи. А другая — прямо противоположная — удовлетворяет потребность массы видеть саму себя. Массовой культурой создана картина семейной жизни маргинальной массы, где образ «народа» доведен до гротескно-вульгарных форм и жизнь его представлена как набор девиаций и склок в желтой прессе и потоке соответствующих токшоу на телевидении. Проскочив опять точку реальности, моделируя в логике своих задач теперь уже не человека работающего, а человека развлекающегося и потребляющего, массовая культура конструирует новую норму.

И звезда с звездой говорит

Репрезентируя семейную жизнь звезд — нетипичную по определению, — массовая культура отражает логики потребительского общества, стремится задать массе именно эти стандарты поведения и потребления, навязать эти модели идентификации. И хотя в семейном пространстве звезд присутствуют иные типы конфликтов, другие основания для разводов, другое отношение к детям, они

становятся основной моделью репрезентации семьи, вступая в противоречие с реалиями существования большинства. Модели жизни VIP-героев недоступны простому обывателю, но ему настойчиво предлагаются именно эти жизненные лекала. Бесконечные страдания-переживания-преодоления, которые транслируют звездные герои в программах Оксаны Пушкиной, например, не соответствуют более трезвому, социологическому взгляду на семейную модель жизни звезд.

Например, исследование, проведенное на социологическом факультете МГУ, было посвящено выявлению роли СМИ и массовой культуры в формировании имиджа семьи; в том числе было исследовано, каким предстает имидж семьи, создаваемый СМИ через репрезентацию семей так называемых «звезд». Анализируя тексты статей популярных журналов-телегидов «*Семь дней*», «*Антенна*», «*ТВ-парк*», авторы исследования имели возможность охватить огромную аудиторию и воспользоваться форматом этих изданий (представление светской хроники, связанной с семейной проблематикой, — кто женился, кто развелся, у кого родились дети и т.д.).

Какие самые интересные позиции, определяющие специфику этих семейных историй, отмечены автором работы? Прежде всего отмечается большой процент незарегистрированных браков в этой среде (20 %), объясняемый тем, что «незарегистрированный брак избавляет знаменитостей от длительных бракоразводных процессов, всегда связанных с нежелательным для них разделом огромных состояний» (Медкова 2002, 132). Автор отмечает, что у наших звезд незарегистрированный брак пока меньше распространен — 15%, тогда как у западных звезд эта цифра вдвое больше — 31%. Среди причин разводов чаще всего называется слишком большая занятость карьерой. «Многие знаменитости заявляют, что бросили семьи из-за того, что они «отвлекали» их от карьеры», — пишет исследователь (Медкова 2002, 132). Автор исследования отмечает также, что среди причин довольно типичной является «новая любовь», которая наиболее характерна для мужчин. Часто «любимая» оказывается моложе его старших детей от предыдущих браков. Интересно также и то, что в журнальных статьях и интервью практически никогда не делается акцент на каких-то эмоциональных переживаниях, связанных с разводами (чаще обсуждается проблема раздела состояний), развод не рассматривается как трагедия или психологическая травма — это, скорее, что-то обычное и привычное. Мы отмечаем эти моменты для того, чтобы обратить

затем внимание на то, как эти сюжеты будут представлены в «исповедальных» жанрах нашего телевидения.

В отношении детей «звездные» семьи также вряд ли представляют типичную картину. 35,1% «звездных» семей имеют одного ребенка, а 31,3% — не имеют детей. Если речь идет о трех-четырёх детях и даже более, то это, как правило, дети, «собранные» от всех предыдущих браков. Дети в семьях звезд — творческих личностей — это всегда проблема для дальнейшей карьеры, и исследование подтверждает, что, как правило, звездные мамы «сдают» детей бабушкам (история Л. Долиной, Е. Прокловой, Э. Пьехи и др.), берут нянь, а порой даже отдают детей в интернат (история Л. Полищук).

Вывод Медковой, автора исследования, неутешителен: создается некий миф о том, что человек может творить все, что угодно со своей семьей, но в конце концов «обязательно получит новый шанс: новую любящую жену, новых детей, чтобы на этот раз сделать все правильно, обрести счастливую семейную жизнь» (Медкова 2002, 134).

Конечно, можно было бы сказать, что этот тип семьи отражает объективные логики «общества риска» (У. Бек). Рыночное общество эпохи модерна подрывает сами основы семьи как общности, так как рынок труда требует индивидуализации и автономности субъектов, требует мобильности без учета личных обстоятельств. Как отмечает У. Бек,

браки и семьи требуют прямо противоположного. Если до конца додумать рыночную модель современности, то в основе ее предполагается *бессемейное* и *безбрачное* общество. Чтобы обеспечить свое экономическое существование, каждый должен быть самостоятелен и свободен для требований рынка. Рыночный субъект в конечном счете — одинокий индивид, не «отягощенный» партнерством, браком или семьей. Соответственно, развитое рыночное общество — еще и общество *бездетное...* (Бек 2000, 175).

Проявление этой тенденции в развитии нашего общества, его рыночных основ находит, видимо, подтверждение в стилях жизни появившегося класса деловых людей; их отношение к семье и любви уже отразило логику разрыва семьи и карьеры, они все больше склонны «жениться на работе» (см.: Юрчак 2002).

Укладывается ли стиль жизни звезд в эту логику? Не есть ли он прямое отражение наметившегося противоречия «карьерист или семья»? Полагаем, что ситуация с семьями звезд (а она, напомним,

есть сегодня одна из основных форм репрезентации стилей семейной жизни) лишь частично воплощает эту стратегию рыночного общества. Ведь и раньше жизнь богемы в отличие от жизни буржуа с их часто аскетичной протестантской этикой была отмечена этой «вольностью». Другое дело, что она не имела возможности репрезентироваться как ведущая, самая распространенная и доступная. И здесь, как нам представляется, политика репрезентации семейной жизни поп-героев как нормы, тотальной и агрессивной, отражает другую базовую стратегию оформляющегося общества — его потребительски-гедонистическую природу. Если «ударники капиталистического труда» — это люди-фанаты и рабы своего бизнеса, то светские люди, звезды — это воплощение стратегии расточительства, потребления, траты. Они — эмблемы и символы конюмеристской идеи, и соответственно способы описания и репрезентации их семейных историй и в глубинных основаниях, и в тактиках их представления работают в «коммерческом режиме». Одна из технологий этой коммерческой стратегии — конструирование семейных историй.

«Пушкина. Истории Оксаны»

В большом потоке «семейной» продукции массовой культуры наиболее выразительно и полно представлена форма «семейной истории». «История» (story) — сегодня очень распространенный продукт в культуре. Процесс рассказывания историй (соответственно прослушивания, прочитывания...) занимает огромную часть нашего времени и «располагается» почти во всех сферах и секторах социального пространства.

Истории сегодня — это предмет серьезного академического интереса, который реализован в самых разных гуманитарных дисциплинах и представлен стремительным развитием нарратологии. Так называемые качественные исследования получили весьма продуктивную методологию, позволяющую использовать в анализе генеалогический метод, биографический метод, работу с устными историями.

Но нас в данном случае больше интересует тот поток историй, который заполняет повседневность массовой культуры и СМИ. В потоках медийной продукции нам представлены целые «караваны историй», вовлекающие нас в пространство глянцевого журна-



лов и телеэкрана. Даже деловые журналы типа «*Деньги*» обязательно имеют свой раздел «историй»; там это «история успеха», в научно-популярных журналах — это «история идей и открытий», на НТВ есть программа «*Вкусные истории*» и т.д. — и все они рассказываются, как сказки или даже сказания. Бесконечная «тысяча и одна ночь».

Абсолютным чемпионом в жанре историй являются «женские истории», к ним уже подстроились «мужские истории», а в совокупности все они предстают как «семейные истории». Ведь ни одна история женская или мужская не может обойтись без «семейной составляющей» — как минимум это рассказ о той семье, из которой вышел герой. Современный телеэфир «затоплен» потоками историй, которые обыгрываются в серии ток-шоу («*Я сама*», «*Моя семья*», «*Большая стирка*», «*Любовные истории*», «*Окна*», «*Жди меня*»/«*Ищу тебя*», «*Вера. Надежда. Любовь*», «*Девичьи слезы*» и др.) и передачах-беседах («*Женские истории*», «*Женский взгляд*», «*Пока все дома*» и др.).

Приоритеты в этом направлении были во многом определены и заданы «открытиями» Оксаны Пушкиной. Право на брэнд «*Женские истории*» было отвоевано ею в борьбе с конкурентами, и сегодня он дает большие коммерческие и символические дивиденды. Борьба эта героизировалась — в одном из изданий пушкинских историй телеведущая названа «жертвой интеллектуального рэкета». Отладив гигантский поток своих историй в печатной продукции, Пушкина сохранила свой продукт и колоссально расширила рынок, — издающиеся «*Женские истории Оксаны Пушкиной*» представлены в таких объемах, что трудно даже примерно назвать тиражи. Создав затем телепрограмму «*Женский взгляд*», О. Пушкина так же напористо начала производить и мужские истории.

Поскольку эта продукция наиболее полно репрезентирует заявленную нами тему, попробуем, анализируя механику ее производства, выявить основные конфигурации данного социального конструкта. Представляя героинь, сумевших побороть, преодолеть, выстоять и т.д., «*Женские истории*» Пушкиной декларируют себя как терапевтическое средство для народа, который устал и изнемог в борьбе с жизненными трудностями. Приведем одну из аннотаций к сборнику «*Женские истории*»:

Проникновенные беседы известной телеведущей Оксаны Пушкиной с ее знаменитыми героинями: звездами оперы, балета, кино, эстрады, спорта, женами политиков — затрагивают самые чувствительные струны души благодарных зрителей и читателей, учат стойкости и терпению, вселяют надежду на успех и счастье (Пушкина 2002, вып. 1).

А общий девиз-слоган ко всем сборникам таков: «Откровения знаменитых женщин о себе и о том, как противостоять превратностям судьбы!» Еще из аннотации к другому сборнику:

Откровения героев Оксаны Пушкиной — это не «клубничка» из жизни звезд театра, кино и эстрады, политиков и прославленных спортсменов, а, если хотите, сеанс психологической терапии для измученной души (Пушкина 2002, вып. 1, 4).

Популярность этого телепродукта и его печатных версий объясняется очень странной формулой — «...популярны они благодаря актуальной для России искренней тональности». Дальше следует еще более странное заявление:

Вокруг немало лжи, жестокости, нищеты... Окружающий нас мир стал прагматичнее, циничнее, и все меньше места остается в нем участию,

состраданию и человеческому теплу, так необходимым людям и особенно женщинам (Пушкина 2002, вып. 1, 3).

Итак, бескорыстные сеансы терапии для простого народа через истории VIP-героев — такова миссия Оксаны Пушкиной. В ее передачах «лечению» подвергаются как героини (через проговаривание своих историй), так и масса жалостливых женщин у экранов телевизоров. «Психотерапия» состоит в душевно-публичном заголении одних и страстном разглядывании этих «трещинок» другими.

П. Бурдые, анализируя тенденции развития телевидения в 1990-х годах на Западе, утверждал, что, стремясь завоевать большую аудиторию, телевидение предлагает зрителям

примитивную духовную пищу, образцом которой являются ток-шоу, биографические исповеди, выставляющие напоказ без всякого стеснения пережитое, часто носящее экстремальный характер и способное удовлетворить страсть к своеобразному вуайеризму и эксгибиционизму (Бурдые 2002, 66).

В постсоветской ситуации разрастание и культивирование «исповедальщины» (термин Т. Чередниченко) на телевидении довольно парадоксально объясняется, с одной стороны, отсылками к национальной традиции искренности, а с другой — трансформирующимися представлениями о свободе. Свобода сегодня все чаще понимается как возможность публичного саморазоблачения, т.е. свобода как публичный стриптиз. Т. Чередниченко показывает некое общее основание такого понимания свободы как легальности обнажения вообще. Оно связано с изменениями модусов телесности в современном потребительском обществе:

Спорт, рекламная забота о здоровье и молодости, мода и стрип-шоу сделали обнажение нормой цивилизованного общества. Нагота эстетизируется в качестве престижного символа свободы и благополучия (Чередниченко 2002, 58).

«Звездам», культивирующим эстетику своего тела, как бы логично и душу оголить. В телемассе же успешно поддерживается вуайеристский голод. В письмах зрительниц программ О. Пушкиной (они тоже публикуются в сборниках «*Историй Оксаны Пушкиной*» как подтверждение эффективного лечения, видимо) любопытно звучит «одобрение народом» такой звездной «обнаженки». Так, Л. Федосеевой-Шукшиной после ее откровений по поводу отношений с Б. Алибасовым пишут:

Вы не очернили память великого писателя — Василия Шукшина. Вы живете свою жизнь честно — на виду у всех и честно делитесь с женщинами своими переживаниями (Пушкина 2001, вып. 2, 31).

Или вот письмо, адресованное Пушкиной по поводу истории И. Понаровской:

Знаете, среди нас — народа — разные нехорошие разговоры ходят по поводу звезд, но все сомнения по поводу их человеческой сущности Вы развеиваете. Спасибо Вам, Оксана. И Ирочке пожелайте от меня счастья! (Пушкина 2001, вып. 2, 183).

Риторика бескорыстия и психотерапевтической помощи довольно слабо прикрывает абсолютную коммерческую откровенность этого проекта. Сам брэнд «Женские истории Оксаны Пушкиной» и успешность его продаж очевидны. Наработав имя и лицо, Пушкина сегодня в манере своих передач, с теми же интонациями и придыханиями рекламирует стиральный порошок, шоколад (со слоганом «Женский взгляд на русский шоколад») и т.д. На обложках всех без исключения книжечек серии «Женские истории Оксаны Пушкиной» (а варианты их разнообразны — от дешевых покетов до гляцевых фолиантов) в десятках костюмов одна и та же маска — сама Оксана Пушкина. Да и называется-то товар «Женские истории Оксаны Пушкиной»¹.

Кто же авторы этих историй? В какой степени здесь уместен разговор об их документальности, реальности, аутентичности? При более пристальном рассматривании этих «историй» становится ясно, что героини и их сюжеты используются для создания совершенно определенного жанрового продукта, практически тождественного сериальному «мылу». Но если сериал работает в границах определенного жанра, то здесь мы видим, как сериальные коды, отражающие работу с вымышленными, нереальными героями, опрокидываются на конструирование историй реальных людей.

Претендуя на документальный жанр, Пушкина осуществляет подмену, и вместо реальности создает «эффект реальности» (Р. Барт). Телеведущая железной рукой сбивает нужные ей сюжеты, акценты, интонации. Здесь усиливается смысл понятия «телеведущая»: она и «ведет» героев к зрителям, и «ведет» историю этого героя, ведает его тайнами, открывает его шкатулочки, становясь главной фигурой, отводя герою второстепенную роль. По ходу дела

¹ Примечательно, что на ценниках, наклеенных на книги, написано «Пушкина. Истории Оксаны».

Пушкина создает и свою историю, выбирая себе почетную роль подруги своих героинь, соорудив пьедестал для себя — и это подчеркивается ею на каждом шагу, в каждом тексте и особенно умилительно в фотографиях. Когда-то Е. Пищикова довольно едко, но точно подметила, что даже «терапия» О. Пушкиной использует самый первый психоаналитический прием — когда аналитик замыкает больного не на проблеме, а на себе. Используя своих героинь, О. Пушкина — буквально по Бурдые — создает «эффект клуба», и из символического капитала своих персонажей творит собственный символический капитал. «Эффект клуба» эксплуатируется журнальной нещадно, ведь это поистине золотая жила. Так они «клубом» и живут, радуя телезрительниц своими посиделками и наращивая с пользой для себя рекламные мощности. Как отмечает Е. Пищикова, «как раньше у высокопоставленных женщин были общие гинекологи и визажисты, так теперь у них общая Пушкина» (Пищикова 2000).

Правда, сначала не все рвутся дружить с О. Пушкиной, но она очень упорная. В своих изданиях она с особым удовольствием рассказывает, как добивалась согласия на встречу той или иной героини или героя (Ф. Громовой, Б. Ахмадулиной и др.). В собственный миф добавляется «стервозинка», и она не без гордости и кокетства замечает: «Раз сложилось такое мнение — буду хищницей. Мне не привыкать. В свое время на ленинградском ТВ меня звали “шуккой” и “акулой”» (Пушкина 2001, вып. 1, 93).

Рассказывая историю о своих «историях», Пушкина не раз проговаривается, прямо заявляя, чего она хочет. Работая с семьей Буре, она уговаривает Павла Буре на интервью: «Паша, у нас передача такая интимная. Мелодрама. “Москва слезам не верит”» (Пушкина 2001, вып. 1, 135). Убеждая Кристину Орбакайте рассказать о переживаниях в период развода с В. Пресняковым, говорит ей:

Это необходимо, — твердо сказала я. — Потому что в этом случае если ты не скрываешь обиды, то у людей возникает ощущение, будто бросили тебя, а не ты ушла от мужа. В связи с этим тебе будет сострадать твоя публика, потому что наш народ любит несчастных, к тебе на концерты будут ломиться девочки, брошенные мужьями (Пушкина 2001, вып. 1, 32—33).

Мы видим, что О. Пушкина и «клиента» стимулирует коммерческим результатом от выгодной «продажи» обстоятельств своей частной жизни. Понятно, что этому «коммерческому насилию» VIPы поддаются добровольно. Понимая, что, ступив на публично-

звездный путь, они должны из своей частной жизни сделать *story*, легенду, создать свой миф.

В передаче осуществляется общая работа по «приручению реальности» в полном соответствии со стратегиями культуриндустрии. Позднее вообще появится схема «взаимовыгодного контракта», когда клиент-рассказчик уже сам будет стремиться «продать» свою историю; не будем здесь детализировать этот сюжет конкретными примерами, но можем отметить, что многие политтехнологи в период предвыборных игр используют рамки такого рода «жизненных» передач для продвижения своего клиента, погружая его в «розовый сироп».

Таким образом, производство подобных «эффектов реальности» создает обширное симуляционное пространство; мифологические конструкции, потоки симулякров отражают базовые стратегии консюмеристского общества, давно ставшие объектом исследований. Анализ практик производства массового женского романа в 1990-е годы показал, что в период компьютеризации информационного общества на Западе появляется новый класс — низкооплачиваемые служащие, как правило, женщины. Именно они становятся основным потребителем романов (и телепродукции, подобной «Женским историям»). Стремление женщин преодолеть напряжение используется для того, чтобы под видом декларируемой проектами типа «Женские истории» «терапевтической» помощи сформировать у этой категории стойкую зависимость, стимулируя затем эту зону потребности. Механизм описан: погружаясь в производство такой телепередачи или романа, зрительница/чitatельница вроде отдает себе отчет в том, что уходит в мир фантазий, но на идеальном уровне происходит отождествление с личностью героини. Зрительница/чitatельница входит в симуляционное пространство конкретного продукта и получает возможность в иллюзорной форме разрешить имеющиеся конфликты, которые затем вновь и вновь будут подталкивать к повторению найденного способа «разрешения» проблем. Этот круг выгоден производителю данного товара, создавая бесконечный спрос потребителя.

С другой стороны, как отмечают западные исследователи, мифическая вовлеченность в роман (или в телепродукт, добавим мы) связана сначала с возбуждением, а затем нейтрализацией разрушительных импульсов, первоначально направленных на общество потребления в целом. Перенаправляя деструктивные импульсы на гиперреальность, общество охраняет неприкосновенность своих структур и оформляет роль женщины — зрительницы/чitatельницы — в виде пассивного потребителя (Lesley W. Rabien 1993).

Эти механизмы симуляции реальности в жанре *story* ведут к уничтожению «нерва» всякой истории-тайны. Реальность «производится» в форме гиперреальности, по Ж. Бодрийяру, а производить реальность — это, по сути, изводить, уничтожать ее².

Вновь оказавшись в ситуации «модернизации вдогонку», современное российское общество стало местом *одновременной* реализации двух противоположных стратегий в эволюции от человека экономического к человеку потребляющему, эволюции, проходившей в западном обществе *последовательно*. Это совмещение отражается и в формировании разного типа семейных стратегий. Можно представить следующую типологию современной российской семьи. Во-первых, это «ударники капиталистического труда», представляющие тип человека экономического, и их отношение к семье. Во-вторых, это звезды и их философия наслаждения и траты с соответствующими семейными практиками. И, наконец, в-третьих, это огромная масса народа, где постсоветская семья предстает как боевая единица на фронтах выживания, — вот ее-то жизнь нигде и никак не представлена. Зато представлена, как мы пытались показать выше, «звездная» семья. Она репрезентирована как ведущая модель, в демонстрации и навязывании которой отражены базовые властно-принудительные стратегии консюмеристского общества.

Пространство современной российской жизни все больше подвергается расчленению и дифференциации, и представленные выше типы семьи практически не соприкасаются в реальности. Место их «встречи» одно — телевизионный экран, только оказываются они по его разные стороны.

Простые истории

Миру «звезд» и их семейной жизни четко противопоставлена жизнь «простого народа», она тоже репрезентирована в потоке семейных историй: пафосно-сентиментальным историям Оксаны Пушкиной противостоят разнообразные грязно-радикальные «Окна». В печатных СМИ «*Каравану историй*» (невероятно глянцевого и постоянно толстеющему от рекламы) противопоставлены тощень-

² «Производить, — пишет Ж. Бодрийяр, — это означает насильственно материализовывать то, что принадлежит к иному строю, строю тайны и со-блазна... производство все возводит в очевидность» (Бодрийяр, 1994, 341).

кие «*Ваши истории*» и поразительная по своей претензии на подлинность российская газета «*Жизнь*».

Эти издания, как правило, неведомы сколько-нибудь интеллигентному человеку, но имеет смысл обратиться к этой «резервации», т.е. посмотреть туда, где определено место для антиподов звездной жизни. При всей контрастности полюсов этой жизни мы увидим ряд очень схожих тактик в конструировании образов постсоветской семьи. Это, по меньшей мере, следующие составляющие: а) игра в подлинность, б) претензия на терапевтические функции, в) реализация глубинных консюмеристских стратегий — «все на продажу!» — с манипуляционными практиками эмоционального эксгибиционизма/вуайеризма.

Обратимся к журналу «*Ваши истории*». Этот общероссийский журнал работает по принципу газеты бесплатных объявлений. Он предлагает читателям присылать свои жизненные истории, а затем, собрав их под своей обложкой, продает все это в общей «упаковке». Журнал стимулирует продажу авторами-читателями историй своей жизни, предлагая в каждом номере объем призового фонда. Как и «звездам», народу предлагается продать свои жизненные истории. Отличия состоят в мотивации (для «звезд», как мы отметили, необходима работа над своей легендой) и в масштабе цен. Цены в журнале «*Ваши истории*» определяются по значимости рубрик, в которые посылаются истории. Разные «кусочки» жизней читателей/писателей имеют разную стоимость. Приведем содержание прайс-листа:

«нарочно не придумашь»	— 250 рублей
«любовные тайны»	— 1000 рублей
«однажды»	— 400 рублей
«это было недавно»	— 400 рублей
«письмо от сердца»	— 500 рублей
«как читатель читателю»	— 400 рублей
«вот так все начиналось»	— 500 рублей
«признание»	— 1000 рублей
«ваши любимцы»	— 350 рублей
(о домашних животных)	
«письмо о беде»	— 500 рублей
«семейная история»	— 1000 рублей
«загранично»	— 1000 рублей

В последних номерах «*Ваших историй*» анонсируется новая рубрика «*Письмо любимому*», но цена вопроса пока не определена. Появилось обоснование необходимости данной рубрики:

На самом деле таких писем в редакционной почте немало. Невысказанные чувства, непонятные слова или поступки нередко приводят к тому, что близкие люди теряют друг друга. И тогда возникает острая необходимость объясниться. Но не всегда есть возможность это сделать: мешают собственные комплексы, обиды или просто обстоятельства не позволяют встретиться, поговорить по душам. Единственное, что остается, — обратиться к любимому с письмом, объяснить свои чувства, а может, и попросить прощения за невинно нанесенную обиду.

В общем, нам пишут, обращаясь к любимым, и мы не можем игнорировать эти послания. Потому решили открыть новую рубрику «*Письмо любимому*». Пусть она станет мостиком между потерянными сердцами, поможет влюбленным понять друг друга. Пишите, и, надеюсь, удача улыбнется вам. Любви и счастья в Новом году!» (*Ваши истории* 2002, декабрь).

Вряд ли редакция думает, что кто-то может «преодолеть комплекс» через публичное признание в журнале, просто это продолжение стратегии культурного понуждения к душевному эксгибиционизму, которую мы видим во всех исследуемых нами продуктах массовой культуры.

«Борьба за подлинность» также представлена в журнале, как мы показывали выше, и закрепляется она требованием присылать фотографии и предложением писать свои истории по определенной инструкции, которая дается в конце каждого номера. Выглядит она так:

НАПИШИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ

Вы решили написать историю и не знаете, с чего начать? Предлагаем краткий план, которым вы можете руководствоваться при написании, не упуская важных и интересных подробностей (объем истории зависит от рубрики).

1. Моя история для рубрики ...
2. Главные герои вашей истории.
3. С чего начиналась история.
4. Как разворачивались события.
5. Что было в конце.

Вложите в конверт с историей реальные фотографии, лучше цветные, а мы их вам обязательно вернем. Для получения денежного приза сообщите нам: полное имя, дату рождения, паспортные данные, адрес и почтовый индекс, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, телефон (если есть), реквизиты банка, номер личного счета перечисления на сберкнижку (если есть).

(*Ваши истории* 2002, ноябрь).

У журнала два девиза, они по очереди выносятся на обложку номера: «нарочно не придумаешь» и «журнал, написанный читателями». Каковы же сами истории? При их чтении становится очевидным, что сочинителям либо не дает покоя слава Оксаны Пушкиной, либо работает такая же бригада сочинителей, которые творят и дамские романы, и пушкинские истории, и сценарии «*Окон*», и такие вот женские журнальные продукты. Вот примеры стиля:

Когда Аня с бабушкой пили чай, в квартире раздался звонок. Аня почувствовала, как сжалось ее сердце и сильным толчком извещило: это он (*Ваши истории* 2002, декабрь).

Старик признался, что есть у него любовница, девушка двадцати пяти лет, и что вот уже лет пять он тайком от своей старухи с этой девушкой встречается (*Ваши истории* 2002, ноябрь).

А дальше три бронированных «джипа» врываются с клубами снежной пыли в тихую деревню и тормозят у дома нашей бабушки (*Ваши истории* 2002, октябрь).

Когда я увидела глаза Жени, я не могла сказать «нет». Чувствовала, он этого не переживет. Да и о Мише, если честно, тогда я думала меньше всего. А ведь он, по моим подсчетам, был настоящим отцом будущего ребенка (*Ваши истории* 2002, сентябрь).

В жизни каждой женщины рано или поздно наступает период, который можно назвать «безвременьем». Его главная отличительная черта — застой, невозможность разорвать замкнутый круг устоявшихся привычек (*Ваши истории* 2002, декабрь).

Через час мы уже были у Оли. Весь вечер проболтали о моей любви. За разговорами порядком выпили, и вдруг Оля замолчала, прикоснулась к моим плечам и провела руками по телу. Я оцепенела, а когда пришла в себя, попыталась оградиться от поцелуев «любвеобильной» подруги. Тут же меня охватили ярость и страх... Она пыталась удержать меня, просила дать возможность все объяснить и исправить. Но я была непреклонна, хлопнула дверью и ушла («Меня полюбила лесбиянка» // *Ваши истории* 2002, ноябрь).

Наступило бабье лето. Мое сороковое бабье лето... (*Ваши истории* 2002, декабрь).

Он говорил мне... : знаешь, как кричат звери во время любовного гона. Они чувствуют друг друга на расстоянии. Слово их связывает невидимая нить. Слоны резко меняют намеченный маршрут и идут к самкам, чтобы любить их. Стаи касаток срываются с места, услышав этот зов. А тебе нужно было приблизиться ко мне вплотную, чтобы услышать... Я не обращала внимания на то, что он сравнивает свои чувства с инстинктами животных, я хотела быть с ним (*Ваши истории* 2002, декабрь).

Послушав эту речь, можно решить, что «звезды» и люди говорят на одном языке, но нам кажется, что это показывает не общность душ и похожесть переживаний, а только то, что сделаны все эти истории по одним лекалам, может быть и одними «филологическими бригадами». Такой продукт, как «розовый роман», тоже делается посредством подобных технологий, и об этом уже неоднократно писали. Критик М. Новиков, анализируя технологию такого типа письма, убедительно показывает, что тексты эти делаются «профессионалами», а изготовление «эффекта подлинности» обеспечено нарочито плохим письмом:

Последовательный взгляд на вещи заставляет воспринимать и жанровую макулатуру, и «космополитэновский» гляцевый кретинизм как колоссальный стихийный постмодернистский проект... Профессионалки занимаются изготовлением попсы. А уж о том, что писать надо плохо, иначе не выйдет искренне, знает любой постмодернист (Новиков 1999).

Возможно, литературные профессионалы, зарабатывая себе на жизнь таким образом, действительно получают какие-то моральные дивиденды, играя постмодернистские игры в кич. Вот и журнал «*Ваши истории*», такой невинный и как бы простодушный, предстает абсолютным постмодернистским вывертом, когда в конце, на последней странице пишет: «Главный редактор журнала — Николай Гоголь». Осталось только вспомнить Высоцкого:

И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую —
Ей-богу, этот Гоголь бы вам не поверил бы (Высоцкий 1993, 65).

Несмотря на то что общероссийская газета «*Жизнь*» — издание откровенно бульварное — прославилась рядом судебных исков со стороны знаменитостей, она продолжает развиваться невероятно динамично. Например, филиал издания в Свердловской области начинал несколько лет назад с тиража около 10 000, сейчас его тираж — 101 000. Общий же тираж по России приближается к полутору миллионам экземпляров³. Для сравнения — ежедневный тираж «*Известий*» — 234 500.

Под масштабно-философским названием «*Жизнь*» скрывается такая убогая и уродливая конструкция, что игра с названием тоже кажется постмодернистской издевкой. Жизнь простого человека

³ Это совокупный тираж, в который входит ежедневное издание и толстушка-еженедельник.

предстает как череда девиаций и нонсенсов, рождает ощущение какого-то глобального тупика. Семейная тема представлена в основном в беседах с неким консультантом Инной (страница называется «Дорогая Инна»), которая отвечает людям, помогая разрешать их семейные проблемы. И какие же это проблемы? Ограничимся названиями: *Я полюбила алкоголика; Лучшая подруга выходит замуж за моего парня; Муж спит с моей сестрой; Тетка меня оклеветала; Супруг перестал меня ласкать; Замуж за голубого; Секс втроем: я, муж и мама; Мой муж — развратник; Полюбил жену брата...*

Понятно, что никакими советами в газете такие проблемы не решаются, задача одна — вновь простимулировать массу к эмоциональному эксгибиционизму/вуайеризму. Видно, что перед нами газетная калька «Окон», и в целом возникает вопрос о причинах востребованности такой продукции; ведь рост интереса к ней очевиден. В случае с той же «Жизнью» неожиданной оказывается ее востребованность пожилыми людьми, проживающими в основном в глубокой провинции. Недавно наблюдала знаковую картинку — пожилая пенсионерка обращается к продавцу газетного киоска: «Скажи, милая, а “Жизни” так и нет?», ответ — «Нет, бабушка, так и нет», бабушка отходит, вздыхая: «“Жизни” нет...»

Понять и проанализировать феномен «Окон» и подобной им продукции, а не просто ограничиться возмущениями пытаются немногие. Статья Дм. Голынка-Вольфсона «Окна во двор коммунального подсознания», пожалуй, одна из первых попыток такого рода. Используя тактики психоанализа, автор интерпретирует этот проект как канал саморепрезентации постсоветского городского менталитета с его смесью остаточных мифологем советского мира и «не переваренных» пока полностью новых «буржуазных» конструкций. «Окна», по мнению Голынка-Вольфсона, позволяют современному постсоветскому человеку заглянуть внутрь себя через коллективное подсознание: «“Окна” показывают именно современное русское подсознание, производят мониторинг его символического происхождения, вмененных ему табу и властных рычагов его регулирования» (Голынка-Вольфсон 2002, 112).

Технология психоаналитической работы в «Окнах», по мнению Голынка-Вольфсона, осуществляется через «двойную игру» с реальностью. Рассматриваемая нами проблема подлинности/неподлинности таких продуктов связана, по мнению автора, с изощренным фокусом «обмана правдой» (отсылка к С. Жижеку). «Риторика “обмана правдой” избегает каких-либо конспиративных, шифрованных высказываний — ее сила и неуловимость в том, что правда преподносится “голой”, без обычных маскировочных виньеток



(тогда-то ее точно никто не признает за правду)», «мы убрали все, чем вас обманывали, и вы все равно обманываетесь...», — замечает Дм. Голынка-Вольфсон (2002, 112).

И, наконец, важная для нашего разговора тема «психотерапевтической» функции этого типа продукции массовой культуры в статье Голынка-Вольфсона также представлена позицией прямого признания психотерапевтического эффекта «Окон». Как отмечает Голынка-Вольфсон,

Нагиев опытно «дирижует» подсознанием, при этом наиболее болезненный и неблагополучный его сегмент все-таки не затрагивает, и зритель-вуайер, в каждом «Окне» сталкиваясь с нежелательным эскизом будущего, получает шанс его улучшить — переиграть или загодя подстраховаться,

т.е. осуществляет «стратегию предостережения-предохранения подсознания посредством вуайеризма» (2002, 113).

Быть может, это действительно объясняет, почему ширятся ряды зрителей «Окон» и читателей «Жизни», но даже если этот терапевтический эффект и имеет место, авторов данных проектов он вряд ли интересует. Скорее представляется, что, как и в случае с работой Оксаны Пушкиной, эти авторы смогут теперь эксплуатировать

ровать психотерапевтические элементы шоу, выявленные Дм. Голынько-Вольфсоном. Мотивация конструкторов шоу более банальна, а Нагиев вряд ли уж такой самостоятельный дирижер психоаналитических сеансов. Специалисты отмечают, что проект этот — абсолютно режиссерский, а задачи его — прежде всего коммерческие. Творчество холдинга В. Комиссарова «Моя семья» и его конкурентов определяется цифрами, и они весьма показательны.

Так, «Большая стирка» — «ответ» В. Комиссарову со стороны Первого канала — это один из самых дорогих проектов канала (дороже только «Последний герой»).

Производство каждой программы обходится его создателям \$20 тысяч. Всего в «Стирке» три рекламных блока по четыре минуты. Стоимость одной минуты рекламы — \$96 тысяч, скидки достигают 30%. «Большая стирка» выходит 20 раз в месяц. Нетрудно посчитать, что ежемесячно она приносит доход в \$11,6 млн, —

отмечает М. Кузина (2002).

Продукты студии В. Комиссарова «Моя семья» — «Семья», «Окна», «Чего хочет женщина», «Сказки о любви», «Девичьи слезы» и др. дешевле в производстве, но шире в охвате аудитории; раскрутив программу, холдинг тут же выпускает в печать газету с одноименным названием. «Успешен Комиссаров и в мерчандайзинговом



бизнесе. Соки, масло, майонез выходят под маркой «Моя семья», — подчеркивает Кузина.

Создавая огромное поле потребления «семейных продуктов», массовая культура виртуозно и разнообразно играет с реальностью и в реальность. Претендуя на роль социального психотерапевта, она «лечит» больное тоталитарным прошлым общество и помогает ему осуществить переход (куда?). Реализуя глубинные стратегии конъюмеристского общества, массовая культура становится эффективным способом зарабатывания огромных денег, прежде всего путем формирования очень емкого рынка образов, моделей поведения и стратегий жизненного успеха.

Жесткий водораздел между миром «звезд» и миром «простого народа», казалось бы, не оставляет никакой возможности для жизни «посередине» (ее нет в репрезентациях массовой культуры), и массовая культура выполняет в данном случае вполне определенную идеологическую миссию, осуществляя своеобразный культурный «запрет» на нормальную человеческую жизнь, в том числе и на ее «семейную форму».

В этом траектория развития отечественной массовой культуры отличается от развития западной массовой культуры в эпоху ее становления, о чем давно и настойчиво говорит главный редактор журнала *«Искусство кино»*, социолог Д. Дондурей (не случайно он стал одним из инициаторов проведения конкурса киносценариев под характерным названием *«Нормальная жизнь в нормальной стране»*). Так, анализируя смысл идеологического «послания» в новом вале телепродукции, Дондурей отмечает, что репрезентация постсоветского мира в России строится при помощи очень жесткой редукции общества к двум сословиям. Это бандиты (и обслуживающие их менты, судьи, бизнесмены и т.д.) и «остальная, неразличимая, неопознаваемая масса — люди, которые пока бандитами не стали» (Дондурей 2002). Как мы отмечали ранее, в основе отношений «звезд» и «масс», представленных в массовой культуре, лежит сходный механизм редукции.

Отличается и образ семьи в постсоветской культурной мифологии. Как напоминает Дондурей, Голливуд, строя свою киномифологию на культе индивидуального успеха, предприимчивости и мобильности, при этом всегда

укреплял семьи, объявлял этот институт священной ценностью. Что бы ни происходило с героями, они не могли предавать семейные обязательства. Не менее трогательно, чем к семье, в американском кино и тем более в сериалах относятся, разумеется, к закону (Дондурей 2002).

В отличие от Голливуда в отечественной мифологии, сочетающей психотерапевтические эффекты с практиками «всеобщего экзгибиционизма», заключает Дондурей,

происходит не дискредитация, а настоящее публичное разрушение семейных устоев. После исчезновения спасительной *«Скорой помощи»* остается одна только надежда — на бразильские *«Семейные узы»* (Дондурей 2002)⁴.

⁴ Известный телеаналитик И. Петровская, препарировав исследуемый сорт передач, неустанно твердит о разрушительности такой телестратегии. Установка на свержение «семейных ценностей, таинства любви, уважения к женщине, деликатности по отношению к детям, почтения к старшим и милости падшим» тотальна. А «простые граждане берут пример со своих кумиров и тоже не выбирают средства ради возможности посветиться на экране. И даже если это не обычные люди, а подставные актеры, разыгрывающие семейные страсти согласно сценарию, они все равно задают моду и утверждают норму: на грязь, мерзость, нечистоплотность, аморальность в человеческих взаимоотношениях. А еще телевидение на конкретных примерах убеждает зрителей: быть подонком весело» (Петровская 2002).

Чтобы понять причину востребованности такого рода культурной продукции о семье, требуется специальная работа. Пока мы можем высказать лишь некоторые предположения. С одной стороны, масштабность публичного экзгибиционизма и соответствующего ему вуайеризма определены предшествующим историческим этапом советской коммунальности и затянувшимся выходом из него. Семейная жизнь проживается «на миру», и публичный скандал — «нормальное» продолжение формулы «я, ты, он, она — вместе целая страна». С другой стороны, в стремлении массы припасть к экрану и самозабвенно погрузиться в перипетии семейной жизни звезд отражается давно подмеченная исследователями феномена массы особенность — эмоциональная нищета массы. Многие потому и становятся зрителями, абсолютно погруженными в чужие жизни, что не проживают жизни собственные. Обе эти особенности востребованы в выстраивании современной политики образа семьи оформляющимся потребительским обществом.

Итак, политики репрезентации семьи в массовой культуре и СМИ через тотальность *показа* девиаций — «звезды» и «масса» — семейных форм *скрывают* реальность обычной семейной жизни нормальных людей. Является ли эта логика репрезентации действительной политикой? Видимо, да. Во-первых, потому, что формы репрезентации семьи даны в развертывании индоктринальной работы, смысл которой мало чем отличается от схем тоталитарных обществ и состоит в упрощении сознания и уплощении эмоций. Во-вторых, как замечает Т. Чередниченко, «по общественным поводам народ безмолвствует. Зато на темы приватной жизни ему позволено (и чуть не вменяемо) публично обнажаться. Экзгибиционизм — содержание публичности» (Чередниченко 2002, 54). Перенаправляя и «снижая» эмоциональную энергию, такие «семейные истории» обеспечивают «выпадение» масс из социальной истории, вновь подтверждая старую идею о том, что политика «есть рациональная форма использования иррациональной сущности масс» (Московичи 1996, 66).

Ирина Савкина

РОД/ДОМ: СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ И ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Уклад жанра

Семейные хроники бывают счастливыми и несчастливыми, т.е. рассказывающими о создании или распаде семейного клана, но все они в сущности похожи друг на друга. Структура жанра кажется настолько самоочевидной, что даже специальные литературоведческие словари не дают труда и места поместить о нем отдельную статью.

Гордо ведущая свою родословную от исландских саг (потому часто используется термин «семейная сага»), семейная хроника уютно чувствовала себя в стабильном мире классического европейского романа. При всей их разнице и «*Ругон-Маккары*» Э. Золя, и «*Семья Тибо*» Р. Мартен дю Гара, и «*Семья Резо*» Э. Базена, и «*Сага о Форсайтах*» Д. Голсуорси, и «*Будденброки*» Т. Манна, и «*Господа Головлевы*» М. Салтыкова-Щедрина, и «*Семейная хроника*» С. Аксакова, и отчасти даже «*Война и мир*» Л. Толстого подходят под пушкинское определение: «роман старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный...».

Несмотря на перестановку идеологических оценок, советские семейные хроники из цикла «а паразиты никогда!» («*Дело Артамоновых*» М. Горького, «*Журбины*» В. Кочетова, «*Строговы*» Г. Маркова, «*Вечный зов*» А. Иванова и пр. и пр.) не так уж сильно отличались от вышеназванных текстов, если смотреть на них с точки зре-

¹ Выражение Ильфа и Петрова. «Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустика-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру. Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: “А паразиты никогда!”» (Ильф — Петров 1990, 307).

ния законов жанра, и так же, как их предшественники (а, может, и в большей степени), пользовались популярностью у читателя?²

Законы жанра действительно отчасти восходят к древней исландской саге, в которой исключительное место занимала категория памяти. Как пишет исследователь саги А. Гуревич, «мудрым считался тот, кто много помнил... Устный прозаический рассказ о людях и фактах был важнейшей формой хранения и передачи социальной информации... Информация, касающаяся рядовых исландцев, их жизни и интересов, отливалась в сагу» (Гуревич 1979, 95). Предметом изображения в саге была история рода — *своя* история или история *своих*, так как мир саги четко разделен на своих и чужих. «Противопоставляя себя чужим вполне четко и резко, персонаж саги неспособен занять такую же позицию по отношению к своим. Наоборот, он, скорее, сливается с ними. Индивид — звено в цепи поколений» (Гуревич 1979, 138—139). Саги об исландцах переполнены генеалогиями: почти каждый герой входит в текст, таща за собой все свое генеалогическое древо:

За каждым именем в его сознании стояла какая-то история, часть этих историй попала в саги. Поэтому генеалогии в сагах в высшей степени содержательны, только нам трудно теперь восстановить все их значение... Указание имени человека, людей, связанных с ним родством и свойством, само по себе уже являлось характеристикой этого человека, ибо имя это не было вырвано из жизненного контекста, но, наоборот, включало данное лицо в некую группу, в жизнь определенной местности и напоминало о событиях, участниками которых были этот человек и его коллектив (Гуревич 1979, 139).

В основе классической и современной семейной хроники — история собирания или угасания рода, династии, клана, история строительства или разрушения Дома. Дом в семейной хронике — это *свой* мир, крепость, за стенами которой более или менее слышно для читателя шумит чаще всего враждебный лес истории.

Или в других терминах, по Бурдьё, семейная хроника — рассказ о складывании габитуса, описание процесса «превращения нужды в добродетель» (Bourdieu 1987, 101)³. Комментатор Бурдьё

² Биргит Менцель пишет, что «семейная новелла нравов Анатолия Иванова “*Вечный зов*” (1970—1976) была одной из самых популярных повестей в течение двух десятилетий и в читательском опросе 1998 года о наиболее любимых русских произведениях XX века заняла второе место (30%) после “*Тихого Дона*” М. Шолохова (34%) и перед “*Мастером и Маргаритой*” М. Булгакова (27%)» (Menzel 2000, 426).

³ О понятии «габитус» см. указанное издание (97—112), а также Bourdieu 1982, 277—354.

М. Гронас пишет, что «некоторая часть семантики понятия “габитус” у Бурдьё покрывается русскими словами *склад* или *уклад*, например, в сочетаниях *склад личности*, *помещичий уклад*, *крестьянский уклад*, *семейный уклад*. Габитус, как и уклад, постепенно складывается под влиянием постоянно воспроизводимых социальных условий, и сходные условия образуют сходные габитусы. Однако уклад пассивнее, чем габитус, так как габитус не только складывается, но и складывает, генерирует и классифицирует практики, снабжая своих носителей способностью реагировать на внешние изменения, применяться к новым условиям» (Гронас 2000, 8).

Например, «Дело Артамоновых» Горького демонстрирует процесс складывания группового (классового) габитуса русской буржуазии через процесс формирования-консервации-распадения семейного уклада семьи Артамоновых. Описать то, что происходит в романе, можно цитатой из Бурдьё: «В “персонах” капиталистов можно видеть “персонификации” капитала, так как чисто социальный, но почти магический процесс социализации совершается через акт “маркировки”, делающей из индивида “первенца”, “наследника”, “последователя”, “христианина»» (Bourdieu 1987, 107) или — добавим — «Артамонова». Габитусы, по Бурдьё, являются порождающими принципами практик, бессознательными самоклассификациями, которые определяют стиль жизни, вкусы, мнения, предпочтения, бытовые привычки людей той или иной группы.

Таким образом, можно сказать, что семейная хроника показывает обычно процесс формирования габитуса и «стремление групп сохраниться в своем бытии» (Bourdieu 1987, 117).

Классический пример — «Семейная хроника» С. Аксакова, начинающаяся с переселения, бегства от «чужих», с которыми на прежнем месте в Симбирской губернии надо было делить родовую вотчину, и строительства на новом, пустом месте Дома, села, получившего название Новое Багрово, основание клана. Текст кончается рождением героя-повествователя. «Дед... торопливо вытащил известную нам родословную, взял из чернильницы перо, провел черту от кружка с именем “Алексей”, сделал кружок на конце своей черты и в середине его написал: “Сергей”» (Аксаков 1966, 259).

С другой стороны, большинство семейных хроник все же относят период стабилизации габитуса в прошлое, в отступления-воспоминания, делая собственно предметом изображения то, что у Бурдьё называется эффектом гистеризиса (отставания, запаздывания): социальные отношения, окружение, с которым агент сталки-

вается, изменились, а он продолжает использовать практики, не соответствующие актуальным условиям. Габитус агентов, в нашем случае членов семьи, рода, сталкивается с такими новыми общественными практиками, которые с ним не совместимы:

Стремление групп сохраниться в своем бытии, основанное среди прочего на устойчивых для агентов диспозициях, которые при определенных обстоятельствах сохраняются дольше, чем экономические и социальные условия их производства, может стать основанием как дезадаптации, так и приспособления, как сопротивления, так и смирения (Bourdieu 1987, 117).

Что происходит, если стратегии избегания невозможны? Этот вопрос из социологии Бурдьё прямо применим к анализу семейных хроник, причем он имеет, по-видимому, равное отношение и к поведению героев, и к позиции автора.

В семейной хронике почти всегда изображена борьба между закрытостью—открытостью, Домом и Миром, габитусом и внешними влияниями, стремящимися его разрушить, между родовым, семейным (циклическим) и историческим, линейным временем.

На противоборстве и в то же время сочетании повторяемости, узнаваемости и изменчивости, постепенного, подробного развития во времени строится интрига жанра, во многом совпадающая с принципом телевизионного сериала. Недаром только ленивый критик не упомянул о «сериальности» или чертах мыльной оперы в «Медее и ее детях» и «Казусе Кукоцкого» Л. Улицкой, а обсуждение «Московской саги» В. Аксенова в Интернет-пространстве практически свелось к информации о том, какой хороший сериал из нее выйдет. Одни критики видели в этом достоинство, другие — ущербность и дегенеративность текстов, но, строго говоря, такое свойство предопределено выбором жанра.

Те произведения, о которых пойдет речь в этой статье (уже названные выше тексты Л. Улицкой и В. Аксенова), мне кажется, принципиальным образом не разрушают традиционную структуру жанра, несмотря на то, что написаны авторами с репутацией литературных новаторов и в эпоху постмодернизма, в период жанрового (полу)распада и эрозии веры в метаповествования. Семейная же сага, по определению, претендует на роль метаповествования, предусматривает выход за пределы субъективирующего Я в линейное время, где есть хорошо структурированные категории прошлого, настоящего и будущего, в мир причин и следствий. Удастся ли современным писателям преодолеть земное притяжение жанрового канона, расстаться с веригами традиции?

Господа Журбины, или Московская сага В. Аксенова

Трилогия Аксенова «*Московская сага*», которая амбициозно оглядывается на «*Войну и мир*» (части называются «*Поколение зимы*», «*Война и тюрьма*», «*Тюрьма и мир*»), настолько традиционна, что ее появление не вызвало в критике «ни слова, ни вздоха». В. Сердюченко в статье с выразительным названием «*Могикане*» заметил:

Достать этот роман по причине его трехтомности, малого тиража и дороговизны настолько затруднительно, что неизвестно, стал ли он состоявшимся литературным фактом... Обращаясь к невидимому, а может, и отсутствующему читателю «*Саги*», констатируем, что в своем третьем воплощении Аксенов сжег все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал, представ вполне добротным бытописателем характеров и нравов сталинской эпохи. Он использовал в «*Саге*» одну из наиболее надежных конструкций реализма: история страны через историю семьи, точнее, семейного клана Градовых, в полной мере познавших блеск и позор, ласку и кнут сталинской эпохи (Сердюченко 1996, 218).

Эпос Аксенова рассказывает историю трех поколений семьи потомственных русских интеллигентов, врачей Градовых. Автор всячески подчеркивает групповое, клановое начало. «Градовы» — это собирательное понятие: в роду имя деда переходит к внуку — Борисы Никитичи сменяются Никитами Борисовичами, а родившийся мальчик получает «порядковый», династийный номер и фамильную профессию уже на выходе из материнской утробы: «У меня сын родился, Борис Четвертый Градов, русский врач» (Аксенов 1999, 61)⁴.

Детям профессора Градова — Никите, Кириллу и Нине — выпало жить в эпоху великого перелома, поэтому они нарушили заведенный порядок. Никита стал одним из ведущих советских военачальников, пройдя испытания и славой, и тюрьмой, и войной. «Строгий юноша» Кирилл, наступив на горло своему лингвистическому таланту, становится историком, активным коммунистом и тоже в конце концов оказывается в тюрьме и на Колыме. Младшая дочь Нина — поэтесса, богемный человек. Но в третьей книге все отчасти возвращается на круги своя, в главные персонажи выходят младшие Градовы: Борис младший (Борис IV) — фронто-

⁴ В дальнейшем все цитаты из романа даются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

вой разведчик, мотогонщик и в то же время студент-медик («продолжатель династии русских врачей Градовых», 494), юная Елена, маленький Никита — побочный сын погибшего Никиты-старшего, усыновленный дедом и бабушкой.

Несмотря на все искушения и испытания истории, клан Градовых сохраняется как целое, сохраняет габитус, передавая его младшим как совокупность заветов, запретов, мнений и поведенческих практик. Этот семейный уклад в романе соотносится с групповым габитусом, или, лучше сказать, Градовы превращаются в символизацию понятия «русская интеллигенция»: «Они полны друг к другу любви и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции» (24). Профессор Градов говорит о себе: «Я только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед» (42). Никита, «несмотря на все свои регалии... попросту русский офицер» (94). Жена профессора Мэри Вахтанговна — «прямая и строгая, скромнейшая русская интеллигентка, мать защитника отечества маршала Градова» (373). Борис младший, думая об «остатках градовского клана» (487), формулирует: «патриотизм — это не партия, даже не коммунизм, просто русское чувство, ощущение традиции, градовизм» (486).

Умножение и усиление идеи клановости и избранности осуществляется с помощью включения рода «врачей-позитивистов» Градовых в гораздо более древнюю традицию: к членам семьи причислен и немецкий овчар, живущий в доме, «Пифагор Градов» — в прошлой своей жизни не кто иной, как князь Андрей Курбский⁵. Князь-овчар — законный член градовской семьи, он в своих внутренних монологах именует младших Градовых братьями и сестренками.

⁵ Реалистический рассказ о жизни семейства Градовых, выполненный в манере традиционного бытописания, в романе Аксенова иногда прерывается серией глав-«антрактов», половина из которых построена как дайджест прессы того времени à la «Красное колесо» Солженицына, а другая половина представляет собой то патетические, то иронические вариации на тему «метаморфоз» или рассказов о переселении душ: изумленный читатель узнает, что Екатерина Вторая в новом своем воплощении — цирковой конь Гришка, заканчивающий свой век на живодерне, Кантемир — соловей, и на звуки его прекрасной песни выползает из пруда жаба — свежеиспеченный покойник А. Жданов, царевна Софья воплощается в комнатное растение, а Достоевский вместе с Петрашевским — в раскидистый дуб, нашептывающий советы Блюхеру и Тухачевскому, и т.д. и т.п. Эти удивительные по своей нелепости и неуместности вставные новеллы, кажется, единственный рудиментарный отросток — воспалившийся аппендикс былого аксеновского модернизма.

Идея избранности и кастовости организует сюжет в «*Московской саге*» так же, как она организовывала сюжет «*Журбиных*» В. Кочетова, конечно, с переменной идеологических знаков. Количество ситуативных и почти буквальных лексических совпадений поражает. И в романе Кочетова был свой патриарх и глава клана — дед Матвей («Того и гляди праправнуков патриарх дождется» (Кочетов 1970, 27)⁶. Радость по поводу рождения нового члена семьи и у Кочетова была связана с идеей продолжения династии: «Рабочий человек родился» (7); «С новым человеком! С новым строителем кораблей» (27). Семья Журбиных — клан, группа, «бригада» — нечто цельное и символическое. «В семье Журбиных все жили дружно, семья считалась одной из наиболее крепких в Старом поселке» (75); «Ложась спать, Зина думала о Журбиных, о людях, у которых свои семейные песни, свои музыканты, своя гордость» (111). В книге Кочетова тоже есть идея «журбинства»: «журбинский характер» (141), «журбинская порода» (которая плодит одних мужчин — «не терпит женского пола — да и только!» (284). Для полноты картины остается только энергично обобщить: «патриотизм — это не партия, даже не коммунизм, просто русское чувство, ощущение традиции, журбинизм».

В советском романе о рабочей династии идея семьи, рода связана с хронотопом Дома, родового гнезда на Якорной, 19. «Появлялись новые дети, вырастали, женились, и постепенно Журбины заняли весь дом, перепланировали его, переоборудовали... А по сути жили Журбины все сообща, одним семейством: общее хозяйство вела Агафья Карповна» (29). «В семье Журбиных сложилась традиция не покидать родительского крова: под ним хватало места всем и никто никого не принуждал поступать против воли» (138). В родовом гнезде есть свой заведенный, никогда не нарушаемый порядок: «Агафья Карповна неизменно из года в год, изо дня в день, следовала за ним до калитки и смотрела вслед, пока он не скроется за углом. Уходил Илья Матвеевич всегда в одно и то же время, точно — минута в минуту...» (29).

Распределение ролей в этой патриархальной семье традиционно: мать ведет дом, воспитывает детей, проявляя тем самым «материнское геройство» (267), отец — добытчик, дети продолжают отцовское дело. В семье — склад, лад и порядок. Утопический проект романа — превращение всего общества (в перспективе, если

⁶ В дальнейшем все цитаты из романа даются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

вспомнить финал, — всего мирового сообщества) в огромную «семью Журбиных». Как пелось в бодрой песне, написанной несколькими десятилетиями позже: «Я, ты, он, она — вместе целая страна, вместе — дружная семья». Трудовой коллектив, совобщество, соцстрана описываются в семейных терминах: «В рабочей семье он не пропадет, он сил наберется» (166).

Но мысль о всемирном торжестве трудового пролетариата (групповой габитус которого представляет в романе скрещенные коммунистических идей борьбы за тотальное переустройство с идеей традиции, порядка, воплощенной в дискурсе патриархальной семьи) соединяется с концептом избранности, династийной замкнутости. Для того чтобы стать членом «большой родни», надо *быть* СВОИМ, социально близким. *Стать* таковым возможно далеко не для всех — например, таким ментально чужим, как «непризнанный гений» и белоручка Вениамин Семенович, путь на Якорную, 19 заказан.

В «*Московской саге*» Аксенова маркированный для автора позитивно групповой габитус («градовизм») тоже связан с символическим *своим местом*, топосом — Домом. Правда, в отличие от (соц)оптимистической концепции Кочетова, изображающего мир победившего пролетариата как огромную коммунальную квартиру, населенную «большой родней», топография аксеновского романа строится почти на мифологическом противопоставлении замкнутого пространства Дома и мира вокруг. Дом профессора *Градова* в Серебряном Бору — это *град* обетованный, обнесенный незримой *оградой*, это твердыня и пристанище посреди исторических сквозняков и ураганов.

Дом в народной культуре — символическое *свое* обжитое, защищенное пространство, которое надо разными магическими способами ограждать от вторжения чужого или чужих. Дом, сооруженный руками хозяина или его родителей, воплощает идею единства семьи и рода, связи предков и потомков (Байбурин 1983; Цивьян 1974). Все эти признаки, безусловно, находим и в семейной хронике Аксенова (как и у Кочетова). Уставший от бездомья войны и тюрьмы Никита Градов, оказавшись в Москве, заворачивает в Серебряный Бор

не из сентиментальных, если разобраться, соображений, а оттого, что ему хотелось прикоснуться к чему-то своему, исконному, невоенному, историческому, к чему-то более важному, к тому, что излучает и поглощает любовь. Даже не к отцу и матери лично, а к материнству и отцовству (369).

Он вспоминает деда, который построил этот дом, и бабушку («из тех самых Якубовичей») (369). Сама история возведения и строительства Дома не рассказывается в романе даже ретроспективно. Он уже *есть*, он — данность, нечто «исконное, неисторическое». Дом — это олицетворение давно и прочно сложившейся традиции, габитуса, воплощение порядка, правильности, правды и праведности, строя и обустроенности.

Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, сущий оплот светлых сил российской интеллигенции. Даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному»... периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончившая консерваторию по классу фортепьяно («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», — шутил профессор. Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса — вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась за принесенные на дом молоко и сметану (18).

Градовский дом — очерченный почти магическим кругом священный очаг, где царствуют порядок, чистота и культура⁷, где есть библиотека — мужской интеллектуальный мир, гостиная-салон — женский эмоционально-культурный мир, детская с няней — «земной ипостасью» материнско-женственного.

⁷ Это важно и для Булгакова, о чем пишет Ю. Лотман. У Булгакова дом обладает поэзией уюта, культуры. «Дом имеет признаком звуки рояля» (Лотман 1992, 461), ему противопоставлены бездомье, антидом (коммунальная квартира). Знак того, что романы и пьесы Булгакова являются интертекстами для Аксенова, — появление в «*Московской саге*» среди гостей градовского дома Булгакова с моноклем в глазу. Вообще *дом* — один из самых важных символических литературных топосов, так или иначе связанных с темой семьи и рода (хотя не обязательно с жанром семейной хроники); он может выступать в разных инвариантах — усадьба, изба-космос (в «деревенской прозе»), «казенный дом» как вариант антидома (например, «Дом на набережной» Ю. Трифонова), дача, барак и т. д., и т. д.

В фольклоре и мифологии, где оппозиция свой/чужой является в ценностном смысле магистральной, пространству Дома (своего, безопасного, охраняемого покровительственными богами пространства) противостоит лес и антидом, «лесной дом» (чужое, дьявольское пространство, место временной смерти, попадание в которое равносильно путешествию в загробный мир)» (Лотман 1992, 457). Так и у Аксенова, в отличие от соцреалиста Кочетова, за пределами царства порядка, семейного, интеллигентского уклада лежит «бор» — лес, чужое пространство, наполненное «лешими». Там, в лесу-бору, живет агрессивный и плодовитый «белк» (так! — *И. С.*) — и это не кто иной, как сам В. И. Ленин в своей посмертной реинкарнации.

Весь роман Аксенова — это история отпадений героев от уклада и возвращений в него. Те, кто покидает дом, становятся уязвимыми, они меняют дом на антидом. Последний, который у Владимира Проппа называется также «Большим домом», имеет в мифологических текстах такие характеристики: он, во-первых, огромен, во-вторых, огражден, в-третьих, он многоэтажен и все отверстия в нем (окна и двери) тщательно замаскированы. Все эти особенности говорят о ненастоящей, неживой природе этого Большого дома (см.: Пропп 1986, 112—116)⁸. Всем этим характеристикам и функциям в «*Московской саге*» соответствует тюрьма, куда попадают Градовы: Кирилл, Никита и его жена Вероника.

Пространства дома и антидома несовместимы. В антимире нельзя думать о доме и семье:

В этих попытках самосохранения Никита почему-то преисполнился странной сухости по отношению к семье. Он старался отгонять от себя тепло серебряноборского дома, лица родителей, сестры, детей, няньки... Даже во сне пытался эту память о невозвратимом тепле отгонять, и это удавалось, Серебряный Бор исчезал, лишь прыгала взад-вперед какая-то толстая мужиковатая белка (254).

Никита и Вероника возвращаются из лагерей «порченные», бездомные:

Отцовский дом, лоно семьи... в этот момент все это показалось какой-то досадной несусветицей, неуместным привеском к его, мягко говоря, несентиментальной жизни... Еще один шаг, и эти гадкие мысли

⁸ Интересное совпадение (?) — наименование Большим домом здания в Ленинграде, на Литейном, 4, где с 1934 года располагалось Ленинградское управление НКВД.

выветрились, он открыл дверь и окунулся в родное, теплое, в этот чудом сохранившийся пузырь мира и добра (290).

Они могут войти в родительский дом, но жить в нем *по-прежнему* не могут, потому что сами перестали быть прежними — антидом-тюрьма расчеловечила их: «Человеческое во мне “засыхаает”», — говорит Никита. «Бедный мой мальчик... Сволочи, грязные красные, что вы с нами сделали?» — думает в ответ Вероника (365). Второй сын Кирилл в тюрьме и на каторге не хочет, «чтобы его считали живым там, в том мире, где отец стоит с добрыми огнями в глазах посреди своего, похожего на него самого дома и сам похожий на этот дом» (439).

Но отпадение отдельных частей не разрушает родового, семейного целого. Дом в Серебряном Бору нерушим. Герои могут уходить из него — «преодолевать границу», в терминах Лотмана, — но никогда не происходит противоположного — вторжения стихии извне в дом, вторжения хаоса в космос (Лотман 1992, 399).

То и дело повторяются однотипные сцены в несменяемых декорациях — прежде всего ритуалы семейных обедов⁹. Мэри все время играет Шопена и подстригает розы в саду (а у Кочетова «Большая мать» Агафья Карповна «вела дом и разводила огород. Сеяла морковь, свеклу и непременно фасоль, которая цвела яркими, огненными цветами» (32). Сохранение Дома, рода, консервация габитуса — это способ действенной борьбы с изменившимся окружением, с социумом и хаосом. Борис-младший думает:

Бабушка Мэри и дедушка Бо умудрились среди всего этого бедлама сохранить серебряноборскую крепость. Вот только там-то и не было их... Да они, может быть, туда приходили, но они никогда не могли там жить, потому что там Мэришкин Шопен, дедовские книги, Агашины пироги, а они этого не выдерживают и, если не могут сразу разрушить или подменить фальшивкой, тогда испаряются. Вот так и надо делать — жить так, как будто их нет, создавать среду, в которой они задыхаются (538—539).

Разделение на Мы и Они, Своих и Чужих так же абсолютно, как противопоставление Дома и Антидома. Но эта абсолютность в то же время, как это ни парадоксально звучит, относительна, ибо границы *своего* определяются *через чужое*, и в этом смысле назван-

⁹ Уже упоминалось, что, по Бурдые, то, что и как человек ест, — одна из различающих и различительных практик, объединенных в понятии «габитус».

ная оппозиция выражает не только контраст, взаимоисключение, но и взаимозависимость составляющих ее категорий¹⁰.

Клан Градовых — это круг избранных, людей «одной крови», туда не просто, а может, и невозможно войти человеку со стороны. Не только антиподы, не люди типа Берии или тюремных надзирателей, но и формально *принятые* в дом люди не могут стать *своими*. Ни жена Никиты Вероника, ни тем более жена Кирилла, пламенная коммунистка Цецилия, ни усыновленный Кириллом и Цецилией кулацкий сын Митя Калугин не становятся в полной мере Градовыми, они «отчужденные элементы», как говорится в одном эпизоде о Цецилии (152). Единственный «династический брак», который совершается на страницах романа, это брак Нины с Саввой Китайгородским, учеником и «сыном души» профессора Градова, про которого последний говорит: «Савва потомственный, как и они, Градовы, интеллигент разночинного класса, к тому же врач, стало быть, зачинатель будущей и косвенный продолжатель династии» (306).

Связанность и династическая замкнутость семьи порождает и звучащую под сурдинку тему инцеста: Борис испытывает неродственные чувства к тете Нине; думая о предательстве матери, находит «суррогатную мать» — похожую на Веронику актрису Веру Горда, и при любовном акте еле сдерживается, чтоб не закричать «мамочка моя» (525) (проницательная Вера это замечает: «Вот ты, Бобочка, во мне свою маму Веронику компенсируешь» (536), а затем занимается любовью со второй женой отца — Таисией Пыжиковой и «усыновляет» сводного брата Никиту.

Семья Градовых (как и семья Журбиных) олицетворяет собой космос, противостоящий хаосу, тепло и свет домашнего очага, родовую общность, преемственность, основанный на традиции уклад. «Градовизм» для автора — это воплощение красоты, завершенности, витальности и прочих универсальных ценностей. Поэтому строй жизни Градовых так привлекателен даже для ментально чужих — таких как Сталин или «марьиноорошинский молодчага Семен Строило», герой кратковременного романа Нины, чисто советская, энкавэдэшная карьера которого развивается параллельно с историей Градовых.

¹⁰ С. Ушакин несколько по иному поводу, ссылаясь на Ж. Лакана и Ю. Кристеву, пишет о «диалогизме» любой идентичности, ее «ориентированности вовне», «стремлении определить свои границы через определение границ Другого», об ее «постоянной формообразующей зависимости от Другого» (см.: Ушакин 2002, 26).

Автор же настолько очевидно отождествляет свою позицию с градовской, что старается даже фабульно, «телесно» вписаться в их семью, выводя себя самого в качестве персонажа на страницы романа. Прогуливаясь по Красной площади, Борис Градов встречает «странного юнца», «казанца». «Если бы у меня был такой старший брат, — вдруг подумал пацан. ...Его старший брат погиб во время блокады, отец сидел пятнадцатилетний срок в лагерях, мать только что освободилась из лагерей и осела в Магадане» (468). Позже на теннисном матче казанец Вася знакомится с Елкой Китайгородской (дочерью Нины Градовой), они влюбляются друг в друга, но ожидающую свидания с Васей Елку увозит для своих сладострастных утех Берия. Только трагическая случайность или козни дьявола, или «сволочи, грязные красные» мешают Василию (Аксенову) войти в славную семью Градовых.

Эпилог романа в некотором роде возвращает нас к его началу. В «райском саду» возле своего вечного дома собрались все Градовы: Борис Никитич читает «*Войну и мир*», Мэри подстригает розы, Агаша готовит, Нина творит, маленький Никита бегаёт с новой собакой, Борис IV читает «*Игрока*», Елка и Майка (юная жена Бориса) играют в пинг-понг. Историческое время течёт где-то за оградой, а здесь, в семейном градовском раю — времени нет или это циклическое родовое время, возвращающее все на круги своя. Старого профессора накрывает облако-смерть, но, умирая, он пророческим взором видит в животе у Майки завязь новой жизни (Бориса V). На эту смерть патриарха взирает Сталин, в загробной жизни превратившийся в жука-рогача. «Он ни хера не помнил и ни хера не понимал» (700). Родовая память, а значит, мудрость и бессмертие принадлежат Градовым.

Сохранение рода и продолжение династии (традиции) — долг. Консервация, стабилизация и воспроизводство габитуса, практики выживания и сопротивления изменяющемуся окружению осуществляется через «селекцию», которая может сохранить породу: много званных, да мало избранных.

Этот спасительный, с точки зрения Аксенова, рецепт хорошо сформулировал ещё К. Леонтьев в своей статье, отзывающейся на мысли Достоевского о русском дворянстве и случайном семействе. «Хотите вы сохранить надолго *известный тип социального развития*? Хотите, — так оградите и среду его от вторжения незванных и неизбранных, и самих его членов от невольного выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет никакой охоты, не

будет ни идеальных поводов, ни вещественных выгод» (Леонтьев 1993, 306).

Родство по выбору, или Блеск и нищета «случайного семейства» Л. Улицкой

О романах Улицкой, в отличие от «*Московской саги*», критика писала довольно много. Информационным поводом было попадание «*Медеи*» в шорт-лист Букеровской премии в 1997 году и присуждение той же премии «*Казусу Кукоцкого*» в 2001-м. В этих обсуждениях, конечно, возникал вопрос о жанре. Многие критики, соблазненные прямодушным символизмом названия «*Медея и ее дети*», интерпретировали его как повествование о Большой Семье, в центре которой Великая Мать — Медея.

«*Медея и ее дети*» — своеобразная сага о судьбах семейного клана, управляемого мудрой и любящей хранительницей домашнего очага (Сердюченко 2002; Тимина и Воронина 1998) — в этом и подобных суждениях, несмотря на то что они несколько «утепляют» и упрощают образ «замкнутой и бездетной» (Улицкая 1996, 48)¹¹ главной героини романа, есть доля правды. Медея Мендос живет в старом доме на краю поселка, в месте, которое ее покойный муж назвал «пупом земли», потому что пребывание там рождает ощущение совершенного покоя и иллюзию, будто находишься «в центре Земли» (68). Этот дом становится местом сбора всех многочисленных Медеиных родственников, ядром рода, роя. Как и у Аксенова, с концептом дома, «родового гнезда» и с самим образом Медеи у Улицкой связывается идея традиции, укорененности, оседлости, стабильности, порядка:

...единственным человеком... действительно живущим по какому-то своему закону, была... Медея. То тихое упрямство, с которым она растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не особенностью ее характера, а добровольно взятым на себя обязательством, исполнением давно отмененного всеми и повсюду закона (175).

Медея «провела всю свою жизнь безотлучно в одних и тех же местах... и эта безотлучная жизнь... придала в конце концов Медее

¹¹ В дальнейшем все ссылки на роман даются по данному изданию с указанием страницы в тексте.

прочность дерева, вплетшего корни в каменистую почву, под измененным солнцем, совершающим свое ежедневное и ежегодное движение...» (181).

Разумеется, не случаен и выбор имени героини, которое недвусмысленно «квивает» на традицию. Правда, знание родословной мифологической Медеи, волшебницы, брато- и детоубийцы, мало помогает: античная героиня — не прототип современной (если уж искать мифологический прототип — это, скорее, Бавкида или Пенелопа); здесь важны не прямые параллели, а сама атмосфера, аура многозначных культурных ассоциаций, возникающих у каждого при словах «гречанка», «Таврида», «Медея»...

Медея — центробежная сила, столп между прошлым и будущим, собирательница рода, носительница «родовых черт», «породы». В церкви она пишет длинные списки «за здоровье» и «за упокой», каждый раз как бы воссоздавая силой своей памяти и чувством родства свое «генеалогическое древо»:

На этом месте, выписывая крупными идеальными буквами родные имена, она всегда переживала одно и то же состояние: как будто плывет она по реке, а впереди нее, разлетающимся треугольником, ее братья и сестры, их молодые и маленькие дети, а позади, таким же веером, но гораздо более длинным, исчезающим в легкой ряби воды, ее умершие родители, деды — словом, все предки, имена которых она знала, и те, чьи имена рассеялись в ушедшем времени. И ей нисколько не трудно было держать в себе всю эту тьму народа, живого и мертвого, и каждое имя она писала со вниманием, вызывая в памяти лицо, облик, если так можно выразиться, вкус этого человека (203—204).

Медея структурирует, репрезентирует и отчасти создает то «родовое предание и красивые законченные формы», которые, по мнению героя-резонера из романа Ф. Достоевского «*Подросток*» (и самого автора), характерны для «высшего культурного слоя» — отличие от членов «случайного семейства» — героев «*Подростка*»:

Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя... Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в «*Преданиях русского семейства*», и поверьте, что тут действительно всё, что у нас было доселе красивого. По крайней мере тут всё, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с

правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия. Так хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет всё ничего не выходит (Достоевский 1975, 453).

Так пишет Достоевский, связывая порядок, завершенность и совершенство с идеей традиции, родового предания и породы. Медея Улицкой, конечно, не имеет никакого отношения к «родовому русскому дворянству», но воплощает те же вождельные и почти утерянные качества (как и Градовы у Аксенова). Как пишет О. Словникова, «крымская гречанка Медея Мендос становится буквально центром расширения мира и, как Атлант, держит этот мир своей личной целостностью, спасая от разрыва на куски» (Словникова 1999, 183).

Но здесь можно увидеть не только сходство романа Улицкой с аксеновской сагой, но и существенное различие. Если у Аксенова традиция *уже существует*, град возведен и дом построен и крепко держится своей потолочной *матицей-маткой* — надо только не дать поглотить его океану хаоса, то у Улицкой, как кажется, Медея — женщина-*матка*, вокруг которой *создается* рой, и она — единственное, что придает великому множеству людей вокруг нее «красивую и завершенную семейную форму»¹². Без нее не было бы ни рода, ни родового предания, потому что остальные герои — это, скорее, члены «случайного семейства», люди сами по себе, вне родового целого, лишённые красоты и благообразия.

Семья Медеи — это и не семья в строгом, «словарном» значении слова, так как связи в ней создаются часто не по кровному родству, а *по выбору*. Клан создается путем множественных актов породнения: выбора матери, выбора отца, выбора детей (усыновления и удочерения), выбора сестер и братьев (братания). Напри-

¹² У Медеи в романе есть сюжетный двойник, клон — «усестренная» подруга Леночка, такая же «святая дура» (202), как и Медея, и тоже выполняющая роль матки семейного роя, к которому прилепляются чужие по крови, но свои, в сущности, люди.

мер, бездетная Медея испытывает материнское чувство по отношению к своему племяннику — сыну младшей сестры Сандры: «В этот первый месяц жизни Сережи она со всей полнотой пережила свое несостоявшееся материнство. Иногда ей казалось, что грудь ее наливается молоком» (93). А Ника, родившаяся от связи мужа Медеи и ее сестры Сандры (судьба «того, мужнего, ей предназначенного ребенка вложила в сестрино легкое, веселое тело», 191), «признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу» (Машу. — И. С.) (149). В свою очередь, Анеля, старшая сестра Медеи, становится матерью детям брата мужа, который вместе со своей женой «исчез» в 1937 году. История Бутонова, общего любовника Маши и Ники, рассказывается как история поиска отсутствующего отца. Наконец, Маша — внучатая племянница Медеи — в своем муже Алике видит, скорее, брата, чем супруга:

Для их особого родства Маша нашла и особое немецкое слово, разыскала его в каком-то учебнике языкознания — Geschwister. Ни в одном из известных языков такого слова не было, оно обозначало «брат и сестра», но в немецкой соединенности таился какой-то дополнительный смысл (229).

Родство по выбору — особого рода союз, в него включаются не все, а только «свои», «избранные», потому и здесь, как в *«Московской саге»*, есть «присутствующее почти в каждой семейной хронике кровосмешение» (Меклина 2000)¹³. Иллюстрацией мотива инцеста может служить пример с Аликом и Машей: их семья (в символическом смысле) — союз брата и сестры. Но есть и менее символические эпизоды: уже упоминавшаяся связь сестры Медеи с ее мужем и рождение Ники — как бы общей дочери всех троих. Или то, что Ника и ее племянница Маша становятся любовницами одного и того же человека:

И Бутонов соединил их теперь каким-то таинственным образом... Как Иаков, женившийся на двух сестрах... Их можно было бы назвать «сожены», как бывают «собратья». Иаков входил в шатры, брал сестер, брал их служанок, и это была одна семья... Пусть так — все были бы братья и сестры, мужья и жены... (253).

¹³ Меклина 2000. Фраза про «присутствующее почти в каждой семейной хронике кровосмешение» сказана по поводу романа Н. Кононова *«Лохороны кузнечика»*.

Таким образом, мотив «случайного семейства», родства по выбору причудливым образом скрещивается с идеей однокровности, кровосмешения и — традиции, семейного предания, «родовой памяти».

Никто не входит в род, рой, дом пустым — каждый тянет за собой свое генеалогическое древо. Это последовательный композиционный прием: о любом герое, даже сверхэпизодическом, читатель успевае узнать, «чьих он»¹⁴. Разумеется, особенно подробно рассказывается история самой Медеи, ее братьев и сестер. Отступления (которые, строго говоря, и являются «семейной хроникой») создают перспективу, в которой случайность предстает как «божий промысел» (167).

Теплое единство роя, родовое целое, которое сложилось-таки из членов случайного семейства, так притягательно и желанно, что повествовательница *«Медеи...»*, так же как автор *«Московской саги»*, не может преодолеть искушения вписать в него и себя, представить себя членом «семьи Медеи»:

Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье и что мои дети несут в себе немного греческой крови, Медеиной крови. До сих пор в Поселок приезжают Медеины потомки русские, литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезем сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, черной американки родом с Гаити.

Это удивительно приятное чувство — принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех членов даже не знаешь в лицо, и они теряются в перспективе бывшего, небывшего и будущего (272).

Такая утопия общечеловеческого братства — планетарной семьи Медеи — снова заставляет вспомнить кочетовских *«Журбинных»*, которые тоже кончались плакатно-лубочной картинкой соединившихся во всеобщем «журбинстве» пролетариев. От утопической апофеозы Улицкая не отказывается и в своей второй семейной саге — романе *«Казус Кукоцкого»* (я имею в виду его финал, к которому еще вернусь в своем месте).

Если в *«Медее и ее детях»*, как уже говорилось, собственно «семейная хроника» была «сослана» в воспоминания и отступления, а в настоящем времени разворачивалась, скорее, психологическая

¹⁴ См. название статьи о другом романе Л. Улицкой *«Казус Кукоцкого»* «Ты чьих будешь?» (Басинский 2001).

драма о любви, измене, предательстве и родстве, то «Казус Кукоцкого» гораздо в большей степени ориентирован на жанровую традицию семейной саги. Это, в общем (за исключением мистической средней части), традиционный нарратив: история семьи на фоне эпохи.

Довольно подробно и с бытописательской тщательностью выписаны приметы времени: советская Москва 40-х — начала 60-х, споры о генетике, похороны Сталина, дело врачей, зарождающееся диссидентство. Обо всем этом уже читано-перечитано, и потому неизбежно возникает ощущение вторичности. Ассоциации у разных критиков и читателей различные («Русский лес» Л. Леонова, «Открытая книга» В. Каверина, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Зубр» Д. Гранина...), но все, так сказать, «из одной обоймы». Соединение так хорошо распознаваемой традиции «эпического полотна из жизни ученых и врачей» и семейной хроники с причудливо возникающими мистико-символическими медитациями справедливо раздражает большинство рецензентов¹⁵.

В романе есть мотивы, связанные именно с жанровой традицией семейной саги, которые продолжают и даже повторяют «Медю...». Это прежде всего идеи династичности, родовой преемственности, которая только и позволяет сохранить ту законченность, порядок и красоту (породистость), о которых писал Достоевский.

О главном герое Павле Кукоцком с первых же страниц говорится как о члене *династии* врачей Кукоцких («С конца семнадцатого века все предки Павла Алексеевича Кукоцкого по мужской линии были медиками» (Улицкая 2001, 9)¹⁶ — это первые слова романа), у него «фамильная приверженность медицине» (16); «примеси чужой крови мало меняли родовой облик крупных, скуластых, рано лысеющих мужчин» (16). И у жены Кукоцкого Елены, и у ее первого мужа Флотова (на самом деле он фон Флотов, из остзейских немцев) есть свои родовые предания и семейные традиции. Но все, связанное с родовой памятью, в сталинские

¹⁵ «Роман получился странным гибридом, скрещением каких-то мутировавших «Будденброков» чуть ли не с Пелевиным. Тоскливая семейная сага о враче, обеспокоенном проблемой аборт, и обо всей его разнообразной родне внезапно прерывается описанием метафизических странствий душ героев по загробным мирам» (Бродский 2001).

¹⁶ В дальнейшем все цитаты из романа даются по этому изданию с указанием страницы в тексте.

времена превращается в «родовое проклятье», травматическое чувство «родовой вины»:

Думая о судьбах близких ему людей, он (Павел Алексеевич. — И. С.) обнаруживал, что почти все они тоже уязвлены страхом. Большинство скрывали какой-то постыдный факт происхождения или родства либо, не в силах скрыть, жили в постоянном ожидании наказания за несовершенно совершенные преступления (26).

Друг Кукоцкого, не вылезавший из тюрем ученый Гольдберг, готов признать мифическую родовую вину:

У моего отца был счет в швейцарском банке, он был лесоторговцем! Дом на Мойке, дом на Лубянке! Дача в Ялте! Я в социальном смысле труп. <...> Я перед этой страной пожизненно виноват» (168).

Страх понести наказание за родовые и семейные «грехи» заставляет совершать собственные преступления перед родом. Отец Елены, основатель толстовской коммуны, запрещал своей жене поддерживать связь с родителями, пытаясь создать семью «нового типа», что приводит в конце концов к гибели почти всего клана и к чудовищному искажению естественных родственных связей:

Судьба ее родителей с самого тридцать восьмого года была покрыта непроницаемой тайной. Десять лет без права переписки окончились давным-давно, но в ответ на свой запрос, отправленный еще в сорок девятом году, она получила ответ, что, не будучи своим родителям даже родственницей, она не имела права подавать запрос. Вынужденное обстоятельством удочерение Елены бабушкой, защитив ее от репрессий, лишило теперь права выяснить судьбу потерявшихся на Алтае настоящих родителей (132).

Разрыв семейных связей, утеря родовой памяти — расчеловечивание, порча, вырождение. Елена, в результате психической болезни теряющая память, ощущает это как катастрофу, пытаясь хоть какие-то семейные предания записать и оставить для дочери, ибо, с ее точки зрения, в противном случае «вся прожитая жизнь делается бессмысленной. Если человек все про свою жизнь забыл — и родителей, и детей, и любовь, и все радости и потери, — тогда зачем он жил?» (97). Показательно и то, что теория Гольдберга о вырождении народа, об измельчании людской породы отчасти базируется на анализе государственной политики создания великой

семьи сирот, сообщества Иванов, не помнящих родства (299—300).

Кроме политического и социокультурного аспекта, близкого к некоторым мотивам аксеновской саги, идея продолжения рода имеет в романе и очень сильный биологический крен, сюжетно связанный с профессией Кукоцкого (он гинеколог) и с проблемой аборт, борьбу за легализацию которых он считает своим профессиональным долгом.

Понятия род-роды, мать-матка (матка роя, Великая мать и матка как орган женского организма) настойчиво и символически сближаются в романе Улицкой. Женское чрево, матка персонифицируется и становится практически активным действующим лицом. Павел Александрович знакомится со своей будущей женой, когда оперирует ее и, в частности, вырезает ей матку: «Матка зрелая, рожавшая... излучала ужас» (18).

Матка временами становится олицетворением женщины как таковой. Когда в кульминационном эпизоде романа, сцене спора между Павлом Алексеевичем и его любимой и любящей женой Еленой об абортах (Павел борется за их легализацию, Елена осуждает их как детоубийство), Елена говорит о женщинах, решившихся на аборт: «Они преступницы, собственных детей убивают», Павел отвечает ей: «У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить» (73).

Словно воплощая в жизнь этот репрессивный диагноз, Елена действительно начинает постепенно превращаться в бесполое существо: «после памятного оскорбления она будто и впрямь перестала ощущать себя женщиной» (143). Тем более что сексуальная жизнь супругов на этом заканчивается, а ее душевная болезнь стремительно прогрессирует: «Это мстила ему удаленная десять лет назад больная, нагноившаяся матка. Гадина» (94).

В то же время матка — источник всего, порождающее начало, «бездонное отверстие мира. Оттуда пришло все, что есть живого, это подлинные ворота вечности» (167). Павел Алексеевич, рассказывая дочери о том, что «беременная женщина во второй половине беременности, по крайней мере, представляет собой закрытый космос для другого человеческого существа», добавляет: «Знаешь, дорогая моя, мне всегда казалось совершенно естественным существование таких видов животных, у которых самка погибает не-

медленно после рождения потомства. Космос рождает космос, на что же нужен ущербный мир...» (352).

Уже на первых страницах романа, раздумывая о том, «из какого космического варева выныривает каждая Катенька и каждый Валерик» (25), Кукоцкий вспоминает о прочитанном в молодости древнеавилонском тексте, где упоминается

хранительница Ламассу, которая переписывает таблицы судеб. Павел Алексеевич справился тогда по немецким справочникам, кто же эта Ламассу, переписывающая судьбы поколений. Оказалось, богиня плаценты. Поразительным было это обожествление отдельных органов и чувство космической связи земли, неба и человеческого тела, совершенно утраченное наукой в новые времена (25).

Матка в «Казусе Кукоцкого» практически превращается в такую «богиню, переписывающую таблицы судеб» или в какое-то божество рода, напоминающее, может быть, существовавший в древнерусских поучениях противоязыка мифологический персонаж, воплощающий единство рода (он так и назывался «РОД»):

Этот бог упоминается вслед за главными языческими богами вместе с женскими персонажами — рожаницами. Роду и рожаницам совершали жертвоприношения едой и питьем. Культ рожаниц, как и других женских персонажей, упоминаемых в форме множественного числа (берегини, лихорадки и т.п.), связан с женской средой, представлениями о продолжении рода и судьбе новорожденного, которому рожаницы определяют долю (Иванов и Топоров 1990, 460).

Символизация матки становится возможной и благодаря многозначности самого этого понятия. Как пишет В. Топоров, в русском языке «*матка* обозначает не только “мать”... но и “лоно”, породу, носительницу другой, более ценной породы, опору — восприемницу (ср. *матица* “брус”), источник, корень, средину, сосредоточие, центр» (Топоров 1997, 465). Персонифицированная матка у Улицкой — носительница породы, источник, порождающее женское начало, возможно, как-то связанное с матриархатной идеей, рассматривающей именно мать-прародительницу как гаранта единства и продолжения рода.

Дом-град, дом-род у Аксенова держится матицей-маткой социокультурной традиции, упорядоченности. В женской прозе Улицкой порождение рода связано с мистикой природного/телесного,

оно чревато случайностью, которая, как говорилось в «*Медее...*», предстает как божий промысел.

Подобно «*Медее...*», «*Казус Кукоцкого*» так же парадоксально соединяет идею кровного родства с мотивом случайного или собранного семейства, родства по выбору: перед нами опять целая череда удочерений/усыновлений, породнений и братаний. Павел Алексеевич Кукоцкий удочерил Таню сразу после женитьбы и, как говорила Василиса, «принял на сердце» (27) — она была для него «своей» в большей степени, чем возможный собственный ребенок. Елена, жена Кукоцкого, позже пишет в записках, предназначенных дочери: «Ничего не вижу в тебе ни от Антона (настоящего отца Тани. — *И. С.*), ни от его породы. Ты действительно похожа на ПА. И лоб, и рот, и руки. А про жесты и повадки — и говорить нечего» (109). Саму Елену, как уже говорилось, удочерила бабушка: «Я стала Нечаевой, вероятно, это и спасло меня от ареста — бабушкина фамилия» (100). Образуется странная семья, где бабушка — мать внучке, а на запрос о родителях дочери не отвечают, так как формально она «своим родителям даже не родственница» (131).

Братья Виталий и Геннадий Гольдберги — сыновья лучшего друга Павла Алексеевича — с детства почти члены семьи Кукоцких; становясь любовницей (или женой) сначала одного, а потом и второго брата, Таня делает эту связь двух родов еще более запутанной. Гена, проведя с Таней первую ночь, испытывает чувство какой-то вины, не понимая, откуда оно: «И голос изнутри самого себя ответил ему строго: Так сестра же» (328). Забеременев, Таня не знает, кто именно из братьев Гольдбергов является отцом ребенка, и предоставляет «решить» проблему судьбе в лице военкомата: официальным отцом младенца и формальным мужем Тани становится Виталий, так как справка о Таниной беременности спасает его от призыва в армию.

Однако кто бы из братьев Гольдбергов ни был биологическим отцом ребенка, настоящим отцом становится другой: происходит *выбор* отца. Когда беременная Таня встречается с музыкантом Сергеем, человеком, которого она полюбила с первого взгляда, «ребенок взбрыкнул с необыкновенной силой» (363), и «Таня... утверждала, что сын (на самом деле родилась дочь. — *И. С.*) ее радуется потому, что она нашла ему правильного отца» (371).

Выбором отца для своей дочери Таня не ограничивается. Когда приходит сообщение о наследстве, оставленном ей отцом, Фло-

товым, которого все числили погибшим на войне, Павел Алексеевич думает: «Отцовство его когда-то такое счастливое, оканчивалось скучным и пошлым образом: нашелся настоящий отец, впрочем, мертвый и опрокинул все это ложное положение» (339). Но Таня выбирает Кукоцкого в отцы, так же не раздумывая, как когда-то он выбрал ее в дочери: «Ты мой самый настоящий, самый любимый слон, папка, дурак старый... Мы с тобой похожи ужасно. Ты мое самое во мне лучшее... Папка, я беременна, я рожу скоро тебе внука» (348).

Кровная связь, «правильное» прядение родовой нити уступает место семье по выбору, сборному, случайному семейству, и Павел Алексеевич, говоря о своей любви к внучке, подчеркивает: «Ведь я даже не могу сказать КРОВЬ... Никакой крови, никакого родства, ничего, кроме иррационального, необъяснимого выбора сердца...» (394). Итогом этого «необъяснимого выбора сердца» и становится клан Кукоцких: Павел Алексеевич, Елена, Таня, мужья-отцы братья Гольдберги, Сергей, прибывшая к дому бесталанная, но смиренная Василиса. «Какая странная, редкостно странная семья у нас, — размышляет Павел Алексеевич. — Может, оттого, что только двое из нас — Елена и Таня — связаны настоящими узами крови... все остальные собрались вместе по прихоти судьбы» (181). А чуть позже герой подводит итог: «Странная семья, как будто естественные родственные связи разрушились, перемешались, извратились...» (389).

И все же, при всей странности, семья представляет собой нечто целое, некое единство, ибо состоит из *своих* — собранных «по прихоти судьбы», избранных, людей одного склада и схожего уклада. Подчеркнутая идея выбора родства усиливает момент порождаемой, сконструированной клановости. Разрыв традиции, сплошная вырубка генеалогических деревьев бессознательно компенсируется усилиями по собиранию рода-роя. Эту мистическую задачу «переписывания судеб» в романе Улицкой выполняют по преимуществу женщины.

Эрозия, крушение и распад рода-роя начинается тогда, когда в тело такой семьи по воле случая вторгается *чужой*. Кукоцкие пускают в дом и в семью одноклассницу Тани — Тамару, мать которой умирает от криминального аборта (неудавшиеся роды?). Девочка остается жить у Кукоцких, как пригретая собачка — не выгонишь же, хотя все сразу и катастрофически чувствуют, что Тома — совершенно чужая, ментально чужая и никогда не будет

одной из них. С ужасом думает Елена, «которая никак не могла увидеть себя в роли матери малосимпатичной девочки» (93), что Тому придется удочерить, и безмерно радуется, когда Павел Алексеевич находит иной выход: не удочерять, а оформить опеку.

Тома настолько другое существо, что почти последовательно сравнивается в романе с животным или растением. В жизни Тани «Тома заняла особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться» (93). С появлением Тома совпадает спор Павла Алексеевича и Елены об абортах, начинается болезнь Елены и распад семьи. «Все семейное счастье, легкое, ненагужное, их избранность и близость, безграничность доверия — все рухнуло в один миг» (73).

Кажется, все неприятности и катастрофы дома Кукоцких как-то связаны с появлением Тамары. Таня уходит из дома, Елена уходит в кокон своей психической болезни, Павел Алексеевич уходит в тихое пьянство. В конце концов почти все они умирают, а торжествующая Тома со своим мужем — отставным военным, как в сказке о лубяной избушке, запикивают старую и впавшую в детство Елену доживать в кладовку.

Тамара — воплощение той новой реальности, с которой не согласуется уклад сборного семейства Кукоцких, она — воплощенная серединность, человек новой (советской) породы, носитель того «генотипа троечника», который выработался, согласно размышлениям старого Гольдберга, благодаря коммунистическим социальным экспериментам.

Однако конец романа не так пессимистичен, как того, казалось бы, требует фабульная логика. Поражение безусловно именно потому, что кроме социальных законов в романе действуют некие мистические и космические законы, в дело вступает «богиня Ламассу». В споре с Гольдбергом о вырождении нации Кукоцкий может привести только один контраргумент:

Серьезное возражение заключается в детях... В новорожденных детях. Каждый из них прекрасен и непостижим, как запечатанная книга... Каждый младенец содержит в себе весь огромный потенциал, он представитель всего рода человеческого... (301).

Этот же аргумент предьявляет и автор в финале романа: женское чрево, Матка, природа, превращающая случайность в божественный промысел, снова вступает в свои права. Елене снится пророческий сон о рождении младенца, ее правнука; о том, что

родившийся ребенок объединит и примирит всех, создаст новый «род», станет «основателем династии»; во сне Елена видит, что на последнем этаже, на балкончике старого дома, собралось множество людей:

Там на раскладушке лежит ее дед... рядом с ним — бабушка Евгения Федоровна, Василиса, мама, отец, молодые братья, и все ее ждут, чтобы сообщить что-то важное и радостное. А кроме своих, мякотинских и нечаевских, в уходящей вдаль, расширяющейся клином толпе она различает рослых лысых Кукоцких с их милovidными женами, Томочкину тверскую родню, бородатых евреев с Торой во лбу и каких-то вовсе не знакомых, и удивительно было, как столько людей умещается на крохотном балкончике. Их делается все больше, и вдруг посреди них появляются двое — молодой человек, высокий, густогривый, с не очень чистой кожей и пухлым ртом, и девушка, похожая на Танечку, или на Женю, или на Томочку, с младенцем на руках. Эта пара в самом центре этой геометрически недостоверной композиции, и Павел Алексеевич берет младенца в руки и поворачивает его к Елене лицом. И в этом младенце сходится вся радость мира, и свет, и смысл. Как будто посреди солнечного дня взошло еще одно солнце... младенец этот принадлежит им всем, а они — ему (445).

Этот финал «*Казуса Кукоцкого*» в своей «геометрически недостоверной композиции» удивительным образом напоминает утопические эпилоги семейной саги Аксенова и предыдущего романа самой Улицкой. В определенной степени это объясняется выбором жанра и верностью жанровому канону. Современные писатели очевидным образом (осознанно или неосознанно) оглядываются на классические семейные хроники и даже дальше — на «протожанр» — сагу с ее идеей родовой памяти, преемственности, последовательности и деления на своих/чужих.

Относительно замкнутый круг *своих*, связанных общим преданием, общими ценностями, групповым габитусом («свой круг»), воплощен в концептах семьи — кровных родственниках и «сборного семейства», родства «по выбору», который стремится сохранить свой уклад, сохраниться в своем бытии, сохранить устойчивую групповую идентичность в мире, где нет устойчивости, где распалась связь времен, где все находится в состоянии дурной нестабильности. В постмодернистском пространстве писатели рассказывают историю рода как большой нарратив, метаповествование, создающее утопию целостности.

Возможно, эти произведения — симптом тоски по традиции, по утопической цельности и соборности (часто выражавшей себя

ИРИНА САВКИНА

именно через образ семьи, рода), которая была предметом изображения и неизбывной мечтой русской литературы «золотого» века и которая получила безусловное продолжение (хотя и с другими идеологическими наполнителями) в ее «железном» советском веке и, возможно, не исчерпала себя в наступившем, еще не имеющем постоянного эпитета культурном столетии.

II

РОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Ольга Казьмина, Наталья Пушкарева

БРАК В РОССИИ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

«Браком» в русской юридической литературе именуется *договор* (соглашение, союз) мужчины и женщины, заключаемый в определенной форме и влекущий за собой определенные юридические последствия (Скрипилев 1994). В российской социологии брак понимается как *социальный институт*, основанный на совокупности социальных норм, санкционирующих отношения полов, а также взаимных обязанностей и прав, существенных для функционирования семейной группы (Наумова 1989).

Одни нормы, обязанности и права, связанные с браком, носят юридический характер и регламентируются в России издававшимися в разное время семейными кодексами. К юридически регулируемым вопросам в России традиционно относятся вопросы о брачном возрасте, имущественных отношениях в браке, а также перечень оснований для признания брака недействительным и расторжения брачного союза. Другие нормы, обязанности и права носят неюридический характер и регулируются моралью, обычаями и традициями. К таким нормам относят особенности добрачного поведения, ухаживания, выбора брачного партнера, нормы и ожидания партнеров в отношении друг друга и неформальных (в том числе внебрачных) связей каждого из членов брачного союза. Наконец, некоторые вопросы в силу сложившейся практики регулировались и юридическими нормами, и нормами моральными — например, вопросы о взаимной ответственности за экономическое положение семьи, за воспитание детей, содержание партнерами друг друга и родителей каждого в старости (Королев 1968).

Конечно, такое деление условно. Нормы частной жизни (в том числе — брачные нормы, имеющие моральное и ментальное происхождение) всегда были тесно сплетенными с властными практиками, а характер удовлетворения индивидуальных потребностей — с системами социальных ограничений, макрополитическим «надзором» (Foucault 1998).

Этот надзор веками осуществлялся православной церковью, которая была в России — по крайней мере, с конца X и до конца XVII века монопольным регулятором брака. Это и позволяет современным исследователям именовать указанный период *православным брачным порядком*. Его основные составляющие — осуждение добрачной сексуальной активности, гетерогенная семья, венчание как форма закрепления брачных уз, моногамный брак, наказуемость адюльтера, сложная процедура развода. Эти положения церковного брачного права казались незыблемыми, на них покоились не только все семейные структуры русского сельского мира, но и всего русского общества вплоть до рубежа XIX—XX веков. Правда, конфликт между нарождавшимися со времени «великих реформ» 1860—1870-х годов гражданскими институтами и этими нормами церковного права становился все ощутимее, однако все же отказ от заключения церковного (венчального) брака вплоть до большевистского переворота в октябре 1917 года рассматривался, скорее, как социальная девиация.

С древнейших времен и до 1722 года регистрация браков в России велась только при церквях, а с 1722-го и на протяжении почти двух веков (т.е. до 1917 г.) заключение браков регулировалось и церковными, и светскими нормами права. Усиление роли «светской составляющей» на протяжении этого времени, а особенно распространившиеся вместе с «женским вопросом» либертианские идеи, достигнув к середине XIX века России, способствовали популяризации идей гражданского брака, т.е. брачного союза, созданного без участия церкви. Однако вплоть до коренной перестройки всей правовой системы (речь идет о 1917 годе) в России не было социальных учреждений, в которых регистрировались бы браки без участия церкви. Правда, незначительная часть либертиански настроенных молодых людей — по преимуществу в городах — в начале XX века отказывалась от венчания и, по сути дела, сожительствовала, не стремясь к оформлению супружеских отношений в установленном законом порядке. В городском романсе тех лет присутствовала явная романтизация сожительства как эмансипирующего явления:

Нас венчали не в церкви, не в венцах, не в кружалах,
 Нам не пели ни гимнов, ни обрядов венчальных...
 А венчала нас буря, а венчали нас ветры...

Длительное сожительство как форма брачного союза получило в официальных документах наименование *фактического брака* и было выражением отрицания и осуждения прежних христианских норм половых отношений — в России этот процесс развернулся с опозданием на четверть века по сравнению с Европой и вообще западным миром (Коп 1995). При всех изменах, трагедиях, тайных связях, вторых семьях, неразрешимых драмах выбора, отразившихся в искусстве сложным «лабиринтом сцеплений» (Л.Н. Толстой), незыблемым утесом вплоть до начала постреволюционных экспериментов оставался законный христианский брак, в идеале — неприкосновенная культурная ценность, подсознательно оберегаемая и самими «нарушителями». Оберегалась не из боязни скандала или общественного осуждения, но по причине чего-то иного, подспудного, усвоенного культурно-генетическим кодом. Дискуссии, развернувшиеся сразу после революционных потрясений, т.е. в конце 1910-х — начале 1920-х годов, были дискуссиями, порожденными крахом православного брачного порядка и общими процессами секуляризации.

Период экспериментов и дефамилизации: 1917—1926 годы

1917—1926 годы были в России десятилетием большевистского экспериментирования в сфере сексуальности и семейно-брачных отношений (Пушкарева 1997, 456—466). Большевистская брачно-семейная политика имела идеологическую опору в тех положениях классиков марксизма и социал-демократии, которые утверждали «неизбежность» установления в новом, создаваемом социалистическом обществе эмансипированных форм отношений между полами. Результатом их осуществления должно было стать отмирание брака и, следовательно, семьи старого (буржуазного) типа (Маркс, Энгельс 1964, 443—444; Fitzpatrick 1978, 252—278). Ф. Энгельс обосновывал этот тезис тем, что «брак буржуазного типа» основан на «эгоистической выгоде», уничтожение же частной собственности как конституирующего принципа социально-экономической организации досоциалистического общества должно

устранить «все побочные экономические соображения» и стать (по его мнению) началом создания новых форм семейно-брачных отношений, «не имеющих никакого иного мотива, кроме взаимной склонности» (Маркс, Энгельс, Ленин о женском вопросе... 1978, 222—223). Вопрос об «отмирании» старого брака (по аналогии с «отмиранием» государства при переходе к коммунизму) казался многим идеологам того времени уже решенным, обсуждению подлежали лишь частности — темпы, формы, условия (см., например: Каутский 1923).

В то же время классики марксизма прекрасно понимали, почему брак в новом обществе «не должен» считаться частным делом, и полагали, что государство может и должно воздействовать на брачные отношения своими законами: «Если бы брак не был основой семьи, то он в такой же малой степени являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба...» (Маркс 1961, 161). Потому-то и В.И. Ленин, вопреки ожиданиям некоторых радикально настроенных членов большевистской партии, с самого начала выступал против слишком решительных ломок в области семейно-брачных отношений и, следовательно, против «отмены» брака как такового (Ленин 1961, 54—57), но зато активно поддерживал идею реформирования брачных отношений в духе, выгодном для создаваемого советского государства. Речь шла об укреплении и санкционировании системы моногамных брачных союзов (противопоставляющих «мещански-интеллигентски-крестьянский пошлый грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью» — Ленин 1961, 54—55), т.е. союзов, основанных на свободном индивидуальном выборе и любви. Отвечавший за вопросы культуры в большевистском правительстве нарком А. В. Луначарский утверждал, что такая «советская моногамия» (т.е. лишенная своих «буржуазных» черт — доминирования мужчины и погребения женщины под гнетом домашнего хозяйства) будет переходной формой брака на всем периоде построения коммунистического общества (Луначарский 1927).

Началом реализации большевистской брачной политики можно считать декреты Совета Народных Комиссаров, принятые всего спустя полтора месяца после политического переворота (что подчеркивает значимость вопроса в глазах большевистских идеологов) — от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака» (Собрание узаконений... 1917, № 1, 10). Проект декрета о гражданском браке был составлен выдающейся

феминисткой и революционеркой, общественной деятельницей и первым в русской истории женщиной-послом А.М. Коллонтай. Первый зарегистрированный советскими органами власти брак в новой России был как раз браком богатой «буржуазки» по происхождению А.М. Коллонтай и влюбленного в нее революционно-го матроса (бывшего чуть ли не вдвое младше своей избранницы) П.Е. Дыбенко.

Декрет «О гражданском браке» впервые в русской истории утверждал, что «церковный брак является частным делом брачующихся», а совершение брака по религиозному обряду и документы, удостоверяющие факт его свершения (церковные метрические книги) отныне признаются не имеющими юридического значения. Взамен церковных книг вводились книги записи актов гражданского состояния. Первые советские декреты о браке постулировали, таким образом, *добровольность* брака и развода; *светский, гражданский характер* брака и развода, их независимость от вероисповедания брачующихся; и, наконец, *свободу брака* (который мог быть теперь заключен без согласия родителей или опекунов) и *его расторжения* (последний — согласно закону — должен был проводиться через судебный орган по объявлению одного супруга, а также через специально создаваемые органы — отделы записей актов гражданского состояния — ЗАГСы).

Только брак, заключенный в ЗАГСе, порождал — согласно новой правовой концепции — права и обязанности супругов. Условием вступления в брак считался лишь брачный возраст (16 лет для женщин, 18 лет для мужчин, верхняя грань возраста не нормировалась¹). Препятствиями к заключению брачного союза объявлялись: наличие у одного из супругов душевного заболевания и состояние жениха и невесты в воспрещенных степенях родства.

Декрет «О расторжении брака» существенно облегчал процедуру развода: брак мог быть отныне расторгнут по просьбе одного из супругов — местным судом, при обоюдной просьбе — ЗАГСом. Именно ЗАГСам передавались дела о расторжении брака, будучи изъятыми из ведения судов духовных консисторий, в которых находились более двух столетий: духовные консистории и суды при них ликвидированы в мае 1920 года (Собрание узаконений... 1920,

¹ До событий 1917 года церковное право предписывало вступать в браки лишь до 60 лет, а светское право — до 80 лет, поскольку после этого возраста, как полагали тогдашние законодатели, индивид должен уже думать более о «горнем мире» (Ворожейкин 1969, 34).

№ 45, ст. 205). Право на получение содержания после развода получали несовершеннолетние дети и — что примечательно — жена (позже, когда женщины оказались втянутыми в общественное производство, такое решение уже казалось пережитком «буржуазного права» — Антокольская 1995, 59).

Хотя оба декрета объявлялись путем к «раскрепощению от нежелательных уз брака» и первым шагом по пути реализации «революционного поворота» к свободе в брачно-семейных отношениях, все же их положения могут быть квалифицированы скорее как правовые действия буржуазно-демократического характера, поскольку они уничтожили лишь некоторые элементы феодально-патриархатных взглядов на брачные союзы и обеспечили лишь частично некоторую свободу частной жизни.

Спустя год — 22 октября 1918 года — был принят отдельный семейно-правовой акт — «*Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве*» (*Собрание узаконений...* 1918, № 76). Появление его связывают с общеполитической ситуацией: послереволюционной разрухой и нестроением правовой системы, обстановкой Гражданской войны, «военного коммунизма», «красногвардейской атакой на капитал» (т.е. национализации). Гражданское право было тогда, по сути, объявлено отмершим буржуазным институтом (Стучка 1931, 1:6), регулирование же семейных отношений государство как раз не желало выпускать из своих рук. Основываясь на дореволюционных нормативных актах, связанных с брачно-семейным законодательством, Кодекс 1918 года расширил перечень препятствий к заключению брака, включив в него наличие у кого-либо из брачующихся или у них обоих не расторгнутого прежде брачного союза. Как и до переворота 1917 года, в законодательстве было проведено различие между разводом и признанием брака недействительным (а именно: в случае несовершеннолетия вступившего или вступивших в него; в случае, если у одного из вступающих в брак имелся нерасторгнутый прежний брачный союз; при наличии родства и т.д.). В то же время такие препятствия к браку, известные в дореволюционном законодательстве, как монашество одного из супругов, принадлежность к разным конфессиям, не признавались значимыми в Российской Советской республике, в буквальном смысле написавшей на своих знаменах отрицание религии и церковных установлений.

В отличие от дореволюционных правил муж и жена, по Кодексу 1918 года, полностью уравнивались в правах на выбор места жительства и фамилии — вступающие в брак могли взять и фамилию

мужа, и фамилию жены, а также соединить их вместе и именоваться двойной фамилией. Поначалу право мужа брать фамилию жены не имело существенного значения для выживания семьи, являясь, скорее, реализацией идеи равноправия женщин. Но в дальнейшем — при закреплении политики государственного антисемитизма, т.е. в 1930—1950-е годы, — приобрело важный смысл, так как в случае различий в этническом происхождении оставляло для каждого супруга и для их детей возможность выбора той фамилии, которая давала лучшие жизненные шансы (т.е. русской).

Согласно Кодексу 1918 года, как и в дореволюционное время, заключение брака не порождало общности имущества супругов, раздельность которого оставалась как императивная норма (ст. 105).

Расторжение брака в условиях того времени упростилось до крайности. По заявлению одного из супругов судья (единолично) расторгал брак; никаких доказательств распада семьи не требовалось — ведь Кодекс не накладывал на супругов никаких обязательств по совместному сожительству и верности. Вопрос об алиментах должны были отныне решать Отделы социального обеспечения при Народных комиссариатах, руководствуясь степенью нужды и трудоспособности заявителей (чаще — заявителиц) (*Собрание узаконений...* 1918, № 76, ст. 130—133). Одновременно закон уравнил статус законнорожденных и незаконнорожденных детей, а также включил возможность установления отцовства в судебном порядке (за три месяца до разрешения от бремени — ст. 140). Даже если ответчик приводил свидетелей, указывающих, что в момент предполагаемого зачатия истица сожительствовала с каждым из них, и определить отца предполагаемого ребенка было затруднительно, суд мог наложить обязательство взыскивать алименты с обоих предполагаемых отцов в долевом отношении.

Кодекс 1918 года о браке действовал на протяжении восьми лет. Реализация постулированных в нем положений разворачивалась на фоне не только сложных ломок, перестроек и реструктуризаций в разных областях общественной жизни, но и в условиях общей культурной отсталости населения России, неустойчивости быта, общей психологической дезориентированности. Старые административные органы были ликвидированы, к новым у населения доверия не было. Результатом всемерных усилий большевистских идеологов по «политической мобилизации» индивидов, их ориентации на быстрейшее приближение коммунистического рая (путем беззаветного служения идеалам революции) стала дефамилизация социальной жизни и примитивизация моральных норм,

связанных с отношениями между полами. Отделив церковь от государства и признав несущественным церковное венчание (как то было предписано нормативными актами Советской республики), новые властные структуры установили собственный контроль за брачностью индивидов и начали диктовать новые нормы регулирования частной жизни. Год за годом семейная сфера политизировалась, а в стране начал утверждаться *этакратический брачный порядок*, при котором именно государство раз и навсегда присвоило себе право санкционировать (вместо церкви) заключение брачных уз. Как социальный институт брак мог и может существовать без участия государства; как договор, который должен быть санкционирован, — отныне не мог, так как именно государство стало единственным источником правовой инициативы.

Многобрачие в СССР запрещалось даже для лиц, исповедующих ислам. Церковный брак и церковные нормы супружеской жизни, не став альтернативой браку гражданскому, стали маркироваться как девиация. Венчаться, правда, не запрещалось, но православные брачные нормы теперь оценивались как проявление политической отсталости, что вызывало недоумение и возмущение зарубежных юристов (*Das Eherecht* 1932, 18—31). «Традиционная религиозность быстро испарилась под влиянием новых условий жизни», — вспоминала очевидица тех лет (Пирожкова 1998, 52). Особенно активную борьбу с «пережитками прошлого» (к которым был отнесен и венчальный брак) развернула молодежная печать, публиковавшая стенограммы публичных судов над «набожными комсомольцами», решившимися на венчание (см., например, *Смена*, 22 сентября 1923 г.) Одновременно пропагандировались «красные свадьбы», в которых роль священников — своими напутствиями и благословениями — исполняли секретари комсомольских и партийных организаций (Лебина 1999, 268—269).

Неудивительно, что к середине 1920-х годов желающих вступать в церковный брак в России существенно поубавилось. Однако молодежь не спешила с регистрацией браков и в новых советских учреждениях (ЗАГСах) и предпочитала попросту сожительство. Вопрос о фактических браках оказался в центре бурных обсуждений, в которые постепенно втянулись не только юристы² и врачи (поскольку именно на них возложили ответственность за

² См.: *Еженедельник советской юстиции* за 1922—1925 годы, также: Роговин (1970) и Роговин (1972).

«физическое сохранение и укрепление расы» в условиях революционных преобразований брачных отношений — см.: Преображенский 1923), но и социальные и идеологические работники, педагоги, чиновники и, конечно, «труженики слова» — журналисты, поэты, писатели (*Брак и семья*, 1926; Домбровский 1926, 4—8).

Многообразие взглядов участников дискуссий середины 1920-х годов, сходящихся во мнении, что «старый брак умер, а формы нового еще не созданы...» (Василевский 1924, 9), помещается между двумя полярными точками зрения.

Одна из них — сугубо классовая и аскетическая — принадлежит «педологу» и психоаналитику А.Б. Залкинду, которого — за то, что он лечил от нервных расстройств многих видных партийных деятелей, — прозвали «врачом партии». В своем программном произведении «*12 половых заповедей пролетариата*» Залкинд настаивал на необходимости подчинения брачной жизни людей простому классовому контролю и объявлял половую жизнь «допустимой лишь в том ее содержании, которое способствует росту коллективистских чувств, классовой организованности... боевой готовности». «Необходимо половое воздержание до брака. Брак — лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости... Любовь должна быть моногамной, моноандрической». «Класс, — заключал автор, — имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов» (Залкинд 1924, 65; Залкинд 1930, 252—253). Если такого вмешательства не будет, продолжал мысль А.Б. Залкинда его сторонник, также «педолог» и детский психолог, то «пары, вступающие в содружество», могут оказаться «паразитически съедены половым пауком», и пара тогда «оторвется от своего коллектива и окружающей общественности» (Сорохтин Г.Н. 1927, 82).

Другую точку зрения на брак нового типа защищала уже упомянутая выше «чайка революции» А.М. Коллонтай. «Какие только формы брачного и любовного общения не примеривает к себе человечество, — сетовала она, —

а сексуальный кризис ни на йоту не смягчается. Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая любовная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки и возлюбленного — “дикий брак”, и брак парный, и “брак втроем”, и даже сложная форма брака вчетвером. Можно лишь удивляться, как удается человеку, сохранившему в душе веру в незыблемость моральных авторитетов, разобраться в этих противоречиях и лавировать среди всех этих взаимно исключающих друг друга несовместимых моральных предписаний... (Коллонтай 1919, 53).

А. М. Коллонтай полагала, что новые брачные отношения должны основываться на равенстве во взаимоотношениях партнеров, взаимном признании прав друг друга без попыток и претензий владеть безраздельно и до конца дней его/ее сердцем и, наконец, на взаимном умении прислушиваться и понимать работу души любимого человека. Ее концепция нового брака, изложенная в статье «*Дорогу крылатому Эросу!*», основывалась на убеждении, что новое, создаваемое большевиками государство способно будет освободить женщину от «ига материнства» (так как возьмет на себя воспитание детей), а также от монотонной унылости домашней работы, что даст возможность супругам больше времени посвящать друг другу, и потому браки будут всегда основаны на любовной страсти и духовной общности (Коллонтай 1923, 110—112; Пушкарев 2002). Именно Коллонтай принадлежала идея непременно разведения понятий «брак» и «семья» (что в ее понимании почти равнялось понятию «кухня!»): «“Отделение кухни от брака” — великая реформа, не менее важная, чем отделение церкви от государства, по крайней мере, в исторической судьбе женщины» (Коллонтай 1991, 105—109).

Молодежная пресса тех лет убеждает современного исследователя, что у А. М. Коллонтай было куда больше сторонников, нежели у А. Залкинда. Однако ее концепция не только не была взята на вооружение, но и долгое время замалчивалась в российской науке, так как выглядела конкурирующей с пропагандируемым коммунистическим аскетизмом — символом высокой духовности. И все же советская власть не могла не признать самого факта широкого распространения фактических браков. Советская юстиция того времени была последовательной в своем стремлении считать значимым не столько факт регистрации союза в советских органах власти, сколько взаимное соглашение партнеров. С другой стороны, к признанию фактического брака наравне с зарегистрированным подталкивало растущее число женщин с детьми из малообеспеченных и с правовой точки зрения самых незащищенных слоев населения, брошенных фактическими супругами и не имевших прав ни на имущество, ни на взыскание алиментов с беглецов. Специальные определения Верховного суда РСФСР (образован в 1924 г.) приблизили фактический брак к зарегистрированному, а практика вообще уравнила их (см.: *Судебная практика* 1927, № 1, 12; № 5, 16).

«Сейчас брак между комсомольцами почти не замечается. Очевидно, здесь найдены другие формы взаимоотношений», — пола-

гал корреспондент молодежного журнала «*Смена*» (Скворцов 1927, 6; Григорьев, Шкотов 1927, 164).

«Другие формы взаимоотношений» представляет известный сюжет «брака втроем» — совместной жизни молодой женщины и нескольких (по крайней мере — двух) фактических мужей. Опыт такого брака, в котором каждый из «мужей» не только считал себя отцом новорожденного ребенка, но и одновременно был «убежденным комсомольцем и рабфаковцем», представлен в драматургическом произведении лично пережившего это время В. Б. Шкловского (сценарий В. Б. Шкловского назывался «*Любовь втроем*», но это рабочее название было заменено режиссером-постановщиком фильма, поставленного в 1927 году, А. Роомом на «*Третью Мещанскую*» — см.: Шкловский 1965, 107). Любопытно, что еще в конце 1920-х годов участники съемок считали «любовь втроем» настоящим браком будущего, «не знающим ревности, лишенным частнособственнических начал, может быть, коллективным...» (*Кино* 14 сентября 1926, 1—2). О том, что драматург и режиссер отобрали в фильме не исключение, а «далеко не единичный факт», имеются документальные подтверждения в воспоминаниях современников (Гращенкова 1977, 85—86), самым известным из которых является своеобразный «брак втроем» Осипа и Лили Брик и влюбленного в Лилу В.В. Маяковского.

Для признания юридической силы за фактическими брачными отношениями в конце 1920-х — начале 1930-х годов необходимо было: доказать наличие совместного проживания, ведения общего хозяйства, обосновать наличие супружеских отношений перед третьими лицами, по возможности — обосновать взаимную материальную поддержку и совместность воспитания детей (Раевич 1926, 426). Но подчас — вплоть до появления детей — фактические супруги и не стремились к признанию своего сожителства браком. Общей тенденцией тех лет было расширение круга сексуальных партнеров у женщин (за счет «женихов», «друзей»), распространенность внебрачных отношений. Добрачные сексуальные связи в обстановке тех лет (когда ежедневно постулировались равные права мужчин и женщин и необходимость вовлечения женщин в профессиональную деятельность и т.д.) перестали быть «привилегией» мужчин (Голод 1996, 29).

Не случайно на протяжении 1920-х — начала 1930-х годов в обиход вошло выражение «брак самокруткой», «самохвосткой» или «самоходкой», т.е. без согласия родителей.

Теперь новые права / Не надо и венчаться —
 В комитете за столом / Только расписаться...
 Не скажу я никому, / Куды сей вечер пойду,
 Кладу ноги на дорогу, / Самоходкой стегану...
 (Шишкевич 1927, 91—92)

Речь в частушке шла прежде всего о девушках, которые само-вольно уходили от родителей, забирая часть имущества, и создавали свои семьи без позволения старших в семье: со времен новых законов девушка могла забрать свою часть имущества и «расписаться» безо всякого венчания (во время которого требовалось *признание благословения* родителей).

Самоходкой милый звал, / Мама побоялася,
 Надо было бы идти, / Пускай б она ругалася...

Самоходоцкой уйду, / Тяте сделаю беду.
 Тяте сделаю беду, / Корову, овцу уведу.
 (Старый и новый быт 1923, 121—122)

Так или иначе, но новый «*Кодекс о браке, семье и опеке*» 1926 году вынужден был придать правовое значение фактическим брачным отношениям (*Собрание узаконений...* 1926, № 82), которые иногда даже никем не санкционировались (а уж тем более бракам, заключенным без согласия родителей, но в новых советских учреждениях, «в комитетах за столом»). Если лицо, не расторгнув зарегистрированного брака с другим лицом, считало себя свободным от брачных обязательств и вступало в новые, уже фактические брачные отношения с третьим лицом, то преимущество оказывалось за... фактическим браком (ведь регистрация отныне была не более чем формальностью!). Осуществлять в таких правовых обстоятельствах принцип единобрачия стало весьма затруднительно, так что и вопрос о возможности существования параллельных браков оказался открытым (Генкин и др. 1949, 436). Право брошенных супругов на получение алиментов на собственное содержание было ограничено одним годом, а алиментов на детей — их совершеннолетием (18 годами). При этом — как ни парадоксально — при всем уменьшении государственного контроля за брачностью и разводимостью после Кодекса 1926 года число расторжений брачных союзов не намного увеличилось по сравнению с «годами великого эксперимента» (1918—1926).

Кодекс 1926 года ввел единый брачный возраст для мужчин и женщин (18 лет). Об этом позаботились партийные идеологи тех

лет, считавшие, что браки в раннем возрасте мешают получать женщинам достойное образование и мешают их профессиональному росту, что было отчасти правильно. Кроме того, в Кодексе 1926 года было немало других статей, обеспечивающих с правовой точки зрения интересы женщин: запись об отцовстве по письменному заявлению женщины (доказательств не требовалось — предполагалось, что отцу предлагалась лишь возможность оспорить через суд в течение года это правовое действие матери ребенка); введение принципа общности семейного имущества (вне зависимости от того, был ли брак только фактическим или же официально зарегистрированным, поскольку в практике судов труд женщины в домашнем хозяйстве все чаще приравнивался к труду мужчин по добыванию средств к жизни (Бошко 1952, 60—61).

Расторжение брака через судебные инстанции было отменено. Согласно закону, брак отныне следовало расторгать в ЗАГСах, причем присутствие другой стороны во время этой процедуры объявлялось необязательным: почтовой открыткой ему или ей сообщалось о факте развода.

Рождение и победа этакратического брачного порядка: 1927—1968 годы

Кодекс 1926 года вступил в силу 1 января 1927 года, став началом вступления советского брачного права в полосу стабильности. Эта стабильность объяснялась и тем, что сталинское время с его морализмом и ханжеством загнало вглубь легальные процессы 1920-х годов. С различными добавлениями и изменениями (подчас, правда, очень значительными) принятый в 1926 году Кодекс просуществовал в СССР до 1968 года. При этом, едва будучи принят, он начал рассматриваться как акт скорее императивного, принудительного свойства, не случайно в его нормах многие юристы увидели публично-правовые элементы. Современные российские социологи склонны даже говорить о том, что с начала 1930-х годов «наступило полное торжество идеалов А. Залкинда: вся страна стала казармой с единым уставом — двенадцатью заповедями прелетариата» (Голод 1996, 37). Не стоит забывать и того, что вместе со свертыванием новой экономической политики и усилением тоталитаризма в управлении страной стремление советской власти стереть всякую социальную дифференциацию закономерно привело

к культивированию бесполости, отражением которой стал «советский человек» (символ тоталитарной андрогинии) (Волков 1996). Довольно быстро, буквально в течение нескольких лет, выгодные советской идеологии нормы сексуального и брачного поведения приобрели характеристики «непререкаемых»: настоящий «советский человек» должен был ориентироваться на моногамный брак (желательно, один на всю жизнь, развод становился «пятном» на профессиональной биографии и мог помешать карьерному росту), добрая половая жизнь и сожителство стали считаться аморальными, отклоняющиеся нормы сексуального и брачного поведения — строго осуждаемыми и наказуемыми³, поскольку «сексуальная распущенность» отныне трактовалась как «контрреволюционность». Дискуссии о браке десятилетней давности представлялись в молодежной прессе 30-х годов как «буржуазные происки», основанные «на желании разложить молодежь политически» (*К празднованию Международного юношеского дня*, 1937). Возврат к патриархальным нормам православной морали был очевидным, став основой двоемыслия и двойных поведенческих стандартов. Знаменитый автор книги «*Семья и брак в их историческом развитии*» академик С. Я. Вольфсон, писавший в 1920-х годах о неизбежности «отмирания» брака, в 1937 году объявил моногамный брак «базовой основой» семьи, которая будет существовать и при коммунизме (Вольфсон 1937, 233—234).

В частности, тоталитарная власть легко взяла на вооружение аскетизм как концепцию православной доктрины (Пушкарева 1995, 21—36) и стала изошренно пользоваться ею, не внося, однако, долгое время изменений в законодательство, а пользуясь системой «разъяснений» Верховного суда (т.е. подзаконных актов, публиковавшихся ежегодно). В этих «разъяснениях» идеологи и работавшие по их указке законодатели зорко следили за тем, чтобы «не плестись в хвосте обывательских настроений, унаследованных от старого режима», а ориентироваться на новую, социалистическую мораль (*Сборник разъяснений Верховного суда...* 1935, 138). Именно такая ориентация заставила новую власть решительно отказаться от идей защиты частноправового начала и усилить свое вмешательство в регулирование личных отношений между людьми. Тоталитарное государство не могло терпеть проявлений автономной воли индивида даже в такой сугубо личной сфере, как

³ За однополую любовь и основанное на ней сожителство в 1933 году было введено уголовное наказание — от 3 до 8 лет (см.: Авдеев 1951).

брачные отношения. В стране началось складывание *этакратического брачного порядка* (Здравомыслова, Темкина 2003). Право на брак в сталинской России постепенно стало превращаться в общественную обязанность, которую возлагало на индивидов государство. «Государство кровно заинтересовано в каждом индивидуальном семейном коллективе, — с бесхитростной откровенностью заявлялось в юридической литературе тех лет. — Оно диктует, властно указывает, определяет условия, гарантирующие интересы коллектива, обеспечивающие выполнение долга по отношению к коллективу» (Свердлов 1941, 58).

Не иначе как следствием желания обеспечить «выполнение долга по отношению к коллективу», следует в этом контексте рассматривать ряд весьма мрачных Постановлений ЦК партии и Совета Народных Комиссаров (правительства СССР), изданных в 1930—1940-е годы и внесших существенные поправки в Кодекс 1926 года. Самым известным среди них было Постановление от 27 июня 1936 года «*О запрещении аборт... и некоторых изменениях в законодательстве о разводах*» (*Собрание законов СССР* 1936, № 34, 309—315), ставшее не только ярким свидетельством поражения женщин в их репродуктивных правах, но и положившее начало усложнению бракоразводной процедуры. Постановление предписывало обязательное присутствие при разводе обоих разводившихся и (что было нововведением) обязывало ЗАГСы делать отметку о разводе в паспорте каждого. Вводилась плата за развод, прогрессивно возрастающая с каждым новым разводом (50, 150, 300 и т.д. рублей). Образец идеальной брачной жизни являл «отец народов» И.В. Сталин, ни разу не разводившийся вдовец с двумя детьми, не вступивший в новый брак после смерти жены и отдающий себя всего «высокой идее».

После Постановления 1936 года развод окончательно перестал считаться частным делом, и обсуждение вопроса о сохранении или несохранении брака стало все чаще выноситься на общие собрания профессиональных коллективов и партийных или комсомольских ячеек. Действие Постановления не случайно совпало с началом «большого террора» и попытками установить тотальную слежку за возможно большим числом людей, еще более сузив рамки той части жизни, в которую бы не имело права вмешиваться государство. Пропаганда многодетности и борьба за «советскую моногамию» объяснялись ситуациями громадных демографических потерь, связанных с репрессиями, коллективизацией и «строительством основ социализма». Эти потери были столь велики и очевидны, что

результаты переписи 1937 года, в которых они ярко отразились, были объявлены дефектными и засекречены (Казьмина, Пучков 1999, 40). Следующим ударом по численности населения СССР оказалась Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Чтобы несколько смягчить ее последствия, советское правительство предприняло ряд мероприятий, искусственно укреплявших брачные союзы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года правовое значение придавалось только зарегистрированному браку; вступившим в фактический брак в 1926—1944 годах предписывалось немедленно зафиксировать этот акт в ЗАГСх — в противном случае брак объявлялся незаконным, а дети — лишеными прав на семейное имущество. Всех детей, рожденных вне зарегистрированных браков, нужно было отныне считать лишеными одного родителя; установление отцовства (даже при добровольном признании) запрещалось (*Ведомости ВС СССР* 1944, № 37). В отношении разводов устанавливалась двухступенчатая процедура: дело должно было быть рассмотрено в двух судах (вначале в народном, который призван был примирить супругов, поэтому в случае несогласия одной из сторон на расторжение брака дело о разводе могло тянуться долго, а далее — в суде 2-й инстанции) при обязательной явке обеих сторон. Законом предписывалось публиковать информацию о разводе в местной газете (это должно было усилить моральное осуждение «общественности» в адрес разволившихся). Разумеется, в паспортах обоих супругов делалась отметка о разводе. Кроме того, с одного или обоих разводящихся (в зависимости от того, были ли оба согласны на развод или только один из них) брался штраф в размере от 500 до 2000 рублей (что было немалой суммой, так как месячная зарплата, например, младшего научного сотрудника в те годы равнялась 150 рублям).

15 февраля 1947 года был опубликован принятый Президиумом Верховного Совета СССР один из самых бесчеловечных указов за все годы советской власти — указ «*О запрещении браков с иностранцами*». Официальная версия запрещения — забота о советском человеке, ибо наши женщины, выйдя замуж за иностранцев и оказавшись за границей в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации. В действительности же дело было в развивающемся сталинском изоляционизме: подобные браки рассматривались как антипатриотичные (см.: *Студентам: лекции УМК...*). Антиконтитуционный указ, принятый по воле Сталина, которого вновь стали одолевать приступы шпионо-

мании, разрушил судьбы не только тех, кто намеревался вступить в брак с иностранцем или иностранкой. В категорию агентов империализма автоматически попали и те, кто давным-давно связал свою судьбу с гражданами других стран, в том числе с зарубежными коммунистами. Супругам запретили выезд за границу для воссоединения семьи; в лагеря и тюрьмы по обвинению в шпионаже отправлялись как советские граждане, состоявшие в браке с иностранцами, так и их жены и мужья. Наглядно подтвердив существование «железного занавеса», упомянутого Черчиллем в 1946 году, указ стал трагедией для сотен мужчин и женщин — как в Советском Союзе, так и в других странах (что позже было отображено в пьесе Л. Зорина «*Варшавская мелодия*», в которой героини вынужденно расстаются на 30 лет и после разлуки встречаются в аэропорту, где «он» не узнает «ее» и рассказывает историю их любви).

Весьма любопытно, что в советских сборниках документов и материалов по истории СССР, в которых опубликованы и договор Сталина с Гитлером в 1939 году, и крепостнический указ от 26 июня 1940 года о тюрьме за опоздание на работу, и ужасающее постановление «*О журналах “Звезда” и “Ленинград”*» 1946 года, указ «*О запрещении браков с иностранцами*» по сию пору обходится стыдливым молчанием.

Вместо укрепления брака и повышения ответственности супругов за совершенный ими акт создания семьи государство своими волюнтаристскими решениями добилося лишь увеличения числа внебрачных связей. Разумеется, ни о каких дискуссиях или тем более критике брачного законодательства в сталинскую эпоху и речи не могло быть. Тогдашние юристы и обществоведы всю славословили указы 1936 и 1944 годов (Свердлов 1955; *40 лет советского права*, 27—34; Кареева 1952, 153). И вплоть до 1965 года, когда на волне еще памятной политической «оттепели» был принят новый Указ Президиума ВС СССР «*О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака*», в России и СССР действовали принятые в годы войны нормы. Демографическая ситуация в стране оставалась сложной, довоенная численность населения была восстановлена лишь к 1955 году (Урланис 1963, 30), и представителям государственной власти казалось необходимым и естественным делать все возможное для «укрепления социалистических семей» (через репрессивную брачную политику).

Другой стороной этакратического гендерного порядка было сохранение немалого числа браков, заключенных не на основании «взаимной склонности», как о том мечталось основоположникам

марксистской идеи «нового быта», а на все тех же меркантильных соображениях. Уничтожение частной собственности не повлекло за собой возникновения экономического равенства людей. Неравная зарплата, неравные бытовые условия были причиной появления браков, о которых осуждающе писали в газетах: «дряхлый, чуть ли не столетний “стиляга” при деньгах, а рядом — молоденькая девушка в качестве его очередной, притом добровольной жены...» (*Литературная газета* 30 сентября 1961, 6; Бильшай 1959, 250). Помимо таких (вполне законных!) браков большое распространение — в связи с существованием института «прописки» и неравных бытовых условий жизни в крупных и провинциальных городах, в городе и на селе, — получили распространение и фиктивные браки: когда одному из партнеров срочно требовалось выбраться в «лучшую жизнь»:

Москва встретила меня не очень приветливо. Обегал все учреждения — везде... ответ: не можем прописать. Пришлось пойти по пути женитьбы. За два дня намел девицу. На третий предложил ей пойти в ЗАГС. Она согласилась...

Эти строки из письма комсомольца, которое он обронил в ателье, были прочитаны работниками ателье, переславшими письмо в газету, которая и устроила широкое обсуждение «инцидента». Письмо было опубликовано в газете вместе с фотографией и биографией «провинившегося!» (Курганов 1968, 139—215).

Лишь в 1965 году громоздкий двустадийный порядок рассмотрения бракоразводных дел и открытого вмешательства в частную жизнь граждан (через обнародование факта развода в печатных органах) был признан исчерпавшим себя и устаревшим. Государство вынуждено было признать, что в воспитании ответственности за заключенный брак и созданную с его помощью семью репрессивными мерами успехов не добиться. В этакратическом брачном порядке наметились первые следы эрозии.

Это не могло не отразиться на научной литературе тех лет — поскольку именно в начале 1960-х годов в российской гуманитаристике институционализировалась социология. Среди бурных обсуждений российских ученых в то время заметное место заняла дискуссия о дефинициях брака и семьи, в ходе которой были выказаны и несколько неожиданные идеи: например, о наименовании «семьей» лишь тех брачных союзов, которые имеют детей; сам брак в этом случае должен был рассматриваться лишь как «меха-

низм ролевого сотрудничества индивидов для удовлетворения определенной совокупности потребностей» (Юркевич 1970, 10). По ходу обсуждения вопроса о функциях семьи как социального института исследователи неизбежно сталкивались с необходимостью описать и проанализировать причины устойчивого, хотя и не резкого, снижения брачности и трансформаций патриархатного (традиционного) брака как теряющей устойчивость системы социальных взаимоотношений в современную им эпоху (Клецин 1998, 426—429). Но к единому мнению им прийти не удалось. Так или иначе, но на вопрос «Что вы для себя считали решающим при вступлении в брак?» из 500 супружеских пар 45% ответили — «любовь», 14,5% — «духовная близость», 13,5% — «внешнее обаяние», 7% — «ожидание ребенка» (не стоит забывать, что ситуация с контрацептивами оставалась очень сложной), 7% — уже отмеченные выше нами «экономические и жилищные условия» и еще 6% — «необходимость брака» как таковую (Лаптенюк 1967, 121).

Закат и кризис этакратического брачного порядка: 1968—1991 годы

Конец 1960-х годов ознаменовался принятием ряда законодательных актов о браке и семье. В 1967—1968 годах в союзных республиках были изданы указы, вносящие некоторые изменения в кодексы о браке и семье; в частности, в России подобный указ был издан в феврале 1968 года. 27 июня 1968 года Верховным Советом СССР были утверждены «*Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье*». Этот документ регулировал брачно-семейные отношения до октября 1979 года, когда в него были внесены отдельные изменения и поправки. На базе «*Основ законодательства СССР и союзных республик о браке и семье*» в 1969 году был издан новый «*Кодекс о браке и семье РСФСР*» (с некоторыми дополнениями и изменениями он просуществовал до 1996 года). «*Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье*» по-новому решали многие вопросы, призванные регулировать брачно-семейные отношения. В них были сделаны некоторые послабления по сравнению с брачным порядком предыдущих десятилетий. В законодательстве также декларировались желаемые постулаты этического свойства (типа «брак по любви»), которые фактически не могли быть регулируемы правом.

Как и раньше, «*Основы законодательства...*» провозглашали, что прочная семья является одной из важнейших забот Советского государства. В первой же статье этого документа среди задач нового законодательства назывались дальнейшее укрепление советской семьи, основанной на принципах коммунистической морали; построение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, свободном от материальных расчетов и основанном на чувстве взаимной любви, дружбы и уважения; окончательное устранение вредных пережитков и обычаев прошлого в семейных отношениях (*Новое в законодательстве о браке...* 1979, 9—11). К «вредным пережиткам» были отнесены материальные соблазны и привилегии, бывшие и остававшиеся сильным «манком» для многих вступающих в брак:

А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою!
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами,
А что у папы у ее дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами,
А что у папы у ее пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою!

(Галич 1989, 51)

В новых «*Основах законодательства...*» подчеркивалось, что брак возможен только при взаимном согласии жениха и невесты. За насильственное воздействие на женщин с целью принуждения к вступлению в брак, продолжения брака или, наоборот, с целью создания препятствий к вступлению в брак предусматривалось уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Сватовство, «колыбельный стговор», левират считались тем самым давно «пережитым» прошлым, о котором стоило говорить разве что на страницах этнографических трудов. Юридическая литература тех лет разясняла каждому непосвященному, что советский закон решительно отвергает «присущий буржуазному обществу взгляд на брак как на сделку» (Ворожейкин 1969, 27).

Минимально допустимый возраст вступления в брак законодатели сохраняли прежним — 18 лет для обоих полов. Фактически же в брак вступали в среднем еще позже; и по вполне объяснимым причинам вместе с падением детности семей и ориентацией максимум на двух детей вырастал и возраст впервые вступающих в брак. Если в 1910 году двадцатилетних невест, а также девушек, вступивших в брак до этого возраста, было 54,5%, то в 1960-е годы

лишь 26,3 % женщин выходили замуж в таком юном возрасте (Урланис 1963, 54). Законодатели по-прежнему зорко следили за моногамностью: брак мог быть объявлен недействительным, если в процессе его заключения или позже выяснялось, что одно из лиц, зарегистрировавших брачные отношения, состояло на момент регистрации в другом браке. Жестко запрещались браки не только между близкими родственниками (что объяснялось заботой медицины о здоровье последующих поколений граждан Страны Советов), но также между усыновителями и усыновленными (что лишней раз подчеркивает тесную связь между православной церковью с ее нормами семейного права и идеологами «коммунистического завтра»). Запрещались браки и в тех случаях, если один из вступающих был недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.

«*Основы законодательства...*» закрепляли (ст. 3, 12) не только добровольность брачного союза, но и равенство имущественных прав обоих супругов (в том числе и в случае, если один из супругов не имел самостоятельного заработка, а занимался ведением домашнего хозяйства или уходом за детьми). С большим упорством из кодекса в кодекс переходила и установка о равенстве супругов во всех семейных отношениях, но редко кто из социологов тех лет решался предположить, что она носила декларативный характер: никаких санкций за нарушение равенства закон не предусматривал, да государство и не следило за соблюдением этого равенства.

Закреплялось равенство супругов в выборе фамилии, занятий и места жительства (по закону супруги не были *обязаны* жить совместно, но при этом совместное проживание считалось структурообразующим признаком семьи). В новом законодательстве впервые говорилось, что заключение брака (если молодожены не настаивают на ином) должно производиться «в торжественной обстановке» (*Новое в законодательстве о браке...* 1978, 32, 34) (что должно было противопоставить «социалистическую обрядность» начавшей вновь возрождаться церковной). Это, с одной стороны, подчеркивало тот факт, что общество придает большое значение институту брака, с другой — закрепляло изменения в структурах повседневности. Ведь поколение «родителей» (тех, кто заключал браки в 1920—1930-е годы), в сущности, было приучено к советскому аскетизму и минимализму, который выражался, в частности, в очень формальной, 10—15-минутной, процедуре регистрации брака чиновницей в ЗАГСе.

Основной целью брака, как и раньше, провозглашалось рождение детей. Наблюдавшееся на протяжении полувека сокращение

рождаемости привело к полному отмиранию многодетности как социально значимого феномена (Антонов, Сорокин 2000, 338). Но, как и раньше, идеологи многодетности делали все возможное, чтобы вернуть ее в число значимых ценностей и сократить число расторгнутых браков. И хотя многие запретительные меры прошлых лет в этой области были отменены, в новом законодательстве имелось немало положений, направленных на упрочение семьи и сдерживание разводимости. Так, по новому законодательству устанавливался единый минимальный срок — один месяц — между подачей заявления и регистрацией брака. Такая мера, по замыслу разработчиков, должна была препятствовать легкомысленности молодежи в таком ответственном деле, каким виделось формирование «ячейки социалистического общества». Месячный срок мог быть уменьшен исполкомом районного или городского Совета депутатов трудящихся только в особых случаях (чаще всего в случае беременности невесты) (Ворожейкин 1969, 24). Впрочем, такие «особые» случаи не были редкостью:

Нынче времечко настало,
Чудеса у нас кругом:
Тут невеста враз из ЗАГСа
Отправляется в роддом!
(Кулагина 1999, 143)

Однако, как правило, если таких экстремальных ситуаций не возникало, то на «проверку чувств» давалось обычно около трех месяцев, что мотивировалось «большим числом желающих вступить в брак» и необходимостью соблюдать «очередь».

Чтобы зарегистрировать брак, с 1968 года положено было представлять немало необходимых документов: удостоверение личности, подписку об отсутствии препятствий к вступлению в брак и о взаимной осведомленности будущих супругов о состоянии их здоровья (при этом само по себе наличие болезней препятствием не считалось), данных об очередности брака (т.е. является ли этот брак первым, вторым и т.д.) и о наличии детей от предыдущих браков (Кулагина 1999, 33), — все это должно было свидетельствовать, что государство не считает брак личным делом вступающих в него людей. «Основы законодательства...» предусматривали также основания для признания брака недействительным (фиктивный брак⁴, заключение брака без согласия хотя бы одного из вступающих в

⁴ Само понятие фиктивного брака было впервые введено именно этим законодательством и, как говорилось в «Основах...», было «направлено про-

него лиц и т.п.) (Ворожейкин 1969, 38—49). Мужу запрещалось без согласия жены возбуждать дело о разводе в период ее беременности и в течение года после рождения ребенка (*Новое в законодательстве о браке...* 1978, 10). Этот запрет распространялся и на случаи, когда было известно, что отцом ребенка является другой мужчина.

Вместе с тем в некоторых случаях процедура развода упрощалась. Так, наряду с разводом через суд новое законодательство допускало возможность расторжения брака через ЗАГС, без обращения в суд, в случаях когда у супругов не было несовершеннолетних детей и оба они были согласны на развод. Чтобы предотвратить «необдуманные» разводы, закон предписывал оформлять расторжение брака через три месяца с момента подачи заявления. Ускоренный порядок развода применялся, лишь если один из супругов признавался безвестно пропавшим, недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия или оказывался осужденным к лишению свободы на срок от трех лет и более (*Новое в законодательстве о браке...* 1978, 43—44).

О том, что тоталитарно-административная система в СССР не претерпела коренных изменений, свидетельствовало сохранение за государственными органами права вмешательства государственных органов в личную жизнь граждан. Суд оставлял за собой право отказать в расторжении брака, даже когда об этом просили оба супруга. Судья мог отложить рассмотрение дела, назначив разводящимся срок для примирения (до 6 месяцев), во время которого на супругов оказывалось сильное давление со стороны партийной, профсоюзной и комсомольской организаций по месту работы мужа и жены⁵. Подавших на развод «разбирали» и «прорабатыва-

тив злоупотреблений со стороны отдельных недобросовестных лиц теми правами и льготами, которые предоставляет государство гражданам, имеющим семью» (*Новое в законодательстве о браке...* 1978, 46). Введение этого понятия свидетельствует о том, что государство не считало брак частным делом вступающих в него лиц.

⁵ Позже возможность судов отказывать в разводе была конкретизирована. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 28 ноября 1980 года говорилось, что «временный разлад в семье и конфликты между супругами, вызванные случайными причинами, а также не подтвержденное серьезными доводами нежелание одного или обоих супругов продолжать брак не могут считаться достаточным основанием для его расторжения». В юридической литературе также разъяснялось, что суд не должен принимать во внимание такие «не совместимые с требованиями коммунистической морали» причины, как небольшой заработок супруга или его недостаточная образованность (Рясенцев 1982, 121—122).

ли» их коллеги на общих собраниях, «обиженный» супруг апеллировал к трудовому коллективу с целью воздействия на желавшего развестись.

Но все же процедура развода упростилась, и последствия не заставили себя долго ждать: конец 1960-х, а особенно 1970—1980-е годы были отмечены резким ростом показателей разводимости (ее стабилизация — причем на достаточно высоком уровне — произошла лишь в конце 1980-х годов). Особенно высокой разводимость всегда была в городах (если в 1960-е годы число разводов в городах в 20 (!) раз превышало число разводов в деревне, жившей более «по традиции», чем «по закону» (*Народное хозяйство СССР в 1965 г.* 1966, 709), то к началу 1970-х годов этот разрыв значительно сократился, но город все равно давал большее число разводов).

Отношение к незарегистрированным сожительством тоже явно менялось — особенно если сравнивать с довоенным и непосредственно послевоенным временем. Впервые за долгие годы выровнялась диспропорция полов в бракоспособных возрастах. Значительное число людей стало проходить в своей жизни через сожительство без официальной регистрации — так называемый «добровольный союз», особенно в случае повторных браков. Эти союзы, или сожительства, стали настолько распространенным явлением, что не обращать на них внимания было уже невозможно.

Государство, однако, по-прежнему признавало только зарегистрированные брачные союзы, которые и порождали охраняемые законом права и обязанности супругов. Насмешливое признание этого факта отразилось в фольклоре:

Не позорно, а почетно
Деток маленьких рожать!
Но для этого невеста
Все ж женою должна стать!
(Кулагина 1999, 139)

Вопрос об отцовстве в незарегистрированных союзах стал, однако, решаться по-новому. Как и прежде, запись о матери в свидетельстве о рождении внебрачного ребенка делалась по ее заявлению, что и отразили частушки⁶: «алиментная тема» слишком затрагивала интересы мужчин, чтобы быть проходной. Законода-

⁶ «Алиментики в суде, как блиночки, стряпают! // Неужели меня бляди в это дело вляпают?», «Ты сама меня таскала по сараям и скирдам, // А когда беда пристала, говоришь “На суд подам!”» (Кулагина 1999, 19—25).

тельство 1960-х годов позволяло сделать в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце (раньше в подобных случаях в свидетельстве о рождении ребенка ставился прочерк, что причиняло моральные травмы детям).

Запись об отцовстве при отсутствии зарегистрированного брака стала делаться по совместному заявлению родителей или по решению суда об установлении отцовства (за мужчиной при этом оставалось право оспорить данный факт). Более того, запись об отце делалась и тогда, когда не было ни заявления, ни решения суда: новое законодательство определяло, что в графу «отец» в таких случаях вписывается фамилия матери в мужском роде, а имя и отчество любые по выбору матери (в метрической книге в ЗАГСе при этом должна была делаться соответствующая пометка во избежание возможного конфликта, если фамилия, имя и отчество, записанные в свидетельстве, совпадут с персональными данными реального человека) (*Новое в законодательстве о браке...* 1978, 60). Это нововведение защищало интересы ребенка и в какой-то степени устанавливало компромисс между интересами женщины (заинтересованной в получении помощи от реального отца ребенка), с одной стороны, и интересами мужчины (не всегда желавшего брать на себя ответственность отцовства) и «общества» (которому нужны были прочные семьи, основанные на зарегистрированных браках) — с другой (Juviler 1984, 11). Закон придавал новому порядку о записи отца обратную силу: запись могла быть сделана и в свидетельстве детей, рожденных до 1968 года (Рясенцев 1982, 37).

Этакратический брачный порядок, формировавшийся на протяжении сорока лет, наконец был официально закреплен в Конституции 1977 года, в которую была внесена специальная статья о браке и семье (ст. 53): «Семья находится под защитой государства». Брак, согласно Конституции 1977 года, считался основанным на добровольном согласии женщины и мужчины; как и ранее, декларировалось полное равноправие в семейных отношениях, однако что под ним понималось — не указывалось (*Конституция СССР* 1977, 22). В массовом же сознании стойко держалось представление о традиционном распределении ролей: женщине — кухня (в свободное от работы время), а мужчине — общественная сфера. И когда Р.М. Горбачева попыталась сломать этот стереотип, то вызвала нелюбовь прежде всего именно женского населения.

Конец 1970-х и 1980-е годы характеризовались стабилизацией показателей брачности, хотя и с некоторой тенденцией к их снижению. Не брак как таковой все чаще оказывался ценностью для

молодежи, а желание «встретить любимого человека» (среди женщин, согласно опросам того времени, таковых было 40,4%, среди мужчин — 38,5% от общего числа опрошенных — см.: Голод 1984, 19). Встреча любимого человека и создание семьи через брак стали понятиями нетождественными: на «встречу» оказались ориентированными более 70% (72,3%) опрошенных, на брак — только около 40% (38,9%) (Лисовский 1969, 34, 39).

Процедура заключения брака начала утрачивать заманчивость: общественное признание брака закреплялось традиционно свадьбой, а свадебные церемонии оказались неожиданно в эпицентре начатой в 1986 году М.С. Горбачевым антиалкогольной кампании. Она коснулась и брачной сферы. Всячески пропагандировались так называемые безалкогольные свадьбы, когда на торжествах, обычно завершавших брачные церемонии, открыто распивались лишь безалкогольные напитки, а бутылки с шампанским, другими винами, водкой новобрачные и гости тайком доставали из-под стола. В ответ на такое нововведение в народе появилась шутка «От безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию», высмеивавшая не только антиалкогольную кампанию, но и ханжеское отношение властей к брачно-семейным отношениям.

Вплоть до самого конца существования советской системы государство стремилось по-прежнему вмешиваться в семейные отношения граждан, побуждая их сохранять и фактически изжившие себя брачные союзы. Через парткомы и профкомы оно все еще пыталось контролировать частную жизнь граждан.

Я пишу в партком заявление:
«Разрешите мне с женой
Совокупление!» —
(Кулагина 1999, 659)

издевательски иронизировала над этим положением частушка того времени. Иногда успехи «общественности» на этом поприще оказывались вполне заметными: семейные узы скрепляли, хотя бы и формально. Яркий пример таких «партийных разборок» показал А. Галич в своем стихотворении «*Красный треугольник*»:

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с Нинюлькой гулял с тети-Пашиной,
.....
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границейю.

А вернулась, ей привет — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Нинючка!
...А из зала мне кричат: «Давай подробности!»...

Типичен был и финал такого собрания: «Схлопотал он строга-ча, ну и ладушки,/ Помириться вы теперь, по-хорошему!»... (Галич 1989, 61—64). В глазах начальников отделов кадров разведенный человек считался не вполне «морально устойчивым»; развод, считали они, «мешал» успешной карьере мужчины (но не женщины).

Для рассматриваемого периода было характерно довольно сильное давление общественного мнения на брачное поведение (подобное давление значительно ослабло лишь в 1990-е годы, да и то в основном в крупных городах). Женщины, не вышедшие замуж до определенного возраста, начинали восприниматься окружающими как «старые девы»: «Уже скоро 30 лет / Она все невестит-ся...» (Кулагина 1999, 139).

Страх прослыть «перестаркой», «засидевшейся» увеличивал вероятность до- и внебрачных романов, которые, в конечном счете, оказывались, по сути, «пробными браками». Неженатые мужчины тоже испытывали давление общественного мнения, но оно всегда было слабее, чем в отношении женщин. Кроме того, возрастные пороги в обоих случаях были разными: мужчина начинал восприниматься «старым холостяком» после 40, «старой девой» становились обычно к 30 годам (Синельников 1992, 36—37; Жирнова 1980, 96—97). Налицо был конфликт норм: одна из них требовала, чтобы все браки были по любви, а другая — чтобы в брак вступали все и незаконно не сожительствовали (Синельников 1992, 36).

Еще одна характерная черта этого периода, непосредственно связанная с отмеченной выше, — всеобщность брачности: подавляющее большинство мужчин и женщин хотя бы один раз в жизни вступали в брак. По материалам переписи населения 1979 года, лишь 1,9% мужчин и 4,0% женщин России в возрасте 45—49 лет никогда не состояли в браке (существенные различия в показателях у мужчин и женщин связаны с вызванной войной диспропорцией полов), по данным переписи 1989 года, эти показатели составляли соответственно 3,7% и 3,5% (*О положении семей...* 1989, 11). В 1960—1980-е годы возраст вступления в первый брак все время снижался. В стране наблюдалась характерная для традиционного общества установка на ранние браки.

Отмеченные выше особенности подтверждаются проведенным в 1989 году ВЦИОМом опросом на тему «Семья в зеркале обще-

ственного мнения». На вопрос «Считаете ли Вы, что каждый человек должен вступить в брак и завести семью?» большинство ответило утвердительно. Причем в старших возрастах доля положительных ответов оказалась, как и следовало ожидать, выше. Отрицательно на этот вопрос ответили немногим более 20% лиц моложе 20 лет, 15% в возрасте 20—29 лет, 13% в возрасте 30—39 лет и всего 9% в возрасте 40—49 лет. В ответ на вопрос о причинах вступления в брак прежде всего назывались желание иметь детей (56%) и стремление находиться рядом с супругом. Гораздо реже говорилось о потребности иметь постоянного сексуального партнера или необходимости не нарушать традицию (по 7%). Согласно этому опросу для российских женщин ценность семьи, как и можно было ожидать, оказалась выше, чем для мужчин (*О положении семей...* 1989, 11).

Новые эксперименты и поиски: 1991 год — настоящее время

Серьезные изменения, охватившие в 1990-е годы все российское общество (распад СССР в 1991 году, формирование новой российской законодательной базы), не обошли стороной и брачно-семейные отношения. Изменения в брачно-семейной области были связаны с тремя группами причин: естественной трансформацией демографической модели, отменой жесткого государственного контроля (например, такого внешнего «регулятора», как партком) и социально-экономическими трудностями переходного периода. А общим результатом этих разных причин стало сокращение уровня регистрируемой брачности в 1990-е годы.

С 1989 по 1993 год число вновь заключенных браков сократилось почти на четверть, число же разводов при этом увеличилось на 14% (*О положении семей...* 1989, 17). Минимальной отметки показатель брачности достиг в 1998 году (Вишневский 2000, 47). Это снижение коснулось всех возрастных групп, но особенно сильным оно оказалось среди молодых людей, поскольку было связано с общим изменением модели демографического поведения. Стало резко сокращаться как абсолютное, так и относительное число зарегистрированных браков. Молодые люди предпочитали жить вместе, ведя совместное хозяйство, но не спешить с регистрацией своих отношений в государственных органах, так что количество

таких незарегистрированных сожительств оказалось сложно статистически учитывать. Проведенная в 1994 году микроперепись зафиксировала 6,5% мужчин и 6,7% женщин, состоявших в незарегистрированных брачных союзах, хотя реальные цифры явно были выше. Резко выросло и число внебрачных рождений: прежде всего в «возрасте минимальной брачности» (когда у женщин не остается надежд на закрепление отношений браком, а тянуть далее с рождением ребенка опасно для здоровья будущего малыша) (Бондарская 1994, 157).

К началу 1990-х годов незарегистрированные сожительства стали, бесспорно, приемлемой социальной нормой. Опрос общественного мнения, проведенный в 1994 году, показал, что к таким незарегистрированным союзам лояльно отнеслись 66% мужчин и 51% женщин. При этом большинство людей старших возрастов (63%) по-прежнему отрицательно воспринимали незарегистрированные браки, в то время как среди респондентов моложе 25 лет такие союзы осудили только 18% (Вишневский 1999, 30). Прошло всего три года, и в 1997 году, согласно вновь собранным данным, терпимость к незарегистрированным бракам возросла еще более: их осудили лишь 6% людей в возрасте от 16 до 50 лет и 21% лиц старше 50 лет (Bodrova 1996, 9).

Произошедший в 1990-е годы рост незарегистрированных брачных союзов и внебрачных рождений может означать тенденцию к разделению институтов брака и семьи (подобная тенденция характерна не только для России, еще раньше она наметилась в большинстве стран Запада). Нельзя не заметить и того, что эта тенденция связана с более осторожным отношением людей к регулированию собственных прав в браке. До социальных потрясений 1990-х годов общество было более социально однородным, когда же появились «богатые» и «бедные», вопрос о материальных потерях в случае развода стал одним из препятствий к заключению брачных союзов «по всем правилам».

Молодежь в последнее время подходит куда рациональнее к вопросу о создании семьи, многие откладывают регистрацию брака и рождение детей на более поздний возраст, когда для этого будут созданы лучшие материальные условия (Гурко 1995, 96). Влияют на сокращение показателей брачности и стрессовые факторы кризисного общества: потеря или смена работы, неразрешимость жилищного вопроса, перенапряжение на работе и пр. (Гурко 1995, 98). На сокращении брачности в 1990-е годы в какой-то степени сказались и сложная ситуация на «брачном рынке»: невы-

годное для женщин соотношение полов в некоторых возрастных группах усилило конкуренцию в поисках женихов и расширило возможности мужчин для повторных женитьб (*О положении семей...1989*, 17).

Деинституализация брака способствовало и прекращение искусственного стимулирования брака государством: ушли в прошлое санкции против разводящихся, уменьшились преимущества семейного статуса (Гурко 1995, 99). Дала о себе знать — хоть и с большим опозданием по сравнению с Западом — сексуальная революция. Резко выросла культура контрацепции; стала уходить в прошлое «абортивная контрацептивная культура», как ее насмешливо называли социологи 1960—1970-х годов. Наличие разнообразных и доступных контрацептивов, расширение сети негосударственных медицинских учреждений, в которых стало можно безболезненно и без последствий для здоровья избавиться от нежелательной беременности, повлекли за собой быстрый рост числа внебрачных связей и сожителств.

Распространение незарегистрированных браков привело не только к сокращению доли официальных, но и к увеличению среднего возраста вступления в «законный брак»: с 1994 года средний возраст начал постепенно увеличиваться (Вишневский 1999, 49). Сильно увеличился и временной разрыв между возрастом начала половой жизни и возрастом вступления в брак: еще в недавнем прошлом начало регулярной половой жизни, вступление в первый брак и рождение первого ребенка охватывали небольшой временной период — от года до трех лет. На такой модели держалось и традиционное российское половое воспитание (первый сексуальный партнер становился избранником или избранницей на всю или большую часть жизни, детей заводили сразу после заключения брака, что позволяло в буквальном смысле отсчитывать день рождения первенца от дня свадебного торжества). В 1990-х годах сексуальные отношения, брак, рождение и воспитание детей стали превращаться для молодежи во все более независимые друг от друга ценности, не связанные между собой так жестко, как это было даже в поколении их родителей (Вишневский 2001, 31).

Раннее начало активной половой жизни перестало сопровождаться большим числом незапланированных беременностей и браков «вдогонку» или, как их еще называли, «по залёту». Так называемые «материнские семьи» (в которых матери заводили детей вне брака и растили детей в одиночку) стали таким же распространенным социологическим явлением, как семьи супружеские

(Голод 1984, 82). В результате в 1998 году общее увеличение числа рожденных было достигнуто за счет внебрачных рождений, прирост которых в указанном году составил 8,4% (Вишневский 2000, 61). При этом до половины детей, рожденных вне брака, в настоящее время официально признаются своими отцами, внебрачный ребенок нередко у матери не единственный и не первый, да и рожают вне брака в современной России в основном не подростки или женщины «сильно за 30», а женщины основных репродуктивных возрастов (20—34 лет) (Вишневский 2001, 46). Все это позволяет предположить, что такие рождения происходят не у одиноких женщин, а скорее в незарегистрированных семьях.

В условиях снижения рождаемости звучали разные идеи о том, как улучшить сложившуюся в стране непростую демографическую ситуацию (Бараулина 2002). Выдвигались и весьма экзотические предложения. Так, в 1996 году фракция Либерально-демократической партии России (ЛДПР), лидером которой является скандально известный В. В. Жириновский, в Государственной думе подготовила проект федерального закона, который должен был внести существенные изменения и дополнения в «*Семейный кодекс Российской Федерации*». Суть поправок, в первую очередь, сводилась к юридическому признанию наряду с моногамной также и полигамной семьи и регламентации функционирования полигамных отношений. Разработчики проекта считали, что подобные нововведения увеличат шансы незамужних женщин создать семью и легализуют статус любовниц женатых мужчин, что в конечном счете, по мнению авторов проекта, способствовало бы росту рождаемости (*Известия* 13 сентября 1996). Как и другие экстравагантные идеи ЛДПР, этот проект Думой принят не был. Однако надо отметить, что одна из республик Российской Федерации — Ингушетия (где резко преобладает мусульманское население) — приняла закон, разрешающий многоженство.

В 1990-е годы в российском обществе заметно возросла роль религии. Церковь стала открыто высказываться по различным социально значимым вопросам и пытаться влиять на ситуацию в обществе. В 2000 году на архиерейском соборе были приняты «*Основы социальной концепции Русской Православной Церкви*». В этом документе сформулирована позиция церкви по многим проблемам, в том числе и по вопросам брака и семьи. В разделе, посвященном вопросам личной, семейной и общественной нравственности, говорится, что «Церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно» (*Основы социальной концепции* 2000, 56) и что для христиан

брак — это вечное единение супругов во Христе. Церковь, подчеркивается в документе, настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака.

В условиях стремительных перемен некоторые священники попробовали было объявлять гражданские зарегистрированные браки «незаконными», требуя от прихожан прекращать их, не допускать «невенчанных» супругов к причастию, приравнивая гражданский зарегистрированный брак к блуду. Однако на Священном синоде РПЦ в декабре 1998 года священникам, придерживавшимся таких установок, было разъяснено, что, хотя церковь и подчеркивает необходимость венчания, она с уважением относится и к гражданскому браку. То же самое было подтверждено и в «*Основах социальной концепции Русской Православной Церкви*».

Подавляющее большинство зарегистрированных брачных союзов — это и поныне гражданские, а не церковные браки. Хотя только гражданские браки признаются официально, государство больше не препятствует религиозным бракам. Именно поэтому венчания, не имеющие юридической силы, обычно совершаются вслед за регистрацией брака в ЗАГСе.

Церковный развод достаточно сложен, к тому же церковь признает весьма ограниченное число поводов к нему. Как и ранее, церковью не поощряется второбрачие, однако после законного развода духовные пастыри обычно не препятствуют невиновной стороне вступить в новый брак. Для стороны же, инициировавшей развод, второй церковный брак разрешается лишь после покаяния и выполнения епитимьи. Третий брак допускается только в исключительных случаях, и срок епитимьи увеличивается. Как и в давние времена, православные идеологи настаивают на том, что половые отношения возможны лишь в браке, именуя внебрачные или добрачные связи блудом (*Основы социальной концепции* 2000, 61—62, 65—66). Таким образом, Русская Православная Церковь призывает свою паству следовать традиционным нормам брачных отношений. Другой вопрос — насколько люди выполняют эти предписания. Современная ситуация (распространение добрачных связей, незарегистрированных брачных союзов, высокая разводимость) свидетельствует, что особого отклика призывы Церкви пока не находят. Хотя большинство населения причисляет себя к верующим, по-настоящему воцерковленных людей немного, а считающие себя православными подчас довольно легко, поверхностно и лишь на словах каются в содеянном (развод) и исполняют епитимью, чтобы получить формальное благословение на следующий брак.

На чем же держатся сейчас российские браки? Социологический опрос, организованный газетой «*Аргументы и факты*», показал такую картину: 28% опрошенных сказали, что их брак держится на «любви», 19% — на «детях», 17% — на «деньгах», 17% — на «привычке», 7% — на «дружбе», 3% — на «безысходности», 9% назвали другие причины сохранения их браков (*Аргументы и факты* 2002, № 45).

Сохранение сравнительно высокой значимости брачных уз для создания семьи остается заметным среди молодежи, хотя в понимании содержания брака и моделях ролевого взаимодействия супругов или партнеров появилось значительное разнообразие. По-прежнему существует традиционная модель брака, соответствующая исторически сложившемуся распределению ролей: муж — кормилец, жена — хранительница «домашнего очага». Однако в последние годы все больше распространяется модернизированная модель, когда оба супруга в равной или почти равной мере отвечают как за материальное обеспечение семьи, так и за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Браки в описываемых союзах оказываются при этом менее прочными, так как семейные роли мужа и жены становятся взаимозаменяемыми, и брак сохраняется, пока существуют и крепнут взаимное уважение, любовь, сексуальная и эмоционально-психологическая привязанность супругов друг к другу.

Оценивая произошедшие изменения, можно прийти к выводу, что на рубеже веков и тысячелетий в России (вслед за Западной Европой) сформировалась тенденция к переходу от зарегистрированных браков к незарегистрированным «добровольным союзам», которые ранее именовались «сожительством». Особенно ярко эта тенденция проявляется в молодых поколениях. Возраст вступления молодежи в первый зарегистрированный брак заметно возрос. По-видимому, это объясняется неверием молодежи в пожизненный характер брака и нежеланием создавать себе лишние проблемы с разводами и разделом имущества. Поскольку семейный статус человека, заключившего законный брак, все еще имеет определенную привлекательность в силу гарантированных привилегий (например, получение вместо пресловутой «прописки» права быть «зарегистрированным» в мегаполисе), сохраняется тенденция заключать иногда фиктивные браки и прекращать оные, как только поставленная браком цель оказывается достигнутой (Фаис 1994, 170).

Подводя общие итоги, можно констатировать, что, несмотря на все проводившиеся в СССР эксперименты в сфере брачно-се-

мейных отношений и стремление советского государства жестко контролировать брачное поведение своих граждан, после того как государственное вмешательство в личную жизнь людей прекратилось, ситуация в области брака и семьи в России заметно приблизилась к ситуации в странах Западной Европы. Зарегистрированные и незарегистрированные браки перестали резко различаться между собой по статусу партнеров, по последствиям и по своей привлекательности для вступающих в них людей. Обязательства, традиционно налагаемые браком, могут быть выражены другим способом, например брачным контрактом. Аналогично и преимущества, которыми ранее располагали вступающие в брак, могут быть выражены и без закрепления брачных отношений через официальные органы. Общество стало значительно терпимее относиться к небрачному сожительству, что значительно сблизило фактический статус брачных партнеров и пар, не связанных узами брака.

Изучение института брака в России на протяжении XX века свидетельствует о том, что браку (как, впрочем, и альтернативным формам сожительства) присущи собственные закономерности развития. Как мы старались показать в нашей статье, история России XX века буквально переполнена экспериментированием, в том числе и в сфере брачно-семейных отношений. Эти эксперименты носили самый разный характер и порою были выражением прямо противоположных устремлений: от попыток предоставить полную свободу в брачных отношениях (1920-е годы) до стремления все поставить под контроль и регулирование со стороны государства (1930—1950-е годы).

Казалось бы, именно эти эксперименты и должны были трансформировать брак в России. Однако отнюдь не они, а имманентно присущие этому социальному институту внутренние механизмы функционирования заставляли его вновь и вновь возвращаться к устоявшимся формам. В настоящее время тенденция к постоянному вмешательству в частную жизнь (и, следовательно, брачную жизнь) через общественные организации осталась в социальной памяти скорее как воспоминание. Напротив, интерес к бытовавшей в 20-е годы теории «свободы любви» и свободных форм брачности в условиях новой волны российской сексуальной революции не спадает, но вызывает живые дебаты.

Дэвид Л. Рансель

ПОСИДЕЛКИ, ПРИДАНОЕ, СВАДЬБА: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМУЖЕСТВА В СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ XX ВЕКА

Материал, представленный в этой статье, является частью более обширного исследования, в котором на примере трех поколений русских и татарских сельских женщин прослеживаются изменения в идеях и практике, связанных с репродукцией. В основе исследования — более ста устных интервью с женщинами, рожденными между 1899-м и 1937 годом. Интервью были собраны моими сотрудниками и мной в период с 1990 по 1994 год¹; фонограммы и расшифровки интервью хранятся в архиве Центра по изучению истории и памяти (*Center for the Study of History and Memory*) при Индианском университете. Целью данного исследования было проследить как проникновение западного медицинского дискурса о репродукции в сельские общины, так и те изменения в представлениях и практике деревенских женщин, которые это проникновение вызвало. Основное направление исследования было связано с вопросами беременности, деторождения, аборт, кормления маленьких детей и ухода за ними. Образование семьи, т.е. ухаживание и свадьба, было одним из аспектов этого исследования, хотя и не являлось его основным фокусом: мы начинали интервью с женщинами с вопроса о том, как они познакомились со своими супругами. В результате было собрано достаточно материала об ухаживании и заключении брака для того, чтобы сделать определенные выводы о практиках формирования семей в русских и татарских деревнях в первой половине XX столетия².

¹ Интервьюеры, участвовавшие в проекте: Ольга Глазунова, Татьяна Листова, Инна Пешкова и Гузель Шугаева.

² Более объемное исследование, частью которого является настоящая статья, см.: Ransel (2000).

Поскольку тема ухаживания и вступления в брак не являлась основным предметом исследования, в интервью она появлялась случайно и непоследовательно. Эта особенность материала об организации семьи не позволила проследить четкие различия между тремя поколениями. В итоге обычаи, связанные с вступлением в брак, распались на два характерных периода: до- и послеколлективизационный.

Причиной для сравнения организации семьи у русских и татар послужила значительная разница показателей выживания их детей. Я хотел выяснить, в какой степени религиозные нормы и унаследованные обычаи (например, длительное кормление грудью у мусульман) были перенесены в XX столетие. Оказалось, что и в ухаживании, и в заключении брака между двумя группами также существовали некоторые различия, которые, однако, исчезли со временем.

* * *

Основной целью большевистской семейной политики было преобразование института брака. Первый указ о семейном праве, изданный вскоре после Октябрьского переворота, упразднил обязательную религиозную службу при заключении брака и свел эту процедуру к простой гражданской регистрации. Целью этого нововведения было не просто снять религиозный контроль с этого ключевого социального института, но и освободить брачный союз от других ограничений, включая авторитет родителей, особенно хозяина дома, способных повлиять на выбор двух индивидуумов. Вскоре новый порядок привился в городах, а со временем и в деревне. В отличие от крещения и аборт, по поводу которых деревенские женщины выказывали сопротивление коммунистическому режиму, традиционные формы бракосочетания — обязательные смотрины, сватовство, выкуп за невесту, приданое и венчание, отражающие природу брака как священного и материального союза между двумя семьями, вскоре покорились требованиям нового времени.

Однако не является очевидным, что ключевое влияние на укоренение новой формы бракосочетания в деревне и, таким образом, на подспудное подтачивание патриархального уклада оказали именно законодательные перемены и сопутствующие мероприятия коммунистической партии по их практическому внедрению. Условия, при которых партнеры встречались и принимали реше-

ние о вступлении в брак, среди русских и — в меньшей степени — среди татар ускользали из-под родительского контроля задолго до того, как большевики пришли к власти. Более того, революция 1917 года, Гражданская война, насильственная реорганизация деревенской жизни в 1930-е годы и Вторая мировая война привели к тому, что значительное число мужчин оказалось вдали от семей, и проблема патриархальной власти временно утратила былую актуальность. Женщины оказались предоставлены сами себе, были вынуждены учиться самостоятельно устраивать свои дела, в том числе искать партнеров и организовывать приготовления к свадьбе. Патерналистское коммунистическое государство, стремившееся заместить собой патриархальную власть хозяина дома, оказывало поддержку новым институтам, использовавшимся семьями при окончательном переходе к современным светским матримониальным практикам.

Уже при Петре I было издано постановление, согласно которому никто не мог быть принуждаем к браку помимо собственной воли, хотя этот закон вряд ли действовал за пределами привилегированных классов³. На протяжении всего периода крепостничества во власти деревенского хозяина было принудить детей к браку или же не допустить брачного союза, избранного детьми. Иногда крепостные владельцы требовали от хозяев женить дочерей, чтобы обеспечить наибольшее число «тяглов»⁴. Отмена крепостничества, однако, вызвала увеличение числа молодых женщин, работающих за пределами семейного двора, активизацию передвижений и мужчин, и женщин между деревней и городом, а также сопутствующее ослабление авторитета главы дома. В этих обстоятельствах родители все меньше могли контролировать брачный выбор детей. Вопреки тенденции к возрастанию доли личного выбора до революции 1917 года, традиционные формы заключения брака, включая сватовство и венчание, сохранялись в русской деревне вплоть до окончания коллективизации, а во многих областях и вплоть до послевоенного периода. К 1950—1960-м годам эти устаревшие формы оказались забытыми. В недавнее время, после развала Советского Союза, практика венчания в церкви возобновилась, в отличие от других традиционных компонентов заключения брака, таких как формальное ухаживание, сватовство и визуальное доказательство девственности невесты.

³ Об истории вопроса см.: Семенова (1982, 15—34, особ. 22—23).

⁴ «Тягло» понималось как супружеская пара трудоспособного возраста (Александров 1966, 303—308).

Ухаживание и сватовство по-русски: старшее поколение

Почти все русские женщины старшего поколения информантов (те, чей первый брак пришелся на 1920-е — начало 1930-х годов) общались с молодыми людьми из своих общин до свадьбы и активно участвовали в выборе партнера. Случаи, когда отцы отказывались считаться с выбором дочерей и принуждали их к нежеланным бракам, были скорее исключением. На практике родители, очевидно, ожидали от своих дочерей, что те возьмут на себя все основные хлопоты по поиску будущего супруга, прежде чем вся семья включится в процедуру традиционного сватовства и торжественных ритуалов.

Для некоторых женщин этого поколения традиционные молодежные вечеринки, такие как «посиделки», оставались основным местом общения молодых людей и выбора партнеров. Посиделками назывались вечерние сходки деревенских девушек. Обычно для этой цели они занимали ненаселенный дом или арендовали дом какой-нибудь деревенской вдовы, чтобы поговорить и попеть вместе, занимаясь тем временем шитьем, вязанием и другими рукоделиями. Деревенские юноши заходили и присоединялись с музыкальным сопровождением, песнями и плясками. Игры с поцелуями были частью развлечений. По мере того как вечер близился к концу, некоторые пары уединялись, чтобы узнать друг друга поближе.

Тетя Валя (р. в 1902 году, вышла замуж в 1923-м) встретила своего мужа на одной из подобных вечеринок во время Святков⁵. Она вспоминает эти вечеринки как самую счастливую пору своей юности. Ольга Мальцева также с нежностью вспоминает посиделки в своей деревне в Новгородской области. «Мы тогда откупим какой дом свободный, там и гуляем, танцуем, пляшем». Сельский клуб у них появился только в 1949 году. Вечеринки в ее деревне были известны как «запрядки», потому что девушки в основном занимались ручным прядением. Когда они уставали (или просто ленились, по замечанию Ольги), они обычно отдыхали, танцуя под гармонь, тогдашний излюбленный народный инструмент. Особенно они любили Святочные вечеринки. Прясть при этом не требовалось, и молодежь просто гуляла и развлекалась в течение двух недель. «По деревням ездили на конях. Тогда было много лошадей

⁵ Валентина Трипапина, интервьюер — Рансель; Лайково, Московская область, 8 июля 1990 года.

[имеется в виду, до коллективизации. — Д. Р.]. Теперь-то не на ком стало ездить, а тогда-то было столько коней. На конях ездили в чужие деревни, а потом они к нам приезжали. Весело было тогда». Когда она и ее кавалер определились с выбором (это было в 1931 году, и ей было 18 лет), началось сватовство:

Нас отец не отдавал никого силой [у Ольги четыре сестры. — Д. Р.]. Мы все находили сами мужей себе. Приходили сваты, мать. У мужа не было отца — он умер рано. Жених пришел с матерью и с Василием Васильевичем — двоюродным братом. Потом свадьба, венчались в церкви. Церковь была хорошая, венчались в церкви⁶.

Только двое из наших русских информанток вступили в брачный союз, организованный семьей и сватами при минимальном участии самой невесты. Прасковье Курковой, нашей старшей информантке из Московской области (р. в 1899 году), было около 23 лет, и она работала поваром в местном детском доме (одном из тех, что были учреждены для присмотра за миллионами бездомных детей, которых расплодили революция и война)⁷, когда одна из ее сотрудниц предложила ей подумать о возможном браке с ее братом. До того, как ее сотрудница с еще одной женщиной пришли к ней для официального сватовства, у Прасковьи было всего две возможности познакомиться с этим мужчиной во время его вечерних визитов в их семейном саду. Хотя о свадьбе было договорено еще летом, сама свадьба состоялась только во время традиционно брачного сезона, после окончания осеннего сбора урожая⁸.

Это была ее первая свадьба. Во второй, и последней, у нее было еще меньше выбора. Вскоре после того, как от первого мужа она родила одного за другим двух детей, ее супруг скончался в 1927 году. Свекр принудил ее к браку с вдовцом. Коллективизация еще не началась; семья занималась частным земледелием и нуждалась в трудоспособном мужчине. Для этого глава семьи нашел вдовца и организовал эту партию, не поставив в известность даже саму Прасковью⁹. Пока еще удерживалась хозяйственная система производства, женщины, подобные Прасковье, с весьма скромными

⁶ Ольга Мальцева, интервьюер — Рансель; Черная, Новгородская область, 25 мая 1990 года.

⁷ См. недавнее исследование этой проблемы: Ball (1994).

⁸ Прасковья Куркова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Жуковка, Московская область, 6 июня 1993 года.

⁹ «Дедушка заставил [ее], — говорит дочь Прасковьи, участвовавшая в интервью, — земля-то была своя, единоличники были... а работать некому. И... и все-таки нашелся один вдовец» (там же).

средствами и детьми, которых надо было растить, могли быть использованы так, как считал нужным хозяин, пекущийся о нуждах семейного коллектива.

Другой отчет о принудительном замужестве среди женщин старшего поколения сопровождается горькой историей о беспомощности молодой женщины перед лицом наветов, страха позора и отцовского авторитета. Лина Булдакова родилась в 1907 году и выросла вместе с девятью другими детьми в семье, глава которой был человеком работающим и придерживался строгих моральных устоев. У ее отца сложилась хорошая репутация среди крупных землевладельцев на северо-востоке Московской губернии; еще будучи молодым человеком, в течение многих лет он прослужил земельным распорядителем у одного из тамошних помещиков. Благодаря семейным связям, 20-летняя Лина была определена в качестве служанки к дочери одного бывшего барина. Она прослужила в этом доме уже 2 месяца, когда пришло письмо от ее отца: «Гордая дочь! Ты мне не дочь, я тебе не отец. И в дом мой дверь тебе закрытая. И не приезжай больше домой».

Как вскоре выяснилось, одна из ее двоюродных сестер распустила слух о том, что Лина уехала, чтобы тайком сделать аборт, — слух, которому Линин отец по каким-то причинам с готовностью поверил¹⁰. Лина проплакала целый день, а вечером, когда вернулись ее хозяева, попросила позволения вернуться домой. Те предложили пойти в больницу, «чтобы мне врач дал справку, что я девчонка», но Лина не могла себе представить, что какая-то справка успокоит ее отца, и решила все-таки самой немедленно отправиться домой. Путь был долгим, только к 11 часам вечера добралась она до дома. Домашние были крайне удивлены ее приходу. Отец, который к тому часу уже спал, проснулся и выволок ее за волосы из дома с криками: «Ты мне не дочь!»

Остальные члены семьи принялись сетовать, что, мол, некуда ей идти посреди ночи, да еще и в мороз, и отец уступил, позволив ей ночевать в неотапливаемом сарае рядом с домом. В 5 часов утра он вышвырнул ее и оттуда, еще раз повторив: «Чтобы и духу не было». Мать Лины, также думая о худшем, плакала: «Дочка, дочка! Что ж ты себя загубила...»

¹⁰ Подозрение отца, возможно, возбудил тот факт, что Лину на эту должность пристроил не он сам, а старшая сестра Лины, работавшая у родственников того семейства, куда была определена Лина. Лина Булдакова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Введенское, Московская область, 5 июня 1993 года.

Лине удалось получить медицинскую справку, удостоверяющую ее невинность, и это послужило примирением между ней и отцом (он даже подал в суд на болтливую кузину за клевету на честное семейство). Но уже на следующий день, не спросив Лины и не поставив ее в известность, отец договорился с ее немедленным браке с человеком, которого она ни разу в жизни и не видела.

История Лины (слишком длинная, чтобы излагать ее здесь в деталях) включала в себя все классические элементы мелодрамы. Судя по тому, как бойко, без каких-либо дополнительных распросов с нашей стороны, она излагала случаи из своей жизни, я полагаю, что эту историю она много раз рассказывала своим близким друзьям и членам семьи. Пытаясь вызвать наше сочувствие, она подчеркивала свою невинность, мужество и то, что она была лишь жертвой. Ее история является важным примером авторитета отца, обладавшего полным контролем над имуществом и домохозяйствами в домохозяйствах до начала коллективизации. В то же время история Лины служит и объяснением того, почему условия ее брака так отличались от союзов ее современниц, ковенно свидетельствуя об ослаблении власти отцов определять судьбы детей.

Важно отметить, что скороспелые ухаживания и принудительные браки не были типичным явлением среди женщин старшего поколения. Большинство наших информанток либо работали при доме и знакомились с юношами на местных вечеринках, либо работали вне дома нянями или даже на фабриках. Олимпиада Бахместерова (р. в 1902 году) пошла работать рано, так как отец ее умер, когда она была еще очень молода. Сначала, в течение 9 лет, она работала няней, а потом ушла на фабрику, где и проработала вплоть до замужества, накопив достаточно денег для постройки дома в подарок будущему мужу¹¹. Анастасия Шишанова, работавшая при доме на семейном наделе, вышла замуж в 1928 году за соседа, с которым была хорошо знакома еще до сватовства. Члены обеих семей были независимыми земледельцами, а семья жениха держала еще и кузнечное дело. Мать будущего жениха со своей старшей невесткой однажды пришли домой к Анастасии, чтобы попросить ее руки, и все было устроено очень быстро¹². Елизавета Николаева работала вдаль от своей деревни, в Твери. Была ня-

¹¹ Олимпиада Бахместерова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Старое Село, Московская область, 7 июня 1993 года.

¹² Анастасия Шишанова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Царево, Московская область, 6 июня 1993 года.

ней в семье ассистента врача и его супруги-швеи, пока в 1926 году не вернулась домой, чтобы в возрасте 21 года выйти замуж. Серьезно поспорившись с мужчиной, с которым она была уже помолвлена («Он уж после-то мыкнулся, а уж все»), она вскоре нашла более подходящего кандидата¹³.

Итак, женщины старшего поколения в большинстве случаев имели возможность самостоятельно принимать решение о своем брачном союзе. Хотя традиционные формы сватовства еще продолжали практиковаться, они служили лишь средством осуществления уже неформально принятых решений.

Свадьбы и приданое в русских деревнях

Одно дело — найти партнера, совсем другое — организовать свадьбу. Традиционная свадьба описывается этнографами как затяжная процедура, которая могла длиться неделю, а иногда и дольше¹⁴. Свадебная практика значительно варьировалась от местности к местности, но, как правило, включала в себя визит сватов, договор об обмене приданым или же подарками, распределение денежных расходов на свадьбу, свадебные причитания будущей невесты, которые она пела со своими подругами, взаимные визиты семей, вечеринки в обоих домах, венчание в церкви. Кульминацией всего этого обычно было двухдневное домашнее празднество, деревенская процессия, венчание и, наконец, первая брачная ночь¹⁵.

Для большинства наших информанток старшего поколения свадьба включала в себя церковную церемонию. Те, кто рассказывали о своем свадебном опыте, непременно упоминали, что «играли свадьбу два дня, как положено», с венчанием¹⁶. Мария Сомова из Тамбовской области, которая проходила только гражданскую регистрацию при заключении брака, так как ее муж был против-

¹³ Елизавета Николаева, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Царево, Московская область, 6 июня 1993 года.

¹⁴ Наиболее полное исследование последнего времени см. Балашов и др. (1985), хотя фокусом его является специфическая северная форма свадебного обряда.

¹⁵ Версию Рязанской губернии рубежа веков см. Semyonova Tian-Shanskaia (1993, Ch. 6).

¹⁶ См., например, отчеты Марии Абрамовой и Анны Реутовой, оба интервью — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

ником религии, объясняла, что «другие в это время почти все венчались»¹⁷.

Несмотря на то что большинство женщин были независимы в выборе партнеров, организация свадеб по-прежнему проводилась традиционно, при участии сватов, которые, как правило, были членами заинтересованных семей. Основной задачей сватов была выработка порядка оплаты свадьбы. Центральным пунктом, однако, были непосредственные расходы на свадебные празднества, а не приданое или выкуп, которые утратили свое значение после отмены крепостничества в XIX веке.

Хотя приданое может подчас быть важным составляющим компонентом брака в традиционном обществе и включать в себя обмен движимым и недвижимым имуществом, русское «приданое» чаще всего подразумевало одежду, постельное белье и другие предметы, необходимые молодой семье. Невесты крайне редко приносили в семью значительную сумму денег, землю или домашний скот. В некоторых областях России свадьбы когда-то включали в себя выплату выкупа за невесту (так называемую «кладку»). Семья жениха должна была выплатить компенсацию семье невесты за потерю рабочей силы. Выкуп за невесту был одним из механизмов, применяемых деревенскими жителями для сохранения приблизительного равенства ресурсов среди хозяйств общины, что соответственно должно было позволить всем семьям на равных выплачивать общинные налоги и выполнять другие обязательства. Но эта практика, похоже, прекратилась после отмены крепостничества и последующего упадка деревенской общины. Так или иначе, ничего подобного наши информантки не упоминали, не исключая и жительниц Тамбовской области, где, согласно Стивену Хоху, выкуп за невесту был непременной статьёй брачного договора в крестьянской среде в течение всего периода крепостничества (Hoch 1986, 95—106).

Среди предметов приданого чаще всего упоминаются женщинами постельное белье, платья и кухонные приборы, хотя подарки более состоятельных семей включали также и предметы мебели. Финансовое состояние хозяйства, разумеется, играло важную роль. Среди опрошенных жительниц Московской области у Анастасии Спиридоновой (вышла замуж в 1928 году) приданое было крупнее обычного. «Одета я была прилично, хорошо... Из мебели

¹⁷ Мария Сомова, интервьюер — Листова; Пахотный угол, Тамбовская область, 1994.

я приносила, сейчас я вам скажу, сколько, три стула, не то четыре, я сейчас забыла. Три, четыре стула, так, укладку... там все свое... одежда. Правда, одета я была прилично»¹⁸. Здесь уместно еще раз упомянуть случай Олимпиады Бахместеровой: ее свадебным подарком жениху был новый дом. Однако, как правило, приданое было достаточно скромным. Зинаида Шумкова, вышедшая замуж в 18 лет в нелегком 1933 году, презрительно описывает свое приданое:

«Какое приданое? — отвечает она на наш вопрос. — Худое-рваное. Какое там приданое?! Почти ничего не было. Бабушка дала подушку, бабушка дала подзор. Тетка дала полотенце. Другие тетки дали наволочки. А пододеяльников не было. Пока я вот только замуж вышла, и тогда только пошли пододеяльники... А чего было? Простыни, 4 там наволочки, нет, наволочек 8 было. Там же 4 подушки, чтобы сменка была. Надавал кто чего»¹⁹.

Хотя у Анисьи Гуреевой, вышедшей замуж в Рязанской области в 1931 году, дела обстояли немногим лучше, она описывает свое приданое в более оптимистичных тонах. Свадьбу справляли на старинный лад, как в доколхозное время. «Венчались. Приданого большого мама не готовила, но белье постельное, то есть матрас, перины, подушки — это уж обязательно приготовили, как положено»²⁰.

Среди женщин одной из уральских деревень картина была во многом похожей, за исключением того, что помимо постельного белья, матрасов и т.п. приданое могло включать в себя обувь или пальто из овечьей шкуры. На западе Сибири теплая зимняя одежда была жизненно необходима. Одним из обычаев, сохранявшихся в этом регионе вплоть до послевоенного периода, было выставление на публичное обозрение предметов приданого, которое семья давала за невестой. Александра Гиберт (вышла замуж в 18 лет, в 1939 году) рассказывает, что «раньше-то ведь вышивали все, развешивали к свадьбе, показывали, развешивали обязательно. Вот невеста с женихом-то сидят, а тут на стены набьют гвоздочки, развешивают полотенца, раньше вышивали, у меня еще и сейчас есть»²¹.

¹⁸ Анастасия Спиридонова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Лепешки, Московская область, 7 июня 1993 года.

¹⁹ Зинаида Шумкова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Федоровское, Московская область, 5 июня 1993 года.

²⁰ Анисья Гуреева, интервьюер — Листова; Киясово, Московская область, 1993.

²¹ Александра Гиберт, интервьюер — Пешкова; Маминское, Свердловская область, лето 1993 года.

Анна Паначева (вышла замуж в 19 лет, в 1947 году) также свидетельствует, что, хотя ее приданое было не такое, как у некоторых в те дни, были и у нее подушки, матрас и вышитые полотенца — последние вывешивались напоказ²². Таланты невесты в рукоделии продолжали цениться вплоть до самого последнего времени.

В черноземной Тамбовской области приданое женщин старшего поколения иногда включало в себя и более существенные предметы. Мария Сомова, как и большинство информанток этого поколения, проживающих в этой местности, называла среди обычного набора кровать, пуховую перину, подушки, одеяло и одежду²³. Но не всем так везло. Мария Абрамова, вышедшая замуж в засушливом 1933 году, говорит, что люди в те дни не могли собрать приданое, так что у нее была только кровать, которую просто перенесли в дом семьи жениха²⁴.

Были, однако, и такие, кто мог похвастаться приданым, включившим деньги или землю. Анна Реутова (вышла замуж в 1929 году) говорит, что ей «в приданое отец дал 7 сажень земли», в придачу к обычному домашнему набору²⁵. Другая женщина, вышедшая замуж в 1934 году, сообщает, что у нее в приданом были наличные деньги, в дополнение к кровати и сундуку с обычными вещами. Она также упоминает, что богатые деревенские жительницы получали в приданое домашний скот (телок и овец)²⁶.

Пожилые женщины тамбовских деревень рассказывали еще об одном аспекте традиционного брака, о котором они знали от своих матерей, хотя самих их эта доля миновала. Речь идет об общей практике выставления на публичное обозрение окровавленной сорочки невесты. Невеста должна была отдать свою сорочку немедленно после первого полового акта первой брачной ночи, и семья жениха затем выносила эту сорочку на тарелке на обозрение всей деревне, что обычно сопровождалось шумным весельем (см.: Semyonova Tian-Shanskaia 1993, 86—90). Впрочем, среди наших ин-

²² Анна Паначева, интервьюер — Пешкова; Маминское, Свердловская область, лето 1993 года.

²³ Мария Сомова, интервьюер — Листова; Пахотный Угол, Тамбовская область, 1994. См. также интервью Марфы Маликовой, Марии Маликовой и Анны Марковой, Тамбовская область.

²⁴ Мария Абрамова, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

²⁵ Анна Реутова, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

²⁶ Прасковья Криволапова, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

форманток, даже старейших из них, этот обычай сохранился лишь как воспоминание. Прасковья Криволапова говорит: «Я честной замуж выходила, и так вроде все. Мама рассказывала, что раньше испачканную рубашку невесты на тарелке выносили»²⁷. Пелагея Никулина (вышла замуж в 1930 году) рассказывает то же самое: «Я выходила замуж девушкой, хотя в это время уже не проверяли невинность, а раньше было, на тарелке рубашку подавали»²⁸.

Браки после коллективизации: русские

Опыт юных лет и семейной жизни русских информанток младших поколений — тех, кто выходили замуж в конце 1930-х годов, во время войны и в послевоенные годы, — отличался от опыта их предшественниц. Эти женщины были намного образованнее (многие из них окончили начальную школу) и выросли или, по крайней мере, пережили пору отрочества уже после коллективизации. Они сами принимали решение о выборе брачных партнеров; участие родителей и сватов было минимальным. Несмотря на некоторое улучшение условий существования церкви во время и после Второй мировой войны, венчание почти полностью исчезает из описаний этих женщин. Большинство женщин этого поколения либо вполне устраивала гражданская регистрация (с последующим семейным торжеством), либо они шли на этот выбор, не желая обременять себя рискованной и недешевой религиозной церемонией в удаленной церкви.

В рассказах младшего поколения сельских женщин появляется и нечто совершенно новое: развод. Хотя развод был официально разрешен и доступен в принципе с самых первых дней советского режима, упоминания о нем встречались в свидетельствах наших информанток старшего поколения всего раз или два²⁹. Для

²⁷ Там же.

²⁸ Пелагея Никулина, интервьюер — Листова; Инаковка, Тамбовская область, 1994 год. В деревушке, находящейся в небольшом удалении от двух Инаковок, даже память об этом обычае, если он когда-либо и практиковался, стерлась. «Невинность невесты у нас не проверяли, да, пожалуй что, и все честные были, стыдно ведь было бы, и перед людьми, и перед мужем», — говорит Мария Сомова из деревни Пахотный Угол, интервьюер — Листова; лето 1993 года.

²⁹ Каплун (1929, 91) тем не менее предлагает данные, согласно которым, около 10% мужчин и женщин в сельских местностях вступают в повторный брак, завершив первый брак разводом (цит. по: Goldman 1986).

младших поколений развод был важной частью жизненного опыта, и некоторые женщины использовали эту возможность, чтобы освободиться от несчастливых браков.

Эти изменения можно проиллюстрировать с помощью примеров семейного опыта информанток из Московской и Новгородской областей. У самого старшего информанта отношение к женитьбе было достаточно легкомысленным. В. И. Зайцев, деревенский учитель, повстречал свою будущую супругу (он и его жена давали интервью как супружеская пара) в конце 1930-х годов. Мы спросили его: «Когда вот вы женились, вы как-то сватались?» — «Нет, не сватались, — отвечает он. — Просто как-то пришла она ко мне на квартиру. Вот, ну, и мы познакомились. Она бухгалтером работала. Вот. Питаться вместе стали. Вот. Вот, и стали это... И стали вместе жить»³⁰.

Нина Новожилова встретила своего будущего мужа на фабрике в Красноармейске; когда в 1946 году они поженились, ей было 30 лет, около половины из них она проработала на фабрике. Свадьба не упоминалась³¹. Анна Зуева, фельдшер, работала вдали от дома на севере Новгородской области, когда она встретила своего избранника и вышла замуж в конце 1930-х годов (вскоре ее супруг погиб во время зимней военной кампании в Финляндии). «У нас родители в наше время не вмешивались. Без родителей, самостоятельно». На мой вопрос: «Ваша дочь тоже не спрашивала разрешения?» — она ответила: «Да, тоже нет, не спрашивала. А вот внучечка уже спрашивала, приезжала, показывала жениха. Это значит, умнее немножко, — изменились условия»³². Своим последним замечанием Анна, видимо, хотела сказать, что дети больше не чувствуют необходимости отвергать родительскую систему ценностей. Антония Ларшина вышла замуж в своем совхозе в 1948 году, в возрасте 25 лет, родила двух детей и развелась³³. Анастасия Кузина, вышедшая замуж неожиданно в 1941 году за человека старше ее на семь лет, сообщает загадочно: «Мы выходили по горю». Затем она объясняет:

³⁰ В. И. Зайцев, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Федоровское, Московская область, 5 июня 1993 года.

³¹ Нина Новожилова, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Назарово, Московская область, 6 июня 1993 года.

³² Анна Зуева, интервьюер — Рансель; Черная, Бацевский район Новгородской области, 24—26 мая 1990 года.

³³ Антония Ларшина, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Орлово, Московская область, 8 июня 1993 года.

Так еще и даже друг дружку, можно сказать, не знали. И он у нас не был [и жил в другом месте]. Поехал он перед два... это... двадцать девятого апреля у него умер отец. Вроде приехал — у него горе. Нам его жалко сделалось. Он это самое... А третьего мая у меня отец умер. А у мамы брат был уже, когда отец умер, брат-то был в армии. А здесь у нас... А мы — одни девчонки. Больше не было никого. Ну, вроде вот подклю... он подключился. Там-то только схоронил — опытный, поос... уже в годах. Он шестнадцатого года-то. Я — с двадцать третьего. Ну, моим родным-то он вроде как и понравился. И все дяди и тетки говорят: «Ну, а чего, Насть, тебе лучше-то искать? Выходи за него замуж».

Всего через несколько дней Анастасия со своим женихом пошли в ЗАГС и оформили свой союз. Времени на свадебные торжества у них не было, да по большому счету и на саму семейную жизнь времени было не так уж много: меньше чем через месяц, 22 июня 1941 года, началась война, и муж Анастасии был мобилизован³⁴. И, наконец, Нина Грачева, вышедшая замуж в 1949 году, родила ребенка, вскоре развелась, а повторно вышла замуж только спустя десять лет, в 1961 году³⁵. Ни в одном из этих случаев не было и упоминания о сватах или венчании.

Сходная картина наблюдается и в смоленских, и в уральских деревнях. Из семи опрошенных жительниц Смоленской области, рассказывавших о своих свадьбах, ни одна не говорила об участии сватов или о церемонии венчания в церкви. Старейшая из них, Елена Сорокоумова, вышедшая замуж в 1937 году, говорит, что ее приходская церковь была закрыта, и люди не были готовы ехать пятнадцать километров до ближайшей действующей церкви³⁶. После войны свадьбы в этом регионе также крайне редко сопровождалась церковным венчанием. То же самое рассказали нам жительницы уральских деревень: браки четверых русских женщин, вышедших замуж после войны, были браками по любви³⁷. Одна из них упомянула, что, хотя сваты и были задействованы, она и ее

³⁴ Ее муж, в отличие от многих других, вернулся с войны, и они продолжали жить вместе. Анастасия Кузина, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Введенское, Московская область, 6 июня 1993 года.

³⁵ Нина Грачева, интервьюеры — Глазунова и Рансель; Лепешки, Московская область, 7 июня 1993 года.

³⁶ Елена Сорокоумова, интервьюер — Листова; Никитино, Ельнинской район Смоленской области, лето 1993 года.

³⁷ Пятая наша информантка была исключением, впрочем, она была из мусульманских башкир, чей случай будет рассматриваться ниже, вместе с другими тюркскими женщинами.

жених хорошо знали друг друга и были согласны на брачный союз еще до этого³⁸.

Тамбовские деревни, для которых характерна устойчивость традиционного образа жизни, заслуживают более подробного рассмотрения. Опыт тамошних жительниц был очень разным. Анна Михалева, щепетильная в соблюдении религиозных предписаний во всем, что касается рождения и воспитания детей, была более чем легкомысленна в отношении собственной свадьбы: в 1946 году, когда она в 23 года выходила замуж, никакого венчания у нее не было. По ее словам, венчание в церкви было в те дни не принято. Ее дети тоже не венчались, потому что они состояли в комсомоле. Она замечает, что венчание снова обретает былую популярность с тех пор, как кончился коммунистический режим³⁹. Наталия Михалева (из той же деревни, что и Анна), вышедшая замуж на восемь лет позже, настояла на том, чтобы религиозная церемония была включена в двухдневное свадебное празднование, объясняя: «От невенчанных родителей дети незаконные считаются». Так же, как и предыдущая информантка, она сообщила, что ее дети, вопреки ее представлениям о незаконнорожденности, сочетались браком без какой-либо церковной церемонии, а теперь венчание снова становится нормой⁴⁰. Антонина Абрамова первый раз вышла замуж без венчания, в 1955 году. Через пять лет она потеряла мужа (он погиб в пьяной драке), а еще через девять лет она повторно вышла замуж, на этот раз обвенчавшись в церкви: к тому времени она уже изменила свое мнение относительно важности этого аспекта матримониальной традиции⁴¹. Анна Касякина, вышедшая замуж в 1961 году в возрасте 22 лет, не венчалась в церкви. «Мы не венчались, как-то в это время не все венчались. Своя церковь была закрыта, нужно было ехать в Кирсанов. А лучше бы венчаться»⁴².

Собрать стоящее приданое для женщин, выходивших замуж в 30-х годах и позднее, было задачей не из легких. Расхожее представление о том, что какое-то приданое обязательно должно быть,

³⁸ Анна Паначева, интервьюер — Пешкова; Маминское, Свердловская область, лето 1993 года.

³⁹ Анна Михалева, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

⁴⁰ Наталия Михалева, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

⁴¹ Антонина Абрамова, интервьюер — Листова; Инаковка-2, Тамбовская область, 1994.

⁴² Анна Касякина, интервьюер — Листова; Тамбовская область, 1994.

все еще сохранялось, но обнищание молодых женщин в результате коллективизации и Второй мировой войны, включая потерю отцов в обоих случаях, зачастую делали эти стандарты совершенно недостижимыми. Информантки рассказывают о том, что в приданом у них было постельное белье и другие предметы домашнего обихода, пусть даже и в очень скромных размерах. Одна женщина замечает, что ее приданое, состоявшее из 36 фунтов муки, считалось королевским, учитывая, что она выходила замуж в мае, т.е. в сезон, когда запасы муки уже иссякали⁴³. Но такое приданое в относительно благополучном для земледельцев 1937 году было, скорее, исключением. Другая жительница тех мест, вышедшая замуж двумя годами позднее, говорит, что ее жених потребовал в приданое более 500 фунтов зерна. Когда она отказалась (не горя желанием выходить замуж), он решил жениться на ней без приданого⁴⁴.

Татары: старшее поколение

Истории татарских свадеб и семейной жизни в царскую эпоху, известные по описаниям казенных чиновников и путешественников, таких как Милькович, д-р Карл Фукс и других, говорят о строгой изоляции женщин, в некоторых случаях даже об обязательном покрывании лица, а также об ошутимом выкупе за невесту (калым), включаемом в брачный договор о приданом, и т.д.⁴⁵. Найти подтверждение этим обычаям в интервью наших информантов непросто. Возможно потому, что более ранние исследователи сосредотачивались в основном на богатых городских и аристократических семействах, которые ко времени нашего исследования уже прекратили свое существование и чьих потомков не оказалось среди ограниченного числа опрошенных нами людей. Тем не менее рассказы наших старейших информанток-мусульманок несут на себе отпечаток традиционного образа жизни, описанного в источниках XIX века.

Свидетельства о жизни девушек из среды волжских татар в XIX веке говорят о том, что их обучали арабскому письму для чтения

⁴³ Елена Сорокоумова, интервьюер — Листова; Никитино, Ельнинский район Смоленской области, 1993.

⁴⁴ Елена Бобкова, интервьюер — Листова; Ельнинский район Смоленской области, 1993.

⁴⁵ См.: Милькович (1905, 7—10), Фукс (1844), см. также: Спасский (1912, 80—81); о башкирах см.: Назаров (1890), Руденко (1916).

молитв и стихов из Корана. В соответствии с принципом ислама о строгом разделении полов, девочки обучались отдельно от мальчиков. Мальчиковставлял деревенский мулла, девочек же обучала его жена («абыстай») (Сухарев 1904, 43). В свою очередь, дети должны были помогать семье своих духовных наставников, выполняя работы по дому (Бусыгин и др. 1986, 20). Такая школа была известна как «мектеб» (араб. *maktab*).

Уже в раннем возрасте девочки начинали работать дома нянями, а когда становились старше, помогали в других делах. В семьях победнее это подразумевало работу в поле, в более состоятельных семьях — работу по дому. Для девушек общение ограничивалось совместным шитьем; юношам на эти собрания путь был заказан. Только во время главных праздников, таких как «джиен», допускалось общение между полами. В отличие от русских, татары практиковали экзогамию, в соответствии с наставлениями их духовных лидеров искать партнеров, не состоявших в кровном родстве с местными семьями (Бусыгин и др. 1986, 22). У девушек, таким образом, как правило, не было возможности участвовать в выборе партнера; отвергнуть партию, организованную родителями, было для них практически нереально.

Переговоры о женитьбе включали в себя обмен разнообразными подарками между сторонами. Уже при первых попытках сватовства будущий жених или те, кто представлял его интересы, вручали небольшие подарки главным членам семьи потенциальной невесты. Основными дарами все же были «мегер» (или «мекер», араб. *makr*) и приданое. Источники XIX века упоминают также «калым», или выкуп за невесту, достигавший в состоятельных семьях достаточно значительной суммы, на собиранье которой порой уходили месяцы, в результате чего свадьба надолго откладывалась. Мы спрашивали всех наших мусульманских информанток о калыме и можем сказать, что, хотя эта концепция была им знакома, лишь немногие знали о ней по собственному опыту. Самое позднее упоминание о калыме, да и то достаточно туманное, относится к свадьбе, состоявшейся в 1935 году⁴⁶. Калым, как и русская кладка, утратил свое значение или исчез в советский период.

Упоминания о мегере встречаются чаще. Мегером называли выплату деньгами или имуществом, которая изначально осуществлялась в пользу родителей невесты (хотя, согласно Корану,

⁴⁶ Хатима Низамова, интервьюер — Рансель; Татарский Калмаюр, 15 июля 1990 года.

принадлежала самой невесте как залог на случай развода). В период поздней Российской империи мегер, очевидно, часто растрчивался на расходы, связанные с будущими свадебными празднествами и подготовку приданого (см.: Бусыгин и др. 1986, 23). Как и у русских, большая часть приданого состояла из необходимой одежды и предметов домашнего обихода. Родители или родственники невесты иногда дарили и домашний скот.

После того как семья договаривалась об обмене подарками, мог быть заключен непосредственно брачный союз. Центральной церемонией были молитва, возносимая муллою, и принятие клятвы, известной как «никях» (араб. *nikah*). Эта церемония, которой в русской православной традиции соответствовало венчание, могла иметь место за несколько дней до празднеств, связанных со свадебным пиром (а в советское время — до гражданской регистрации брака), но самого факта этой церемонии было достаточно, чтобы жених и невеста могли начать совместную жизнь как законная супружеская пара.

Старейшая информантка, о которой нам удалось собрать детальную информацию, родилась в 1889 году. Она была единственной дочерью зажиточного крестьянина, и когда в 1909 году она выходила замуж, ее семья дала за ней солидное приданое: две коровы, лошадь, 40 овец, сундук с домашней утварью, одежду и спальные принадлежности. Брак этот, организованный матерью жениха, был неравным по нескольким показателям. Жених был на 19 лет старше невесты, был дважды женат ранее и имел двух детей от первого брака (его вторая жена умерла от родов). Ко всему этому, он не был богат и мог позволить себе заплатить лишь очень скромный выкуп за невесту (калым). Видимо, его статус солдата, какое-то родство или же некие личные черты повлияли на выбор семьи невесты⁴⁷.

Еще одна представительница старшего поколения, Гюльджамал Тухватуллина (р. в 1896 году, в первый раз вышла замуж в 1911 году), также была единственной дочерью в довольно состоятельной семье. Брак 15-летней девочки с мужчиной старше ее на 16 лет был устроен родителями жениха без ведома самой невесты. Ее родные просто поставили ее перед фактом тремя днями позднее. Хотя она и сопротивлялась такому решению (по словам нашей инфор-

⁴⁷ Минзифа Мустафина, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года. Возможно также, что какой-то недостаток невесты не позволял надеяться на более выгодную для нее партию.

мантки, дочери Тухватуллиной), родители тем не менее настояли на этом браке. За невестой дали приданое, состоящее из коровы, двух овец, а также большого количества одежды, подушек, перин, стеганых одеял и пуховых платков. Жених калыма не платил. Родив троих детей, она овдовела (муж ее умер в 1921 году) и жила вдовой семь лет, после чего снова вышла замуж, на этот раз в качестве второй жены. Первая жена этого нового мужа была по болезни беспомощна, и одной из обязанностей Гюльджамал было заботиться о хворой. Полигамия, хотя и разрешенная по законам ислама, не имела широкого распространения среди волжских татар и в большинстве случаев была вызвана неспособностью первой жены исполнять свои обязанности. Наша информантка знала только четыре случая во всей большой деревне, когда мужчина приводил в дом вторую жену⁴⁸.

Хатима Низамова, на момент нашей встречи старейшая жительница своей деревни, родилась в 1903 году. В интервью, данном мне в 1990-м, а также в последующем интервью, данном Гузели Шугаевой тремя годами позднее, она утверждала, что получила хорошее образование по части Корана и что училась она 10 лет. Когда я спросил, действительно ли она посещала медресе, она ответила, что, мол, нет, она училась у жены местного муллы⁴⁹. Это была обычная практика для мусульманских девочек, но обучение это, как правило, продолжалось ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы выучить на арабском наиболее часто произносимые молитвы.

Хатима едва начала взрослеть, когда началась Гражданская война, а в начале 1920-х годов и голод в Поволжье. Голод атаковал дважды: первый раз в 1921 году, второй — в 1923-м. В отчаянии овдовевшая мать Хатимы отдала пятерых своих детей в детский дом в городке Меликеса (позднее — Димитровград), а Хатиму, старшую дочь, замуж. Партия была достаточно выгодной в материальном отношении: несмотря на тяжелые времена, семья жениха имела двух лошадей и корову. В подарок семье Хатимы они пре-

⁴⁸ Марьям Гимадеева, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года. Один из наших мужчин-информантов, живший в другой деревне, рассказал, что у его богатого, а впоследствии раскулаченного отца было четыре жены, из которых его мать была четвертой, и обращались с ней, как со служанкой. Рахмет Сулейманов, интервьюер — Рансель; Ульяновск, 15 июля 1990 года.

⁴⁹ Хатима Низамова, интервьюер — Рансель; Татарский Калмаюр, 15 июля 1990 года.

поднесли одежду и обувь, ее же приданое составляли теленок, пальто, шаль и постельное белье⁵⁰.

Жених Хатимы был их соседом, и всего двумя годами ее старше, они хорошо знали друг друга до того, как между их семьями была достигнута договоренность о браке. Стоит сравнить этот случай с историями первых двух женщин старшего поколения, чьи мужья были соответственно на 16 и 19 лет старше своих жен. Последняя схема верна и в отношении матери Хатимы, чей муж был старше ее на 12 лет, и в отношении родителей нашей следующей собеседницы (их разница в возрасте составляла 13 лет), а также и другой женщины из числа наших информанток (см. ниже — Шарифа)⁵¹. Среди татарских информанток, вышедших замуж после 1935 года, супруги были ближе друг к другу по возрасту: мужья были старше своих жен в среднем не более, чем на шесть лет, что значительно отличалось от модели, типичной для русских браков.

Процесс традиционного ухаживания и бракосочетания в татарской деревне лучше всего был описан Гарифабану Абдуллиной, родившейся в 1908 году и вышедшей замуж в 1928-м. Так же как и русские женщины, татарки, по словам Гарифабану, организовывали вечерние сходки в свободных домах. Однако более строгие правила мусульманского общества относительно разделения полов определяли разницу этих мероприятий. Татарские женщины занавешивали окна полотенцами, прежде чем приступить к шитью, пению и танцам. Татарские мужчины, в противоположность русскому обычаю, не допускались на эти вечеринки, и им приходилось стоять на улице⁵². Когда девушке пора было выходить замуж, отец будущего жениха приходил к ее родителям и обговаривал детали. Сторона невесты, в свою очередь, обеспечивала подарки ее новым «родителям»; в случае замужества Гарифабану — полотенце свекру и шерстяной платок свекрови. Приданое ее состояло из двух овец (одну дал ее отец, другую — брат), зимнего пальто, обычного пальто, платья и пухового платка. Ее отец, мать и брат, в свою очередь, тоже получили одежду в подарок. Семья жениха во время формальной церемонии заплатила и выкуп. Как объясняла Га-

⁵⁰ Хатима Низамова, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

⁵¹ Там же. Также Шарифа Ялишева, интервьюер — Рансель; Ленинград, 21 апреля 1990 года.

⁵² Гарифабану Абдуллина, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года. По поводу разделения полов см. также: Зухра Позднякова, интервьюер — Рансель; Красное Село, 20 апреля 1990 года.

рифабану, мужчины ее семьи созвали собрание (*giziat kabul*), на которое был приглашен и мулла. Когда все были в сборе, будущая свекровь вручила невесте поднос, на котором лежали 50 рублей, завернутые в шаль. Затем мулла осмотрел поднос, чтобы засвидетельствовать сумму, соответствующую соглашению⁵³.

На долю Шарифы Ялишевой, самой молодой из наших татарских информанток, принадлежащей к поколению вышедших замуж до коллективизации, выпал особенно несчастливый принудительный брак. Ее мука была тем сильнее, поскольку до этого ей довелось ненадолго глотнуть другой, свободной городской жизни. Шарифа была родом из традиционной деревни, где мусульманским женщинам запрещалось ходить в мечеть и на базар. Женщины состояли при доме и должны были покрывать волосы, выходя за его пределы. В 1930 году в восемнадцать лет, она поехала в Ленинград навестить родственников, и там ей удалось устроиться на работу в одну из городских больниц. Ее самой сильной мечтой было навсегда остаться в Ленинграде. Но через два года отец потребовал, чтобы она вернулась домой. Она сопротивлялась, он настаивал, и в конце концов она сдалась и вернулась в родную деревню. Отец договорился о ее браке с человеком старше ее и с четырьмя детьми на руках. Самым печальным, по ее словам, из всего, что ей довелось пережить, был этот подневольный брак с женщиной, к которому она не испытывала любви. Она рыдала дни напролет, так, что ее глаза превратились в опухшие нарывы. В Ленинграде у нее была свобода и работа, и вдруг ее отбросило назад в далекую деревушку, к мужчине, которого она не знала и детей которого ей пришлось растить. Вдобавок к этому, жаловалась Шарифа, она постоянно ходила беременной, так что было у нее семь родов (только четверо детей выжили), да еще и несколько аборт, сделанных тайком от мужа⁵⁴.

В отличие от своих русских современниц, татарские женщины старшего поколения — такие, какими они предстают в рассказанных ими историях, — были беспомощны против родительского авторитета. Выбор мужа и сроков замужества был абсолютно вне

⁵³ Гарифабану Абдуллина, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

⁵⁴ После войны она действительно вернулась в Ленинградскую область, когда ее семья переехала жить в Гатчину. Шарифа Ялишева, интервьюер — Рансель; Ленинград, 21 апреля 1990 года. Дополнительное интервью с родственницей Шарифы, Аминой Телешовой, интервьюер — Рансель; Ленинград, 8 мая 1990 года.

их контроля. Их истории также позволяют нам лучше понять образ жизни тех лет и в другом отношении. Домашний скот продолжал играть важную роль при обмене подарками, сопровождающем заключение брачного договора, что, возможно, являлось отголоском того, какое место занимала в жизни татар на протяжении долгого времени торговля скотом, особенно лошадьми. Продолжала практиковаться полигамия. Среди татарок старшего поколения, по всей видимости, процент грамотности был выше, чем среди их русских ровесниц, что являлось предметом особой гордости первых. Эта грамотность, однако, была определенного рода: она подразумевала лишь способность читать Коран или, по крайней мере, молитвы на арабском языке. Так как единственно доступными арабскими текстами были религиозные труды, это образование было направлено скорее на укрепление существующих устоев, чем на потенциальное открытие новых миров через доступ к письменному знанию.

Татары: после коллективизации

Ухаживание и замужество у представительниц младшего поколения татарских женщин, родившихся после 1917 года и вступивших в брак в середине 1930-х и позднее, во многом отличались от соответствующего опыта их старших современниц. Все они получили, по крайней мере, несколько лет светского образования, некоторые продолжали обучение и после завершения курса начального образования. Среди последних была одна из наших информанток, вышедшая замуж еще до Второй мировой войны. Марьям Гимадева родилась в деревне Калмаюр в 1918 году и окончила семь классов общеобразовательной школы, после чего продолжила свое медицинское образование в Казани, став дипломированной акушеркой. Она встретила своего будущего супруга в медицинском техникуме, — он учился на военного врача, — и они поженились в 1939 году в городке Бугульма, куда она была направлена работать по распределению. Не было в этом современном браке ни сватовства, ни приданого, ни выкупа за невесту⁵⁵. Достижения Марьям были, скорее, исключением, однако и ее татарские сверстницы, оставшиеся жить в деревне, были гораздо независимее в выборе

⁵⁵ Марьям Гимадеева, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

партнеров и определении сроков замужества, чем представительницы старшего поколения.

Новый вид образования был, несомненно, одним из важнейших факторов, вызвавших эти перемены. В деревне Калмаюр все женщины младшего поколения получили, по крайней мере, четыре класса общеобразовательной подготовки (базирувавшейся на использовании латинской или кириллической письменности, см. ниже). Некоторые доучились и до седьмого или восьмого классов, кому-то удалось продолжить свое образование. Помимо Марьям, профессиональной акушерки, можно назвать Розу Фахрутдинову (р. в 1933 году), которая окончила трехгодичный курс обучения в педагогическом училище в Меликесе и вернулась домой, чтобы работать пионервожатой в местной школе⁵⁶.

Немаловажным обстоятельством, характеризующим изменения методов обучения, была тирания, с которой навязывались перемены в языке и письменности. В 1920-х годах правительственным распоряжением был осуществлен переход с арабской письменности на латинский алфавит, подобно используемому в современной Турции. Спустя несколько лет государство потребовало дальнейших перемен: перейти с латинской письменности на кириллическую. Вмешательство партии-государства в подобные вопросы напрямую ущемляло авторитет муллы и традиционного образования, основанного на арабской письменности. Замкнутое культурное пространство, обеспечивавшее власть деревенских лидеров, оказалось под угрозой, что, в свою очередь, немедленно обнаружило неспособность деревенских руководителей противостоять радикальным переменам в форме письменности и открыло молодым женщинам доступ к знаниям, простирающимся далеко за пределы Корана и других религиозных текстов, которыми прежде ограничивалось их образование. Бессистемность светского образования этих женщин, хотя и тормозившая в некоторых отношениях их успехи, в то же время ослабляла деревенский патриархат, прокладывая им дорогу в город.

Но не только образовательные сдвиги подтачивали власть отцов в принятии решений о замужестве татарских женщин младшего поколения. Вряд ли можно отрицать важность того факта, что эти перемены стали происходить непосредственно после начала коллективизации. Коллективизация была направлена против не-

⁵⁶ Роза Фахрутдинова, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

зависимых хозяйств в целом и против власти отцов—глав этих хозяйств непосредственно. Независимо от того, соглашались ли они с политической коллективизации или противостояли ей (в коем случае их ссылали или расстреливали), авторитет их был подорван.

Реальная потеря отцов также оказывала влияние на эти процессы. Из-за коллективизации, войн и голода множество мужчин умерли безвременной смертью и не могли влиять на брачные решения своих дочерей. Ркия Камалетдинова (р. в 1922 году) потеряла отца в 1941-м. Когда она выходила замуж в 1946 году, переговоры проводила ее старшая сестра (мать их была тогда еще жива, но, по болезни, недееспособна). Семья была бедной, так что приданого за ней дать не могли, да и на свадьбу как таковую средств не было. Старшие члены семьи просто собрались вместе в доме невесты для проведения обряда «никях»⁵⁷. Зейнаб Гиматдинова осталась без отца в 1930 году, когда ей было всего семь лет. Через год она была вынуждена начать работать вместе с матерью в колхозе, чтобы прокормить себя и младших брата и сестру. Когда Зейнаб выходила замуж в 1955 году, переговоры вели ее мать и старший брат жениха. В обеих семьях отцов уже не было в живых, и они не могли одобрить или запретить этот брак. Необычной свадьба Зейнаб была еще и потому, что ей к тому моменту было уже 32 года. Супруг ее был на 13 лет старше и имел троих детей от первой жены, скончавшейся во время родов. Свадьба включала в себя вручение даров и приданого, как обычно, а жених вдобавок к приданому получил дом Зейнаб, когда ее мать вскоре после свадьбы уехала жить к сыну в Таджикистан⁵⁸.

Еще одна женщина, Затия Багаутдинова, родившаяся, как и две предыдущие информантки, в первой половине 1920-х годов, тоже рано потеряла отца, инвалида Первой мировой войны. После его кончины в 1930 году семья, чтобы как-то выжить, была вынуждена продать скот, включая лошадь и корову. Этого, видимо, оказалось, недостаточно, и мать Затии отдала свою семилетнюю дочь в няньки, чтобы ее там кормили в качестве платы. В 17 лет Затия

⁵⁷ Ркия Камалетдинова, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

⁵⁸ Свадьба могла быть вынужденным шагом, вызванным беременностью невесты: первый ребенок Зейнаб родился менее чем через девять месяцев (хотя, возможно, «никях» был проведен за некоторое время до свадьбы, что позволяло начать санкционированную религией сексуальную жизнь). Зейнаб Гиматдинова, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

поехала работать няней в Коломну, в семью, перебравшуюся туда из их деревни. Затия вышла замуж в 1947 году в возрасте 22 лет. Переговоры были затеяны женихом и его престарелой матерью, и мать Затии должна была принять условия соглашения, которые включали в себя приданое (подушки, занавески, постельное белье, скатерть) и подарки невесте (шелковую шаль, туфли и платье). Выкупа за невесту не просили; этот аспект брачных переговоров, и до того уже достаточно редкий, ко времени Второй мировой войны, по всей вероятности, почти окончательно исчез. Жених Затии был старше ее на 10 лет и, видимо, из-за войны не успел обзавестись семьей⁵⁹.

Все три информантки получили светское образование: Ркия окончила среднюю школу, Зейнаб — четыре класса (этого ей оказалось достаточно, чтобы позднее служить инструктором районного комитета партии), а Затия — шесть классов татарской школы во время системы латинской письменности. Так или иначе, но никому из них не пришлось сопротивляться требованиям отцов относительно их матримониальных планов. Материальные средства, которые были бы доступны, будь их отцы живы, несомненно, дали бы этим женщинам преимущество на брачном рынке, но в то же время они были бы вынуждены считаться с отцовским мнением.

Для тех татарских женщин, чьи семьи переехали жить в город, позиция родителей в принятии брачных решений не так четко озвучивалась, хотя формально их согласие все так же непременно требовалось. Фахиса Сулейманова родилась в деревне в 1930 году, и переехала жить с семьей в Ульяновск, когда ей было семь лет. Городок этот тогда был, по ее словам, небольшой, и она знала большинство татарских детей своего возраста. Молодые люди встречались на вечеринках и знакомились друг с другом. В противовес тому, как она представляла себе традиционный деревенский порядок, в городе партнеры сначала находили друг друга, и лишь потом к делу подключались родители. Это «не Азия», по замечанию Фахисы. Мужчина, за которого она решила выйти замуж, жил на одной с ней улице. Когда он вместе с сестрой пришел просить ее руки («Конечно, надо согласие родителей», — уточняет она), ее отец вышвырнул их из дома, сказав, что его дочь еще слишком молода для замужества. В свои 24 года Фахиса вряд ли была слишком молода в обычном смысле слова, но ее старшая сестра была

⁵⁹ Затия Багаутдинова, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

все еще не замужем, и это было серьезным препятствием. «Старшую дочь нельзя оставлять», — говорит Фахиса. «Это важно, — соглашаюсь я. — Как же получилось?»

- Ну, я все равно замуж вышла.
- С его согласия?
- Нет, нарушила я его запрет.
- Но он пришел на свадьбу?
- Конечно, пришел, пришел.

В городе, как это ясно из вышесказанного, отцовское слово не могло более играть решающую роль. Вопреки сопротивлению отца ее брачным планам для свадьбы были сделаны все обычные приготовления. Когда я спросил о калыме и приданом, она ответила, что мать рассказывала ей, как в деревне их семье удалось настоять на определенном числе и качестве подарков от жениха. Теперь, однако, семьи договариваются об обмене дарами в соответствии со степенью материального благополучия:

Да, каждой девушке готовится приданое — подушки, белье постельное, калыма нет у нас, просто договариваются со стороны жениха и невесты: мы будем подарки дарить такие, примерная стоимость, сколько родственников, родных сестер, сколько, чтобы знать, кому чего подарить, и примерно на такую же сумму другая сторона дарит подарки. Брату — рубашку, кто что может, отрезы на платье, тогда ситцевые отрезы были, дорого стоили⁶⁰.

В деревне деньги продолжали играть важную роль при заключении брачных договоров, возможно, в тех случаях, когда для убеждения требовались дополнительные аргументы. Нурания Бадриева противилась тому, чтобы деньги были фактором, определяющим ее замужество, все же состоявшееся в 1955 году. Первая попытка сватовства исходила от самого потенциального жениха, но Нурания категорически отвергла его предложение, потому что не любила его. Тогда юноша прибегнул к более традиционному способу. Во второй раз пришли его родители, деньги были предложены и приняты, и мать Нурании велела ей выйти за этого поклонника. Приданое, которое дала за Нуранией ее семья, включало трех гусей, трех овец, а также одежду, занавески и другие предметы домашнего обихода. Этот брак вместе с еще одним, состоявшимся в том же году, были в нашей выборке первыми со вре-

⁶⁰ Фахиса Сулейманова, интервьюер — Рансель; Ульяновск, 15 июля 1990 года.

мени 1920-х годов случаями, в которых фигурировал домашний скот, что указывает на возвращение в деревню относительного материального благополучия. К середине 1950-х семьи, вследствие хрущевских мероприятий по улучшению условий колхозной жизни, очевидно, восстановили утраченные в годы коллективизации и войны свои запасы скота в достаточной степени, чтобы позволить себе отдать несколько голов скота в приданое дочерям.

В истории замужества Нурании роль отца в очередной раз осталась несыгранной, хотя он был в то время жив. Тем не менее переговоры проводила ее мать, она же «велела» ей выйти замуж за этого кандидата. Отец проводил много времени вдали от деревни, так как работал наездником на ипподроме в Ульяновске. Хотя в рассказе Нурании именно мать выступает как источник авторитета, достаточный для того, чтобы отвести все ее возражения против данного кандидата⁶¹, необходимо учитывать, что уход отцов (равно как и детей) на работы вне местных хозяйств был еще одним фактором, повлиявшим на упадок отцовского авторитета в вопросах брачного выбора детей.

Эта семья представляет собой замечательную смесь современных и традиционных характеристик, свидетельствуя еще раз, насколько приблизительны и ненадежны любые окончательные классификации жизненных реалий в России. Когда мать и отец Нурании в 1920 году решили пожениться, бабушка Нурании отказалась принять предложение сватов. Тогда «жених ее украл» — оборот, описывающий тайный побег невесты. Обмен обычными подарками, очевидно, уладил отношения между семьями, и приданое даже включало лошадь для жениха, зарабатывавшего на жизнь верховой ездой⁶². Любовь, по всей видимости, играла важную роль в этом браке в отличие от историй замужества других татарских женщин старшего поколения. Для Нурании, дочери этой романтической пары, отсутствие любви к жениху было достаточным поводом для того, чтобы отвергнуть его. Ее мать, однако, отрицала за ней право выбора, основанного на любви, которой в свое время руководствовалась она сама.

То, что в целом татарские женщины постепенно переходили к советской современной норме независимого выбора партнера, не вызывает сомнений. Образование, ослабление власти отцов, смешение полов — все эти перемены пришлись на жизнь одного по-

⁶¹ Нурания Бадриева, интервьюер — Шугаева; Татарский Калмаюр, лето 1993 года.

⁶² Там же.

колениа: с 1920-х по 1950-е годы. Софья Телешова (р. в 1950 году) лаконично подытожила эти перемены, отвечая на мой вопрос относительно того, уединялись ли женщины ее семьи, когда в дом приходили посетители: «Нет, нет, в нашем возрасте нет. А у бабушки было. А у родителей нет»⁶³.

Заключение

Основным различием между русскими и татарами в наших интервью было ощущение, испытываемое большинством татарских женщин старшего поколения, того, что они не принимали почти никакого участия в выборе будущих спутников жизни. Только две русские женщины доколлективизационного периода отметили, что им пришлось выйти замуж за мужчин, которых они не выбрали себе в мужья сами.

Более высокая, по сравнению с русскими, степень половой сегрегации среди сельских татар и практикуемая ими экзогамия ограничивали возможности молодых мусульманок узнать поближе своих возможных партнеров. Следствием этого становилась большая зависимость от старших в поиске мужей. Хотя патриархальные нормы были достаточно сильны и в русских деревнях доколлективизационного периода, более выраженные патриархальные традиции в среде мусульман, вероятно, также ограничивали возможные брачные варианты для татарских женщин.

Еще одним отличием между двумя группами была значительная разница в возрасте между женихом и невестой в татарских браках старшего поколения, но эта разница стремительно сократилась в советский период и приблизилась к русской норме.

Наконец, приданое в русских и татарских браках состояло, по сути, из одних и тех же предметов. Оно включало преимущественно, а зачастую этим и ограничивалось, предметы домашнего обихода, хотя татары старшего поколения, да и более позднего периода, иногда включали в приданое скот.

И в случае русских, и в случае татар авторитет патриархальных домохозяев начал ослабевать еще до становления советского режима, как следствие отмены крепостничества, модернизации городской жизни и активизации контактов между сельским и городским населением. Темпы этих перемен возрастали по мере того,

как партия-государство осуществляло политику замещения власти патриархальных хозяев новой формой патриархата: патерналистским, социалистическим государством. Задача эта упростилась в результате физического устранения огромного числа мужчин, погибших во время войн, раскулачивания, а также преследований религиозных лидеров. Женщины были вынуждены сами заботиться о себе. Хотя некоторым из наших информанток не хватало материальной поддержки отсутствующих отцов и мужей, лишь немногие выражали сожаление по поводу исчезновения старых порядков, согласно которым приходилось жить их мамам и бабушкам. В той степени, в какой рост патерналистского государства предоставил женщинам возможность получения образования и обеспечивал институциональную поддержку, позволявшую им принимать независимые решения относительно выбора партнеров и семейной жизни, государство, в свою очередь, получало поддержку среди русских и татарских женщин села.

⁶³ Софья Телешова, интервьюер — Рансель, Ленинград, 31 мая 1990 года.

Мария Литовская, Елена Созина

ОТ «СЕМЕЙНОГО КОВЧЕГА» К «КРАСНОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ»: АДЮЛЬТЕР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Насильно мил не будешь.

Народная пословица

Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезненного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого.

Борис Пастернак

Проблема отношений троих, судьбой или жизнью связанных в нерасторжимый без боли и страданий любовный «треугольник», — вечная тема в мировой литературе — впрочем, как и в жизни. Мы ставим перед собой задачу рассмотреть, как русская литература на разных этапах нового времени изображала ситуации, в которых размыкается нормативный для европейской культуры двучленный супружеский союз и один из членов этого союза вступает в отношения с кем-либо со стороны — с так называемым «третьим»¹.

Впервые тема супружеской измены в отечественной литературе выходит на первый план в «*Повести о Савве Грудцыне*» (2-я половина XVII века), считающейся предтечей русского романа. В «грибуазных» повестях Г. Чулкова и других середины XVIII века изображение «прелестей» и «фантазий» частной жизни становится цент-

¹ Сразу оговоримся, что мы понимаем адюльтер узко — как супружескую измену, и оставляем за пределами этой статьи обсуждение проблемы адюльтера как таковой, выявление «неявных» случаев адюльтера, анализ повествовательных способов воплощения адюльтера (см. об этом, напр.: Шатин 2002).

ральным, авторы ставят перед собой задачу «потешить» читателя, рассказывая ему о легкомыслии прелестниц, как поварих, так и щеголих, и ловкости плутов, не вникая глубоко в причины их поведения. Параллельно в классицистической драме предстает традиционная для этого литературного направления борьба между чувством и долгом, выведенная в том числе и через любовные взаимоотношения персонажей.

«Вас люблю, люблю я добродетель»: поэт и «подвиг Верности» его героини

Решение темы супружеской измены, на долгие годы определившее нравственный канон отечественного сознания, связано в русской литературе с именем А. С. Пушкина.

Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
И буду век ему верна.

Эти ставшие хрестоматийными слова героини пушкинского романа в стихах задают своего рода модель не столько даже супружеских отношений, сколько возможных — и принципиально невозможных для Татьяны Лариной — отношений адюльтера, в который неминуемо выливается уступка людей, скованных браком, пусть даже самой возвышенной любви. Татьяна предпочла прервать развитие чувства, дабы не дать ему стать «мелким» — и не стать его «рабом» (эту перспективу она уже угадала и заподозрила в Онегине). Ее поступок, как впоследствии отметил Ф. М. Достоевский в «*Речи о Пушкине*», нес в себе черты сугубо русские, национальные; видимо, это и позволило Ю. М. Лотману сопоставить поведение литературной героини и реальных жен декабристов, отправившихся вслед за мужьями в Сибирь, характеризуя его как «подвиг Верности» Татьяны (Лотман 1988, 91). Но сама «канонизация» поступка Татьяны Лариной была обусловлена тем контекстом, из которого вырос роман Пушкина и в котором он до сих пор еще воспринимается сведущими читателями. В пушкинскую эпоху, пишет В. А. Кошелев,

был героизирован и в какой-то степени мифологизирован образ княгини Натальи Борисовны Шереметьевой-Долгоруковой, — а самой существенной стороной этого образа была как раз идея о вечной верности «другому» (не любимому, но соединенному судьбой) (Кошелев 1999, 198).

Произведения декабристов закладывали в литературе программу поведения русской женщины, «сознательно осмысляемого как героическое» (Лотман 1988, 183), которое должно было непосредственно влиять на современников, — и влияло, судя по документам времени. Эта программа не только успешно вошла в жизнь вскоре после 1825 года, но и была закреплена в пушкинском романе, финал которого создавался в совсем иную, последекабристскую эпоху. На фоне декабрьской катастрофы сохранение Татьяной верности мужу, который «в сраженьях изувечен», и отказ от личного счастья ради долга воспринимались и как показатели истинной русскости ее облика, и как доказательство верности самого автора идеалам молодости («Я гимны прежние пою»). Однако мотивировка поведения Татьяны несла в себе не только общественно-литературный смысл, но и смысл утверждения новой позиции автора — А. Пушкина конца 1820-х — начала 1830-х годов.

Мотив супружеской измены, так же как и нравственного долга, проходит через все творчество Пушкина. Достаточно вспомнить песню Земфиры «Старый муж, грозный муж...» («*Цыгань*») и драматическую развязку любовной коллизии этой поэмы; полусуточные, полусерьезные строки стихов: «Сначала были мы друзья, / Но скука, скука, муж ревнивый...» («*Кокетке*») или «Благопристойные мужья / Для умных жен необходимы» («*К Родзянке*»), к которым примыкает содержащий двойную ироническую подсветку сюжет поэмы «*Граф Нулин*» («К Лукреции Тарквиний новый / Отправился, на все готовый» — «Смеялся Лидин, их сосед, / Помещик двадцати трех лет»); кощунства Дон Гуана и фольклорную травестию «*Сказки о попе и о работнике его Балде*»². Верность неведомому супругу, с которым она оказалась обвенчана по христианскому обряду, хранит Марья Гавриловна, героиня «*Метели*», — и это же обстоятельство препятствует счастью Марьи Кирилловны в «*Дубровском*», ее последние слова опоздавшему Дубровскому-Дефоржу поразительно напоминают процитированные выше слова прощания Татьяны:

Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостью, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не об-

² См. об этом: Ильенков 2001.

манывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас (Пушкин 1986, 3:187).

Учитывая это «совпадение» финалов двух романов, относящихся к последнему, зрелому периоду творчества Пушкина, этическую позицию, выраженную в «ответах» героини, следует признать эталонной для самого поэта. К тому нас склоняет история его дуэли и всех событий, ей предшествовавших: словно предвидя свою роль «благопристойного мужа», поэт настойчиво заклиняет избранницу, данную Богом и узаконенную Церковью, помнить долг. «И рогоносец величавый, / всегда довольный сам собой, / Своим обедом и женой» — эта перспектива жизни для Пушкина (как и примитивный адюльтер для его героинь) была прямо невозможной, хотя — о чем говорят нам стихи его — в отдельные моменты жизни мыслимой поэтом.

«Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой»: Он, Она и Другие в тексте романтизма

Императивность выбора, назначенного пушкинским героиням и определяемого «предвыборной инстанцией» национального самосознания и христианско-героической морали, начинает колебаться в России тогда же — в 1830-е годы, а в 1840-е не только ставится под сомнение, но и вполне сознательно опровергается. В произведениях романтиков закон долга постепенно вытесняется законом любви-страсти, которая «свята» уже в силу своей природы: ни Вера, ни тем более Григорий Печорин в романе М. Ю. Лермонтова «*Герой нашего времени*» не знают укоров совести, точнее, для Веры они ничто перед чувством, которое внушает ей Печорин, сулящим и горечь, и блаженство. Характерен обмен репликами, состоявшийся между ними в новую и первую по времени встречу в Пятигорске: «Стало быть, уж ты меня не любишь? — Я замужем, — сказала она. — Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем...» (Лермонтов 1962, 4:380). Вера расплачивается за любовь к Печорину погубленной жизнью и не рошется на судьбу — ее жертва была сознательной, а надежда на счастье «напрасной» (Лермонтов 1962, 4:453). Однако и Печорин, казалось бы выдерживающий роль бессердечного похитителя женских сердец, остается несчастлив, а Вера сохраняет для него

обаяние единственной женщины, к которой привязана его душа и которая смогла понять его.

Любовные треугольники, возникающие на пути Печорина, сигнализируют о дряхлении, пока он жив, поединке героя с судьбой, с роком. Ценой его локальных побед над соперниками оказывается не просто разрушение счастья или гибель любимых женщин, но и своеобразная инверсия в отношении к ним со стороны бывших возлюбленных: Казбич убивает Бэлу, мстя за пропажу коня, оскорбленный муж Веры никогда не простит ей обмана, Грушницкий оказывается виновником клеветы, затрагивающей честь Мери. С телеологической точки зрения, значимой в романе Лермонтова, и эти события, и деструкцию личности самого Печорина можно считать своего рода платой за попрание общечеловеческих законов морали, закрепленных христианством, — хотя их и пытается подвергнуть критической ревизии поздний романтизм.

Общий текст романтизма, в котором литература и жизнь составляют нерасторжимое единство, устанавливает новый взгляд на любовь, связующую двоих вопреки условностям мира. Но модель решения проблемы «троих», несмотря на педалирование романтиками свободы личности, остается здесь большею частью прежней — согласно формуле «третий должен уйти». Сама сосредоточенность людей 1830-х годов на вопросах духовности не способствовала выработке новых форм социальной жизни; даже если они возникали (как, скажем, в Премухинском кружке, в среде Н. Станкевича), то не становились в ту пору публичным достоянием. В этом плане особенно показательна история вятской любви А. И. Герцена, в 1830-е годы лично творившего многие мифологемы русского романтизма.

Прозывая в политической ссылке сначала в Перми, а потом в Вятке, Герцен, по литературным канонам того времени, создает нечто вроде индивидуального романтического мифа, который помог ему сохранить в целостности свою «огненную натуру». Исходной составляющей этого мифа была вера в Провидение, управляющее его судьбой и влекущее его к будущим великим свершениям. Наталья Александровна Захарьина (у нас далее — Н. А.) — его кузина, невеста, а затем и жена — выступала в роли своего рода небесной подруги гонимого судьбой Героя, с ней он делил свои волнения и страсти. Надо сказать, что бесконечно платонический характер любовей и дружб романтиков не мешал им подозревать себя (чаще именно себя! *другой* должен был сохранять свои постоянные качества близости к идеалу) во всех смертных грехах. Так,



А. И. Герцен. Дагерротип 1847 г.



Н. А. Герцен. Дагерротип 1851 г.

один из постоянных мотивов писем Герцена Н. А. — уподобление себя медали, где «с одной стороны архангел Гавриил, а с другой Люцифер» (Герцен 1954, XXI:110)³, Христос и «Иуда Искариотский» (XXI, 114) одновременно. И поскольку «любовь есть прямая связь Бога с человеком» (там же), искупление-возрождение «падшего» возможно только через это небесное по происхождению чувство.

Романтический сценарий стремительно реализуется в жизнь, парадоксальным образом подтверждающую право Герцена смотреть на себя как на «падшего» и нуждающегося в срочном «спасении». В Вятке у него завязывается роман с Полиной Медведевой — молодой женщиной, страдающей от неравного брака. Почти сразу Герцен начинает терзаться, ибо осознает себя предателем «небесной любви»; мучения его достигают пика, когда муж Медведевой внезапно умирает, не оставив семье никаких средств к существованию, и освободившаяся от семейного притеснения вдова возлагает все надежды на своего молодого любовника. В панике Герцен срочно исповедуется в случившемся Н. А., бесконечно кается в совершенном им «убийстве», а параллельно раскаиванию возрастает его устремленность к невесте, мистическая экзальтация и теперь

³ В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страниц.

уже подкрепленное бесспорными доказательствами признание себя преступником и «падшим», поднять которого может лишь самый чистый и целомудренный «ангел» — Н. А.

Религиозно-мифологическое осмысление произошедшего сопровождается литературным: в 1836 году Герцен пишет повесть «Елена», где развивает концепцию «любви земной» — «любви небесной», придумывает жесточайшие наказания для героя-князя, оказавшегося в сходном с ним положении. Литература выступает протезом жизни: о героях своих произведений Герцен рассуждает с той же степенью достоверности и страстности, что и о собственных мучениях. Но постепенно меняется интерпретация «преступления». Поскольку Н. А. практически сразу простила его и даже начала проявлять определенную заинтересованность в судьбе несчастной вдовы, поскольку, так сказать, все «вины» уже были названы и повторяться не было смысла, Герцен начинает искать новое объяснение своему проступку. Оно чрезвычайно просто. Если Н. А. — небесный ангел, то Медведева ... просто женщина, земная и обычная, т.е. из «плоти», а не из «духа» созданная, противиться обаянию которой он не смог в силу половинчатости, дуальности своей натуры.

Таким образом, женщина рассматривается молодым Герценом либо как ангел небесный, посланный *ему* для восстановления распавшейся гармонии мира, либо как простая земная плоть (*просто женщина*), не лишенная поэзии, однако и не пригодная для исполнения высших целей. В ту эпоху этот сюжет не был уникальным. Аналогичную расстановку партий мы встречаем в повестях М. С. Жуковой «*Вечера на Карповке*» (1837; см., например, повесть «*Провинциалка*»). В финале герой-мужчина обычно наказывается за нарушение равнолюбивой верности (т.е. верности девушке, которая с самого начала рассматривалась как его избранница) и человеческого, нравственного долга перед той, которая стала «жертвой» его «любви земной». Неверность любви — истинной, «небесной», хотя еще не увенчанной земным браком, автоматически влечет за собой преступление моральной нормы — и наказание, разумеется, нравственное же.

Сама дифференциация двух видов любви в произведениях романтиков подчас объяснялась вполне земным, житейским фактором: «любовь небесную» питают к девушке, еще не ведающей жизни, «любовь земную» — к даме, уже утратившей очарование целомудрия и неискренности, т.е. вышедшей из статуса «ангела».

Переход из «ангела» в «просто женщину» совершался достаточно легко: для этого нужно выйти замуж, и замуж за другого, либо наружить опыт любовного переживания (так, в повести Н. Ф. Павлова «*Именины*» отношение мужа к жене радикально меняется, как только он узнает историю ее невинной девической любви), либо просто нарожать детей и стать всем довольной помещицей или равнодушной к чувствам светской дамой.

Именно мужчина чаще всего находится в центре любовного треугольника романтизма, тогда как в произведениях реалистов произойдет возврат расстановки сторон к пушкинской позиции (Онегин — Татьяна — муж; Дубровский — Марья Кирилловна — князь Верейский; Гринев — Маша — Швабрин). Оно и понятно: романтизм принципиально эгоцентричен, писателями же были в основном мужчины.

«...А что женщина человек — в голову
не помещается!» (А. Герцен):
женщина и брак в России 1840-х годов

О знаковой для русской жизни того времени неизведанности женщины писал в 1845 году В. Г. Белинский: «...У нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают ее и не ищут ее, словом... у нас нет женщины» (Белинский 1981, 6:400). Авторитетное мнение Белинского, его размышления над исходом любовной истории Онегина и Татьяны влияли на литературные интерпретации современниками сходных сюжетов. В заключительных статьях о романе Пушкина критик высказывал очевидное сомнение в правоте конечного выбора Татьяны. Мотив нравственного долга перед мужем (сиречь перед самой собой) отступал перед аналитическим разбором «отношения поэмы к обществу» и всех сторон личности Татьяны, сформированных в ней природой и обществом. «Вечная верность — кому и в чем? — вопрошал Белинский. — Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны...» (Белинский 1981, 6:424).

Экспериментальный характер для тех лет имела повесть А. В. Дружинина «*Полинька Сакс*» (1847), где был дан принципиально но-

вый способ решения конфликта троих. Ориентируясь на каноны нарождающегося реализма, Дружинин убирает мотив страсти⁴ из поведения своих персонажей и делает истинно «взрослым», способным отвечать за свои поступки лишь одного из них — Константина Сакса, образ которого предельно романтизирован, хотя по нормам новой литературы он и сделан честным служакой, отстаивающим закон. Идеален вариант разрешения Константином любовного треугольника, образовавшегося между его семьей и князем Галицким: узнав об измене жены, он подавляет в себе эгоистические чувства и в кратчайшие сроки тайно осуществляет бракоразводный процесс⁵.

Однако нарушение жизнеподобия и уступка романтизму «воли и разума» обернулись не только некоторой ходульностью образа Сакса, но и нравственной несостоятельностью действий героя, оставшейся не замеченной тогдашней критикой. У Дружинина он не только не подозревает об изменениях, происходящих в душе и сознании его Полиньки, но и не желает их знать — она до самого конца остается для него всего лишь ребенком, не доросшим до права самостоятельно решать свою судьбу.

В отношении к реальной социокультурной ситуации России смысл повести Дружинина очевидно смещается с утопического проекта мудрого решения проблемы семейного адюльтера на вопрос о границах и пределах самостоятельности и независимости женщины от мужчины и от среды, т.е. на весь тот круг проблем, который чрезвычайно остро стоял перед Россией XIX века и который по-разному пытались решить в литературе и жизни современники Белинского и Дружинина. Так, с «*Полинькой Сакс*» тесно связана повесть Л. Н. Толстого «*Семейное счастье*» (1859): и в ней вначале опекун, затем жених и, наконец, муж толстовской героини предстает для нее тем же непонятым, взрослым, подчас внушающим уважение и страх феноменом «в себе», что и Константин Сакс

⁴ Этот мотив крайне важен в поведении героев романа Ж. Санд «*Жак*», прототипически близкого к повести Дружинина и тогда же печатавшегося в «*Отечественных записках*».

⁵ В романе Ж. Санд «*Жак*», в романе Н. Г. Чернышевского «*Что делать?*», а также в позднейшей драме Л. Н. Толстого «*Живой труп*» в сходной ситуации благородный муж попросту самоустраниется, открывая дорогу к счастью жене, полюбившей другого, ибо осуществить безболезненное расторжение брака в тогдашних социальных условиях было совершенно невозможно. Об этом же говорит масса реальных случаев из жизни известных людей России; см. об этом: Егоров 1996.

для Полиньки: «Опять пронизательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной» (Толстой 1979, 3:127)⁶.

Очевидно, само время взывало к тому, чтобы авторы 1840—1850-х годов снова и снова ставили проблему духовной и социальной пропасти между мужчиной и женщиной, — пропасти, без ликвидации которой невозможно было дальнейшее продуктивное развитие русской жизни и культуры.

Как известно, семейная гармония составляла мучительно недосягаемый идеал для самого Л. Толстого, и не кто иной, как он, сумел показать неповторимое разнообразие счастливых и несчастных русских семей. Поразительна дистанция, отделяющая «*Семейное счастье*» от «*Крейцеровой сонаты*» (1890): если в ранней повести вторжение в семью «третьего» вовремя останавливается и жизнь супругов постепенно налаживается, то в трагическом произведении позднего Толстого исходом адюльтера, который еще только намечался у жены Позднышева с музыкантом, становится катастрофа, и иного выхода нет. Только гибель — удел изменницы, даже если она без вины виновата, как крестьянка Степанида в повести «*Дьявол*» (см. вторую редакцию финала). Толстой становится немолчим обвинителем женщин и общества, которое порождает их неисправимую порочность, рассказчик в его поздних произведениях неизменно прокликает плоть, ее «мученья», ее «ужас и страх».

...Надо, чтобы... нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и т.д. (Из Послесловия к «*Крейцеровой сонате*» 12; 199).

Таковы крайние точки толстовского отношения к браку и к обетам верности супругов, между которыми помещаются его крупнейшие романы. Но, прежде чем говорить о них, мы вернемся к 1840-м годам, когда на пересечении жизни и литературы шла выработка совершенно новой и, как показывает история, весьма перспективной, несмотря на весь ее радикализм, формы решения семейно-любовного треугольника.

⁶ В дальнейшем произведении Л. Толстого будут цитироваться по этому изданию с указанием в скобках номера тома и страницы.

«Чем выше я спускаюсь в глубины, тем больше я поднимаюсь ввысь» (Н. Герцен): эксперимент и реальность в семье русских эмигрантов

Здесь нам вновь не обойтись без Герцена: в указанный период он, рядом с Белинским, — один из первых в России пропагандистов освобождения женщины и раскрепощения ее из пут буржуазного брака. Романтический дуализм «любви земной» — «любви небесной» в сознании Герцена 1840-х годов довольно быстро разрушается, да и странно было бы сохранять его, будучи отцом и мужем, главой нового литературного направления, требующего верности «действительности». Рушится также и вера в Провидение — на смену ей приходит понимание жизни как игры подчас бессмысленной случайности, которую нужно осилить властью собственного разума и воли, в которой можно и нужно «из себя» обрести смысл. С этими мировоззренческими основаниями согласуются и размышления Герцена относительно проблем частной жизни.

«Брак, когда от него отлетит дух, — позорнейшая и нелепейшая цепь», — записывает он в «Дневнике» за 1842 год (II, 228). Гармония семьи, по его мысли, возможна при соединении интересов частных, индивидуальных, с общечеловеческими — со «всеобщим», и здесь наибольшую трудность представляет воспитание женщины. В «общинной жизни» Герцен видит спасение от грозной власти случайности, ибо тогда «женщина будет более причастна общим интересам, ее нравственно укрепит воспитание, она не будет так односторонне прикреплена к семейству...» (II, 347). Намеченную программу строительства новой семейной жизни писатель стремится реализовать в собственной семье, в дружеском кругу. Его идеи быстро проникают в сознание жены, будучи поощряемы чтением романов Ж. Санд и поддерживаемы ближайшим окружением⁷.

Отметим важный для нас факт: ситуация любовного треугольника, войдя в жизнь и творчество Герцена в пору романтической юности, потом становится постоянной темой его жизни и размышлений. В ключевом для русского реализма романе «Кто виноват?» (1846) разбивается, казалось бы, счастливый брак четы Круциферских. В город NN приезжает Владимир Бельтов — человек недюжинного ума и таланта, причем такого свойства, которое позволяет говорить об известной автобиографичности образа героя. Недостижимость идеала в практической деятельности ведет его к

совершенному разочарованию в жизни, и последней надеждой Бельтова на свое реально жизненное воплощение становится любовь к Круциферской. Они пара друг другу — Любви Александровне тесно с мужем, ее тянет к сильной, незаурядной личности Бельтова, но ни уйти от мужа и тем навеки сделать его несчастным, ни, тем более, согласиться на тривиальный адюльтер она не в силах.

Роман заканчивается трагическим аккордом: разрешение проблемы на путях нравственных не приносит никому ни счастья, ни даже элементарного покоя. Писатель словно объединяет в роковом для его героев треугольнике черты прототипических для русской литературы романтических ситуаций, обнажая их странную, на первый взгляд, общность: его Бельтов напоминает одновременно и Онегина и Печорина, а образ героини — в том, что касается отношений с мужчинами, — выстраивается по модели и пушкинской Татьяны, и лермонтовской Веры. Происходит своеобразная абберрация знаменитой формулы Татьяны Лариной: идеальные героини русской классики отдают свое тело мужу, а душу — некоему «другому» (для них — воплощенному «анимусу», используя романтическую словарную парадигму Юнга) — и остаются навеки верны ему, вопреки всем надеждам на семейное счастье.

Спустя несколько лет, в конце 1840-х годов, сам автор романа «Кто виноват?» оказался в недавно описанном им положении Круциферского: мужа, вынужденного наблюдать за всеми перипетиями любовного чувства его жены к «другому». Казалось, сама судьба настаивала на эксперименте четы Герценов, но ценой этого эксперимента стали жизнь женщины и полное крушение семьи.

В 1847 году Герцен с семьей уезжает на Запад, там происходит их знакомство с семейством немецкого поэта и революционера Георга Гервега. Историю ложной и краткосрочной (как полагал Герцен) любви его жены к Гервегу уже после смерти Н. А. писатель рассказал в своем «надгробном памятнике» жене — пятой части «Былого и дум» («Рассказ о семейной драме»). Гервега он однозначно оценивал как мерзавца и пошлого буржуазного эгоиста, воспользовавшегося слабостью женщины, и поначалу призывал мировую социал-демократическую общественность к публичному суду над ним. Но для западной общественности акценты были расставлены иначе, и первоначально сочувствующих Гервегу было значительно больше, чем солидарных с Герценом: многие полагали, что это Герцен не позволяет жене уйти к любимому человеку, что он проявляет преступный семейный деспотизм. Е. Н. Дрыжакова верно указывает, что для европейских демократических кру-

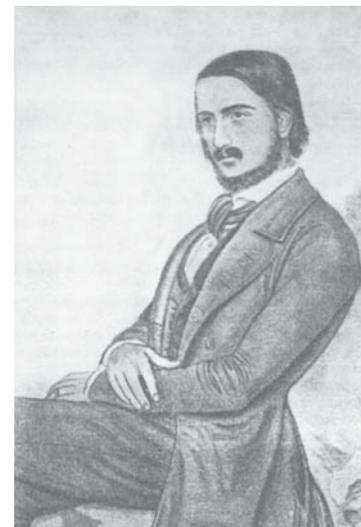
⁷ См. об этом подробное исследование: Фреде 2001.

гов середины XIX века это была важная экспериментальная попытка людей «нового мира» противостоять старым предрассудкам и собственным примером начать «новую жизнь» (Дрыжакова 1999, 79). И несмотря на трагический финал, показательно то недолгое равновесие, в котором прожили две семьи период острого разочарования в идеях и возможностях европейской революции 1848—1849 годов, их временное сплочение и даже паллиатив Герцена и Гервега, когда последний лето 1849 года жил в доме Герцена (на это время и пришелся период самой страстной их с Н. А. любви).

В напряженном желании сохранить и семью и любовь у Н. А. рождается утопический план совместного существования семей, а фактически — сосуществования троих — ее самой, Герцена и Гервега (Эмма Гервег, зная, что рано или поздно муж вернется к ней, готова была на время самоустраниться). Первое время, не зная о происходящем, эту идею поддерживал и Герцен — ведь они с Гервегом в дружеском кругу считались «близнецами». Затем, когда появилась надежда на скорый приезд Огарева и Тучковой, уже живших в гражданском браке, они также включаются в семейную «общину». Так воскресает утопия «Царствия Божия на земле», созданная Герценом в переписке с Н. А. в 1830-е годы и теперь обретшая коллективистский характер. Религиозно-мистические идеи о предназначенности встречи, о заповедности союза двух душ, вынесенные женой Герцена из эпохи романтической юности, сочетаются в ее сознании с социальным протестантизмом, в котором она идет куда дальше мужа:

Если вы не смотрите на брак как на пожизненный абонемент на ваше тело, душу и т.п., почему хотите вы абонироваться на дружбу? Все это вздор, пустяки! Сошлись, разошлись, опять сошлись, опять разошлись, опять сошлись, и это *опять* уходит в бесконечность... (Письма Н. А. Герцен Гервегам 1958, 273).

Проект семейной утопии Герценов разрушился, не успев осуществиться. К практической радикализации интимных отношений оказались не готовы в первую очередь мужчины. Эгоизм мужа, не пожелавшего делить ее с Гервегом, Н. А. признавала естественным и даже не считала таковым: семья и дети для нее составляли нечто «священное», сам же Герцен ни в те годы, ни позже не был склонен устраивать семейные «бордели» в духе Чернышевского. Эгоизм Гервега, начавшего предъявлять Н. А. серьезные права (он требовал от нее то разрыва с мужем, то самоубийства, грозил обнародованием их отношений и своей смертью), явился для



Георг Гервег.
Гравюра с портрета маслом
Конрада Гица, 1850-е гг.

нее страшным открытием («...Мой идеал был низвергнут, смешан с грязью» (Письма Н. А. Герцен Гервегам 1958, 312), с которым она до конца не хотела согласиться. В самой же скорой смерти жены Герцен — по видимости, не без оснований — винил и Гервега, и себя.

По оценке Дрыжаковой, неудавшаяся попытка русских социалистов-диссидентов выстроить «новое общество» на «новых» основаниях убеждает, что «никакие “новые” принципы не могут разрешить человеческих страстей» (Дрыжакова 1999, 80)⁸. Однако идея духовно-эротического союза единомышленников, которую лелеяла Н. А., неразрывно связанная с идеалом свободы чувств и моральной независимости женщины, воскреснет вновь в начале XX века и породит великое разнообразие культурно-творческих, мистических, теургических, поэтических и прочих треугольников творцов эпохи символизма и постсимволизма. В большинстве сво-

⁸ В этой же книге Дрыжакова рассматривает пьесу левого немецкого публициста А. Руге «Новый мир», сюжетом которой послужили отношения Герценов и Гервега: так частная жизнь Герцена теперь уже против его воли вновь стала предметом литературного дискурса.

ем они будут иметь драматические или прямо трагические финалы. Но сама по себе модель тройственной связи людей, которые не могут разойтись по причинам объективного — социального, экономического — или субъективного — межличностно-психологического — характера, уже лишенная высокого, хотя и утопического налета романтического провиденциализма, утвердится в русской культуре второй половины XIX века, ее пик — это движение нигилистов, имеющее базу в широкой разночинской среде России 1860—1870-х годов.

«...Как-то все это клеится вместе:
поэзия — и жизнь, любовь — и брак
по расчету...» (В. Белинский):
«тройчатки» в литературе и жизни второй
половины XIX века

Возникавшие в середине века в русской демократической среде так называемые «тройчатки» обычно имели чисто бытовой характер — подобно сосуществованию в 1850—1860-е годы Герцена с Тучковой-Огаревой — и Огарева; таковы были отношения Н. А. Некрасова, А. Я. Панаевой (его гражданской жены) и И. И. Панаева, врача П. И. Бокова, его жены М. А. Обручевой и И. М. Сеченова (один из возможных источников романного сюжета Чернышевского).

Подлинным «браком втроем» Б. Ф. Егоров считает лишь союз Шелгуновых с М. Л. Михайловым, объясняя его «повышенной страстностью» Л. П. Шелгуновой (Егоров 1996, 273). Он же подчеркивает, что «теоретическая убежденность Чернышевского в возможности жить втроем» (Егоров 1996, 274—275) отразилась не только в сюжете романа «Что делать?», но и в более поздних замыслах писателя, создаваемых им на каторге. Для русской культуры важно, что именно роман «Что делать?» сформировал ту модель *menage de trois*, которая закрепилась в истории и стала своего рода образцом для подражания многих молодых «волонтеров» в демократы и нигилисты, хотя первоначально соответствующая модель созревала в жизни. И если в рассмотренных нами жизненных ситуациях противником семейной анархии обычно выступал мужчина, то в литературном мире, выстроенном Чернышевским, именно Вера Павловна выбирает традиционную семью, а значит, и новый брак с Кирсановым вместо злополучной «тройчатки»,



Н. А. Некрасов.
Фотография, 1859 г.



А. Я. Панаева. Акварель неизвестного
художника, 1850-е гг.



И. И. Панаев.
Акварель Н. М. Алексеева, 1830-е гг.

почему Лопухов становится в их отношении «третьим лишним» и совершает свой мнимый уход из жизни.

Наиболее разумный вариант разрешения любовного конфликта троих с точки зрения «ультранигилистов» (как называл их Герцен) предлагает в романе Рахметов:

Сколько расстройств для всех троих, особенно для вас, Вера Павловна! Между тем как очень спокойно могли вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться... и по-прежнему пить чай втроем, и по-прежнему ездить в оперу втроем. К чему эти мучения? К чему эти катастрофы? (Чернышевский 1974, 1: 300).

Герои произведения им не воспользовались, хотя в конце романа демонстрируется еще один утопический проект — семейной «общины», о которой мечтали Герцены и Огаревы: семейства Кирсановых и Бьюмонтов селятся по соседству, и каждое «живет по-своему», но вместе. Треугольник дополняется еще одним элементом и приобретает вполне пристойный, земной вид, в котором нет ничего предосудительного (мало ли семей дружат и живут по соседству).

Роман Чернышевского полностью отвечал своему просветительскому и дидактическому назначению — он давал читателю примеры идеального жизнестроительства, где чувства не мешают, а помогают людям жить гармонично и счастливо, где якобы можно избежать сердечных мучений и катастроф. Совсем иной колорит социалистические формы общежития, впервые так красочно показанные Чернышевским, обретали в антинигилистическом романе второй половины XIX века: в них педалировались разврат, аморализм и откровенное человеконенавистничество нигилистов, причем нетрадиционность сожительства *de trois* уступала место более впечатляющим картинам анархических коммун и «Домов Согласия», под пером авторов-«антинигилистов» нередко превращающихся в дома терпимости.

В «Что делать?» воплотилась и довольно актуальная для литературы того времени мысль: о безболезненном разрешении любовных конфликтов, об идеальном для личности и общества браке единомышленников, которым будет менее страшна встреча с новой любовью, чем тем, кого, кроме брака, не объединяет ничего. Рядом с Чернышевским здесь оказывались писатели не только близких ему демократических взглядов, но и совсем противоположных —

ложных — И. Гончаров, И. Тургенев («Накануне»), А. Писемский («Тысяча душ»). Потенциальный треугольник в романе «Обломов»: Илья Ильич — Ольга Ильинская — Андрей Штольц — успешно для всех его сторон (хотя не без потерь!) достраивается до новой фигуры, благодаря введению новой стороны — Агафьи Матвеевны Пшеницыной и благодаря двум бракам, которые, в общем, нельзя не признать благополучными. Геометрическая близость к роману Чернышевского (написанному позднее «Обломова») здесь прямо бросается в глаза. В «Обрыве» Гончарова треугольники возникают на пути главного героя просто как грибы после дождя, но на то он и художник, «артист» и воплощение типа Дон Жуана, чтобы быть в эпицентре любовной лихорадки и женской прелести. Ни один треугольник не получает трагической развязки, напротив, развитие одного из них вокруг Веры (Волохов — Тушин) в конечном итоге спасает девушку, а самого Райского его личное участие в конфликте делает настоящим творцом и автором романа длиной и ценою в жизнь.

Обильны интересующими нас фигурами романы и повести Тургенева, и немудрено: сам писатель долгие годы находился в положении вечного «третьего», участвуя в семейной жизни Полины Виардо. От трагического разрушения судьбы и жизни до мук раскаяния и возврата к ухудшенному варианту первоначального *status quo* — таковы линии развития отношений сторон, задействованных в треугольниках в творчестве Тургенева.

Пожалуй, наиболее значимыми являются здесь две модели. В первой — пространственная экспликация отношений троих содержит генезис чувства героя, совпадающий с его личностным ростом или с деградацией: переход Федора Лаврецкого «от язычества к христианству» (от чувственной любви к Варваре Павловне к духовной любви к Лизе Калитиной); обратное развитие чувства Дмитрия Санина в «Вешних водах», интерпретируемое как затмение, почти гипноз; аналогичный процесс в душе Литвинова в романе «Дым», правда, имеющий оптимистическую концовку; наконец, натуральный гипноз прекрасной Валерии соперником ее мужа в «Песни торжествующей любви». Власть любви для Тургенева сродни власти стихий бессознательного, самой Природы, пределы и границы которой теряются за дверью в Неведомое.

Второй тип треугольника в его произведениях имеет более приземленный характер, хотя и его обыденность иллюзорна. Это совмещение разных природных возрастов любви и любовников в преде-

лах одной сетки отношений, в проекции на одну личностную монаду: цепь влюбленностей и несостоявшихся измен вокруг фигуры молодого учителя в пьесе «*Месяц в деревне*»; ухаживание Аркадия за Одинцовой рядом со страстной любовью Базарова в «*Отцах и детях*»; соперничество отца и сына в повести «*Первая любовь*»; треугольник Марианна — Нежданов — помещица Сипягина в романе «*Новь*»; любовные метания Музы в повести «*Пунин и Бабурин*» и т.д. Чаще всего обстоятельства разрешают неразрешимые конфликты тургеневских персонажей; «треугольник» не исчезает совсем — он уходит из эмпирической плоскости, но «зависает» в виртуальном пространстве отношений людей, в их сознании — воспоминаниях, раскаянии, грезах о несбывшемся. Ибо само его наличие и развитие в ту или иную сторону — знак личностного, духовного движения человека, его персональной идентичности.

В литературе второй половины XIX века проблема адюльтера «спускается» из жизни героев образованного сословия в народную среду. Причем под вопросом оказывается сама оценка эксплицитных отношений — их высота или низость, пошлость или романтичность. ореол любви, красоты и сочувствия окружает Катерину в драме А. Н. Островского «*Гроза*» (1859), хотя с точки зрения «материала», фабулы мы видим здесь всего лишь историю тривиальной супружеской измены женщины из домохозяйской среды, да вдобавок, по Д. И. Писареву, крайне неуравновешенной, истерически кидаящейся «из одной крайности в другую» (Писарев 1981, 1: 328).

Иначе описывает Н. С. Лесков историю любви купеческой жены к молодому мужнину приказчику в повести «*Леди Макбет Мценского уезда*» (1865). Языческая непросветленность Катерины Измайловой делает ее подлинно трагической, не драматической, героиней, хотя и изображенной в стилизованных тонах народного лубка.

Заметим, что в моделях народных треугольников ни муж, ни любовник — «другой» или «третий», долженствующий утолить жажду женщины по полноте чувств, не становится достойным ее любви и ее личности, «другой» возникает как вынужденная компенсация за пустоту и бесцветность жизни или как реакция на эмоциональную избыточность женской природы. Вместе с тем сам выбор женщиной «другого», чем муж, имеет принципиальный смысл, ибо сигнализирует о пробуждении в ней личностного начала и стремления к самостоятельности, об оригинальности ее природы, не укладывающейся в ложе устаревших, «чужих» отношений.

«Значит, у вас теперь три Анны:
одна в петлице, две на шее» (А. Чехов):
классика русского адюльтера

К рассмотренным произведениям примыкает и «*Анна Каренина*» Л. Толстого. «Переверотившиеся» к концу века устои русской жизни, представленные Толстым в свете «мысли семейной», вызывают сомнение не только в юридических, но и в традиционных моральных нормах, согласно которым «распутница» всегда виновна, а сохранить брак, какой бы он ни был, всегда нужнее и важнее, чем избавить от него страдающих в нелюбви людей. Однако любой однозначный ответ на вопросы, поставленные в романе, будет противоречить либо позиции автора — моралиста и художника, либо нашему нравственному чувству, откликающемуся на трепетную жизненность толстовского мира. Недаром роман начинается с известной всем фразы: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». У Толстого различно и «семейное счастье» разных семей, а уж общих рецептов спасения от несчастья нет и быть не может. Поэтому и треугольники, в разнообразных комбинациях возникающие по ходу романа, разрешаются по-разному, несмотря на общий для всех этический и религиозный идеал Толстого.

Для Долли, узнавшей о неверности мужа и собирающейся тут же, немедля, расстаться с ним, лучшим выбором оказывается традиционная семья, опутывающая ее сетью больших и малых забот и волнений и позволяющая ей гордиться собой и детьми перед людьми, перед Анной, заставляющая ее снисходительно смотреть на донжуанство мужа и прощать ему все — лишь бы это «все» не выходило на ее глаза. Сравнивая с собой, постаревшей и подурневшей, красивую, нарядную Анну, Долли тем не менее думает:

Я... не привлекла к себе Стиву; он ушел от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне, не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. <...> [Вронский] найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж (9; 225).

Удержать мужа и занять смыслом собственную жизнь можно лишь семьей, в которой главное благо — дети, — таково убеждение Долли, и потому известие Анны, что у нее больше не будет детей, ибо она так хочет, вызывает у Долли удивление и ужас. Для Кити, внезапно осознавшей, что Вронский, ради которого она только

что отказала Левину, оставил ее, это непереносимый удар по самолюбию, вылившийся в тяжелую болезнь.

Для Алексея Александровича Каренина все неудобства, которые причиняет ему роман жены с Вронским, связаны в первую очередь с тем, что это нарушает установленные светом приличия. Показателен ультиматум, который он ставит жене уже после прямого признания ее в любви к Вронскому:

Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас... чтобы вы не видели его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей (8; 353).

Фактически он соглашается на тройственный союз — лишь бы до него не доносились никакие слухи и сплетни об отношениях его жены с Вронским. Развод пугает Каренина вначале перспективой подарить счастье соединения с любовником виновной в разрыве жене, затем — судебной процедурой, требующей установить «прелюбодеяние по взаимному соглашению», а следовательно, пережить публичный позор. Однако, поскольку Анна упорно нарушает его требования, незадолго до ее родов Каренин приходит-таки к мысли о разводе: «Нужно выйти из того унижительного положения, в которое вы поставлены: нельзя жить втроем» (8; 432). На этот раз развода не принимает Анна — из-за сына, из-за того нового душевного состояния, в котором она находится после того, как едва не умерла родами, из-за того, наконец, что и ей, как Вронскому, неприятна сама мысль о большем великодушии Каренина. Когда же Анна хочет развода и стремится к нему — Каренин вновь отказывается. Относительный мир и покой устанавливаются везде вокруг Анны — но не в ее жизни.

Анну многое отличает от окружающих ее людей, персонажей романа. Она незаурядна во всем, а потому те варианты жизни и примирения с миром, которые приемлемы для других, не подходят ей. Автор много говорит о социальных причинах, обусловивших трагедию Анны и вызванных ее неуступчивостью, нежеланием и невозможностью (как нравственной, так и психосексуальной) жить «втроем», т.е. сохранять приличные отношения с мужем и иметь любовника. Вскоре после сближения с Вронским она часто видит один и тот же сон:

Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее

муж. И она удивлялась тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы (8; 168).

То, что составляло рецепт семейного счастья Рахметова в романе Чернышевского, давит героиню Толстого кошмаром и ужасом. Анна долго сопротивляется страсти, и в этом неприятии неминуемо пошлого адюльтера она и автор едины. В описании первой их близости с Вронским трудно отделить ее реакцию на состоявшееся событие от отрицательной оценки этого события автором — для обоих это означает убийство любви.

Вплоть до переломного момента, которым являются роды Анны, она действует очищающе и возвышающе на обоих Алексеев, с которыми свела ее судьба. Недостойность обмана, в котором они живут, остро чувствует Вронский — обычный, просто «хороший» молодой человек своего круга. Страсть, «связавшая их», заставляет «лгать, обманывать, хитрить» — и она же требует «прекратить эту ложь» во что бы то ни стало. Но оба обречены на обман и протестование миру. На момент родов Анны все участники драмы словно «выпрыгивают» из своих обычных ролей, все оказываются выше самих себя (Вронский стреляется, Алексей Александрович прощает Анну и позволяет любовнику проститься с ней). Однако у Толстого люди никогда не могут долго стоять на цыпочках, и бег героини по страшному коридору своей обреченной любви-страсти продолжается, пока не приводит ее к трагическому финалу.

Своеобразными откликами на толстовскую Анну стали рассказы А. П. Чехова: «Анна на шее» (1895) и «Дама с собачкой» (1899), хотя самих по себе любовных треугольников в произведениях Чехова куда больше — из прозы они кочуют в пьесы и образуют там такие узлы, что вся драматургия XX века будет судить и распутывать их. Указанные рассказы о двух разных Аннах образуют пару, ибо если в «Даме с собачкой» из пошлого курортного романа отношения Гурова и Анны Сергеевны дорастают до подлинной, незнакомой героям в семье, тревожащей и их, и автора-повествователя любви, то в «Анне на шее» мы наблюдаем процесс деэволюции героини: маленькая Аня, от большой нужды выйдя замуж за гадкого чиновника Модеста Алексеича, довольно скоро меняется и сама становится ничем не лучше окружающей среды. Торжествует трагикомический финал рассказов и повестей о «бедном чиновнике» конца 1830—1840-х годов: еще в повести Н. Павлова «Демон»

(1839) молоденькая жена чиновника-карьериста становилась добычей «его сиятельства», служа во славу мужа и государства. Так Чехов доводит до анекдотического предела — правда, его анекдот со «слезным» обрамлением, создаваемым фигурами отца и братьев Ани, — анекдотическую же ситуацию любовного «треугольника». От трагедии и притчи до фарса оказывается рукой подать — и то и другое кроется в «модели Анны».

« Пришла Проблема Пола, румяная фефела, и ржет навеселе» (С. Черный): русский Эрос Серебряного века

Следующий этап в развитии темы приходится на 1890—1920-е годы, когда кардинальная смена мировоззренческих установок вновь приводит к активизации в жизни и в — на сей раз уже модернистской — литературе идеи распада диадического брака, только проблема переходит из сферы социально-юридической в метафизическую. Интенции культуры начала XX века были связаны с постижением метафизики Эроса, на основе чего старшие символисты стремились развить мистико-духовный ритуал творческого преображения жизни⁹. В контексте практики эпохи реактуализируется «новый» тип семьи как *духовного союза*. Идея творческого единения, положенная в качестве основной в новую форму семьи, нередко вызывала вытеснение традиционной модели супружеской четы моделью «тройчатки»: тройственные союзы артистической богемы начала прошлого века утверждали себя именно как *семейные*, т.е. освященные авторитетом религиозной идеи¹⁰, естественно, претерпевшей в контексте модернизации христианской догмати-

⁹ Так, Вяч. Иванов писал о том, что этика, эстетика и религия имеют общее и исходное начало, «это начало — Эрос»; «Эрос ведет за руку по своим садам Психею, планетную душу человека: таким видели Слово (Логос) художники катакомб» (Иванов Вяч. 1994, 88). Эрос выступал первоисточником равно творчества и жизни для М. Волошина: «Я считаю основой жизни пол, секс. Живой осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни... Искусство — это развитие пола, переводение этой силы в другую область. Это та сила, которая, скопленная, дает нам возможность взвиться... Два выхода: или создание человека, или создание произведения искусства. Поэтому художник должен быть воздержанным — но не уничтожать силу пола, но владеть ею...» (цит. по: Купченко 2000, 55).

¹⁰ См., например: Розанов 1991.

ки серьезные изменения. Она осуществляла себя в разнообразных типах союзов: религиозно- и философско-утопическом (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Filosofova), религиозно-поэтическом (А. Блок, Л. Менделеева, А. Белый), религиозно-мистическом (Вяч. Иванов, Л. Зиновьева, М. Сабашникова¹¹), но в основе всех лежало переосмысленное в мистическом духе и спроецированное на иные сферы жизни эротическое влечение. Приоритеты и даже некоторые продуктивные результаты в этой практике принадлежали старшим символистам, достаточно вспомнить устойчивость семьи Мережковского и Гиппиус.

Особую активность в формировании новой модели жизнеустройства проявили младосимволисты. Они же и сломали ее, доведя до скандального предела: тройственные союзы распались порой еще на стадии обсуждения, изматывавшей всех участников, а участники их в лучшем случае превращали пережитое в творчество, в худшем — оставались с неизжитыми душевными травмами. Итог такого рода исканиям подвел В. Ходасевич в статье «*Конец Ренатты*», исполненной самого глубокого разочарования в жизнестроительных практиках своего времени: «Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недоовплотилось» (Ходасевич 1997, 4:7).

Поколение «преодолевших символизм» (Жирмунский 2001, 364)¹², так же одержимых идеей «особости» поэтов, страстно мечтающих стереть грань между искусством и жизнью во всех сферах существования, трансформировало семейные практики своих предшественников, приблизив их к более традиционным нормам. Только В. Маяковский организовал свою частную жизнь по той же модели, став «третьим» в семье Л. и О. Бриков, ощущая себя участником эксперимента, представляющего новый кодекс отношений между полами. Остальные же предпочитали чисто «духовные» союзы, когда развитие отношений осуществлялось не на телесном, а на духовном, виртуальном уровне (своеобразный «треугольник» составляли Н. Гумилев — А. Ахматова — О. Мандельштам,

¹¹ М. Сабашникова вспоминала позже: «Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит. Я сказала об этом Лидии, прибавив: «Я должна уехать». Потом мы говорили втроем. У них была странная идея: когда двое так слились воедино, как они, оба могут любить третьего. Это вроде маски: пригодная для двоих, она может подойти и третьему. Такая любовь есть начало новой человеческой общины, даже церкви, в которой Эрос воплощается в плоть и кровь» (Сабашникова 1990, 169).

¹² О «семейном» мифе в акмеизме см.: Серова 2001.

М. Цветаева — Рильке — Б. Пастернак). Это, впрочем, не мешало участникам подобных треугольников в эмпирии земных отношений тяготеть к созданию традиционных, порой часто сменяемых тройственных моделей (М. Цветаева — С. Эфрон — К. Родзевич; Б. Пастернак — З. Пастернак — О. Ивинская и т.п.), что воспринималось современниками как понятная, хотя и документная, странность поэтов¹³.

Последним в череде житейских, но освященных идеей искусства как жизнотворчества знаменитых союзов был опыт совместного проживания И. А. Бунина со своей женой Верой Николаевной и молодой писательницей, «ученицей» и «последней любовью» Галиной Кузнецовой в Грассе. Опыт завершился, как и все предшествующие, драматически: Кузнецова в итоге покинула семью Бунина с Магдой Степун, сестрой философа Ф. Степуна¹⁴.

Увлечение идеями Эроса, перенесенное в среду обывателей, трансформировалось в «Проблему Пола» (Саша Черный 1960, 76), любимую в тогдашней бульварной литературе и журналистике, расшатывавшую традиционную сдержанность в обсуждении интимных проблем. В глубине общественного сознания происходят необратимые изменения: семья юридически становится более подвижной, анонимность существования горожан способствует все большей свободе нравов, измена (не только мужская, но и женская) все чаще воспринимается как форма проявления естественной свободы чувств и перестает быть предметом общественного осуждения. Впрочем, несмотря на энергичные попытки создания нетрадицион-

¹³ «Тройственные союзы, чрезвычайно распространенные в 20-х годах, уходящие корнями в 1890-е и у нас уже сходящие на нет в 30-х, оставались идеалом Мандельштамов, особенно Надежды Яковлевны» (Подробнее см.: Герштейн 1998, 418—427); «М. — человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни.... Почти всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался... И это все при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровско-цинничном) уме... Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой нужны дрова, дрова и дрова... Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно» (Эфрон С. Письмо М. Волошину от 22 января 1924 года. Цит. по: Швейцер 1992, 315—318).

¹⁴ В отличие от ранее возникших тройственных союзов этот не был предметом публичного философского дискурса его участников и даже в литературе о Буине освещен крайне скупо, что, скорее всего, свидетельствует о принципиально недемонстративном характере отношений. См. об этом: Кузнецова 1995; Лавров 1989.



В. Н. Бунина, И. А. Бунин, Г. Н. Кузнецова.
Грасс, 1930-е гг.

ных семей, привлекавших своей экзотичностью и эпатажностью, на уровне широких слоев населения кардинальных внешних изменений в области семейного устройства не происходило: семья оставалась двусоставной, внедрение в нее третьего рассматривалось как явление, может быть, и модное, но в принципе нежелательное.

В литературе же воскресает свойственная еще русскому романтизму первой трети XIX века поляризация трактовки любви:

Вечная тема любви раздваивается на бесконечно возвышенную и религиозно окрашенную любовь, сливающуюся с любовью к Богу, и удушливо накаленную земную эротику, впускающую в поэзию все, что раньше считалось извращениями, от нимфомании до некрофилии (Гаспаров 1993, 11).

Если обратиться к произведениям, сориентированным не столько на «чистое» самовыражение, в том числе и связанное с новыми жизнестроительными интенциями, сколько на изображение типологически значимых для широкой публики ситуаций, то мы обнаружим два полюса отношения к адюльтеру в творчестве едва ли не всех писателей. Скажем, А. Куприн в «*Поединке*» (1905) описывает «земной» безыллюзорный адюльтер, предполагающий физическое обладание объектом желания. «Длинные, грязные и скучные» связи с замужними дамами составляют неотъемлемую часть повседневной жизни, единственное, хотя и несколько утомительное, развлечение обитателей гарнизонного поселения. Ни брак, ни адюльтер с любовью не связаны, они — лишь дань условностям: и то и другое необходимо для успешной, с точки зрения самого человека, социализации. С этой позиции дура Петерсон, разыгрывающая пошлые фарсовые романы со всеми молодыми офицерами, прибывающими в полк, и прелестная умница Шурочка ведут себя похоже. Физическая измена для них — возможность почувствовать *себя* значительнее, «третий» занимает их лишь как инструмент для достижения своих целей: одна таким образом добывает лстящую ей славу «полковой Мессалины», вторая — возможность вырваться из захолустной воинской части.

В противовес этим, однозначно оцениваемым как «нечислотоплотные», отношениям возникает — в духе времени — образ «небесного» умозрительного романа, воспетый в «*Гранатовом браслете*» (1911). Складывающийся в повести треугольник (князь Шеин — княгиня Шеина — телеграфист Желтков) не приводит к реальной измене. Любовь Желткова к Вере вначале вызывает у объекта страсти лишь чувство неловкости. Только самоубийство странного влюбленного приводит героиню к пониманию, что ее жизни коснулась мечта многих людей — «любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды» (Куприн 1994, 549), это и вызывает ответное глубокое сочувствие и благодарность Желткову — безумцу-«меджнуну», верному высшему дару любви в рациональный век компромиссов.

«От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены» (Э. Багрицкий): измена и революция

Случившаяся в России смена власти и типа государственности не могла не повлиять на частную жизнь, поскольку советская власть стремилась обновить формы общественных отношений, а «новые люди», которым следовало появиться в результате социалистической революции, по замыслу, должны были чувствовать, думать и действовать по-новому. Бесконечные эксперименты 1920-х годов в сфере быта (разводы по заявлению одной из сторон без уведомления второй, разные типы коммунального жилья, фабрики-кухни и т.п.), по сути дела, реализовывали в жизнь смелые фантазии предшествовавших десятилетий по раскрепощению интимной сферы жизни вплоть до создания «роевой» семьи. Советскому «новому» человеку было предложено изменяться, в том числе и в соответствии с заданными ранее установками, т.е. практиковать свободную смену партнеров, существовать в рамках тройственных союзов, относиться к ревности как к «пережитку» — обывательскому или буржуазному. Не случайно первое послереволюционное десятилетие воспринималось как «эпоха сексуальной революции» (Герштейн 1999, 424).

Все это, естественно, нашло отражение в литературе, но — за исключением произведений юмористических, вроде зошенинских рассказов или катаевской «*Квадратуры круга*» (1928), где две семейные пары легко меняются партнерами, в результате чего создаются новые союзы, объединенные не столько духовными интересами, сколько бытовыми привычками, — все семейные новшества описаны как разрушительные и нездоровые для человека («*Луна с правой стороны*» (1927) С. Малашкина, «*Без черемухи*» (1927) П. Романова и др.). Десятилетие ушло на то, чтобы обсудить проблему возможности возникновения «нового человека», попытаться организовать новые формы повседневности, а потом прийти к выводу, что люди после мощной исторической встряски остались все теми же. Итогом стало возвращение к традиционному бытовому укладу, в том числе к двусоставной семье.

Впрочем, в этот период изображение любовных «треугольников» в литературе выходило за пределы описания примет быта эпохи, приобретая дополнительное символическое значение. Уже в первом произведении о революции — поэме А. Блока «*Двенад-*

цать» (1918) — фабулообразующей оказывается история Петрухи — Катьки — Ваньки, представляющая своеобразный парафраз на любимую поэтом тему триады из комедий дель арте — Пьеро, Коломбины и Арлекина (Городецкий 1984, 36). Именно любовь, обостренная знанием об измене, дает Петрухе возможность выделиться из общей массы, найти слова для выражения своего отношения к возлюбленной — «толстоморденькой» Кате. Но этот же герой убивает неверную, что позволяет автору задать важнейшую для всей дальнейшей литературы советской эпохи тему глубинной укорененности «старого» в «новом», требующей от «охранников» революции самых решительных, хотя и не разрешающих внутренних противоречий мер.

Через изображение треугольников решается одна из центральных для первой половины 1920-х годов проблема идеологического самоопределения личности. Измена семье трактуется как форма измены чести и долгу, как это происходит, скажем, в «Белой гвардии» (1925) М. Булгакова, где Гальберг «убегает крысьей побегой от опасности» (Булгаков 1988, 33)¹⁵, бросая на произвол судьбы жену, а потом в эмиграции лжет всем, что развелся, так как собирается вновь жениться вторично. Или же, напротив, создание семьи может трактоваться как измена настоящей любви, т.е. лучшему в себе: так происходит в «Городах и годах» (1924) К. Федина, где женитьба Андрея Старцова, а значит, измена далекой Мари Урбах становится началом его падения, показателем авторского осуждения героя.

В «Разгроме» (1926) А. Фадеева любовный треугольник Морозка — Мечик — Варя также становится знаком отношений, выходящих за пределы собственно любовных. Жена партизана Морозки Варя, «добрая, гулящая и бесплодная», жалеющая всех в отряде и оттого не отказывающая в сексуальных притязаниях никому, влюбляется в Мечика, потому что он — «красивый, скромный и нежный» (Фадеев 1976, 78), т.е. не похожий на ее грубого и равнодушного мужа. В любовных отношениях герои раскрываются раньше, чем собственно в партизанской деятельности. Мечик, хотя ему импонирует внимание Вари, побаивается Морозки, как он позже испугается опасности, и предает чувство, как позже предаст отряд. Морозка своей не привыкшей думать головой пытается понять, что же привлекло Варю в Мечике, т.е. с готовностью идет

¹⁵ В дальнейшем произведения М. Булгакова будут цитироваться по этому изданию с указанием в скобках страницы.

навстречу непонятному и опасному. Роман Вари и Мечика разыгрывается более в ее воображении, чем в реальности, он необходим героине, чтобы заполнить пустоту в душе. Позже, когда сначала Морозке, а потом и всему отряду становится плохо, она забывает про эту любовь: трусливый Мечик так и не сумел дать ей новые, красивые отношения.

«Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха...» (Б. Пастернак):
любовь как освобождение

Ситуация любовного треугольника положена в основу сюжета трех великих отечественных романов XX века — «Тихого Дона», «Мастера и Маргариты» и «Доктора Живаго». Используя слова Н. Бердяева, можно сказать, что в них «конфликт между чувством и семьей... есть лишь проявление конфликта между личностью и обществом, между свободой и детерминацией» (Бердяев 1991, 14). Внутренняя оппозиционность этих произведений проявляется, в частности, и в том, что в них присутствует описание не скованных предрассудками, внутренне свободных, ответственных людей, готовых платить за свое своеволие. Жизнь по закону противопоставлена жизни «вне закона», поэтому принципиальным оказывается не столько аспект верности/неверности супружескому долгу, сколько верности/неверности любовному чувству, т.е. в конечном итоге самому сущностно важному в человеке. Таким образом, принадлежность к любовному треугольнику становится знаком социальной неустойчивости героя, его способности противостоять общепринятому и в то же время его духовной избыточности.

В романе М. Шолохова «Тихий Дон» (1928—1940) история любви неженатого вначале Гришки Мелехова и солдатской жены Аксиньи Астаховой начинается с первых глав романа и завершается в конце четвертой книги гибелью Аксиньи, являясь важнейшей сюжетообразующей составляющей книги. Роман организован так, что все его герои сталкиваются с двумя мощными жизненными явлениями: великим историческим событием (Первая мировая и Гражданская войны) и великой любовью Григория и Аксиньи.

Шолоховские персонажи — и в этом их сила — опираются на традиции, всякий выход за границы чреват нарушением внутреннего душевного равновесия героев, становится толчком к остано-

ке инерционного существования и либо к раздражению, либо к мучительной из-за ее непривычности рефлексии, когда пытаются «поймать увливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей» (Шолохов 1988, 1: 14)¹⁶. Живущий по строгому патриархальному устоям казачий мир полон условностей. Солдатка может «гулять», тем более с неженатым парнем, поскольку «свои неписанные законы диктует людям жизнь» (1, 337), сексуальное воздержание отнюдь не считается добродетелью, но эти отношения не принято афишировать. Хуторяне, оставляя себе радость позлословить, обнаружив чужую незаконную связь, в то же время не готовы к нарушению приличий. Григорий — «дурковатый» (1, 77), «звероватый» (1, 7), но верный обитатель этого патриархального мира — сначала, «упорно, с бугайной настойчивостью» «обхаживая» Аксиныю (1, 33), готов выполнять нехитрые правила, предписанные традицией. Но воспоминание о чужой жене кровоточит, «как заноза в сердце» (1, 113), и он решается бросить вызов хутору, отцовской семье, казачьей гордыне и уйти вместе с любимой в батраки.

Аксиныя, в шестнадцать лет изнасилованная собственным отцом, с первого дня семейной жизни «страшно и обдуманно» (1, 32) избиваемая мужем, полюбила в своей жизни первый — и как окажется последний — раз. Эта расцветшая «бесилой, дурнопьяном придорожным» (1, 42) любовь заставляет ее «гордо и высоко нести счастливую, но срамную голову» (1, 42), лишает «стыда», т.е. верности правилам. Впервые выпав из отношений жертва—насильник, Аксиныя готова ради сохранения своего нового состояния уйти вслед за Григорием куда угодно, что она собственно и делает неоднократно на протяжении романного сюжета. В «изнуряющей любви» (3, 143) герои познают себя с новой, неведомой им ранее стороны, проявляются как люди независимые, равные другу другу по силе чувств и откровенности их выражения.

Обнародовав свои отношения, герои производят в мире хутора своего рода революцию, поскольку своим поступком ставят индивидуальное выше родового, семейного. В отношении к этой «необычайной», «сумасшедшей» (1, 47) связи проявляются качества всех окружающих. Муж Аксиныи Степан, привычно относящийся к жене как к собственности, которая нуждается в постоянном уходе, то бишь порках, пытается решить проблему привычными способами — битьем, уговорами, а в итоге удовлетворяется самонаде-

¹⁶ В дальнейшем текст романа приводится по этому изданию с указанием в скобках номера книги и страницы.

янным незамечанием этой любви. Родительская семья Григория, гневаясь на него за нарушение традиций, использует традиционные методы, найдя сыну красивую и разумную невесту. Жена Мелехова, объективно «справная» девка и супруга, не виновная в том, что губы ее кажутся Григорию «безвкусными» (1, 87), а сама она «разнелюбой» (1, 145), также пытается решить эту проблему привычно: покорностью, лаской, эксплуатацией родительских чувств и чувства вины у Григория. Но ни в одном из случаев привычное, традиционное не срабатывает, и каждый из героев вынужден либо закрыть глаза на происходящее, не будучи в силах понять его, либо же, отказавшись от традиционного, выйти на путь индивидуального самоопределения, проявив себя вне предписанной роли.

В романе М. Булгакова «*Мастер и Маргарита*» (1929—1940) собственно любовный треугольник находится, на первый взгляд, на периферии повествования: в мире больших дел Понтия Пилата, Иешуа, Воланда женщинам нет места. Но вынесенная в заголовок романа тема — история Мастера и Маргариты — имеет непосредственное отношение к разбираемой нами коллизии, поскольку Маргарита замужем. Впрочем, имя Маргаритино мужа ни разу не называется, он определяется как «другой человек», «он», мы узнаем про него только, что «у него на заводе пожар», и косвенно, что он материально обеспечен. Встреча Мастера и Маргариты неожиданна («Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскочивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» — 407) и предопределена («Любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя» — 407): неожиданна в контексте человеческой жизни и предопределена в контексте общей судьбы. Итогом становится брачный союз, поскольку Маргариту Мастер воспринимает как «тайную жену», и они проживают свою супружескую жизнь в подвале особняка, где пишется роман. Об этом светлом периоде общего быта вспоминает Мастер: в «последнем приюте» готовятся завтраки, шьется шапочка с инициалом Мастера, вытирается пыль с книг и читается рукопись романа. Третьим для Мастера в этом треугольнике оказывается не муж, он существует в ином мире, куда Маргарита ежевечерне возвращается и откуда ежеутренне уходит, но который Мастера не касается. Реально желанным третьим — ребенком — в семье героев оказывается роман о Пилате, своего рода дитя любви.

Но для Маргариты муж существует, а значит, существует обман, и разлука с Мастером воспринимается героиней как наказа-

ние за ложь. Даже в порыве величайшей тревоги за возлюбленного она не готова, не объяснившись, бросить мужа, потому что он не виновен в том, что она была несчастна с ним. Только превратившись в ведьму, т.е. утратив свойственные ей представления о долге, Маргарита пишет записку мужу, объясняя свое внезапное исчезновение из дома именно этим превращением. На балу у Сатаны она встречает гостей, ставших преступниками из-за желания разрубить возникшие в их жизни любовные треугольники. На этом фоне поведение Маргариты делает ее наследницей пушкинской Татьяны, хотя сама она свою измену воспринимает как нарушение высокой морали, характеризуя себя Воланду как «легкомысленного человека».

В земных условиях тайная семья не может существовать долго: «бедная женщина», как называет Мастер оставшуюся без него Маргариту, не в состоянии быть счастлива с неизлечимо больным и не в силах забыть вину перед мужем. Нужно вмешательство высшей силы, чтобы милосердная ведьма и гениальный сумасшедший поняли, что им нечего делать в «подвальчике», где уже не пишется роман, и выбрали покровительство Воланда ради вечного сохранения друг друга друг для друга¹⁷. Тело Маргариты — земной женщины остается в особняке ее мужа, чтобы он принял горе, но не позор, душа Маргариты отправляется с Мастером в мир иной, где их роли навеки определены. Для обретения покоя Мастеру нужна свобода, в том числе и от своего гения. Маргарита готова охранять его покой — вот роль, которую она выбирает при возлюбленном, реализуя одну из нравственных максим романа: «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит» (653).

Герои Шолохова погружены в мир нерассуждающих страстей, героини М. Булгакова — романтических чувств, героини Пастернака обретаются в мире, где важен свой критерий подлинности происходящего — простота и природосообразность. Юрий Живаго — человек, богато одаренный от Бога всем: умом, талантом, обаянием, гениальной интуицией, «цельным, разом охватывающим картину познанием» (Пастернак 1998, 2: 130)¹⁸, от него веет «свободой

¹⁷ Распространена точка зрения, согласно которой Воланд превращается в своего рода диссидента, поскольку «ему ясно, что счастливыми свободные люди здесь быть не могут», поэтому он «соединяет любовников навечно в иной жизни. Обоим тем самым сохраняется высшая свобода — общество к ней явно не готово!» (Немцев 1991, 135).

¹⁸ В дальнейшем роман цитируется по этому изданию с указанием в скобках номера книги и страницы.

и беззаботностью» (2, 208). На протяжении романа судьба сводит его с тремя женщинами — Тоней, Ларой и Мариной. При этом устойчивыми вершинами треугольника являются Живаго и Лара. Третью меняются: венчанную жену Тоню сменяет гражданская жена Марина.

Тоня дана Живаго биографией: они, «старинные товарищи», благословлены на брак умирающей матерью Тони. Тоня «расторопна, сильна и неутомима» (2,25), наделена способностью рационально разгадывать смыслы жизни. Умная, страстная, прямая, она отчетливо понимает, в чем разница между ней и далекой соперницей: «Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она, чтобы осложнять ее и сбивать с дороги» (2, 138). Материнство возвышает ее, преданность семье внушает уважение, но ни у кого Тоня не вызывает такого безотчетного восторга, как Лара.

Марина дана Живаго бытом: вернувшись в Москву в период глубочайшего духовного кризиса, герой нуждается в молчаливой преданности. Знаком душевной одаренности Марины является ее голос, который «был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариной, а мыслился отдельно от нее... Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить» (2, 190). «Роман в двадцати ведах» между доктором и Мариной внешне был лишен поэтичности и завершился тем, что она стала матерью его дочерей, Капки и Клашки, терпеливой нянькой, привыкшей ко всем странностям Живаго.

Лара соприродна Живаго: гениальный поэт и гениальная женщина, они являются воплощением жизни, их ведет друг к другу «тайная неведомая сила» (2, 31), «они любили друг друга не из неизбежности, не “опаленные страстью”, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья» (2, 209). Лара — воплощенная простота: «без старания красивая» (2, 204), «она была бесподобна прелестью одухотворения» (1, 51), «словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистою травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телесный восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют» (1, 55). Пытаясь понять, что же так притягивает его к Ларе, герой замечает: «Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково» (2, 41), их близость «легкая, невынужденная, саморазумеющаяся» (2, 126), поэтому в чувствах Живаго к Ларе отсутствует тема ревности ее к мужу.

Ревность связана с чувством обладания, в отношениях же героев принципиально важно иное — чувство сродства, одинаковости, неизбежности встреч. «Дайте руку и покорно следуйте за мной», — говорит Лара Живаго после долгой разлуки во время встречи в Юратине, и эти слова оказываются главными в их взаимоотношениях. Он покорно следует за ней, отдается ей, как жизни, и все семейные его перипетии разрешаются драматически, но как бы сами собой, поскольку все происходящее оказывается соразмерно природе. «Как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо! Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началам существования» (2, 116).

Конечно, каждая из женщин Живаго особенная, но, как это ни парадоксально, чувства к ним, основанные на благодарности к их женской сути, схожи. Живаго полюбил Тоню, преисполнившись «к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти» (1, 79). Он полюбил Лару, поскольку она просто «сделана по нему» (2, 97). Он благодарен Марине за ее преданность и ясность. Оттого в стихах Живаго нет ни темы измены, ни страданий по поводу возникших треугольников, но выведена общая история «любви, разлуки», образ некоей воплощенной женственности, чья прелесть может быть описана, но не может быть разгадана.

Во всех трех романах непредсказуемые отношения внутри треугольников становятся знаком неотменяемости живой жизни, которая неизменно богаче схем и правил существования в государстве. Победа чувства отнюдь не означает отказа от долга, но долгу государственному, связанному, в частности, с узаконенными семейными узами, противопоставляется долг перед реализацией сущности человека. Эта установка плохо вписывалась в идеологическую подоснову советской литературы.

«Красный треугольник»: норма и жизнь в истолковании социалистического реализма

На уровне повседневности идея сознательно создаваемых модернистских тройственных союзов была отвергнута жизнью, семья была провозглашена ячейкой общества, и государство взяло се-

мейные отношения под свою защиту. Факты измен, естественно, существовали, но в официальной советской морали, а значит, и в литературе, они обрели статус пережитков прошлого.

На протяжении всего советского периода художники не без иронии описывали попытки государства бороться с этим отступлением от кодекса строителя нового общества с помощью административных методов. А. Галич, в соответствии с государственной модой на осовечивание переименовав адюльтер в «красный треугольник», в одноименной песне (1964 — 1966) высмеивает специфический способ выяснения отношений внутри треугольника через общественное осуждение на производственном собрании.

Публичные обсуждения «аморалок» («А из зала мне кричат — давай подробности!» (Галич 1998, 71—74) для многих в советские времена вносили в обыденность необходимый драматизм, к тому же воспринимаемый людьми как понятный, близкий в отличие от навязанного драматизма большой политики. Не случайно первый вопрос собрания — «Свободу Африке» — интереса у аудитории не вызывает («ну, как про Гану — все в буфет за сардельками»), тогда как второй разыгрывается как привычный и любимый ритуал: «подробности» из уст главного виновника — его же покаяние — обсуждение и символическое наказание («залепили строгача с занесением»). Этого оказывается достаточным как для удовлетворения общественного любопытства, так и для примирения супругов: «И пришли мы с ней в “Пекин” рука об руку, / Она выпила “дюрсо”, а я “перцовую” / За советскую семью образцовую!» Рассказчик — родной сын и внук героев Зошенко, человек простодушный, по-своему честный, грубоватый, он знает порядки общества и следует им. У него нет никаких особых чувств ни к приехавшей продавать «моркву» Нинульке, ни к жене — «товарищ Парамоновой», ему всего лишь хочется красивой, наполненной жизни, вот он и водит своих дам по очереди в ресторан.

Однако, как уже отмечалось, идеология требовала изображения «нового» человека с новым отношением к жизни, в том числе и в понимании любви и семьи.

Трагедия Анны Карениной сегодня уже пустое место, потому что колесо паровоза, под которое легла голова Карениной, для современной женщины не единственный выход разрешить противоречия любовной страсти и общественного отрицания. Трагедия мадам Бовари жива, потому что еще жива во всей остроте противоречий мещанская среда (А. Н. Толстой о литературе, 147) —

это замечание А. Толстого при всей его кажущейся вульгарности исторически точно: изменилось семейное право, но осталась прежней человеческая природа. И при социализме сохранялось противоречие между требованиями социума и тем идеальным представлением о себе, которое складывалось у человека. Но, в отличие от предшествовавших эпох, идеология и обслуживающая идеологию литература нового общества должны были уравнивать символическое и воображаемое, показывая преодоление разрыва между требованиями извне и потребностями самого человека. Человек, который такой разрыв преодолевал, и оказывался по-настоящему «новым»¹⁹.

Литература официального метода — социалистического реализма, по сути дела, воспроизводила модели взаимоотношений, которые должны были стать своего рода образцом для советских граждан. Даже изображавшиеся недостатки (а героев без недостатков не было, поскольку перед лицом громады социализма все несовершенно) должны были служить своего рода уроками читателям: учить эти недостатки выявлять и ликвидировать. В соответствии со структурой социалистического мироустройства государство берет на себя заботу о бытовом благополучии семьи, участники же ячейки должны изнутри заботиться о ее сохранности, так как разводы расшатывают стабильные связи внутри сообщества. Семья по норме должна быть крепкой, вторжение третьего в нее не предусмотрено, но, поскольку внутренний драматизм обязателен даже в «бесконфликтной» литературе, истории счастливых семей редко ставятся в центр: герои либо находятся в стадии формирования семьи («*Кавалер Золотой Звезды*» С. Бабаевского, «*Счастье*» П. Павленко и др.), либо семейные отношения только оттеняют центральную «производственную» линию, где и разворачивается основной конфликт (все «военные», «производственные», «идеологические» романы)²⁰.

Крайне редко фабулообразующей становится коллизия распада семьи, в том числе и оттого, что один из супругов по каким-то

¹⁹ Кристально чистым с точки зрения такого эксперимента оказывается любовный опыт героя романа Н. Островского «*Как закалялась сталь*»: любовь к Тоне завершается из-за разного понимания героями того, насколько требования общества должны определять их внутреннюю жизнь, любовь к Рите становится драматическим воплощением начавшегося синтеза символического и воображаемого, семейная жизнь с Таей — апофеозом превращения чужого в свое.

²⁰ См. об этом, в частности: Литовская М. А. 2000.

причинам предпочитает «другого». Один из вариантов такого треугольника дан в романе А. Коптяевой «*Иван Иванович*» (1949), в основу которого положена именно любовная история: рассказ о распаде семьи приискового хирурга Ивана Ивановича Аржанова и его жены Ольги, которая приезжает к нему на Север, чтобы через год уйти к главному инженеру фабрики Борису Таврову.

Соцреализм, как известно, стремился одновременно к жизнеподобию и к нормативности. В соответствии с неоднократно транслировавшейся нормой любовь, работа и учеба являлись важнейшими составляющими счастья человека, поскольку предоставляли возможность для самореализации во благо общества. Полюбив, советский человек должен был создать семью, в которой супруги, постоянно учась и работая, воспитывали бы детей и духовно обогащали друг друга. Спутник жизни выбирался по «хорошей большой любви» раз и навсегда, но поскольку законы не запрещали разводы «свободным советским женщинам и мужчинам» (Коптяева 1950, 57)²¹, они были возможны и как итог любовных отношений находящихся в браке людей. Поэтому жизнеподобие требовало изображения и таких ситуаций, в которых герои по каким-то причинам разлюбили друг друга, но писатель должен был не просто обличить «распушенность», но и наметить читателю, оказавшемуся в подобной ситуации, выход из положения.

В романе А. Коптяевой между героями возникают отношения, подобные тем, что складываются в соответствии с социалистической доктриной между совершившим проступок человеком и сильным государством, направляющим и поддерживающим оступившегося. Ольга совершает ряд проступков: она не смогла выполнить свой материнский долг, не смогла выбрать профессию. Разбросанность героини вызывает у мужа снисходительное сочувствие, а у Таврова деятельное желание помочь, он, видя в ней самостоятельную личность, заботясь о ее духовном росте, помогает ей понять, что делать дальше в жизни. Расставаясь с мужем, героиня напишет ему в объяснительном письме:

Я не обманывала вас, живя с вами, но мне нечем стало жить подле вас. Когда я пыталась найти место в жизни, вы или равнодушно относились к моим попыткам, или старались подчинить меня своей работе, или просто высмеивали... Тавров... стал моим задушевным советчиком, и это сблизило нас (339).

²¹ В дальнейшем текст романа будет цитироваться по этому изданию с указанием в скобках страниц.

Собственно в этих словах рассказана вся история любви: муж не заботился о профессиональном (равно духовном) росте жены, встреченный ею «третий» выполняет функцию вожакого-учителя, т.е. истинного мужа, помогающего «в главном: найти в себе человека-работника» (128). Большая семья — страна коррелирует с малой семьей: отказ от передачи «духовного богатства» расценивается и там и там как предательство, так что главным виновником возникновения треугольника оказывается не тот, кто изменяет и уходит, а тот, кто отказывается делиться богатством. Но, сам прекрасный работник, Иван Иванович осознает свою вину перед Ольгой, извлекает уроки из ситуации, и его очевидно ждет счастье с медсестрой Варей, которой он с самого начала романа передает секреты врачебного мастерства. Таким образом, в романе нет обманутых и брошенных, происходит перегруппировка, но уже не по принципу общности привычек, как у В. Катаева, а по принципу объединения учителей и учениц.

Изображение подобного любовного треугольника лежит и в основе романа В. Дудинцева «*Не хлебом единым*» (1956), где создается соцреалистическая версия «*Мастера и Маргариты*». Жена благополучного советского начальника средней руки уходит к нищему изобретателю Лопаткину, увлеченная его энтузиазмом в деле создания нового типа механизмов. Но если в булгаковском романе речь идет о внезапно вспыхнувшей, непреодолимой романтической любви, ради которой можно заложить душу дьяволу, то здесь перед нами разворачивается картина медленного возникновения любовного чувства к мужчине, который открывает перед женщиной новые духовные горизонты, постепенно приобщает ее к общегосударственному делу через служение аскетичному мученику-изобретателю.

Отличительной чертой «красного треугольника» оказывается исключение из него изображения физического влечения изменяющего героя к тому, с кем он собирается изменять, и полное отсутствие принятого в таких случаях обозначения одной из сторон треугольника как любовника или любовницы: подруга или друг превращаются в жену/мужа (товарища), минуя фазу незаконных сексуальных отношений, телесное заменено идеей профроста. Поэтому Ольга не испытывает по отношению к Ивану Ивановичу ни чувства гадливости, как чеховская Анна, ни раздражения, как толстовская Анна, напротив, она по-прежнему ценит его за все, кроме пренебрежения ее новой работой: «Поинтересуйся хоть чуточку, чем я сейчас занята. Я тебе десять стаканов чаю принесу, я тебе все подам и найду, ты же так мало требуешь от меня!!» (117).

«...Я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство» (Б. Окуджава): адюльтер в «поздней» советской литературе

Иной оттенок получает тема любовных треугольников в произведениях эпохи «оттепели», где «красность» сменяется общечеловечностью. Тема «незаконной» любви появляется едва ли не во всех ключевых текстах периода: И. Эренбург «*Оттепель*» (1956), В. Гроссман «*Жизнь и судьба*» (1960), В. Аксенов «*Коллеги*» (1958), Г. Николаева «*Битва в пути*» (1957). Список этот можно продолжать. Отношения между полами становятся знаком сложности жизни. Сложность человеческого существования, противопоставленная выпрамленному соцреалистическому изображению его, проявляется в том, что счастливой любовью награждаются не все хорошие люди, а брак строится не только на любви, но и на ряде взаимных обязательств; во взаимоотношениях подчеркивается момент несчастья, «горькой» любви людей несвободных, часто немолодых. И если в ранней «оттепельной» прозе важно было, что муж разлюбившей его героини — чинуша и формалист («*Оттепель*»), а разлюбленная жена — клуша («*Битва в пути*»), то чем дальше, тем сильнее звучит недоумение по поводу этой жесткой привязки возникающих чувств к человеческим качествам. Герой рассказа Ю. Казакова «*На острове*», выражая распространенное мнение, иронизирует по поводу подобной прямолинейности:

Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь (Казаков 1977, 84).

Отношения в треугольнике все чаще рассматриваются писателями лишь как источник радости, горечи, надежд и разочарований тех троих, кто в них участвует. И это объяснимо: нравы вновь становятся менее строгими, внебрачные связи перестают восприниматься как вызов советским общественным устоям, осторожно, но заявляет о себе идея значимости приватного существования, которая окончательно победит в 1980-е годы.

В произведениях Ю. Трифонова, А. Вампилова треугольники уходят на периферию сюжета. Любовь так же мало занимает героев, как и служба, отношения с кровными родственниками, общественная деятельность. Вялотекущая жизнь включает в себя апатичные романы, которые не приносят героям ни счастья, ни разнообразия жизни. Дмитриев из «Обмена» женился на Лене и понял, что «никто не умел любить его так, как Лена» (Трифонов 1975, 39), через десять лет он вступает в связь с Таней: «В то лето он жил в состоянии, не испытанном прежде: любви к себе» (27). Лена и Таня подчеркнута разные: блондинка и рыжая, смуглая и бледная, бесстрашная и испуганная, одна переводит героя с листа английские детективы, вторая читает наизусть поэтов Серебряного века. От первой любви остается семья с общим хозяйством, дочерью, совместным участием в «войне, не знающей перемирия» — повседневной жизни. От второй — «ничего не осталось. Все куда-то исчезло» (22), живо лишь чувство, что «она была бы для него лучшей женой» (23).

«Незаконная» любовь не доставляет Дмитриеву, или, скажем, Зилу из «Утиной охоты» А. Вампилова, или Монахову из «Улетающего Монахова» А. Битова радости узнавания другого человека, она развивается по тем же сценариям, что и любовь к мужьям/женам до брака, не открывает героям ничего нового и в себе, создавая лишь бытовые неудобства. Способные в молодости на страсть, к тридцати—сорока годам герои выдыхаются, их неготовность длить старые и заводить новые любовные отношения становится показателем «недочувствия» (Ю. Трифонов), духовного «сползания» (А. Вампилов), внутреннего равнодушия к жизни.

Напротив, в «деревенской» прозе безусловно положительные героини сохраняют на всю жизнь память о далекой незаконной добрачной любви, обычно вполне платонической. Понятие семьи для абрамовских или солженицынских «старух» священно, они безоговорочно подчиняются самому жесткому патриархальному ее порядку, сохраняют безусловную верность своим мужьям, но забытые молодые чувства указывают на полноту и силу их натуры.

В русской литературе тема любовных треугольников при всей ее трансформации, связанной, в первую очередь, с исторической конкретикой, остается довольно устойчивой. Прослеживаются два главенствующих типа любовных треугольников: «высокий» и «низкий», «небесный» и «земной». Взаимоотношения членов семьи и третьего (третьей), которых можно условно обозначить как



Н. Кузьмин. Иллюстрация к роману А. Пушкина «Евгений Онегин»

Он — Она — Другой (-ая), чаще всего воплощаются в «высоком» варианте в отношениях духовной верности (любовь первая и последняя), но верность сохраняется именно Другому (-ой), т.е. не мужу (жене). Таким Другим могут быть Дубровский, Онегин, Печорин, Вронский, Гуров, Мелехов, Аксинья, Живаго, Лара, Массар и т.д. Законный брак мог быть совершен по причинам экономическим, политическим, бытовым — это неважно, важно, что человек оказался не в состоянии в браке пройти «все натуральные фазы полной любви», которые, по мысли И. Сеченова, могут быть

пережиты лишь единожды: «Повторные страсти — признак неудовлетворенности предшествовавшими» (Сеченов 1947, 167).

Цельная человеческая натура требует полноты осуществления, что и приводит героев к ощущению недостаточности куцых семейных отношений, «третий» не просто дополняет их, но качественно меняет жизнь, впрочем, отнюдь не облегчая ее. В готовности принимать трудности, связанные с существованием Другого, жертвовать покоем во имя полноты проявления личности и состоит привлекательная для авторов способность героев к самоосуществлению, выполнению своего предназначения. Интересно, что все попытки перенести модели «высоких» отношений в жизнь неизменно завершались их распадом или даже травестированием.

В «низком» варианте «треугольник» превращается в поиск одновременно «модистки для тела и дантистки для души» (Саша Черный 1960, 271). Это позволяет герою мысленно приблизиться к желаемому единству духовного и материального, что должно по расхожим представлениям обеспечить ему полноту существования, впрочем, неизменно оказывающуюся мнимой, поскольку в отечественной литературе полнота/неполнота — это качества, имманентно присущие человеку и не могущие меняться в зависимости от условий его жизни. В переходные периоды, когда формируются новые социальные отношения, возможен и более традиционный вариант треугольника: переход от одного любимого к другому, иначе любимому, но обязательно раскрывающему перед партнером некие новые духовные горизонты.

Любовные треугольники довольно редко становились в отечественной литературе предметом изображения сами по себе, как особый тип взаимоотношений людей — разве что в периоды кардинальной ломки социальных отношений, как в России 1840—1860-х или 1900—1920-х годов (впрочем, и тогда эксперименты проводились вначале на живых людях, а уж потом попадали в литературу). Чаще они служат своеобразной формой выражения общественной проблематики: знаком свободы/несвободы, духовной состоятельности/несостоятельности героев, модуса отношений человека с «веками, историей и мирозданьем».

Но показательна сама живучесть этой формы межличностного существования людей, так же как постоянно утопическое стремление сторон данной фигуры уравновесить и гармонизировать свои отношения, прийти к желанному паритету и застыть в нем — вопреки «общественному мнению», социально-культурным установкам и голосу эго, кричащему «это мое!..». Возможно, это

связано с архетипичностью самой триады или троицы для человеческого сознания. «Власть вещей с ее триадой измерений» (Анненский 1990, 205) определяет нашу физическую реальность, и через «третьего», «другого другого» (Пятигорский 1996, 265), я познаю мир и себя. Как писал К. Г. Юнг, «Троица означает продолжающийся многие столетия процесс осознания» (Юнг 1995, 100), поэтому «четвертый» обычно отторгается как нежелательная Тень, как падший ангел или попросту сатана, ведь четверица — это Боговоплощение на земле, не случайно символизируемое крестом, что несет Христос и вослед ему — человек.

«Пифагорейская четверица, — опять приведем высказывание Юнга, — была природным, *естественным фактом*, архетипической формой созерцания, но отнюдь не *моральной проблемой*, а тем более — *божественной драмой*» (Юнг 1995, 79). «Божественной драмой» стала именно Троица, выразив собой для человеческого сознания образ идеального совершенства, мучительно недостижимого в земной реальности.

Надежда Нартова

ЛЕСБИЙСКИЕ СЕМЬИ: РЕАЛЬНОСТЬ ЗА СТЕНОЙ МОЛЧАНИЯ

Изменения, происходящие в России в течение последних десяти — пятнадцати лет, открывают новые пласты повседневной жизни, ранее закрытые и от общественного обсуждения, и от исследовательского интереса. Одной из таких тем является гомосексуальность. В советское время сексуальность в целом была закрытой темой, а гомосексуальность если и появлялась в дискурсе, то исключительно с позиций психиатрии, медицины и девиантного поведения. Соответственно, научный дискурс о гомосексуальности носил маргинальный и маргинализирующий характер, во многом сохраняющийся и в настоящее время. Даже институционализация гендерных исследований, сделавших возможным в академической сфере новую постановку проблем «женщины» и «женского», сексуальности и власти, не повлекла за собой роста исследовательского интереса к гомосексуальности, хотя в современных западных исследованиях именно изучение гомосексуальности позволило теоретически обосновать дискурсивное и культурное производство пола и сексуальности.

Немногочисленные исследовательские работы российских авторов, посвященные гомосексуальности, акцентируют свое внимание преимущественно на *мужской* гомосексуальности, исследований лесбиянства практически нет. Редки и переводные статьи. Почему до сих пор так происходит — вопрос открытый. Возможно, наличие в академическом и общественном дискурсах хотя какой-то артикуляции темы однополый мужской любви объясняется общим восприятием мужского как публичного, а, в свою очередь, гомосексуального — как нарушающего традиционные нормы «публичной» маскулинности. Лесбиянство же как явление одновременно и женское, и гомосексуальное остается за рамками,

а зачастую и интерпретируется сквозь призму *мужской* гомосексуальности (см.: Омельченко 2002)¹.

В свою очередь, на *повседневном* уровне гомосексуальное поведение продолжает рассматриваться как разновидность сексуальной техники и замыкается пределами спальни. (Наглядной демонстрацией служит обывательский порнографическо-эротический интерес к лесбийским отношениям.) Во многом это является результатом «сексуальной революции» российского общества, в процессе которой сексуальный дискурс не только появился в публичном пространстве, но и включил в себя многие ранее совершенно замалчиваемые элементы. Это позволило, с одной стороны, признать за гомосексуальностью право на существование, а с другой — ограничить ее анализ проблематикой сексуального удовлетворения.

Однако гомосексуальность, как и любая сексуальность, является важнейшим компонентом общей структуры личности и влияет не только на выбор сексуального партнера, но и определяет жизненные стратегии индивида. То есть поддержание идентичности, организация личной жизни (выбор партнеров и способа взаимодействия), конструирование публичной и приватной сферы зависят в том числе и от гомо- или гетеросексуальности индивида. А также от возможности реализации гомо- или гетерообраза жизни в обществе.

Женщины-лесбиянки — небольшая в процентном отношении часть населения — в реальности представляют собой тысячи и тысячи людей (Кон 1998, 44—48). Эти люди, разумеется, живут не только мыслями о сексуальном удовлетворении. Множество лесбийских пар строят свои отношения, организуют свою жизнь, планируют свое будущее в условиях достаточно жесткого социального давления и неприятия. В частности, термин «лесбиянка» имеет негативную коннотацию: он не столько описывает ненормативную сексуальность, сколько исключает человека из «нормы» вообще. Поэтому в данной работе будет использоваться понятие «женщина-лесбиянка».

Показательным примером исключения гомосексуальности является российская социология семейных отношений — она либо

¹ По составленной С. Голодом и Л. Кузнецовой (2002) аннотированной библиографии по проблемам сексуальности за период 1991—2000 гг. можно проследить, что из 16 опубликованных работ по гомосексуальности исключительно лесбиянству посвящены всего две (Жук 1998; Нартова 1999) и одна — «сексуальным извращениям» (на примере гомосексуальности) у осужденных женщин (Волков, Калинин, Пищелко 1992).

не рассматривает гомосексуальные пары вообще, либо отказывает им в праве на семью. Например, авторы монографии по социологии семьи отмечают:

Сегодня в условиях развала социокультурных норм многодетности, отмены прежних табу и распространения «сексуальной революции» идет борьба за узаконение гомосексуализма и лесбиянства как самостоятельных, а не дополнительных к гетеросексуальности форм сексуальных связей. Причем стремление легализовать эти разновидности секса заставляет прибегать к семейной мимикрии, прятать девиантность гомосексуализма (точнее, гомосексуализма) за семейной терминологией и называть подобные связи «однополыми браками» или «однополыми семьями». Однако гомосексуальные пары сожителей, так же как и добровольно бездетные гетеросексуальные супруги, не могут быть семьями из-за своей репродуктивной несостоятельности. Отказ от уголовного преследования людей с девиантными сексуальными склонностями (девиантными из-за своей принципиальной бездетности) не означает отказа от социокультурного осуждения этих форм сексоголизма (Антонов, Медков 1996, 294—295).

Даже исследователи, перенесшие фокус внимания в рассмотрении семьи с воспроизводства на супружество, не признают гомосексуальные пары в качестве нетрадиционных форм семейных отношений:

Конвенционально «нетрадиционные», т.е. в том или ином качестве отличные от классической моногамии, модели могут быть сведены к внебрачным семьям, альтернативным стилям и собственно альтернативным бракам. Замечу, между прочим, следующее: в отличие от некоторых американских исследователей, мною отрицается правомочность ставить в этот ряд не только так называемые гомогенные семьи, но даже гетеросексуальную внебрачную практику (Голод 1998, 188).

Любопытно, что обе процитированные работы появились на свет, несмотря на целый ряд значительных изменений и в обществе в целом и в науке, в частности: сняты идеологические ограничения, поддерживающие развитие академического знания, по стране прокатилась волна гей-лесбийского движения начала 1990-х, наконец, были отменены статьи Уголовного кодекса РФ, карающие добровольное «мужеложство». Однако гомосексуальные пары, по мнению авторов, остаются *вне* рамок семьи, потому что не обладают возможностью воспроизводства потомства с узаконенными, четко определяемыми родителями, не обладают возможностью правовой регистрации — заключения брака, а значит, выпадают из

социального поля регулируемых сексуальных отношений. Таким образом, в российской социологии официальной причиной (о субъективном отношении остается только догадываться) исключения гомосексуальных пар из рассмотрения семейных отношений является их «несанкционированный», т.е. не признанный прежде всего государством, характер. Отсутствие у гомосексуальных пар легитимности перед лицом государства и сложность, в свою очередь, социального контроля и регулирования данных отношений становятся барьером для социологии семьи при включении однополых пар в поле своего внимания.

Очевидно, что классификация отношений между людьми на «семейные» и «несемейные» определяется прежде всего тем исходным определением «семьи», которое лежит в основе той или иной классификации. Согласно, например, британскому социологу Энтони Гидденсу, семья — это ячейка общества, состоящая «из людей, которые поддерживают друг друга одним или несколькими способами, например, социально, экономически или психологически (любовь, забота, привязанность), либо чьи члены отождествляются друг с другом как поддерживающая ячейка» (см.: Томпсон, Пристли 1996, 162). Понятно, что при таком подходе ключевым в определении семейного характера отношений внутри лесбийских пар будут являться те формы поддержки, которые оказывают партнерши друг другу, а также их готовность/желание воспринимать их союз как семейный, даже если академические дискурсы и общественное мнение отказываются их считать таковыми.

Поэтому целью настоящей статьи стала попытка приоткрыть завесу молчания вокруг лесбийских семей и реконструировать их повседневность. В исследовании был применен метод полуструктурированного интервью, в ходе которого информанткам задавались вопросы о различных аспектах семейной жизни и предоставлялась возможность свободно говорить на предложенные темы.

Женщины-лесбиянки не представляют собой монолитной и однородной группы: пары различаются по образу жизни, ценностям, установкам, принадлежат к разным социальным слоям, имеют разный уровень дохода и т.д. Поэтому анализ пяти семей молодых женщин-лесбиянок, преимущественно высокообразованных и преимущественно занятых в частном секторе экономики, не претендует даже на основную репрезентативность, а скорее является поисковым исследованием, в ходе которого осуществляется первичная реконструкция повседневности и ограничений, которые структурируют семейную жизнь лесбийских пар.

Для исследования выбирались пары, имеющие продолжительные стабильные отношения; в каждой из пяти пар была проинтервьюирована одна партнерша.

Пара № 1: Вместе 14 месяцев. Обе партнерши имеют высшее образование, продолжают обучение в рамках повышения квалификации. Информантка Юля (22 г.) работает менеджером в частном бизнесе, партнерша Вера (24 г.) аспирантка. Проживают вместе.

Пара № 2: Вместе шесть с половиной лет. Обе партнерши имеют высшее образование, работают менеджерами в сфере частного бизнеса. Информантка Аня (26 л.) и партнерша Ксения (34 г.) проживают вместе.

Пара № 3: На данный момент распалась после семи лет отношений, три из которых проживали совместно. Информантка Ника (26 л.) на момент отношений была студенткой, партнерша имела среднее образование, не работала.

Пара № 4: Вместе полтора года. Обе партнерши имеют среднее образование. Информантка Света (26 л.) работает дизайнером в частной фирме, имеет ребенка. Партнерша Соня (23 г.) на данный момент безработная. Проживают вместе.

Пара № 5: Вместе три года. Обе партнерши имеют высшее образование, работают в сфере частного бизнеса. Информантка Маша (26 л.) и партнерша Рита (24 г.) проживают вместе.

Для того чтобы понять, что такое лесбийская семья, я попытаюсь описать и проанализировать следующие аспекты:

- характеристики, с помощью которых женщины определяют свои отношения;
- механизмы, использованные для конструирования идентичности;
- характеристики эмоционально-интимных отношений;
- описание материальных условий, характера распределения обязанностей внутри пар и способы принятия совместных решений;
- вопрос о рождении и воспитании детей и, наконец,
- артикуляция взаимодействия лесбийских пар с их ближайшим социальным окружением и публичным пространством.

«Это и есть семья...»

В российском обществе не существует социокультурных традиций, согласно которым продолжительные лесбийские отношения можно было бы определять как «семейные». Поэтому одной из

важнейших задач данной работы было выяснить, как именно характеризуют женщины-лесбиянки свои отношения с партнершами. Как показали результаты, продолжительные стабильные отношения воспринимаются их участницами как семейные:

Я считаю, что мы — семья, несомненно, по всем признакам. При этом Ксению я мыслю не как жену или как мужа, а как человека, которого я люблю, то есть — любимая женщина, любимый человек (Аня, 26 л.).

Семейные отношения, семейные. Потому что это похоже на семью, потому что это и есть семья; как их еще можно определять? (Света, 26 л.).

Внося свои собственные суждения в пространство интервью, а значит, в оцениваемое публичное поле, информантки сначала легитимизировали свои отношения путем сравнения «по всем признакам» с предполагаемой моделью традиционной семьи; отношения между двумя женщинами являются семейными — «потому что это похоже на семью». Разворачивая объяснение, информантки затем выводили идентификацию собственного опыта из понимания сущности семьи как таковой:

Семья — это союз двух людей, которые любят друг друга, то есть никакие браки по расчету мне никогда не были приемлемы. Поэтому, если есть два человека, которые живут вместе, или они могут не жить вместе, по каким-то очень серьезным обстоятельствам, имеют общий бюджет, общие планы, общий быт, общие дела, то мне кажется, что это семья (Аня, 26 л.).

Семья — это союз двух любящих друг друга людей, способных идти по жизни рядом, глядящих в одну сторону, имеющих определенные цели, связанные друг с другом, возможно, воспитывающие детей (Света, 26 л.).

В понимании информанток, семья — демократична и строится на основании «союза двух любящих людей», включает общее ведение хозяйства, общее проживание, но главное — включает в качестве фактора, конституирующего взаимоотношения, общие повседневно разделяемые интересы: «общие дела», «глядящие в одну сторону». Семья рассматривается как супружеский проект двух взрослых людей, «способных идти по жизни рядом», в котором рождение детей является желательным, но не основным, обязательным условием («возможно, воспитывающие детей»).

В условиях проблематичности принятия гомосексуальных отношений в обществе семье присваивается статус более высокий, по сравнению с любовной связью или сожительством: «семья лучше, чем что-то другое»; презентация отношений как семейных

имеет больше шансов на общественное признание. При этом потребность в официальной регистрации брака рассматривается как механизм защиты от негативного социального контроля:

Мне почему-то так больше нравится это определять, чем просто любовницы, или сожители, или еще какие-то там определения. Мне кажется, что если я и другим смогу это объяснить, так, как я это понимаю, что это семья, а не любовницы или сожители, то у всех будет отношение, как у меня, то есть семья лучше, чем что-то другое. А если бы это была зарегистрированная семья, то против этого вообще ничего не скажешь (Юля, 22 г.).

Идентификация отношений как семейных происходит не посредством прямого механического переноса понятия на романтические отношения, а связана с рефлексией по поводу изменения качества и условий взаимоотношений:

Я стала думать о нас как о семье, когда поняла, что это не просто роман. Мы уже жили вместе, но я это еще так не называла. Когда я поняла, что есть некая стабильность, что мы не разбежимся после какой-нибудь ссоры, что для нас важны эти отношения, что есть чувство безопасности, что если что-то случится, то второй позаботится, что главное, что для каждой из нас эти отношения стали жизнеопределяющими, то я поняла, что это семья, хотя я всегда хотела иметь семью, но в реальности оказалась с этим очень осторожна (Маша, 26 л.).

Осознание того, что это семья, пришло уже, конечно, во время совместной жизни. Потому что эти отношения стали для меня в каком-то смысле проблематизироваться. То есть я стала их осознавать в совокупности хорошего, плохого, проблем, позитивных каких-то моментов. До этого, когда все было в форме романа, причем довольно бурного, были какие-то внешние угрозы, некуда было пойти, нужно было прятаться от родителей и вообще от окружающих, а когда начинаешь жить вместе, на первый план выходят другие проблемы: ежедневное мелькание друг у друга перед глазами, надо идти в выходные на рынок, надо убирать комнату, я люблю футбол и не люблю сериалы. То есть стала возникать куча проблем внутри, которые надо было решать, и решать через компромиссы. Для меня семья была связана с длительным совместным проживанием, с ведением общего хозяйства, с ответственностью за партнера, с распределением ролей (Ника, 26 л.).

Интерпретация отношений как семейных связывается с окончанием фазы «романа» и с включением в эти отношения бытовых элементов «совместной жизни», т.е. с необходимостью структурировать рутину, с одной стороны, а с другой — с ожиданием стабильности,

безопасности («что мы не разбежимся после какой-нибудь ссоры»), а также наличием способности поддерживать стабильность этих «жизнеопределяющих» отношений с «ответственностью за партнера».

Важную роль в поддержании идентичности и сплоченности любой семьи играют совместные ожидания и общие жизненные перспективы. В рассматриваемых парах к ним относятся продолжение отношений, стремление иметь детей, совместное жилье и улучшение материального состояния.

Я жду, во-первых, я жду, что мы не откажемся от всего того, во что мы верим и что мы делаем сейчас. Я жду, что наша семья не развалится оттого, что кто-то перестанет верить друг в друга, в нашу совместную жизнь, это мое ожидание от нашей жизни, что она будет длиться не один год, не два года, то есть семья будет не на один год, не на два, а, ну, пока смерть не разлучит нас. Это самое главное ожидание (Юля, 22 г.).

Во-первых, я очень хочу, чтобы у нас были дети у обеих. И мне это очень ценно и очень интересно. Мне кажется, что это очень углубляет и меняет отношение в гетеросексуальных парах, и мне кажется, что здесь то же самое происходит, потому что это, что мы создали, это то, что сплывает (Аня, 26 л.).

Мне очень хочется, чтобы у нас наконец-то было жилье свое, чтобы денег больше зарабатывали, чтобы мы повышали свое благосостояние (Аня, 26 л.).

Хочется финансовой успешности, чтобы не думать о деньгах, чтобы была своя квартира (Маша, 26 л.).

Ожидания, демонстрируемые информантками, связаны с актуальными для них отношениями и направлены на их укрепление. Даже желание иметь детей рассматривается не в контексте целеполагания семьи, а как стабилизирующий фактор («это очень сплывает»).

Отличительной особенностью лесбийских пар является надежда на общественную легитимацию своего семейного статуса и со стороны общества в целом, и со стороны ближайшего социального окружения:

Я ожидаю, что когда-то не я одна буду говорить о нас как о семье, или о нас троих, или четверых, если будут дети, как о семье, но я ожидаю, что и общество будет так же уверено, как и я, в том, что это семья (Юля, 22 г.).

Хочется, чтобы родители окончательно приняли (Аня, 26 л.).

Важно отметить одно обстоятельство: опрошенные пары имеют «обручальные» кольца. Обмен кольцами является апогеем традиционной брачной церемонии. Формально лишённые права на проведение свадебных ритуалов, женщины-лесбиянки используют данный механизм фиксации изменения статуса пары: с одной стороны, происходит рефлексия изменений качества отношений и выработка ориентации на продолжение совместного существования, с другой — символическая репрезентация статуса вовне.

У нас есть кольца, которыми мы обменялись еще относительно в начале наших отношений, и мы их носим на безымянном пальце правой руки, и никогда не снимаем, и они внешне похожи на обручальные. Мне нравится, что у меня есть кольцо, как у каждой женатой женщины, или замужней, во-вторых, мне нравится, что у меня есть какое-то вещественное доказательство присутствия жены в моей жизни, оно мне напоминает о ней, в-третьих, оно красивое (Юля, 22 г.).

Единственная пара, еще не имеющая колец на данный момент, высказала такое намерение: «Вот кольца ходили смотреть. Ну, это такое дело. Мы об этом говорим, но как-то... Хочется какого-то символа, какого-то знака» (Света, 26 л.).

Таким образом, рассматриваемые лесбийские пары не только определяют себя как семьи, но и вырабатывают механизмы конструирования и поддержания идентичности, направленные на укрепление и развитие *семейных* отношений, в интерпретацию отношений как семейных включаются безопасность, стабильность, забота, совместное ведение хозяйства, выработка совместных привычек и навыков решения спорных вопросов и конфликтов. Идентификация пары как семьи является сознательным проектом, связана с рефлексией изменения качества и условий отношений, сопровождается выработкой установки на сохранение и развитие отношений. Поддерживающим механизмом выступает и символический ритуал (обмен «обручальными» кольцами), с помощью которого изменение статуса пары репрезентируется обществу.

В условиях отсутствия соционормативных образцов поведения гомосексуальных пар, внешних поддерживающих механизмов, т.е. в условиях высокой степени неопределенности, для лесбийских пар необходимы некие гарантии стабильности. Семья в сознании связывается с долгосрочным проектом, поэтому конструирование семейной идентичности позволяет обеспечить продолжительность и развитие отношений. Семья воспринимается скорее не как *навязанная норма* гетеросексуального большинства, а как *универсаль-*

ный конструкт, в рамках которого можно не только создавать удовлетворяющие отношения, но и который можно наделять желаемыми смыслами.

Как ни парадоксально, в условиях сложившегося дискурса гомосексуальности как тотальной сексуальности в артикулированное понимание семьи информантками сексуальность не входит. Она становится сопутствующим, а не определяющим фактором. При переходе отношений от романтических к семейным в лесбийских парах сексуальность отходит на второй план, и семья становится проектом «совместной жизни», а не «регламентацией сексуального взаимодействия».

«...Мне с ней интересно жить»

Судя по интервью, внутренний мир лесбийских семей — это мир эмоциональной близости и внимания друг к другу. Информантки подчеркивают, что их отношения основываются на открытости, желании слышать и слушать другого, на интересе к партнеру. Самым важным в своих взаимоотношениях женщины выделяют эмоционально-психологические характеристики, такие как любовь, доверие и поддержку, совместные интересы и разделяемые смыслы.

Любовь. Что может быть точнее? Любовь. Доверие, порядочность. Не знаю, что еще, любовь — самое главное (Света, 26 л.).

Для меня самое важное то, что мне с ней интересно жить. Пока мне интересно, я могу жить, если мне станет неинтересно, конечно, интересно в каком-то более общем смысле, не в конкретном, как интересный фильм, интересная книга, а в каком-то общем жизненном смысле интересно жить. До тех пор пока она мне дарит интерес к жизни, а я ей дарю что-то, что она во мне больше всего ценит, до тех пор может существовать эта семья. И это я считаю самым главным и семьеобразующим. Интерес к жизни как желание жить (Юля, 22 г.).

Партнерши являются друг для друга не только источником любви, внимания и поддержки, это отношения открытости и доверия. Семья — тесная дружба:

Для меня стало так, что жена стала также лучшей подругой. Меня это абсолютно устраивает, потому что существует между нами не только секс, любовь, или я не знаю, что объединяет, какие-то любовные отношения. Но есть и дружеские отношения, поэтому это жена и друг (Юля, 22 г.).

Отношения в семье эксклюзивны: «Для меня она самый близкий человек, все ей рассказываю, и все ей приходится слушать. Есть вещи, которые я вообще никому не говорю, ни друзьям, ни ей, никому, как у всякого, наверное. А так, могу на нее друзьям пожаловаться, но все равно ей потом все выскажу» (Маша, 26 л.). Эксклюзивность отношений приводит к расширению личностных функций, осуществляемых партнершами: партнерши должны удовлетворять не только сексуальные и эмоциональные притязания друг друга, но и интеллектуально-духовные («интерес к жизни»), дружеские, возможности выражения недовольства («но все равно ей потом все выскажу»). То, что могло бы быть направлено и реализовано по разным каналам, концентрируется в одном месте и в одном человеке. Более того, выполнение данных требований выступает как необходимое условие сохранения отношений и становится обязательным для исполнения: «до тех пор, пока она мне дарит интерес к жизни... может существовать эта семья».

Только одна информантка отметила сознательное утаивание недопустимого в их отношениях поведения — связей на стороне.

С ее стороны, я думаю, доверие было полным. Я не знаю до сих пор никаких тайн, которые были от меня скрыты. С моей стороны были определенные тайны, через год или полтора, после того как начались наши отношения, то есть в самом их разгаре, у меня были уже отношения на стороне. У меня были романы параллельные. Но я прекрасно отдавала себе отчет в том, что я люблю ее, но мне нужны, скажем так, еще какие-то впечатления, и воспринимала все романы на стороне как второстепенные, вынуждена была их скрывать, естественно (Ника, 26 л.).

Высокая степень эмоциональной и духовной близости лесбийских пар — желание быть вместе и уделять друг другу как можно больше внимания — естественно выражается в совместном проведении свободного времени:

Свободное время мы почти все проводим вместе, кроме тех случаев, когда мы договариваемся, что ездим по мамам, или Ксению везет начальник, он же друг, с работы, поэтому она приезжает позже, я поэтому предоставлена себе, или у меня свободное время днем, и я могу встретиться с подружкой, Ксения в это время на работе (Аня, 26 л.).

Почти все, почти все свободное время мы проводим вместе, потому что его не так-то много, и обидно его проводить не вместе (Юля, 22 г.).

Проведение отпуска также отмечено стремлением быть «всегда вместе» и зависит от наличия материальных и временных ресурсов:

Отпуска вместе всегда. Мы, по-моему, считали, что за пять лет отдельно друг от друга мы провели месяц (Аня, 26 л.).

С отпусками через раз получается, то работа, то деньги, то еще что-то, а так, конечно бы, хотелось всегда вместе (Маша, 26 л.).

«Универсализация» партнерш позволяет максимально эффективно использовать ограниченные временные ресурсы: все необходимое сосредоточено в одном человеке, при этом реализуются такие важные аспекты семейного взаимодействия, как потребность во внимании партнерши и необходимость совместных действий (походы в театр, к друзьям и т.д.).

Однако тотальная общность взглядов не является обязательным условием *стабильности* лесбийских отношений. Все информантки отметили как наличие совпадений в подходах и точках зрения, так и области разночтений. Причем у каждой пары это свои зоны. В одних семьях существует общность мировоззрения, а различия лежат на уровне повседневности, в других — наоборот. Лесбийские пары рассматривают взаимную непохожесть как поле диалога, в котором всегда можно найти общий язык:

Мы в чем-то, видимо, очень одинаковые. Поэтому какие-то вещи, связанные с понятием, что такое интеллигентность, что такое доброта, какие книжки нужно читать, что деньги — это не главное, а главное — это отношения. Ну, вот такой нематериальный, немного романтический взгляд на жизнь, вот эти вещи — общие. Мы разные по темпераменту. Разные по ценностям, мне больше важен быт и успешность, такая, социальная, нежели Ксении, потому что для нее более важны мыслительные процессы, которые происходят внутри нее (Аня, 26 л.).

Есть что-то общее, но есть что-то и разное. Отношение к жизни разное и понимание каких-то основополагающих вещей, и это иногда раздражает, и кажется как-то, что тебя не могут понять, но в принципе я не считаю, что это препятствие для отношений, наверное, можно объяснить свою точку зрения и чужую послушать. Тебя не лишает твоих позиций то, что у человека другая точка зрения. Я более практична, она более идеалистична. На повседневном уровне нам нравится делать одни и те же вещи (Юля, 22 г.).

Любые семейные отношения предполагают возникновение и разрешение конфликтов. Лесбийские пары не являются исключением: открытые конфликты, ссоры присутствуют почти во всех рассматриваемых семьях. Информантки выделяют чередование мирных и конфликтных периодов в жизни:

Мы ссоримся, иногда больше, иногда меньше, иногда просто постоянно, а иногда бывают периоды затишья (Юля, 22 г.).

Можем действительно поругаться сегодня, завтра и послезавтра, а можем не ругаться три месяца, и тут уже думаем, что-то мы давно не ругались (Аня, 26 л.).

Являясь ситуациями высокого психологического напряжения и неудовлетворения, семейные ссоры не носят затяжного характера. Поэтому разрешение конфликта происходит через налаживание эмоционального контакта, только в условиях которого и возможно конструктивное решение проблемы:

Потому что в итоге, через день ссоры или даже меньше, через час, я ощущаю, во всяком случае, что я совершенно несчастна и потерянна, и дальше нет никакого смысла, если я немедленно не помирюсь с любимой. Поэтому приходится либо мириться, либо в Фонтанку бросаться, я мирюсь (Юля, 22 г.).

Все конфликты решаются в пределах одного дня, и мы ни разу не разошлись больше, чем на сутки. Я иду мириться, она идет мириться, потому что мы действительно чаще идем мириться, чем пытаемся сесть за стол переговоров и что-то решить. Меня многие раньше на это уговаривали, но, в общем, опыт показывает, что это ничего не дает. Потому что, когда эмоционально все хорошо, обо всем можно договориться, когда остается некая фрустрация, какой-то конфликт не разрешен, тогда на этот конфликт все, любая мелочь будет наслаиваться. Главное — это помириться, а тогда все дальше можно решить (Аня, 26 л.).

Возможно, частота конфликтов в лесбийских парах выше, чем в имеющих подобную степень удовлетворения браках гетеросексуальных, что связано с отсутствием традиционных механизмов структурирования гомосексуальных отношений, их высокой открытостью, а также вовлеченностью и концентрированностью партнерш друг на друге. Однако даже когда конфликты возникают «просто постоянно», они не становятся процессом накапливания негативности, поскольку каждый в отдельности является эмоциональной катастрофой («либо мириться, либо в Фонтанку бросаться») и требует быстрого разрешения.

Сексуальные отношения составляют важную часть семейных отношений современного общества, это характерно и для лесбийских пар, однако в рассматриваемых семьях сексуальное взаимодействие не является детерминирующим, информантки озвучили его только при ответе на поставленный вопрос. Отмечая высокую

степень удовлетворенности сексуальными отношениями, в качестве единственной периодически возникающей проблемы информантки выделили нехватку времени:

Клево было, что я скажу. Была высокая степень раскрепощенности в сексуальных отношениях, и они устраивали нас обеих (Ника, 26 л.).

...Все в порядке на самом деле, не могу сказать, что у нас есть какие-то проблемы. Бывает, я устаю, бывает еще что-то, но в принципе нормально. Нормальная семейная жизнь, нет никаких проблем особых. Времени друг на друга не хватает иногда, вот из-за работы, из-за учебы, еще из-за чего-то, из-за ребенка. Но в принципе это очень важная часть для любых отношений, я думаю, для нас также, для нас это важно. Как для личности, для нее это важно, как для личности, для меня это важно. Мы удовлетворены (Света, 26 л.).

Времени сейчас друг на друга не хватает. Про секс на какое-то время забыли, потому что нет времени. Но это лишь период. Такое и раньше бывало. С точки зрения удовлетворения мне кажется, что сейчас стало лучше, мы стали больше чувствовать друг друга, лучше понимать. Это не слепая страсть, как вначале, а нечто большее, что-то только наше, что невозможно повторить (Маша, 26 л.).

Эмоциональная близость, открытость, поддержка, доверие, взаимопонимание, интерес друг к другу — это не только основные характеристики лесбийских отношений, но и необходимые условия сохранения семьи, на которую не распространяются традиционные механизмы поддержания стабильности (официальная регистрация, общественное мнение, страх потери статуса и т.д.).

«Хотелось ощутить эту реальную жизнь...»

Все рассматриваемые семьи проживают вместе: две снимают отдельные квартиры, две живут с родителями, одна — в комнате студенческого общежития. Совместное проживание описывается как результат естественного процесса развития отношений:

Потому что мы поняли, что необходимо, хочется быть вместе как можно больше. Хотелось ощутить эту реальную жизнь, каждый день — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — все в целом, вместе, а не только в свободное время или когда хочется (Юля, 22 г.).

Просто стали жить вместе, и все, просто так получилось (Света, 26 л.).

Уровень доходов семьи оценивается информантками как удовлетворительный, однако даже при высокой занятости каждой из партнерш, материальные средства уходят на поддержание жизни: проживание, питание, одежду, проведение досуга.

Мы обе работаем, доходы у нас примерно одинаковые. У нас нет своего компьютера, у нас нет своего телевизора, у нас нет своей машины, но в принципе мы можем себе многое позволить, я считаю, что мы хорошо питаемся, мы всегда можем покупать себе еду, мы способны покупать себе вещи, мы способны ходить в театр, покупать книжки, пить пиво, мы каждый год ездим в отпуск. В принципе я не могу сказать, что он меня совсем устраивает, у нас проблема с материальным уровнем связана с проблемой отсутствия жилья. Потому что если бы мы не снимали жилье, то наш уровень был бы существенно, ну, не существенно выше, но мы могли бы позволить себе больше. Мы не живем лучше многих и хуже многих. Мы средний класс в таком вот варианте, мои родители живут примерно так же (Аня, 26 л.).

У нас примерно одинаковый уровень дохода, и мне кажется, что он ниже прожиточного минимума, и мне кажется, что мы можем не голодать только за счет того, что мы не тратим деньги на жилье. И в этом жилье у нас есть все предметы первой необходимости, то есть белье, и стиральная машина, и кастрюли. Есть и место, где жить, и есть все предметы, необходимые для жизни, нам надо тратить деньги только на еду, по большому счету. По такому случаю у нас остаются деньги еще на развлечения и на какие-то покупки еще мелкие (Юля, 22 г.).

Сейчас Соня не работает, на мою зарплату сейчас живем. Раньше жили на ее, когда у меня не было работы. Нельзя сказать, что кто-то кого-то кормит. Все взаимно заменяемо. Низкий доход на данный момент, потому что работает один человек, ребенок есть, конечно, низкий. Не могу сказать, что мы как сыр в масле катаемся (Света, 26 л.).

Наличие общего семейного бюджета, являющегося одним из параметров определения семьи, присутствует в той или иной форме в каждой лесбийской паре. В формировании семейного бюджета можно условно выделить три модели.

1. Бюджет общий, все имеют к нему равный доступ:

Все деньги у нас общие. У нас никто никогда не делал никаких записок. Заначки нам нужны для дня рождения одной и второй, одна и вторая всегда знает, что нет, эту тысячу я тебе не дам, потому что это тебе на подарок. Все остальное — это общие деньги. У нее в кошельке какие-то деньги, у меня в кошельке какие-то деньги, какие-то деньги лежат и хранятся в доме, каждый берет, сколько надо (Аня, 26 л.).

2. Создание общего бюджета только на определенные цели:

В принципе у нас нет общего бюджета, она мне не отдает свою стипендию, я ей не отдаю свою зарплату. И когда мы выделяем деньги на еду, она выделяет из своего бюджета деньги, а я из своего, в принципе, если у нее нет денег, а мы хотим что-то сделать вместе, или ей нужны деньги, то, конечно, я ей даю деньги и наоборот (Юля, 22 г.).

3. Символически общий бюджет:

У нас был общий бюджет, но как бы его пополнением занималась, в общем, я. Она знала, где лежат деньги; например, она могла всегда их взять, но, как правило, она этого не делала, ну, не то что «как правило», она делала это всегда с моего разрешения (Ника, 26 л.).

Распределение бюджетных средств в лесбийских семьях в целом является совместным решением, а приоритеты определяются по ситуации:

Все вопросы с покупками мы решаем вместе. То, что нужно, мы покупаем (Аня, 26 л.).

Деньги общие, распоряжаемся вместе, обсуждаем, что нам нужно. Нам на данный момент нужно вот это, ну, давай это купим; нет, давай лучше это в следующем месяце, потому что сейчас лучше это, и так далее (Света, 26 л.).

Лесбийские пары, проживая вместе, создают некий общий бюджет, при разных моделях его формирования, необходимый для обеспечения жизни данной семьи. Даже в ситуациях неравного вклада каждой из партнерш, распределение материальных ресурсов строится как совместное решение, позволяющее обеспечить нужды жизни и каждого члена семьи.

«Распределение обязанностей, по-моему, отсутствует...»

Области распределения обязанностей и принятия решений определяют способ взаимодействия членов семьи. Жесткая регламентация видов деятельности и сфер ответственности не характерна для лесбийских пар, они поддерживают партнерский тип отношений, в котором важно не только равномерное разделение прав и обязанностей, но и процесс совместного обсуждения и принятия решений по всем вопросам:

Разделение обязанностей, по-моему, отсутствует. Две женщины, соответственно посуду моют все, стирают все, готовят все (Аня, 26 л.). Мы обе делаем все по дому (Маша, 26 л.).

Такое поведение является сознательным проектом партнерских отношений:

Мы их стараемся распределять поровну, так, чтобы никому не было обидно, потому что что-то делать по дому больше, чем другой, естественно, не хочет никто, ничего в этом приятного особо нету. И мы стараемся друг друга не обижать и поровну разделять. Мы стараемся делать так, что вне зависимости от твоей занятости ты все-таки должен делать дела по дому, потому что, как бы ты ни был занят, ты не должен считать, что раз у тебя есть семья, то она все сделает за тебя (Юля, 22 г.).

Если я считаю, что нужно вытереть пыль, то для меня принципиально, чтобы мы сделали это вместе, а то мне кажется, что я так и буду это делать всю оставшуюся жизнь (Аня, 26 л.).

В ходе этого сознательного распределения обязанностей учитывается ситуационное распределение временных ресурсов партнерш, а также их индивидуальные умения и желания.

Меня как раз раздражают ситуации, когда она читает книжку, а я там буду мыть посуду. Я начинаю шипеть, хотя можно договориться, если она говорит, ты помой посуду, я пока позвоню, потому что мне надо поговорить, или я говорю, мне нужно там что-то отредактировать, так что ты меня сегодня будешь кормить (Аня, 26 л.).

Кто-то занят, значит, по дому другой делает это, кто-то свободен, значит, он по дому делает что-то. Когда как. Ребенка забирает почти всегда Соня, потому что я сейчас позже с работы прихожу. Из-за обстоятельств, а не потому, что ты делаешь то, а я это (Света, 26 л.).

Готовит она, мне в таком случае остается сходить в магазин. Или уборка, я не люблю мыть пол, пол моет жена, она не любит пылесосить, я пылесосю. То есть делим как-то по взаимному желанию (Юля, 22 г.).

Только в одной семье сложилось неравное разделение обязанностей, связанное во многом с неравным количеством свободного времени у партнерш:

Это было традиционное гендерное распределение ролей, мне отводилась роль мужественная. Ну, естественно, я иногда готовила. Она стирала, в том числе и мою одежду, убирала комнату. Иногда мы делали совместно генеральную уборку. Основное хозяйство, ведение домашнего хозяйства лежало на ней, потому что она не училась, а все остальное время она сидела дома, поэтому делала все по дому, а я ходила в

университет, приходила домой в шесть часов, ужинала и ложилась смотреть телевизор, или читать, или шла в гости к кому-нибудь, или мы вместе куда-нибудь шли (Ника, 26 л.).

Поддержание домашнего хозяйства рассматривается как монотонный, не приносящий особого удовлетворения труд («ничего в этом приятного особо нету»), но в паре «две женщины», а значит, следуя традиционному представлению, каждая может и должна выполнять домашнюю работу. Однако наличие более интересных занятий («читать книжку») и деятельность вне дома (работа, учеба) требуют партнерского распределения обязанностей, защищающего от неравномерного переключивания неприятной рутины на одного человека («а то мне кажется, что я так и буду это делать всю оставшуюся жизнь»). Любопытно, что семейные пары, состоящие из женщин, позволяют иначе взглянуть на заявления о том, что женщины склонны проявлять «естественное стремление и любовь к поддержанию семейного очага» — при равных условиях и наличии возможности каждая партнерша в лесбийских парах стремится этой «естественной склонности» избежать.

Принятие решений в рассматриваемых парах является семейным делом. Женщины-лесбиянки отмечают, что не существует решений важных и неважных: все обсуждается, все проговаривается, все решается вместе.

Все решения, в общем-то, и маленькие, и средние, и большие, принимаются вместе, потому что мне кажется, что одной, что другой было бы обидно, если бы какие-то решения, даже маленькие, принимались отдельно. Поэтому все решения, начиная от совместного проживания до каких-то — проведения отпуска, или выбора работы, или увольнения с работы — все это всегда обсуждается (Юля, 22 г.).

Мы все решения принимаем вместе. Мы совсем все решаем вместе, вплоть до мелочей (Аня, 26 л.).

Мы все обсуждаем, вплоть до того, сдавать на права или не сдавать на права, когда, кому из нас первым. Я даже не знаю. В какой детский сад ходить ребенку, да, мы обсуждаем, ехать ли ей на дачу на следующий год или нанимать какую-то няню. Все обсуждается, отдельно, пожалуй, ничего. Да мы не задумываемся об этом, мы разговариваем — и решение приходит в результате разговоров. Все обсуждается. Все считается, все считается важным (Света, 26 л.).

Лесбийские семьи демонстрируют партнерский тип отношений, в котором стремятся к равномерному распределению обязанностей и совместному принятию решений. При этом взаимодействие предстает как постоянный переговорный процесс («мы разговариваем —

и решение приходит в результате разговоров»), что является, с одной стороны, результатом отсутствия традиционных механизмов распределения ответственности, с другой — возможностью самостоятельного структурирования отношений, избегая калькирования гетеросексуальных норм.

«Мой ребенок. Ну, и ее тоже...»

Рождение и воспитание детей традиционно считается одной из важнейших функций семьи. Лесбийские пары подвергаются ostracismu именно из-за предполагаемой невозможности и нежелания исполнять функции воспроизводства, однако рассматриваемые семьи продемонстрировали высокую степень актуализации «детского вопроса».

В одной опрошенной семье на данный момент есть ребенок от предыдущих гетеросексуальных отношений информантки. Ребенок воспринимается как общий:

Ребенку три с половиной. Мой ребенок. Ну и ее тоже. Ну, тоже разницы особой она не делает, насколько я понимаю. Родителям там сказано ею, что это ее ребенок тоже. Так что с ребенком все в порядке, считается, что наш ребенок (Света, 26 л.).

Воспитанием и заботой о ребенке занимаются обе партнерши. Информантка считает, что ребенок относится к подруге, как к родному человеку, а трения между ними возникают только в моменты непослушания дочки:

Ребенок капризный, вредный, как он может относиться к нам, к ней, когда как. Бывает хорошо, бывает плохо. Наказывают — плохо, хвалят — хорошо. Хорошо относится, как к родному относится человеку. Ну, воспитываем. Я воспитываю, и Соня воспитывает. Она разницы особой не делает. Ну, только у меня характер помягче, меня легче подбить на какие-то уступки, ее сложнее. Вот и вся разница (Света, 26 л.).

Одна из рассматриваемых пар на данный момент ждет ребенка:

На данный момент моя подруга находится на четвертом месяце беременности. Я очень этого хотела и фактически была инициатором того, чтобы она родила. Мы очень вместе этот вопрос планировали, очень обсуждали. При всей сегодня безумности этого шага, этот шаг очень обдуманый и очень взвешенный. Это хорошо, это правильно, это надо. Года через два-три я рожу (Аня, 26 л.).

Бездетные пары высказали очень большое желание иметь детей:

Мы очень хотим иметь детей. Мы все время об этом говорим. Все упирается в материальные проблемы, потому что в наших отношениях беременность не может быть случайной, мол, ах, какая неожиданность, я беременна. Это в любом случае решение и определенные действия по достижению результата. А значит, ответственность. Поэтому встает вопрос не «рожать или не рожать?», а «когда рожать?» (Маша, 26 л.).

Рождение и воспитание является важной стороной жизни лесбийских пар. Дети от предыдущих гетеросексуальных отношений считаются общими и воспитываются обеими партнершами. Для бездетных пар рождение детей — это сознательный, обдуманный шаг, реализация которого зависит не только от моральной готовности, но и от создания необходимых материальных условий. «Детский вопрос» в данных парах рассматривается как внутреннее дело самой семьи. Проблема «отцовства» не фигурирует в первых высказываниях респондентов и появляется только в ходе дополнительных вопросов о способе оплодотворения и моделях воспитания. Во многом такое отношение говорит о чувстве самодостаточности, сформированном в данных семьях, о восприятии партнершами себя и своих отношений как замкнутой, цельной единицы².

«Нормальное поведение обычного человека...»

Российское общество еще далеко от принятия гомосексуального образа жизни как равнозначного гетеросексуальному, поэтому публичное пространство, включая и ближайшее социальное окружение, предсказуемо является для лесбийских семей зоной повышенной проблематичности, поскольку «внешняя» оценка лесбийских пар исходит не из *качества* сложившихся у них отношений, а с точки зрения оценки «нормальности» и «допустимости» таких отношений вообще. Наиболее острыми являются проблемы в отношениях с родительскими семьями. Не все родители принимают

² Подробный анализ проблем рождения и воспитания детей в однополых парах в рамках данной статьи не входит; хочется надеяться, однако, что эта важная и интересная тема вызовет необходимый исследовательский интерес в России.

и поддерживают образ жизни своих дочерей — даже несмотря на длительные партнерские отношения. В большинстве случаев матери и отцы (хотя бы одной из партнерш) используют стратегии неприятия, отрицания или замалчивания:

Родители с той стороны, они очень спокойно ко всему относятся, принимают все философски, мама периодически отпускает потрясающие фразы, вроде «Эх, Соня, была бы я помоложе, я бы за тебя замуж вышла» или что-то такое. Вот мои родители — да, никак не относятся. Папа спокойно, он с нами живет, хорошо к нам относится, к обeim. Соню недавно попросил проводку починить почему-то, что он там подумал — не знаю. Почему он меня не попросил — не понятно.

Мама плохо относится моя, там конфликт серьезный. Маме отказано от дома. Она сказала, ты вот больше ко мне с этим монстром не приходи. Мы ребенка вместе заводили, на что я маме сказала, что ты у нас теперь, тоже тебе отказано, ты к нам не приходи, мы тут вместе живем. Ну, она об этом знала, но почему-то она считала, что имеет право делать такие заявления. Я считаю, что никто не имеет права в мою личную жизнь, в мою семью соваться со своими представлениями, как должно быть, как не должно быть (Света, 26 л.).

Возможность открытой репрезентации пары на работе/учебе жестко контролируется:

Зависит от работы, раньше, когда я работала в школе, не знали, на телевидении — не знали, а сейчас на работе все знают. Нормально относятся. У Ксении кто-то знает, кто-то нет. На работе очень по ситуации (Аня, 26 л.).

Естественно, мы никогда не афишировали отношения, в университете, например, или где-то там, привет-привет, мы общались просто, как подруги. Это не составляло большого труда. Никогда это не было проблемой. Я никогда не хотела афишировать (Ника, 26 л.).

Безличные публичные места, такие как улица, клубы, театры и т.д., являются полем самостоятельного выбора поведения, допускающего большую степень открытости:

В публичных местах, таких как улица, кино или еще что-то, где просто много народу, мы позиционируем себя так, как мы естественно себя чувствуем, то есть если мы хотим целоваться, то мы целуемся, если не хотим, то не целуемся, но даже если мы не целуемся, то в принципе видно, что у нас за отношения (Юля, 22 г.).

Не думаем об этом, хотим — целуемся, хотим — держимся за руку. Я не собираюсь ничего афишировать или, наоборот, что-то скрывать. Нормальное поведение обычного человека. Я не хочу никому бросать-

ся в глаза, но не собираюсь вести себя неестественно, думать, что, выходя на улицу, я должна сменить маску и выходить с другим лицом. Я этого никогда не делала (Света, 26 л.).

Показательно, что — независимо от стажа совместных партнерских отношений — в официальных документах графа о семейном положении заполняется «не замужем»:

Я писала резюме и писала, что я не замужем, не жената и партнеров не имею; я писала, что я не замужем (Юля, 22 г.).

Публичная репрезентация отношений как семейных зависит от возможности вообще репрезентировать лесбийские отношения или лесбийский образ жизни. Степень вероятности подвергнуться негативным санкциям, оскорблениям, неприятию или увольнению в той или иной ситуации определяет стратегию поведения женщин-лесбиянок «очень по ситуации».

Друзья для лесбийских пар являются не только людьми, которые принимают их гомосексуальность, но и важным, практически единственным, внешним источником подтверждения статуса семьи («вы — единственная нормальная семья»). Информантки отметили, что друзья приглашают пары вместе в гости, интересуются жизнью партнерш, дарят семейные подарки:

Друзья все в курсе. Очень приятно было слышать пару раз от друзей, от гетеросексуальных пар, что, девочки, вы единственная среди наших знакомых счастливая семья, и что вы — единственная нормальная семья. Большинство друзей относится совершенно лояльно, интересуются, передают приветы (Аня, 26 л.).

Прекрасные у нас отношения с друзьями, замечательные. У меня есть несколько школьных подруг, которые недоуменно подняли брови в свое время, но сейчас они приглашают нас на дни рождения вместе, и... Единственное, что мы недавно на свадьбу одной подруги не ходили вместе, но я думаю, что это было обусловлено тем, что гости жениха могли быть несколько агрессивны. Я не пойти не могла, поскольку знаю ее с трех лет, ну вот. Но это как-то спокойно прошло, не больно-то и хотелось пойти. Не было проблем. Вот был такой инцидент, несколько шероховатый, но зато они нас все время приглашают к себе, приходите, приходите, воспринимают нас как пару, я не знаю, что они между собой обсуждают, но нам, я ни одного нетактичного поступка с их стороны не помню. Друзья дарят нам подарки вместе, сувениры или что-то. Все воспринимают как семью (Света, 26 л.).

Подведем итоги. Согласно материалам, представленным в интервью, женщины, имеющие длительные партнерские отношения,

склонны рассматривать такие отношения как семейные. При полном отсутствии структурирующих традиций и внешних поддерживающих механизмов, идентичность и стабильность данных пар строится на сознательной выработке установок, нацеленных на развитие и сохранение отношений как семейных.

Для лесбийских пар характерна высокая эмоциональная сплоченность, открытость, стремление к пониманию чужой точки зрения. Важнейшими в своих отношениях партнерши считают любовь, поддержку, внимание. Эксклюзивность и высокая интенсивность отношений являются одним из основных условий существования данных пар.

Ориентация на партнерские отношения демонстрируется как в разделении обязанностей по поддержанию домашнего хозяйства, так и в принятии решений и распределении бюджета. При этом внутрисемейное взаимодействие носит характер постоянного переговорного процесса, позволяющего паре самостоятельно распределить обязанности и ответственность при отсутствии традиционных способов регулирования данных отношений.

Рождение и воспитание детей является для женщин-лесбиянок важной стороной жизни. Бездетные пары планируют и предпринимают действия для рождения детей. Пары с детьми от предыдущих гетеросексуальных отношений ведут совместное воспитание и уход за ребенком.

Публичная репрезентация отношений и взаимодействие с ближайшим социальным окружением являются проблемной зоной для лесбийских семей, что связано с общим неприятием лесбийского образа жизни. Друзья для лесбийских пар выступают не только принимающей и поддерживающей группой, но и практически единственным источником внешнего подтверждения статуса пары.

Закономерен вопрос: что является в данном случае определяющим для этих отношений? Идеальные люди? Идеальные установки? Многочисленные исследования показывают, что семья нередко становится источником боли, насилия и отчаяния. Во многом сохранение и иногда искусственное поддержание таких семей связано с внешними для самих семей факторами, такими, например, как необходимость поддержания социального статуса, страх одиночества, стремление к воспитанию детей обоими родителями, запреты разводов, давление социального окружения и множество других аспектов.

Возможно, что для создания и существования лесбийской семьи — при отсутствии правовых (официальная регистрация) условий и социокультурной ситуации, превращающей гомосексуаль-

ный образ жизни в источник рисков (стигматизация, насилие, неприятие), — определяющим становится прежде всего высокая степень удовлетворенности межличностными, партнерскими отношениями. В определенной степени такие семьи могут служить хорошей иллюстрацией к понятию «чистых отношений», построенных на равноправии, рефлексии, открытости, близости. Для Э. Гидденса, предложившего это понятие (Giddens 1991, 88—99), тип *внутрисемейного* взаимодействия, рассмотренный в данной статье, лежит скорее за пределами «традиционной семьи». Однако, как свидетельствуют материалы интервью, одним из самых важных моментов в формировании идентичности партнерш является их стремление вписать свои отношения в *контекст* семейного дискурса.

В лесбийском сообществе существуют отношения, основанные на любовно-романтической связи и распадающиеся после окончания страсти, существуют отношения, определяемые как партнерство, как сожительство, и пары, определяющие себя как семьи. С одной стороны, индивид волен выбирать для себя наиболее привлекательный стиль взаимодействия, а с другой, испытывая отсутствие нормативных моделей, способных регламентировать его поведение, он сам должен выстраивать и структурировать свои отношения. Активные жизненные позиции информанток позволили им избежать деления на мужскую и женскую роли и дали возможность строить внутрисемейное взаимодействие по принципу партнерства. (Сходную картину можно наблюдать и в аналогичных гетеросексуальных семьях.) Рассматриваемые нами пары можно назвать успешными семьями, в которых женщины — несмотря на внешнее давление — смогли выработать механизмы взаимодействия, позволяющие создать, сохранять и поддерживать удовлетворяющие их отношения. Однако, обобщая материалы интервью, нельзя забывать, что эти пары состоят преимущественно из высокообразованных, достигших социального успеха молодых женщин.

Стремясь к партнерству и организуя свои жизненные стратегии в целях сохранения и развития семьи, лесбийские семьи строят свои отношения на основе любви и доверия в условиях отсутствия социальной, культурной или правовой поддержки и вопреки риску подвергнуться оскорблениям на основе сексуальной ориентации. Как сказала одна информантка, «мы очень дорожим нашими отношениями. Мы живем ими. Мы живем друг другом. Несмотря ни на что. Когда-нибудь мир вокруг изменится, и все будет просто, такие отношения, сякие отношения, без разницы, но нас-то уже не будет. А мы — сейчас».

Браян Джеймс Бэр

ОТЦЫ И ДЕТИ И ЛЮБОВНИКИ: «ГОЛУБЫЕ» РОДИТЕЛИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ*

В XX веке русская интеллигенция выразила немало радикальных критических взглядов на традиционную семью: начиная от идей Льва Толстого о воздержании в браке до эмансипации «новой женщины» Александры Коллонтай. В период сталинизма традиционная семья вызывала определенное подозрение, сопровождавшееся попытками заменить верность семье верностью государству, что проявилось в культе Павлика Морозова. Однако критика традиционной семьи и ролевых характеристик пола никогда не была достаточно радикальной, чтобы охватить и идею «голубых» родителей. Всепроницающая гомофобия русского общества обусловила ущербность «голубого» движения, делая практически невозможным обсуждение вопросов, касающихся родительских чувств «голубых»: «Мысль, что “гомики” и лесбиянки могут быть полноценными родителями, в России показалась бы абсурдом» (Кон 1997, 367).

Если гомофобии в России и удалось добиться того, что дискуссии о родителях-«голубых» или родителях-лесбиянках стали, в сущности, маловероятными, ей, однако, не удалось покончить с самим фактом существования «голубой» семьи. Как раз наоборот: боясь публичного внимания, многие русские «голубые» и лесбиянки отрицают или скрывают свою сексуальную ориентацию. Многие вступают в брак, имеют детей, разводятся, и поэтому «многие геи и лесбиянки имеют детей от прежних браков» (Кон 1997, 386). Гомофобия, таким образом, *de facto* порождает значительное число «голубых» родителей, чьи проблемы и заботы остаются без внимания. Предпосылкой для серьезного открытого обсуждения в России родительских чувств «голубых» и «альтернативной» се-

* Пер. с англ. Н. Мытаревой.

мьи должно стать критическое осмысление двух моментов: во-первых, российской одержимости нормальностью, которая подражает гомосексуальность ненормальной и извращенной, и, во-вторых, традиций репрезентации «голубых» в России, которые в лучшем случае предстают как личности трагические и одинокие, а в худшем — как насильники и педофилы.

Проблема нормальности

Обсуждая юридический статус «голубых» и лесбиянок в России, Никита Иванов отметил, что «советское общество печально известно своим чрезвычайно враждебным отношением к любому проявлению диссидентского или “странного” поведения» (Иванов 2000, 3). Удивительно мало что изменилось со времени падения коммунизма. Как замечает Хиллари Пинкертон,

в постсоветском обществе различия между полами зачастую понимаются как биологические половые различия, являясь, таким образом, естественными и необходимыми. Различия между мужчинами и женщинами становятся неотъемлемыми и гипертрофированными, тогда как возможность принять действительно альтернативную половую и сексуальную ориентацию остается весьма ограниченной (Pinkerton 1996, 9—10).

По отношению к гомосексуальности статистические нормы продолжают служить базой формирования нормативных представлений о поведении, т.е. дескриптивные нормы выступают в роли норм прескриптивных, регулятивных. Другими словами, категория ненормального воспринимается не как закономерный продукт статистического определения нормы, а как некая негативная категория аномального и извращенного, которая активно угрожает норме (нормальному). «Считать [гомосексуальность] нормой — абсурд», — заявил в 1991 году президент Академии медицинских наук В. И. Покровский. «Еще абсурднее считать нормальными здоровых людей, которые из-за сексуальной пресыщенности завязывают гомосексуальные связи, растлевают малолетних» (Кон 1997, 387).

На Западе активисты движения «голубых» и лесбиянок приняли двусторонний подход к теоретической атаке на понятия «нормальности» и «нормативности», которые низводят гомосексуальность до маргинального положения извращения или аномалии. Некоторые западные ученые и активисты использовали периферийность гомосексуальности как удобный плацдарм для критичес-

кого переосмысления таких нормативных социальных институтов, как брак и семья. Хорошим примером такого подхода можно считать книгу Майкла Варнера «Проблема с нормальным» (Warner 1999). Другие же попытались развить понятие «нормального», с тем чтобы включить в него потребности гомосексуалистов вступать в брак и иметь детей. Образцом данного отношения к «проблеме нормального» является книга Эндрю Салливана «По сути нормальный. Рассуждение о гомосексуальности», в которой он помимо других моментов считает нелепым представление о том, что гомосексуальность противоположна семье, поскольку:

эти личности [гомосексуалисты] уже являются частью гетеросексуальных семей. Они — сыновья и дочери, братья и сестры, даже матери и отцы гетеросексуальных индивидов. Различие между «семьями» и «гомосексуалистами» прежде всего эмпирически неверно; и стабильность существующих семей тесно связана с тем, как они относятся к своим гомосексуальным членам (Sullivan 1995, 104).

Более того, Салливан обращает внимание на тот исторический момент в развитии западной культуры, когда произошло отождествление нормального и нормативного в сексуальности в трудах Фомы Аквинского, постулировавшего, что воспроизводство, репродуктивное поведение — это не только сексуальная норма, но «сама цель сексуальной деятельности». Аквинский делает следующий вывод: «поскольку оно [воспроизводство] может иметь место в момент сексуального поведения, оно всегда должно иметь место» (Sullivan 1995, 32). Именно подобные доводы используют статистическую норму в качестве основы регулятивной системы поведения, но, по мнению Салливана, такая «логика» не является неизбежной.

Наряду с анализом исходных посылок консервативной критики гомосексуализма, предпринятой Салливаном, мысль о том, что гомосексуальность представляет неизбежную угрозу «семейным ценностям», подвергается развенчиванию и в области американской поп-культуры. Так, например, Нэнси Эндрюс в своей подборке фотографий 1993 года — «*Семья: Портрет “голубой” и лесбийской Америки*» (*Family: A Portrait of Gay and Lesbian America*) — представляет образы «голубых» и лесбиянок в различных «семейных» отношениях, подчеркивая «традиционные» узы участия и привязанности, отраженные в них (Andrews 1994). А в фильме «*Красота по-американски*» (*American Beauty*, 1999) режиссера Сэма Мендеса значительное внимание уделяется «голубой» паре: двое «голубых» мужчин представлены счастливыми, удачливыми и урав-

новешенными, в то время как остальные герои картины искалечены «традиционной» семьей, разобщены лицемерием и обманом.

В контексте теории трансгрессивной маргинальности (queer theory) гомосексуализм может быть использован для развенчания непреложных установок на восприятие половых и сексуальных норм как «естественных». Однако в поп-культуре постсоветской России гомосексуализм чаще всего представлен как ненормативный субстрат, тогда как гетеросексуальность определяется как «нормальная» и «естественная». Попытки теоретически опровергнуть подобные представления о нормативности в России далеко не так заметны, как на Западе: даже в дискуссиях тех, кто выступает за терпимое отношение к гомосексуальности, путаница с нормальностью и нормативностью продолжается. Это четко проявляется в манере употребления прилагательного «естественный» при характеристике гетеросексуальных индивидов. При таком словоупотреблении гетеросексуальная норма якобы отражает «естественный порядок», тотчас же превращая гомосексуальность в аномалию и противоестественность. Словоупотребление достигает того, что не под силу логике, представляя гомосексуальность на протяжении всей истории природы и человечества как, по существу, нечто последовательно «неестественное».

Прилагательное «нормальный» также часто употребляется для описания гетеросексуальности, способствуя смешению «нормального» и «нормативного». Михаил Веллер, например, исключает «страсть нежную, бесплодную сексуальных меньшинств» из предмета рассуждения своей книги «*Любовь зла*» таким образом: «...мы предоставляем им наслаждаться равноправием и скромно отводим глаза в другую сторону — в необъятную сторону, где громоздятся друг на друге люди нормальные» (Веллер 2000, 9). Вместо того чтобы охватить в исследовании феномена «любви» представителей всех сексуальных ориентаций, Веллер провозглашает нормой «плодовитость», тем самым объясняя исключение гомосексуальности.

Подобным же образом Дилия Еникеева в своей книге «*Сексуальная патология*», хотя и призывает к терпимости по отношению к гомосексуальности, тем не менее последовательно употребляет прилагательное «нормальный», характеризуя гетеросексуальный секс, и классифицирует гомосексуальность как извращение — в одном ряду с транссексуализмом, трансвестизмом, некрофилией, эксcrementофилией, педофилией и инцестом среди прочих (добавляя в скобках: «перверзии»). Обсуждая изнасилование в тюрьме, Еникеева утверждает, что «нормальный» мужчина гетеросексуальной ориентации не будет принимать участие в изнасиловании предста-

вителя своего пола... У *нормального* гетеросексуального мужчины просто не возникнет эрекция, необходимая для полового сношения с лицом своего пола» (Еникеева 1997, 93; курсив мой. — Б. Б.).

Логика Еникеевой в данном случае безнадежно замкнута на себе ввиду ее неоспоримого отождествления гетеросексуальности с нормальностью: изнасилование одного гетеросексуального мужчины другим гетеросексуальным мужчиной в тюрьме не может иметь места, потому что такое поведение является «ненормальным» в обществе в целом; гетеросексуальность при этом воспринимается как исключительно нормальное явление. Благодаря такой «логике», гомосексуализм становится пристанищем всех форм ненормативного поведения. Такое смешение «нормального» с «нормативным» приводит к вполне конкретным результатам. Например, Российское правительство использовало аргумент «нормальности» для объяснения своего отказа в праве на официальную регистрацию группы «голубых»/лесбиянок/бисексуалов «*Треугольник*», потому как она «противоречит общественным нормам нравственности» (Кон 1997, 385).

Тенденция нормализовать сексуальность также очевидна в частом употреблении прилагательных «традиционный» и «нетрадиционный» для соответствующей характеристики гетеросексуальности и гомосексуальности. Рок-группа «*Запрещенные барабанички*» из Ростова-на-Дону, например, в своем альбоме 1999 года «*Убили негра*» записала песню «*Модная любовь*». Герой песни — молодой человек, чья девушка ушла от него к другой женщине. Любовь этих женщин определяется одновременно и как «модная», и как «нетрадиционная». Определять гомосексуальность как нечто «нетрадиционное» — несмотря на присутствие гомосексуальности на протяжении всей истории человечества в различных культурах и цивилизациях — значит отказывать этому явлению в историчности, представляя его временной, а также и статистической аномалией.

Размытость разграничения между понятиями «нормального» и «нормативного» ярко проявляется в книге «*Азбука секса: Очерки сексуальной культуры в рыночном мире*», написанной Владимиром Юровицким и скандально известным, жадным до прессы политиком Владимиром Жириновским. После десятилетий сексофобии и репрессий авторы предприняли попытку стимулировать развитие культуры сексуального наслаждения в России. Для этой цели они побуждают российскую молодежь отбросить сексуальную скромность и воспринимать удовольствие как благо само по себе и в себе: «Нет ничего, что было бы между вами запретного, если это

доставляет вам наслаждение» (Жириновский и Юровицкий 1998, 8). Главным в сексе является наслаждение, а потому: «Все хорошо, что его увеличивает. Плохо, что его уменьшает» (там же, 31). Россиян, настаивают авторы, нужно учить «культурному сексу».

Неудивительно, что убеждение авторов в важности сексуально-го удовольствия порождает терпимость по отношению к «голубым» и лесбиянкам. Было бы «безнравственно, — рассуждают авторы, — лишать их радостей сексуальных наслаждений» (там же, 112). Но, хотя Жириновский с Юровицким поначалу и отказываются от традиционного морального осуждения гомосексуальности, недвусмысленно утверждая право каждого индивида на сексуальное наслаждение в любой форме (за исключением педофилии и некрофилии), они тем не менее сетуют на то, что настоящий уровень сексуальной культуры в России «способствует распространению ненормальных и извращенных видов секса», к которым они относят и «гомосекс» (там же, 5).

Ограниченность терпимости авторов к альтернативным формам сексуальности явно порождена их отказом отойти от понятий «нормы» и «нормативности» или хотя бы попытаться переосмыслить отношения между этими понятиями. Например, на протяжении всей книги гетеросексуальный половой акт характеризуется как «нормальный секс». Авторы настаивают, что они употребляют термин «нормальный» в строго статистическом смысле и что такое словоупотребление логически позволяет называть «голубых» и лесбиянок сексуальными меньшинствами: «Мы видим, что гомосексуальность — вовсе не извращение. Это рецессивная форма сексуальности по отношению к доминантной — гетеросексуальности» (там же, 123). Такая дескриптивная норма становится пре-скриптивной, когда гомосексуальность, благодаря «пропаганде» ее активистов, угрожает стать нормой:

Сексологические исследования показали, что гомосексуальные наклонности в той или иной степени характерны примерно для десяти процентов мужчин. Однако в настоящее время широко поставленная пропаганда гомосекса приводит к быстрому росту числа юношей и мужчин, так или иначе вступающих в гомосексуальные отношения... Если эта тенденция в пропаганде гомосекса не будет переломлена, то через несколько лет мы можем уже получить гетеросексуальное меньшинство (там же, 117).

Для Жириновского и Юровицкого Америка является сексуально отсталой страной, потому что она защищает права сексуальных меньшинств:

Так что США не просто сексуально отсталая страна, а страна, которая проводит фактически политику сексуального терроризма по отношению к нормальному сексу и государственной поддержке по отношению к ненормальным видам секса. А так как эта страна является лидером (самозванным) современного мира, то это очень опасно. И борьба с тлетворным влиянием США в области секса и сексуальной идеологии для России (да и для всего мира) весьма актуальна (там же, 168).

Гомосексуальность в данном контексте представляется Жириновскому и Юровицкому не только как знак упадка Запада, но и как свидетельство критического состояния мужественности в России. Трансформация «нормального секса» из дескриптивной нормы в прескриптивную приобретает законченную форму, когда авторы устанавливают прямую взаимосвязь между гетеросексуальностью и здоровьем российского общества:

Новая структура сексуальных отношений увеличит сексуальное предложение именно нормального гетеросекса, что приведет к резкому сокращению различных видов ненормального. А это оздоровит общую психологическую атмосферу в обществе, ибо как бы ни говорили, но есть общественный конфликт между представителями сексуального большинства (гетеросексуалами) и сексуального меньшинства (гомосексуалами), причем второе в настоящее время количественно так стремительно прогрессирует, что грозит стать сексуальным большинством (там же, 86).

Выражение «нормальный секс» здесь использовано не для описания форм сексуальных практик, распространенных среди российского населения, но для определения того, в какой форме секс *должен* практиковаться. Более того, убеждение о способности «пропаганды» повлиять на уровень гомосексуальности в обществе, соответственно, ведет к заключению о том, что гомосексуалистов следует держать подальше от впечатлительных детей.

«Азбука секса...» содержит много ссылок на идеи Василия Розанова, писателя и мыслителя Серебряного века, известного своими панегириками жизнеутверждающим качествам спермы. В своей основе цель Розанова — возродить гетеросексуальность путем резкого осуждения христианской морали, которая, по его мнению, сделала секс постыдным, особенно для женщин. Но, будучи далеким от пропаганды идеи «новой женщины», он настаивает на четком разграничении двух полов: «Самец и самка — они противоположны, и только! Отсюда все выводы, вся философия и истина» (см.: Розанов 1998, 224). Розанов призывает к новой мужественности, коренящейся в патриархальной структуре традиционной се-

ми, в которой гомосексуалисты, по определению, не участвуют. Гомосексуалист, по Розанову, — это лицо, определяемое как лишенное репродуктивного инстинкта; гомосексуалист не желает иметь семью. Мужеподобная женщина — «не замужняя, не мать и вообще очень мало самка», так же как и женоподобный мужчина, «никогда не будет отцом, мужем и дедушкой» (см.: Розанов 1998, 224). Гомосексуальность и семья для Розанова — взаимоисключающие категории.

Трагический «голубой»

В 60-х и 70-х годах XX века на Западе произошла переоценка сексуального наслаждения, что обусловило беспрецедентную распространённость гомосексуальности в современном западном обществе, особенно в Соединенных Штатах. По мнению Алена Джиами,

процесс разъединения эротической и репродуктивной функций сексуальности получил логическое обоснование и развитие в трудах Мастера и Джонсона, а также с открытием в конце 50-х противозачаточных таблеток (Giarni 2000, 265).

Одним из результатов этого процесса явилось решение Американской психиатрической ассоциации (АМНА) нормализовать гомосексуальность, которая была исключена из официального списка диагнозов (DMS) в 1973 году. Благодаря возросшей терпимости к внебрачному сексу и допустимости сексуального удовольствия, на протяжении 1970-х в американской культуре шла переоценка социальных установок на сексуальность и взаимоотношение полов.

В этом контексте гомосексуальность достигает новых дискурсивных высот и становится для многих выражением нового сексуального ландшафта, бросая вызов традиционным нормам сексуального поведения. «Это новое публичное присутствие “голубых”, — писал Майкл Бронски, —

является частью более мощной социальной тенденции, рассматривающей достижение личного и сексуального наслаждения — в органичной связи с юридическими и гражданскими правами — как достойную цель жизни» (Bronski 1995, 74).

Новые сексуальные нормы поставили под вопрос периферийное положение гомосексуальности. По существу, гомосексуальность играла настолько центральную роль в самовыражении новой культуры сексуальных экспериментов и наслаждения в Соединенных

Штатах, что это позволило Деннису Алтману говорить о «гомосексуализации Америки» (Altman 1982).

Перестройка, со столь превозносимой политикой гласности, хотя и обещала положить конец молчанию, долго окружавшему проблему гомосексуальности в России, мало что сделала на практике для изменения сложившихся ассоциаций между гомосексуальностью и удовольствием. В лучшем случае гомосексуализм рассматривался как «болезнь», а в худшем — как «преступление». Несмотря на то что гомосексуальность достигла беспрецедентного распространения в США в период экономического процветания и сексуального экспериментирования, в России со времен Горбачева она рассматривается в контексте экономических потрясений, политической неустойчивости и эпидемии СПИДа. СПИД в особенности «возродил связь между сексуальностью (и гомосексуальностью, в частности. — Б. Б.) и болезнью, патологией и смертью» (Mandersson and Jolly 1997).

Статья Олега Мороза «Отверженные», посвященная жертвам СПИДа и опубликованная в журнале «Огонек» в 1990 году, является примером указанной тенденции. Кульминация в статье, являющейся открытым призывом к сочувствию и терпимости, наступает в конце, когда Павел, один из «голубых» мужчин, опрошенных корреспондентом, высказывает следующую просьбу: «Главное сейчас, чтобы к этим людям по-человечески относились. И не только к гомосексуалистам, вообще к инфицированным. Потому что это — несчастные люди» (*Огонек*, 1990, № 16, 28). Заявление Павла является саморазоблачительным не только потому, что он говорит о себе — т.е. о «голубых» — в третьем лице, но и потому, что он обосновывает свой призыв к терпимости, создавая образ страдающего изгоя.

Образ страдающего гомосексуалиста также ярко выражен в произведениях Евгения Харитонов, по мнению некоторых, самого выдающегося «голубого» писателя советского периода. У Харитон, как отмечает Ярослав Могутин, «литературная судьба гомосексуалиста — это судьба “униженных и оскорбленных”» (Могутин 1993, 13). Могутин относит персонажей Харитон, к русской литературной традиции XIX века, где эротическая страсть и художественное творчество неотделимы от боли, страдания и социального остракизма. Такой персонаж скоро становится способным вести семейную жизнь. Как писал сам Харитон,

семейство однополых невозможно. Это дело блядское... Почему плохо одному? Нет никого рядом и не о ком позаботиться. Холодно жить на

одного себя... Я живу один, зачерствел, перестал понимать простые жизненные заботы людей, потому что у меня их не было (Харитонов 1993, 203, 204).

Трагическая судьба гомосексуалиста — основная тема знаменитой биографии Чайковского, написанной Ниной Берберовой в Париже в 1930-х годах и опубликованной в России в 1993 году. Берберова одной из первых рассматривает сексуальную ориентацию композитора, и хотя в своей трактовке жизни композитора она и соперничает ему, отвергая легенды о самоубийстве, окружающие его смерть, тем не менее она рисует его судьбу в основном в трагических тонах, поясняя в подзаголовке к биографии: «История одинокой жизни». Берберова выстраивает психологический портрет композитора вокруг образа маски, часто используемого в работах о гомосексуальности в качестве тропа тайны. Маска скрывает лицо композитора вплоть до смерти, описанной в последних строках книги:

Он еще раз взглянул на Боба, еще раз на стоявших тут Модеста и Николая. Это была вся его жизнь: детская дружба, зрелая привязанность и старческая, одинокая любовь... Потом глаза его закатились. Неподвижное лицо стало таким, каким его однажды видел Рахманинов, — без маски (Берберова 1997, 256).

Подобная ассоциация между гомосексуальностью и одиночеством оказалась устойчивой традицией, мешающей русскому обществу представить возможность долгосрочного союза «голубых» партнеров.

Сходные представления о гомосексуальности прослеживаются в постсоветском обществе в работах сексологов, социологов, публицистов и писателей. В 1998 году, например, был опубликован русский перевод книги Александра Лоуэна «Любовь и оргазм» (*Love and Orgasm*), написанной в 1965 году. Книга вышла в солидной серии «Классики зарубежной психологии», которая до сих пор насчитывает лишь десяток изданий, что придает труду Лоуэна определенную значимость. Русское издание, однако, не снабжено предисловием для российского читателя, что несколько странно и потому, что книга содержит много устаревших теорий, и потому, что она предназначена для публики, относительно мало знакомой с психиатрией. Почти четверть книги посвящена гомосексуальности, и хотя обсуждение данной темы открывается интеллигентным призывом к терпимости, выводы Лоуэна подчеркивают неспособность гомосексуалиста найти наслаждение и удовлетворение в сексе и счастье в любовных отношениях:

Мне трудно понять, как гомосексуалиста можно назвать «геем» (*gay* — весельчак, веселый. — *Пер.*). При тесном знакомстве и по ходу анализа гомосексуалист предстает одной из наиболее трагичных фигур нашего времени (Лоуэн 1998, 93).

Непосредственная связь между гомосексуальностью и страданием также прослеживается в публицистической книге «*Писатель и самоубийство*» известного автора детективных романов Б. Акунина, опубликованной под его настоящим именем — Г. Чхартишвили. В книге, вышедшей в 2000 году, Чхартишвили посвящает целую главу «однополой любви», поместив ее между главами «*Страдания молодых*» и «*Болезнь*». В первом параграфе главы он объясняет свое решение.

Я выделяю гомосексуальность в отдельную главу из-за того, что эта вариация любовных отношений особенно опасна суицидальным финалом. Если уж «обычная» любовь делает любящего беззащитным и эмоционально уязвимым, то страсть гомосексуальная обнажена вдвойне и, с точки зрения большинства, нагота эта уродлива... Даже в современной литературе, подчеркнута толерантной по отношению к так называемым сексуальным меньшинствам, мне не удалось обнаружить ни одного произведения, в котором гомосексуальная связь заканчивалась бы «гимном ликующей любви». Гомосексуализм изначально трагичен, потому почти всегда обрекает человека на одиночество (Чхартишвили 1999, 356).

Чхартишвили затрагивает все традиционные темы: одиночества, дискриминации и невозможности длительных отношений, пытается представить несчастное состояние гомосексуалиста не просто закономерностью общественного унижения, а неотъемлемой характеристикой гомосексуальности как таковой.

Трагическая судьба гомосексуалиста также является темой рассказа Людмилы Улицкой «*Голубчик*», опубликованного в 2001 году. В этой истории описывается жизнь гомосексуалиста Славы, подростком совращенного отчимом, который был почти на пятьдесят лет старше его. Воспроизводя почти все распространенные в России клише о гомосексуальности, Улицкая наделяет Славу мягкостью и природной музыкальностью. Как и его отчим, преподаватель греческого и латыни, Слава — прирожденный эстет. Женские тела для него просто «неэстетичные». После смерти отчима, сравниваемого с Гумбертом Гумбертом, героем набоковской «*Лолиты*», Слава остается один. Описывая попытки юноши найти партнеров на улице, рассказчик упоминает о тоске во взгляде, по которой гомосексуалисты узнают друг друга.

В конце концов из-за своей гомосексуальности Слава оказывается в тюрьме, и его жизнь меняется: он лишается молодости, зубов и своей московской прописки. Прописку, однако, удается вернуть путем женитьбы на старой алкоголичке. Рассказ заканчивается убийством Славы в Измайловском парке. Когда Женя, единственная из его друзей, приходит в морг опознать тело, оно уже начало разлагаться, и только руки с тщательным маникюром остались нетронутыми. Женя знает, что это преступление, как и другие «гомосексуальные убийства», останется нераскрытым, что его повесят на кого-нибудь, уже отбывающего наказание. Грустная история заканчивается эпизодом, в котором Женя, глядя на старую фотографию Славы, вспоминает: «Такое милое лицо, светленький такой, голубчик... И как Николай Романович его любил. Как любил...» (Улицкая 2001а, 306). Двусмысленно намекая на гомосексуальные отношения Славы и отчима, заключительные строки ставят вопрос: спасла ли мальчика любовь отчима или погубила его? Хотя рассказ и полон сочувствия, в конечном счете он подтверждает сложившуюся традицию видеть в гомосексуальности — трагическое одиночество, а в «гомосексуальном» родителе — педофила.

«Голубой» как преступник

Гомосексуалист, по общепринятому представлению в России, — это не только трагическая фигура, но и зачастую — преступник. Данное восприятие обусловлено несколькими факторами, в том числе такими, как криминализация гомосексуальности в период 1934—1993 годов, широкая известность о распространенности гомосексуальности в советских тюрьмах и представления о связи гомосексуализма с обольщением малолетних, или педофилией. Как утверждает Ольга Жук, само количество советских граждан, прошедших через ГУЛАГ, дало жизнь феномену «лагеризации русского общества» (Жук 1998, 95). В итоге тюремная субкультура в целом и насильственная форма гомосексуальности, практиковавшаяся в тюрьмах, в частности оказали влияние на господствующую культуру и обеспечили устойчивость ассоциации гомосексуальности с насильем и преступностью.

Эта ассоциация была шокирующе выражена Львом Самуиловичем Клейном в 1989—1990 годах, когда под псевдонимом «Лев Самойлов» он опубликовал свои мемуары о 18-месячном заклю-

чении по обвинению в гомосексуальной деятельности¹. В мемуарах описана гомосексуальность самой насильственной формы, когда заключенные, изнасилованные по поступлению в тюрьму, считаются «опущенными» и принуждаются сексуально обслуживать других заключенных. Для исследователей, склонных ассоциировать гомосексуальность с насилием, подобные изнасилования в тюрьмах воспринимаются прежде всего как следствие сексуальных отношений между гомосексуалистами, потому что, как, например, утверждает цитируемая ранее Еникеева, «нормальный мужчина гетеросексуальной ориентации» не смог бы совершить подобный акт (Еникеева 1997, 93).

Распространенное в российском общественном сознании представление о взаимосвязи гомосексуальности с криминальностью, в частности с педофилией, также ярко проявляется в легендах, окружающих смерть Петра Ильича Чайковского. «В советском музыковедении с 1940 года, — пишет Александр Познанский, — был наложен запрет на изучение деликатной, но важной стороны биографии Чайковского — его личной жизни и его психосексуальности» (Познанский 1993, 6). При отсутствии исследований вокруг композитора выросли фольклорные представления, большинство из которых подчеркивают страдания, причиненные его гомосексуальностью. Обстоятельства смерти композитора породили устойчивые легенды о том, что он якобы покончил жизнь самоубийством, когда на него была подана жалоба о нежелательных гомосексуальных ухаживаниях по отношению к мальчику. И посему, «во имя Божие, императорское и во спасение чести юридического факультета, чьим выпускником он был», композитор покончил с собой. Склонность воспринимать криминальность как неотъемлемую черту гомосексуальности в данном случае находит выражение в устойчивом мнении о предрасположенности гомосексуалистов к соращению малолетних.

Вопреки статистическим данным, подтверждающим, что подавляющее большинство педофилов являются гетеросексуалами, представление о связи гомосексуальности с педофилией остается особенно живучим. Если движение за освобождение гомосексуалистов на Западе сделало сознательную попытку изолировать любовь мужчины к мальчику, исключив сторонников таковой из своих основных организаций, в России попытки изжить ассоциацию гомосексуальности с педофилией все еще редки. Более того, в от-

¹ Первоначально напечатанные в журнале «Нева», мемуары вышли отдельной книгой под названием «Перевернутый мир» в 1993 году (Самойлов 1993).

личие от Запада, где более распространена эгалитарная модель гомосексуальных отношений (между мужчинами примерно одного возраста, социального статуса и половой идентификации), в России влечение к партнеру своего пола часто представляется возрастно-расслоенным (как в культуре Древней Греции), когда старший мужчина играет активную роль в сексуальных отношениях с подростком или юношей. «Согласно этим стереотипам, — пишет Л.С. Клейн, — “гомик” — это манерный женственный мужчина, умильно поглядывающий на мощные ягодицы парней. Или это опасный сексуальный маньяк, охотящийся в подворотнях на мальчиков, потенциальный насильник» (Клейн 2000, 22). Идеализированная версия возрастно-расслоенной гомосексуальной любви описана в первом русском «голубом» романе «Крылья» М.А. Кузмина (1906), где утонченный Штруп, мужчина средних лет, выступает в роли учителя, наставника и любовника Вани, подающего надежды юноши. Евгений Харитонов также изобразил взаимоотношения между взрослым мужчиной, учителем живописи, и подростком в своем «Рассказе мальчика», построенном в форме разговора юноши с психиатром (см.: Харитонов 1993, 229—233). Улицкая в своем рассказе «Голубчик» также обращается к модели возрастно-расслоенного однополого влечения. Но если молодой герой Кузмина расцветает под опекой Штрупа, а харитоновский мальчик — в отличие от своего старшего любовника — не страдает ни от каких неблагоприятных последствий их взаимоотношений, то Слава Улицкой представлен трагической жертвой сексуальной любви его отчима. Используя аллюзии с Гумбертом Гумбертом, героем-педофилом Набокова, Улицкая меняет объект влечения с независимой оживленной девочки-подростка (Лолиты) на чувствительного пассивного мальчика. Подобная же трагичная история однополой любви между пожилым мужчиной и юношей изображена в книге Дмитрия Бушуева «На кого похож Арлекин» (1997): интеллигентный и привлекательный учитель влюбляется и обольщает своего ученика-восьмиклассника, который, как и Слава Улицкой, умирает в конце книги.

Во многих традиционных обществах приверженцы возрастно-расслоенного гомосексуализма не несут клейма гомосексуалистов (и не относятся к категории таковых). Старший мужчина избегает данного клейма, играя активную роль, в то время как подросток закономерно перерастает эту «пассивную» фазу, достигая зрелости. Подлинное унижение, в свою очередь, предназначается для «пассивных» взрослых мужчин, которые отдаются другим мужчинам и в основе поведения которых лежит не аномальная сексуаль-

ная ориентация (что характеризует современный эгалитарный гомосексуализм), но аномальная *половая* идентичность: он — не «настоящий мужчина». Устойчивость данной традиционной модели возрастно-расслоенного гомосексуализма в России наглядно выражена в книге Жириновского и Юровицкого «*Азбука секса...*», авторы которой не видят ничего плохого в том, что взрослый мужчина иногда переспит с мальчиком-подростком. Жириновский даже посетил гомосексуалистский «*Клуб 69*» в Петербурге, где позволил сфотографировать себя с сигарой во рту в обнимку с двумя юношами-блондинами.

Тенденция изображать однополое влечение как возрастно-расслоенное превращает гомосексуалистов в России в легкую мишень для обвинений в педофилии, что, в свою очередь, часто используется консерваторами — и на Западе, и в России — для поддержки криминализации гомосексуализма, а также для дискриминации гомосексуалистов — во имя «спасения наших детей» — при приеме на работу и при поисках жилья. Связь гомосексуализма с педофилией в российском общественном сознании представляет гомосексуалиста не просто существующим за пределами семейной сферы, как это делает стереотип о «трагическом гомосексуалисте», а как непосредственную угрозу спокойствию и стабильности семьи.

«Голубые» родители в России

Для того чтобы в России состоялось какое-либо серьезное обсуждение вопроса о «голубых» родителях, необходимо, во-первых, разрушить взаимосвязь между нормой и нормативностью и, во-вторых, положить конец представлению о гомосексуалисте как о преступнике или жертве. Было бы полезно с этой целью вспомнить доводы о декриминализации гомосексуальности, выдвинутые Дмитрием Набоковым в первом десятилетии XX века. Выражая, вероятно, требуемую антипатию к гомосексуальности, Набоков считал, что

не следует навязывать моральные принципы или даже медицинскую норму законодательным путем, как нет необходимости, и было бы непоследовательным, возлагать воспитательную силу закона на данный единственный пример так называемой аморальности (цит. по: Nealey 2001, 109).

Обосновывая свою позицию, Набоков приводил медицинские доводы о том, что «некоторая часть гомосексуалистов таковы от

рождения», а следовательно, было бы ошибочно описывать гомосексуальные поступки как намеренные и потому порочные.

Игорь Кон также попытался в своих работах о сексуальности разграничить статистические нормы и нормативные предписания сексуального поведения. В статье, опубликованной недавно на www.gay.ru, Кон отмечает, что «понятие нормы в биологии и медицине многозначно» (Кон 2002). Норма, поясняет он, приобретает значение только по отношению к некоему условно выбранному нормативу (эталону). Если, например, задача норматива — описать сексуальную ориентацию, то однополая любовь будет за пределами статистической нормы. Если же, однако, нормативом считается репродуктивный потенциал и рождаемость, то гомосексуальные отношения статистически могут не быть «аномальными». Со времен «оттепели», как демонстрирует Кон, секс в России все меньше связан с рождаемостью: сексуальные отношения с целью размножения более не являются статистической нормой для гетеросексуалов.

Лишено статистического основания и представление о связи гомосексуализма — статистической «аномалии» — с психическим заболеванием. Эвелин Хукер установила, что с точки зрения психического здоровья нет никакой существенной разницы между гомосексуалистами, обследованными ею, и гетеросексуалами ее контрольной группы. Разграничение поведенческих и психических норм ознаменовало начало длительного процесса, который привел к отказу от классификации гомосексуальности как психического заболевания. «Понятие нормы, — подчеркивает Кон, — всегда подразумевает вопрос:

“Норма чего?” Нормы морали, физиологии и психологии могут совпадать или не совпадать друг с другом, но это разные нормы, имеющие разные критерии и системы отсчета. Их содержание и границы меняются в ходе истории» (Кон 2002).

Осознание этого является ключевым для преодоления соблазна превратить дескриптивную норму в прескриптивное поведение.

Возможно, разрушению связи между гомосексуализмом и педофилией в значительной степени препятствует и распространенное представление о детской (а)сексуальности, которое, по мнению Лео Берсани, «в наши дни “облагораживается” граничащими с психозом опасениями жестокого обращения с детьми» (Bersani 1995, 255). Несмотря на статистические данные, констатирующие, что в Европе и Северной Америке возраст первого сексуального опыта снижается и что некоторые подростки активно ищут и пер-

выми завязывают сексуальные контакты с взрослыми, в целом вопрос о подростковой и детской сексуальности остается под строгим табу. Мотивированное рассмотрение этой темы Львом Клейном (2000) — редкое исключение в сегодняшней обстановке истерии, и подобный анализ вполне может остаться единичным, пока этот вопрос остается заложником у консервативных политиков, полных решимости продолжать распространение викторианского образа детской невинности.

Также важно развеять представление о гомосексуальности как трагедии. Показательным в этом отношении является исследование о жизни Чайковского, предпринятое Александром Познанским. В биографии, частично опубликованной в России в 1993 году под названием «*Самобийство Чайковского. Миф и реальность*», Познанский помогает развеять устоявшийся образ Чайковского как измученного гомосексуалиста, покончившего с собой под угрозой публичного позора из-за обвинения в педофилии. Как пишет в своей рецензии Ричард Тарускин,

в описании Познанского зрелый Чайковский предстает как сексуально активный мужчина, далеко не страдающий от полной неудовлетворенности и не особенно терзающийся комплексом вины. В целом Чайковский с помощью любящих родственников и друзей смог адаптироваться — как это повсеместно происходит с людьми — к своему положению и вести приемлемый образ жизни в рамках общественных нравов. В конце своей жизни, как заключает Познанский, Чайковский был вполне счастливым человеком. В окружении любящих его людей последние дни Чайковского были «полны теплоты и радости» (Taruskin 1995, 6).

Открытый доступ к архивам и ослабление цензуры в постсоветский период сделали возможным появление подобных «ревизионистских» биографий и таких известных русских гомосексуалистов, как, например, Михаил Кузмин и София Парнок. Подобные биографические исследования позволяют нам видеть в гомосексуалистах не педофилов или трагических изгоев, а скорее уравновешенных сыновей, братьев, родственников, любовников и иногда родителей. Эти биографии, несомненно, являются наиболее эффективным средством опровержения стереотипов, согласно которым «гомосекс, проституция и наркомания — явления одного порядка» (Кон 1997, 370). Благодаря таким исследованиям, идея о «голубых» родителях предстает если и не «нормальной», то, по крайней мере, менее абсурдной.

III

БЫТОВЫЕ ТАКТИКИ

Павел Щербинин

«СОЛОМЕННАЯ ВДОВА»: ПРАВА И ЖИЗНЬ РОССИЙСКОЙ СОЛДАТКИ*

Солдатка — ни вдова, ни мужняя жена.

В. И. Даль

«Солдаткой» (солдатской женой, рекруткой, женой нижнего воинского чина) называли и в российском законодательстве, и в повседневной жизни женщину, муж которой был взят в рекруты или призван (мобилизован) в армию (Брокгауз и Ефрон 1900, XXX:749). Вошедший в употребление в 30-х годах XVII века¹, этот термин помимо характеристики особого социально-правового статуса определенной группы женщин в российском обществе вот уже три столетия используется и для описания особого типа повседневной семейной жизни солдатской жены. Фольклорные и другие этнографические источники сохранили самобытную, яркую характеристику повседневной жизни и менталитета российской солдатки (см.: Farnsworth 1990; Барсов 1997, 38—45). Образы солдатских жен, рекруток неоднократно описывались и в художественной литературе (см.: Сабилло 1994; Иванов и Щербинин 2001). Однако специальных исторических исследований быта и повседневной жизни россиянок, оказавшихся на обочине жизненного пути, потерявших не только супруга, но и прежний социальный статус, немного (см.: Виртшафтер 2002; Акользина 2002, 60—63).

Что представляла собой повседневная семейная жизнь солдатки (рекрутки)? Насколько «свободна» была солдатская жена в праве выбора места жительства? Как относилось социальное окружение

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда [грант № 01-01-00024а].

¹ Полки «нового строя», сформированные в 1630-х годах, получили название *солдатских*. С начала XVIII века солдатами называли рекрут, прослуживших определенное количество лет. По рекрутской повинности к «солдатскому сословию» или «военному сословию» стали относиться жены и дети рекрут. См.: Брокгауз и Ефрон (1900, XXX:749).

солдатки (община, мещанство, помещики и т.д.) к повседневной жизни таких женщин? Как складывались семейно-брачные отношения солдаток? Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья.

«Жена скитается без приюта...»

Для многих женщин трансформация в солдатку приводила к личной трагедии, отсутствию всякой человеческой перспективы, обрекая на нищету и бесправие. Несомненно, социальный статус солдатки был своеобразным. До реформы 1874 года, установившей всеобщую воинскую повинность и шестилетний срок службы, рекрутские наборы в армию означали судьбу, похожую на вынесение смертного приговора рекруту и его жене. Рекрут, который должен был отслужить в армии 25 лет, вполне понимал, что никогда больше не увидит свою семью. Судьба солдатки считалась хуже судьбы вдовы — овдовевшая могла быстро выйти замуж вторично, тогда как солдатку ожидало одинокое будущее и неприкаянность (Farnsworth 1990, 59). Впрочем, в XVIII—XIX веках изменения в сословном статусе и зачисление женщины и ее детей в военное сословие несли им определенное освобождение: по призыву мужа на службу крепостная женщина становилась свободной, но принадлежащей, как и дети, рожденные ею после призыва мужа, военному ведомству (см.: Щербинин 2000, 41).

Еще петровские указы о первых рекрутских наборах требовали, чтобы новобранец отправлялся к месту службы с женой и «робятишками»². И вплоть до 1874 года солдатка, имея право проживать вместе с мужем, могла следовать за ним в армию. Брачные узы считались святыми, и власти не решались формально запрещать жене быть при муже (Брандт 1860, 356)³. Однако на деле все упиралось прежде всего в экономическую составляющую совместного проживания супругов. Безусловно, к месту службы мужа ехали лишь те женщины, которые могли решиться навсегда расстаться с родными

² Впрочем, если в солдаты записался тайно крепостной крестьянин, а его уже отказывались возвращать из армии, то помещики просили, чтобы им оставляли жен этих солдат. Решено было в 1700 году, что, если солдаты станут просить «о поставке их жен», таких жен от помещиков не отбирать (*Столетие Военного министерства...* 1902, 33). Заметим, что по первым рекрутским указам можно было брать в армию только холостых рекрутов, но уже с 1707 года допускался и призыв женатых рекрутов (там же, 44).

³ Впрочем, уже в 1764 году нижним чинам было запрещено вступать в браки без согласия полковых командиров (см.: Савельев А. 1881, 31).

и привычным укладом жизни. Фактически некоторые солдаты, хотя и считались женатыми, не видели своих жен с момента рекрутства — они обзавелись супругами еще «в крестьянстве», успели даже завести детей; жены же, понимая, что ничего хорошего от солдатского житья не ожидается, остались на прежних местах, давая, впрочем, своим мужьям основание долгие годы считаться семейными.

Если семья солдата жила при нем, то кроме квартирного пособия ей должны были выдавать еще денежное и пищевое довольствие: 1) квартирные деньги, если воинская часть не могла предоставить казенного жилья; 2) приварочные деньги на продукты; 3) паек из муки и крупы. Однако квартирные пособия были невелики и рассчитаны на то, что у семьи солдата есть дополнительные источники финансирования (помощь большой семьи, родителей, заработки жены солдата), так как на выделяемую сумму прожить было нельзя. Казенные же квартиры, выделяемые семьям солдат, были очень неудобными. Часто это были те же солдатские казармы, перегороженные деревянными перегородками (Брандт 1860, 356). Из-за большой скученности людей в этих бараках нередко возникали эпидемии. Поэтому некоторые солдаты предпочитали снимать для своих семей частные квартиры, которые были достаточно дороги. Распределение всех квартир, как казенных, так и частных, шло по старшинству чинов. Поэтому большинство женщин-солдаток оставалось на прежнем старом месте жительства. Не случайно, если жена не следовала за мужем сразу после его призыва, то при попытках вызвать ее позже воинское начальство предварительно рассматривало экономическое состояние семьи и могло запретить ее приезд. Военнослужащие — в том числе и нижние чины — имели право «совокупляться законным браком» и в период своего солдатства, но только лишь с разрешения полкового начальства. Причем они должны были подтвердить свою материальную «способность» для содержания семьи⁴.

Даже если жена жила при части, военный быт, походы, лагерные сборы, маневры часто и надолго разлучали солдата с его женой. Рождаемость в солдатских семьях была низкой — один-два

⁴ После военной реформы 1874 года и сокращения сроков службы нижних чинов их браки на период службы вообще запрещались (Канторович 1899, 52). Женатым же нижним чинам, призываемым на службу из запаса, а также поступавшим новобранцам не разрешалось брать с собой семейства с родины, так как Военное министерство уже не отводило для них помещений и не выдавало пособий (*Справочная книжка...* 1881, 258). Тем самым правительство значительно сокращало свои расходы, имея в виду, что шестилетняя разлука не разрушит семьи солдат, женившихся до призыва в армию.

ребенка. В литературе встречается мнение, что солдатки не желали плодить «пушечное мясо». Анализ списков военнослужащих, проведенный С. В. Карпушенко, позволяет думать, что женами военнослужащих в период их полковой жизни становились в основном дочери тех же солдат. По всей видимости, не обладая приданым, девушки, подраставшие в полку при отцах или при матерях, не нашедших работы на стороне, вряд ли могли рассчитывать на хорошую партию, а потому и не выходили из военного сословия, становясь солдатскими женами и рожая солдатских детей. Девочки по вполне понятным причинам меньше всего упоминаются в воинском законодательстве, заинтересованном лишь в будущих солдатах (Карпушенко 1999, 28—29). Дочери солдата именовались «солдатскими девками» и в случае смерти отца имели право на казенное пособие (*Свод постановлений о солдатских детях* 1848, 15).

Хотя солдатка, решившая остаться дома, и была формально свободной, ее мобильность контролировалась прежде всего экономически: чрезмерно высокая оплата передвижений и наличие детей мешали осуществлению ей своего законного права (Farnsworth 1990, 71). Впрочем, отмечались и случаи, когда рекрутские присутствия выдавали бездетным рекрутским женам виды на свободное жительство в городах и поселениях, где пожелает, при условии «честного поведения». Этим порой пользовались в большой семье, чтобы избавиться от лишнего рта, «выдавить» «соломенную вдову» из крестьянского двора. Нередки были случаи, когда крестьяне делали все, чтобы солдатку и ее детей «спихивать со двора в келью, на мирское подаяние, не почитая за собой к сиротам никакой обязанности...» (*Московский журнал* 2002, № 2, 14).

Ценным источником по истории повседневной жизни солдаток является фольклор, который представляет бытовую уклад жизни солдатских жен, отражает многоликий спектр общественной реакции на рекрутчину, положение «соломенных вдов», отношение к детям солдатки и др.⁵ В фольклорных произведениях подчеркивалась зависимая жизнь солдатки в семье мужа и двусмысленность ее положения в деревне, порождавшая сплетни и пересуды (см.: Ульянов 1914, 251—253). Например, в «*Плачах по рекруте женом*» (XIX в.) И. А. Федосова особенно ярко продемонстрировала общественное и семейное положение солдатки: при соседях и «сродниках» она преклоняет голову перед братьями мужа, обещает покорить свое сердце, просит их «допустить» ее детей в дом и из

⁵ Подробная библиография дана в библиографическом указе: *Русский фольклор* (1981, 78, 116—125, 218, 244—247).

милости кормить и обогревать их; она готова к тому, что от нее отвернутся соседи и соседки и будут пустословить понапрасну на ее счет, ее детей ровесники не будут принимать «в пай играть», дома братья и невестки станут попрекать в самовольстве и нахлебничестве, а в конце концов она вынуждена будет кормиться с детьми мирским подаянием⁶. В «*Причитаниях Северного края*», собранных Е. В. Барсовым, также отражена беспросветная жизнь солдатки:

...нравственное разложение крестьянской семьи производила былая рекрутская система, отнимая весьма часто мужа у жены. Положение последних было ужасно. Печать отвержения и клеймо позорного имени всею тяжестью ложились на этих несчастных и нравственно угнетали их на каждом шагу. Беда постигавшая была так велика, что жена предчувствовала грозившую ей кручину. И стала слыть она не вдовой — женой немужней, а бедной солдаткой (Барсов 1997, 38).

Наверное, не случайно сами власти в XIX веке признавали, что

сословие солдатских жен есть, бесспорно, самое несчастное и неопределённое сословие в Государстве, вошедшее даже в поговорку народа; жалкое положение солдаток требует внимания правительства и постановления, основных правил, имеющие возможности предоставить им прочное устройство (*Госсовет в департаменте государственной экономики* 1862, 312).

Потеряв место в родной общине, солдатские жены получали паспорт, который позволял им менять место жительства в поисках работы (Виртшафтер 2002, 105). Однако часто мужья-солдаты отказывались давать согласие на проживание жены отдельно от большой патриархальной семьи не только в городе, но часто и в родном селе. А без этого разрешения власти, в свою очередь, не имели права выдавать женщине паспорт. Это правило действовало и после замены рекрутской повинности всеобщей воинской обязанностью⁷. По наблюдениям Н. М. Дружинина, в государ-

⁶ Подробнее о ней и ее творчестве см.: Чистов (1955). О бытовой жизни рекрутки и ее плачах см.: Добрынкина (1876).

⁷ Так, в 1888 году солдатка села Тулиновки Тамбовского уезда Анна Абоносимова в своем прошении в Главный штаб Военного министерства умоляла разрешить выдать ей отдельный паспорт, так как муж ее «помощи... не дает никакой», отказывая в то же время «в выдаче удостоверения, по которому я могла бы наняться к кому-либо». Через губернатора Анна Абоносимова, как и сотни ее подруг по судьбе и социальному статусу, получила сообщение об отказе в удовлетворении ее прошения, «так как без согласия мужа ей не может быть выдан просимый паспорт» (*Государственный архив Тамбовской области*, далее — ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3993. Л. 2).

ственной деревне «отлучившихся» солдаток в 1842 году был лишь 1,4 %, а к 1855 году — 10,7 % (см.: Дружинин 1958, 280). В Тамбовской губернии из 12 650 солдаток только 625 (4,4 %) женщин жили со своими мужьями-солдатами, несшими службу в пределах губернии, а остальные 12 тысяч находились постоянно в разлуке со своими мужьями (*Военно-статистическое обозрение...* 1851, XIII:1).

Конечно, солдатка после ухода мужа в армию могла остаться и в семье свекра или деверя, если она жила там долго, или уйти из семьи мужа к отцу или братьям (при этом ее в метриках писали по фамилии отца), а также жить с детьми отдельной семьей. Немало солдаток все же оседало в городах или торгово-промышленных селах, где они могли найти какое-то пропитание и доход⁸. Лишь некоторые солдатки своей активностью и трудолюбием, а порой удачливостью, обретали экономическую независимость и благополучие, становясь владелицами ремесленных мастерских и доходных заведений (Ransel 1988, 21—22, 154—158). Однако это было, скорее, исключением, чем правилом в повседневной жизни российской солдатки.

После возвращения со службы отставники и инвалиды, как правило, оседали в городах, где они могли заниматься ремеслом или служить на разных мелких должностях (пожарными, в полиции, сторожами, швейцарами, смотрителями и пр.), и солдатки были вынуждены перебраться вслед за ними. Со второй половины XIX века жены и вдовы отставных нижних чинов, а также солдат-инвалидов получали бесплатно бессрочные паспорта (Канторович 1899, 132—133). Источники свидетельствуют об очень редком возвращении отставного солдата в семью отца или братьев. В исповедальных ведомостях и метрических книгах фиксировалось, что такие солдатские семьи предпочитали жить отдельным двором (Морозова 2002, 41).

Заметим, что часть солдаток, а также солдатских вдов находили себе приют в монастырях. Так, например, в Новодевичьем и других монастырях солдатки составляли около половины монахинь по сословному происхождению, уступая немногим только крестьянкам.

⁸ В промышленном селе Рассказово Тамбовской губернии, например, семья солдатки могла существовать относительно безбедно, если мать и дети занимались традиционными промыслами (вязание, ткачество) или работали на фабриках — применение рабочим руками находилось вне земельного труда, непосильного для семьи без взрослого работника-мужчины (см.: Морозова 2002, 41).

Жены отставных и отпускных солдат могли получить паспорта, разрешавшие им свободное поселение только в том случае, если их мужья погибли, пропали без вести, но опять-таки лишь при наличии документа из воинской части с подтверждением этого события. Однако нередко документы из части не приходили вовремя или вообще отсутствовали, и тогда женщина была обречена на статус «вечной» солдатки, без права изменения своей судьбы и семейного статуса. По сути, солдатка оказывалась тоже «без вести пропавшей», ибо до нее уже не было дела властям и она не могла рассчитывать ни на пособия, ни на какую общественную поддержку или благотворительное участие в ее судьбе.

«Выходят замуж за других от живых мужей...»

Как складывалась семейно-брачная жизнь россиянок, обращенных в солдаток? Свидетельством определенной корпоративности военного сословия может служить анализ состава семей отставных солдат. Нередко такая семья состояла не только из солдата, его жены и детей, но и из старого солдата и молодой солдатки с ребенком, родственные связи которых не известны (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 665а. Л. 18, Д. 777а. Л. 21 об.). Как посторонний человек в общине, основанной на семейных парах, солдатка страдала от неприязненного отношения деревни к ней как к одинокой женщине. Постоянно оскорбляемая, пренебрегаемая и без средств к существованию, она считалась распущенной женщиной, которая пьет и производит на свет незаконнорожденных детей (Farnsworth 1990, 58).

Анализ ревизских сказок показывает, что замужних солдатских дочерей записывали в них без отчеств в любом возрасте, как бы отказывая им в правах «честных отецких» дочерей, которым отчество полагалось с момента выхода замуж (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 667). В записи о браке священники обязательно указывали факт незаконнорожденности девушки и отсутствие «настоящего» отчества: «7 февраля 1832 г. удельный крестьянин Игнат Иванов Соболев холостой женился на солдатской незаконнорожденной дочери Прасковье по крестному отцу Егоровой Алтыновой» (ГАТО. Ф. 1049. Оп. 1. Д. 4915. Л. 61).

И хотя, по причине своего неподатного состояния, солдатка и солдатская дочь могла выйти замуж за представителя любого сословия — от дворян до дворовых людей, — все же случаи браков этой категории россиянок редко встречаются в метриках. Основ-

ную массу женихов в первой половине XIX века составляли удельные крестьяне, однодворцы или те же отставные и бессрочно-отпускные солдаты (Морозова 2002, 40). Браки отставных солдат отличались значительной разницей в возрасте жениха и невесты, составляя порой несколько десятилетий. Типичным по соотношению возрастов являлся следующий «неравный» брак:

8 ноября 1836 года. Уволенный по билету в отставку солдат впредь до востребования Никифор Филиппов Филатов 40 лет венчан с девицею, уволенной из числа питомцев Тамбовского приказа общественного призрения, Ульяною Федоровою 19 лет (Морозова 2002, 40).

Одиночество солдатки и ее семейная неприкаянность, тяжелое материальное положение толкали на поиск «новой» жизненной стратегии. Современники отмечали, что в среде солдаток были распространены невенчаные и незаконные браки⁹. При этом зачастую главной мотивацией таких отношений было стремление прокормить себя и детей. Во всех случаях, когда крестьяне находились в незаконно повенчанном браке, жили долго и имели в нем детей, они считали свои отношения и своих детей вполне законными. Общественное мнение также относилось к повторным бракам солдаток как к узаконенным и нормальным, если они были длительными.

Вступая в новый брак, по российскому брачному законодательству солдатка всегда должна была предоставлять документ от военного ведомства о том, что муж погиб или пропал без вести¹⁰. В ряде случаев таких документов не оказывалось, и повторные браки признавались незаконными. Приведем достаточно типичный пример из жизни солдаток. В 1838 году брак солдатки Аграфены

⁹ Например, солдатка Васса Макеева жила в гражданском браке с однодворцем Николаем Ворониным в селе Лукино Кирсановского уезда, за что и была в 1835 году наказана 7-летней епитимией. Солдатки Марфа Морозова и Марфа Никитина в Тамбове в 1835 г. наказаны епитимией вместе с рядовым тамбовской полицейской команды Семеном Лаврентьевым за «любодеяние» (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 372. Л. 8; Ф. 2. Оп. 26. Д. 86. Л. 6).

¹⁰ Для предупреждения «двоемужия» еще в 1812 году было постановлено Синодом, что «солдатская вдова не прежде правом вдовства своего может воспользоваться, как по получении от инспекторской военной коллегии экспедиции паспорта, удостоверяющего о смерти мужа ея». На этих основаниях Сенат в том же году постановил, что браки подобные противозаконны и: «на сем основании и с прижитыми в таковых браках детях надлежит поступать, как о незаконнорожденных от солдатских жен установлено» (Владимирский-Буданов 1915, 429).

Михайловой и однодворца Ивана Романовича Маликова села Чечоры Лебедянского уезда был признан незаконным, так как документа о смерти первого мужа, ушедшего в армию в 1810 году, не оказалось. И хотя второй брак совершался по православному обряду, спустя 20 лет после исчезновения первого мужа, запись в метрику внесена не была и брак был признан незаконным (ГАТО. Ф. 2. Оп. 60. Д. 433. Л. 1—7.). Священнослужители не признавали срока давности таких дел, а церковные суды никогда не были снисходительными по отношению к солдатским женам.

В случае если обман открывался спустя некоторое время, даже через несколько лет, начиналось церковное следствие о законности брака. Во многих случаях его свидетели не находились, а венчавший священник отказывался подтвердить факт венчания. К тому же предусмотрительные священники старались не записывать в метрические книги незаконные браки. На женщину накладывалась семилетняя епитимия под надзором духовного отца без права отлучки с постоянного места жительства, и солдатку возвращали первому супругу. Священники и весь причт должны были отчитываться об исполнении солдатками епитимий, наложенных за блудоддеяние. Рапорты подавались в письменном виде в Духовное правление о каждой солдатке в отдельности (ГАТО. Ф. 2. Оп. 25. Д. 59. Л. 12). Чаще всего они содержали сведения о смиренном исполнении солдатками церковного покаяния и о полном их раскаянии в содеянном. Видимо, подобные отчеты носили формальный характер и должны были засвидетельствовать для духовных консисторий силу раскаяния и смирения солдатки.

Нередко церковное следствие, в ходе которого открывалось сожительство, начиналось по просьбе первого мужа. Например, в 1804 году в отсутствие мужа солдатка Агафья Васильева тайно повенчалась с крестьянином Василием Паршиновым в селе Троицкий Кершатов Тамбовского округа. И все было бы хорошо, но отставной солдат Василий Шибуняев попросил разрешение на второй брак, потому что жена вышла за другого. Началось скорое следствие, и в результате второй брак солдатки был объявлен «блудным сожитием», сыновья от этого брака — Сергей и Илларион — незаконнорожденными, пару же приказано было разлучить навсегда и наказать семилетней епитимией (ГАТО. Ф. 2. Оп. 25. Д. 54. Л. 1—2). Никакие доводы обвиняемых в «блуде» не принимались во внимание, неоспоримыми были права первого супруга и святости церковного венчания.

Интересно, что церковь не делала скидок и на престарелый возраст незаконных супругов. Солдатка обрекалась тем самым на

«монашеский» образ жизни, даже при отсутствии сведений о муже в течение десяти, двадцати и более лет¹¹. Некоторые священники особенно тщательно следили за браками солдаток. Они сообщали в Духовную консисторию о необходимости проведения расследования о законности брака, даже если муж отсутствовал более 20 лет. Так, в 1803 году проводилось церковное расследование о браке солдатки Варвары Ефимовой и Егора Подустова из села Конобеева Шацкого округа, с учетом отсутствия мужа более 25 лет (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 371. Л. 11). Законность данного брака Консистория рассматривала по доносу местного священника Ивана Трофимова. Однако при рассмотрении дела выяснилось, что брак придется сохранить, так как существовал указ Синода от 19 июня 1801 года о том, что браки не расторгаются, если нет достоверных сведений о живых супругах. И все же это решение о сохранении брака является исключением, так как в абсолютном большинстве случаев второй брак солдаток признавался незаконным, если не было документа о смерти мужа.

Обилие подобных случаев свидетельствует о стремлении солдаток хотя бы так, полузаконно, устроить свою судьбу и найти детям приемного отца и покровителя. Повседневная жизнь и человеческие отношения были, конечно, гораздо шире, сложнее, ярче законодательных ограничений. Попытки властей навести порядок в семейно-брачных отношениях солдаток часто заканчивались неудачей. Вновь начинался поиск сговорчивого священника, которого иногда просто подкупали.

Во второй половине XIX века право солдатки на развод было наконец узаконено. Но реальное его осуществление было сильно затруднено. Солдатским женам позволялось просить о расторжении брака, если мужа их, сделав из места службы побег, до истечения пятилетнего срока не найдены и не зачислены по-прежнему на службу (*Гражданские законы* 1880, 56). Если же солдат пропал без вести на войне или был взят в плен, то его жене разрешалось вступать в новое супружество не прежде как по прошествии десяти лет с того времени (*Гражданские законы* 1880, 56)¹².

¹¹ Так, в 1801 году был расторгнут брак 60-летних крестьян села Конобеева Шацкого округа, потому что солдатка не имела свидетельства о смерти первого мужа (См.: ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 344. Л. 232).

¹² С 1900 года срок «ожидания» возвращения пропавшего супруга сократили до 5 лет, а в 1907 году — до двух лет, но только для пропавших участников Русско-японской войны 1904—1905 годов (Горяинов 1913, 41).

Впрочем, бывали случаи, когда священники венчали незаконные браки солдаток по просьбе их помещиков. Так, в 1808 году в селе Вытолково Лебедянского округа был признан незаконным брак солдатки Авдотьи Федоровны Куликовой и крепостного крестьянина Исаея Архипова. Крепостной Архипов женился по распоряжению своей помещицы Надежды Дубовицкой. Солдатку вернули первому мужу, а незаконнорожденный сын остался с отцом и был отправлен помещицей в Рязанскую губернию (ГАТО. Ф. 2. Оп. 26. Д. 76. Л. 1—6). Вероятно, подобное соучастие помещицы было вызвано экономическими интересами. Разлучение детей, членов одной семьи, практиковалось часто и выявляло противоречие помещиков и государства в лице Военного министерства. Приведем выразительную оценку современниками влияния рекрутского набора на повседневность и семейную жизнь россиянок:

...Жена, оставшись без мужа, по большей части в молодости, предаётся развратному поведению, а под старость промышляет сводничеством и через то подает вредный пример буде есть своим детям; отец принадлежит службе, жена скитается без приюта... Сколь часто бывают примеры, что жены отданных на службу по необходимости обстоятельств, а иногда по насилию помещиков или управителей, выходят замуж за других от живых мужей (*Столетие Военного министерства... 1907*, II:1:2:314).

В 1863 году было выпущено специальное распоряжение Военного Совета, в котором впервые в российском законодательстве был уточнен статус солдатской вдовы. Командирам воинских частей, в которых числились безвестно-отсутствующими нижние чины войны 1853—1856 годов, у которых по спискам имелись жены, велено было «изготовить им вдовьи виды, по прилагаемой при сем форме, и без всякого замедления выслать эти документы солдаткам через городские и уездные полиции по месту жительства каждой вдовы, поясненному в списках» (*Православное обозрение* 1863, декабрь, 218).

Учили военные власти и интересы солдаток, которые по двадцать, тридцать и более лет не имели сведений о своих мужьях. Решено было считать таких нижних чинов безвестно-отсутствующими, а женам их «предоставить права солдатских вдов, с выдачей им вдовьих билетов от командира местных батальонов внутренней стражи, на основании только справок с казенными палатами» (*Православное обозрение* 1863, декабрь, 219). Впрочем, крестьянские суды нередко и сами санкционировали разводы, связанные с солдатчиной и долгим отсутствием мужа (Савельев 1881, 49).

Очевидно, что семейная жизнь солдатки и попытки ее регулирования властью и церковью входили в явное противоречие. Семейно-брачные отношения солдатки явно не соответствовали традиционному устоям и юридическим предписаниям имперского периода российской государственности. Эти противоречия формировались, развивались самим государством, которое постоянными воинскими мобилизациями (очередными и внеочередными призывами рекрутов, отзывами из отпусков бессрочно-отпускных солдат и т.п.) выводило за рамки нормальной семейной жизни сотни тысяч россиян и россиянок, обрекая их на разлуку, страдания, ломая человеческие судьбы и семейные узы.

«Ведут жизнь страшно распутную...»

Рассмотрим еще один важный сюжет, связанный с нелицеприятной характеристикой в общественном мнении российской солдатки. Речь пойдет о проституции среди солдаток. Хотя изучение истории российской проституции имеет более чем 150-летнюю историографическую традицию, о солдатках исследователи упоминают нечасто (Голосенко, Голод 1998; Лебина, Шкаровский 1994; Энгельштейн 1996).

Как уже говорилось, с солдаткой в общественном мнении россиян в XIX — начале XX века часто ассоциировались отрицательные характеристики, критическое отношение, обвинение в распутстве, излишних вольностях, «непотребстве». Особенно придирчиво следили за сексуальным поведением солдаток провинциальные священники, для которых образ жизни солдатки был примером для всеобщего одобрения или порицания. Повседневные реалии солдатки нередко сравнивали с поведением молодой вдовы или одинокой женщины.

Часть солдаток действительно вынуждена была заниматься проституцией, как организованной, зарегистрированной, так и «нелегальной», тайной. Только из зарегистрированных официально проституток каждая пятая являлась солдаткой (Дубровский 1890, 2). Отмечались случаи, когда этим же ремеслом промышляли и солдатские дочери (Щербинин 2001б, 98). Подобные династии, по понятным причинам, не могли пользоваться авторитетом и уважением среди соседей и социального окружения.

На наш взгляд, развитие проституции в России было напрямую связано с процессами милитаризации российского общества в XIX —

начале XX века. Ведь именно военные были одними из самых «активных» клиентов официальной и нелегальной проституции. Рост числа венерических заболеваний среди военнослужащих являлся мощным стимулом для легализации проституции, желания властей поставить под санитарно-медицинский, полицейский контроль представителей «древнейшей профессии» (Щербинин 2002).

Именно армия и милитаризм обрекали многие тысячи россиянок на одиночество, подталкивая их фактически к занятиям «продажной» любовью. Вероятно, одним из побудительных мотивов для занятий проституцией у солдаток была неопределенность их фактического семейного статуса. В связи с этим представляются интересными наблюдения Барбары Энгел об отношении крестьян к «одинокой» — т.е. в отсутствие мужа — жизни россиянок в районах с развитым отходничеством. Американская исследовательница отмечает, что с каждым годом учащались случаи неверности и жен и мужей. Однако случалось, что при длительном отсутствии мужа жену считали менее виноватой. Сами жены крестьян-отходников часто объясняли свое поведение расхожими представлениями о сексуальности женщин: не одобряя женской распущенности, они часто относились к ней снисходительно, благодаря своим представлениям о непокорности женской природы и необходимости мужского надзора (Энгел 1996, 86).

Дореволюционные этнографы также подтверждали, что нарушения супружеской верности бывали чаще со стороны жены, объясняя это прежде всего отходом мужа на заработки или более долговременными отлучками на военную службу. Вот одно из свидетельств: «В селах имелись солдатки, занимавшиеся проституцией. В народе про них говорили, что они “затылком наволочки стирают”» (*Быт великорусских крестьян...* 1993, 276). Иногда современники указывали на «первопричину» женской непостоянности: «...одно уже удаление людей на десятки лет от их семейств служило к распространению разврата. Предоставленные сами себе, без опоры и надзора, молодые женщины, вследствие отсутствия мужей своих, вели большей частью распутный образ жизни» (*Тамбовские губернские ведомости* 1859, № 14, 99).

Другой очевидец более подробно останавливается на характеристике солдатки и прямо называет негативным «влияние военной службы на народ»:

...Не говоря о солдатках, которые везде гуляют, сколько хотят. Они, к сожалению, у нас не работают, а добывают себе пищу больше легким

образом. Не лучше их семейная жизнь в тесном смысле этого слова. Ужаснейший обычай в крестьянстве женить своих детей до поступления на службу — обычай, происходящий от необходимости иметь лишнюю работницу, — является источником больших несчастий. Солдатки в громадном большинстве случаев ведут жизнь страшно распутную... (*Записки земского начальника...* 1899, 188).

Конечно, не оставались в долгу и мужья, возвращавшиеся со службы. Они наряду с крестьянами-отходниками являлись в деревне главными разносчиками венерических заболеваний. По данным земских врачей, причиной распространения триппера в селе были уволенные в запас солдаты (*К статистике и казуистике болезней* 1889, 9). Даже приходя домой в отпуск, мужья-солдаты нередко заражали болезнью своих жен, а те, в свою очередь, «по своему развратному поведению, заражали соблазвившихся ими» (*Столетие Военного министерства...* 1902, I:1:2:42).

Серьезную угрозу для здоровья гражданского населения представляли и расквартированные на постой воинские части. Как отмечали современники, «...жены, оставленные мужьями дома, нередко заражаются сифилисом от квартирующих в деревне солдат». Земские врачи отмечали также, что возвращавшиеся ежегодно со службы запасные нижние чины часто имели лишь на время залеченный сифилис. С другой стороны,

солдаты во время походов и лагерных сборов при расквартировании по деревням или при отпуске в командировку на работы заражаются... Многие из них, уходя в запас, заразившись на службе, легко заражают жену и односельчан (ГАТО. Ф. 30. Оп. 70. Д. 2. Л. 176, 189).

Таким образом, рассуждая о женском непостоянстве и венерических заболеваниях, которые захлестывали порой целые населенные пункты, надо иметь в виду воздействие прежде всего огромной солдатской массы на окружающее население и влияние «военного фактора» в целом на гражданское население императорской России. Одним из таких мощных воздействий представляется и постоянная повинность. По отзывам современников, постой являлся самой тягостной повинностью для российского народа. Крестьяне подвергались от постоя войск большому разорению. Кроме помещений войска надо было снабжать и фуражом, отводить луга и покосы для лошадей (Неупокоев 1987, 198). Самоуправство постояльцев, бесчинства были чрезвычайно распространенным явлением. По отзывам современников, «русский солдат является бичом для своего хозяина: он распутствует с его женой,

бесчестит его дочь... ест его цыплят, его скотину, отнимает у него деньги и бьет беспрестанно...» (Лапин 1991, 39). Да и статистика осужденных за изнасилование в XIX веке свидетельствует, что наибольший процент осужденных за это преступление давало военное сословие (*Столетие Военного министерства* 1911, XII:III:223). Наверное, не случайно в словаре В. И. Даля приводятся такие поговорки о русском солдате: «У солдата везде ребята. Где ни пожил солдат — там и расплодился» (Даль 1882, IV: 93).

В отношении общества и государства к солдатке permanently складывалась ситуация противостояния административного и человеческого измерения, нужд и потребностей Военного министерства и судеб отдельных конкретных людей и семей. В повседневной реальности солдатские семьи (жены и дети) пересекали часто социальные границы и изменяли свое формальное положение, используя легальные и полуполегальные возможности для выживания.

Абсолютное большинство солдатских семей могли рассчитывать только на свои силы, редко — на помощь общины и городского общества и почти никогда — на государственную поддержку. В семейном, социальном, экономическом плане солдатка и ее дети оказывались обреченными на страдания и низкий уровень потребления, выброшенными из привычного окружения и не нашедшими новой ниши в обществе имперского периода российской истории. Однако, вне сомнения, военные, армия, милитаризм оказывали значительное влияние на «рядовых» россиянок, оставляя наиболее глубокий след в судьбе солдатки.

«Родится ребенок и родится как-то не вовремя...»

Проблема внутрисемейных отношений, материнства и детства в рекрутских и солдатских семьях в исторических исследованиях рассматривалась не часто¹³. Между тем несомненный интерес представляет изучение рождаемости, социально-правовой адаптации рекрутских детей, а также незаконнорожденных детей в семьях солдаток. На рождаемость в солдатских семьях оказывали влияние несколько факторов. Привычное демографическое поведение рос-

¹³ К редким исключениям можно отнести работы американских историков: Hoch (1982, 222); Ransel (1988, 21—22, 154—158); Kimerling (Wirtschaftler) (1982).

сийского крестьянства (а большинство призывников-рекрутов были ими до службы) диктовало вероятность большого числа рождений, но, с другой стороны, длительная разлука, порой на десятилетия, очень редкие встречи — при возможном отпуске или поездке жены на время к месту дислокации воинской части мужа — формировали особый тип сексуальных и семейных отношений. Понятно, что часто и муж и жена искали партнеров на стороне, но если для мужчины это в худшем случае заканчивалось венерическим заболеванием и поркой в казарме, то женщине приходилось расплачиваться за случайную связь кризисом семейной жизни, а также осуждением и отвержением ее ближайшего окружения и общества в целом. Представляются весьма интересными и показательными наблюдения одного из курских священников о брачном поведении солдаток, сохранившиеся в Тенюшевском архиве:

...Выходя замуж в большинстве случаев лет в 17—18, к 21 году солдатки-крестьянки остаются без мужей. Крестьяне вообще не стесняются в отпращивании своей естественной потребности, а у себя дома еще менее. Не от пения соловья, восхода и захода солнца разгорается страсть у солдатки, а оттого, что она является невольно свидетельницей супружеских отношений старшей своей невестки и ее мужа. Всколыхнет и в ней чувство, и за эту вспышку она дорого заплатит, даже иногда ценой всей жизни. Родится ребенок и родится как-то не вовремя. Вычисления кумушек не совпадут ни с возвращением мужа из солдат, ни временной побывки его. Злословие не пощадит такую мать, ее мужа и ребенка. Это и будет причиной всех мучений жизни ребенка и его матери. Еще только чувствуя его, мать уже проклинает ребенка, как вещественное доказательство ее вины. Кто знает, может, именно та ночь, которую она провела в коноплях с первым попавшимся парнем, была последним счастливым мигом в ее жизни. Она знает, что у нее уже не будет ни одного счастливого дня. Вечные попреки и побои мужа, насмешки домашних и соседей если и не сведут ее преждевременно в могилу, то мало утешительного дадут в тяжелой ее жизни. И родится на свет божий ни в чем не повинный ребенок с проклятиями. Он никого не любит из своих родных, да и те дают ему почувствовать, что он представляет что-то особенное от остальных детей. Инстинктивно он ненавидит своего отца, так как его тятка не усомнится назвать его «выблядком», а с ранних лет начинает смутно осознавать, что тятка ему не отец. Мать же, единственное лицо, могущее согреть его своей любовью и сделать из него равноправного члена деревни, вечно униженная, боится даже приласкать его и возбуждает в нем только сожаление вместо детской святой и горячей любви¹⁴.

¹⁴ См.: *Архив русского этнографического музея* (далее — *АРЭМ*). Ф. 7. Оп. 1. Д. 1027. Л. 5.

Как свидетельствуют этнографические и социально-демографические исследования, именно солдатки составляли основной контингент женщин, рожавших незаконных детей. Регулярность присутствия данной категории среди рожениц свидетельствует о том, что родственники, даже со стороны мужа, не стремились регламентировать поведение солдаток, как, к примеру, поведение незамужних дочерей (Тенишев 1908, 42).

Вернувшиеся со службы рекруты, обнаружив незаконнорожденного ребенка, имели право отказаться от него, передав на воспитание в другие семьи, как сироту. За воспитание такого «сироты» воспитателям выплачивалось по пять рублей серебром в год (*Свод постановлений о солдатских детях* 1848, 12). Конечно, положение солдатских детей, оставшихся сиротами, было незавидным. Несмотря на компенсацию воспитателям таких детей (*Сборник циркуляров и инструкций МВД* 1854, 319), в повседневной практике призрения солдатских сирот было мало хорошего (Кретчмер 1888). Многие из них, по признанию самого МВД, были принуждаемы своими воспитателями просить милостыню и с молодых лет приучались к бродяжничеству (*Сборник циркуляров и инструкций МВД* 1854, 319). Заботой о пополнении армии пронизано большинство распоряжений о солдатских сыновьях (кантонистах). Так, в 1846 году вышло специальное постановление Военного министерства о важности учета детей, рожденных во вторых браках солдатки (*Сборник циркуляров и инструкций МВД...* 1854, 320).

Возвращение мужа со службы часто оборачивалось для женщины подлинной трагедией. Разъяренные мужья могли поступать со своими женами как им заблагорассудится: истязать и избивать их постоянно, унижать и постоянно напоминать о «грехе» (*АРЭМ*. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1027. Л. 18). Обычное право крестьян было равнодушно к судьбе несчастной женщины, и расправы солдат с неверными женами нередко заканчивались убийством¹⁵. Часто вернувшиеся со службы солдаты не только не делались в своей повседневной жизни мягче обыкновенных крестьян, но, наоборот, становились еще грубее и деспотичнее. Такие солдаты вносили в семейную жизнь элементы постоянного унижения женщины: обычаи застав-

¹⁵ Так, один из солдат, пришедший на побывку, в качестве наказания подвесил жену за руки и за ноги к перекладине полатей и стал поджаривать ее на огне. Пытка закончилась смертью женщины. Другой солдат, недоброжелательным поведением своей жены, бросил ее в колодец, где она утонула (Соловьев 1900, 293).

лять жен кланяться при всех в ноги мужу или разувать его чаще встречались у солдат, чем у простых крестьян¹⁶.

Нередко солдатке приходилось скрывать рождение не только незаконных, но и вполне законных детей. С одной стороны, солдатки стремились скрыть рождение мальчиков, которым была уготована участь отцов, т.е. неизбежный призыв на военную службу, а с другой — рожали немало детей вне брака, которые, впрочем, по российскому законодательству записывались законными (Никольский 1885, 50). Примечательно, что даже беременная в период призыва мужа в рекруты женщина лишалась естественного права на своего ребенка, так как если он рождался мужского пола, то автоматически записывался в кантонисты. К солдатскому сословию законодательство причисляло и всех незаконнорожденных детей, произведенных на свет рекрутскими женами, солдатками, солдатскими вдовами и их дочерьми (*Свод постановлений о солдатских детях* 1848). Таким образом, Военное министерство стремилось обеспечить себя дополнительными солдатами, ибо все солдатские сыновья подлежали обязательному призыву в армию.

Несмотря на жестокие кары и преследования за укрывательство рождений кантонистов, женщины, как правило, боролись за судьбу своих чад. Нередкими были случаи, когда солдатки, стремясь спасти своих «кровинушек» от неизбежного в будущем призыва в армию, скрывали беременность, заявляли о рождении мертвого ребенка или выкидыше, а при возможности уходили в соседнее село или к знакомым в город, оставляя своих малюток знакомым или родственникам, которые объявляли о «неизвестных подкидышах» и брали их на воспитание (Щербинин 2001в, 94).

Солдатки также отдавали детей в дома для подкидышей и иногда после ухитрялись воссоединиться со своими детьми (Farnsworth 1990, 59). Порой мать «усыновляла» и брала к себе в дом «неизвестного подкидыша», но такое положение было скорее исключением, чем правилом (Щербинин 2001в, 95). Правительство вынуждено было признать, что

естественная любовь родителей к детям, а отсюда опасение разлуки часто побуждают их к сокрытию рождения... Солдатки при наступле-

¹⁶ По наблюдениям одного из земских начальников, два брата — оба бывшие на военной службе — дошли до того, что, жалея лошадей, заставляли своих жен таскать на себе тележки с навозом на огород. Жены их обе умерли; они женились вторично, причем обращение с новыми женами стало не лучше (Новиков 1899, 68).

нии времени родов нередко оставляют настоящее местопребывание и, возвращаясь с новорожденными, называют их приемьшами или подкидышами, неизвестно кому принадлежащими; иногда даже после разрешения в том месте, где постоянно живут, они тотчас отсылают новорожденных в другие селения и даже в другие губернии (см.: Лапин 1991, 38).

При рождении детей у солдаток особо оговаривались в метрических книгах сроки отпуска мужа или ее поездки к мужу в армию, чтобы доказать законность появления ребенка на свет и его отнесения к солдатскому сословию. Такой источник, как *«Рапорты и ведомости уездных городничих о количестве солдатских детей за 1815—1816 гг.»* (ГАТО. Ф. 2. Оп. 140. Д. 498. Л. 1—142), доказывает, что большинство детей солдаток признавались незаконнорожденными, а имена их отцов не указывались. Фамилии и отчества часто давались таким детям по их крестному отцу (ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 675. Л. 12, 97, 114). Интересно, что в метрических книгах данные о матери записывались только у незаконнорожденных (ГАТО. Ф. 1049. Оп. 3. Д. 1637. Л. 1). Иногда фамилия незаконнорожденного образовывалась от имени деда или имени крестного отца. В данных о крещении до конца 80-х годов XIX века тщательно фиксировался факт незаконного происхождения ребенка. Даже у женщин, состоящих в браке, ребенок мог быть записан «прижитым блудно». В случае рождения ребенка, свадьба матери которого состоялась менее чем за 9 месяцев до его рождения, вносилась запись, что он незаконнорожденный, поскольку мать «венчалась, будучи беременною девицей» (ГАТО. Ф. 1049. Оп. 3. Д. 5677. Л. 609). Таким образом, венец не покрывал грех. При этом ребенку впоследствии чаще всего давалась фамилия мужа матери, но отчества у него не было. Анализ метрических книг Тамбовской губернии показывает, что матери незаконнорожденных особенно часто являлись временно проживающими в этом селе. Очевидно, что они старались таким способом скрыть факт незаконного рождения ребенка (Кончаков 2001, 37).

Стремясь скрыть позор, женщины часто стремились избавиться от нежелательного ребенка. Современники отмечали, что

изгнание плода практикуется часто, прибегают к нему вдовы и солдатки, для этого они обращаются к старухам-ворожейкам, которые их учат, как нужно извести плод. Пьют спорынью, настой простых спичек фосфорных, поднимают тяжелые вещи. Одна девица была беременна и извела плод тем, что била себя лапотной колодкой по живо-

ту. Народ не обращает на это особого внимания (АРЭМ. Ф. 7 Оп. 1. Д. 947. Л. 7).

Некоторые солдатки шли даже на убийство своих новорожденных, чтобы скрыть незаконное рождение¹⁷. По подсчетам С. Максимова, в XIX веке убийство детей было вообще самым распространенным женским преступлением в России, обрекавшим ее на ссылку и во многом вызываемым самими условиями жизни россиянок. Автор исследования называл среди прочих и причины детоубийства, вызванные военным фактором: зимние стоянки громадного количества солдат, из которых значительная часть покидает на местах родины и в постоянных городах своих жен-солдаток (Максимов 1871, 2:65). Среди осужденных за детоубийство большинство женщин относились именно к военному сословию, а не к крестьянству, которое являлось преобладающей по численности частью российского общества.

Но все же большинство женщин в силу религиозного воспитания и нежелания губить живую душу на убийство не решались, а стремились куда-нибудь подбросить ребенка, чаще всего к бездетным семьям или официальным учреждениям (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 813. Л. 84 об.). Очень часто матери подбрасывали своих детей ко двору, где у одной из женщин двора был или только что умер грудной ребенок (ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 978. Л. 14). Вероятно, расчет делался прежде всего на женскую жалость и физическую возможность выкормить ребенка.

Если в XVIII веке незаконнорожденные были позором и встречались лишь в среде солдаток, которые годами не видели своих мужей, или в среде дворовых, которые приживали детей со своими хозяевами, то в XIX веке незаконнорожденные стали массовым явлением. Современники отмечали, что основная масса незаконнорожденных приходилась на представительниц низшего класса:

Женщины же высшего класса преспокойно отправляются за границу, там рожают своих незаконных детей и там же оставляют их на попечение бедных семейств за высокую плату. Одинокая же служанка, вдова-крестьянка и солдатка вынуждены родить там, где застали их родовые боли (см.: Энгельштейн 1996, 119).

¹⁷ Так, например, Екатерина Сатина из села Рамзы Кирсановского уезда в 1839 году скрыла беременность и роды, не позвала повивальную бабку, ребенка зарыла в землю, но потом сама призналась. Кроме последнего, еще имела четырех законных детей. Женщина была наказана церковным покаянием и десятью ударами плетью (ГАТО. Ф. 888. Оп. 2. Д. 13. Л. 1—11).

По российскому законодательству незаконными детьми признавались в том числе и: 1) рожденные вне брака, хотя бы их родители и потом соединились законными узами; 2) произошедшие от прелюбодеяния; 3) рожденные более чем через 306 дней после смерти отца или расторжения брака разводом; 4) все прижитые в браке, который по приговору духовного суда признан незаконным и недействительным (Котляревский 1879, 56).

Анализ российских указов XVIII—XIX веков о незаконнорожденных детях показывает, что главным был вопрос о распределении незаконных детей по различным ведомствам в зависимости от состояния их матери: одних приписывали в посады и цехи, других — прикрепляли к помещикам, к фабрикам, заводам, третьи отбывали рекрутскую повинность — зачислялись в кантонисты или солдаты. Главным фактором в определении сословия незаконнорожденного было сословие матери (Котляревский 1879, 57).

За судьбы и будущее солдатских детей боролись не только матери-солдатки, но и помещики и правительство. Это противоборство и противостояние за право обладания ребенком определялись прежде всего экономическими обстоятельствами, ибо те же помещики стремились сохранить у себя будущую рабочую силу, а правительство прежде всего интересовалось стабильным пополнением запасов «пушечного мяса». Незаконные дети солдаток часто принадлежали помещикам и были приписаны к ним по ревизским сказкам. Если помещики действительно содержали кого-нибудь из этих детей, то законодательство XVIII и XIX веков разрешало им закрепощать такого ребенка. Правда, это было возможно только в том случае, если родители или родственники не могли обеспечить его пропитание. В реальной жизни такое ограничение было невозможно отследить, и правительство, допуская подобное, указало в законе 1816 года, что все солдатские дети (законные или нет), по ошибке приписанные к гражданскому ведомству или помещику в течение первых шести ревизий, должны оставаться в своем настоящем положении (Виртшафтер 2002, 106—107). Однако неверная регистрация продолжалась и в дальнейшем. Как это часто происходило в имперской России, разоблачение нарушений было случайным и сложным¹⁸.

В зарубежной историографии приводятся факты, красноречиво свидетельствующие о попытках правового, судебного решения

¹⁸ Хотя архивные источники свидетельствуют о непрекращавшейся борьбе матерей-солдаток за права своих детей (ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1093. Л. 6—8).

по «деткам солдатским». Один из таких случаев получил огласку после того, как из деревни, принадлежащей княгине Голицыной, два незаконных сына солдатки были призваны в армию. В отличие от первого сына, второй, когда стал рекрутом, потребовал свободы от крепостного звания на том основании, что его отец был солдатом. Суд удовлетворил его прошение, а жалобу княгини Голицыной, попытавшейся оспорить дело в Сенате, Сенат отверг, оштрафовал ее и за представление на рассмотрение неподобающего прошения (Виртшафтер 2002, 107).

Справедливости ради следует заметить, что сыновья солдат, находившиеся на иждивении родителей, часто скрывали свое происхождение, чтобы избежать военной службы, как делали это и их матери, чтобы вновь выйти замуж. Таким образом, помещики не всегда могли знать, являются ли дети крепостных и их жен-двоемужниц, действительно незаконными солдатскими детьми. Разумеется, помещики также были заинтересованы в поощрении таких незаконных браков, в особенности если у супругов уже были дети.

В российских условиях, даже тогда, когда закон был совершенно ясен, социальная реальность могла оставаться неопределенной, и долгие годы могли уходить на поиск правды и законного решения. Приведем один, из множества подобных, пример, когда пятилетнее разбирательство прошения солдатки завершилось справедливым приговором и истина восторжествовала. Заметим при этом, что солдатки, как принадлежавшие к военному сословию, могли подавать прошения в любые инстанции без гербового сбора, на обычной бумаге, и на эти прошения обязательно давался ответ.

Так, одно из архивных дел свидетельствует о том, что солдатка Спасского уезда села Салогорья Мария Петрова подала в 1850 году прошение к окружному начальнику о том, что муж ее крестьянин поступил в 1812 году рекрутом, в отпуске не был, писем не присылал, а через некоторое время умер. После смерти его она вступила во второй брак с государственным крестьянином Степаном Саблиным и прижила с ним трех сыновей, которые внесены были в списки военных кантонистов. Причем первый уже поступил на службу, а второй должен был быть также отправлен служить. Солдатка-крестьянка просила оставить ей для помощи в старости и пропитания хотя бы третьего сына и записать его по ревизии к ее семейству (ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1398. Л. 2). Заметим, что она даже не просила вернуть ей всех сыновей, которые не являлись солдатскими детьми, а принадлежали к крестьянскому сословию, но неожиданно для нее второй брак был признан духовным судом закон-

ным и все трое сыновей отнесены были к гражданскому ведомству и освобождены от службы. Такая счастливая развязка этого дела наступила только после пятилетнего разбирательства и свидетельствовала о возможности солдатки оспаривать свои права и права своих детей.

Важно отметить, что в период сенатских и прочих ревизий больше всего прошений с поисками правды и справедливости подавали именно солдатки либо члены семей, из которых незаконно были призваны на службу сыновья. Таким образом, военный фактор играл, на наш взгляд, важную роль в формировании элементов гражданского правосознания, пусть и только путем подачи прошения и использования права обжалования несправедливых действий и решений помещиков, общества, рекрутских присутствий (Щербинин 2001). Солдатские жены имели хороший опыт написания подобных прошений и часто использовали его для правового решения судеб своих близких.

А. С. Пушкин в письме к своей жене из Болдина 15 сентября 1834 года пишет об одном забавном случае, когда солдатка пыталась «узаконить» незаконнорожденного ребенка:

Ну, женка, умора. Солдатка просит, чтобы ее сына записали в мои крестьяне, а его-де записали в выблядки, а она-де родила его только тринадцати месяцев по отдаче мужа в рекруты, так какой же он выблядок? Я буду хлопотать за честь оскорбленной вдовы (Пушкин 1999, 15:192).

Обратим внимание на то, как поэт называет замужнюю (!) солдатку. Его оговорка представляется не случайной, а вполне отражает восприятие солдатки ее окружением, жестокое обречение на полувдовью долю.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных обстоятельств, влиявших на устойчивую тенденцию рождения солдатками незаконных детей. Во-первых, неопределенность условий и сроков призыва в армию, многолетняя разлука с мужем ломали привычный уклад жизни и повседневности солдаток, вынося ее на обочину традиционной семейной жизни. Во-вторых, сам «военный фактор», т.е. постой войск, ограничения (экономические, социальные, правовые и сословные) вынуждали солдатку менять свое сексуальное поведение, изменять «далекому и недоступному» мужу. В-третьих, общественное мнение окружения солдатки было «уверено» в ее потенциальной неверности, постоянно напоминая несчастной «соломенной вдове», что она неизбежно придет к по-

добию «падшей» женщины и это ее рок и ее судьба. Наконец, заметим, что сложившаяся в России система призрения подкидышей и незаконнорожденных детей мало способствовала ограничению детоубийств, и не случайно составлявшие около трех процентов в составе российского населения солдатки давали более половины осужденных за это преступление. Вполне ясно, что проблема незаконных рождений в солдатских семьях представляет одну из важных страниц, характеризующих бытовой уклад, правовой статус, повседневную семейную жизнь российской солдатки.

Очевидно, что реконструкция семейной жизни российской солдатки требует привлечения широкого круга источников, прежде всего прошений солдаток, пусть и написанных с их слов волостными писарями или односельчанами, в которых солдатские жены, как правило, достаточно подробно рассказывали о своей семейной судьбе. Приведем пример такого самоописания семейной жизни солдатской вдовы Марфы Антоновой:

Покойный муж мой Трофим Васильев поступил в рекруты в 1812 году из крестьян... Когда же находился он с полком на квартирах во Владимирской губернии, то в 1817 году ходила к нему для свидания и, живши с ним немалое время, сделалась беременною. По выходе же того полка в другую дальнюю губернию я возвратилась в свое жительство. Родила сына Ефима, которого воспитывала, не касаясь казны, своими трудами... (ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1093. Л. 6—7).

Власти центральные и местные всегда реагировали на прошения солдаток, давали поручения проверить верность сообщенных в них сведений, что дает возможность историку сравнивать собственное восприятие солдаткой ее повседневности и правовое регулирование семейной жизни солдатских семей.

Подводя предварительные итоги изучения повседневной семейной жизни солдатских жен в российской провинции XIX — начала XX века, вполне возможно выявить и реконструировать не только само брачное поведение солдаток, но и воздействие на него государственных институтов, общественного мнения и социального окружения. Неприкаанность, экономическая несамостоятельность, унижительное отношение к солдатской жене во многом зависели и определялись семейными, сословными, общественными традициями российского общества, обычного права, ограничивая фактически социальную мобильность российских солдаток, вы-

нуждая их искать новые, особые механизмы устройства своей семейной жизни, защиты прав собственных детей, в том числе и незаконнорожденных.

Все попытки власти и церкви регулировать семейно-брачное поведение российских солдаток входили в явное противоречие с личностным, индивидуальным повседневным образом жизни обычной россиянки, которая предпочитала сама определять свою судьбу и собственную жизненную стратегию. Очевидно, что в отношениях общества, государства и церкви к солдатке постоянно складывалась ситуация противостояния административного и человеческого, нужд и потребностей Военного министерства и судебных отдельных людей.

Однако у солдаток вырабатывались и собственные способы противодействия военно-государственной дискриминации и несчастной судьбе. Так, именно солдатские жены активно использовали возможности безгербовой подачи прошений в защиту собственных прав или прав членов своей семьи (мужей-рекрут, сыновей-кантонистов, дочерей), осаждали судебные инстанции, сенатские и другие ревизии жалобами на притеснения и несправедливость и — что самое важное — нередко добивались правового решения своих семейно-бытовых проблем. Изучение семейно-брачного поведения этих представительниц военного сословия позволяет четче увидеть особенности повседневной культуры россиянок в провинции, отягощенной военным фактором и модернизационными особенностями развития Российского государства и общества.

Сюзан З. Рид

«БЫТ — НЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО»: ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВКУСА В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ*

На картине Александра Лактионова «*В новую квартиру*», написанной в 1952 г., автор изобразил новоселье типичной (т.е. образцовой) советской семьи. Жильцов, переехавших на новую квартиру, окружают вещи — радиоприемник, фикус, глобус, плакаты и стопки книг — приметы, подчеркивающие отличие этой семьи, то внимание, которое уделяется в ней культуре и образованию. Но до того как культурные ценности будут распакованы и расставлены по своим местам, необходимо решить, куда повесить портрет-фотографию Сталина — благодетеля этой семьи, олицетворяющего собой советское государство. Новая квартира — большая, хорошей планировки, с высокими потолками и стеклянными дверями, хорошими обоями и паркетным полом. Глава семьи, которой досталось это богатство, — женщина. Отсутствие мужа и отца ребенка, отражая реалии послевоенной демографической ситуации, несет и определенный символический смысл: вместо отсутствующего мужа и отца рядом с женщиной и ее сыном — портрет Сталина.

Композиция картины выстраивается отношениями, складывающимися между этим портретом и крепкой фигурой женщины, находящейся в центре полотна. Две прямые сходятся на портрете, одна проходит по паркету и стопкам книг. Другая — это невидимая линия, соединяющая три головы и проходящая через верхний угол открытой двери к невидимому углу комнаты, на который смотрит женщина и в котором будет висеть портрет.

Таким образом, женщина—глава семьи, оказывается в прямой связи с главой государства. Она — оплот стабильной семьи и го-

* Пер. с англ. Т. Медведевой.



Александр Лактионов, «*В новую квартиру*» (1952)

сударства, крепкая основа, на которой якобы зиждился социальный порядок позднего сталинизма. Для данного исследования чрезвычайно важно то, что художник помещает женщину в упорядоченное поле культурных ценностей, именно эти ценности и обстановка квартиры визуальнo структурируют взаимоотношения женщины со Сталиным и государственной властью (см.: Guldberg 1990, 169—170; Boym 1994).

В начале 50-х годов жанровые сценки повседневной жизни, подобные картине Лактионова, стали появляться на выставках советской живописи. На первый взгляд, они отражали частную жизнь и домашний уклад, но в то же время они несли и моральную нагрузку, определяя правильное поведение, советские ценности и правильные взаимоотношения личности и государства. На таких картинах добродетель или порок героев подается зрителю не только с помощью красноречивых действий и мимики персонажей, но и посредством предметов, окружающих их в повседневной жизни. На картине Лактионова, как и в других произведениях этого периода, например, на картине Федора Решетникова «*Опять двойка*» (1952 г.), мебель, украшения и другие детали интерьера тщательно выписаны: ковер, ходики, фикус на подоконнике, скатерть с кистями. Идеализированный советский быт, представленный на этих картинах, — это уютная, несколько старомодная, хотя и буржуазная, респектабельность: салфеточки, скатерти и стеклянные полочки, на которых выставлены дорогие для семьи безделушки и сувениры.

Подобную черту не очень утонченной литературы периода позднего сталинизма отмечает в своем оригинальном исследовании «ценностей среднего класса» Вера Данэм. В работе, впервые опубликованной в 1976 г., она обратила внимание на те особенности советской литературы, которые еще не попадали в поле зрения литературоведов, а именно, на многочисленные подробности описания предметов быта и ту роль, которую они играют в характеристике героев. Как писала исследовательница: «В послевоенных романах предметы быта — от жилища до духов — говорили сами за себя. Они являли собой материальную инвентаризацию “обуржуазивания”, затрагивая по-новому деликатный вопрос о частной собственности» (Dunham 1976, 41).

Сфера предметов быта и устройства домашнего очага почти всегда считалась женской добродетелью в культурном пространстве позднего сталинизма. Возьмем еще один пример, картину «*Подруги*» (1945) известной художницы Серафимы Рянгиной. На картине две молодые девушки-курсантки обустроивают быт в тесной комнате общежития. Занавески, покрывала, чайный сервиз, цветы и коврик олицетворяют их порядочность, — это же образцовые советские девушки, — а также желанный возврат к нормальной мирной жизни.

Подобные примеры можно найти и в литературе. Данэм приводит отрывок из рассказа В. Добровольского, опубликованного в



Серафима Рянгина, «*Подруги*» (1945)

«*Новом мире*» (1948, №1), в котором автор характеризует девушку-студентку, описывая домашний уголок, который она создала в коммунальной атмосфере общежития: «Несколько ярко вышитых подушек уютно расставлены у нее на кровати. Маленький ночник прикрыт сверху розовой бумагой, свернутой в виде ракушки» (цит. по: Dunham 1976, 42). Читателям, знакомым с нравами того времени, такое описание комнаты в общежитии говорило о том, что ее хозяйка, судя по созданному уюту, девушка «культурная» (см.: Kelly and Volkov, 1998).

Литература и живопись эпохи соцреализма, разумеется, являются не отражением реальности, но идеализированными проекци-

ями официальных ценностей. Описание предметов быта и их изображение на картинах материализуют внутренний мир героев и определяют достоинства и социальный статус советских граждан. Данэм замечает, что «обилие декоративных предметов связывалось с положительными чертами характера» (Dunham 1976, 42). Таким образом, выражая идеологические установки и ценности советской социальной иерархии, вещи в советском дискурсе были далеки от того, чтобы играть роль молчаливых предметов.

Гендерный дискурс

Женщины, гораздо в большей степени, чем мужчины, характеризуются предметами быта; их достоинство определяется домашней обстановкой и качеством ведения домашнего хозяйства. Материальная среда повседневной жизни играла большую роль не только в художественном представлении идеального советского порядка. Начиная с первых дней революции, и в реальной жизни быт был предметом постоянного и порой навязчивого обсуждения и контроля¹. В соответствии с политической философией Маркса, взятый на вооружение революцией, материальная жизнь помогала формировать экономические и политические отношения и социальное сознание личности. Уже в 1920-х годах радикальные художники, архитекторы и теоретики утверждали, что для воспитания нового сознания необходимо изменить мир вещей, искоренить старый образ жизни и построить, создать «новый быт»².

В 1920-е годы старый буржуазный быт, загроможденный вещами, естественно идентифицировался с женщиной. В фильме «Третья мещанская» (реж. Абрам Роом, Совкино, 1927), например, женщина в этом *ténage à trois* тесно ассоциируется с мебелью, а поочередное обладание женщиной ее мужчинами символизируется обладанием ими кроватью. Единственным способом, с помощью которого героине удается избавиться от буржуазных отношений между полами, проявляющихся в стремлении двух мужчин свести ее роль до уровня объекта, призванного удовлетворять их требования, становится ее физический уход из сковывающего материального пространства ее квартиры (Матич 1996).

¹ Такие журналы, как *Огонек* и *Семья и школа* печатали для читательниц полезные советы. Ср. Kelly (2001, 321—393).

² О других аспектах кампании за «новый быт» см. Лебина (1999).

В первую пятилетку газета ВЛКСМ *Комсомольская правда* провела кампанию за новый быт, опубликовав несколько статей. Судя по иллюстрациям Александра Дейнеки, сопровождавшим статью, главными виновниками захламленности жилищ выступали прежде всего женщины, хотя и мужчин и женщин призывали вступить в борьбу с мелкобуржуазным бытом и привести порядок в мир вещей (см.: Kettering 1997; Buchli 1999, 177—178; Woyn 1994, 35—40). Начиная с 1930-х годов и особенно в послевоенный период в жанровых картинах и литературных произведениях создание уюта и материальное благосостояние продолжали ассоциироваться с женщиной. В ходе дискуссии о выставке художниц в 1938 г. художник-плакатист Дмитрий Моор высказал идею, долгое время остававшуюся общепринятой, что творческие потребности женщин преимущественно состояли в естественном стремлении украсить и «облагородить» быт³. В отличие от первой пятилетки, официальные представления более позднего времени положительно расценивали «естественное» стремление женщины к уюту как вклад в создание культурного быта⁴.

Постоянное присутствие *гендерного* аспекта, однако, не означало постоянства в его оценках. В официальном дискурсе тенденции колебались от отрицания быта как *мещанства* до возведения его в статус *культурности*. В хрущевский период, как и в 1920-е годы, оценки «женского» вклада в облагораживание быта вновь качнулись в сторону враждебности: устройство дома продолжало считаться обязанностью женщины, но ее роль в этом процессе изменилась (Каргополов 1958; Салтанов и Колчинская 1959, 275). Женщины уже больше не считались создателями уюта и хранителями бездельюшек, а стали рационализаторами и модернизаторами домашнего уклада. «Научно-техническая революция», провозглашенная хрущевским режимом, отразилась и в стремлении женщин внедрить современный, рациональный, технологичный быт у себя дома.

В данной статье речь пойдет о том, как советский дискурс хрущевского времени позиционировал женщин по отношению к семейной сфере с ее обязанностями и, одновременно, по отноше-

³ Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 173. 1.17 (стенограмма встречи художников МОССХ и общества Всекохудожник по поводу обсуждения выставки женщин-художников к 8 Марта 1938, 31 марта 1938).

⁴ О роли женщин в процессе «окультуривания» см.: Fitzpatrick (1992, 231) и «Обращение к женам советских художников и скульпторов» (1936) (РГАЛИ). Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 75. 1. 10).

нию к государству, выдвигающему свои собственные требования. Как «прирожденным» домохозяйкам, покупательницам и истинным создательницам домашнего очага, женщинам приписывалась ответственная роль проводниц общепринятого вкуса и ценностей в семью. В то же время в рамках большевистского дискурса женщины традиционно воспринимались как наименее сознательные элементы общества: их якобы повышенная склонность к «ложному сознанию», склонность к иррациональному и спонтанному поведению не позволяла им подняться до понимания истинных интересов рабочего класса в целом, ограничивая их узкими рамками интересов семьи (Feldmesserin and Field 1968, 55). Соответственно, если женщинам и было суждено внести вклад в строительство коммунизма, то этому должна была предшествовать большая воспитательная работа по рационализации, упорядочиванию и регулированию их «естественных» наклонностей для того, чтобы эти наклонности отвечали задачам, выдвигаемым государством.

Режим вкуса

Дискурсивный режим, о котором идет речь в данном исследовании, есть дискурс вкуса домашнего убранства. С самого начала оттепели, когда в 1954 г. журнал «Новый мир» опубликовал статью художника Николая Жукова (*Новый мир* 1954, № 10), осудившую плохое качество и однообразие товаров народного потребления и их влияние на формирование плохого вкуса у населения, реформа «эстетики повседневной жизни» стала важнейшим аспектом десталинизации (см. также Салтыков 1954).

В 50-е годы по мере становления идеологии «хрущевского режима» воспитание эстетических чувств и хорошего вкуса стали существенной задачей построения коммунизма, не менее важной, чем воспитание коммунистической морали. Чувство красоты должно было отличать всесторонне развитого, уверенного в себе нового советского человека, который будет жить при коммунизме⁵. Но эстетическое развитие людей будет оставаться ограниченным, находясь в зависимости от ценностей прошлого (сталинских либо

⁵ См. передовую статью «Актуальные вопросы эстетики в свете новой Программы КПСС» (*Вопросы философии*. 1962, № 9, с. 3—14); см. также Reid 1997.

буржуазных), до тех пор, пока дома и на работе их будут окружать безвкусные вещи.

Повышение эстетического уровня всех сторон жизни советских людей было, естественно, необходимой предпосылкой для перехода от социализма к коммунизму, поскольку, согласно мнению одного специалиста по эстетике, «коммунизм — не только изобилие материальных благ. Это и царство прекрасного» (Раппопорт 1962, 8; 64–6; Дмитриева 1960). Поскольку контроль за производством товаров народного потребления осуществлялся в плановом порядке, государство несло ответственность за соответствие предметов повседневного спроса хорошему вкусу. В то же время необходимо было предпринять меры для того, чтобы убедить людей принять, усвоить и претворить в жизнь новые эстетические нормы.

Для выработки и пропаганды новых эстетических принципов партии и государству требовалось сотрудничество специалистов, включая педагогов, психологов, художников и дизайнеров. Опираясь на ранние произведения Маркса, доступные в новом переводе, учредительный съезд Союза советских художников выдвинул в 1957 г. задачу формирования материальной среды повседневной жизни в соответствии с «законами прекрасного» (*Искусство*, 1957, № 3, 14). Специалисты в области изобразительного искусства ухватились за эту возможность вернуть себе власть вершителей вкуса. Определяя каноны прекрасного, они, таким образом, привносили в дело воспитания вкуса свои стилистические предпочтения, характерные для интеллигентских кругов. Они подвергли резкой критике «мелкобуржуазный» вкус класса управленцев и чиновников, наложивший свой отпечаток на качество товаров народного потребления и на создание общественных интерьеров⁶. Жестко критикуя образцы «мещанского» вкуса и на производстве, и в сфере потребления — еще совсем недавно считавшиеся образцами «культурности» — специалисты в области вкуса старались вытеснить вкусы нового управленческого «среднего класса» своими, более аскетичными. Новым стандартом красоты стал строгий простой «современный стиль», который как в своих визуальных формах, так и основных принципах — «форму определяет функция»

⁶ Газета Союза московских художников посвятила целый номер роли художников в формировании вкуса общественности (*Московский художник*, 1959, № 10—11). Пропаганда современного вкуса стала важной задачей созданного в 1957 г. журнала *Декоративное искусство СССР* (далее — *ДИ*). Публикаций по теме слишком много, чтобы здесь перечислить. См. одну из наиболее авторитетных публикаций: Салтыков 1959.

(form follows function) и «чем проще, тем лучше» (less is more) — был близок (и прямо восходил к) международному движению модернизма.

Таким образом, данный период характеризуется, во-первых, сдвигом от усредненной, эклектической концепции вкуса к утонченной, модернистской, и, во-вторых, возрождением традиционной прерогативы интеллигенции «поднимать» вкусы масс до уровня своих собственных⁷.

В 1955 году, три года спустя после появления полотна Лактионова «*В новую квартиру*», молодой московский художник Гелий Коржев написал мрачную жанровую картину под названием «*Уехали...*», в которой во многом вывернул наизнанку праздничный образ домашнего уюта, изображенный Лактионовым, и тем самым обозначил наметившийся сдвиг ценностей.

На совещании архитекторов, состоявшемся в конце 1954 г., Хрущев подверг критике излишества сталинской архитектуры: вместо создания жилья для людей при Сталине архитекторы занялись разработкой престижных проектов — пышно украшенных, эклектичных, трудоемких и дорогостоящих (Хрущев 1955). «Новая квартира» Лактионова, с ее просторами и качественной отделкой, могла находиться в одном из сталинских домов, подвергнутых критике Хрущевым. Предоставить такие квартиры всем нуждающимся было просто невозможно. Массовое обеспечение жильем могло быть достигнуто только за счет экономии, повышения эффективности производства, использования стандартной планировки, современных материалов и методов промышленного строительства. Хрущев призывал архитекторов разработать совершенно новый стиль для постсталинского социализма, используя определенные аспекты конструктивизма, осужденного в 1930-е годы за формализм.

Таким образом, верховная власть сама санкционировала переориентацию в сторону основополагающих принципов раннего советского и международного модернизма, и поворот на 180 градусов в архитектуре создавал условия для модернизации и рационализации всех аспектов материальной жизни социализма.

Если «*В новой квартире*» Лактионова оплотом дома является мать, а место отсутствующего мужа и отца занято портретом Сталина, то на картине Коржева «*Уехали...*» исчез не только Сталин,

⁷ Важная дискуссия о «современном стиле» прошла в Союзе московских художников (МОСХ) 27 мая 1959 г. (РГАЛИ, Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 2979). Подробнее см.: Reid 1997, Gerchuk 2000, см. также: Buchli (1997).



Гелий Коржев, «*Уехали...*» (1955)

но и жена-мать. Если Лактионов изобразил счастливую семью, объединенную женщиной-матерью, в окружении домашнего благополучия, то Коржев — подавленного человека, еще не снявшего рабочую одежду, одиноко сидящего на узкой кровати в полупустой комнате общежития. В интерьере нет ковров, штор, фикуса или каких-либо других атрибутов благоустроенного домашнего быта, обязательных для изображения образцовых советских граждан эпохи позднего сталинизма. Отсутствует даже такой вездесущий атрибут сталинской культурности, как скатерть: чайный стакан стоит на газете, словно вторя реплике женщины, которая в своем отклике на статью Жукова в журнале «*Новый мир*» жаловалась на мужское равнодушие к окружающему их материальному миру: мужчина будет «завтракать на столе, покрытом вчерашней газетой» (*Новый мир* 1955, № 2, 247).

Картина отражает обеспокоенность распадом советской семьи, явлением, которое вызвало особую озабоченность в 1950-е годы⁸.

⁸ О семейных раздорах и разводе см.: Dunham 1968, 68, Field 1998. Распад советской семьи стал также основной темой романа Ильи Эренбурга *Оттепель* (1954), давшего название этой эпохе.

Освещение социальных проблем в художественных произведениях стало новым явлением, оказавшимся возможным исключительно из-за смерти Сталина. Игрушечная утка да парадная фотография женщины, приколотая к стене, указывают на то, что предшествовало этой сцене запустения. Взяв с собой ребенка, жена ушла от мужчины, оставив в комнате лишь несколько ненужных вещей. По сравнению с жанровыми полотнами позднего сталинизма, где каждая деталь работала на главную идею произведения, картина Коржева сдержанна и морально неоднозначна. Написанная в переломный момент, картина отражала одновременно появление новой эстетики, отвергающей точное и исчерпывающее изображение в живописи, и столкновение двух прямо противоположных идеологий быта.

Еще пару лет назад, в 1953 году, подобная картина считалась бы критикой неудачной попыткой ушедшей жены создать *культурный* дом даже в неблагоприятных условиях. Если девушки-курсантки на картине Рянгиной даже в условиях общежития смогли свить себе уютное гнездышко, то здесь ушедшей жене явно не хватило традиционного женского умения украсить быт, в котором портьеры и вышивки, полностью отсутствующие у Коржева, играли важную роль.

В 1955 г. критики также увидели в картине обвинение невидимой жене. Однако сделали они это совсем по другим причинам: на их взгляд, женщина, эгоистично разрушившая советскую семью, просто испугалась трудностей повседневной жизни. Отсутствующая жена стала жертвой приговора критики, обвинившей ее в мелкобуржуазном стремлении к домашнему уюту (Акимова, Ройтенберг 1956, 42)⁹.

Возможна и третья интерпретация картины — на основе тех скурых примет, которые критика в картине тогда не заметила. Эта интерпретация во многом восходит к иконографии конца 1920-х годов, примером которой может служить ранняя работа Серафимы Рянгиной «*В новую жизнь*». Написанная в первую пятилетку картина изображала женщину, которая, бросая вызов патриархальной семье, освобождается от оков быта ради того, чтобы получить образование или пойти работать. Как писал Ленин,

⁹ Алчная женщина, искавшая богатого мужа, была излюбленным персонажем карикатур во время и после «оттепели». На карикатуре Ю. Черепанова, опубликованной в журнале *Крокодил* в 1967 г., изображены обычный блочный дом и одинокий мужчина под зонтом в том месте, где когда-то была его квартира. Надпись на карикатуре гласит: «От него ушла жена. И захватила с собой комнату» (см.: Абрамский 1977).

женщина продолжала оставаться *домашней рабыней*, несмотря на все освободительные законы, ибо ее душит, отупляет, принижает *мелкое домашнее* хозяйство, приковывая ее к кухне и детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительной, мелочною, изнервляющею, отупляющею, завивающею. Настоящее *освобождение женщины*, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, *массовая перестройка* его в крупное социалистическое хозяйство (Ленин 1970, 39:24).

Тема, затронутая Рянгиной, стала вновь актуальной в 1950-е годы, когда правящий режим, провозгласив «возврат к ленинским нормам», попытался заставить женщин более активно участвовать в производственной и общественной жизни. В 1959 г. журнал «*Огонек*» напечатал статью о женщинах, которые, в целях сохранения уважения к себе, самореализации и осуществления общественного долга, были вынуждены уйти от своих отсталых мужей, предпочитающих видеть своих жен, занятых делами дома, а не на работе.

Могло произойти и обратное: Дебора Филд приводит слова разочарованного мужа, подавшего на развод в 1959 г. не только из-за пьянок и измен жены, но и потому, что она перестала стирать его белье и убирать в доме (Field 1998, 608-9). Несомненно, конфликт установок на роли женщин мог привести к распаду семей, однако развод не был самым простым выходом. Задачей того времени было подтолкнуть женщин не к разводу в целях собственной самореализации, но к сохранению семейной ячейки во имя высших интересов общества. Бремя действий в таких случаях — как и материальные жертвы — перекладывалось на плечи женщин. В итоге, не мужчины должны были меняться, а женщинам приходилось уходить из дома, зачастую, как свидетельствует история из *Огонька*, оставляя совместно нажитую квартиру отсталому мужу.

Политизация личного

Начиная с 1956 г. Хрущев и партия стали уделять большое внимание женщине-хранительнице домашнего очага и воспитательнице детей. В качестве общей цели «расширения социалистической демократии» государство заботилось о вовлечении женщин не только в производство, но и в политику и общественную жизнь. Женщины составляли менее 20% всех членов партии и были сла-

бо представлены в ее высших эшелонах; на одном из совещаний по кадровой политике Хрущев жаловался, что ему нужен бинокль, чтобы увидеть в зале женщин-делегатов (Nove 1981, 130).

Домашние обязанности женщин были важным фактором, сдерживающим их участие в общественной жизни; Хрущев признавался, что замученные работой, детьми и домом женщины не имели ни времени, ни сил заняться политической и общественной работой. «Бремя домашних забот» и обязанности по уходу за детьми нужно было облегчить вмешательством государства, перенеся выполнение всех повседневных обязанностей из дома в общественную сферу. Главной панацеей против домашнего женского рабства были, как говорил еще Ленин, расширение и совершенствование сферы коммунальных услуг (прачечные и предприятия общественного питания и т.п.)¹⁰. Другими мерами, одобренными на XX съезде партии, стали расширение сети школ-интернатов и круглосуточных яслей (Bronfenbrenner 1968, 107–108). В то же время частичным решением проблемы стали механизация производственного и домашнего труда и повышение их эффективности (см.: Абраменко и Тормозова 1959, 4).

Значение усилий, направленных на искоренение причин низкой политической активности женщин, не следует преуменьшать. Эти усилия, однако, почти не касались источника неравенства — гендерных отношений в семье. Звучавшие время от времени предложения мужчинам больше помогать по дому нередко подавались в легкомысленной манере, что существенно снижало их значимость, либо же они становились частью праздничных ритуалов, посвященных Международному женскому дню (см., например: Куликовская 1959, 11).

Не бросая вызова традиционным гендерным ролям, речи Хрущева и его политика в действительности подтверждали гендерное разделение домашнего труда как естественное положение вещей. Как показали исследования, рядовые и высокопоставленные члены партии — несмотря на партийные установки на идеологию равенства полов — придерживались стереотипных представлений о различии полов: женщине приписывался более низкий уровень политической сознательности и рациональности, а биологическая

¹⁰ В своей предвыборной речи 1958 г. Хрущев заявил: «Необходимо подумать, как максимально облегчить домашние обязанности женщин. Для этого надо построить больше детских садов, школ-интернатов, домовых кухонь и других предприятий социальной и культурной сферы» (*Правда* 15 марта 1958 г.).

функция матери виделась основной причиной, обуславливающей ответственность женщины за быт¹¹.

Таким образом, «двойная ноша» продолжала оставаться «женской проблемой», а дом — ее уделом. Двойная нагрузка имела непосредственное негативное влияние на статус женщины в обществе и на рабочем месте: женщины могли рассчитывать только на низкооплачиваемые и неквалифицированные рабочие места, что, в свою очередь, лишь усиливало предубеждение по поводу способности женщин выполнять высококвалифицированную и ответственную работу (Filtzer 1992, 178).

Более того, гендерная дихотомия общественного и личного не была симметричной: высоко ценя производственный труд, официальная идеология отказывала в какой-либо общественной или экономической ценности репродуктивному труду, который ассоциировался с домом, — сферой «женской» заботы. Хрущевский режим продолжал настаивать на том, что человек может стать всесторонне развитой личностью путем активного участия в производстве и общественной сфере (Бильшай 1959). Как весьма обобщенно отмечала Женья Браунинг, само внимание к «женским» вопросам не увеличило для женщин возможностей «пойти во власть» или заняться реальной политической деятельностью, поскольку подобная политическая тематика воспринималась как «второстепенная», оставляя за женщинами традиционную сферу их деятельности и тем самым закрепляя дихотомию мужского и женского, высокого и низкого (Browning 1985, 232).

Ограниченность хрущевских реформ и их неспособность уничтожить неравное разделение домашнего труда и гендерную противопоставленность «общественного» и «личного» очевидна. Но было ли стирание дихотомии «общественного» и «личного» само по себе недостижимым? Разделение сфер в конце концов было исторически обусловленным явлением, связанным с развитием капитализма, а не с непреложным абсолютным. Отмирание таких деспотичных буржуазных институтов, как семья, наряду с поглощением личных интересов интересами общества, с самого

¹¹ См., например, обращение ЦК КПСС, посвященное женскому дню: «Работницам и колхозницам, деятелям науки, техники, просвещения, литературы, искусства, здравоохранения, всем советским женщинам!» (*Учительская газета*, 8 марта 1958 г.). Женщин-коммунисток называли «домохозяйками революции», которые должны были поставить свои навыки бережливости и бдительности на службу государству (см.: Wood 1997; Gorsuch 2000).

начала были краеугольным камнем построения коммунизма. Эти цели приобрели вторую жизнь в самых утопичных проектах хрущевского режима, хотя их практическое воплощение часто принимало более компромиссные и прагматичные формы: в ответ на негативную общественную реакцию на предложение переложить воспитание детей с семьи на коллектив, например, были сделаны соответствующие уступки (Bronfenbrenner 1968, 112—116).

Основной же целью повышенного внимания хрущевского режима к социальному обеспечению, товарам народного потребления и быту было стремление разрушить традиционное деление на «общественное» и «личное», на частное и политическое. Как гласило название брошюры для агитаторов: «Быт — не частное дело» (Куприн 1959). Согласно формулировке одного исследователя последствий подобного государственного вмешательства и распространения государственных услуг на Западе, «организация повседневной жизни теперь очень тонко переплетается с политикой» (Sassoon 1992, 32).

Если вмешательство партии и государства в дела, которые буржуазное общество считало частными, было продолжением государственной власти, то не предполагало ли оно видоизменения и продолжения того, что называется политикой? Если центр угнетения сместился или вообще переместился из сферы общественной в частную сферу быта, следовательно, и политическое значение этой сферы возросло. Как указывала статья под названием «*Против недооценки домоводства*», женский долг ведения домашнего хозяйства был возведен в ранг общественного и даже государственного дела (Вульф 1961, 47).

Как я уже отмечала в своих работах, обстановка холодной войны в мире, которая при Хрущеве приняла несколько смягченную форму «мирного сосуществования» и «мирного соревнования», сделала улучшение условий жизни народа и совершенствование сферы потребления проблемой исключительной политической важности. Продолжая считать эти вопросы преимущественно женскими, — и став свидетелем возможного свержения режима вследствие недовольства женщин сферой потребления в Восточной Германии в 1953 г., — хрущевский режим воспринял женщин как силу, с которой необходимо было считаться. Подобное восприятие закрепляло за женщинами определенные властные и силовые полномочия, даже если эти полномочия и были разнородностью «силы слабых», способных лишь вносить помехи, тянуть время или отказываться от сотрудничества (ср. Fitzpatrick 1994, 5—7).

«Женский вопрос» перестал быть вопросом второстепенной важности: все, что было связано с домом, стало политически значимым (Pence 2001; Sassoon 1992, 30)¹².

«Каждой семье отдельную квартиру»

Возможно, жизнь покинутого мужа на картине Коржева сложилась бы по-другому, если бы ему, вместо того чтобы влачить жалкое существование в пустой комнате общежития, удалось получить личную квартиру, в которой жена смогла бы создать «настоящий дом». Как признавался Хрущев, обеспечение жилплощадью всех нуждающихся было настоящей задачей улучшения условий жизни в 1950-е годы. Практически во всех крупных городах Советского Союза жилищные условия в 1956 г. были еще хуже, чем в 1926 г., и размер жилплощади на душу населения был ниже установленной санитарной нормы в 9 кв. м. (Сам Лактионов получил квартиру незадолго до того, как в 1952 г. написал «*В новую квартиру*».)

Невыносимые жилищные условия необходимо было улучшить не только потому, что государство заботилось о здоровье и счастье людей, и не только для того, чтобы развеять недовольство, зрешее среди горожан, но и по экономическим причинам. Плохие жилищные условия особенно негативно влияли на рабочих, что вело к большой текучке кадров и ставило под угрозу выполнение пятилетнего плана (Sosnovy 1959, 6, 13).

Семилетний план 1958—1965 гг. поставил первостепенную задачу массового строительства жилья, предусматривая сдачу в эксплуатацию 15 млн квартир — столько же квартир было построено после революции. Как провозгласила партия в своей третьей Программе в 1961 г., через два десятилетия «каждая семья, включая молодоженов, будет иметь удобную отдельную квартиру, отвечающую всем гигиеническим и культурным требованиям» (см.: Hodnett 1974, 230; Струмилин 1960, 141; Andrusz 1980). В прессе появилось много сообщений о жилищном строительстве и о людях, переезжающих в новые квартиры, — «великое переселение народов», как шутя гласила надпись в одной из карикатур в *Крокодиле* того времени. Хотя карикатуры порой высмеивали недо-

¹² Символично, что традиционная сфера деятельности женщин — кухня — стала местом глобальной холодной войны на американской национальной выставке в Москве в 1959 г. (Goldstein 1996, 146—147).

статки новых квартир — их удручающее однообразие, панельное строительство и то, что новым жильцам приходилось готовить пищу на походных плитках во дворе, потому что кухонные плиты еще не были подключены, — быстро строившиеся панельные дома демонстрировали, что, наконец, при Хрущеве «жить стало лучше, жить стало веселее», как задолго до этого заявил Сталин¹³.

Один из типичных парадоксов хрущевской поры заключался в том, что обещание предоставить каждой семье *отдельную* квартиру противоречило стремлению к коллективизму. Предоставив многим впервые в жизни отдельную квартиру, жилищная программа тем самым обеспечивала не больше, а меньше возможностей для слезки¹⁴. Однако это рассматривалось как временный компромисс. На самом деле владельцем жилья было государство, и оно имело фактическую монополию в городском жилищном строительстве (Sosnovy 1959, 9). Как выразилась историк архитектуры Вигдария Хазанова, новостройки, как и другие проекты массовой застройки двадцатого века, были «орудием регламентации быта» (Хазанова 1991, 77). Физическая изоляция семьи за порогом входной двери компенсировалась вторжением в семейную жизнь, борьбой с индивидуалистическими тенденциями, к которым эта изоляция могла привести, стремлением упорядочить и дисциплинировать семейную жизнь и внедрением аскетического «современного» вкуса в обстановке квартиры.

Предоставление квартир «даже молодоженам» означало, что молодым семьям предстояло учиться рассчитывать на себя — в отрыве от уже устоявшегося домашнего уклада, налаженного матерью или свекровью, или соседей по коммунальной кухне. Кроме того, занятость женщин вне дома часто приводила к тому, что на передачу навыков ведения домашнего хозяйства и семейных традиций не хватало ни времени, ни сил. Возникший таким образом пробел в образовании сформировал потребность в совете: свободное место быстро оказалось занятым авторитетными специалистами, пришедшими на помощь хозяйкам для того, чтобы изменить устоявшиеся правила ведения домашнего хозяйства и заменить матерей в роли основных источников информации о нормах домашней

¹³ Эта тема возродила социалистический реализм в картине Юрия Пименова «На завтрашних улицах» 1962 г., изображающей молодоженов, пробирющихся через грязную строительную площадку к своему новому дому.

¹⁴ О проблеме «личной жизни» в коммунальной квартире см. Gerasimova 2002.



«С новосельем!», Крокодил (1966)

гигиены, бережливости и вкуса. «Надо не только обеспечить человека хорошим жильем, — утверждал Хрущев, — но и научить его... правильно жить, соблюдать правила социалистического общежития. Это не приходит само по себе, а может быть достигнуто в длительной и упорной борьбе за победу нового, коммунистического быта» (цит. по: Абраменко и Тормозова 1959, 3—4).

Массовое жилье для каждого, обещанное Хрущевым, разумеется, не могло быть построено с размахом и уровнем отделки «Новой квартиры» Лактионова: с неизбежностью новые квартиры были маленькими, дешевыми и не очень комфортабельными¹⁵.

¹⁵ К 1965 г. средний советский горожанин имел лишь 40% жилого пространства по сравнению с его современником в Западной Европе или США. (Sosnovy 1959, 19).

Относительный аскетизм нового жилья отражал не только экономические ограничения, но и не ослабевавшую идейную оппозицию по отношению к нуклеарной семье, домашнему укладу и всему тому, что хоть отдаленно было связано с частной собственностью.

Философ Карл Кантор предупреждал, что «гипертрофия интересов дома и семьи воспитывает антиобщественное и антикоммунистическое мировоззрение» (цит. по: Герчук 1991, 9). Если сознание определяется материальным наполнением повседневной жизни, то изолированная домашняя среда, загроможденная атрибутами мелкобуржуазного образа жизни, будет развращать ее обитателей, навязывая им мелкобуржуазные ценности и кумиров, и, соответственно, тормозя воспитание коллективистской, коммунистической ментальности. Отдельная квартира была вынужденно временной мерой, пока новый образ жизни не будет внедрен в повседневную жизнь, когда бытовые услуги станут бесплатными, а женщины будут освобождены от домашнего рабства, как завещал Ленин. Но обитатели новых квартир не должны были чувствовать себя слишком удобно и благодушно в своем доме. По мере того как Советский Союз шел по пути строительства полного коммунизма, бытовые услуги должны были стать чрезвычайно привлекательной альтернативой повседневному обслуживанию, которое осуществлялось женщинами дома. Как писала 29-летняя женщина-архитектор в ответ на опрос, проведенный *Комсомольской правдой*:

Отдельная изолированная квартира, выходящая на лестничную площадку, потворствует индивидуалистическим, буржуазным отношениям в семье — «мой дом!». Но скоро можно будет выйти прямо из квартиры в широкую дорогу, украшенную цветами, зайти в домашнее кафе, библиотеку, кинозал, детскую игровую площадку. Подобное новое жилье изменит дух, сущность семьи. Женщины больше не будут сопротивляться введению бытового обслуживания и домашних кухонь, говоря: «Я сама сделаю это дома быстрее!» (*Soviet Review*, 1962, vol. 3, no. 8, 32).

Приводя в порядок домашний уклад

Исход из дома должны были возглавить женщины. Но пока система бытового обслуживания не получила широкого распространения, женщинам пришлось учиться жить в новых квартирах или приспособлять к современным стандартам жизнь в старых. Особые усилия были направлены на то, чтобы отучить женщин от стремления к атактистическому идеалу комфорта, о чем во времена

Сталина мечтали все добропорядочные граждане. В свою очередь, чтобы избежать стяжательства, благодушия или неразумного потребления, надо было нейтрализовать воспитательной работой возможные опасные последствия большей доступности товаров народного потребления. Потенциальную потребность женщин к украшению новой квартиры следовало ограничить «рациональными нормам потребления», определенными государством (*Soviet Studies* 1959, vol. 11, no. 1, 90)¹⁶. В этой кампании было два взаимосвязанных аспекта: эстетическая реформа повседневной жизни, пропагандирующая новые представления о вкусе и красоте, и рационализация домашнего труда (вспомним теорию научного управления домашним хозяйством на Западе, появившуюся в начале XIX века)¹⁷. В соответствии с модернистской эстетикой, поддержанной хрущевской идеологией и мастерами изобразительных искусств, рациональность, эффективность и функциональность составляли основу красоты.

Борьба за новую материальную культуру в повседневной жизни велась и на уровне производства — включая жилищное строительство и производство новой современной мебели — и на уровне надстройки — в дискурсе потребления. С 1956 по 1962 г. было создано несколько учреждений с целью установления, распространения и контроля над стандартами производства и потребления. Добровольное принятие новых норм домашнего уклада поощрялось и поддерживалось при помощи потока статей и справочников по семейной и бытовой жизни, по вопросам вкуса и этикета, которые издательства начали печатать в огромных количествах с конца 1950-х годов, якобы в ответ на просьбы читателей¹⁸.

Выставки образцовых интерьеров и мебели для массового производства пропагандировали новый стиль, особенно выставка *Искусство — в быт* (ее название вызывало в памяти лозунг конструктивистов 1920-х годов), состоявшаяся в огромном Центральном выставочном зале (Манеже) в Москве в 1961 г.¹⁹ Претворение

¹⁶ О разумных нормах потребления см.: Hanson 1974, 7—8, 72.

¹⁷ Об истории «феминистского» движения за реформу домашнего труда см.: Hayden 1981.

¹⁸ В книжном каталоге 1954 г. появился новый раздел «семейная жизнь и быт». Число подобных публикаций резко возросло, достигнув пика в 1961 г. (Field 1998, 41).

¹⁹ См.: РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Ед. хр. 1001, 1002; ЦАЛИМ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 123—130; «Искусство — в быт. Выставка новых образцов изделий художественной промышленности» (*ДИ*, 1961, № 6).

в жизнь новых норм потребления и переустройство быта поощрялись и контролировались и неформально (по-соседски), и добровольными организациями, такими, как домкомы, профсоюзы, комсомол, и другими псевдо-общественными организациями, которые играли все возрастающую роль в переходе к самоуправлению в хрущевскую эпоху (Field 1998, 19, 99—101).

Женщины были и начальниками, и главной рабочей силой в доме. В их обязанности входили руководство и эффективная организация домашнего труда, что не исключало, впрочем, участия и других членов семьи²⁰. В одном из справочников 1959 г. давался такой совет: «Чем скорее девушка или молодая женщина сумеет овладеть своим небольшим домашним хозяйством, чем активнее помогут ей в этом члены ее семьи ...» (Абраменко и Тормозова 1959, 4). Хотя мужчины и женщины пользовались одинаковыми правами в семье и в обществе, утверждалось в том же справочнике, это не означало, что они всё должны делать вместе. Некоторые обязанности по дому больше свойственны мужчине, чем женщине, например, ремонт мебели. Мужчина мог также покупать крупногабаритные предметы, а если он ничего не знает о сортах мяса, ничего, скоро научится!

Как указывал тот же справочник, на плечи женщин легла еще одна обязанность по дому — эстетическая. В ее задачу входило создание красивого, приятного, удобного, «современно» украшенного и оборудованного домашнего интерьера. Если концепция уюта продолжала ассоциироваться с «заботливой женской рукой», то ее содержание значительно изменилось. Уют стал аскетическим, отличаясь и от буржуазного, и от сталинского. Уже цитировавшаяся читательница журнала «Новый мир» в 1955 г. сформулировала новый смысл «уюта», отмечая, прежде всего, предметы, от которых нужно отказаться: «Это, конечно, не фикусы с пыльными листьями и не стадо мраморных слонов, которых “для счастья” пускают пасти по туалетному столику». Однако, жаловалась читательница, если ее муж и склонен принимать участие в обсуждении планов новой обстановки, то осуществлять эти планы ей всегда приходится одной (Новый мир 1955, № 2, 247).

²⁰ Такие журналы, как «Огонек» и «Семья и школа», постоянно печатали статьи с полезными советами для читательниц. См., например, статью А. Каргополова, «Колхозницы обсуждают книгу «Домоводство», (Семья и школа, 1958, № 1). Книга, о которой идет речь, — «Домоводство» (Демезер и Дзюба, 1957).



Модель интерьера в «современном стиле».
Баяр О., Блашкевич Р. Н. *Квартира и ее убранство*. М., 1962

Именно женщины несли ответственность за принятие новых аскетических норм уюта и красоты, основанных на принципе удобства, а также за их воплощение в жизнь в миллионах домов по всей стране. Именно женщины сами решали, как рационально организовать домашнее пространство и как воплотить простой, функциональный «современный стиль» (Абраменко и Тормозова 1959, 5)²¹.

От женщин ожидали осознания того, что реформа быта осуществляется прежде всего в их же собственных интересах: излишние, часто бесполезные декоративные украшения, требующие ухода и уборки, виделись оковами, превращающими женщину в домашнюю рабыню. Женщины, таким образом, воспринимались не только главными виновниками беспорядка, но и его главными жертвами. Для своего освобождения, как говорил Ленин, женщины должны отказаться от подобной привязанности к вещам и от неразумных желаний. Пресса часто рассказывала о женщинах,

²¹ О «современной» концепции комфорта и вкуса см., например, Абраменко и Тормозова (1959, 7—56); Черейская (1959, 220), Никольская (1958б, 46—47) Никольская (1958а, 42—44).

которым удалось добиться просветления. В газете «Комсомольская правда» 35-летняя домохозяйка сожалела о том, что вышла замуж по расчету:

Сегодня у меня есть все — телевизор, холодильник, радио, пылесос, стиральная машина, автомобиль «Волга» — нет только любви — и все эти материальные блага, о которых другие только мечтают, угнетают меня, душат меня, не дают мне вздохнуть (*Soviet Review* 1962, vol. 3, no. 8, 37).

Именно женщинам — рьяным сторонницам нового быта, свободным от тирании хлама — предстояло возглавить крестовый поход за новые вкусы.

Эстетическая задача женщин украсить свой дом была далеко не личным делом второстепенной важности. Скорее, это была гражданская миссия, имевшая образовательное и идеологическое значение, поскольку, как говорилось в одном лозунге того времени, «интерьер формирует жизнь». В деле воспитания всесторонне развитых, сознательных (self-regulating) советских граждан эстетическое образование было не менее важным, чем нравственное. Как говорилось в одном авторитетном издании по интерьеру, убранство квартиры должно не только «удовлетворять повседневные и эстетические запросы. Оно также должно... повышать культуру советского человека, принимать участие в воспитании строителей коммунистического общества» (Луппов, 1963, 14). В этом смысле эстетическая функция женщин в доме была логическим продолжением их воспитательной роли, являвшейся, в свою очередь, как подчеркивалось в официальных документах, биологически определенным социальным долгом²².

Журналы и книги полезных советов, рассчитанные на женщин, описывали принципы и детали современной обстановки и украшения дома «со вкусом». В их основе лежали модернистские рационалистические заповеди: простота, функциональность и отсутствие излишеств²³. Маленькая, просто обставленная комната, где все хорошо подходило друг к другу, демонстрировала хороший вкус современной домохозяйки гораздо лучше, чем дорогая мебель, ковры, посуда и люстры. Как советовали специалисты, на смену вычурным люстрам-пылесборникам должны были прийти простые плафоны из непрозрачного стекла, рассеивающие свет по

²² Например, в Обращении ЦК КПСС «Работницам и колхозницам», 8 марта 1958 г.

²³ Такова была основная идея книги Салтыкова (1959).

потолку (Баяр 1956, 47—48; Баяр и Блашкевич 1962; Никольская 1958а, 1958б; Краснова 1960, 44—45; Брюно 1960, 46—47). В интересах удобства, эстетики и гигиены новые малогабаритные квартиры не стоило загромождать тяжелой и излишне декоративной мебелью. Предпочтение отдавалось невысокой, легкой, простой, многофункциональной мебели, за которой легко было ухаживать. Не случайно, такая мебель хорошо вписывалась в эффективное, экономичное массовое производство.

Стиль того времени называли современным и демократичным в противовес материальной культуре недавней сталинской поры, которую теперь обвиняли в предпочтении мешанской роскоши, не соответствующей современному социалистическому обществу. Как сказал один специалист по вопросам вкуса во время дискуссии в Московском союзе художников: «Мы не имеем права на мешанскую роскошь!»²⁴. Книги полезных советов поддержали шквал нападков на мелкобуржуазную показуху и пошлость, олицетворенных избытком не гармонирующих и бесполезных безделушек. Перечень предметов, воплощающих плохой вкус, повторялся во многих специальных и популярных изданиях и очень напоминал подобный перечень 20-х годов. Первое место в нем занимали наборы выточенных белых слоников, о которых уже в 1955 г. читательница журнала «Новый мир» сказала: «ни-ни». Далее шли позолоченные гипсовые котятки, бумажные цветы и ковры из клеенки с лебедями и восточными красотками. Вышитые копии жанровых картин, таких, как картина Федора Решетникова «Прибыл на каникулы» осуждались за «мешанскую мимикрию». В то же время «неуважение к пластмассе» — выражавшееся, например, в виде чернильниц из искусственного мрамора — критиковалось как с точки зрения требования модернизма быть верным природе используемого материала, так и с точки зрения необходимости популяризации синтетики²⁵.

Даже когда для приобретения новой мебели не было средств или возможностей — мебель оставалась и дорогой, и малодоступной, даже когда кому-то все еще приходилось влачить жизнь в дорево-

²⁴ «Проблемы формирования современного стиля в советском изобразительном искусстве» (РГАЛИ. Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 2979. Л. 54)

²⁵ См., например: Жвирблис (1962, 43—45), Воронов (1962, 14—16), Львов (1959), Тараев (1960, 3) Гордеев (1962, 44), Суворова (1962, 46), Айзенштат (1962, 46—47). О «мешанской мимикрии» см. также: Герчук (1965, 3). Культуру сталинизма во время «оттепели» называли подделкой или «лакировкой действительности».

люционной коммуналке, каждый мог приспособить свою среду к новым требованиям жизни. По крайней мере, любому было доступно рационализировать пространственную организацию жилья: обеденный стол, загромождавший центр комнаты (как это было принято в интерьерах сталинской эпохи) сменял журнальный столик у стены, сразу освобождавший немало места. В соответствии с современным стилем старую мебель можно было уменьшить просто подпилив ножки; лепнину можно было сбить. Но прежде всего надо было избавиться от безвкусного, бесполезного, вредного для здоровья хлама.

В 1959 году в полезных советах девочкам-подросткам, у которых не было ни средств, ни власти распоряжаться в родительском доме, говорится о том, как модернизировать квартиру, избавившись от излишних украшений. На двух иллюстрациях («до» и «после») написанные маслом, в богато украшенных и пыльных багетах картины, висевшие на стенах, — еще не так давно признак культурности — заменены плоскими оттисками и репродукциями, а от изначального изобилия вышивок и портьер, закрывавших всю доступную им поверхность, не осталось и следа (Черейская 1959, 220—234; Баяр и Блашкевич 1962, 36—47)²⁶.

Наличие или отсутствие вышитых накидок стало особым символом старого и нового домашнего уюта и, соответственно, символом изменения роли женщины в создании домашнего очага. Накидки стелили на столы, в виде салфеток они придавали домашний уют таким современным техническим достижениям, как радиоприемник и телевизор, ими застилали постели: изобилие салфеток и вышивок глубоко вошло в традиционное понятие комфорта, народных промыслов и женской добродетели. Они были главным приданым девушки в Древней Руси (Mace and Mace 1964, 161). Они же стали и основным объектом критики.

В условиях нехватки потребительских товаров и государственной монополии на производство, вышитые скатерти и их умелое использование в качестве украшения дома были одним из немногих способов проявить свой контроль над материальной средой, свой способ освоения и индивидуализации стандартного жилища. Эти предметы материальной культуры были выражением индиви-

²⁶ О репродукциях в квартире как признаке хорошего современного вкуса см. также Некрасов (1962) и Герчук (1962). О путях модернизации домашнего пространства и его обстановки см. также Buchli (1997, 170—172).

дуального вкуса женщины, ее художественных способностей в создании уюта в доме (Buchli 1999, 92—93). Сами предметы, а также способы их изготовления передавались из поколения в поколение и, таким образом, составляли материальное наследие истории семьи и являлись свидетельством преемственности, невзирая на политические и социальные перипетии. Требование отказаться от подобных проявлений женского усердия в доме лишало его — дом — статуса производственной площадки. Оно также вело к противопоставлению традиционной женской роли хранительницы домашнего очага и семейной истории и новой концепции правильного домоводства, требовавшей от нее стандартизации и модернизации домашнего уклада (см.: Любимова 1964, 15—18).

В прошлом, замечает справочник по домоводству 1959 г., хорошей домохозяйкой считалась та, которая посвящала все свое время и силы дому. Современная советская женщина помимо забот по дому еще и работала (Абраменко и Тормозова 1959, 4). Чтобы хоть как-то облегчить ее участь и на рабочем месте, и дома, необходимо было ввести рационализацию и механизацию. На XXI съезде КПСС Хрущев обещал, что наряду с расширением и совершенствованием системы бытового обслуживания, «облегчающей домашнюю работу женщин», будет значительно увеличено создание «трудосберегающих» домашних технологий. Возросло производство бытовых приборов и товаров бытовой химии, хотя они все еще были малодоступны, дороги, или — учитывая их недостатки — желанны²⁷.

Домохозяйка прежде всего должна была научиться рационализировать свой домашний труд. Правильное ведение домашнего хозяйства стало подаваться как профессия, требующая специальной подготовки и новых технологий, планирования и организации, и состоящая, как и производственный труд, из различных областей и разделов. Забота о претворении в жизнь принципа эффективности, свойственного промышленному производству,

²⁷ См.: Постановление Совмина и ЦК КПСС «О мерах по увеличению производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода» (октябрь 1959); «Добротные, красивые вещи — в наш быт.» (Известия 16 октября 1959), см. также: «Больше, добротнее, красивее.» и «Качество, еще раз качество» (Известия, 23 октября 1959). См. также: Holt (1980, 29-31). О противоречиях идеологии и использовании «трудосберегающей» технологии см.: Cowan (1989). Изучение бюджета советского времени показало, что в 60-е и 70-е годы время домашнего труда возросло, а не снизилось (Blekher, 1979, 188).

ложились тоже на женщин, как указывали различные публикации на эту тему²⁸.

Чтобы уменьшить домашнюю нагрузку и сделать дом чище, женщинам предлагалось купить новую мебель с закругленными углами, ровными поверхностями, покрытыми пластиком (предполагалось, что у нее были средства и возможности купить такую мебель и что у нее было достаточно власти распоряжаться домашним бюджетом, чтобы решиться на такие значительные расходы). Небольшие размеры новых квартир требовали рациональной организации домашнего пространства. Любой иллюстрированный альбом об обстановке и декорировании жилья содержал схемы расположения мебели в современной квартире, включая и диаграммы наиболее эффективных направлений движения при осуществлении домашних дел. Важно, что подобные схемы-чертежи использовали признак пола как средство для дифференциации пространства и связанных с ним видов деятельности или для разграничения использования многофункционального пространства и мебели. В итоге, отдых, чтение, умственная работа за письменным столом отождествлялась как мужская, а уборка, готовка и сервировка еды — как женская. (Баяр и Блашкевич 1962, 12-13). Начиная с конца 1950-х годов и особенно в 1960-е годы кухня стала центром, привлекающим внимание рационализаторов, подобно тому, как в Европе и Америке в первые десятилетия двадцатого века принципам Тэйлора пытались найти применение и на кухне. В справочнике домохозяйки, вышедшем в 1959 г., кухня сравнивалась с научной лабораторией, в которой должно быть просторно, безукоризненно чисто и без излишеств (Абраменко и Тормозова 1959, 4). И снова художники - дизайнеры попытались организовать работу домохозяйки на кухне так, чтобы уменьшить ее повседневные нагрузки за счет эффективной планировки помещения²⁹.

Необходимость научного изучения и рационализации домашнего труда прозвучала в дискуссиях о том, что новые квартиры должны быть оснащены кухонными принадлежностями. Дискуссии были, в частности, инспирированы американскими образцами, показанными на Американской национальной выставке 1959 г. в Москве:

²⁸ Даже в неспециальных журналах, таких, как *Огонек*, статьи о домоводстве были адресованы женщинам (см.: Светлова 1959).

²⁹ На выставке «Искусство в быт», проходившей в 1961 г., особое внимание уделялось оснащению кухни (ЦАЛИМ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 123—130.)



Современная советская кухня.

Источник: Баяр О., Блашкевич Р. Н. *Квартира и ее убранство*. М., 1962

Рационально организованный интерьер способствует известной, если так выразиться, «автоматизации» бытовых процессов... Когда необходимые предметы расположены с учетом последовательности тех или иных процессов, человек не отвлекается, меньше утомляется. Кроме того, в квартире, оборудованной на основе научно разработанных норм, человек при пользовании предметами не фиксирует на них внимание, не фетишизирует вещи, а это имеет воспитательное значение (Любимова 1964, 15).

Таким образом, организация работы и стандартизация оборудования не только могли позволить управлять домом, как машиной, но и справиться с негативным влиянием семьи и подготовить женщин к коммунизму. Опережая возможные возражения о том, что организация и стандартизация не допустят каких-либо проявлений индивидуальности, автор указывал, что индивидуальность сможет найти для себя широкий выход в эстетике внутреннего убранства (Любимова 1964, 16).

На домашний уклад оказал влияние еще один важный аспект реформ, проводимых Хрущевым, — политехнизация образования.

Целью политехнизации было сократить разрыв между умственным и физическим трудом за счет приобретения трудовых навыков в процессе общего образования. Трудовое обучение включало домоводство, предназначенное почти исключительно для девочек. В номере «*Огонька*», посвященного Женскому дню (1960 г.), описывалось техническое училище в Литве, где девочки (о мальчиках не шло и речи) изучали кулинарию, сервировку стола, рукоделие, садоводство, уход за детьми, гигиену, консервирование продуктов и другие аспекты домоводства. Открытие училища домоводства, сообщал «*Огонек*», было встречено с долей скептицизма, однако от него не осталось и следа, когда появилась потребность в выпускниках училища. Они не только получили работу в сфере обслуживания в деревнях и селах, но и стали «хорошими домохозяйками для советских семей» (Борушко 1960, 24).

Два любимых проекта Хрущева по воспитанию первого поколения, которое будет жить при коммунизме, — новые школы-интернаты и Московский дворец пионеров (1962 г.) — должны были иметь хорошо оборудованные классы домоводства и классы, имитирующие настоящие квартиры, в которых девочки (мальчики не упоминались) могли приобрести навыки домоводства, основные гигиенические навыки, научиться готовить пищу и делать все это со вкусом (Сидякова 1959, 28—29; Агафонова 1959)³⁰.

Возрождая требование начала XX века о признании домашнего труда профессией, Советский Союз не сильно отставал от Западной Европы в этих вопросах. В конце 1940-х годов женские организации Германии призывали создать научно-исследовательские институты домашнего хозяйства, домашней экономики и обучения женщин, требовали также внести ведение домашнего хозяйства в установленный реестр профессий, выдавать «дипломы домохозяек» и внести соответствующую статью в конституцию. Некоторые шли еще дальше и требовали введения оплаты домашнего труда. Эти два примера, однако, имеют существенное отличие: требования немецких женщин были сознательным политическим вызовом социально заниженному статусу женского труда, в то время как в Советском Союзе обучение домоводству вводилось патерналистским государством. В то же самое время, учитывая, что официальная марксистская идеология ценила производственный, а не репродуктивный труд, необходимо признать и положитель-

³⁰ См. также: Вульф (1961, 47) и Центральный муниципальный архив Москвы. Ф. 959. Оп. 1. Д. 541.15.

ные аспекты этого процесса³¹. Профессионализация домашнего труда поднимала престиж знаний и умений, которые недооценивались в основном из-за того, что не оплачивались женщинами, работавшим по дому. Однако это достижение можно считать лишь условным, с учетом того, что такая подготовка и квалификация, предназначаясь исключительно для женщин и девушек, еще раз подтверждала восприятие домоводства как, в сущности, сферы женской компетенции. Более того, поскольку областью применения этих навыков оставалась только домашняя сфера, вопрос об их экономической или социальной ценности даже не ставился. Оплата домашнего труда в повестку дня не входила.

Заключение

В хрущевский период экономическую ценность женского труда продолжали отрицать. Однако теперь ему стали приписывать эстетическую и образовательную ценность, необходимую для построения коммунизма. Ведение домашнего хозяйства, считавшееся все еще делом женщин, стало общественным и даже государственным делом, делом, требующим квалификации, подготовки и даже профессионализма.

Женщины — как проводники идей партии и правительства о претворении в семейную жизнь современных «рациональных» норм — должны были играть большую роль в создании новой жизни, воспитывая эстетические чувства нового советского человека и, таким образом, способствуя переходу к коммунистическому самоуправлению. Воспринимавшиеся прежде всего в качестве домохозяек и покупательниц, женщины должны были сыграть ведущую роль в придании семейному очагу эстетической ценности и социального значения.

Быт оставался женским делом, но он уже не был *частным* делом. Воспроизводя гендерные стереотипы, хрущевский режим в процессе своего идеологического воздействия на «традиционно женские» вопросы одновременно подрывал гендерную дихотомию общественного и частного, личного и политического, политизируя личное. Следствием общественного и политического интере-

³¹ Также нельзя утверждать, что и на Западе домашнему труду приписывалась экономическая ценность. Критику мифа о том, что дом — это место только потребления, а не производства, см.: Cowan 1989, 70—101.

са к традиционно женской сфере — дому — была попытка лишить женщину независимости, которую она имела в своем доме — лишить ее, как выразилась Дарра Гольдстейн, контроля над «кладовой». В итоге «власть женщины в доме значительно поколебалась, а во многих случаях вообще была полностью утрачена»³².

Насколько успешной была попытка вторгнуться в повседневную жизнь, отучить женщин от их «естественного» стяжательства, изменить эстетику обычной жизни и «модернизировать» их представления о комфорте, вкусе и хорошем домоводстве? В какой степени советы специалистов относительно таких «частных» дел, как воспитание детей и устройство дома, были воплощены людьми в жизнь? В какой мере женщины оказывали сопротивление или просто игнорировали предписываемые правила и нормы? Недостаток систематических данных о повседневной материальной жизни людей исключает какие-либо выводы по этому вопросу. В сохранившихся записях посетителей выставки образцов новой мебели «Искусство — в быт», состоявшейся в 1961 г., есть свидетельства о том, что люди по-разному реагировали на «современный стиль». Одни относились к нему враждебно, многим нравился «современный» вид образцов, но не нравилась цена или трудности с их приобретением³³.

В деле проникновения современного стиля в дома людей вопросы производства, ценовой политики и распределения играли такую же важную роль, как и устаревшие вкусы. Как отмечал в своем исследовании Виктор Бухли, в Советском Союзе модернистский идеал спартанского убранства, или «демонстративный аскетизм», были доступны тем, чье привилегированное положение позволяло оплачивать услуги, предоставляемые вне дома, и избавляло от необходимости приобретать вещи «про запас», чтобы избежать очередного дефицита (Buchli 1999, 129—130, 160). Поэтому нереализованность данных принципов и моделей нельзя автоматически трактовать как следствие неэффективности провозглашаемой политики. Даже если бы мы и были в состоянии воссоздать адекватную, правдоподобную картину того, как люди на самом деле расставляли мебель, осваивали стандартное пространство своей государственной квартиры или украшали современные технические при-

боры салфеточками. Одним из примеров сопротивления рациональным стандартам жизни и символом жизнеспособности устаревших идеалов уюта могут служить описания современниками советских домов 1960-х годов, в которых роль «непокоренной крепости играли тяжелые, богато украшенные портьеры» (Mace and Mace 1964, 161).

Еще немало предстоит сделать для того, чтобы понять — с помощью методов устной истории и исторической антропологии — до какой степени люди усваивали навязываемую государством модернизацию быта. Хотя вполне может быть, что, как заключает Светлана Бойм в своем анализе «буфета тети Любы», все еще заваленного украшениями советского периода: «Кампания против “домашнего хлама” провалилась в большинстве коммунальных квартир. Наоборот... так называемый домашний хлам восстал против идеологических чисток и оставался тайным островком личной жизни, который защищал людей от навязанной и усвоенной коллективности» (Boym 1994, 150). И это выявление отклика, который официальные предписания по поводу повседневной, частной, семейной жизни находили у советских людей, лучше всего могут осуществить сами русские.

³² Здесь Гольдстейн ссылается на общую кухню коммунальной квартиры сталинской поры, но не видит положительных сдвигов и в более позднее время. Goldstein 1996, 145—147.

³³ РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 4. Ед. хр. 1001, 1002; ЦАЛИМ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 123—130.

Нэнси Рис

«ПРОФИЛЬ» БУРЖУАЗНОСТИ:
НОВАЯ ЭЛИТА О СЕБЕ*

Вместе с государствами на свет появились, по меньшей мере, две новые игры, имеющие касательство к гендерному вопросу. Одну, игру во власть и авторитет, мы назвали бы «патриархией». В ней игрок-«отец» выступает по преимуществу политической фигурой, занимающей строго определенное место в иерархии и в качестве «главы» обязанной отвечать за семью перед государством. В то же самое время отец наделяется огромными властными полномочиями над другими членами семьи — женщинами и младшими мужчинами... В другую новую игру — в социальную мобильность — люди играют под влиянием неведомого им прежде желания подняться «наверх», благо теперь этот самый «верх» появился.

Шерри Ортнер (Ortner 1996, 15)

Сила мужчины равновелика силе нации, но в конечном счете она тождественна классовому положению мужчины.

Елена Гапова (Гапова 2002)

В конце 1990-х годов, живя в Москве и собирая материал о «новой России» вообще и о классовых отношениях в частности, я регулярно покупала еженедельник «Профиль» — журнал, целиком посвященный высшим эшелонам российской политико-деловой элиты, ее проблемам и интересам. 90% публикаций мне, «культурному аутсайдеру», казались скучными. Будучи далекой от политики и политиков, я не чувствовала вкуса скандалов, разворачивавшихся на журнальных страницах; экономическая статистика и дискуссии о колебаниях рынка

* Пер. с англ. Н. Кулаковой.

не привлекали меня, так как я не делала инвестиций в российский бизнес. Однако каждый номер «Профиля» содержал «изюминку», возбуждавшую мой этнографический интерес, — в рубрике «Вторая половина» помещалось обильно иллюстрированное четырех-шести-страничное интервью с супругой кого-либо из богатых и могущественных представителей высших эшелонов национальной элиты.

Поначалу в этих историях меня удивляла их немалая откровенность. В интервью речь шла о внутрисемейных отношениях элиты: о привычках супругов и о разногласиях по поводу разделения труда, о семейном времяпрепровождении и планировании крупных покупок и т.д. В советскую эпоху жизнь политической и культурной номенклатуры проходила в «занавешенном» социальном пространстве (иной раз занавешенном в буквальном смысле — например, плотными шторами на окнах магазинов «Березка»). Постсоветская элита тоже прячется от посторонних глаз — как в целях безопасности, так и для того, чтобы в какой-то степени скрыть свою обеспеченную жизнь. Но ее положение характеризует любопытный социальный парадокс, можно сказать, материализованный в загородных домах элиты: эти огромные и претенциозные виллы почти полностью скрыты от посторонних взглядов окружающими их высокими заборами.

Именно поэтому мне показалось странным то, что жены известных политиков, крупных банкиров, индустриальных и торговых магнатов, звезд кино, театра, музыки и спорта так широко открывают двери своей семейной жизни. Однако, прочитав в 1997—1998 годах изрядное количество историй «Второй половины», я увидела, что, благодаря тщательной совместной работе журналистов и героинь, все они весьма взвешенны в плане содержания и меры откровенности, одинаково структурированы и написаны в одном стиле¹. Анжелика Морозова, редактор отдела «Светская хроника» и один из соучредителей «Профиля», подтвердила мне это в нашей беседе:

Любой материал мы даем на согласование. Все, что женщина не хочет, она может убрать... Мы не хотим копаться в белье, такой цели мы не преследуем. В рубрике «Вторая половина», где женщина рассказы-

¹ Стиль и содержание «Профиля» начали несколько меняться к 2000 году, и в интервью «Второй половины», опубликованных после 1998 года, уже не уделялось столько внимания темам, отмеченным в данной статье. Возможно, это результат изменений в подходе к материалу и в составе редакторов журнала.

вает о любви, о семье, о проблемах, о конфликтах, мы хотим показать, что семья как таковая — главное в обществе. Да — карьера, да — страна, политика, да — зарабатывание денег, но все равно в конечном итоге важна семья, все равно все делается для нее, для детей. И каждый человек, абсолютно каждый, проходит через любовь, через детей, через жену, через мужа. Мне кажется, она очень теплая, добрая, эта рубрика, и знаете — как мыльная опера. Ее хочется читать².

Морозова отметила, что вначале было невероятно трудно подвигнуть могущественных мужей «сдать своих жен на растерзание журналистам», но постепенно сотрудники «Профиля» завоевали доверие, продемонстрировав способность «прикрыть» жен в этой еженедельной мыльной опере: акцент делался на ценности семьи вообще, подчеркивалась «теплота» в жизни богатых и сильных, а конфликты, в отличие от настоящих мыльных опер, показывались лишь в самых мягких формах. Вскоре, по словам Морозовой, жены стали ждать приглашения во «Вторую половину» и обижаться, если его не было. Говоря о людях «первой-второй величины» — героях предполагаемых интервью, Морозова заметила: «Эта тусовка — она же небольшая: они все друг друга знают, и если у кого-то взяли интервью, то почему у меня не взяли?»

Использование сленгового слова «тусовка», подразумевающего неформальное и эгалитарное общение, может показаться несколько странным по отношению к «властной элите... [к людям], чье положение позволяет им возвышаться над обыденной жизнью рядовых мужчин и женщин» (Mills 1954, 3—4). Но в определенном смысле выбор слова вполне точен, поскольку речь идет о замкнутой группе со своими подчеркнутыми особыми, вполне ею осознаваемыми, ценными и совместно поддерживаемыми дискурсами и практиками, образующими нечто вроде субкультуры. Любая «тусовка» может служить ареной, где происходит отграничение допустимого от того, что не принято, где определяются ценностные нормы и способы «самолегитимации», утверждаются авторитет и превосходство, обнажаются структурные конфликты и идеологические трения, как глубинные, так и ситуативные. Мыльные мини-оперы «Второй половины» — на поверхностный взгляд, просто легкий дивертисмент среди серьезных дискуссий о политике, промышленности, торговле и банках — высвечивают и осмысливают те же самые социальные процессы, хотя и в своеобразной ритуальной форме.

² Из магнитофонной записи интервью 3 октября 1997 года в Москве.

Точно так же, как и телевизионные мыльные оперы, чьими сюжетами движут две-три базовые темы (любовь, предательство, ревность и пр.), повествования «Второй половины» уместаются в довольно узкие тематические рамки. Ниже мы рассмотрим основные темы и вариации этой «педагогике привилегий», которую Джордж Маркус называет «внутригрупповым кодом» — «набором неких аксиом и представлений о мире и месте в нем данной группы, которые ее члены разделяют и которые выражают в ходе межличностного общения и самоутверждения» (Marcus 1983, 52). В историях «Профиля», безусловно, «закодированы» образ жизни и характер взаимоотношений в семьях элиты, причем функционирование присутствующего здесь кода способствует имеющему ныне место процессу социально-политического расслоения российского общества.

Кто в доме хозяин?

Похоже, самой важной из обсуждаемых «Второй половиной» проблем является проблема авторитета в семье: среди интервью я не встретила ни одного, где бы этот вопрос не был центральной темой разговора. Кто в доме хозяин? Чей авторитет выше? Кто принимает самые важные решения в семье? В той или иной форме интервьюеры всегда задавали этот вопрос женам влиятельных мужей. И хотя ответы различались (об этом чуть ниже), сама правомерность постановки такого вопроса ни у кого не вызвала сомнения. Другими словами, семья воспринималась как союз между мужем и женой, ключевым компонентом которого являлось понятие «авторитет». Семья — это территория властных отношений, где изначальный эгалитаризм — хотя бы для вида — даже не предполагался.

Некоторые жены отвечали на вопросы об авторитете в семье более или менее традиционно. Ирина Кузнецова, жена Александра Починка (в момент опубликования интервью — главы Государственной налоговой службы³), например, говорит, что все важные решения в семье — что купить, как распорядиться деньгами — принимает муж, а она их выполняет (1997, № 30, 52). Татьяна Кулаченко, пикантная, сексапильная жена (с двадцатилетним стажем)

³ Все сведения о персонажах «Второй половины» относятся ко времени, когда соответствующие интервью были опубликованы; в последующие годы или месяцы многое у них могло поменяться — работа, статус мужа, семейное положение и т.д.

Анатолия Кулаченко, директора по новым технологиям Академии по изучению вопросов национальной безопасности, на вопрос, кто теперь, когда она стала учредителем журнала («Доберман»), принимает решения в ее семье, отвечает: «Я с удовольствием подчиняюсь мужу, мне в радость моя зависимость, потому что это дает порядок, мир и покой в семье» (1997, № 26, 52). Но в отношениях с детьми она заметила перемену:

Когда я долгие годы не работала, они считали единственным непре-рекаемым авторитетом отца. Он был самым уважаемым в семье, а я была своей, домашней и привычной. Когда я стала выпускать журнал, то почувствовала не столько перемену отношения к себе, сколько «изменение градуса»: они стали относиться ко мне так же, как к папе (там же).

В том же духе высказывается и первая леди республики Коми Га-лина Медуха, директор строительной фирмы, называющая себя «эмансипированной женщиной»: «Я всегда считала, что хозяином в доме должен быть мужчина. Во-первых, для ребенка слово отца у нас — закон. Марину он никогда не наказывал — достаточно было одного его взгляда» (1997, № 44, 55).

Мария Минц, жена чиновника из Иванова, переехавшего в Москву на работу к Чубайсу, говорит, что сама она не сильная женщина и что, когда возникают серьезные проблемы, она предпочитает прятаться за мужа. Он очень ответственный человек; он дает ей советы даже при покупке одежды, убеждая приобретать меньше вещей, но хорошего качества, классику. «Такое доверие и такое взаимопонимание встречаются нечасто», — комментирует интервьюер, на что Минц, несколько противореча сама себе, отвечает:

А все потому, что в нашей семье нет главы. У нас привычка все решать вместе. Она возникла восемнадцать лет назад, с самого начала. Поэтому мне и нравятся студенческие браки... Мы начинали с чистого листа. Равное положение, равный бюджет. Может быть, поэтому, несмотря на то что в нашей жизни было много перемен, кардинально у нас ничего не изменилось (1997, № 43, 56).

Свои ответы о семейном авторитете некоторые жены прикрывали иронией, одновременно и ниспровергавшей, и поддерживавшей авторитет своих мужей. Так, по словам жены Юрия Лодкина (губернатора Брянской области) Евгении Алексеевны, ее муж «хочет, чтобы было, как он сказал. Но я всегда делаю, как сама считаю нужным» (1998, № 26, 57). А вот что сказала Татьяна Чилингарова, жена вице-спикера Думы (депутата от Чукотки) Артура Чилингарова:



«Ирина Кузнецова знает, чем купить налогового служащего»
Профиль 1997, № 30, 49

«Несмотря на то что Артур бывает дома крайне редко, он однозначно глава семьи, и я всегда чувствую его руку. Ни одно серьезное решение я не принимаю без него. Я знаю, что его слово будет для меня нужным и весомым. Я могу возражать, могу с ним спорить, но так как я полностью доверяю своему мужу, то решения принимает только он». При этом она тут же добавляет самое важное: «Хотя переварив ту наживку, которую я закинула» (1997, № 31, 54).

Такие речи очень ясно выдают определенную женскую стратегию: надо всегда создавать у мужа впечатление, что глава семьи — это, безусловно, он, и всячески это впечатление поддерживать⁴.

⁴ Для сравнения: социолог Вероника Джарис Тиченор обнаружила, что в США в семьях, где женщины зарабатывают больше своих мужей, они постоянно принижают собственный статус в семье и поддерживают убежденность мужей в том, что именно они являются главами семей (Tichenor 1999).

Любопытно, что в описаниях семьи нередко используются политические термины, как будто семья — это нечто из области политики. Жена Араса Агаларова, владельца торговой империи «Крокс», Ирина вместе с подругой открыла в Москве сеть салонов. На вопрос, помогал ли ей муж начать свое дело, Ирина отвечает, что он давал советы и помогал на начальном этапе. «А не пытался ли он как-то ограничить вашу *самостоятельность*?» — спросил интервьюер. «Нет, — сказала Ирина, — в этом смысле он очень *демократичный* человек. Я сама решаю, чем мне заниматься и как тратить деньги» (1998, № 40, 53; курсив мой. — Н. Р.)⁵.

На первый заданный ей вопрос — кто глава вашей семьи? — Любовь Ремизова, супруга заместителя председателя правления РАО «Газпром» Валерия Ремизова, отвечает в том же стиле:

Я всегда мужу говорю: *командовать* ты будешь на работе, а дома *командую* я. Он слушает, но делает по-своему. Никакого *диктанта* у нас нет, мы всегда находим *компромисс*. Так что, можно сказать, у нас *двоевластие* (1997, № 36, с. 49; курсив мой. — Н. Р.).

Почему семейные отношения описываются языком политики? Семья как «демократия», в отличие от семьи-«диктатуры», или же семья как система «двоевластия» — это отнюдь не универсальные способы концептуализации брака. Не является ли данная инверсия символов одной из самых ярких «идеологических примет» постсоциализма? Антрополог Катрин Вердери, говоря о сходном политическом развитии Советского Союза и стран Восточного блока, замечает, что

социалистический патернализм строил свои «нации» на основе представления об обществе как о семье, возглавляемой «мудрой Партией», которая, наподобие отца, принимала все связанные с распределением решения: кто что должен производить и какое вознаграждение получать, — и выходило некое «государство-родитель» (Verdery 1996, 9).

По статьям «Профиля» видно, как при помощи дискурса элиты этот патернализм активно «закачивается» в семейную сферу, хотя для характеристики своей жизни часть семей прибегает и к альтернативному концептуальному фетишу — «демократии».

⁵ Значительная часть этих рассуждений о власти касается вопросов покупок, проведения отпуска, выбора одежды. В популярной культуре позднего социализма, особенно в юморе, такие вещи были в основном сферой компетенции жен.



Ирина Агаларова: «Измениться не может никто, а стать лучше может каждый»
Профиль 1998, №40, 55

Многие исследователи постсоциалистических гендерных процессов утверждают, что переход отеческой власти от государства к отцу есть ключевой элемент неолиберальных преобразований. В духе Фуко, я уточнила бы, что эти преобразования не являются функцией «спускания» властных полномочий сверху или их уступки центром; скорее сами люди осваивают и распространяют «в местном масштабе» «новые» формы управления, которые затем могут стать моделью для более широких сетей контроля в обществе.

Семья — как понятие, так и реальность — становится местом (или, по выражению Пьера Бурдьё, социальным полем), где (пере)осмысливаются, (ре)формируются и действуют многосложные механизмы власти. Семья элиты постсоциалистического общества может рассматриваться как стартовая площадка, на которой проходит испытание и экспонируется меняющийся под влиянием со-

циальных условий привычный облик власти. Советские формы патернализма себя исчерпали: новый «босс» — или же муж — может быть и авторитарным, и демократичным, но ни одна из этих характеристик не подразумевает прежнего педантичного и патерналистского стиля руководства эпохи позднего социализма. «Узаконивая» и даже фетишизируя семейный авторитет мужей в выбранных для «Второй половины» историях, героини как бы подтверждают и правомерность их общественного авторитета.

Безусловно, «повернутый лицом к публике» образ мужчины — представителя российской элиты влияет на *внутрисемейные* идентификации; но он также откладывает свой отпечаток и на классовую стратификацию всего постсоциалистического общества. Социолог Елена Мещеркина, изучая в ряде фокусных групп изменение социального восприятия маскулинности, пришла к выводу, что и в условиях явного ухудшения собственных экономических перспектив российские мужчины — представители среднего класса стараются сохранить свою идентичность. Они гораздо «чувствительнее» — в отличие от мужчин-рабочих — к «буржуазной» маскулинности элит и к рыночной пропаганде «неограниченных возможностей». Как «добытчики», в настоящий момент они чувствуют себя гораздо менее уверенными, чем при социализме, когда, несмотря на то что нужно было работать и мужчинам и женщинам, мужчины ощущали себя, в соответствии с общепринятым представлением, эффективными «кормильцами».

Сопоставление рассказов мужчин среднего класса об их неудачах и унижениях с прославляющими маскулинность речами «Второй половины» позволяет понять, что для всех поставлено на карту. По словам Мещеркиной, «свое предназначение мужчины формулируют как чувство ответственности за близких/семью, что одновременно порождает иерархическую систему, в которой ответственность сопряжена с правом» (Мещеркина 2002, 281).

И хотя некоторые жены (Агаларова, Ремизова и др.) называют своих мужей «демократами», способными поделиться властью, из того, как они говорят об этом, ясно, что принятие решения о характере политического «режима» в семье — а значит, и о его формировании — принадлежит мужчине. В большинстве случаев он делится *своей* властью. Общественный авторитет, политический капитал или экономический статус мужчин элиты столь высоки, что при желании выгладеть «демократичными» они могут себе позволить отказаться от власти в пользу своей «второй половины». «Демократия» как идеологический или политический ресурс в се-

ме, как и в политике и бизнесе, принадлежит элите, которая может поделиться им или придержать у себя, в зависимости от желания.

Образцовая жена, уютный дом

С одной стороны, очевидно, что гендерные идеологии формируют модель «правильной» семейной жизни, но также можно увидеть, что они играют роль и микрокосма, и фундамента социальной системы в целом. Возможно, именно потому, что в классово расслоенном обществе «бенефициариями» социальной системы оказываются прежде всего сами элиты, в своем публичном дискурсе жены из этого слоя поддерживают наличествующую гендерную идеологию особенно горячо и единодушно, даже если они и не следуют этой идеологии на деле. В речах героинь «Второй половины» почти безраздельно властвует один и тот же архетип: семейная жизнь есть царство женщины. Неудивительно, что в это понятие входит создание уютного «гнездышка», куда мужчины возвращаются, чтобы быть накормленными и получить похвалу за свои подвиги в жестком мире политики и бизнеса. Все без исключения жены, даже работающие на высокооплачиваемых должностях, говорят о необходимости такого «гнездышка» для своих мужей. Независимо от того, кем работают сами героини «Профиля» — а они могут быть врачами, научными работниками, хозяйками бизнеса, руководителями высшего звена, — все они радостно ставят на первое место свои труды на семейном поприще. Из сорока двух прочитанных интервью исключением в этом отношении стали лишь несколько. Таким образом, пресловутая «двойная нагрузка», от которой страдали женщины при социализме (и которая тяготит большинство работающих женщин везде), не исчезла, хотя изменившиеся детали быта и современная домашняя техника смягчили ощущение гнета.

В комментариях жен семья элиты предстает некоей священной обителью, привилегированным местом, надежно защищенной гаванью, возведенной общественными трудами мужчины, но обретшей уют жилья исключительно благодаря женскому старанию. В своей дискурсивно-идеологической практике женщины элиты делают то, что антрополог Шерри Ортнер называет «отказом от деяния» (Ortner 1996, 9). И хотя в реальности они могут не отказываться ни от какой деятельности — не оставляют свои карьеры и не становятся рабынями мужей, — тем не менее для многих из них

характерно стремление символически преуменьшить значение собственной работы вне дома и соответственно повысить важность своих домашних трудов. В какой-то степени, возможно, это обусловлено страхом остаться одной, страхом, который во многом подпитывается атмосферой нестабильности в обществе, превалирующими социальными силами и соответствующим дискурсом. Вряд ли случайно воцарение неолиберальных экономических систем совпало с активным обсуждением в СМИ и в частых беседах историй о том, как могущественные мужчины меняют на молодых своих «старых» жен, чуть только те перестают им угождать.

Женщины — товар, в широком рыночном смысле, и на уровне микрокосма отец-буржуа становится главным производителем и главным арбитром в этой системе. Для опровержения — и для подтверждения — подобных идей депутат Сергей Бабурин приводит в пример себя, специфическим образом восхваляя собственную супружескую верность (и походя — свою мужскую силу!):

Когда я просматриваю биографические справки и замечаю, и вижу, что у некоторых моих коллег-политиков по трое детей, то про себя думаю: надо уточнять, что от нескольких жен. Вот у меня трое детей от одной женщины (1997, № 36, 49).

Нормативные композиции

Интервью Веры Сидоровой, супруги министра культуры Российской Федерации, хорошо показывает, *что* лежит в основе чувства семейной защищенности. Предваряющий прямую речь параграф содержит следующее гендерное открытие: «Вера Сидорова... заставила нас усомниться в правоте классика, утверждавшего, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Счастье — рукотворно и в первую очередь зависит от женщины...» (1997, № 28, 45). Но женщина делает свое дело, окутанная надежной мужской защитой. Восторженно говоря об этом, Сидорова касается и привилегированного положения своей семьи. Однако привилегии — это не главное:

Я совершенно защищена. И не деньгами, не тем, что он меня устроит в какую-то элитарную больницу, если я заболею. Просто у меня есть друг. Когда я ссорюсь с подругами, он мне всегда говорит: «Дружи только со мной, и ты не ошибешься». Мне всегда спокойно. Он не предаст. Это серьезный, цельный и нравственный человек... Поэто-

му я стараюсь все-все-все сделать, чтобы ему было хорошо (1997, № 28, 45).

Она встает рано, чтобы приготовить завтрак и проводить мужа на работу; содержит в порядке всю его одежду, выстиранную-выглаженную: вдруг ему понадобится поехать в срочную командировку — одним словом, делает все, что только может, чтобы ему *ничего* не приходилось делать по дому. «И, — заключает она, — он всегда доволен».

Татьяна Кулаченко уверена, что именно таковы нормы пололевого поведения и что они предопределены природой:

Я была воспитана с четким убеждением, что всю работу по дому должна делать женщина, поэтому муж с самого начала совместной жизни был освобожден от хозяйственных проблем. Кстати, я искренне не могу понять, зачем мужчине мыть посуду или ходить за покупками. В моем представлении это все равно что мужчина начнет вышивать крестиком. Женское дело есть женское дело. А домашняя работа мне никогда не казалась хлопотной (1997, № 26, 51).

На вопрос, что делать, если муж приходит домой в плохом настроении, она тут же приводит свой рецепт, невзначай упоминая социальное положение мужа:

Сразу же накрываю на стол, кладу ему на тарелку большой кусок мяса и ни о чем его не спрашиваю. Я всегда знала, что семейная жизнь мало отличается от обычной. Но сохранить и удержать ее может только женщина. Поэтому я никогда не позволяла себе ходить дома в халате и в старых вещах. Мужа весь день окружают хорошо одетые люди, так почему дома он не должен видеть такую же ухоженность? (1997, № 26, 52).

Жена главы Восточно-европейского страхового агентства Александра Карпова, Ярослава, тоже говорит, что ради мужа должна прилагать определенные усилия, но она делает это с поправкой на свое положение работника умственного труда:

Быть женой генерального директора крупной компании — дело нелегкое. Надо не только оставаться привлекательной внешне, но и постоянно работать над своим внутренним миром. При этом не забывая о сохранении уюта в доме (1998, № 10, 51).

Карпова — кандидат математических наук, раньше она преподавала в Новосибирске, а в момент беседы с «Профилем» готовилась получить ученую степень по психологии. Тем не менее муж, говорит Ярослава, хочет, чтобы она — по крайней мере, пока — пора-

ботала «домашним психологом», а не занималась карьерой. В этом комментарии видны и иерархизированность внутреннего устройства буржуазной семьи, и привилегированное положение тех, кто может себе позволить держать дома высококвалифицированных профессионалов.

Наталья Задорнова, жена депутата Думы от Камчатки, говорит:

Я с большим уважением отношусь к женщинам, которым удастся сделать карьеру. Но у меня такого стремления нет. Думаю, когда оба супруга делают карьеру, они могут потерять семью. Если муж занимает ответственный пост, у него должен быть надежный и прочный тыл. Его-то я и обеспечиваю (1997, № 37, 51).

Несмотря на то что Задорнова «обеспечивает тыл», будучи (при этом) журналисткой одного из ежемесячных изданий, ее работа в интервью затронута лишь вскользь.

Некоторые героини говорят о строгом соблюдении приоритетов: работа — это хорошо, но для женщины на первом месте — семья. Ирина Кузнецова работает в коммерческой фирме и больше ничем, в смысле внесемейной активности, не занимается, потому что «так много дел по дому». По ее словам, муж трудится в таком бешеном темпе, что она «вращается вокруг него, как спутник, на той же скорости» (1997, № 30, 52). Метафора весьма красноречива: у мужской планеты сила социального притяжения больше, чем у женской.

Пожертвовать своей карьерой для женщины, что может себе позволить, конечно, лишь представительница высших слоев, — похвально. Лада Фетисова — жена легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова — показательный пример. В России она была известной моделью и актрисой, но когда муж заключил контракт в США, она стала домашней хозяйкой. Пыталась было работать в модельном бизнесе, но как только появилась «производственная необходимость» отлучек из дома, она ушла. По словам Лады, ее муж не может даже воду вскипятить — не приучен. О нем, как и о других знаменитых спортсменах, всю жизнь заботились, и он совершенно не приспособлен к решению бытовых проблем. Сейчас он может поджарить шашлык, но маринад готовит она. На вопрос, не жалеет ли она обо всем, что оставила, Лада отвечает:

Если говорить серьезно, в жизни есть вещи, гораздо более важные, чем карьера. Например, здоровье близких людей, покой семьи... Женщины могут прожить без собственной карьеры и быть счастливы. Пото-

му что у нее есть муж, который любит и каждый день говорит об этом, и ребенок, который утром просыпается, целует в щечку и лепечет: «Мамулечка, что мы будет делать сегодня?» (1998, № 31, 56).

О равнодушии мужчин к домашним делам некоторые женщины говорят спокойно и даже весело, как о чем-то само собой разумеющемся. Галина Медуха:

Он живет работой. Все, что касается дома, на мне. Я в начале нашей совместной жизни еще как-то пыталась его приобщить к домашним делам, но из этого ничего не вышло. Поэтому, когда мама стала ко мне приставать: «Почему он не выбивает ковры?!», я ей сказала: «Давай выбирать — или я останусь с мужем, или с чистыми коврами» (1997, № 44, 55).

Со временем этот выбор оправдал себя: сейчас ее муж — глава Республики Коми, а у нее — своя строительная фирма.

Во многих историях «*Второй половины*» главной темой становится полная слитность матерей с детьми при практически полном — а иногда и абсурдно долгом — отсутствии в доме отцов. При этом жены не жалуются, потому что материнская самоотверженность в семье есть зеркальное отражение отцовской самоотверженности в общественной жизни. В этом смысле буржуазная семья, безусловно, является опорой буржуазного/неолиберального государства. Людмила Уринсон, жена Якова Уринсона, вице-преьера и министра экономики, говорит: «Детьми у нас в семье занимаюсь я. В какой школе учиться наша старшая дочь, муж узнал только на выпускном балу. И если что-то не так, все претензии ко мне» (1997, № 27, 43). Ей вторит Татьяна Чилингарова. «Какой отец Чилингаров?» — спрашивает интервьюер. «Нежный, добрый, но мало видящий своих детей», — отвечает Чилингарова.

Можно сказать, они воспитываются его светлым образом. Как-то за воскресным завтраком, на который мы стараемся собираться все вместе, я сказала Артуру, что дочка закончила девятый класс на пятерки. «А что, разве раньше она училась хуже?» — спросил муж. Но осуждать его за невнимательность я не могу. Он работает и делает это для нас. Мы им гордимся (1997, № 31, 53—54).

И все же завершает ее историю грустная нота, звенящая мистикой женской доли: «Я давно поняла, что женщина всегда одинока в семье. Дети, которые поначалу требуют очень много сил и времени, вырастают. Мужья занимаются своими делами. И женская невысказанность остается» (там же, 55).

Муж Валентины Бородиной, оставив пост мэра Якутска, стал управделами при Ельцине и распоряжается кремлевским хозяйством, правительственными дачами и машинами. С таким мужем у Валентины, наверное, целая армия слуг? — интересуется интервьюер:

Нет, что вы... Это только кажется, что, если у мужа такая должность, я живу, как королева... У меня нормальная жизнь. Я все делаю сама: готовлю, убираю, стираю, кормлю собак и людей. Каждый раз, опуская белье в стиральную машину, благодарю человека, который придумал это чудо. Я даже не могу себе представить, как можно просто сидеть и смотреть телевизор. Раньше, в молодости, Павел любил готовить... Буквально до последнего времени я стирала, а он гладил» (1997, № 32, 53).

На вопрос, не благодаря ли влиянию мужа многие двери открываются перед ней, Бородина отвечает, выходя далеко за рамки такого приземленного объяснения:

Кто в этой жизни мне поможет, как не муж и не Бог?.. Все, что я рассказываю о себе, на самом деле рассказ о моем муже. Он сделал меня решительной и сильной. Я ведь была совсем другой, говорила тихим голосом (там же, 49).

В такие моменты читатель чувствует, что ему вот-вот представят формулу любви (которую журналистам «Профиля» очень хотелось бы вывести). Главное в этой формуле — ее насыщенность силой традиции и даже религии: Бог соединяет мужчину и женщину, мужчина создает женщину (лепит ее характер), а она, в свою очередь, до самой смерти служит ему опорой и защитой:

Были ли моменты, когда вам приходилось защищать своего мужа? — «Я всю жизнь его защищала, вся моя жизнь — это его защита. У меня внутри такая потребность его защитить, словно я его сама родила. Я готова за него нести страдания, терпеть муки. Даже думаю, что могла бы, наверное, убить за него (там же, 54—55).

Неопасное отклонение

Некоторые интервью «Второй половины» ломают рамки стандартных нарративных моделей, однако сила доминирующих образцов все равно чувствуется и в текстах, и в «подаче» материала редакторами «Профиля».

Юлия Старкова — жена главного редактора «Аргументов и фактов». Детали рассказа вкупе с фотоснимками помогают предста-

вить ее как женщину с широким интеллектуальным кругозором. Юлия говорит, например, о своей любви к искусству, которую она питает всю жизнь и которую с ней разделяет муж. В самом начале статьи, в ответ на похвалу журналиста поданному чаю, она говорит:

Домашнее хозяйство никогда меня не занимало. И я никогда не была хранительницей домашнего очага. Конечно, это не означает, что квартира не убрана, в холодильнике нет продуктов, на столе — обеды. Но я всегда стремилась побыстрее расправиться с домашними делами и заняться работой, а после успеть на спектакль или концерт. Так что образцовой женой в традиционном смысле слова меня назвать нельзя (1997, № 23, 47).

Чуть позже она объясняет, что не является и «традиционной матерью»: свою дочь она родила довольно поздно (ей было «за 30») и вскоре после родов вышла на работу, в Гидрометцентр, на свою прежнюю должность научного сотрудника. Не провозглашая себя феминисткой, Старкова тем не менее отвергает (для себя) стандартные модели женского поведения (как советские, так и постсоветские). В отличие от большинства остальных жен, она описывает принципы своей семейной жизни с юмором, хотя и опирается на одну традиционную идею:

Помните, как на Руси в деревнях говорили? Жалеешь его? Значит, любишь. Я принимаю его таким, какой он есть, — с его всеядным характером, страстью переставлять мебель в квартире, с его бесчисленными друзьями, лазанием по горам, с категоричными суждениями. Я просто им очень горжусь (там же, 50).

Галина Лебедева, жена Владимира Жириновского, также производит впечатление женщины с характером сильным, под стать темпераменту своего скандального мужа. От ее ответа на вопрос: «Каков долг супруги Жириновского?» — веет даже чем-то милитаристским:

Прежде всего не мешать, а всячески способствовать его карьере. Нужно смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Так должна поступать каждая женщина, если она хочет, чтобы ее муж чего-то добился (1997, № 35, 55).

В одном из предваряющих интервью абзацев принятая норма прокламируется без обиняков, но с традиционной оговоркой об исключениях из правил, каковым является, например, семья Татьяны Шанцевой:

У больших чиновников — домашние женщины. Так принято, так удобнее. Если муж делает карьеру, жена берет на себя детей, мужнины настроения и ощущения. Дом должен быть зоной особого благоприятия, дома должно быть хорошо, и ради этого женщины готовы отказаться от всего. Татьяна Шанцева ради карьеры мужа, вице-мэра Москвы Валерия Шанцева, на такие жертвы не пошла. Она состоялась как профессионал — работает зампредом в Московском региональном отделении Федеральной комиссии по ценным бумагам (1997, № 40, 49).

Однако, как видно из нижеследующего, дальше этого исключения не идут: «При этом, по утверждению вице-мэра, она великолепная хозяйка. Но самое главное — она первая подруга своих дочерей и сына, а для Валерия Павлиновича — любимая женщина» (там же). Несмотря на жесткие требования своей *новой* карьеры — раньше она работала инженером в авиакосмической области, — Шанцева сама готовит и ведет хозяйство, потому что у вице-мэра, разумеется, нет времени беспокоиться о домашних делах.

Намеки на иную модель семейных отношений появляются и в интервью жены губернатора Брянской области Елены Лодкиной. Эту модель интервьюер даже называет «идеальной», отмечая, что супруги влюблены друг в друга, как Ромео и Джульетта. Лодкина работает инженером на военной фабрике и получает (нередко с опозданием) 250 рублей в месяц. Она не занимается политикой, но часто сопровождает мужа в его деловых поездках. Он говорит: «Если она поддерживает меня в трудную минуту, худеет из-за меня на семь килограммов, то почему не должна делить со мной радости жизни?» На вопрос, помогает ли она мужу в работе, Елена отвечает: «Я в его дела не встречаю. Обеспечиваю моральную поддержку. И еще я считаю, что на любой должности надо оставаться порядочным человеком» (1998, № 26, 57).

В завершение — романтический штрих. «Помогает ли вам муж по дому?» — спрашивает интервьюер. И Лодкина отвечает:

Сейчас, конечно, нет. А раньше все делал. Вот эту дачу построил сам... Он и обед приготовить мог. Знает сто картофельных блюд. Даже ячница у него особая. Раньше в субботу и воскресенье говорил нам с дочкой: «Вы отдыхайте, а я завтрак приготовлю». Кофе мне в постель приносил (там же).

Насколько уверенными в собственном мужском обаянии и в своей власти должны быть некоторые мужчины (губернаторы, способные, однако, своими руками построить себе дачи), чтобы позво-

лить себе по выходным приносить жене кофе в постель? На фоне интервью, в которых мужа привозят в награду женам дорогую одежду и обувь или же отделяются букетами цветов, этот рассказ звучит как-то особенно трогательно: здесь мы видим редкий случай, когда взаимные романтические чувства не ищут выражения в вещевых эквивалентах. В примерах, которые следуют ниже, этот контраст особенно очевиден.

Музы и принцы

Лидия Кедровская — жена вице-президента банка «*Российский кредит*». В шапке, предворяющей интервью с ней, речь идет о расхожем представлении, которого мы уже касались: богатые мужа часто меняют жен. Однако этот ход нужен лишь затем, чтобы опровергнуть сложившееся мнение:

Кедровская считает, что музы бывают не только у поэтов и художников. Ради любимой женщины мужчины с не меньшим энтузиазмом штурмуют бизнес. Сама Лидия Кедровская из тех, кто умеет вдохновлять. Может, именно поэтому ее брак с Эдуардом Сахаровым успешно продолжается вот уже около тридцати лет. История их жизни опровергает сложившийся стереотип, что удачливые мужчины меняют жен с частотой, равной новым достижениям в бизнесе (1997, № 41, 51).

Кедровская делится секретом своего долгого и счастливого брака:

Есть такие мужчины, которые ради женщин делают карьеру, строят дома, открывают банки... Женщина должна быть каждый раз новой в своих желаниях. Мой муж, скорее всего, до сих пор любит меня, раз старается их удовлетворить. Когда мы поженились, он сказал: «У тебя будет собственный дом, ты не будешь ни в чем нуждаться». И я была уверена, что так и будет (там же).

Сказка о власти и богатстве пересекается здесь с романтическими фантазиями о семейной идиллии: женщине (в данном случае — жене бывшего «убежденного коммуниста») стоит только захотеть, и ее муж с помощью своих почти сверхъестественных возможностей, словно в «*Сказке о золотой рыбке*», тотчас добудет для нее желаемое.

Пушкинская притча как нельзя более точно подходит для описания жадности потребления, обуявшей россиян в первую постсоциалистическую декаду. Впрочем, в жизни, в отличие от сказки, нет

морализирующего конца, как нет и предела материальным потребностям. Для многих женщин из богатых слоев миссия «менеджеров потребления» в конце концов пересиливает их увлеченность карьерой. Так, ученый-химик Кедровская оставила работу, для того чтобы надзирать за строительством, а затем и обслуживанием своего нового трехэтажного дома. Всякое чувство общинной этики исчезло под натиском обязательств ее нового социального положения:

Такой большой дом одной тяжело вести. Мы нанимаем женщин, которых, к сожалению, приходится часто менять. Профессиональных горничных у нас еще мало. Женщины, которые приходят даже через бюро, считают, что они мои подруги. Начинают говорить, что у меня что-то не в порядке. Какое им дело! Им нужно полы мыть... Или няня, которую мы взяли для внучки, садится передо мной с ногами на диван и даже не понимает, почему этого делать нельзя (там же, 53).

В ответ на вопрос о том, как ведет себя дома муж, Кедровская очерчивает уже знакомый абрис «правильного» поведения жены:

Все держится на нем. Иначе он не может. Поначалу я пыталась возражать: «Я могу без тебя обойтись. У меня собственные деньги. Я зарабатываю почти столько же, сколько ты». Но поняла, что ему это не нравится. Равняться с ним бесполезно. Ему нужна маленькая, беззащитная, мягкая, красивая женщина. Я сама не люблю борьбу. Когда начинаешь кричать, мужчины замыкаются. А если сказать ласково, все сделают. Чтобы в семье был мир, женщина должна быть очень гибкой. Хорошо, когда мужчина после работы бежит домой. А для этого его нужно кормить, не ворчать на него и разговаривать с ним побольше (там же, 52).

Этот набор гендерных норм не должен размываться, потому что от правильного разделения труда зависит будущее:

Внучке сейчас три года. Я хочу воспитать из нее настоящую женщину. Она уже сейчас моет посуду, пытается готовить, накрывать на стол. Я считаю, что женщина должна все это уметь. Сколько бы у нее ни было денег (там же, 54).

Показательно, что внучку не готовят к занятиям наукой — характерного для социалистической эры поощрения женщин к интеллектуальному труду больше нет. Очевидно и другое — явная уверенность в том, что данная семья всегда будет при деньгах, — Кедровская, похоже, ничуть не сомневается в наследственном характере экономического статуса.



Лидия Кедровская.
«Когда мы поженились, муж сказал:
“У тебя будет собственный дом”»
Профиль, 1997, №41, 54

Приведу еще один пример, вернее отрывок интервью, в котором тоже чувствуется аромат волшебства, пронизывающий дискурс о семейной жизни элиты в «Профиле». Ирине Агаларовой (уже упоминавшейся супруге главы торговой империи) повезло, кажется, не меньше, чем жене рыбака из сказки. Один из вопросов «Профиля» звучал в форме утверждения некоей нормы:

— Говорят, успешные предприниматели — далеко не сентиментальные люди и в семейной жизни ведут себя достаточно жестко. Ваш муж такой?

— Со стороны действительно может показаться, что Арас не умеет выражать свои чувства. Но он очень внимателен к моим желаниям. Например, когда сын еще был маленьким и я как-то сказала: «Хорошо бы иметь дачу у моря», Арас ее построил (1998, № 40, 53—54).

Из коммуналки в коттедж

Разумеется, не все жены рассказывают такие поразительные истории о мгновенном, как по мановению волшебной палочки, превращении в состоятельных людей. В большинстве случаев женщины подчеркивают и даже романтизируют первую часть своей жизни, укладывающуюся в поговорку о том, как «не было ни гроша, да вдруг алтын». Эта нарративная стратегия, с одной стороны, затушевывает классовое расслоение общества, а с другой — легитимизирует стремление подняться «наверх». Первое достигается рассказчицами путем акцентирования своего простого происхождения, которое характеризует практически всю советскую интеллигенцию (в широком значении этого слова), — часто это делается в рассказах о жилищных условиях. Второго они добиваются, представляя успех и привилегии элиты как «естественный» результат упорного труда, стойкости и самоотверженности.

В некоторых историях повествуется о трудной жизни в отдаленных регионах. Мужа Галины Медухи по окончании свердловского института «распределили» на работу на Колыму, и жена последовала за ним. Как женатому человеку, ему там дали отдельную комнату в общежитии. Приехав, Медуха обнаружила, что ничего, кроме узкой железной кровати и стола, в этой комнате не было. Питались они тогда главным образом картошкой. После Колымы они переехали в Коми, в нефтедобывающий регион Ухты, где прожили в общем и целом семнадцать трудных лет: работая на разных должностях, в суровых климатических условиях муж поднимался по ступенькам своей карьеры, перенося все испытания с истинно мужской стойкостью (1997, № 44, 53—54). Описывая путь семьи от жизни в бараке к сегодняшнему благополучию, Галина вспоминает:

Ему и в нашей первой комнате, в бараке, было нормально. Первую отдельную однокомнатную квартиру я получила, когда работала мастером в строительном управлении. Столько радости было! Дочка бе-



Любовь Ремизова.
«Во время путешествия по Франции Любовь Ремизову
приняли в клуб дегустаторов»
Профиль, 1998, №16, 55

гала по квартире, кричала: «Мама, сколько здесь комнат — целых три!» Она за комнаты считала и кухню, и туалет. Я же всегда мечтала о своем доме. И я его построила! ...Я считаю, что за 36 лет своей строительной деятельности я этот дом заработала (1997, № 44, 55).

Любовь Ремизова познакомилась со своим будущим мужем в Тюмени, где они оба учились в Индустриальном институте. После распределения они жили в маленькой комнате в общежитии, в деревянном здании с отоплением, но без горячей воды. Информации получали мало, газеты приходили с опозданием на месяц. Но люди жили дружно, праздники вместе отмечали: «Комнаты были маленькие, и жизнь проходила в коридорах» (1998, № 16, 53). Приехав туда с дочерью через много лет, она поняла, какое это было,

по ее словам, «убожество». На вопрос интервьюера: «Комната в общежитии затерянного в снегах поселка вас не напугала?» — Ремизова ответила: «Нет. Тогда другие ценности были — нам нравилось преодолевать трудности. Я вообще была боевая». Она всегда работала и занималась хозяйством сама, безо всяких помощников. Но сейчас они живут в Москве, и она больше не работает: «Некогда. Сначала эту квартиру обустроивала. Потом — загородный дом» (1998, № 16, 54—55). И в рассказе Медухи, и в рассказе Ремизовой переход от жизни в общежитии к жизни в собственном загородном доме получается плавным и естественным. Однако для огромного большинства советской научно-технической интеллигенции, не испытывавшей такого «прогресса», и его «плавность», и его «естественность» едва ли являются самоочевидными.

Подчеркивая, что в их молодые годы главенствовали другие ценности и благодаря им даже трудности казались романтикой, Валентина Бородина говорит:

В Якутии мы прожили двадцать лет. Из них почти пять — в самой холодной точке нашей страны... Жили в бараке без всяких удобств. Иногда я вспоминаю, как плакала, когда мне, молодой худенькой женщине, в обеденный перерыв надо было таскать ведрами ледяную воду, чтобы заполнить огромную бочку... А на улице пятидесятиградусный мороз. Но, несмотря на все, это было самое лучшее время. Потому что мы были молоды и жили другими ценностями. Вечерами собирались на общей кухне — общались, играли в детский настольный футбол (1997, № 32, 52).

Рассказ Татьяны Чилингаровой о десятилетиях жизни за полярным кругом с мужем-исследователем говорит о том же: физические трудности можно было перенести благодаря общинному духу, царившему тогда среди людей, благодаря тому, что «соседи жили, как родственники» (1997, № 31, 52). Татьяна Бабурина тоже рассказывает, как они с Сергеем студентами работали в стройотряде:

И мы «весело» зажили под Ленинградом в заброшенном двухэтажном домике без водопровода, с печным отоплением, газовой колонкой и одной плитой на тридцать человек... Сережа помогал мне, вечерами стирал пеленки, и отряд считал его примерным отцом (1997, № 36, 50—51).

Наталья Задорнова подчеркивает отсутствие собственных политических амбиций, отзываясь с похвалой о положительных качествах своего мужа:

Я выходила замуж за студента, который еще только мечтал стать ученым, и менее всего в то время думала, перспективный он или нет. Мы вместе прошли через все трудности, которые подстерегают молодые семьи: работу, учебу, болезни ребенка, более чем скромный материальный достаток. Я, надо сказать, всегда чувствовала себя за Михаилом, как за каменной стеной. Он не гнушался никакой работой, если того требовали интересы семьи (про учебу я уж и не говорю), успевал много читать, занимался английским. Он вообще очень организованный человек. Мне этого, кажется, как раз не хватает (1997, № 37, 49).

Вера Сидорова особо отмечает «простое» происхождение своего мужа Евгения, рассказывает, как он голодал на Урале, заболел туберкулезом, работал комбайнером и на обувной фабрике. Когда его выбрали депутатом от Тулы, она посоветовала ему рассказывать избирателям о своей жизни, чтобы они увидели, что он «нормальный человек, деливший все трудности со страной» (1997, № 28, 46). Чуть ниже она говорит, что «никакой особой протекции не было», когда ее муж стал министром культуры (1997, № 28, 47). По ее словам, их отношения с друзьями никак не изменились, но для нее самой многое теперь стало по-другому, так как ей приходится думать о том, как одеться на официальные приемы.

Владислав и Юлия Старковы сначала жили в коммуналке, в комнате 7,7 кв. метров, в которой для экономии пространства Владислав соорудил встроенные книжные полки и откидную мебель. Когда они наконец купили кооперативную квартиру, он оклеил комнату не обоями, а более дешевым коленкором с золотым рисунком. Чем-то это убранство напоминало супругам Большой театр. В 1990 году они получили («в подарок» от самого Бориса Ельцина) свою нынешнюю элегантную трехкомнатную квартиру, но большую часть времени они проводят на даче, которая принадлежала родителям Юлии и которую они переделали, расширили и стилизовали под модерн начала XX века. Там у них есть далматский дог, пекинес, две кошки и экономка/повариха Маша. К ним в гости приходят такие люди, как Алла Пугачева и Виктор Черномырдин (1997, № 23, 48—49). И снова перемещение из коммуналки в элитное жилье предстает естественным и будто бы даже неизбежным ходом вещей. В своем рассказе Людмила Уринсон также говорит о том, что они с мужем (министром финансов) получили квартиру в подарок — от Черномырдина. Их знакомые не могли себе представить, чтобы такой высокопоставленный чиновник жил в жалкой хрущевке. Идея о том, что элитные семьи должны иметь нормальное, удобное собственное жилье, становится у элиты аксиомой (1997, № 27, 46).

Почти никто из жен в своих историях не упоминает прямо более широкий социальный и экономический контекст. Да и интервьюеры не задают о нем вопросов. И все же в комментариях некоторых женщин отражается проблематичность этики «экономического релятивизма». Наталья Задорнова в ответ на вопрос, является ли ее муж, член Бюджетного комитета Думы, состоятельным человеком, тактично отвечает:

Было бы грешно жаловаться на бедность. наших с мужем зарплат нам вполне хватает на еду, одежду, отдых и другие необходимые расходы. Понемногу помогаем родителям-пенсионерам. Но к людям богатым мы тоже не принадлежим. Наверное, мы и есть тот самый средний класс, который в идеале должен составлять основу общества.

— И чем владеет «средний класс»?

— Живем мы в трехкомнатной квартире. Пользуемся государственной дачей (квартирой в коттедже)... Машина тоже казенная (1997, № 37, 51).

Совсем иная жизнь рисуется в повествовании супруги банкира. Лидия Кедровская рассказывает о своем двадцатилетнем стаже работы химиком-технологом и организатором производства на закрытом заводе, о карьере и идеологической эволюции своего мужа. Эдуард Сахаров учился сначала в Пищевом, а затем в Энергетическом институте (где он стал секретарем парторганизации), работал директором типографии, был депутатом Моссовета, оказавшись в итоге в Высшей школе менеджеров при Плехановском институте. Кедровская говорит, что в райкоме партии у него была репутация «убежденного коммуниста». И только когда он съездил на стажировку в Германию и увидел, как там живут, он совершенно изменил свою «идеологическую окраску» (1997, № 41, 51)⁶. При этом, замечает Кедровская, «его карьера шла по нарастающей — не то чтобы скачок, а потом обвал» (там же) — т.е. как постепенный, «естественный» путь наверх. Дальше Кедровская рассказывает о семейных путешествиях: «Мы не ездим в очень дорогие места типа Ниццы. Меня тянет к экзотике — я люблю Мадагаскар, Перу, какую-нибудь глушь». Она также говорит, что ей не нужны слишком дорогие украшения и тому подобные вещи; если нужно, она может себе позволить купить еще одну шубу (там же, 53). Вслед за этим она соглашается с интервьюером, что она оптимист, не боящийся возврата коммунизма. «Хотя, конечно, — замечает

⁶ Вопрос о том, не была ли это жизнь *элиты* на Западе, вид которой заставил Сахарова изменить свои убеждения, остается без обсуждения.

Кедровская, — кому-то сейчас живется плохо, не все могут приспособиться» (там же, 54).

Сегодняшние новые буржуа — или же недавно легализовавшиеся буржуа Кедровская жила в относительной роскоши и в качестве жены советского партийного функционера, — со спокойной уверенностью пользующиеся привилегиями своего статуса, обычно не видят ничего предосудительного в том, как трансформировались, в плане вознаграждения, их карьерные достижения по сравнению с остальными социальными группами. Единственная дежурная фраза Кедровской о том, что кто-то «живет плохо», на странице с фотографией породистой лошади и трехэтажного кирпичного дома говорят о далеко зашедшей идеологической приспособляемости. И история о том, как «не все могут приспособиться», становится одним из тех прототипических нарративов о выживании сильнейших, в рамки которых элита помещает свои рассказы об успехе и материальных достижениях.

Заключение: время и семья элиты

Мы должны понять, как эти механизмы власти в конкретный момент, в конкретных условиях и в результате конкретных трансформаций начали приносить экономическую выгоду и политическую пользу.

Мишель Фуко (Foucault 1980, 101)

В данной статье я коснулась лишь небольшой части того содержания, которое несут в себе ритуалоподобные, выверенные и уравновешенные интервью жен из элитного слоя российского общества. Я попыталась выделить некоторые ключевые темы, которые снова и снова — не без вариаций и непоследовательности, но тем не менее регулярно и с повторением деталей и общего тона — звучали в их рассказах о семье. Сами по себе эти темы не особенно интересны: все они сводятся в конце концов к выражению традиционных взглядов, представляющих собой смесь советских «семейных ценностей» и явно постсоциалистических, заимствованных у Запада или изобретенных на месте, буржуазных инноваций. Как мне кажется, гораздо интереснее было проследить в этих разговорах те элементы, в которых отразился гигантский — и далекий от завершения — процесс классовой трансформации и иерархизации постсоветской России.

В своей статье, опубликованной в 1981 году и получившей широкую известность, психолог Джесси Бернанд, анализируя образы мужчины и женщины в США на протяжении XIX—XX веков, приходит к выводу о том, что переход от одной формы капитализма к другой (т.е. от колониального к индустриальному и затем к корпоративному) сопровождался и изменением роли мужчин/отцов/мужей, которые шаг за шагом превращались из «добытчиков» в «хороших добытчиков». Как пишет автор, «именно жадное стремление к достижениям, к успеху, к победе и возвысило «добытчика» до роли «хорошего добытчика»» (Bernard 1981). Параллельно с этим женщина была «понижена в роли»: из признанного партнера/содобытчика она превращалась в нуждающуюся в защите иждивенку и потребительницу мужской добычи; постепенно, но весьма заметно обесценивалась и продуктивная деятельность женщины. Хотя некоторые всплески общественного признания роли женщины и имели место (особенно в военное время), только начиная с 1970-х годов она стала вновь (медленно) возрастать в цене — и в реальности, и в идеологии.

Очевидно, что у России опыт иной. Специфика эволюции гендерного опыта и гендерных ожиданий в Российской империи, СССР и постсоциалистической России становится самостоятельной темой общественных наук. Изучение тонкостей и превратностей этого процесса, разумеется, не входило в задачу данного очерка. Однако, судя по интервью «Профиля», один аспект российского опыта очевидно выходит за рамки национальной специфики: мужья героинь «Второй половины» действительно выступают не просто добытчиками, но «хорошими добытчиками». Даже в тех немногих случаях, когда женщины — главным образом жены депутатов Думы, по политическим соображениям сообщают заниженные данные о доходах мужей, — «все-таки» зарабатывают больше своих супругов, они все равно в конечном счете рисуют мужей основными создателями материального и психологического семейного благополучия. На фоне усилившейся — по сравнению с социалистическим периодом — уязвимости положения «простых» женщин во всех постсоциалистических странах жены элиты стараются подчеркнуть именно свою уверенность, свою физическую, психологическую и эмоциональную защищенность «каменной стеной» мужской силы — стеной, которую могут соорудить лишь «хорошие добытчики».

Еще сто лет назад Макс Вебер убедительно показал, что, для того чтобы придать классовому расслоению легитимный статус,

капитализм рано или поздно начинает испытывать потребность в особом дискурсе. Для Европы и Северной Америки, по Веберу, подобная дискурсивная функция воплотилась в «протестантской этике» — сложной теолого-экономической смеси, которая со временем пронизала идеологию всех слоев общества; ее отголоски еще и сейчас хорошо слышны в тонких — и не очень — рассуждениях о труде, моральных правах и «успехе».

Нарративы о гендерных отношениях, поставляемые женами в «Профиль», являются частью сегодняшней «культурной педагогики» — науки новой и неумолимой капиталистической этики. Здесь нет, разумеется, осознанной цели или какого-то «заговора» со стороны интервьюируемых. Их частные истории тем не менее вливаются в широчайший поток дискурсивного материала, идейное содержание которого одинаково довлеет над мужчинами, над женщинами и надо всем обществом в целом, постепенно отвердевая в представление о естественности классового деления, классовых различий и привилегий. Распознать это всеобъемлющее представление почти так же трудно, как и усомниться в его верности.

Елена Ярская-Смирнова,
Ирина Дворянчикова

«ЖИЛА-БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ТАНЦЕВАТЬ...»: СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ИНВАЛИДОВ- КОЛЯСОЧНИКОВ*

В данном исследовании мы поставили задачу понять, каким образом семейная жизнь конструирует идентичность человека с инвалидностью. Нас интересовало, кто выступает в качестве соавторов индивидуальных биографий инвалидов, в особенности какую роль в разные периоды жизни инвалидов играют члены их семей. Нам представлялось, что такой подход позволит пролить свет на те дилеммы семейной жизни, которые касаются чувств, сексуальности и эмоциональной стабильности на микроуровне жизненного опыта и самоопределения инвалидов. Мы сфокусировались на тех биографических факторах, которые усиливают или ослабляют влияние различных культурных, социальных, экономических и политических детерминант на формирование семейной структуры и отношений к семейной жизни.

Полевое исследование: люди и метод

Архив нашего исследования включает десять биографических интервью, проведенных в г. Самаре зимой 2002 года с инвалидами-колясочниками, проживающими в супружеской либо родительской семье¹. Мы выбрали для исследования именно колясочников, потому что значение физических барьеров в их повседневном опыте ярко демонстрирует неприспособленность нашего обще-

* Авторы выражают признательность С. Ушакину за ценные комментарии по данной работе.

¹ Интервью собирала Ирина Дворянчикова (Самара).

ства для людей, которым жизнь уготовила особые испытания, и заостряет важность естественных и формальных сетей поддержки.

В число респондентов были отобраны методом «снежного кома» шесть женщин и четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет². Эмпирическая часть исследования открылась нашим знакомством с руководителем и некоторыми членами некоммерческой организации инвалидов-колясочников. Три представителя данной организации впоследствии выступили в качестве респондентов, а на других удалось выйти методом «снежного кома», причем одна из женщин, согласившись на интервью, любезно предоставила нам и свою персональную базу данных с телефонами ее знакомых-колясочников. В ответ на телефонный звонок с просьбой принять участие в интервью все, кроме одного человека, с готовностью соглашались и старались выяснить, какие вопросы будут задаваться, чтобы заранее подготовиться. Большинство участников проявили положительное отношение к самой идее и процессу интервью, а с некоторыми из них у нас продолжилось общение и позже.

Все, кроме одного, интервью были проведены по месту жительства опрашиваемых, одно было взято по месту работы по настоянию самого респондента. Интервью записывались на диктофон и затем расшифровывались, занимая по времени от полутора до трех часов. Беседа носила отчасти структурированный характер, поскольку ставила на обсуждение несколько заданных тем. Помимо биографического модуля, отражающего долговременную перспективу семейной истории, план интервью содержал вопросы, специально сфокусированные на семейных отношениях и проблемах инвалидности. Мы старались, во-первых, выявить общие паттерны семейной жизни инвалидов, поэтому жизненные истории и семейные истории предоставляли нам необходимый эмпирический материал. Во-вторых, для нас было важно подтвердить или опровергнуть некоторые предварительные теоретические умозаключения, сверяя гипотетические зависимости с фактической эмпирической информацией. Понимая неравенство властных позиций участников интервью, мы стремились привлечь наших респондентов к дедуктивным оценкам понятий, задавая им «исследователь-

² По данным Самарского департамента социальной защиты, на начало 2002 года в области насчитывалось 214 тыс. инвалидов всех категорий, в том числе 70 тыс. — в областном центре. По свидетельству одного респондента — лидера общественной организации, число инвалидов-колясочников

ские» вопросы обобщающего и сравнительного характера. В-третьих, мы стремились к развитию точки зрения респондента, пониманию «уникальной и изменяющейся индивидуальной перспективы, которая существует под влиянием и посредством социального контекста, включая сам контекст интервью» (Miller 2000, xii). Таким образом, наш подход нельзя охарактеризовать как реализм, неопозитивизм или нарративный анализ; скорее мы применяем совокупность этих методологических перспектив.

Лишь три человека из десяти стали инвалидами с рождения или в раннем детстве, но и остальные семеро приобретали опыт инвалидности в разное время и в разных условиях — будучи подростками, в 20 лет или в зрелом возрасте (см. Приложение). Конфигурация каждого домохозяйства уникальна и включает следующие типы: супруги с несовершеннолетним ребенком (Любовь), супруги с несовершеннолетними детьми и матерью одного из супругов (Вячеслав); мать (Тамара) и ее взрослый сын; мать, ее взрослый сын с инвалидностью (Артем) и его отчим; отец (Алексей) и его сын-подросток; молодая женщина (Марина) и ее партнер; молодая женщина с инвалидностью (Евгения), ее партнер и мать; мать, отец и их взрослый сын (Роман) /дочь (Юлия) с инвалидностью; молодая женщина с инвалидностью (Людмила), ее мать, брат и бабушка. Таким образом, из десяти наших респондентов пятеро (в том числе трое женщин-инвалидов) живут в браке, четверо имеют детей, двое состояли в браке, но сейчас разведены.

Быть или не быть инвалидом

Размеры и состав семьи в нашем исследовании не являлись главными критериями для концептуальных обобщений и классификаций, хотя для нас было существенным, обладал ли респондент статусом повзрослевшего ребенка-инвалида или сам выступал в роли родителя и брачного партнера. Содержание и особенности прохождения этапов жизненного цикла семьи, конечно, во многом определяются «стажем» инвалидности и соответствующими ролевыми установками домочадцев. И все же наибольший вес при систематизации данных имели не формальные показатели состава семьи и сроков инвалидности, а эмоциональные качества семейных отношений, формы интимности между супругами, родителями и детьми.

Мы рассматриваем семейную структуру как особый социальный порядок, композицию связей между членами семьи, скла-

дывающихся под влиянием появления в ней человека с особыми потребностями. В этом контексте, на наш взгляд, гендерные особенности семейной структуры оказываются более значимым фактором, нежели инвалидность члена семьи.

Несмотря на индивидуальные нюансы биографических траекторий и уникальность современной жизненной ситуации каждого из респондентов, собранные нами интервью связаны между собой несколькими фундаментальными темами. Это прежде всего артикулированная потребность самостоятельного выбора и изменения, а также признание важной, но весьма противоречивой роли семьи. Парадоксально, но именно инвалидность порой становится новой точкой отсчета в жизненном выборе, наполняет смыслом жизнь человека, делает ее интереснее, острее, позволяет тоньше чувствовать самому и развить навыки эмпатии у других: «Эта ситуация помогла тебе открыть черты жизни, которые ты никогда раньше бы не увидел в той ситуации» (Юлия). Осваивая инвалидность, человек учится ценить мелочи жизни — саму возможность «выбраться» в новое место, сам принцип свободного выбора — пусть даже лишь маленьких удовольствий от мороженого, пива, просто прогулки в приятной компании:

И вот ты видишь мороженое — не просто вот мороженое, которое тебе кто-то выбрал, а ты подъезжаешь к этому киоску, выбираешь, какое мороженое ты хочешь съесть, и еще что-то такое, ну, то есть ощущение какой-то хотя бы свободы в выборе вот этого вот мороженого (Юля).

А у Евгении свобода выбора сочетается с авантюрным характером. В жизни ей не раз довелось испытать приключение, попробовать, рискнуть. «Вечно меня в какие-то авантюры тянет, — с таких слов начала она свой рассказ. — Ну, уж лучше, чем ничего не делать. После того как я поняла, что под лежащий камень вода не течет, я решила дать объявление в газету». Откликнулось три человека, один из них оказался заключенным, с которым Евгения три года вела переписку, два других просто испугались ее инвалидности и исчезли. Несмотря на это, через несколько месяцев Евгения решила предпринять повторную попытку. На этот раз откликнулось два человека: первым — человек, который тоже оказался инвалидом, они перезванивались, встречались, но через некоторое время поняли, что не подходят друг другу, вторым — «здоровый мужчина». В объявлении Евгения не указывала, что она инвалид, только о состоянии души:

Что я там могла написать: что я маленького роста, что у меня искривление позвоночника, что я не хожу? Кому это надо? Я написала объявление про то, что у меня было в этот период, о состоянии моей души. То есть в объявлении... был рост, вес, вот это вот все. Ищу спутника жизни, все такое, душевное. В конце написала: «возможно, станем друзьями». А потом было интересно, а что же они ответят?

И когда позвонил Володя — так звали второго откликнувшегося мужчину, — Евгения сказала, что у нее проблемы со здоровьем, его это не смутило. Через некоторое время она увидела на пороге своего дома высокого симпатичного молодого человека с букетом цветов, шампанским и коробкой конфет. Она полагала, что данное увлечение не будет продолжительным, что ситуация повторится: молодой человек испугается ее инвалидности и тоже исчезнет, но он остался, и вот уже четыре года они вместе. Сейчас они живут «счастливы, хотя разное бывает». Основное, на что жалуется муж Евгений, — что он ее мало видит, так как она ведет очень активную трудовую и общественную деятельность, являясь руководителем проекта в организации инвалидов-колясочников.

Многие из наших респондентов считают неприемлемым исключение инвалида — ребенка или взрослого — из процесса принятия важных семейных решений. Подобное действие со стороны матери оказалось для Марины шагом к разрыву семейных уз:

...мы переехали вместе с мамой. Я считаю, что все равно это она переехала, а меня просто взяла, как куклу. У нас... был конфликт, который повлиял на то, что мы сейчас живем отдельно, просто она решила переехать... У меня своя жизнь — она наладилась, я стала куда-то ездить, с кем-то общаться, пускала корни какие-то, чем-то занималась, пыталась себя реализовать, зарабатывала какие-то деньги, просто жила, как-то мне уже нравилось, что у меня вполне активная жизнь была. Ну, мама осталась одна, скажем так, у нее был какой-то вакуум, и она решила переехать, она продала квартиру, я узнала о том, что у нас билеты в Самару, — я узнала за неделю до того, как нам уехать. Я считаю до сих пор, что это называется... что так нельзя делать, если взрослый человек, ему девятнадцать лет, у него своя жизнь, сказать, что квартира продана и что через неделю мы навсегда уезжаем в Самару, — это как-то ну бред какой-то, просто нереально вот. В общем-то, естественно, я не представляла, что я могу жить без матери... и она тоже так считала, поэтому она приняла решение и... даже не соизволила посоветоваться. Меня это очень задело!

Наверное, как и большинство людей, имеющих опыт семейной жизни, наши респонденты признают высокую ценность семьи,

одновременно отмечая и свои противоречивые чувства. Формула «Семья для меня — это все» звучит лейтмотивом во всех интервью. Как на основе собственного опыта, так и из наблюдений за жизнью других инвалидов рассказчики предлагали нам собственные практические теории относительно супружеских и родительско-детских отношений. Гиперопека в отношениях родителей к детям-инвалидам может стать, по мнению Марины, причиной последующей изоляции взрослого человека с инвалидностью, привести к снижению шансов на собственную семейную жизнь:

...Часто, если ребенок с детства болеет, его балуют, он вырастает абсолютно несамостоятельным, ну, скажем, в итоге родители за ним чуть ли в туалете не смывают. Просто, хотя я вижу, что человек гораздо больше может, там он настолько ограничен... Да, у меня вот знакомые, которые имеют проблемы... Мать обычно посвящает всю свою жизнь такому ребенку, она ставит крест на своей карьере, на своей личной жизни зачастую. Ну, и соответственно, она от него требует... Если здоровый ребенок — когда он вырастает, родители могут требовать, а могут и не требовать. Если болеет, то с него сто процентов будут что-то требовать. Например, у меня есть такие знакомые девочки, которым тридцать лет и они просто боятся познакомиться с кем-то, с каким-то молодым человеком, потому что маме бы это не понравилось. Хотя ей уже тридцать лет. Потому что «мама ее воспитала, мама за ней ухаживала, мама против». Я считаю, что это... это уже дискриминация получается. Ну, с другой стороны... если бы более самостоятельно себя человек вел, то, наверное бы, не препятствовали (Марина).

Отношения между матерью и ребенком, о которых говорит респондент, — неравные, мать решает, что необходимо и возможно сделать в интересах ее ребенка. Тем самым создается риск злоупотребления властью и игнорирования некоторых важных желаний и предпочтений ребенка. В представленной здесь модели семейных отношений помимо формирования иерархической структуры по возрасту и полу просматривается и указание на большую идеологическую роль, которую семья играет в поддержании стабильности воспроизводства той статусной иерархии, которая существует в обществе. Выучивая роли пассивных и зависимых в семье, так же как и в школе-интернате, инвалиды впоследствии испытывают трудности во взрослой жизни.

Объединенные одним базовым качеством — особым способом передвижения, — наши респонденты по-разному осмысливают свою инвалидность: одни считают ее неустранимым жизненным неудобством; другие — одной из своих особенностей, наряду с

цветом глаз и прической; третьи видят в ней источник изменения и развития.

Например, Тамара не видит для себя никаких возможностей изменения жизненной ситуации к лучшему. Даже переезд на первый этаж, который облегчил бы ей передвижение (такой квартирный обмен предприняли многие другие наши респонденты, получив еще и доплату за непопулярный этаж), кажется ей чем-то нереальным:

Я же не могу выйти из дома. Летом еще могу, а зимой — не могу выйти, вот этот физический барьер, тем более, четвертый этаж. Вот это главный, как говорится, физический барьер. А чтобы его изменить, как говорится, поменять квартиру, у меня не хватает финансов, возможностей что-то чего-то изменить». Ее жизненное кредо сводится к формуле «Лично для себя я ничего не хочу».

Артем отказывает себе в возможности создания семьи, однако, как ясно из его суждений, главная причина — вовсе не в недостаточной физической мобильности. Тридцатипятилетний рабочий, получивший травму позвоночника в автомобильной аварии, он не может допустить мысли о независимости своей потенциальной партнерши:

Ну, в общем, в основном это очень тяжело, конечно... если я инвалид, [а] девка то есть ходячая... Просто человека надо одеть, надо ее на шашлыки, надо ее на турбазы, ну это все это житейская проблема... чё, надо уделять внимание. Надо вот, ну, все это, надо в гости ходить... Ну, к чему все это? Тут ты в квартире, а она ходит — ходит по каким-то гостям, это не дело. ...Да зачем эти «дуньки» нужны, зачем, зачем мне об этом думать? Зачем, зачем нервы эти тратить? Вот буду здесь я вот сидеть, допустим, сейчас. Допустим, сейчас у меня жена, где она? ...Она скажет, что пошла за хлебом, ну, и пошла она куда-нибудь за хлебом или чё? Допустим даже, она пошла в гости, ну и чё, а я вот здесь сижу, жду здесь возле этого плафона. Вот такая катавасия, то есть вот эта вот нервотрепка, понимаешь, я вначале поболел-поболел, а потом уже почувствовал: блин, оказывается, это хорошо, я вот нормально здесь нахожусь. Позвоню друзьям, они придут — водочки, чё, посидим, матом поругаемся, анекдоты порассказываем. Все нормально. А тут — тут уже другая система будет. Тут уже каждый день сиди и думай [повышает голос], к какому инвалиду она пошла интервью брать.

Другие наши рассказчики, в отличие от Артема, не считают свою инвалидность препятствием для интимной жизни, работы и общественной деятельности. Роман считает, что многое связано с характером и самоопределением человека:

Я так скажу, это все зависит больше от человека. Насколько он себя накрутил, насколько он сделал сам себя инвалидом, такие проблемы у него в этом плане и возникнут. Чем больше он себя считает инвалидом, тем меньше у него шансов на свободную, ну как, на нормальную интимную жизнь. Чем больше он считает себя нормальным человеком, проблем не будет. У меня все в сексуальном плане замечательно. Лучше, чем у многих здоровых. Я не жалуясь. И они не жалуется, мои партнерши.

Для наших рассказчиков неотъемлемой частью их повседневности является коляска; помимо телефона она является важнейшим средством коммуникации с внешним миром, их посредником в освоении и конструировании социального пространства. В нарративах коляска представляется устройством, все ресурсы которого до конца еще не исчерпаны: например, Артем рассказал, какие он выработал приемы, чтобы спускаться по лестнице, спрыгивая на коляске со ступеньки на ступеньку спиной вперед — довольно рискованное, на наш взгляд, занятие, но в отсутствие пандусов — единственная возможность. Правда, он еще не освоил подъем. В других случаях коляска — это трансформер, который может превращаться в обычный стол, придавая ситуации общения с друзьями характер чудесной обыденности:

Допустим, идем, встречаем кого-то. Можно, совершенно спокойно пересесть, допустим, с коляски на обычную скамейку. Пиво пить, как пьют нормальные люди, и в такой вот ситуации ты... так никогда не пил... Такое удовольствие получаешь, как там нормальные люди, то есть коляска — это как будто стол, там стоит пиво, там орешки какие-нибудь лежат, еще что-нибудь такое, и даже проходящие люди — никто и не знает, кто и как, чё тут вообще, чё это и откуда. Вот, и как бы ситуация такая со стороны смешная, конечно. Коляска такая вот вся из себя, тут на ней бутылка стоит, а рядом... То есть такое вот как бы, не каждый день бывает такое... (Юлия).

Инвалидность в рассказе Юли представляется как источник нового знания, способ открытия новых качеств в себе и других людях и даже как игра:

Эта ситуация помогла тебе открыть черты жизни, которые ты никогда раньше бы не увидел... Когда у тебя есть дело и тебе надо куда-то попасть, в какую-то инстанцию, собрать какую-то подпись, еще что-то такое, то всегда возникает потребность в машине, нужно найти такого человека, который тебя бы спустил... Мы ездили к нотариусу. И как-то раньше все дела делались так, что я сижу в машине, мама ходит, все дела решает, распишешься, где надо. А здесь получилось,

что этот номер не прошел, и надо было подписывать большие бумаги — их не вынесешь, и пришлось мне к нотариусу самой идти. Ситуация тоже не легкая была такая. [Мама] приходит и говорит: нет, вот надо туда, а как? На горбу меня нести? Тяжело. И вдруг открывается дверь у нотариуса и вот: «Сейчас, сейчас, мы вам мужичков пришлем» — прислали молодого человека, кто-то из очереди вообще. Он посмотрел и говорит: а давайте стул принесем и на стуле понесем уже к нотариусу. И мне выносят кресло такое, и в кресле меня к нотариусу приносят, недалеко было благо, и ступенек не было, и двери открыли, и я расписалась там, где нужно. ...И обратно точно так же: уже нотариус, по телефону, организуйте нам еще мужичков... Получается ситуация, игра, может быть, какая-то... Я боялась идти к нотариусу, я у него никогда не была, а когда мы выходили, там секретарь была и еще кто-то — улыбочиво все так и улыбались, так, как будто они меня знают... Вот меня недавно приглашали на день рождения, я там была в кафе. Мы ехали без коляски, решили, что мы ее брать не будем. Меня прямо занесли туда, прямо из машины к столу и от стола к машине точно так же, никаких вообще проблем не было, вообще ничего. Самое главное, когда расслабишься и будешь спокойно воспринимать эту ситуацию, и успех к тебе повернется той же стороной, какой ты к нему. То есть проблем, получается, нет, если ты сам их себе не создаешь.

Инвалидность — это не только нагрузка и неподвижность, это не только состояние. Она и движет, и просвещает, и заставляет острее чувствовать меняющийся пульс времени:

Ну, я понимаю, что вряд ли доживу до глубоких седин, хотя кто знает, что в жизни будет, но надо ценить моменты жизни, ну, наверное, из-за этого вот. У меня был в жизни период, когда я только заболела, я себя чувствовала лучше, чем сейчас. Я этого не ценила, просто я оплакивала то, что потеряла. Свое здоровье. А когда мне стало как сейчас, просто, скажем, я поняла: откуда ты знаешь, какая ты будешь завтра? Может быть, завтра мне вообще суждено лежать на диване пластом. Почему я должна не ценить то, что сейчас есть, даже если и в таком виде. Вот за это. То есть болезнь научила меня быть более дружелюбной, другое отношение к людям появилось. До болезни я могла как-то так себя вести, мало общаться, не считала [это] нужным. То есть болезнь как бы научила меня жить больше с людьми, принимать, какие они есть (Марина).

Для многих женщин и мужчин инвалидность не означает коллапс, изоляцию и одиночество, отказ от приключений, жизненных открытий и испытаний. Это просто другой тип испытания, благодаря которому можно выразить и укрепить себя, например, через любовь — к жизни, к людям и к себе:

Историю жизни своей? Жила маленькая девочка, которая, ну не знаю, которая любила танцевать очень. Люблю живое, все такое, что движется, крутится, вертится, не стоит на месте, люблю бывать в компании, справлять праздники, дни рождения, торжества, все это любила, [но] пришлось больше времени проводить одной, сейчас 50 на 50, и то и другое. Потом, когда девочка подросла, появилась куча проблем, которые она потихоньку решала, благодаря людям, которые были с ней рядом. [Проблемы,] которые она со временем сама для себя понимала. Не знаю, по жизни меня как-то окружали больше хорошие люди. Как говорится, если [мне] задать вопрос: [повышая голос] а хотели бы вы, чтобы вас не было? Я что-то недавно об этом думала. Думаю, что иногда хотела бы. Не знаю, то, что было до этого периода, всегда было дискомфортно, там со здоровьем, часто не совсем приятно, не совсем хорошо. Наверное, надо было пройти такой период, чтобы понять, что то, что происходит сейчас, это хорошо и замечательно (Евгения).

Инвалидность — это творческая и рациональная работа, особая философия и образ жизни. Некоторые из наших респондентов подчеркивают свою обычность, неотличимость от большинства других людей ни в чем, кроме, пожалуй, такой мелочи, как способ передвижения. Вячеслав, будучи инвалидом с детства, считает, что осознание себя полноценным у человека формируется с ранних лет:

С самого детства во мне не заложено чувство ущербности, то есть у меня были отношения, сейчас я в меньшей степени общаюсь с ребятами-инвалидами, нежели со здоровыми. То есть я абсолютно не комплексую по этому поводу. Я был абсолютно нормальным ребенком, несмотря на то что я был болен. Я играл в футбол, даже лазил с мальчишками по чужим садам, я играл в прятки. То есть я был на лугу, я плавал, я вел такой же образ жизни, как и все мои сверстники. В деревне у меня были друзья, в городе. Да, конечно, я в большей мере развивался, читал, я очень рано научился читать, люблю читать. Вот сейчас младший сын, он, наверное, в меня пойдет, потому что все время проводит с книжками [смеется], хотя он еще не очень хорошо говорит, но любит страшно читать. То есть книжное образование преваляло. Я не мог много играть в активные игры. Но я очень долго катался на велосипеде, двухколесном причем, у меня были игрушки, как и у всех, — машинки всякие, конструкторы.

Слова Романа о том, что каждый человек делает себя и считает себя инвалидом, являются показательными для его собственной жизни. Вместе с тем это объяснение того, что стратегия частной жизни инвалида, как и сама инвалидность, в большой степени является предметом выбора. И хотя в ситуации выбора субъект всегда противопоставлен структуре, мы можем с уверенностью говорить о том,

что в кажущихся неизменными и неколебимыми стенах, которые воздвигает инвалидность вокруг человека, всегда есть выход. Возможность найти этот выход облегчается, если в семье тебя понимают и принимают прежде всего как человека, со всеми эмоциями и потребностями. Интериоризируя образ инвалидности, ближайшее окружение формирует репертуар доступных социальных ролей и идентичностей субъекта. Подбирая палитру красок для написания картины своей и чужой жизни, люди тем самым символически конструируют друг друга — с чертами зависимости или самостоятельности, особенности или исключительности.

Стандартные проблемы нестандартных людей

Для общества инвалидов — это категория, тип, тогда как члены семьи рассматривают инвалида как уникального субъекта, который ни в одну категорию не помещается. При этом во многих семьях к инвалидам не относятся как к особым членам семьи, не выделяют на фоне других. Например, Тамара говорит, что ее мать никогда особо не выделяла из других своих детей, «инвалид или не инвалид — не имело значения». А в семье Артема за каждым членом семьи закреплена какая-то обязанность, и тот факт, что он инвалид-колясочник, не освобождает его от обычных дел по дому: мыть посуду, подметания полов, стирки, а также от внесения своей доли (путем самостоятельного заработка) в семейный бюджет.

В процессе сбора и анализа интервью нам постоянно встречалась одна и та же дилемма: наши респонденты, с одной стороны, утверждали, что в их семьях все происходит точно так же, как и в любых других, а с другой стороны, приводили целый ряд особенностей, которыми, на их взгляд, отличается семья инвалида. «Конфликты, — говорит Артем, — они возникают, как и у всех. Ну, поругаемся, покричим друг на дружку. А потом думаешь, что надо как-то смягчить это дело и идешь на примирение». А Тамара на вопрос, отличаются ли чем-то интимные, сексуальные отношения в семье, где есть инвалид, ответила: «А почему они должны отличаться? То, что больны ноги и у человека физический недостаток, на это не влияет».

Инвалидность — это не только ослабление функций организма и социальных возможностей человека, но и стигма, которую

общество переносит на ближайшее окружение человека с ограниченными возможностями, подвергая семью инвалида социальной изоляции. Наши респонденты подтверждают это: Марина жила с родителями, в интервью говорит об изменении отношения их семейных друзей ко всей семье после того, как она стала инвалидом: «Вот круг знакомых, который был у родителей, он поменялся. Настолько остались в одиночестве со своей какой-то проблемой...» Общество склонно выделять инвалидов и соответственно их семьи в отдельный тип, наделяя их атрибутами «ненормальности», «патологии», пытаясь при этом оградить, обезопасить себя от этого. По словам одной из наших респонденток, родители испытывают «гораздо больше проблем, если у них ребенок-инвалид». Полагая себя «нестандартным человеком», она прекрасно осознает, что «большинство людей, имеющих инвалидность, испытывают очень тяжелые проблемы, сталкиваясь с отношением к ним общества» (Марина).

Причем иногда родители, а особенно мать ребенка-инвалида стигматизируются обществом как «виновница», муж женщины-инвалида, жена инвалида — тоже стигматизированы по-своему, всех их общество подозревает в «ненормальности». Марина рассказала нам о том, что отец до сих пор не ведает о ее инвалидности. Наша респондентка объясняет это нежеланием матери признать свою социальную несостоятельность в глазах бывшего супруга: «как так, она всегда была такая правильная, что вот вытягивала ребенка без мужа, тут надо же, он [ребенок] заболел — какой кошмар».

На наш вопрос о семейно-брачном статусе инвалидов Алексей, который обладает довольно обширной информацией по роду своей работы в общественной организации, поделился с нами следующими наблюдениями: «Как правило, инвалиды стараются жить самостоятельно, обособленно. Вот этот принцип независимости, он как-то внутренне есть». Вместе с тем стремление жить независимо не всегда воплощается в реальности. Те, кто стал инвалидом в детстве, «в большей степени, конечно, живут с родителями. Потому что родители своих детей, как правило, тянут до конца». А в целях экономической, эмоциональной и физической поддержки,

даже если есть семья, в которой живут муж-инвалид или жена-инвалид, то, как правило, привлекают или приглашают родителей, чтобы оказывать эту помощь, потому что или жене, или мужу нужно работать, зарабатывать деньги, а вот в то время, когда ее [жены] нет, кто же должен заниматься, если человек, допустим, совершенно непод-

вижен, или он лежачий, или какие-то другие проблемы, то за ним должен быть уход. [К сожалению,] очень большой процент, когда в семье появляется инвалид, особенно если это женщина-инвалид, то муж, как правило, уходит из этой семьи. Опасность такая существует, что если в семье кто-то, или муж, или жена, становится инвалидом, то семья может распасться, процент очень велик, сказать прямо количество я не могу, но вероятность распада очень большая... Но есть и хорошие примеры, когда остаются, то есть мужья очень здорово ухаживают за женами-колясочниками.

И другие наши респонденты убеждены, что мужчины оставляют своих жен, особенно если у женщины возникает инвалидность. Так, Юлия полагает, что, «наверное, больше все-таки семей, где мужчина-инвалид и женщина остается с ним, мужчины чаще бросают женщин». Люба уверена, что ей «очень повезло с мужем», что он ее не бросил, когда она «слегла»; весь дом «на себе тащит», что это очень редко встречается, чтобы мужчина остался с женой-инвалидом, не ушел из семьи и занимался бы хозяйством.

Многие респонденты отмечали, что мужчине-инвалиду, как правило, проще устроиться в жизни, ссылаясь на гендерно-специфичные социальные и сверхчеловеческие регламенты:

...если мужчина имеет инвалидность, у него гораздо более благоприятно обычно складывается личная жизнь со здоровым человеком, нежели, если девушка — инвалид. Потому что все-таки общество диктует то, что женщина должна убираться, стирать, готовить. Ну, как бы нести определенные функции в доме, а с мужчины, в общем-то, наше русское, советское общество может требовать просто там, что он должен зарабатывать деньги и не уметь даже помыть за собой тарелку. Он считает, это разрешено обществом (Марина);

женщине-инвалиду труднее самореализоваться, ведь это женщина. Она должна быть матерью по кармическому закону, иметь детей, должна оставить потомство. Для женщин, у которых нет детей, это трагедия личная (Вячеслав).

Эти представления отражают сложившиеся в обществе стереотипы; и хотя приходится констатировать, что колясочникам бывает нелегко найти брачного партнера, а браки и семьи довольно часто распадаются, наше исследование показывает, что семейный опыт инвалидов отнюдь не всегда вписывается в жесткие догматические предписания «нормального» большинства.

Недавние расчеты Баскаковых в некоторой степени подтверждают и расширяют экспертные оценки наших респондентов о семейно-брачном статусе мужчин и женщин с инвалидностью.

Единственная позиция, где доли мужчин и женщин с инвалидностью практически совпадают, это позиция «не замужем/не женат» (6%); по всем остальным параметрам семейное положение инвалидов-мужчин и инвалидов-женщин различается очень резко (Баскакова, Баскаков 2000).

Например, доля вдов *втрое* превышает долю вдовцов, что объясняется общим для всего населения различием в продолжительности жизни мужчин и женщин и традиционным превышением возраста мужа над возрастом жены. Что касается некоторых других различий брачного статуса инвалидов — здесь следует учитывать специфические механизмы, характерные только для семей инвалидов. Например, 2,5-кратное превышение доли разведенных женщин над аналогичной долей у мужчин наиболее вероятно объясняют «гендерные различия в ценности брака и ответственности за супруга и семью, которые таким “специфическим” образом проявляются в семьях, где появляется инвалид. Косвенным подтверждением правомерности этой гипотезы является известный факт массового ухода отцов из семей с детьми-инвалидами» (Баскакова, Баскаков 2000).

«Судя по тому, как живут другие люди», объясняет причины разводов среди инвалидов Юлия, которая отводит роль разлучниц родственницам мужа:

Больше, наверное, все-таки семей, где мужчина-инвалид и женщина остается с ним. Мне кажется, что мужчины чаще бросают женщин. Наверное, потому, что те, которые уже настолько привыкли к женщине, к своей жене, они живут своей жизнью, своей головой, а если есть какая-то мама, какая-то сестра, там еще какая-то женщина-родственница, которая постоянно ему капает, говорит, что ты такой хороший, такой замечательный, жизнь твоя не остановилась, тебе еще нужно искать женщину, приводит там к нему, говорит: она нам не кровная родственница, ты можешь найти другую. Такие ситуации очень часто бывают, и никуда от этого не денешься.

Существующие в обществе и культуре модели гендерных ролей инвалидов являются противоречивыми: с одной стороны, инвалидность в первую очередь угрожает маскулинности, поскольку женская гендерная идентичность непротиворечиво увязывается с качествами пассивности инвалида (Ярская-Смирнова 2002); с другой стороны, женщины-инвалиды приобретают стигму двойной неполноценности, поскольку их репродуктивные и экономические функции ставятся под сомнение.

Опираясь на родовые структуры (родственников мужа, как в приведенном выше примере), медицинских работников и отсутствие институциональной поддержки, общество отказывает женщине в праве и желании иметь ребенка. Кроме того, в случае инвалидности возможность осуществления женщиной неоплачиваемой домашней работы, принимаемой как неотъемлемая часть семейной экономики, может существенно снизиться. Женщина с инвалидностью, ставшая женой и родившая ребенка, становится главной подозреваемой тогда, когда в жизни детей что-то складывается не так. Отсюда — чувство вины и собственной никчемности, зачастую усиленное социальным окружением. Подобное сочетание практик социального исключения по признаку пола (т.е. в отношении женщин) и дееспособности (т.е. инвалидность) придает совсем иное звучание проблеме контроля за доступом к социальным, политическим, экономическим и т.п. ресурсам, центральной для феминистских исследований (Kelly, Burton, Regan 1994, 31).

Алексей, объясняя факторы риска в семейной жизни, тоже обращается к гендерным аргументам:

Когда появляется в семье ребенок-инвалид, то основное внимание уделяется, конечно, ребенку, и папа становится или переходит на второй план. Это сразу возникает проблема, это первое. Второе, если кто-то стал из взрослых инвалидом. Но если жена стала инвалид, то все домашние хлопоты и дела однозначно ложатся на плечи мужчины, многие этого не выдерживают, этой бытовухи, которая существует, этой монотонности, поэтому они уходят. Но бывает, что и жены уходят от мужей, причин много, это начиная, если это спинальников касается, то от проблем, связанных, допустим, с интимной жизнью, до проблем материальных, когда перестает поступать достаточно много денег в семью. К примеру, если муж стал инвалидом, то он автоматически из кормильца семьи превращается в потребителя, то есть в обузу практически... Возникает психологическая проблема у той и у другой стороны.

Алексей полагает, что в этом случае люди просто не знают, как справиться с возникшими психологическими трудностями, но он видит выход из критических ситуаций:

Это, в общем-то, можно сделать с помощью психологов, с помощью работы с общественными организациями. Локализовать вот эту проблему, семья вполне сохранится, и, в общем-то, я по себе знаю. И мне кажется, что здесь нужно, на начальной стадии, когда человек получил инвалидность, необходима большая работа психологов, большая работа общественных организаций, которые занимаются проблемами инвалидов.

Эта потребность в институциональной поддержке, помощи профессиональных консультантов и активизация работы сообщества другими нашими респондентами в такой выпуклой форме не артикулируется, хотя вопросы помощи и взаимопомощи акцентировались всеми респондентами. Очевидно, опыт работы в общественной организации позволяет на более высоком уровне осмыслить данные проблемы и способы их решения.

И хотя семьи инвалидов отличаются «чисто внешне», как говорит Вячеслав,

все зависит от человека. И в здоровых семьях есть такой микроклимат, что... не знаю — убежать и не появляться в этой семье, просто тяжелая атмосфера. [...] Да, есть семьи, которые создают семью по любви, большинство, конечно. Но не у всех инвалидов это получается — создать семью, то есть найти человека. Есть семьи, в которых жена — здоровая, муж инвалид или муж — здоровый, жена — инвалид. Есть идеальные пары, но это уже зависит от ситуации, когда человек действительно любит и не смотрит на то: кто, что, неважно. Это уже не нами заведено. А быт — сложно в бытовом плане, в ванную залезть, или убраться, или сходить в магазин — приходится социальных работников звать.

Несмотря на то что закрытость и автономность семьи от государства и любого внешнего воздействия многие из нас полагают само собой разумеющимися, публичное вмешательство в приватную сферу инвалидов-колясочников зачастую становится неременным условием совладания с повседневными сложностями для всей семьи. К сожалению, там, где подобные услуги недоступны или их объем и качество не отвечают запросам пользователей, семья может испытывать колоссальные физические и эмоциональные нагрузки, подвергаясь стрессам, истощению и распаду. Именно здесь и заканчивается «стандартность» семей инвалидов, возможность быть как все и начинается своеобразие их как группы.

Инвалидность общественного устройства

Социальные ожидания приписывают инвалиду пассивную жизненную позицию, состояние безысходности, иждивенческие настроения; при таком подходе инвалидность, перефразируем Фрейдера, это судьба. Наши респонденты с сожалением констатируют подобные воззрения:

До сих пор в обществе есть такое отношение к инвалидам, которое тянется с давних языческих времен: если человек ушиблен, то это — божье наказание... В обществе считается, что наши инвалиды — только иждивенцы, обуза и для семьи, и для общества, и для государства. Хорошо бы их не было, а они — есть... Да, мы тратим на них — это общество говорит — то-то се-то. Они очень много берут, забирают пенсии, и никто не задумывается, что это не нами установлено. Это судьба людей — родиться такими и жить в таких условиях (Вячеслав).

Вместе с тем многие наши респонденты на собственном примере показывают, что свою судьбу, свою биографию они делают сами, с помощью родных и близких.

Жизненный опыт семей, которых напрямую затрагивают проблемы инвалидности, обладает спецификой. Оговоримся сразу, что бытовые неудобства, связанные с неуклюжим дизайном мебели и теснотой жилища, не понаслышке знакомы миллионам россиян; инвалидами физические барьеры воспринимаются лишь острее: «сложно в ванну залезть, или убраться, или сходить в магазин, приходится социальных работников звать» (Вячеслав), трудно каждый раз «складывать и раскладывать диван по утрам и вечерам» (Любовь), или «с инвалидностью нельзя заниматься кама-сутрой... меньше пространства для реализации в этом плане по чисто физическим причинам» (Вячеслав).

Маргинальная ситуация инвалидности требует от членов семьи особых усилий по конструированию жизненного мира. Не имея возможности приобрести специальные приспособления с дистанционным управлением (двери, бытовую технику и т.п.), члены семьи выстраивают особые практики согласования их мира с миром «здоровых». Причем потребности инвалида-колясочника влияют на всю семейную систему; в доме меняется обстановка, появляются новые приспособления, устройства: например, глазок во входной двери сделан на уровне глаз сидящего человека, к форточкам и окнам привязаны специальные веревочки, чтобы можно было беспрепятственно их открыть, не вставая, а также сделаны приспособления, палочки, чтобы можно было так же легко закрыть форточку даже на шпингалет, регулировать громкость радиоприемника. Вместе с тем нам удалось зафиксировать достаточно обычное отношение к инвалидности, с которой не просто «миряться», а скорее воспринимают как одно из условий и неотъемлемых свойств повседневной жизни, подобно другим нюансам нашего характера, тела и организма, к которым приходится «прилаживаться» всем членам семьи.

Чаще всего эти «прилаживания» друг к другу (и человека к своей инвалидности, если она не врожденная) требуют немалой энергии, физических и душевных сил. В результате этого создается атмосфера дружественной поддержки. Например, Роман говорит о том, что у них «всегда в семье были теплые отношения взаимопонимания и взаимной заботы», а после получения им травмы качество отношений взаимопомощи, взаимной поддержки повысилось. Они все вместе решили, что нужно поменять квартиру, и переехали с пятого на первый этаж. Такого рода отношения позволяют ему не только чувствовать себя комфортно в семье, но и реализовать себя в социуме, вести активный образ жизни.

С другой стороны, инвалидность выступает своего рода тестом, проверкой социальных связей на прочность:

Раньше были друзья друзьями, потом они пропадают, и всё, и 6—7 лет их нет *вообще*. Если родители им звонят, то они: ой, мы не можем разговаривать, сами нам не звонят. А потом, когда проходит какой-то большой промежуток времени, то эти люди появляются и понимают, что были не правы, дальше начинается общение, какой-то новый виток общения. Есть такие люди, которые вообще пропали и ушли. Когда попадаешь в такие ситуации — она как сито, просеивает людей, можешь увидеть, кто с тобой, а кто — сам по себе (Юлия).

В таких случаях, по тонкому замечанию Юли, реабилитация нужна не инвалидам и их семьям, а окружающим: «Им потребовалось много времени, период реабилитации, чтобы осмыслить *свои* какие-то чувства». В подобном осмыслении нуждается и российское общество в целом, для того чтобы создать достойные условия жизни тем, чьи возможности ограничены.

Границы и свобода частной жизни

Каждый из наших респондентов придерживается определенной стратегии самопозиционирования по отношению к семье и браку. В интервью выстраивается модель жизнеустройства, где внутренний и внешний миры, образы «Я» в отношении к актуальной и потенциальной семье скрепляются степенью свободы и ответственности, возможностью изменений и проницаемостью границ. Упорядочить всю полученную информацию о роли семьи в жизни человека с инвалидностью можно, если оттолкнуться от фразы,

которая повторяется рефреном в большинстве интервью: «*Семья для меня — это всё*». Одна и та же фраза, произнесенная абсолютно разными людьми, представляет собой континуум смыслов, простирающийся между «свободой» и «границами».

Свобода, предоставляемая семьей, имеет великую ценность: это простор для самореализации в комфортных условиях взаимопомощи и понимания, в отличие от рискованных условий окружающей среды.

В семье может быть все замечательно, но когда семья сталкивается с обществом, с людьми, тогда они понимают, что да, я могу сидеть дома и... поехать в знакомое место, и мне будет комфортно там, но если я выйду в незнакомое какое-то место, мне уже будет некомфортно, и я не знаю, какое будет поведение людей (Марина).

В другом случае семья как единственное пристанище, как необходимое условие выживания постулируется с горечью осознания замкнутости своих связей: «Кому ты нужен, кроме как своим родственникам, близким...» (Юлия). Жизненный мир человека ограничивается исключительно рамками семьи, а личный выбор, потребности и желания сведены к минимальному пределу: «Что мне может хотеться? Если на диване — что мне может *здесь* хотеться... о чем речь вообще...» (Любовь); «У меня никаких идей, никаких планов на будущее нету» (Тамара).

Второе измерение, необходимое для анализа нарративов, становится отчетливым, когда мы обращаем внимание на артикуляцию собственной позиции респондентов по отношению к свободе и ограничениям, исходящим от семьи. Эта позиция может быть расположена между полюсами «подчинение» и «сопротивление», поскольку субъекты далеко не всегда пассивно воспринимают структуры отношений, предлагаемые семьей³.

Одна из наших рассказчиц, Юлия, отмечая двусмысленность своего статуса в родительской семье («я живу в семье, где ребенок-инвалид»), говорит о возникшем ролевом конфликте в семье и растущем у нее чувстве протеста:

...семья, в которой ты живешь с родителями, это одно, а когда *твоя* семья — это уже совершенно другое получается, это разные вещи.

в Самаре колеблется в пределах двух тысяч, а по области — шести тысяч человек.

³ В исследованиях истории и современных проблем семьи найдется немало подтверждений тому, что семейные отношения характеризуются паттерна-

Правильно ведь говорят, что ребенка надо воспитывать, пока он поперек лавки лежит, а когда он «по вдоль» — все уже, это создание Господне, и родители ему уже помогают, где ребенок просит. И получается немного странная ситуация, когда ты взрослый человек и совершенно спокойно можешь уже иметь свою семью, а ситуация складывается так, что ты не имеешь возможности это сделать. У всех по разным причинам это происходит. А когда ты возвращаешься в семью своих родителей, это другая немножко ситуация. То, что тебя воспринимают как дитё все еще, а ты уже на самом деле давно не дитё. И тут начинают возникать такие, как бы сказать, шероховатости.

В рассказе Людмилы жизненное кредо молодой женщины на сегодняшний день выражается следующей фразой: «Я, скорее всего, пожертвую своим счастьем ради своей семьи». Людмиле настолько трудно представить себя в каком-то ином статусе, кроме дочери, что она предпочитает принести свое будущее в жертву этой привычной и удобной системе:

Для меня самое главное — это моя семья. Это самое главное в моей жизни, даже моя личная жизнь не так главна, как моя семья для меня. Это я опять же повторюсь, может, это неправильно, скорее всего, неправильно, но для меня главнее всего моя семья... Для меня тут всё родное, все родные. И для меня главное моя семья. Опять же я не зарекаюсь, может, потому, что у меня партнера нет, не знаю, может, любви какой-то нет к кому-то, может, поэтому, по крайней мере, пока главное — моя семья. Я опять же не зарекаюсь. Но я думаю так, если даже у меня и будет какой-то партнер, да, я думаю, так что главнее всего, даже главнее его будет моя семья. Моя мама, мой брат. Я, скорее всего, пожертвую своим счастьем ради своей семьи. Это не преувеличение.

Эта зависимость от родительской семьи объясняется очень просто: в нелегкой борьбе, какой представляется жизнь, семья дает надежную защиту:

Пока вот на данный момент главнее всего моя вот эта семья. А там уже не знаю, скорее всего, тоже будет главнее моя вот эта семья, понимаешь, чтобы ни случилось, я могу вернуться в свою эту семью, а там уже ты, если кто-то тебе не поможет, туда уже не вернешься, а тут тебе всегда все помогут, потому что они твои родные, ты их не выбираешь, и они тебя не выбирают. Надежный фронт (Людмила).

Похожее объяснение приводит Вячеслав: «Семья — это группа людей, люди, с которыми тебе, несмотря ни на что, трудно, радостно и счастливо живется. Всякое бывает, но это твои родные люди. Это ты!».

Если расположить всю информацию о характере семейных связей наших респондентов по двум пересекающимся осям, то всевозможные способы позиционирования инвалидов по отношению к семье можно сгруппировать в четыре стратегии. Отметим, однако, что при этом вряд ли следует говорить о чистых типах стратегий. Полярные стратегии — полное подчинение себя семейной иерархии, с одной стороны, и сознательное упорядочение индивидуальных свобод членами семьи — с другой, воплощены в следующих жизненных историях.

Тамара: «Государственный ребенок»

Судьба Тамары во многом была определена культурой родительской семьи и воспитанием в интернате. К родителям она испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, она упоминает лишь биологическую связь с ними:

Просто они произвели меня на свет. Как таковой любви у меня к родителям не было. Потому что я не воспитывалась в основном дома практически. Начиная с юного, детского возраста. Санатории, больницы, интернат. Как таковое, я же говорила, что дома очень мало бывала. Кто-то когда-то где-то смеялся, что я — государственный ребенок. Что находилась в основном на государственном обеспечении [плачет].

Отец, по ее словам, «просто выполнял свой отцовский долг, что он меня в школу, вот меня на горбу таскал и на санках отвозил». А в отношениях с матерью у нее

не было таких нежностей, которые бывают между матерями и дочерьми, того тепла и внимания, которое уделялось ребенку, который постоянно был воспитан дома. Вот во многих вопросах меня мама, по крайней мере, не понимала. Были, конечно, детские обиды, которые не могла ей сказать, могла бы ей сказать, но она не понимала, и я была замкнутой очень сама по себе. Но так она была женщина очень справедливая, она была научена жизнью. Она видела войну, видела немцев, поэтому у нее такое, ну не то что нервное состояние, но она по-своему понимала отношение ко мне.

Однако смерть матери оказалась сильным потрясением — по крайней мере, именно с этим событием респондент связывает в своих воспоминаниях ухудшение своего состояния:

У меня произошло несчастье в семье: у меня не стало мамы. Со мной произошел нервный срыв, страшный, очень сильный, это повлияло на состояние здоровья, что привело меня перейти со второй на пер-

вую группу. Большой нервный срыв, стресс был очень сильный и очень повлиял на мое состояние здоровья. Оно ухудшилось, и после этого мне пришлось обратиться к врачам, и они, сделав анализы и все-все-все, они увидели, что органы движения, которые были активные, стали хуже [плачет], и ходьба хуже стала, и все, поэтому комиссия решила мне дать первую группу инвалидности после печальной истории в моей семье.

Отсутствие эмоциональных семейных привязанностей в жизни Тамары, по ее собственному признанию, привело к сухому и бесплотному характеру отношений в ее собственной семье: «Все равно как-то была отдалена все детские годы от внимания матери, видимо, так потом сформировалось впоследствии».

Практически все наши респонденты, вспоминая о своем детстве, рассказывали о том, как они играли с родителями или сверстниками в «обычные игры», прятались в сарае, как «партизаны», или сражались в шахматы, а в памяти Тамары эта информация отсутствует:

Как таковых игр не было у нас. Мы родителей видели-то только на каникулах, да на летние каникулы. ...Ну, какие игры у нас были, ну кто мог там у нас бегать из здоровых, среди больных были и получше дети, они как на физкультуре, там, в догонялки бегали, а я на костылях, какие там могли быть игры? Обычные учебные дни проходили. Я и не помню.

Недостаток собственного семейного опыта, отсутствие моральных и физических сил «создавать» семью сказывается на ее сегодняшней жизни.

В ее истории проявляется довольно распространенная, судя по рассказам других респондентов, тенденция к «эндогамным» союзам — бракам между инвалидами, причем партнера обычно подыскивают родственники. Тамару с ее будущим мужем познакомил его сестра. Играя по правилам, заданным вначале ее матерью, потом — интернатом и ее окружением, Тамара устроила свой брак с другим инвалидом, когда ей

было 29 лет и надо было как-то определяться. ...Он был не против, мы сошлись, он меня любил, я просто уважала его, но как таковой, большой любви к нему у меня никогда не было... я просто решила, что выйду замуж за больного, но не за здорового... Потому что по жизни мама говорила: надо искать пару по себе, вспоминая эти слова, я так и сделала. Это моя такая позиция, не знаю почему, но мне казалось, что должен быть такой же больной человек, такой же, как и я, а не здоровый.

Для Тамары было важно не только выйти замуж, но и завести ребенка, и эту цель она воспринимала как «свой крест»: «когда мы сошлись с мужем и когда у нас начались некоторые передраги, я ему сказала сразу: что сына я рожала сама для себя, что сын для тебя — ничего, а для меня — это все. Это дальнейшая моя жизнь, моя забота, моя драма». Она жалуется, что ей приходилось физически и морально работать за двух родителей в начале ее материнской карьеры, и любовь к мужу, ставшему отцом, прошла, не начавшись. Сейчас Тамара в разводе и живет с повзрослевшим сыном, причем, по ее словам, в их семье нет никаких традиций, праздничных застолий и тостов. Ни она, ни сын праздники не любят:

Для нас праздник — как обычный вечер или как обычный день. Как-то так. Но вот встреча Нового года, Рождество более-менее, а остальные праздники как-то так, по себе. Даже день рождения может пройти обычно, обыденно, и все, без накрытия стола даже... Может быть, из-за финансового вопроса, а может быть, из-за какого-то другого.

Свой день рождения сын отмечает, уходя «в кафе с ребятами», а к Тамаре приходят отец и подруга, тоже инвалид. Сын в этот момент отсутствует. В этой семье не обсуждают ни правила, ни события, ни чувства. Все, к чему Тамара и ее сын пришли на сегодняшний день, получилось «само по себе, без слов, молча, жизненно. Как-то само по себе это разрешилось, изо дня в день, из месяца в месяц».

Исследования убеждают нас в том, что не сама по себе инвалидность, а бедность и одинокое родительство оказываются сильными факторами, определяющими возможность для маневра, который имеют дети и их матери, сужая их выбор (Read 2000, 112). В таких условиях матери часто пренебрегают своими потребностями ради того, чтобы удовлетворить потребности ребенка, женщины борются за ресурсы, чтобы создать пространство, где их дети и их отношения могли бы расцвести. Однако случай Тамары убеждает нас в том, что это пространство оказывается особенно тесным в отсутствие позитивных моделей материнства, почерпнутых из собственного опыта в детстве, опыта близких родственников и друзей, наконец, при помощи профессиональных семейных консультантов.

Любовь: «Тигр может съесть обезьяну»

Любе тридцать три года, она замужем и имеет сына десяти лет, которого родила, несмотря на предостережения врачей о риске для ее здоровья, — к тому времени уже был поставлен диагноз «рассе-

янный склероз». Получив высшее экономическое образование и среднее специальное как оператор ЭВМ, она никогда не занималась поиском работы самостоятельно — и на завод, и в редакцию газеты ей помог устроиться муж. Вскоре она ушла в декрет. После рождения ребенка болезнь прогрессировала, и в 1999 году Люба слегла. Самыми яркими событиями в жизни она считает знакомство со своим мужем и рождение сына:

Вот Сережку встретила — самое яркое событие. Сын родился — тоже яркое. Врачи запрещали. Я потом просто наплевала на врачей. Он так мечтал тоже о сыне, хотя он с меня ничего не требовал, никогда ничего не требовал. Просто я хотела подарить ему сына. Я чувствовала себя замечательно тогда, нормально. Беременность у меня протекала легко, шутя. Я родила сына. Через месяц у меня слабость в ногах стала расти, потихоньку, потихоньку. Кожа стала трескаться. Дошло до того, что в 99-м я слегла. Вот так, два года уже лежу, тяжело. Спать даже очень проблематично. Ладно, не буду жаловаться, все нормально, [выделяет с гордостью] такой муж у меня!

В доме нечасто бывают гости, но все же общение необходимо, и иногда Люба приглашает то подругу, то двоюродную сестру. «Конечно, приходится шуршать, приходится готовить. Все-таки он все готовит, не я. Скажет: “Вот, наприглашала, а кормить-то?” Мне пообщаться, конечно, охота, но готовить-то ему». Отмечаются и дни рождения, и годовщина свадьбы, но только если об этом вовремя вспоминают: «Забудем, потом вспомним: Сережка, вот сегодня то-то, то-то. Покупаем вина хорошего, просто выпьем... Ему некогда, он обычно забывает, я обычно что-то вспомню, скажу». Эти праздники отмечаются в узком семейном кругу, так как квартира маленькая, хотя, впрочем, в последнее время Люба забыла, «как отмечают их», поскольку у мужа и сына дни рождения летом, когда она гостит у отца в Татарстане.

Раньше она готовила, покупала продукты и работала, но сейчас не может этого делать,

а потому он делает это все сам. Понимаешь, ему памятник надо поставить при жизни... Сережа просто много работает, зарабатывает, и всю остальную львиную долю он взял на себя, все делает в семье (со слезами в горле). Он воспитывает сына, он стирает ему штаны, а я... Он воспитывает сына, готовит еду, он все делает вообще, если бы не он, я вообще не знаю... что было бы со мной... [Принятие решений] у нас не происходит. Опять-таки он сам принимает решения все, потому что он такой, он у меня тигр по гороскопу. А я обезьяна *всего лишь*. Потому что написано: *тигр может съесть обезьяну*. Он у меня хоро-

ший, но иногда достаточно резкий бывает, ну если я зарываюсь там, скажем. Бывает, крикнет там, ну, короче так.

Стиль поведения ее супруга стал более авторитарным, но Люба полностью оправдывает и принимает это:

Он может прикрикнуть, допустим. Ну, ухаживает он за мной хорошо, очень хорошо ухаживает. Ну, он устаёт, просто, понимаешь, у него работа бешеная. И я, и ребенок, и все там, приготовить, покормить, постирать. Ну, все же на нем, понимаешь. Он нервничает, естественно, порой прикрикнет на меня. Ну, естественно, что там говорить, конечно же. Я его не сужу ни в коей мере, я все понимаю, я ему очень благодарна, до такой степени благодарна!

Люба исключена из процесса принятия решений, по ее словам, это «тоже понятно, что я не могу решить ничего, он, конечно, решает за нас обоих». Она выработала собственную теорию, которая оправдывает ее нисходящую моральную карьеру в семье:

Он сделает лучше, чем я, это же понятно. Он больше понимает, ориентируется в жизни. Я теперь совершенно не ориентируюсь, ничего не знаю, ничего не понимаю. Только он знает, что почему, где и как. Он-то все знает поэтому. Конечно, конечно, ему лучше, я ему все полномочия предоставляю, естественно, пускай он, умеет, может, пусть. [Я] не против совершенно.

Муж никогда не спрашивает ее мнения, не интересуется ее желаниями и приоритетами, и, рационализируя собственную никчемность в глазах мужа и ребенка, Люба не достигает эмоционального баланса с подобной ситуацией, переживая свое унижение в глубине души:

Да, не бывает такого, не спрашивает он [голос срывается]. Какое у меня может быть мнение?! Зачем? У него такие вопросы не возникают просто-напросто... Потому что, не знаю, не возникают, и все, что мне может хотеться. Если на диване. Что мне может *здесь* хотеться... о чем речь вообще...

Такое постепенное удаление себя из числа примечательных личностей и с повестки значимых событий внутри семьи уже возымело свои результаты в сознании сына Любы:

Раньше мы гуляли за Волгой, он еще маленький был, не знаю, он меня как-то больше любил, мне кажется. Он мне не хабалил, просто-напросто не хамил, а сейчас вот это имеет место, понимаешь. Он видит, что мама вечно беспомощная какая-то. На диване сидит, он как-то ска-

зал: ты какая-то бесполезная, мама, сидишь на диване, понимаешь, так... [плачет].

В момент интервью, хотя еще был ранний вечер, Любовь сидела на разобранной постели, укутанная одеялом, в ночной сорочке. В комнате был рабочий беспорядок: разбросана одежда, навалено много коробок; как потом объяснила Любовь, это связано с тем, что ее муж — фотокорреспондент. На кухне, куда нужно было сходить по просьбе Любы, оказались горы немытой посуды и другие следы заброшенности. Любовь попросила сына достать фотоальбом. Сын начал возмущаться, говорить, что она всем уже надоела со своими фотографиями, что она показывает их всем, кто к ней приходит, и что папа не разрешает. После долгих препирательств альбом был найден, и некоторое время Любовь подробно с нежностью и ностальгией в голосе рассказывала о каждой снимке. Фотореминисценции обрывались на возрасте 25 лет, когда она в руках держит годовалого ребенка; в альбоме не было ни одного ее образа в инвалидной коляске. К концу интервью пришел муж, она очень быстро попросила убрать альбом, чтобы тот не заметил. На протяжении интервью сын заходил в комнату, паясничал, не хотел уходить, а уговоры матери не всегда помогали, однако, когда появился муж, ситуация резко поменялась. Отец прикрикнул на сына, пригрозил наказать, сын угомонился и больше не мешал. Люба пожаловалась, что сын в последнее время ей «уже не доверяет, что ли, свои мысли, так, понимаешь, все хуже и хуже просто-напросто. Так в последнее время, ребенку просто скучно со мной».

В случае разногласий и обид в конфликтах между супругами Любовь всегда идет первая на примирение: «Я первой иду, всегда. Муж не активно идет. Вот я такая». Всегда считая себя неправой, она сразу же просит прощения у него: «подсознательно все равно я виновата всегда бываю. Сережка, он святой человек, мягко говоря, вот так». В ее повествовании ощущается небольшой внутренний протест: ей хотелось бы иметь

возможность ходить, я думаю, быть хозяйкой в доме. Вот. Потому что сейчас я как растение, я — растение, понимаешь. Несмотря на то что Сережа заботится, ухаживает за мной, но я как растение, меня, конечно, эта ситуация не устраивает. Но...

Заключительное «но...» символизирует слабый дух этого протеста, который как-то сам по себе гасится, теряется в тени монументальной сакрализованной фигуры супруга Любы, памятник которому

они воздвигали вместе: «Семья для меня все. Муж для меня всё, понимаешь. ...Сережка такой человек!» Люба словно растворяется внутри своей семьи, повинуюсь физическим и эмоциональным ограничениям, которым она подбирает оправдания из восточного гроскопа. По сравнению с фотографиями из ее прошлого, образ сегодняшней жизни — это «автопортрет на негативной пленке, рассказывающий о свободе жить, никуда не выходя» (Абэ 2000).

Если мы признаем, что семья как социальный институт является полем борьбы за доминирование (Bourdieu 1990, 111), то станет ясно, почему в данном случае здесь воспроизводятся практики символического насилия. Инвалиды и члены их ближайшего окружения — партнеры, родители, дети — как агенты поля семейных отношений во многих случаях разделяют неверное отождествление или непонимание (*misrecognition*) относительно того, что структура этого поля воспроизводит структуру экономической и политической власти в обществе. Социальные и семейные роли определяют для каждого из членов семьи специфические идеологии, легитимирующие властные отношения и символическое насилие в их повседневной деятельности. Институциональные условия для принятия символического насилия в качестве само собой разумеющейся практики семьи задаются габитусами ее членов. Габитус каждого члена семьи позволяет им как агентам этого поля адаптироваться, успешно рационализировать, объяснить для самих себя тот вред, который они причиняют близким, или, напротив, принять вред в отношении самих себя, не воспринимая подобные отношения как борьбу или угнетение, но принимая такие отношения как нечто само собой разумеющееся.

Согласно Пьеру Бурдьё, следует подвергать сомнению не столько габитусы агентов, которые пытаются приспособиться, «пригнать» себя и других к системе символического угнетения, а сами модели властного превосходства (Bourdieu 1988, 207). Речь идет о демистификации поля семейных отношений, которая может позволить агентам распознать собственное участие в борьбе за власть, чтобы они смогли отказаться сотрудничать в воспроизводстве символического капитала таких отношений, в качестве которого выступает в том числе система предубеждений об инвалидности. При этом габитус может трансформироваться, позволяя агентам подвергнуть сомнению доминантные структуры поля, однако это требует рефлексивной критики или самокритики агентов (Bourdieu 1990, 24—25, 27, 116), которые в этом случае могут остановить символическое насилие вначале внутри семьи, а затем и в других сферах социальных взаимодействий.

Марина: «Семья — это в принципе тоже труд»

Для Марины семейные отношения — это работа:

Семья — это место, где можно рассчитывать на поддержку... Это ответственность, это отношения, над которыми надо работать всегда, то есть мне кажется, что отношения сами по себе сохранять в хорошем виде — сложно это. Может быть, у кого-то есть такое, но я считаю, что над отношениями надо работать. То есть семья — это в принципе тоже труд, в который надо вкладывать свои силы, получать, естественно, какую-то отдачу. А я бы не стала вкладывать свои силы и душу в то, где не могла бы видеть какой-то отдачи. Для меня, естественно, важно получить что-то назад.

Поставив себе цель — во что бы то ни стало жить независимо от матери, Марина добилась своего: у нее есть муж, интересная работа, и она живет самостоятельно, хотя мама часто навещает ее. В отличие от других респондентов, которые в периодизации своей жизни делают отметки «до» и «после» инвалидности, заболевания, операции, причем «после», как правило, означает уменьшение социальных контактов, усиление физических трудностей, у Марины другие этапы: «жизнь с мамой» и «самостоятельная жизнь», которую она понимает не обязательно как

умение делать все, но... возможность или заплатить, чтобы мне это сделали, из своих личных денег, или организовать это так, чтобы я это получила. Это и есть самостоятельность, на мой взгляд... Человек, который вообще сидит парализованный... может сказать, что он самостоятельный, и я не удивлюсь, возможно и такое, наверное, в какой-то степени.

Впрочем, сейчас идея жить вместе с мамой уже не чужда Марине:

Если так случится, что я останусь одна, мне станет хуже, вполне вероятно, что я съеду с мамой. То есть мне вообще бы хотелось съехаться с мамой... даже и в таком варианте... Я бы хотела жить с мамой вместе, но так было бы проще. Все равно я нуждаюсь в ней. Не хочу строить из себя героя какого-то там, что я вот такая вот молодец, со всем справляюсь, все такое... На самом деле мамина поддержка была бы важна.

Евгения: «Мы обязательства друг перед другом осознанно держим»

С Евгенией мы познакомились на семинаре по независимой жизни инвалидов. Женя оказалась на редкость доброжелательным чело-

веком, с ней было так легко общаться. Она полна задора и оптимизма; казалось, что она может кого угодно растормошить своим задором и неиссякаемой активностью. Не зная, сколько ей осталось жить, она вся светится оптимизмом и радостью жизни, по крайней мере, на людях, но, скорее всего, это прежде всего живет в ее душе. Назначая время для интервью, Женя старалась выбрать то, когда муж будет на работе, чтобы не мешал. Дверь открыла Женина мама, очень вежливая, обходительная женщина. Квартира лучилась уютом и чистотой, от обстановки в доме веяло теплотой и заботой. Во время интервью нас пару раз прерывала Женина мама, на что Евгения ей отвечала также криком через дверь, хотя и достаточно сдержанно. Как потом объяснила Женя, ее мама — замечательный человек, милый, добрый, трудолюбивый, но периодически она уходит в запой, и тогда возникают проблемы в отношениях. Во время интервью Женя была серьезной, а голос звучал несколько устало. Поразительной была разница бодрого, «звонкового» поведения в организации и сосредоточенного, слегка грустного состояния дома. Она выглядела как человек, на которого возложена большая ответственность, и безрассудное поведение недопустимо. В конце нашего разговора, после окончания интервью, пришел Володя, ее муж, мы сидели пили чай и ели бутерброды с маслом, которые оказались необычайно вкусными, — возможно, потому, что Женя предложила эти булочки с маслом с таким восторженным видом, они были под стать изысканному деликатесу.

В рассказе Евгении семья — это не просто место, «где тебя ждут». Это еще и

обязательство перед собой, что ты живешь рядом. Осознание того, что они тебе ничего не должны, то, что ты хочешь, за то ты берешься и сама делаешь. В итоге считаешь... и если ты требуешь очень многого, то я не думаю, что это положительно сказывается на взаимоотношениях в семье, в какой-то степени. Нужно принимать и уважать человека, поэтому принимаешь его [со всеми особенностями].

Евгения подчеркивает договорный, реципрокный и осознанный характер отношений:

Если уважаешь и любишь, есть отдача. Наша семья, мы обязательства друг перед другом осознанно держим. Я не знаю, как бывает, что люди теряют голову и делают как-то вот и делают, что хотят. У нас все, что задумано, все по полочкам разложено. В итоге знаешь, что следующий шаг будет такой.

Опыт многих наших респондентов и их семей учит нас, что те люди, которым пришлось жить с инвалидностью, и их близкие, пережив испытания, становятся сильнее. Когда инвалидам позволяют — они сами или окружающие — делать выбор и рисковать (обычно это часть существования каждого «типичного» человека), это возвышает человеческое достоинство и мобилизует каждого индивида, наделяя его ощущением самообладания и уверенности (Spiegle, Pol 1993, xv).

Локализованное знание, разделяемое инвалидами и их семьями, порожденное их опытом семейной жизни — родительства, супружества, — является приватным и индивидуальным, структурно исключенным из академической мысли и остального публичного мира, где эти голоса замалчиваются из-за социальных табу и ограничений, обычаев и практик. Жизненные позиции, сложившиеся в семьях инвалидов, далеко не всегда осознаются в качестве строгой системы принципов и артикулируются нашими информантами через практическое отношение к конкретной ситуации. Эта своеобразная логика, свойственная самым разным полям практики или практическим мирам (Бурдые 2001, 167—168) наших информантов, позволяет нам как исследователям, находящимся вне контекста повседневного опыта, отрефлексировать их жизненный выбор и усилия по социальной мобильности.

Для того чтобы взглянуть на проблему социальной мобильности внутри семьи, нам было важно узнать, до каких пределов семейная структура усиливает или снимает иерархии физических различий, вызванных инвалидностью, возрастом и полом (Poster 1988, 164), а также является ли семейная структура достаточно гибкой или, напротив, она не может реформироваться и минимизировать эти иерархии и вызванное ими неравенство. Таким образом, мы смогли понять механизм дисциплинарной власти не только в аспекте родительско-детских отношений в семье, но и в более широком внутри- и внесемейном социальном контексте. В ряде рассмотренных нами случаев проявились практики угнетения, действующие на протяжении всей жизни: начинаясь внутри семьи и с ранних контактов с системой здравоохранения и образования, они предопределяли цепную реакцию социального исключения для взрослых инвалидов.

Марк Постер в его критической теории семьи пишет о пугающем выборе, с которым сталкиваются сегодня люди, — выборе между семьей и полным одиночеством. Семья дает психологический комфорт, обеспечивает взаимопомощь и освобождает от об-

ществленного контроля. В то же время семья создает иерархии возраста и пола, которые воспроизводят социальное неравенство как внутри нее, так и во всем обществе. А может быть, люди делают такой большой акцент на семье и детях потому, что они одиноки, потому, что живут в сильной изоляции и у них нет друзей, нет любви, привязанности? Иногда они вынуждены оставаться в семье и терпеть унижение, насилие и ложь, так как находятся в экономической зависимости и не видят другого выхода. В этих случаях вряд ли семья поможет решить проблемы, сформированные плохой организацией общества (Poster 1988, 202—204).

Организация современного общества часто противоречит интересам женщин и мужчин с инвалидностью. В историях, рассказанных нашими респондентами, этот выбор — жить в семье или остаться одному — сделан в пользу семьи. Иногда в этом выборе превалируют соображения необходимости, в других случаях — чувства долга, ответственности или вины, во многих семьях это любовь, уважение и привязанность. Семья инвалида — это не какой-то один тип семьи, относящийся к «группе риска» или к «семьям с проблемами», а огромное разнообразие случаев. Семьям инвалидов доступны те же радости и горести супружеских и родительско-детских отношений, у них есть мечты, планы и реалии так же, как и в других, «нормальных» семьях. И хотя в паттернах детско-родительских и супружеских отношений заложен потенциал социальной мобильности инвалидов, их ресурсы достижения автономности и формирования позитивной идентичности, в историях семей мы наблюдаем, что порой отношения между супругами, родителями и детьми приобретают характер обладания, авторитарной власти и подчинения, освящаемые семейными идеологиями романтической любви, материнской заботы и домашнего очага. Эти идеологии лишают людей доступа к ресурсам сообщества, заставляют игнорировать потребности друг друга и в итоге разрушают отношения. Многие из тех проблем, что испытывают инвалиды и их семьи, оказываются достаточно стандартными — возникают они по причине предубеждений по отношению к инвалидам со стороны окружающих, гендерных предрассудков и довольно типичных в семейной жизни межличностных конфликтов.

Приложение

Список участников интервью⁴:

- Интервью 1:** Юлия, 30 лет, инвалидность с 22 лет (рассеянный склероз), живет с родителями, работает на дому.
- Интервью 2:** Вячеслав, 36 лет, инвалид с детства (детский церебральный паралич), живет с женой-инвалидом, двумя детьми и матерью, работает на дому.
- Интервью 3:** Артем, 35 лет, инвалидность с 25 лет (травма позвоночника), живет с мамой и отчимом, работает на дому.
- Интервью 4:** Роман, 38 лет, инвалидность с 29 лет (травма позвоночника), живет с родителями, работает.
- Интервью 5:** Евгения, 35 лет, инвалидность с 10 лет (заболевание сосудов, ишемномыома), живет с мужем и мамой, работает руководителем проекта в организации инвалидов-колясочников.
- Интервью 6:** Марина, 24 года, инвалидность с 15 лет (миопатия), живет в гражданском браке с молодым человеком, работает на дому.
- Интервью 7:** Алексей, 53 года, инвалидность с 43 лет (травма позвоночника), живет со своим сыном от первого брака, создал и возглавляет общественную организацию инвалидов-колясочников, где и работает.
- Интервью 8:** Тамара, 49 лет, инвалид с детства (детский церебральный паралич), живет с сыном, разведена, работает на дому.
- Интервью 9:** Любовь, 33 года, инвалидность с 21 года (рассеянный склероз), живет с мужем и сыном девяти лет, не работает.
- Интервью 10:** Людмила, 22 года, инвалидность с детства (осложнение после менингита), живет с мамой, братом и бабушкой, работает на дому.

ми доминирования, однако практики подчинения часто сталкиваются с различными формами конфликта и сопротивлением (см.: Poster 1988, 165).

⁴ Имена респондентов изменены.

Илья Утехин

ЯЗЫК РУССКИХ ТАРАКАНОВ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

In normal daily life this sort of thing is
common enough; it passes muster.

*Gregory Bateson*¹

Принцип принципа, любовь у стенки и размножение насекомых

Люди принципиальные всегда следуют какому-нибудь принципу (хотя бы «никогда не изменять своим принципам») и всегда готовы это продемонстрировать. Как они там следуют и что демонстрируют на самом деле — еще вопрос, ведь на всякое правило они же найдут и исключение.

Сказать, что человека принципиального узнаешь за версту по походке, было бы преувеличением. Про субъекта малознакомого сразу не поймешь, «просто так» он живет или же все время держит в голове принцип и сверяет с ним свою жизнь. Но вот при более тесном знакомстве, в повседневном общении (в семье или в другом коллективе) принципиальность иного ближнего, когда тот не в духе, систематически оборачивается стремлением призвать всех к порядку, воспитать-таки наконец. Локоть родственника, товарища и брата норовит тебя задеть, притом намеренно и большей частью по пустякам.

Мелочи жизни вообще составляют континуум, членимый до бесконечности, было бы желание — найдется еще что-нибудь. Чем мельче мелочи, тем больше их число. Где ты опять оставляешь свои носки, ты никогда не выключаешь свет на кухне, почему за тобой всегда надо убирать, никогда не кладешь вещи на место, крошки на скатерти, и мусор не вынесен, сколько раз тебе можно напоминать об этом, и еще: когда наконец ты отнесешь зонтик в

¹ «В повседневности такие вещи довольно обычны, на них не заостряют внимания» (Bateson 1972, 243).

мастерскую? Что-нибудь в этом роде — на любую тему. Отметим характерные «опять», «всегда», «никогда» и тому подобные «доколе?», указывающие на неединичность случая.

Хотелось бы противопоставить такой иногда вдруг пробивающейся принципиальности не беспринципность (под ней понимают неразборчивость в средствах достижения цели, а это тут ни при чем), но некое более спокойное отношение к действительности, не связанное рабским следованием условностям и переживаниями по их поводу. Назовем это прагматичностью. Благодаря такой позиции облегчается достижение практической цели. Ведь, столкнувшись с проблемой и непременно найдя виноватого, «принципиальный» партнер начнет высказывать претензии, вспоминать все былые прегрешения: «я же говорил» или «тебе еще когда это было сказано». Он воспользуется случаем научить тебя уму-разуму даже в ущерб непосредственному разрешению конфликта. Другое дело — жертва этого импровизированного воспитания. Отчасти движимая внушенным ей чувством вины, а отчасти — желанием прекратить эту безобразную сцену, жертва хочет прежде всего ликвидировать проблему подручными средствами, здесь и сейчас, не обращаясь к моральным аспектам и долгой предыстории. Которая, кстати, сторонами трактуется по-разному.

Воспитательные ситуации неизбежно возникают при общении с молодым поколением, и тут только особо талантливый родитель умеет обойтись без обидной риторики. Как бы ей, жертве, ласкало слух благородное «убери, пожалуйста, крошки со скатерти» — ан нет, она слышит все то же «доколе?». Отчасти вопрошающего можно понять, ибо у жертвы наготове тактика бытового саботажа, способная вывести из себя кого угодно: саботер не отказывается делать, но и не делает, перекладывая работу на другого. В ответ на просьбы о помощи он отвечает «сейчас» и «ага»², но исполнения приходится ждать, причем безрезультатно. Проще уж самому, поскольку плавное течение жизни натывается на гору грязной посуды и тормозится отсутствием чистой сковороды.

Даже самому спокойному родителю временами хочется быть принципиальным. Есть такая корейская сказка про любовь матери. Мать встречает сына, вернувшегося с учебы, но, прежде чем пустить его в родной дом, испытывает достигнутое отпрыском мастерство: при погашенном свете просит его писать иероглифы,

² Ср. хамски-иронические «шас!» и «ага!» в функции демонстративного отказа повиноваться.

пока сама печет пирожки. Пирожки получаются хорошие, а иероглифы — кривые. Таким образом, мать дважды отсылает сына учиться дальше, отказывая в ночлеге, — на третий раз иероглифы выходят не хуже пирожков (*Материнская любовь* 1955, 148—152). Короче, жалея младенца — губишь его. Поучительно, нечего сказать: я тебя, конечно, люблю, но проявлений любви в виде ласки ты от меня не получишь, потому что не такой хороший, как должен, а ты помучайся, потерпи, атаманом станешь (своей же пользы сам не понимаешь), а послушаться меня не смей. Так измываться — из самых благих побуждений! — можно только над дитятею, которое в высшей степени зависит от тебя и никогда не пошлет тебя на фиг со всей твоей педагогикой.

Принципиальность как своеобразное проявление заботы встречается как в отношениях родителей и детей (любого возраста), так и в отношениях супругов. Что неудивительно, поскольку этот «ген принципиальности», должно быть, передается от поколения к поколению даже и внегенетическим путем: бывшие отношения со своими принципиальными воспитателями служат образцом для новых отношений, складывающихся с супругом или со своими детьми. Так что громом и молниями по поводу неубраных игрушек родители, сами о том не задумываясь, программируют схемы отношений своих отпрысков в их будущей семье.

Впрочем, ребенок с природной склонностью к спокойному прагматизму рано научается делать поправку на обстоятельства, списывая свои беды на усталость, плохое самочувствие или настроение воспитателя. А кроме того, проще признать, что ты действительно плохой, и почувствовать себя виноватым, чем воспринять принципиальность воспитательных потуг буквально — в том прозрачном смысле, что тебя лишают любви. По крайней мере, сейчас, в данный момент. По «принципиальным» соображениям.

Но, боже мой, из-за чего? Жертве гнева, случается, «попадает» не меньше, чем какому-нибудь распоясавшемуся хулигану («Что, попало тебе?» — спрашивают жертву сочувствующие). Причем достается, возможно, и за дело — но тяжелая артиллерия скандала и аргументы, апеллирующие к моральному облику, контрастируют с мелким, а то и ничтожным масштабом повода.

Когда такие случаи повторяются регулярно, это указывает на очевидный, в общем-то, факт: систематические ссоры вовсе не имеют в виду достижение практической цели, а скоряются в отношениях между партнерами, причем скандалы испытывают эти самые отношения на прочность. Прочность отчасти обеспечивает

совместное проживание: ведь супругам друг от друга и детям от родителей никуда не деться — не уходить же, в самом деле, из дому (некоторые, впрочем, со временем демонстративно уходят). Так что удобнее — и безопаснее всего — прижать ближнего к родным стенам. И там, поставив к стенке, его воспитывать.

Как известно, в целях воспитания помимо громкого скандала нередко прибегают к установлению тишины — к демонстративному разрыву отношений: я с тобой «не разговариваю» (интересно, а что ты делаешь, сообщая мне об этом?). Государства тоже, слушается, временно отзывают своих послов, точь-в-точь как коммунальный сосед «не общается» с соседом (в смысле — не здоровается, встречаясь на кухне). Тишина получается зловещей, потому что на самом деле несчастные вынуждены, хотя бы и без слов, общаться уже своим одновременным присутствием в замкнутом пространстве, а то и молча хлебать суп за общим семейным столом. Их позы и взгляды красноречивы. Но неразговаривающий все-таки гладит неразговариваемому рубашку или оставляет ему деньги на школьный завтрак.

Инициатор и скандала и зловещей тишины убежден, что прибегает к таким мерам не по своей воле и не просто так, а отвечая на неблагоприятное поведение воспитуемого. Неблаговидность эта может состоять в чем угодно, в том числе в словах, дерзких или обидных. Но спросите воспитуемого, и он скажет, что не он первый начал, а если что и сказал — так его спровоцировали. Установить, кто на самом деле «первый начал», нельзя уже потому, что этого «самого дела», истины в последней инстанции, попросту нет, сколько ни разматывай долгую историю систематических ссор. Тут у каждой стороны — своя правда.

Кроме того, в семье все осложняется еще целым рядом обстоятельств. Во-первых, партнеры изначально неравноправны. Разве может тот, кто правомочен устраивать громы и тишину, быть зачинщиком? Это он диктует здесь правила игры. Во-вторых, право сильного возникает не на пустом месте, а основано на его обязанностях. Так он проявляет свою заботу и даже любовь, стремится сделать жизнь лучше и справедливее. Он бушует, если можно так выразиться, по обязанности — ради установления порядка. В довершение всего узы родственных чувств, связывающие партнеров, заставляют воспитуемого парадоксальным образом признавать и гром и безмолвие проявлениями помянутых заботы и любви, а самого себя чувствовать виноватым. Да хоть и виноват — но пропади она пропадом, такая забота.

Правду сказать, не только родители из детей, но и дети из родителей веревки вьют, это у них взаимно. Знакомый врач делился как-то курьезами: некий младший школьник дома ест только в ванной, если ему накроют на работающей стиральной машине. А все потому, что в раннем детстве, чтобы не капризничал за едой, его развлекали зрелищем — как там все крутится и мелькает. Теперь вот привык и по-другому есть отказывается. Или такой случай — уж и не знаю, как оно там у них исторически сложилось: у девочки пяти лет травма — результат падения со шкафа. Что она, спрашивается, там, на шкафу, делала? И сказать неудобно: справляла в горшок большую нужду. Да так оттуда и сверзилась. Родителям, которым приходится давать подобные объяснения, есть отчего смутиться: вот до каких «странностей» доводит иногда банальное вроде бы приучение к горшку.

Или вот знакомая няня про одних клиентов говорила, что они спят по ночам на кухне своей однокомнатной квартиры, а ребенка кладут в комнате на тахту. Однажды заснул на тахте после долгих криков — решили, что только там и спит. А ребенку — три месяца³. Как оно так сложилось, понять несложно: однажды что-то по стечению обстоятельств оказалось эффективным, а теперь это что-то повторяется в целости, без изменений и с суверенным трепетом — в надежде, что и снова все получится. Так взрослые люди и трехмесячному ребенку сдадутся в рабство.

³ Ср., например, как детский психолог рассказывает о похожей далеко зашедшей ситуации. Клиент психолога излагает проблему: «Вы знаете, моему сыну четыре года, я серьезный человек, я доктор наук, я бизнесмен, вот этот ребенок, мы его очень ждали, мы его очень любили, но теперь он настоящий тиран. Потому что, об этом никто не должен догадываться, но я каждое утро и каждый вечер лежу на коврике, катаю по себе машины, заставляю своего любимого Сереженьку взять в рот ложечку. Потому что мой ребенок имеет такие поражения мозга, не может даже держать ложку в руке и заставляет меня проделывать разнообразные манипуляции для того, чтобы ребенок не умер с голоду!» И что же оказывается? «Поражения мозга» — естественно, вымысел, чтобы как-то оправдать даже и внешне абсурдное поведение взрослых. «Когда мы начали работать, выяснилось, что мальчик прекрасно держит ложку в руке, имеет довольно тонкую моторику, очень хорошо владеет своими руками, но знает, каким образом можно воздействовать на своих родителей, чтобы родители оказали ему максимум внимания. И это способ активного манипулирования, который к своим четырем годам он очень хорошо освоил» (цитируемые тексты взяты из выступления Анны Скавитиной в программе «Личное дело» (25.08.2002), радио «Свобода»; транскрипция передачи взята с интернет-страницы: URL: <<http://www.svoboda.org/programs/pf/2002/pf.082502.asp>>).

Как теперь говорят, «у всех свои тараканы». Про «всех» это, возможно, и преувеличение⁴, в оправдание кому-то придумано, но в целом верный тезис. Это и вам на заметку, уважаемые граждане составители словарей «Новое в русской лексике»: слово «таракан» в современном просторечии может значить присущие индивиду или его семье странности, легкие отклонения от нормы, постороннему человеку кажущиеся абсурдными. Интересно задуматься, что это в таракане настоящем, с шестью лапками и крыльями (знаете ли вы, что у таракана есть крылья и он умеет летать, только невысоко?), так вот, что это в обычном кухонном таракане так приглянулось носителям русского просторечия, чтобы переносно обозначить этим словом завихрения (они же — «заскоки») ближнего. Вообще, таракан — это что-то такое неприятное и даже гадкое, хотя в целом для жизни не опасное. Самое же характерное, что, придя, например, в ресторан, сразу и не поймешь, водятся ли там тараканы. Это вот когда один какой-нибудь экземпляр выползет на скатерть или, чего доброго, на тебя ползет, тогда понятно: водятся. Но все равно всегда неожиданность получается. Так и с теми тараканами, что в переносном смысле: ведь не написано же у юноши на лице, что он ест только на стиральной машине, а у девочки, что она какает только на шкафу.

У взрослых тоже по лицу всего заранее не узнаешь, а у них тараканов — в смысле переносных — за жизнь иногда накапливается будь здоров, у каждого свои. Пока имеешь с ними дело в обстановке строго церемониальной и на равных, все ничего. Но вот, скажем, говорят тебе на ухо: «Вы уж, пожалуйста, то-то и то-то при нем не упоминайте, он этого не любит». И приходится следовать совету, чтобы не попасть под горячую руку. Или оказываешься в гостях, а там — свои правила, свой Фома Фомич Опискин: извольте подыгрывать, чтобы никого не обидеть.

Есть, впрочем, люди просто эксцентричные, которые придумывают себе маленький спектакль и играют в нем роль, но «тара-

⁴ Интересно попытаться сформулировать, что такое «отсутствие тараканов». Этакая нулевая ступень нормального человеческого коммуникативного поведения, по отношению к которой отсчитываются завихрения. Человек без тараканов доброжелателен, настроен на сотрудничество, честен и без камня за пазухой, без двойного дна: говорит прямо, но тактично. И не пытается манипулировать собеседником. Плюс к тому — собственно, с этого в данном контексте следовало бы начать — такой человек не сдается ближнему в абсурдное рабство, не идет на поводу у тирана, хотя бы и неосознательного.

канов» у них тем не менее нету. Так, например, чтобы разнообразить свою внешность, можно ходить повсюду в шарфе; а иной с этой же целью и на голове выбреет себе какой-нибудь знак доллара или что похлеще. Про неброские странности вроде постоянного ношения при себе кипятильника, кружки и провизии на три дня («чтобы три дня в лесу выжить», притом что в городе леса не бывает) уж и не говорю. Все это — невинные игры, от которых окружающим не холодно и не горячо, ибо игрок ничего никому не навязывает, уваживать себя не заставляет. «Тараканоносцы» же, напротив, всегда готовы понервничать, они переживают и напрягаются по каждому пункту своей инаковости, только прикоснись. Вот еще говорят: «у него на этом “пунктик”». И тут уж от кого-то обязательно требуется уступить.

В принципе тараканы плодятся и размножаются среди родственников, от старших к младшим и обратно. Но когда вы готовы примириться с чьими-то специфическими особенностями и этот кто-то — вам не родственник, то это уже показательно. Либо вам что-то от него надо, либо... вы принимаете его таким, каков он есть. Прощать и даже поощрять чьи-то слабости, а то и проецировать тараканы партнера, как бы глядя на мир его глазами, — не в этом ли заключается любовь? «Поделись улыбкою своей» — с этого ведь, как известно, все только начинается. А дальше бывает разное — приходится, например, что-то делить («на шестнадцать») — или еще чем-нибудь делиться. Хотя бы — тараканами.

Приручение тараканов в зеркале художественной литературы

Из привычных форм общения составляется то, что можно назвать «коммуникативным стилем семьи». Его особенности — коммуникативные тараканы — не видны постороннему глазу, разве что очень поверхностно. В одном доме «принято» часто скандалить, в другом — надуваться друг на друга, создавать напряженную атмосферу; и то и другое стараются, как правило, не очень показывать посторонним — как бы признавая тем самым, что обычаи эти составляют не самый презентабельный аспект семейного быта. Изнутри эти особенности не кажутся чем-то необычным, к ним привыкли или, по крайней мере, с ними мирятся, пока не находит коса на камень. Бывает, что и никогда не находит; тогда иному участнику

семейного коллектива семейное грядущее кажется этакой унылой вечностью — что-то вроде бани с тараканами по углам.

В силу особенностей своего бытования (по углам) этот материал не очень доступен исследователю. Ну, сколько семей может быть известно одному человеку в *таких* подробностях⁵? Разве что психотерапевты постоянно в эти подробности окунаются, но тут уж едва ли речь идет об обыденности: мало кто в нашем отечестве ходит к психотерапевту, даже будучи доведен до крайности. Поэтому мы обратимся к примерам, не взятым непосредственно из жизни, а переработанным из жизненной руды в материю литературного текста. Примеры из художественной литературы ничуть не хуже реальных кухонных диалогов — более того, жизненный материал, не будучи обработан художественно, оказывается беднее и менее выразителен. Судите сами. Положим, попал в ваши руки некий бытовой диалог плюс минимальные знания о тех обстоятельствах, которые сопутствовали его появлению. Но эти знания никогда не окажутся исчерпывающими и достаточными — по крайней мере, об их достаточности нельзя судить, не будучи непосредственным участником анализируемой ситуации⁶. Кроме того, нельзя поручиться и за то, что этот зафиксированный вами диалог — самый показательный в отношении интересующего вас явления. Художественное же произведение — и талант автора тому порука — не содержит случайного; вот вам весь необходимый контекст, читайте себе роман, пожалуйста. Художественная правда гарантирует, таким образом, особого рода достоверность и тем самым придает некоторый смысл филологически некорректной процедуре обсуждения поступков литературных персонажей, будто бы они живые люди⁷.

Ф. М. Достоевский, написав «Село Степанчиково», гордился тем, какие яркие и «безукоризненно обделанные» русские характеры у него получились (Достоевский 1985, 28:1:324—327). В данном случае нас не интересуют русские характеры как таковые. Для их раскрытия в романе используются удивительно психологичес-

⁵ Помимо собственного опыта есть еще такие источники, как сплетни и рассказы знакомых о своих семейных неурядицах. Там уже произведен отбор подробностей и, следовательно, задана интерпретация в пользу одной из сторон.

⁶ А являясь участником, ситуацию нельзя анализировать объективно, с внеположной точки зрения. Получается парадокс.

⁷ Тут следует заранее попросить прощения у чуткого читателя за подобное обращение с художественным текстом.

ки точные и жизненные, пусть и в сатирическом ключе выполненные, описания интересующих нас форм поведения — на них мы и остановимся, самое «вкусное» (художественность), увы, оставляя за кадром.

Отношения между главными героями романа Егором Ильичом Ростаневым и Фомой Фомичом Опискиным (а также между Ростаневым и его матерью) выявляются в длинной серии эпизодов, внутренне подобных друг другу. Сначала, задолго до уяснения этого подобия, читатель узнает кое-что о предыстории событий, и в частности о характере Егора Ильича. Полковник Ростанев всегда безропотно сносит и сносит не особенно оригинальные попреки матери, укоряющей его за непочтительность и эгоизм, и это несмотря на его очевидную для посторонних наблюдателей и доведенную до самоотверженной крайности преданность и покорность: «...дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег» (Достоевский 1972, 3:7)⁸ — денег для содержания своей матери и ее мужа, отставного генерала Крахоткина, живших на широкую ногу за счет «непочтительного сына».

В описании нарочито вздорного и театрального поведения персонажей, в том числе и генеральши, в пересказе их речей Достоевский — устами рассказчика, которому полковник приходится дядей, — приводит в кавычках и курсивом, как типические формулы, характерные выражения (в наших цитатах ниже они выделены жирным шрифтом). Так, когда после смерти генерала Крахоткина Егор Ильич приглашает мать переехать в Степанчиково, та устраивает целое представление с демонстративным отказом — хотя между тем уже пакует чемоданы. Читатель позднее увидит, что генеральша и ее «юрродство» (в этом значении слово «юрродство» ныне более распространено в русском языке) — тусклое подобие, незрелый предвестник изобретательности и артистизма Фомы Фомича. Тут пока еще все узнаваемо — и эта узнаваемость выделена в тексте:

Она говорила, рыдая и взвизгивая... что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково и что **нога** ее никогда-никогда не будет в доме его!

⁸ Далее в скобках приводятся лишь номера страниц этого издания.

И далее — про «ногу»: «Вообще, слово **нога**, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями...» (9). Заставив себя просить и наконец согласившись, «она говорила, что только **попробует** жить у сына, покамест только испытает его почтительность» (10). Все эти подмеченные Достоевским пункты — общие места, довольно предсказуемые⁹, и оттого в тексте романа появляется в целом не характерное для романной лексики «и т.д.», как, например, в следующем примечательном пассаже о матери Егора Ильича:

Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая... Разумеется, открывалось, что она все уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т.д. и т.д. (45).

На протяжении всего романа генеральша и Фома Фомич почти все время сердятся, сердятся демонстративно. Егор Ильич тяжело переживает эти сцены и стремится их избежать, взяв вину на себя, — он имеет обыкновение искать рассерженному ближнему оправдание и объяснение его гневу, особенно если речь идет о его матери. «Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...» (11). Или в ответ Фоме Фомичу: «Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!»¹⁰ (17).

Чтобы избежать проявлений немотивированного (с внеположной точки зрения) гнева, причина которого и ему самому не всегда понятна, Егор Ильич постоянно делает скидку гневливому ближнему, обращается с ним в высшей степени предупредительно и деликатно. То же он советует и своему племяннику, по поводу появления которого испытывает опасения: «Вообще будь осторо-

⁹ Темы шантажа звучат в пересказе слов генеральши на разные лады, особенно мотив ложного ухода. Инсценировка ухода и побуждений к уходу далее оказывается одним из повторяющихся мотивов в поведении Фомы.

¹⁰ «Дай-то бог! — заключает Фома Фомич...» (17), закрывая унижительное и мучительное, с непременным требованием ответа и постановкой Егора Ильича в позицию экзаменуемого, обсуждение вопроса о том, горит ли в полковнике Ростаневе зажженная Фомой искра.

жен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...» (37). Как выясняется, на Сергея, не видев его, «все» (т.е. те, кому принадлежит право навязывать свое мнение) уже сердятся — а он не может понять, чем мог заранее рассердить людей, ему еще неизвестных. Появление в компании нового лица, не свыкшегося с принятыми здесь условностями, чревато неприятностями, которые Егор Ильич предчувствует и которые пытается смягчить:

Я уж так заранее велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал... А я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! (40).

Обязательная часть такой дипломатии — осторожность по отношению к любому эксцентричному поведению агрессора¹¹, но и не только агрессора. По отношению к неагрессивной эксцентричности это выглядит как деликатность и толерантность, изначальная расположенность видеть в ближнем скорее хорошее, нежели дурное. Так, подобно тому как Егор Ильич оправдывает особенности характера Фомы — в том, как много он страдал, в его прежних унижениях в бытность его шутом у генерала Крахоткина, — объясняет он и странности Татьяны Ивановны, богатой невесты лет тридцати пяти, помешанной «на амурах»:

Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытывавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь? (39).

Оставляя в стороне пародийный характер речи, иронию в каждом словосочетании вроде «излишнее благородство души», мы видим здесь тактику оправдания поведенческих странностей ближнего. Странностей, которые в принципе в других условиях могли бы быть восприняты как оскорбительные, глупые, неприличные.

¹¹ Здесь и далее мы будем употреблять слова «агрессор» и «жертва» как термины для обозначения партнеров по патологической асимметричной коммуникации. Подчиненную и претерпевающую сторону в систематических столкновениях описываемого типа мы будем именовать жертвой, а активную сторону — агрессором. См. ниже о так называемом «комплементарном схизмогенезе».

В логике этой тактики оправдываемый — сказавший нечто неуместное — человек «на самом деле» не думает так, как говорит, а только так говорит, как бы машинально, второпях и потому не несет за свои слова ответственности, как отвечал бы за свои поступки и слова человек вполне здоровый и нормальный, человек, от которого можно требовать соблюдения приличий и ответственности за свое поведение. Таким образом, статус слов как поступков отменяется, слова оказываются игрой, псевдопоступками. В русском языке для обозначения, в частности, этой тактики используется одно из значений глагола «спускать» в контекстах вроде «они ему все спускают».

На Татьяну Ивановну такое право на скидку, по молчаливому соглашению, распространяется, в частности, потому, что ее держат за полоумную:

Все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничего внимания, точно наперед все в этом условились (44);

вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного (45—46).

Скидка партнеру по коммуникации и заключается в том, что все делают вид, что ничего не случилось, хотя — с внешнеположной точки зрения — что-то нарушающее обычный ход вещей явно произошло.

Агрессору (прежде всего Фоме Фомичу) скидка гарантирована его доминирующим статусом: что бы ни было им сказано, сказано им по праву и не нарушает конвенций «нормальности», приличия. Со своей же стороны агрессор оставляет за собой право усмотреть в любых словах жертвы нарушение коммуникативных конвенций — и демонстративно «обидеться»¹².

На этом фоне нормальная, недеформированная коммуникация протекает как бы подпольно. Так, общение племянника с дядей, где всплывают все невозможные к обсуждению в гостинной темы, происходит тайно, встреча Егора Ильича с крестьянами, пришедшими жаловаться, — за конюшнями. На публике Егор Ильич и

¹² Обида — интересная тема для отдельного исследования: она представляет собой сложную (связанную с культурно-специфичными сценариями) эмоцию и культурный концепт, важный для понимания особенностей концептуализации сферы межличностных отношений.

еще ряд персонажей его лагеря считают необходимым уважать чувства ближнего (агрессора), избегать «сцен» и подыгрывать ему, делая вид, что все идет нормально, даже если ситуация вызывает у них острый эмоциональный дискомфорт. Таким образом, взаимодействия людей, чьи отношения между собой не затронуты тараканами, несут на себе отпечаток патологии уже в силу того, что они — порядочные люди и остаются таковыми и по отношению к агрессору, тем самым выбирая себе роль, близкую к роли жертвы. Они играют в навязанном им спектакле, делают вид, что ничего особенного не случается¹³, и стесняются выражать свои настоящие чувства. Так, тетюшка Прасковья Ильинична разливает чай: «Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом» (43).

Рассказчик, племянник Егора Ильича, пытается поддержать приличия. Неучастие в общем разговоре, устранение от общения — при явном интересе к его персоне со стороны окружающих — было бы нарочитым: «...не знаю, почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами» (46). Попытка не просто сделать вид, что ничего не случилось, а активно сконструировать нормальное общение, заставить всех включиться в него начинается с того, что в разговоре предлагается тема, которая не может быть обидной ни для кого, кроме говорящего: Сергей заговаривает о собственном конфузе. Ожидание благоприятного общения продиктовано тем обстоятельством, что естественной реакцией окружающих, следующих кооперативным конвенциям¹⁴ и приличиям, было бы обращение этой темы в шутку. Той же тактики поддержания разговора позже придерживается и дядюшка — рассказывает о собственной неловкости, скромно выставляя себя в комичном, невыгодном свете. Однако Егор

¹³ В повседневности деформированная коммуникация в группе предполагает конструирование целой системы эвфемизмов: так, например, в семье алкоголика, где факт алкоголизма упорно не признают (что связано, в частности, с тем, что не признает его сам алкоголик), очередной запой называют «заболел».

¹⁴ Здесь имеется в виду, что они настроены на сотрудничество, на совместное достижение определенной коммуникативной цели, т.е., согласно Г. П. Грайсу (Грайс 1985), следуют «принципу кооперации». Ниже речь пойдет о формах общения, так или иначе нарушающих не отдельные постулаты речевого общения, а принцип кооперации в целом, поэтому мы будем называть их «некооперативными».

Ильич не встречает доброжелательного отклика на свой рассказ, ибо право быть интересным рассказчиком и поддерживать нить разговора принадлежит Фоме Фомичу:

- Кончили ль вы? — спросил он [Фома] наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.
- Кончил, Фома.
- И рады?
- То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя (73).

Нет необходимости переписывать в нейтральных терминах содержание каждой реплики, чтобы увидеть, что Фома Фомич берет инициативу в свои руки средствами, в которых наблюдателю нельзя не признать неприкрытое хамство. Вообразить подобные высказывания в подобной ситуации («Кончили ль вы?», «И рады?») из уст Егора Ильича невозможно¹⁵. Ростанев не распознает хамство как хамство — или вынужден делать вид, что не распознает, — и безропотно позволяет подвергать себя допросу. Фома вообще постоянно задает вопросы риторического свойства, и если не отвечает на них сам, то ставит перед неприятной обязанностью отвечать на них партнера по коммуникации.

Так, например, Фома Фомич распаляется по поводу безнравственности текста песни про камаринского мужика — и вот вопрос, на который, несмотря на видимую его риторичность, Фома требует ответа у Егора Ильича:

- «Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?» — «Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь», — отвечал в простоте души сконфуженный дядя (64).

Вот это «в простоте души» примечательно: конфуз толкает Егора Ильича сказать то, что первым приходит ему на ум, без поправки на фактор адресата — собственно, охарактеризовать происходящее как бы с внеположной позиции. Этот ненарочный ход равнозначен переходу на метауровень, к разговору о форме, целях или содержании коммуникации: адресовавшись к целям высказы-

¹⁵ Т.е. такая коммуникация асимметрична, причем не совсем в том смысле, в каком асимметрична любая коммуникация между партнерами, имеющими разный статус: в данном случае разница статуса является не предпосылкой, а результатом — она не задана априорно, а создается в ходе взаимодействия, нацеленного на то, чтобы одному из участников указать его место.

вания, Егор Ильич не просто распознает, но и в явном виде указывает на риторический характер вопроса и на отсутствие необходимости разумному человеку в нормальных условиях на него отвечать. Фома в ответ «захлебывается от злости», а Егора Ильича прогоняют за «ненаходчивость» ответа (64)¹⁶.

В рамках принятых в Степанчикове условий общения комментарию по поводу характера высказываний жертве непозволительны, только агрессор имеет на них право. Это остается правилом и за гранью театрализованного абсурда — в знаменитой сцене, где Фома требует называть его «ваше превосходительство» (88):

Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!¹⁷

И далее откровенно издевательское (притом что полковник называет Фому на «ты», а Фома говорит ему «вы»): «Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус».

Поведенческие стратегии Фомы и Егора Ильича противоположны. «Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковверного добродушия — с другой» (71), — говорит рассказчик. Заметим, что реализуемость таких стратегий в одном пространстве, их востребованность возможны только благодаря существованию друг друга: нахальное самовластие нуждается в добровольном рабстве. Когда один человек предает забвению приличия, другой вопреки всему следует этикетным нормам нормального хода событий, и все получают возможность делать вид, будто ничего особенного не происходит.

Нарушение норм этикета, вообще говоря, встречается в нормальной коммуникации и служит основанием для вывода слуша-

¹⁶ Ср. ненаходчивый ответ на вопрос об искре, зажженной Фомой в душе Егора Ильича («дядя мнется, жметя, не знает, что предпринять», а затем просит Фому не задавать таких вопросов — «право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...» — 17), воспринятый Фомой как оскорбление. Вообще, у агрессора есть право произвольно истолковывать слова жертвы как выражающие те или иные оттенки негативного и неконструктивного отношения.

¹⁷ Ср. попытку Егора Ильича хоть как-то привести происходящее к «нормальному виду», интерпретировать слова Фомы в обычных категориях: «Да ты не шутишь, Фома?»

ющим информации о чрезвычайных обстоятельствах, об отношении говорящего к собеседнику или к содержанию сообщения, об эмоциональном или ином состоянии говорящего. Нарушение этикетных норм Фомой тоже информативно нагружено — это намеренный красноречивый жест, призванный сообщить Ростаневу и окружающим отношение Фомы к тем или иным обстоятельствам. Так Фома указывает собеседнику на неполноценность его статуса. Например, Фома и не думает приветствовать представляемого ему Егором Ильичом конкурента на почве учености:

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! Сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания (66).

Нарушив нормы вежливости, согласно которым следовало бы ответить приветствием на представление Егором Ильичом своего племянника¹⁸, он сам обращается к собеседнику с упреком из области этикета. Тема речевого этикета тем более важна в романе, что власть агрессора проявляется как раз в праве произвольно истолковывать нормы этикета. Когда Егор Ильич осмеливается, подерживая общий разговор, высказать, вторя Фоме, суждение о литературном слоге, тот отвечает буквально следующим образом: «...оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!» (70). Подобным образом Ростанев постоянно оказывается

¹⁸ В прагматике это трактовалось бы как нарушение постулата релевантности по Грайсу, согласно которому на каждом шаге взаимодействия вклад участников должен иметь отношение к предмету коммуникации (Грайс 1985); в данном случае Фома отказывается поддерживать предложенную тему разговора. Его ответная реплика как бы игнорирует линию, заданную предшествующей репликой собеседника. В традиции анализа повседневного разговора такая ситуация трактовалась бы как «непредпочтительное» продолжение речевого взаимодействия, которое обычно строится в формате примыкающих друг к другу парных реплик (вроде «вопрос — ответ», «приветствие — приветствие» и т.п., см. об этом, например: Schegloff, Sacks 1973, 295—299). «Предпочтительным», обычным продолжением со стороны Фомы был бы ответ приветствием на представление гостя Ростаневым — подобно тому как нормально отвечать на вопрос и приветствовать в ответ на приветствие; соответственно, если на ваш вопрос не отвечают или если ваше приветствие повисает в воздухе, нормальный ход событий нарушается, это требует объяснений. О понятии предпочтительности см. в работе: Levinson 1983, 336.

кругом не прав: систематически публично дезавуируя его высказывания, Фома и представители его лагеря дают наблюдателю основания полагать, что Егора Ильича здесь «ни во что не ставят».

Бунт против сложившегося стиля общения и особенно нарочитых его проявлений в принципе возможен. Он может исходить от жертвы или же не непосредственно от нее, но в любом случае приводит в действие стандартный сценарий, не влекущий за собой изменения отношений между основными персонажами. Когда племянник Ростанева решается на откровенную — впрочем, довольно невинную в сравнении с иными высказываниями Фомы — дерзость, Фома Фомич, поначалу не веря ушам своим, реагирует так: «Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в иступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?» Пытаясь избежать скандала и хоть как-то придать «нормальный вид» происходящему, Егор Ильич реагирует на риторический вопрос, как на вопрос буквальный¹⁹: «Фома Фомич... — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник...» (76). Потерявшийся дядя даже и обращается в этом случае к Фоме по имени и отчеству. Фома же произносит истерически-бессвязную ругательную речь и покидает поле боя, после того как Сергей во всеуслышание высказывает предположение, что Фома пьян — собственно, отнюдь не самое обидное, скорее даже оправдывающее объяснение забвения этикета с чьей-то стороны.

В другом случае, в отсутствие Фомы Фомича, против творящегося вокруг представления восстает Сашенька — она вступает за истину, вскрывая поддержанную окружающими ложь Фомы (он объявил себя именинником, позавидовав именинам восьмилетнего Илюши). Сашенька кричит («никого не боюсь») о том, какой Фома Фомич на самом деле и как она его ненавидит:

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? — девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии (57).

Дело, по обыкновению, кончается обмороком генеральши и всеобщей суматохой.

Бунт слабой стороны, хотя бы и самый решительный по своей форме в первый момент («Прочь всю эту систему! Теперь все по-

¹⁹ Распространенное прибежище того, кто не решается открыто поднять вопрос об абсурдности происходящего.

новому!» — 81), — дело преходящее и бесперспективное: он не меняет ситуацию, не влияет на правила игры. Точно так же не приводит к изменению обстоятельств и шантаж агрессора, прикидывающегося слабым и демонстративно уходящего со сцены, — это средство для динамического поддержания существующего порядка. Все должно вернуться к прежнему состоянию. Егор Ильич движим праведным гневом и поначалу даже приказывает Гавриле сжечь тетрадку с французскими словами, но потом меняет свое решение. И через несколько минут (82) уже опять чувствует себя виноватым и готов вымаливать прощение у Фомы на коленях. Кульминация действия романа, казалось, давала выход силам праведного гнева, не подконтрольным агрессору: Фома, будучи спущен с лестницы и оставлен Гаврилой в канаве после дорожного происшествия, бредет в грозу по дороге пешком. Но он бредет обратно в Степанчиково, где его ждут и где он воцаряется вновь — и торжествует, оказываясь гарантом всеобщего счастья.

Парадокс семейных отношений, затронутых коммуникативной патологией, заключается как раз в том, что и счастье, и несчастья приходят из одного источника: агрессия оказывается проявлением заботы, унижение — необходимым компонентом любви. И в замкнутой системе, каковой является семья, жертве, связанной чувствами привязанности и вины, некуда деться.

К экологии внутрисемейной коммуникации

Описанная выше систематически воспроизводящаяся, в частности в семье, схема коммуникативного взаимодействия была впервые проанализирована Грегори Бейтсоном. Термин «схизмогенез» (как следует из внутренней формы термина, «процесс порождения раскола») был предложен Бейтсоном²⁰ для обозначения таких последовательностей взаимодействий, когда цепочка коммуникативных связанных друг с другом действий партнеров, состоящая из

²⁰ Впервые в статье 1935 года «Контакт культур и схизмогенез» (Bateson 1972, 61—87). Понятие схизмогенеза было использовано в анализе паттернов социального взаимодействия в культуре ятмулов в классической работе Бейтсона «Навен» (см.: Bateson 1936, 175—197) и послесловии 1958 года к переизданию этой книги.

повторяющихся паттернов, приводит к интенсификации противоречий между участниками взаимодействия²¹. Чем интенсивнее действует один участник, тем более выражен ответ на его действия со стороны другого участника, что, в свою очередь, влечет к интенсификации деятельности первого. Если при этом взаимно стимулирующие действия подобны, как в случае соревнования или соперничества, то имеет место ситуация, обозначаемая как «симметричный схизмогенез». Если же действия двух участников принципиально различны, но связаны и согласованы друг с другом так, что не имеют смысла друг без друга (т.е. взаимодополнительны — как сочетания, например, доминирования и подчинения, поддержки и зависимости, эксгибиционизма и разглядывания), то имеет место ситуация «комплементарного схизмогенеза» (Bateson 1972, 109; ср. также Watzlawick, Beavin, Jackson 1967, 67—70).

Последовательность взаимодействий между двумя участниками — поток событий, который может быть истолкован неоднозначно: каждым участником — по-своему. Считая свои действия реакцией на поступки партнера, один участник (например, муж) видит картину, значительно отличающуюся от картины, видимой другому участнику (например, жене)²². Скажем, жена осыпает мужа упреками за его пассивность и постоянный уход от ответов и ответственности, тогда как муж постоянно действительно избегает жены и уходит от столкновений, мотивируя это повторяющимися нападениями. Муж видит фрагменты цепочки взаимодействий, где началами выступают придирки жены, затем следует его, мужа, реакция (уход, избегание), после чего снова следуют новые придирки. Жена видит иную картину, а именно: пассивность мужа, которая провоцирует критику с ее стороны, и дальнейшую реакцию мужа на ее действия (стремление избежать столкновений).

²¹ Ср. определение: «процесс дифференциации норм индивидуального поведения, проистекающий из кумулятивного взаимодействия между индивидами» (Bateson 1936, 175).

²² Проблематика «пунктуации последовательности событий» (условно говоря, где ставить запятые, что выделять в качестве событий) рассмотрена в книге Watzlawick, Beavin, Jackson (1967, 54—59). Возвращаясь в более поздней работе к обсуждению разной пунктуации цепочки взаимодействий на примере ссор супругов, Пауль Вацлавик (Watzlawick 1988b, 112—113) подчеркивает, что фактически речь идет о двух разных реальностях, о двух подтверждающих друг друга системах самосбывающихся пророчеств (т.е. предсказаний, которые сбываются уже в силу того, что они существуют, поскольку тем самым они модифицируют положение вещей и порождают ожидаемую реальность).

И в том и в другом случае собственные поступки видятся вынужденными, спровоцированными другой стороной; для собственного поступка находится конкретный повод в поступках партнера. Из-за разного видения этой постоянно повторяющейся ситуации участникам трудно прийти к соглашению — тем более, когда возможности обсуждать саму форму взаимодействия ограничены, ибо за деревьями бытовых поводов трудно усмотреть лес, и в частности тот факт, что при обсуждении повторяющейся формы взаимодействий конкретные поводы можно было бы вынести за скобки, потому что они не играют никакой роли. Ибо форма отношений — понятие другого уровня абстракции, нежели сами отношения и их конкретное бытовое наполнение, обычно являющееся предметом коммуникации.

Тут уместно сделать комментарий, касающийся истоков обсуждаемых идей и применяемой терминологии. Одной из предпосылок для представлений об уровнях коммуникации и их взаимодействии была теория связи, из концептуального аппарата которой широкой публике известна схема коммуникации, предложенная Клодом Шенноном (Shannon 1948). Собственно, представление о канале связи, по которому проходит сигнал, несущий сообщение, состоящее из элементов и построенного в соответствии с правилами некоторого кода, оказалось эвристически ценным далеко за рамками специальной дисциплины — математической теории связи²³. Не менее ценным было и осознание ограничений, налагаемых расширением такого представления применительно к анализу реального человеческого общения²⁴.

²³ Ср. использование положений теории связи Р.О. Якобсоном в его классическом рассуждении о классификации функций языкового общения в зависимости от того, какой компонент схемы коммуникации является предметом общения (Якобсон 1975).

²⁴ Реально адресант не передает своих мыслей посредством слов, а лишь создает условия для того, чтобы, опираясь на его слова, адресат мог сам подумать нечто угодное адресату. Между тем восходящая к Шеннону схема коммуникации изображает лишь передачу слов по каналу (в идеальном случае — одних и тех же слов с одинаковым значением на обоих концах канала). Поэтому область применения этой схемы вне специальной дисциплины, эту схему породившей, оказывается значительно уже, чем было принято думать в 60-е годы XX века. Сегодняшние модели коммуникативного взаимодействия делают акцент не на передаче информации с использованием готового кода, а на выведении намерений говорящего или на роли контекста в конструировании смысла, выводимого партнерами из поведения друг друга. См. о различении модели «кодированной передачи», модели «выведения намерений» и модели «коммуникативного взаимодействия» в учебнике Деборы Шифрин (Schiffirin 1994, 391—405).

В частности, переосмысление положений теории связи позволило увидеть сложность процесса реального человеческого взаимодействия через метафору нескольких каналов связи, работающих одновременно, но устроенных по-разному. Вообще говоря, по каналу передается прежде всего информация о мире («контексте», в терминологии Якобсона); информация же о коде и о характере сообщения является метаинформацией, принадлежит иному логическому уровню и передается отдельно, представляет собой особый сигнал. Некоторые разновидности этого особого сигнала — а именно те, которые выражают отношение между коммуникантами, — используют иначе устроенный канал. Попробуем разъяснить это положение.

Общение между людьми не ограничивается словесным речевым взаимодействием. Попадая в поле чьего-то внимания, наши действия автоматически оказываются частью хотя бы и ненамеренной коммуникации. Даже просто находясь в одном помещении и не разговаривая друг с другом, люди все равно так или иначе воспринимают и интерпретируют поведение друг друга, хотя могут и не отдавать себе в этом отчета. Получается, что сама возможность контакта уже представляет собой разновидность сообщения, которое никто намеренно не отправлял, но которое возникает само собой благодаря контексту. И даже молчаливо присутствующий незнакомый нам человек в каком-нибудь зале ожидания, не говоря уже о человеке, хорошо нам знакомом, говорящем и действующем вместе с нами, интерпретируется как дружелюбно или враждебно настроенный, раздраженный или безразличный, готовый к общению или не желающий общаться. Целый ряд факторов в его поведении, как сознательно воспринимаемых нами (например, смысл действий и слов), так и неосознаваемых (например, смысл тона его голоса и позы), вкуче с аналогичными проявлениями с нашей стороны конструируют отношения, на фоне которых — или параллельно которым — может протекать иная, содержательная коммуникация. А может и не протекать, потому что может остаться исключительно возможностью, а общение ограничится обменом сообщениями о контакте и отношении.

Аспект отношений между коммуникантами в значительной мере зависит от контекста общения, куда входит и предыстория этих отношений, и соотношение статусов участников общения, а также место и обстановка ситуации общения, предписанные ситуацией роли и т.д. Например, экзамен как институциональный контекст взаимодействия преподавателя и студента определяет асим-

метричность ролей участников общения и предполагает, среди прочего, длинные вопросно-ответные цепочки (равно как, например, и опрос свидетеля в суде), где одному участнику положено задавать вопросы, а другому — отвечать на них. Эта форма взаимодействия может никак не касаться личных отношений участников общения (ибо таких отношений может и не быть вовсе) — в отличие от случаев, когда такая форма взаимодействия не продиктована контекстом (так, например, Фома распекает Ростанева цепочкой риторических вопросов).

Общение — всегда лишь часть деятельности вообще. Контекст деятельности, частью которой оказывается общение, позволяет осмысливать действия партнера. Ведь воспринимаемые действия, будь то действия коммуникативные (в том числе высказывания) или практические, обладают значением не только и не столько потому, что им присуще некое абстрагированное от ситуации, самостоятельное значение. Применительно ко многим словам языка утверждение о наличии постоянного абстрактного значения справедливо, но, скажем, поднятие руки само по себе не обладает значением вне такого контекста, который позволил бы осмыслить это действие либо как жест в рамках определенного кода (например, как приветствие), либо как практическое действие (например, разминка). Ближайшее и буквальное значение поднятия руки состоит в том, чтобы поднять руку, мыть посуду — в том, чтобы вымыть посуду, а высказывания «Мне холодно» — в сообщении слушающему информации о том, что говорящему холодно. Поскольку любой поведенческий акт (речевой акт в том числе) встроен в контекст деятельности — и в контекст отношений между участниками взаимодействия — вне этих двух (аналитически вычленимых) контекстов его реальный, не сводящийся к «буквальному» смысл не представим.

Соответственно, сознательная или неосознаваемая интерпретация любого поведенческого акта потенциально включает в себя его оценку в перспективе его «небуквального» значения — с точки зрения преследуемых деятелем целей (например, мытье посуды как «упрек присутствующему в том, что он не вымыл посуду» или высказывание «Мне холодно» как «просьба закрыть окно»²⁵), с точки зрения побудительных причин («он сердит, потому что кто-то ему нахамил на работе»), с точки зрения ожидаемых последствий и т.п. Кроме того, интерпретация всякого акта предпо-

²⁵ О так называемых «косвенных речевых актах» см.: Серль (1986).

лагает решение о принадлежности данного акта к одному из модусов коммуникации (всерьез ли это сделано, или это игра, или шутка)²⁶ и к одному из типов действий (скажем, угроза, предупреждение, сообщение информации). Информация о модусе коммуникации и типе действия вместе с информацией об отношениях участников взаимодействия составляет *метакоммуникативный* компонент общения.

Таким образом, наряду с собственно содержательной (буквальной) информацией, содержащейся в поведенческом акте, рассмотренном как сообщение, и помимо имплицитных компонентов смысла («что он имеет в виду»), имеется еще один немаловажный компонент общения, метакоммуникативный. Анализ этого компонента осложняется тем обстоятельством, что, в отличие от передачи информации средствами словесного языка, выражение отношений и модуса коммуникации эволюционно значительно более древняя способность. У человека она опирается на преимущественно невербальные («аналоговые») средства (такие, как поза, выражение лица, интонация, проксемика и др.)²⁷, принципы действия которых общие для коммуникации человека и коммуникативных систем животных. Эти средства значительно хуже, в сравнении с дискретными средствами, поддаются анализу, поскольку не составляют хорошо структурированной системы²⁸. Они не дают возможности референции и метаязыковых сообщений, зато используются для сообщений метакоммуникативных²⁹.

²⁶ Впервые о различении модусов с точки зрения теории коммуникации применительно к этологическому материалу — в статье Г. Бейтсона «*A Theory of Play and Fantasy*» (1955). Ср. подробно разработанную применительно к анализу человеческого поведения Ирвином Гофманом концепцию «анализа фреймов» (Goffman 1986).

²⁷ Анализ проблематики аналоговой коммуникации и ряда вопросов, затронутых ниже, см. в работе: Watzlawick, Beavin, Jackson (1967, 60—67, 99—107).

²⁸ В терминах семиотики можно сказать, что система аналоговых средств коммуникации состоит из индексальных и иконических знаков, тогда как словесный язык опирается на знаки символические.

²⁹ Сообщение метаязыковое предполагает отсылку к единице используемого кода («Не говорите “Тюк!”»), что в орфографии отмечается кавычками. Тогда как сообщение метакоммуникативное отсылает к самому акту общения, указывает на действие, которым данный акт общения является (сообщением информации, угрозой, обещанием, шуткой, признанием в любви...). Метаязыковые сообщения возможны только в системах дискретно организованной коммуникации, тогда как метакоммуникативный аспект имеется в любом общении, в том числе и таком, которое не использует высокоструктурированного кода, подобного естественному языку.

Хотя в принципе и животные и человек способны намеренно фальсифицировать аналоговые метакоммуникативные сигналы (см., например: Sebeok 1981), соврать аналоговыми средствами сложнее: это требует специальных усилий, актерского мастерства и владения собой. Как животные, мы запрограммированы на то, что сигналы отношений искренни и произвольны; однако как люди, причастные той или иной культуре, мы владеем паттернами контроля над произвольными проявлениями и, более того, обучены определенному (для каждой культуры — своему) набору общепринятых форм поведения, при которых сигналы содержания и сигналы отношения некогерентны и могут даже противоречить друг другу³⁰. Классический пример кросскультурной разницы стереотипов когерентности уровней сообщения — а метакоммуникативный и «буквальный» компоненты возможно рассмотреть как разные уровни в структуре одного процесса — остроумно и тонко проанализирован в рассказе Акутагавы Рюноске «*Носовой платок*». Японский профессор занят чтением «*Драматургии*» Стриндберга, но его занятия прерывает визит дамы, матери одного из его студентов, который, оказывается, недавно умер.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облик, ни на поведение этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах (Акутагава Рюноске 1974, 64).

Это кажется профессору странным. Но когда его взгляд падает на руки дамы, он замечает, что руки эти сильно дрожат и комкают носовой платок: «дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала» (там же, 68). Такое мужественное поведение представляется профессору в высшей степени достойным, и он даже собирается писать об этом статью для журнала. Позже, раскрыв недочитанную книгу на странице, заложенной визитной карточкой посетительницы, профессор читает у Стриндбер-

³⁰ Этот тезис и обосновывает возможность антропологического анализа культурно-специфичных паттернов коммуникации; другое дело, что эти паттерны могут существенно варьировать (например, от семьи к семье) в рамках одной культуры. Говоря о «языке русских тараканов», мы имеем в виду закрепленные в русском языке и русской речи средства, во-первых, для выражения этих паттернов и их компонентов и, во-вторых, для их обозначения. Разумеется, сами эти паттерны не специфически русские.

га о том, что сценический прием двойной игры, когда актриса улыбается лицом, но руками рвет платок, считается дурным вкусом.

В отличие от действий, носящих регламентированный церемониальный характер, где когерентность уровней сообщения может являться принятым условием правильной реализации церемонии (так, извинение хамским тоном или с одновременным показом кулака не будет работать как извинение), в повседневном общении ситуация сложнее. В нашей культуре примеры противоречивых сообщений — скажем, когда по форме сообщение агрессивно и унизительно, а по содержанию должно являть собой проявление заботы, — в изобилии встречаются во внутрисемейном общении, в частности в воспитательных ситуациях³¹. Аналоговая форма сообщения, противоречащая вербальному содержанию, воспринимается как правда, как проявление истинных чувств — и когда воспитуемый читает эту правду в поведении сильного партнера, он оказывается в сложной ситуации: и не верить его словам не может (в смысле, не имеет права), и поверить никак нельзя.

Некогерентность уровней сообщения, наряду с еще несколькими условиями, является, среди прочего, составной частью ситуации, обозначенной Г. Бейтсоном как «двойное связывание»³². Одно из определений Бейтсона выглядит так:

³¹ Вербальное и само по себе может быть парадоксальным по смыслу, когда содержит предписание, касающееся спонтанных актов (скажем, «прекрати реветь» — притом что, когда режут, делают это произвольно и, соответственно, не могут начать или прекратить по желанию). Подобная парадоксальность присуща не только воспитательным клишированным формулам — ср., например: «не стесняйтесь, будьте как дома». Интересно, что смысл целого выражения не выглядит противоречивым для носителя русского языка.

³² Перевод этого термина на русский язык составляет определенную проблему — ей посвящены несколько страниц предисловия переводчиков к русскому сокращенному переводу книги Бейтсона (Бейтсон 2000, 12—16). Переводчики Д. Федотов и М. Папуш даже приводят списки синонимов для слов «double» и «bind» и дают краткое толкование соответствующему понятию с опорой на бейтсоновскую традицию. Они останавливаются на верном по сути варианте «двойной сигнал», однако, как они сами справедливо замечают, многие коннотации в результате теряются. Исходя из ряда соображений — и в частности из того чисто языкового обстоятельства, что термин «double bind» напрямую связан с употреблением слова «bind» в контекстах вроде «the bind between telling a lie and hurting with the truth», — мы предпочитаем передавать бейтсоновский термин русским сочетанием «двойное связывание». Ср. возможные по-русски сочетания «он связан обязательствами», «они связаны (какими-либо) отношениями», а также «связан по рукам и ногам».

- 1) Индивид включен в очень тесные отношения с другим человеком, поэтому он чувствует, что для него жизненно важно точно определять, какого рода сообщения ему передаются, чтобы реагировать правильно.
- 2) При этом индивид попадает в ситуацию, когда этот значимый для него человек передает ему одновременно два разноуровневых сообщения, одно из которых отрицает другое.
- 3) И в то же время индивид не имеет возможности высказываться по поводу получаемых им сообщений, чтобы уточнить, на какое из них реагировать, т.е. он не может делать метакоммуникативные утверждения (Бейтсон 2000, 234; Bateson 1972, 208)³³.

Как видно даже из приведенных определений, ситуация двойного связывания представляет собой ключевой компонент внутрисемейной коммуникативной патологии.

Ниже мы обсудим, в частности, некоторые черты коммуникативного поведения агрессора, включающие в себя элементы насилия. Хотя физическое насилие в семье и не является (может быть, и не считается³⁴) чем-то исключительным или редким, едва ли можно говорить о том, что рукоприкладство широко распространено как не замечаемая часть повседневности. Поэтому речь будет идти не о физическом насилии. Вынесенная в эпиграф этой статьи строчка в большей степени применима к повседневным проявлениям

³³ В другом месте в определении «двойного связывания» Бейтсон говорит о наличии двух или более участников коммуникации, один из которых является «жертвой»; регулярно повторяющемся характере опыта, приводящем к его ожиданию; наличии в ситуации некоторого первичного буквально высказанного предписания, предполагающего последствия (например, наказание) в случае его невыполнения; наличии еще одного предписания, принадлежащего к уровню отношений и конфликтующего с первичным, и также (имплицитно) подкрепленного угрозой; о запрете для жертвы покидать поле боя и, наконец, о «заикленности» жертвы на травматическом опыте таких ситуаций до такой степени, что наличие всех компонентов уже не является необходимым и один фрагмент может вызвать привычную эмоциональную реакцию (Bateson 1972, 206—207; Бейтсон 2000, 232—233).

³⁴ Не имея возможности сослаться на надежные данные по этой теме (о том, в какой мере «не является» и «не считается»), рискнем предположить, что многие из тех, кто отвергает рукоприкладство на словах и сам был когда-то отшлепан, и сам шлепал детей, и со своей половиной, случалось, тягалась (или тягалась; гендерный уклон в этом предложении — исключительно результат русской грамматики) с применением физической силы — отгалкивая, бросая предметы, пытаясь не пустить в дверь или что-нибудь в этом роде; так что если пока не было в истории вашей семейной жизни выкручивания рук и синяков, то это вовсе не значит, что элемент физического насилия был из нее совсем исключен. И вообще: «бьет — значит, любит».

ям «эмоционального насилия», когда один участник взаимодействия, не прибегая к физическому насилию, навязывает другому (окружающим) свои негативные эмоции и оценки, пробуждая в другом дискомфорт и интенсивную вспышку эмоционального напряжения. При этом навязываемая жертве интерпретация некоторой ситуации предполагает, что поведение агрессора является реакцией на поведение жертвы, имеет целью модификацию ситуации и поведения жертвы — и является наиболее действенным к тому способом, т.е. оказывается морально и прагматически оправдано. Это становится возможным благодаря доминирующей позиции агрессора в пределах ситуации «двойного связывания»³⁵.

В социально-психологических исследованиях, посвященных внутрисемейному насилию, встречаются такие термины, как «психологическая агрессия», «вербальная» и «символическая агрессия». Попытки измерить количество и качество внутрисемейных конфликтов потребовали определения категорий в поле форм конфликтного поведения³⁶. В анкетах для измерения частотности форм конфликтного поведения среди прочего различаются такие рубрики: наорать и/или оскорбить, надуться и/или отказать, обсудить, «хлопнуть дверью», бросить предмет (но не в партнера) или что-нибудь сломать, угрожать ударить или бросить чем-либо в партнера, бросить предмет в партнера, толкнуть или схватить партнера, ударить партнера, ударить партнера чем-либо (Straus 1979, 87). Такие же или более подробные классификации, призванные разграничить формы насилия во внутрисемейных отношениях, встречаются во многих исследованиях, посвященных взаимоотношению между физическим насилием и иными формами насилия в семье (см.: Stets 1990, Straus, Sweet 1992).

По крайней мере, по отношению к ребенку повторяющееся психологическое насилие может быть опаснее для отношений и субъективно более значимо по сравнению с окказиональными умеренными дозами ритуализованного и принятого в данной культуре физического насилия: ну, выпороли за шалость, треснули по уху за хамство — до тех пор, пока ребенок ясно понимает

³⁵ См. об эмоциональном насилии и других видах внутрисемейного насилия: Denzin (1984, 521—523).

³⁶ См., например: Straus (1979), где предложены три шкалы, отражающие три направления конфликтного поведения: спор и рациональная дискуссия, использование вербальных и невербальных действий, символически уязвляющих противную сторону, и физическое насилие.

повод наказания, воспринимает действия родителя именно как наказание за конкретный поступок и склонен согласиться с правотой взрослого (т.е. со справедливостью наказания), физическое насилие не является психологической травмой и, как возможно предположить, не характеризует само по себе коммуникативного стиля семьи.

Систематическое психологическое насилие в семейных отношениях, употребляемое агрессором, накладывает на коммуникативный стиль семьи отпечаток — особенно сильный в тех случаях, когда оно обладает следующими тремя характеристиками:

во-первых, это инструментальный, намеренный характер поведения — по контрасту с такими действиями, которые скорее являются экспрессивными и непровольными и выражают крайнюю степень эмоционального возбуждения (наорать);

во-вторых, злонамеренный, направленный на причинение психологического ущерба характер действий (скажем, унижить при посторонних — в отличие от «хлопнуть дверью»);

в-третьих, открытый, эксплицитный характер действия (так, например, надуться и перестать разговаривать — действие, в котором агрессивный компонент имплицитен, в отличие от угрозы применить физическую силу) (Hamby, Sugarman 1999, 961).

Как уже отмечалось выше, общей чертой патологических форм коммуникации, включенных в акты психологического насилия, является их асимметричность: роли жертвы и агрессора установлены раз и навсегда, повторяющиеся сценарии взаимодействия воспроизводятся и идут по накатанным рельсам и не предоставляют возможности смены ролей и — в том, что касается организации разговора, — не предполагают очередности в праве задавать вопросы, предлагать тему дальнейшего разговора, начинать и завершать разговор и т.п.

Владение языком и невербальными тактиками конфликтного взаимодействия вообще является частью коммуникативной компетенции³⁷. Есть основания полагать, что эта часть коммуникативной компетенции осваивается в домашнем кругу — и как умение воспроизводить тактики, свойственные агрессору, и как набор привычных реакций на поведение агрессора. Интерпретируя речевые клише с точки зрения их роли в развертываемом взаимо-

³⁷ О понятии коммуникативной компетенции см.: Gumperz (1997).

действию партнеров, можно предложить несколько рубрик для предварительной классификации кодируемых этими клише наиболее распространенных коммуникативных тактик агрессора при асимметричном взаимодействии³⁸. Мы приведем отдельные примеры из трех таких рубрик, наиболее показательных в смысле выражения отношений между партнерами.

Большой разряд тактик относится к проявлению власти агрессора в области организации общения (мы назовем их «метакоммуникативные тактики»):

1.1. Указание на форму высказывания и на характеристики взаимодействия:

*Как ты со мной разговариваешь? Что ты себе позволяешь? Разговорчивая стала! Не смей орать не меня! Ори громче!
Ты кончил? Ты все сказал?*

1.2. Запрет на метакоммуникативные сообщения со стороны партнера:

*Не смей мне указывать, что мне делать (скажем, в ответ на «не кричи на меня»)
Ах, он еще и разговаривает³⁹!*

1.3. Предписание партнеру, содержащее запрет на активное участие в коммуникации:

³⁸ Вопрос о том, почему инвентаризация тактик жертвы более трудна, заслуживает отдельного рассмотрения. Прежде всего потому, что они, как представляется, менее клишированы и не специфичны для асимметрично-схизмогенетических взаимодействий, а потому более вариативны в зависимости от индивидуальных особенностей говорящего. Заметим тут же, что ниже указаны только те тактики, которые отражены в хорошо узнаваемых клишированных формулах; между тем они составляют лишь часть арсенала средств коммуникативного насилия — многие из этих средств относятся к области паралингвистики и невербальной коммуникации, другие представляют собой способы ведения диалога (например, перебивание собеседника); еще одна часть относится к используемой риторике и аргументации и затрагивает содержательные аспекты взаимодействия. Составлять список используемых в семейном общении ругательств непродуктивно; продуктивно указать, что обзывание, перебивание и затыкание рта стоят, в некотором смысле, в одном ряду среди используемых агрессором приемов ведения разговора. Приводимые ниже названия рубрик условны; ряд примеров попадает более чем в одну рубрику.

³⁹ Примечательно значение глагола, проявляющееся в таком контексте: «разговаривать» здесь значит «говорить неудобные кому-то вещи, в частности, касающиеся формы взаимодействия».

*Заткнись! Закрой рот!
Убирайся отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели!
Закрой дверь с той стороны.*

1.4. Запрет на самоустранение партнера от коммуникации:

*Что ты молчишь? Язык проглотил? Отвечай, тебя спрашивают!⁴⁰
Не смей закрывать дверь перед моим носом!⁴¹*

1.5. Самоустранение от вербальной коммуникации:

*Не извиню⁴².
Я с тобой не разговариваю.
Отстань! Не приставай ко мне!* (предполагает, в отличие от *Убирайся!*, возможность коммуникации на другие темы, которая не будет расцениваться агрессором как приставание).

Всякое взаимодействие по ходу своего развертывания воспроизводит (или переопределяет) статусы партнеров. Соответственно мы можем выделить две группы тактик агрессора, одна из которых направлена на подрыв статуса партнера, а другая — на конструирование собственного статуса. Примеры из первой группы:

2.1. Эксплицитное дезавуирование высказываний партнера:

*Да мне плевать, что ты думал (что тебе кажется).
Перестань нести чепуху!*

2.2. Эксплицитное дезавуирование партнера, его статуса равноправного участника коммуникации:

Да кто ты такой? какое ты имеешь право...?

2.3. Указание на повторяющийся некооперативный характер поведения (в том числе коммуникативного поведения) партнера — и через это имплицитное дезавуирование его статуса:

⁴⁰ Ср. в «Селе Степанчикове»:

— *Отвечайте же: горит в вас искра или нет?*

Дядя мнетя, жметя и не знает, что предпринять.

— *Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.*

— *Mais répondez donc, Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами (17).*

⁴¹ Жертва должна находиться между стеной и шпагой, не должна иметь возможности убежать, иначе действия агрессора лишаются смысла. Поэтому попытка скрыться может приводить к эскалации агрессии.

⁴² Об извинениях см., в частности, нашу заметку (Утехин 2003).

*Сколько тебе раз повторять? Тебе все равно как об стенку горох.
А ты мне что говорил? А я тебе что говорила?
Я это сто раз уже слышала⁴³.*

2.4. Ссылка на якобы очевидную общую закономерность; обобщение, согласно которому партнер объявляется не способным к сотрудничеству:

*Ты вообще всегда думаешь только о себе, у тебя всегда другие виноваты.
А разве когда-нибудь было иначе?*

2.5. Эксплицитные обзывания разной степени развернутости вроде:

*Тебе к врачу надо!
Весь в отца — такой же идиот!⁴⁴*

Ко второй группе относятся, например, следующие случаи:

3.1. Указание на собственные заслуги⁴⁵:

Почему в этом доме только я за все отвечаю?

3.2.1 Указание на собственное плачевное положение, создавшееся по вине партнера:

*Ты мне всю жизнь испортил! Ты меня совсем довела!⁴⁶
Ты меня убиваешь (в могилу сведешь).*

⁴³ Этот пример весьма красноречив сразу в нескольких отношениях. Он парадоксальным образом отражает истину — исчерпывающую предсказуемость и потому непродуктивность некооперативных форм взаимодействия. Однако ссылка на предсказуемость оказывается для агрессора поводом игнорировать любые высказывания жертвы, не замечать их, что представляет собой еще одну распространенную тактику. Агрессор и так уже все знает, он как бы читает мысли жертвы; поскольку жертва зачастую тоже убеждена в том, что все знает и может предсказать заранее, обрывается порочный круг.

⁴⁴ Содержательно этот пример — разновидность дезавуирования партнера через указание на его принадлежность к иной группе, выделяемой внутри семьи (к иной подсистеме семьи; такие подсистемы образуются отношениями сына и матери, дочери и отца): «Вы все, Ивановы, такие! Это все ваша петровская кровь!»

⁴⁵ В нормальном разговоре выпячивание собственных заслуг расценивается как неуместное хвастовство и может вызвать ироническую реакцию партнера.

⁴⁶ Обратим внимание на тот факт, что здесь, как и еще в нескольких из вышеуказанных случаев, агрессор ссылается на прошлые звенья схизмогенетической цепочки, на некие прежние обстоятельства, якобы релевантные для объяснения ситуации, послужившей поводом для конфликтного взаимодействия.

Показательно, что многие из приведенных выше примеров имеют форму вопроса: право задавать вопросы и требовать ответа — право сильного. В принципе вопросительная форма высказывания говорящего, если это не риторический вопрос, подразумевает запуск определенного сценария взаимодействия, где слушающий обязан реагировать — скажем, ответом на вопрос или просьбу, скрывающуюся за вопросом (об этом уже упоминалось выше, см. сноску 18). Особенность вопросов агрессора в ситуациях обсуждаемого типа — отсутствие явных указаний на тип вопроса (реальный или риторический); соответственно, партнер спрашивающего не имеет ясности относительно того, как ему поступать — «мнется, жметса и не знает, что предпринять». Задавание вопросов, на которые задающий их знает ответ, само по себе характерное для ситуаций, где статус участников асимметричен (вроде допроса или экзамена), в повседневном конфликтном взаимодействии как бы воспроизводит это неравенство статусов, ставит отвечающего в подчиненное положение.

Особое место в инструментарии агрессора занимает демонстративная имитация разрыва (*убирайся, иди, куда хочешь; знать тебя больше не хочу; ты мне не дочь (сын); ноги моей здесь не будет* и т.п., ср. 1.3, 1.5), представляющая собой более сильную, эмфатическую форму отказа от коммуникации с целью шантажа. Покуда жертва приперта к стенке зависимостью от агрессора и условиями двойного связывания, шантаж остается эффективным.

Отметим, что многие из приведенных выше примеров и им подобных высказываний формально совпадают со свободными сочетаниями, используемыми в других контекстах, не предполагающих выяснения отношений в рамках схизмогенетической цепочки взаимодействий. Так, скажем, «Не ври!» или «Тебе к врачу надо» в некотором контексте могут быть более или менее нейтральным предписанием или констатацией, иметь отношение к выяснению истины или к заботе о здоровье, а обещание, что ноги здесь больше не будет, в принципе может быть выполнено, а не брошено на ветер. Существенно, что в момент произнесения агрессор может быть совершенно искренне уверен, что именно он — жертва и что ему всю жизнь испортили или что ноги его здесь не будет.

В ходе конфликтного взаимодействия одна из возможных тактик жертвы (проигрышных уже потому, что она обращается к содержательному уровню) заключается в том, чтобы отвести от себя гнев и обвинения на том основании, что якобы послужившее причиной конфликта действие (или бездействие) не было умышлен-

ным: либо оно оказалось результатом стечения обстоятельств, либо незнания требований. Это может быть искренним убеждением жертвы⁴⁷, что, однако, не имеет большого значения: как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Прегрешения вполне могут быть, с точки зрения агрессора, и невольными⁴⁸ — точнее, невольное прегрешение, по большому счету, на самом деле вольное, хотя жертва себе в этом и не отдает отчета. Дело в том, что агрессор обладает правом вменять жертве в вину недеяние, полагая это недеяние намеренным⁴⁹.

Так, предположим, что в момент конфликтного взаимодействия агрессор перечисляет все пришедшие в голову поводы для упрека в адрес жертвы («обед опять не приготовлен», «окна не вымыты» и т.п., либо же «дверца опять болтается», «унитаз течет», «грязные носки опять брошены где попало» и т.д.), приписывая жертве злонамеренность. Жертва, не разделяющая картины происходящего, настаивает на том, что все получилось без умысла — «нечаянно», «случайно», «не специально» (а не «специально» или «назло») — и, следовательно, она не несет ответственности (или всей полноты ответственности) за положение вещей.

Для агрессора же вполне допустимо сделать что-то «специально», «назло», «нарочно», с коммуникативной, а не практической целью: увидев беспорядок, навести еще больший беспорядок — скажем, демонстративно сбросить имевшийся беспорядок на пол⁵⁰, тогда как жертва ссылается на то обстоятельство, что беспорядок был создан не «специально» (как «специально» вещи были сброшены на пол), а как бы сам собой, ненамеренно.

Сломать до конца непочиненное, испачкать невымытое, привести в еще больший беспорядок неубранное — в сфере вербального взаимодействия эта логика дает риторические аргументы, доводящие до абсурдной противоположности исходный тезис: «раз добиться полной чистоты невозможно, то давай уж измажь все гря-

⁴⁷ Впрочем, формально совпадающим с отговоркой недобросовестного провинившегося.

⁴⁸ Ср. в тексте панихиды — там есть строчка с просьбой о прощении усопшему прегрешений вольных и невольных. С прегрешениями, совершенными в здравом уме и трезвой памяти, все понятно; а вот как быть с «невольными»? За нечаянно бьют отчаянно?

⁴⁹ Вопрос намеренности всплывает в риторике конфликта на разных уровнях (ср. *Ты что, специально меня доводишь? Чего ты добиваешься?*).

⁵⁰ Или в ответ на жалобы жертвы о неприготовленном обеде агрессор бросает пачку пельменей в холодную воду — будет вам обед.

зью», «раз жить в комфорте — мешанство, что же ты не раздашь все свое имущество бедным?»⁵¹

Можно дать более точную характеристику этому приему, используемому в риторике препирательства — и, соответственно, ходу рассуждения агрессора, которым он и самому себе объясняет свои действия. В модальной логике иногда различают сильное и слабое отрицание. Слабое отрицание суждения вида «необходимо, что р» выглядит как «не (необходимо, что р)», что эквивалентно «возможно, что не р»; сильное отрицание выглядит как «необходимо, что не р». Например, слабое отрицание для «здесь нужно надевать тапочки» имеет вид «здесь можно не надевать тапочки» (точнее, «неверно, что здесь нужно надевать тапочки»). Сильное же отрицание для «здесь нужно надевать тапочки» выглядит как «здесь нужно не надевать тапочки», т.е., в вольной интерпретации, надевать тапочки запрещено; говоря более абстрактно, слабое отрицание обязательства есть отсутствие обязательства, сильное отрицание обязательства есть запрещение⁵². Для сознания, не предполагающего возможности альтернативного собственному и нейтрального — вне рамок «сильной этики» — взгляда на реальность (в том числе не признающего иной пунктуации цепочки взаимодействий) произвольно взятое отрицание может мыслиться сильным.

Арсенал стандартных тактик жертвы невелик. Прежде всего отметим среди них⁵³ попытки довести ситуацию до явного абсурда, обратить ее в шутку. Юмор — одна из немногих тактик, позволяющих сместить фрейм восприятия ситуации и выйти из порочного круга предсказуемости. Приведем пример из богатой копилки Татьяны Тэсс. В одном из ее очерков мать в письмах делится с дочерью житейской мудростью и рассказывает среди прочего такую историю:

⁵¹ Кстати сказать, вторичное использование этого хода встречается в формулах экспрессивного отрицания вроде «вот сейчас все брошу и займусь твоими ...».

⁵² Ион Эльстер в своей работе, где, в частности, разбираются логические основы социального и культурного устройства, описанного А. Зиновьевым в «*Зияющих высотах*», приводит целый ряд примеров из Канта, среди которых: слабое отрицание движения есть покой, сильное отрицание — движение в противоположную сторону; слабое отрицание богатства есть бедность, сильное — задолженность; слабое отрицание удовольствия есть безразличие (отсутствие удовольствия), сильное — отвращение (Elster 1988).

⁵³ Наряду с самоуничижением и признанием вины, оправданиями, приданием буквального характера коммуникации (ср. попытки отвечать содержательно на риторические вопросы) и другими уступками агрессору.

Я легко обижалась по пустякам, а уж насчет упреков по любому пустяковому поводу была большая мастерица. Однажды твой папа сидел, уткнувшись в газету, а я изливала на него очередную порцию упреков. Неожиданно он ткнул пальцем в какую-то статью и сказал: «Представь, оказывается, у тебя есть однофамилец!» — «Какой однофамилец? Что за чепуха?» — взорвалась я. Твой отец с серьезным видом посмотрел на меня и ответил: «Генерал-майор Упрекайло». И мы оба начали неудержимо смеяться. Ох, Ирочка, каким великим помощником бывает в семейной жизни чувство юмора... (Тэсс 1980, 19)⁵⁴.

Чувство юмора позволяет не противоречить агрессору напрямую, потому что в сложившейся схеме отношений это может не иметь смысла — тем более что, вопреки убеждению агрессора, конфликтное взаимодействие описываемого типа использует номинальный предмет общения лишь в качестве повода для очередного выяснения отношений.

Роли жертвы⁵⁵ предписана толерантность, способность прощать ближнему его настроения и выплески эмоций. В крайних случаях это превращается в систематическое обращение с агрессором как с полоумным, не отвечающим за свои действия по общепринятым стандартам приличий и этикета («не противоречь»).

⁵⁴ Ср. из романа Рильке, где жертва доводит конфликтную ситуацию до абсурда, не оставляя иного выхода, кроме юмористического осмысления: «Лишь однажды он во время трапезы постоял за себя перед супругой. [...] Оказывается, в свое время камергерша приходила в неистовство, если кто-то по неловкости пролил вино на скатерть. Каждое пятно, какими бы обстоятельствами ни вызванное, она замечала и подвергала, так сказать, суровому осуждению. И вот как-то раз такое случилось при многих важных гостях. Несколько безобидных пятен стали предметом ее жестоких нападков; и как ни старался дед ее унять незаметными кивками и шутками, она все громоздила упреки, которые, однако, вдруг пришлось ей оборвать на полуслове. Ибо произошло никогда не бывалое и непостижимое. Камергер велел подать ему бутылку вина, которым как раз обносили, и сам с большим тщанием стал наполнять свой бокал. Только, удивительным образом, он не перестал лить вино, когда бокал наполнился до краев, но в набухавшей тишине продолжал лить, медленно, осторожно, до тех пор, пока татап, не умевшая сдерживаться, вдруг не прыснула и своим смехом не обратила все в шутку. Вокруг облегченно расхохотались, камергер поднял глаза и отдал бутылку лакею» (Рильке 2000, 101).

⁵⁵ Тут следует подчеркнуть, что, несмотря на все возможные личностные особенности участников семейных конфликтных взаимодействий, речь здесь идет именно о ролях, а не о характерах. Не характеры, а конфигурация отношений определяет складывание схизмогенетических процессов и условий двойного связывания.

Такое открывающее дорогу семейному деспотизму отношение и чувство его естественности у членов семьи формируется у ребенка как часть освоения правил вежливости. Обучение вежливости и внутрисемейному этикету не предполагает осознания ребенком каких бы то ни было рациональных оснований вежливости. Просто есть определенные правила, с которыми не приходит в голову экспериментировать. В результате ребенок научается систематически делать скидку взрослому на его настроение и состояние («на самом деле она тебя очень любит»), приучается говорить о том, о чем принято, в принятых в семье терминах, а о том, о чем не принято упоминать, не упоминать⁵⁶, считать своих родителей лучшими людьми и образцовыми супругами, а в конфликтном взаимодействии старается принимать за чистую монету декларируемый предмет общения, игнорируя истинное содержание взаимодействия, которого, кстати говоря, нередко не осознает и сам агрессор⁵⁷. Собственно, о подавлении критического мышления в раннем возрасте и о психологической подоплеке деспотических взаимоотношений пронизательно высказывался в свое время З. Фромм⁵⁸, анализируя некоторые формы взаимоотношения супругов и родителей и детей в терминах заколдованного садомазохистского круга, который очень часто смешивают с любовью. Они настолько типичны и узнаваемы, что нельзя сказать, что это ненормально.

Вообще говоря, для вынесения суждения о том, что те или иные формы коммуникативного поведения отличаются от «нормального хода вещей» в сторону насильственного, нездорового или тоталитарного характера взаимодействий, необходимо постулировать набор предпосылок «нормального состояния». Такая нулевая ступень, по отношению к которой сторонний наблюдатель оценивает патологичность наблюдаемых отношений, предполагает набор банальностей — вроде бы настолько обычных, что едва ли кому-то приходило в голову его артикулировать. Это, например, представления о том, что в нормальных условиях человек находится в спокойном доброжелательном эмоциональном состоянии, в «хорошем настроении»; что настроение, мнения и эмоции людей связаны с внешними обстоятельствами и являются реакцией на некое объек-

⁵⁶ К вопросу о связи «тараканов» со «скелетами в шкафу».

⁵⁷ О том, как дискурсивные приемы могут служить материалом для формирования бессознательных моделей, см.: Billig (1997).

⁵⁸ См. главу «Механизмы бегства» в его труде (Фромм 1991), где впервые убедительно показаны параллели между моделями деспотических отношений на уровне семьи и на уровне общества.

тивное и в принципе верифицируемое положение вещей в мире; что метакоммуникативные сигналы отношений в общем случае не конфликтуют со смыслом содержательного сообщения; что люди в значительной степени контролируют свое поведение и проявляют эмоции; что люди следуют принципу кооперации и нарушают коммуникативные постулаты только для того, чтобы получилась импликатура (Грайс 1985), а метакоммуникативные постулаты — только когда у них что-то стряслось⁵⁹; что люди владеют принципами вежливости и приличия — и не нарушают их без причины. Над построением такого списка стоило бы задуматься. Входящие в него постулаты задают базовую структуру неосознаваемых ожиданий, касающихся нормального хода общения.

Заметим, что всякие рассуждения о норме неизбежно предполагают некоторую позицию наблюдателя, некую имплицитную идеологию. Нормальный ход вещей — состояние, принимающее разные значения в разных семьях. Семья представляет собой систему, стремящуюся к сохранению состояния равновесия, но это равновесие может динамически фиксировать систематическое воспроизводство схем патологической коммуникации, что может восприниматься как нормальный ход вещей и упорно сопротивляться модификации. С некоторой внеположной⁶⁰ позиции мы можем рассматривать эту воспринимаемую норму какносящую черты патологии, не забывая, однако, что понятие патологии в данном случае является теоретическим конструктом. Так, например, можно ожидать, что деспотичные стили внутрисемейной коммуникации, содержащие, в наших терминах, элементы патологии, скорее всего, оказались бы статистически доминирующими в русской культуре, возьмись кто-нибудь провести соответствующее исследование.

Оставляя за кадром ряд важных характеристик (гендерные стереотипы, пол и возраст участников коммуникации и т.д. — их рассмотрение весьма плодотворно и составляет предмет отдельных исследований — см., например: Fitzpatrick, Ritchie 1994), отметим

⁵⁹ Ср. известные гарфинкелевские эксперименты, когда он предлагал студентам в качестве эксперимента вести себя так, будто бы они чужие в собственном доме. По сути дела, даже легкая модификация привычных коммуникативных (и метакоммуникативных) паттернов воспринимается как информативная, ибо она нарушает ожидания; невозможность информативного прочтения оказывается весьма травмирующей, потому что она ставит под вопрос отношения (Garfinkel 1984, 45–49).

⁶⁰ Плюс к тому — гуманистической и политкорректной.

лишь самые общие черты противопоставляемых нами двух коммуникативных стилей (ср., в частности: Ritchie 1991).

Гармоничный стиль коммуникации предполагает, что все члены семьи имеют право на открытое выражение мнений, в том числе и противоречащих мнениям других, что делает возможным конструктивное содержательное обсуждение мнений, причем открытое выражение эмоций ограничено лишь тем обстоятельством, что участники общения могут заботиться об эмоциональном комфорте партнеров. Все это определяет обычные в таких семьях способы разрешения конфликтов, не включающие в себя сильных форм некооперативной коммуникации⁶¹, а также дает детям больше возможностей для формирования коммуникативной компетенции, необходимой для полноценного общения в кругу сверстников.

Деспотичный стиль коммуникации проявляется в семьях, где есть существенные ограничения на формы и симметрию коммуникации. В конфликтных ситуациях старшие могут избегать открытого противостояния — например, дуются и не обсуждают противоречия, но отпускают едкие замечания. Дети здесь «не лезут не в свои дела», потому что многие дела взрослых относятся к разряду необсуждаемых, а значит, определенный круг тем не может быть затронут в разговоре; от детей ожидают подавления своих эмоций и проявления согласия с мнением старших, в результате чего они овладевают разнообразными способами избегания открытых конфликтных ситуаций, хотя со сверстниками применяют богатый арсенал словесных колкостей, унаследованный от родителей.

Шкала гармоничности—деспотичности является обобщением нескольких параметров коммуникативного стиля семьи, но отнюдь не исчерпывает его характеристики; другим немаловажным измерением является, например, степень контроля слабых со стороны сильных, варьирующая от «до всего есть дело» до «почти на все наплевать». Степень деспотичности и степень вовлеченности власти важны, в частности, для сопоставления стереотипов внутрисемейной коммуникации и стиля отношений между властью и

⁶¹ Отметим, что здесь нет противоречия с тем, что выше сказано о ритуализованном наказании ребенка, в том числе и с применением физического насилия, на в целом гармоничном коммуникативном фоне такое наказание не воспринимается как «эмоциональное», «психологическое» насилие. Другое дело, что человек, глубоко интериоризовавший ценности тоталитарной группы, тоже не будет воспринимать как насилие деспотичность форм коммуникации властного агрессора по отношению к себе.

человеком на другом уровне — на уровне общества в целом⁶². Между этими уровнями нет сколько-нибудь прямой причинной связи — и было бы наивно объяснять распространенность и конкретные формы семейного деспотизма тоталитарным характером общества и, наоборот, выводить складывание деспотичного характера власти в обществе из распространенных особенностей семейных отношений. Однако это сопоставление не вовсе лишено смысла — во-первых, в силу разительного сходства некоторых черт и, во-вторых, потому, что опыт и коммуникативная компетенция, приобретенные в деспотичной семье, позволяют человеку воспринимать определенные формы властных отношений в обществе как нечто естественное, само собой разумеющееся.

Ситуация двойного связывания, комплементарно-схизмогенетические процессы и производные от них формы коммуникации и психологических защит характерны и для проявлений деспотизма на более высоком, нежели семейный, уровне. Оправдание тоталитарной власти, несмотря на ее «отдельные недостатки», мазохистическая любовь к родине, которая в лице коллективов и официальных инстанций обладает монополией на правду и на выбор способа общения с индивидом — все это механизмы, транслирующие себя через практики воспитания, будь то семейные или общественные.

IV

ПОЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ

⁶² Если угодно, можно рассматривать семейные отношения как основание метафоры, пригодной для выражения некоторых параметров отношений в обществе. В этой перспективе, например, по шкале вовлеченности власти в повседневные дела индивида брежневская эпоха окажется ближе к полюсу «почти на все наплевать».

Дмитрий Михель

СУПРУЖЕСКАЯ СПАЛЬНЯ:
К «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
И ОТ НЕЕ

Одним из последствий нынешнего стремления к использованию опыта различных социальных дисциплин в гуманитарных исследованиях стал повышенный интерес историков и социологов к проблематике повседневности. В поле их внимания попадают вопросы, которые до недавнего времени беспокоили разве что антропологов. Анализ повседневности, ее различных структур позволяет писать *другую* историю и заниматься *другой* социологией¹. Помимо прочих значений *другое* здесь означает и проявление интереса к тем сторонам человеческой жизни, которые прежде оставались за чертой внимания многих социальных наук. Строго говоря, *другое* — это сами люди в их повседневности, их телесность, одежда, секс, их жилище. Обращаясь к этим «факультативным» проблемам, мы лучше понимаем содержание проблем «первостепенных», «вечных».

Разговор о супружеской спальне, в которой мы привыкли видеть обычный атрибут нашего жилища и обитель частной жизни, мог бы, например, помочь понять содержание происходящих сегодня с нами великих перемен (не все ли перемены и всегда велики?). Мы едва ли найдем специальные исследования историков и социологов, касающиеся этого феномена, хотя некоторые авторы так или иначе затрагивали тему спальни в своих работах (Козлова 1999, Осокина 1998).

Вопрос о спальне или — с чем приходится сталкиваться чаще — вопрос о доме обычно связывается с проблемой социального конструирования пространства частной жизни. Это вопрос о самой

¹ Методологически важным ориентиром здесь может служить Ле Гофф (2002).

частной жизни, о ее наличии или отсутствии. Это также вопрос о тактиках поведения членов семьи в рамках фамильной структуры. Это, кроме того, вопрос о взглядах самих людей на их приватную жизнь, о мире *воображаемого*, который выходит за границы области твердых и отчетливых представлений, хотя в какой-то степени и пересекается с ней².

Обращение к феномену супружеской спальни, которое будет предпринято в этой статье, возможно, позволит пролить новый свет на вопросы семейной жизни. В отличие от гостиной, спальня продолжает еще восприниматься многими нашими современниками как «святая святых» их супружеских отношений. Но всякий феномен, как мы теперь начинаем осознавать, историчен. Он возникает и исчезает вновь, стремясь ввести нас в заблуждение относительно своей неизменности. Не такова ли и природа супружеской спальни?

Свое исследование феномена спальни я буду вести с помощью разных материалов и инструментов: анализ интервью и устных историй, собранных мной в течение последнего года в рамках общей попытки изучения повседневной истории послевоенного советского общества³, будет дополнен изучением текстов, главным образом современных популярных журналов, издающихся в России.

В основе исследования — несколько вопросов. Какова история возникновения спальни как особого домашнего пространства, являющегося привилегированным местом осуществления супружеских отношений, и в чем особенность российского варианта этой истории? Какое влияние оказывает на устройство супружеской спальни современная информационно-технологическая рево-

² При этом сегодня появляются интересные работы и о других домашних пространствах. Так, например, в статье французского социального антрополога Софи Шевалье речь идет исключительно о гостиной. Используя многочисленные интервью с представителями низшего среднего класса — обитателями современных городских квартир и пригородных особняков Франции и Великобритании, Шевалье пишет о гостиной как об особом пространстве воплощения индивидуальных и коллективных (супружеских) идентичностей, а кроме того, как области реализации разнообразных гендерных политик (см.: Chevalier 2002).

³ В период с ноября 2001 по июль 2002 года мною было собрано 20 интервью с жителями трех крупных российских городов — Москвы, Челябинска и Саратова. Моими собеседниками оказались в основном женщины, родившиеся с 1926 по 1948 год. Записанные с их согласия истории отражают их воспоминания о нормах семейной жизни в послевоенную советскую эпоху.

люция? Наконец, как эволюция современных форм сексуальности воздействует на характер наших представлений о назначении спального покоя?

Спальня и возникновение частной жизни

Процесс *возникновения* частной жизни обсуждается давно. Например, американский социолог Толкотт Парсонс связывал тему приватности современной жизни с темой исчезновения класса прислуги (Парсонс 1998, 151—152). Во Франции проблематику частной жизни исследовали Филипп Арьес, изучая эволюцию семьи на Западе, Анри Лефевр, обсуждая некоторые незаметные факты истории первых двух третей XX века, и, конечно, Мишель де Серто, уделивший, возможно, самое пристальное внимание «ординарной культуре» (Ariès 1962, Lefebvre 1999, De Certeau 1988). В Британии эта тема стала предметом внимания представителей школы культурных исследований, вдохновленных идеей Раймонда Уильямса о том, что суть культуры — в ее обыденности (Williams 1997).

Еще раньше в своей работе «*О процессе цивилизации*» (1939) Норберт Элиас дал образцовый пример исторического исследования вопроса о происхождении спальни (Элиас 2001, 234—243). Со ссылкой на многочисленные тексты Средневековья и ранней современности Элиас показывает, что в течение очень долгого времени на Западе даже в среде высшего слоя мирян не существовало понятия о частной жизни, и поэтому было чем-то само собой разумеющимся, когда гостей принимали в комнате, где стояли кровати. Не вызывали никакого удивления ситуации, когда в одной комнате ночевало много людей, когда господа делили постель со своими слугами, когда на одной и той же кровати спали порой незнакомые люди. Элиас также сообщает, что до той поры, пока не произошло обособление спальни от общественной жизни, в европейском обществе существовала подлинная непринужденность в обнажении своего тела: представители разных социальных групп ложились спать совершенно голыми (иногда, наоборот, полностью одетыми). При этом история появления одежды для сна сообщает, что ночные рубашки и пижамы появляются сравнительно поздно. В аристократическом мире, где события отхода ко сну и пробуждения имели публичный характер, ночные рубашки, как и любое платье, были богато украшены, поскольку выставля-

лись напоказ. Напротив, в буржуазную эпоху все элементы спального костюма тщательно маскируются, и даже само упоминание о них становится чем-то неприличным. Лишь к середине XX века в связи с растущей социальной мобильностью и появлением новых стандартов общественной жизни (например, жизнью в гостиницах), одежда для сна вновь преобразуется таким образом, что человеку становится «не стыдно» показаться в ней перед лицом других людей. Ведя разговор о спальне, Элиас отмечает, что «вплоть до последней по времени фазы процесса цивилизации постель и тело совсем не считались зонами психической опасности» (Элиас 2001, 242). Лишь сравнительно недавний — в XIX веке — отказ от практики совместного использования одной постели посторонними людьми, а также взрослыми и детьми, показал, насколько изменились межчеловеческие отношения и поведение людей.

Приватизация супружеской спальни — это процесс, который сигнализировал о *торжестве буржуазного образа жизни*. В его основе лежало особое отношение к собственности и образованию, которое позволяло представителям буржуазного класса противопоставлять себя существовавшей во многих странах аристократии и народу. То, что особое социальное положение буржуазии *не* опиралось на преимущества рождения и наследуемой собственности, со временем привело к сознательному отграничению от остальных групп. С этим были тесно связаны буржуазный индивидуализм и новая семейная идеология. Как пишет Райнхард Зидер, имея в виду ситуацию в Австрии и Германии,

из разделения производства и семьи, «публичной» и «частной» сфер образовалось семейное жизненное пространство, которое должно было быть заполнено *сентиментализацией* отношений. Это имело следствием новый взгляд на соответствующие полам роли мужчины и женщины и новое, в духе педагогической науки, обращение с детьми (Зидер 1997, 128).

Еще одной тенденцией, отразившейся в процессе возникновения супружеской спальни, было *утверждение идеи супружества*, ставшей одной из центральных тем в философии первой половины XIX века. Так, у Гегеля супружество, «брак», противопоставляется «сожительству», как нравственная форма отношений между полами — естественной, нацеленной исключительно на удовлетворение физических потребностей мужчины и женщины (Гегель 1990, 212). Философ рассматривает супружеские отношения в ка-



Будуары высшей аристократии:
Коллекция *Grange*.
Спальня императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце.
Частная архитектура 2001, № 8, с. 105

честве многоплановых связей между двумя индивидами, выделяя в них чувственную, интеллектуальную и нравственную стороны. В череде его высказываний, вполне характерных для своего времени, наиболее интересными представляются оговорки философа. Рассматривая отношения представителей двух полов к наукам и искусствам, Гегель видит причину превосходства мужчин над женщинами в данном вопросе в следующем:

Различие между мужчиной и женщиной такое же, как между животным и растением: животное больше соответствует характеру мужчины, растение — больше характеру женщины, ибо она в большей степени являет собой спокойное раскрытие, которому в качестве принципа дано более неопределенное единство чувства (Гегель 1990, 216).

Это сопоставление мужчины с животным, а женщины с растением является весьма показательным. В его основе лежит представление о мужской подвижности и женской ограниченности в

передвижении. Женщина, в воображении Гегеля, это существо, пустившее корни, украшающее собой дом и сад.

Тезис о растительной природе женщины вновь и вновь проговаривается в литературе XIX столетия. Исследуя перемены в общественном сознании французов гегелевской эпохи, Ален Корбен сообщает о новых способах невербальной коммуникации и использовании ароматов, которые строятся на тезисе о союзе женщины и цветка (Корбен 2000, 60). Этот союз, однако, выражается не только посредством нанесения на женскую кожу тонких духов и одеколонов; в Европе XIX века, по данным Корбена, как в среде аристократии, так и среди буржуазных кругов была очень распространена практика обустройства тепличных пространств, центром которых была супружеская спальня и царящая в ней женщина. Зимние сады, оранжереи, цветочные шпалеры, проникающие в будуары, — таковы проявления цветочно-растительной культуры, созданной воображением и деньгами людей, противопоставивших частную жизнь публичному существованию. «Жизненное пространство становится придатком к цветочному декору, атмосфера жилища насыщается растительными ароматами» (Корбен 2000, 71).

История происхождения спальни в России также тесно связана с судьбой российской буржуазии. В качестве социального класса она появляется довольно поздно — в эпоху великих реформ XIX века — и существует крайне недолго, до октября 1917 года. Но этот период в российской истории был отмечен подлинной «сексуальной революцией» (Энгельштейн 1996). Американский историк Лора Энгельштейн, изучавшая этот феномен, сообщает о том, как сознание правящих классов неожиданно для себя открывало существование секса во всех слоях общества — от высших до низших, у всех возрастных групп. Секс был «обнаружен» не только в городе, но и в деревне, на каторге и, разумеется, в супружеской спальне — феномене, имеющем чисто буржуазное происхождение. В этом смысле появление спального покоя в России связано с теми же историческими закономерностями, что и на Западе.

Ликвидация буржуазии как класса после прихода к власти большевиков и наступления сталинизма привела к исчезновению частной жизни в Советской России, а вместе с этим — и к исчезновению спальни. Спальня в архитектурном смысле осталась лишь в распоряжении семей представителей партийного аппарата, номенклатуры, который приобрел многие черты социального класса. Однако номенклатура — не буржуазия. На протяжении 20—50-х годов XX века у нее не было никакой уверенности в сво-



Будуар в классическом стиле.
Частная архитектура 2001, № 8, с. 66

ем завтрашнем дне⁴. Террор и «чистки» в мгновение ока врываются в ее частную жизнь. Спальня номенклатурного работника сталинской эпохи не была тем местом, где можно было ощущать свою безопасность:

В одну из ночей 37-года нашего папу забрали. Приезжал «черный ворон». Вскоре нам пришлось переехать из нашей многокомнатной квартиры к родственникам в деревню. Слава Богу, нас потом не преследовали (из интервью автора с Галиной Петровной⁵, 78 лет, в мае 2002 года).

⁴ Исследуя жилищную ситуацию в Ленинграде в 1920—1930-е годы, Н. Б. Лебина показывает, как ленинградская номенклатура без всякой стеснительности могла позволить себе занимать многокомнатные квартиры, тогда как большая часть потомственных ленинградцев, не говоря уже о вновь прибывавших в город, ютилась по коммуналкам, принимая как данность жилищную политику большевиков. В основе этой политики лежала идея о том, что элементарной клеточкой проживания является не собственный дом и не городская квартира, а комната — одна для целой семьи. В условиях политики уплотнения жилплощади нередко в комнате жили не только члены одной семьи, но и незнакомые люди (см.: Лебина 1999, 178—204).

Отец был секретарем парткома трамвайного парка. Он был человек своевольный. Слова ему не скажи. Люди говорили, что он чернильницей по голове ударил проверяющего. Даже домой не вернулся. А я без мамы росла в одной большой квартире. Еще домработница к нам приходила... Тетка по матери меня к себе забрала. Я и выросла там, безотцовщина. В тесноте. Всю войну с ними жила, работала. Потом замуж вышла за офицера (из интервью с Татьяной Павловной, 77 лет, в июне 2002 года).

Большая часть населения советских городов жила в коммунальных квартирах. Как и в деревнях, в городских квартирах не было никаких спален. Не было ничего «своего» — ни кухни, ни туалета, ни ванной комнаты. Тотальная публичность существования. Жилищная политика при сталинизме совершенно не поощряла возведения в городах домов для отдельных семей. Бытовой коммунизм должен был обеспечивать формирование новой общности людей — *советского народа*, т.е. народа, у которого нет частной жизни, чей быт и жизненное пространство открыты для партийно-государственного контроля.

По меньшей мере три десятилетия советской истории повседневностью для массы советских людей был коммунальный быт: ссоры на кухне, теснота в большом общем коридоре, очереди по утрам в туалет⁶. Романтическая ностальгия по коммунальным квартирам, питаемая детьми, выросшими в этих условиях, не вытесняла, однако, никогда затаенную мечту о собственном доме: ни об угле, ни о комнате, ни даже о собственной квартире, а о доме. Нерасторжимая связь советского города с деревней, хотя и полуголодной, а также смутная память о прошлой истории, хотя и чужой, поскольку это была история *бывших*, история обреченных на отмирание классов, и, конечно же, знание того, как живет *начальство*, питали эту надежду о собственном доме, по крайней мере о доме на две семьи.

Когда папа после войны служил в Белоруссии, мы жили в частном доме на две семьи. Был сад. Я с детства это помню. Всегда хотела иметь дом с садом. Но всю жизнь прожила в городских квартирах. Никогда у нас не было больше трехкомнатной. Да и то маломерки. Сейчас вышла на пенсию. Сын вырос, женился. У него своя семья. Жить есть где. А мы живем с мужем. И мама с нами. В городе на втором этаже (из интервью с Еленой Николаевной, 57 лет, в марте 2002 года).

⁵ Имена информантов повсюду изменены.

Лишь с 1960-х годов в СССР начался медленный процесс реанимации частной жизни, связанный с появлением у городского населения своих собственных многокомнатных квартир. В некоторых из них, хотя и далеко не во всех, была возможность выделить спальные комнаты для супругов.

Мои собеседницы, которые вспоминали об этой эпохе, неизменно подчеркивали чувство радости, которое они испытывали при въезде в новые собственные квартиры, оставляя в прошлом заводские общежития и коммуналки. По их рассказам, теперь это были квартиры с комнатами без соседей, с собственной кухней, очень часто маленькой, площадью четыре с половиной квадратных метра. На такой кухне можно было разместить разве что стол. Холодильник был счастьем. Маленький. Больших попросту не было. Да ничего другого на такой кухне бы и не уместилось. Однако привыкшие к тесноте люди с легкостью загромождали кухонное пространство, коридоры и балконы домов своим имуществом. По соседям еще тосковали, но при этом радовались факту дистанции от них. Встречи с соседями все чаще стали ограничиваться лестничной клеткой подъезда.

Двор как место для частых встреч стал терять значение. Происходил новый процесс рождения частных пространств. Жилищная политика государства, почти отвыкшего строить жилье для своих граждан, — хотя не следует забывать и разрушенных в годы войны городов, которые пришлось заново отстраивать, — переменялась. Она не могла в силу инерции измениться решительным образом, это были постепенные перемены. Новоселы радовались новым квартирам, но уже через пять—десять лет начинали сознавать, что и эти квартиры слишком тесны. Поколение 60-х годов не дотягивало ни до российских буржуазных стандартов прошлого, ни до уровня жизни на Западе:

В начале 60-х наш челябинский тракторный (завод. — Д. М.) выделил нам с мужем квартиру. Если бы я не работала в цехе, то сам он не скоро бы получил. А так, нам дали полуторку. Полуторка — это не однокомнатная. У нас уже сын был в то время. В школу ходил. Мы фанерную перегородку поставили, так что появилась вроде как вторая комната. Спаленка (из интервью с Алиной Ивановной, 67 лет, в феврале 2002 года).

Мы с мужем всю жизнь прожили в двухкомнатной квартире. Въехали в нее, когда у нас уже было двое детей. Дочь и сын. Дочь старшая. Я не работала. Муж — преподаватель в вузе. Доцент. К занятиям на кухне готовился по ночам. Никакой личной жизни. Когда дети подрос-

ли, пришлось их в разные комнаты расселять. Да еще мама моя часто к нам приезжала пожить. Вот летом-то только и вспоминали, что мы друг другу муж да жена. Почему летом? Летом детей в пионерский лагерь посылали (из интервью с Галиной Викторовной, 57 лет, в июне 2002 года).

В период 1960—1980-х годов в СССР резко возросло число счастливых обладателей многокомнатных городских квартир: «хрущевок», «полупорок», «девятиметровок», «двух- и трехкомнатных секций», «квартир улучшенной планировки», «квартир по чешскому образцу» (по терминологии моих информантов). Вопреки тезисам официальной социологии, в России происходил процесс складывания очень многочисленного среднего класса — большого числа городских семей, уверенных в своем завтрашнем дне, никак не связанных с правящей элитой. Важным условием для этой уверенности у этой категории населения были их квартиры и, как думается теперь, то обстоятельство, что многие из них имели в этих квартирах комнаты, которые они смело называли спальнями.

Архитектоника спальни

До середины XVIII века буржуазия еще не могла публично демонстрировать свой образ жизни, свою роскошь и образованность. Буржуазный дом еще был во многом схож с домом преуспевающего ремесленника, который был открыт для связи с атмосферой города. Но к концу столетия буржуазная семья начинает отгораживаться от внешнего мира, от соседей и прислуги. Дом с множеством общих помещений и комнат, служивших для совместного приема пищи, жилья и иных целей, заменяется домом со *специализированными помещениями*. Приходит, наконец, архитектурное решение возросшей потребности отделиться друг от друга. Появляются кабинет, столовая, детская и, конечно, спальня. Коридоры планируются так, чтобы было как можно меньше проходных комнат, чтобы не нарушалась интимность проживания. Приходящие в дом гости и деловые партнеры супруга лишены возможности подсмотреть за тайной стороной жизни обитателей дома. Двери в супружескую спальню закрыты, а сама комната нередко находится на втором этаже, в отдалении от комнат для приема гостей. Спальня — сердце внутреннего мира семьи, тогда как гостиная — пространство для демонстрации престижа семьи, ее потребительских возможностей.



Кровать — королева спальни.
Частная архитектура 2001, № 8, с. 60



Современные интерьеры: спальня.
Частная архитектура 2001, № 8, с. 48

Спальня — особый тип домашнего пространства. Долгое время она была начинена *монументальными вещами*: кроватью, шкафами, тумбами. Описывая буржуазный интерьер, Жан Бодрийяр указывает на его патриархальный характер:

Действует тенденция занять, загромоздить все пространство, сделать его замкнутым. Всем вещам свойственны монофункциональность, несменяемость, внушительность присутствия и иерархический этикет... Предметы переглядываются между собой, сковывают друг друга, образуя, скорее, моральное, чем пространственное единство. Все они располагаются на одной оси, обеспечивающей регулярную последовательность поступков и символизирующей постоянную явленность семьи самой себе (Бодрийяр 1995, 11).

Реальные связи между людьми и между вещами в спальне подчинены моральной перспективе. В спальне царит дух благоприсутности, вместо комфорта здесь приветствуется уют, а вместо сотрудничества — любовь.

По этой причине все *функциональные* вещи выносятся за пределы спальни. В образцовой супружеской спальне буржуазного дома не должно быть вещей, несущих в себе идею работы. Спальный апартамент предназначен не для производства, а для воспроизводства. Подразумевается, что именно здесь происходит зачатие новых жизней. Здесь же супруг, утомленный дневными трудами, черпает эмоциональные и духовные силы в приятном общении со своей супругой. Спальный покой призван воплощать успокоительный мир природы, противопоставленный суетному миру общества. Пленительный деревенский ландшафт вместо пугающих городских улиц.

В XX веке в архитектонике спального покоя произошли глубокие перемены, вызванные поначалу весьма неспешной информационно-технологической революцией. (Лишь на рубеже двух веков она приобрела черты «культурного взрыва».) Эти перемены коснулись прежде всего мира вещей, наполняющих и организующих пространство спальни. Наряду с вещами-монументами в него проникли функциональные вещи, прежде всего средства коммуникации.

Первым в спальню попал телефон. Его ночные звонки нарушили природную идиллию супружеской уединенности семей государственных «совслужащих», где муж был важным офицерским чином, ведущим медиком или «ответственным работником». Всем своим видом телефон указывал: спальня не может быть местом приватной жизни и на нее тоже распространяется государственный интерес.

Когда телефоны появлялись в обычных семьях, они долгое время занимали место в прихожей. Такие телефоны крайне редко звонили в ночные часы, используя в основном в дневное и вечернее время. Индустриальный ритм жизни, которому подчинилось огромное большинство людей, не оставлял возможностей для ночного общения по телефону, кроме тех редких исключений, когда телефон использовался для звонков в города, находящиеся в ином часовом поясе. Ночные звонки телефона стали регулярными лишь тогда, когда резко возросла деловая активность людей и сложился класс предпринимателей, живущих круглосуточным бизнесом. С этого момента телефон стал элементом спальни. Впрочем, в боль-



Диагональная планировка спальни позволяет экономить пространство.
Интерьер+дизайн, январь 2001, с. 100

шинстве случаев это был уже не старый телефонный аппарат со шнуром, а радиотрубка, легко переносимая из комнаты в комнату.

Телефон в спальне нарушил границу между миром внутреннего и внешнего. Еще в большей степени ее устранили телевизор и компьютер, которые, как показали наши наблюдения и беседы с обитателями современных городских квартир, не всегда располагались в гостиной и кабинете. Благодаря их вездесущности спальня перестала быть островом неприступной супружеской жизни и оказалась на самой передовой современных социальных изменений. Апогеем этого процесса стал новый тип спальни, совмещенной с рабочим местом:

Прикроватный кабинет. Домашний офис в двух шагах от кровати? В этом соседстве нет ничего страшного. Убедитесь сами. В центре у стены — великолепная двуспальная кровать со стеганым изголовьем насыщенного бирюзового цвета и таким же покрывалом. Она эффектно выделяется на фоне слегка тонированной светло-голубой стены. С бирюзовым эффектно сочетаются белый и детали из металла. Несмотря на «присутствие» многочисленных элементов рабочей обстановки, кровать, без сомнения, приковывает к себе внимание (*Интерьер+дизайн* 2001, январь, 103).

Логическим следствием этого проекта можно считать особую кровать-компьютер, которая годится лишь для жизни дельца, не помышляющего о покое:

У настоящего дельца каждая минута на вес золота. И многим фанатам своего дела жаль тратить драгоценное время на всякие «пустяки» типа еды, досуга, сна... Спасением для них может стать компьютеризированная чудо-кровать — гордость датских изобретателей, которые не без иронии называют ее между собой «койкой бизнесмена». В изножье кровати вмонтировано два больших экрана, а клавиатура замаскирована в недрах уютной подушки. Не думайте, что это бутафория, — клавиши функциональны. Продвинутый бизнесмен при помощи современных технологий сможет быть в курсе всех событий, не вставая с мягкого ложа. А ведь это лучше, чем дремать за столом перед компьютером, уронив голову на клавиатуру! Авторы идеи уверены, что у наштапованной электроникой кровати большое будущее. Чудесное изобретение поможет занятым людям избежать стрессов и изменит наше представление о привычных атрибутах домашней обстановки (*Отдохни* 2001, № 19, 14).

Распространение представлений о ценности информации и электронной коммуникации в рамках наступающей «информационной эпохи»⁷ становится причиной вторжения медиа в пространство спальни. Поэтому коммуникационная проводимость становится угрозой для приватности спальни, а равно и всякого жилого пространства. Новые архитектурные и дизайнерские проекты все более ориентируются на принцип *сообщаемости* всех помещений в доме. Вчерашние стены и перегородки между комнатами идут под снос, действует правило «свет вместо стен»:

До недавнего времени в квартирах господствовал комнатно-коридорный принцип, своего рода соты, состоящие из небольших изолированных помещений. В новой концепции дома перегородок становится все меньше, и закрытые помещения сугубо личного свойства (спальни, кабинеты) сочетаются с объединенным многофункциональным пространством... Но это свободное пространство будет аморфным, если не расставить нужные смысловые акценты, подчеркивающие разные функциональные зоны. Светильники среди этих вещей-маркеров играют едва ли не первую роль (*Домашний очаг* 2002, февраль, 45).

В новой концепции жилища супружеская спальня — это уже не отдельное помещение, затворенное дверью от внешнего мира, но нередко всего лишь *особая зона*, плавно переходящая в другие функциональные зоны и отличающаяся от них прежде всего смысловым содержанием.

Деловые отношения, до недавнего времени разворачивающиеся преимущественно за пределами спальни, теперь все чаще ста-

⁶ Подробное исследование коммунальных квартир см.: Утехин 2001.



Прикроватный кабинет, или спальня-офис.
Интерьер+дизайн, январь 2001, с. 103



Кровать-компьютер для трудоголиков.
Отдохни 2001, № 19, с. 14

новятся неотъемлемой составляющей супружеского будуара. Во всяком случае, именно так рассматривают спальню деловой супружеской пары современные дизайнеры и производители мебели:

С фактическим исчезновением будуара как самостоятельного помещения эта тонкая интригующая грань между завуалированно-интимной и откровенно-интимной территориями стерлась. Нынешней деловой женщине некогда шептаться в кулуарах с любимыми, выстраивая сложные параболы отношений. Поэтому будуар в традиционном смысле — явление сегодня достаточно редкое. Отдельные же элементы будуара по-прежнему остаются неотъемлемыми составляющими спальни, о чем свидетельствуют представленные на нашем рынке гар-

нитуры различных марок. Вариантом подобного симбиоза является полноценная спальня, наделенная функциями туалетной комнаты, кабинета и места для отдыха. В набор мебели такой спальни помимо кровати, прикроватных тумбочек и комода обязательно входят туалетный столик и настоящее бюро, а в качестве дополнительных предметов мебели туда в различных сочетаниях включаются гардероб, небольшие стеллажи, шкафчики, пуф, стулья или кресло, банкетка, кушетка или шезлонг, чайный или журнальный столик. Новые технологии позволяют дополнительно разгрузить интерьер. Современные трансформирующиеся кровати делают необязательным присутствие в спальне кресел и диванчиков, а тумбочки с помощью подвижных столешниц превращаются в «надкроватные» чайные, письменные и даже туалетные столики. Так классические по своему назначению атрибуты будуара обретают современную функциональную оболочку (*Частная архитектура* 2001, № 8, 63).

Ритм деловой жизни находит свое отражение в полифункциональной мебели, каждый предмет которой представляет собой вещь-трансформер, легко способную играть роль кровати, дивана или игровой площадки. Типичный пример презентации вещи-трансформера можно обнаружить на страницах новых дайджестов о современных интерьерах. Такова, например, «*Модель Floppy*» дизайнера Тима Пауэра, спроектированная им для компании *BRF*:

Это универсальный предмет. Для взрослых — это солидный диван с подлокотниками, для молодежи — современная двуспальная кровать, для детей — игровая площадка-манеж... Все метаморфозы происходят очень просто. Из двух частей дивана, если его разложить, получается кровать, перевернув которую мы устраиваем игровую площадку (*Четыре комнаты* 2002, № 3, 114).

Надо полагать, что речь идет не просто об экономии пространства. Скорее, это насаждение *идеологии гибкости*, выработка привычки к постоянным и безболезненным трансформациям. Как и любая вещь в супружеской спальне, люди — ее обитатели — должны, следовательно, приучаться к гибкости и переменам.

Необходимо отметить, что новые идеи спальни — рабочего места, культивируемые современными глянцевыми журналами, в России еще достаточно непривычны. Их мишенью является высший средний класс, в большинстве своем сосредоточенный в Москве и Санкт-Петербурге. По этой причине в сознании провинциального российского обывателя этим идеям нет места, и знакомиться с ними ему приходится лишь с помощью все тех же журналов и телевидения. Тем не менее можно предположить, что формирование этой

социальной группы будет продолжаться и выйдет за пределы «двух российских столиц». А это значит, что традиционный образ замкнутой от внешнего мира супружеской спальни — образ столь еще недавно сложившийся — будет вытесняться образом спальни, открытой для внешнего мира с помощью информационно-технологической революции.

Супружеская спальня и эволюция сексуальности

Какие сексуальные практики имеют право разворачиваться в супружеской спальне? На этот вопрос в течение двух последних столетий стремились ответить мораль, литература и наука, главным образом сексология. Этот род научного знания появился на свет с целью разрешить проблему того, что *должно* происходить в спальне и что *может* происходить за ее пределами, т.е., в сущности, сконструировать тип сексуальности, соотносящийся со спальней. Согласно Верну Л. Баллофу, свой вклад в развитие сексологии вносили многие поколения ученых, первыми среди которых были практикующие врачи рубежа XIX—XX веков (Bullough 1994). Нет смысла перечислять все имена пионеров в этой области и их деяния. Остановимся лишь на том, что «отцы-основатели» сексологии — а среди них и Рихард Крафт-Эбинг, и Зигмунд Фрейд, и Генри Хавлок Эллис и пр. — активно использовали в своем дискурсе понятия «нормального» и «патологического» в сфере секса.

Для того чтобы четко представить себе содержание этих терминов, возможно, следовало бы не только перечитать все тексты «отцов-основателей», но и внимательно отнестись к замечаниям их современных комментаторов. Таким комментатором для нас, например, может быть Гейл Рубин, набросавшая общую схему того, что думали и говорили о сексуальной норме и патологии в недавнем и совсем недавнем прошлом. Итак, «нормальный секс» сводился к следующим характеристикам: гетеросексуальный, в браке, моногамный, репродуктивный, некоммерческий, парный, вследствие отношений, между представителями одного поколения, совершающийся дома, без привлечения порнографии, без привлечения посторонних объектов, нормативный по технике.

Безусловному порицанию подлежали сексуальные практики противоположного содержания: гомосексуальные, вне брака, не-

моногамные, нерепродуктивные, коммерческие, совершающиеся самостоятельно или в группах, случайные, между представителями разных поколений, совершающиеся публично, с привлечением порнографии, с использованием посторонних объектов, садомазохистские (Рубин 2001, 484).

Конструирование супружеской сексуальности средствами сексологии в период ее «героической эпохи» отвечало общему духу патриархатного общества. И это притом, что такой теоретик сексуальности, как Фрейд, внес наибольший вклад в анализ и критику этой самой системы патриархата (см.: Лауретис де 2001, 28). Эволюция знания о сексе — одна из самых многотрудных и наполнена противоречиями. Полный вклад сексологии в освобождение/конструирование секса и сексуальности, как думается, предстоит осмыслить еще и еще⁷. Но пока можно обратить внимание на следующий факт: во второй половине XX века сексология перестала быть делом только узких экспертов. Она перестала быть делом только мужчин, став знанием многочисленных консультантов и средств массовой информации. Проблемы секса перекочевали со страниц малодоступных медицинских изданий в область многоязыкой журналистики и популярных журналов. Новые субъекты *scientia sexualis* перестали вести разговор, опираясь на представления о «нормальном» и «ненормальном» сексе. Вместо этого распространились дискуссии о стилевых предпочтениях, об экспериментировании и самоутверждении в области секса. Подобная перемена в одинаковой мере затронула как «мужские», так и «женские» периодические издания, равно как и журналы, предназначенные для подростков. Рассмотрим ситуацию с репрезентацией сексуальной проблематики в печатных медиа России.

«Мужские» журналы, такие как «*Men's Health*», «*Penthouse*», «*Playboy*», «*FHM*», «*Медведь*» и другие, систематически обсуждающие вопросы секса, в принципе не ставят их в связь с супружеской сексуальностью. Секс здесь, как и в межвоенный период, это игра в «охотника» и «жертву», где на роль «охотника» определен сильный, знающий себе цену мужчина.

Та же сексуальная политика реализуется и во многих «женских» журналах. Так, «*Cosmopolitan*», ориентированный на материально обеспеченную женскую аудиторию, раз за разом обсуждает

⁷ Термин заимствован у Мануэля Кастельса (см.: Кастельс 2000).

⁸ Классическое исследование Мишеля Фуко, ставшее образцом критического анализа *scientia sexualis*, разумеется, не может решить всех возникающих здесь вопросов (см.: Фуко 1996).

проблемы до- и внебрачных сексуальных связей. Его летние выпуски могут обращаться к проблеме сексуальных развлечений на лоне природы: «Секс на свежем воздухе — сплошное здоровье, уверяет Катя Милицкая. И подкидывает идеи: как и где заняться этим, чтобы потом не жалеть о потраченных впустую летних месяцах» (*Cosmopolitan* 2001, июль, 76).

«*Beauty*», обращенный к той же категории читательниц, позволяет себе рассуждать не только о «курортных романах», но и о знакомствах через компьютерные сети:

Счастливые подруги и знакомые нежатся под ласковым южным солнцем, плещутся в бархатных морских волнах, выставляя напоказ все свои прелести и внимательно рассматривая представителей противоположного пола. А в городе увлекаются виртуальным трепом. Сетевые знакомства довольно быстро перерастают в реальные, но в жизни принц претерпевает удивительные метаморфозы. Мы решили облегчить себе жизнь с помощью их классификации (*Beauty* 2001, июнь, 99).

«*Красота и здоровье*», адресованный деловым дамам, растворяет тематику секса среди рекламы медицинских услуг и информации о способах поддержания здоровья. Но чаще всего сексуальность здесь соотносится с моделью супружеских отношений:

Чтобы быстро выйти замуж, нужно с толком использовать время, возможности и новые знания. Кураж, блеф, интрига, эксперимент — все идет в ход, чтобы достичь успеха. И не стоит опасаться, что хоть кто-нибудь из мужчин разгадает ваши премудрости. Вашу очередную победу они примут за свою и, возможно, будут счастливы всю жизнь. Прочь сомнения! Если вы умудрились остаться свободной и независимой до такого возраста, вам это по плечу! (*Красота и здоровье* 2001, ноябрь, 25).

В более «облегченной» версии того же журнала действует та же логика и прорабатываются те же сюжеты: «Чтобы чувствовать себя молодой и привлекательной, необходимо внимание мужчин. Пусть даже поклонники живут в других городах и любят виртуально» (*Лица. Красота+Здоровье* 2002, № 1, 51).

«*Shape*», который специально посвящен проблемам женского фитнеса, тематику секса связывает с вопросом о женском здоровье и средствами предупреждения нежелательных половых расстройств:

Если вам неловко говорить с любимым мужчиной об опасностях, которые таит в себе секс, стоит ли ложиться с ним в постель? Нет —

свидетельствуют результаты исследования. 60% женщин, прежде чем впервые заняться любовью с новым партнером, не обсуждали с ним свое сексуальное прошлое. И даже если вам удалось разговорить друга на столь интимную тему, нет гарантий, что он сказал правду (*Shape* 2000, февраль, 11).

«*Фит Фор Фан*», находящий своих читателей среди молодежи обоих полов, вопросы сексуальных отношений обсуждает в стиле доверительного разговора с любовными парами. Здесь обсуждаются экзотические проблемы, поскольку журнал желает иметь в числе своих союзников аудиторию с богатым эротическим воображением: «Как выразить собственное “я”, используя язык чувственных ароматов? Почему не стоит злоупотреблять дезодорантами и духами? Воспользуйтесь советами от FFF» (*Фит Фор Фан* 2001, № 4, 121).

Наиболее массовый журнал, обращенный к российским девочкам-подросткам, «*Cool Girl*», делает вопросы подготовки к сексуальным отношениям приоритетными. Искусство вести беседу с мальчиками, культура объятий, предупреждение беременности — эти и другие вопросы здесь обсуждаются со знанием дела на протяжении всего периода существования журнала:

Давным-давно считалось, что первым подойти, познакомиться и вообще закрутить роман может только парень. Современные нравы вполне допускают инициативу со стороны девушки. Скажи, а у тебя хватит решимости самой начать отношения? (*Cool Girl* 2002, 20.03, 23).

«*Super-Speed*» («Супер-скорость») пытается поддерживать контакт с наиболее раскрепощенной частью тинейджеров. Отсюда обилие сексуальной тематики, остроты и грубый юмор, вращающиеся опять-таки вокруг сексуальных сюжетов.

Нет ни возможности, ни смысла обсуждать здесь все периодические журналы, выносящие на свои страницы проблемы секса. Даже их беглое перелистывание показывает, что проблематика сексуальности, репрезентированная в СМИ, далеко не сводится к вопросам полового общения между *супругами*. В большинстве случаев в них представлены образы сексуальности, которые едва-едва совпадают с институтом супружества, а пространственно — с топосом супружеской спальни. Может быть, секс в спальне супругов более не считается образцом? Или он представляет собой риторическую фигуру умолчания? Чем вызван этот заговор молчания о сексе в супружеской спальне — всеобщим согласием с тем, что он там должен присутствовать в любом случае? Или констатацией

того факта, что сексом пропитано отныне все пространство социальных связей, каждый уголок городского ландшафта, и поэтому спальня более не является привилегированной зоной секса?

Вряд ли можно дать однозначный ответ на эти вопросы. Но, я полагаю, уже сама постановка этих вопросов отчасти фиксирует следующую тенденцию: *в поле современной медиатизированной сексуальности спальня явно выступает маргинальной структурой*. «Естественными» территориями сексуальности медиадискурс определяет дорогой курорт, ресторан, место, где проводится дружеская вечеринка, гостиничный бар, офис, студенческое общежитие, уличное кафе и т.д. Благодаря массмедиа, сексуальность приобретает сегодня публичный характер, все менее соотносясь с миром интимного, частного, укромого. Возможно, этот мир еще продолжает у нас ассоциироваться со спальней. Но, как я пытался показать выше, в век разворачивающейся информационно-технологической революции мир спальни «укромным» можно назвать с трудом.

На рубеже XX и XXI веков медиалистские трактовки «нормального» и «ненормального» секса, безусловно, перестают играть определяющую роль в коллективных представлениях о сексуальности. Она теперь переходит к массмедиа, которые, как кажется, вообще игнорируют эти различия. При этом медиатизированные образы секса адаптируются к условиям за пределами спальни, а сама спальня перестает трактоваться как мир сокровенного супружеского общения, противопоставляемый миру публичной жизни. Печатные медиа, которые в современной России в весьма значительной мере определяют коллективные представления как о сексуальности, так и о назначении супружеской спальни, с завидной регулярностью разводят эти феномены в разные стороны.

Заключение

Как я пытался показать в данной статье, феномен супружеской спальни, возникший в рамках современной истории, тесно связан с судьбами среднего класса. Период становления этой социальной группы, как на Западе, так и в России, совпал для нее с необходимостью противопоставить свои интересы и свой имидж остальному обществу — аристократии, крестьянству и городским рабочим. Наряду с утверждением идеи супружества, одним из средств этой культурной — буржуазной — политики среднего класса было со-

здание собственного дома, а в нем — особого пространства, его «святая святых» — супружеской спальни, предназначенной для воспроизводства буржуазной семьи.

Недолгая историческая судьба российской буржуазии в начале XX века не позволила укорениться идее супружеской спальни в сознании российского общества. Тем не менее медленное возрождение среднего класса в советском обществе последнего этапа его развития, обусловленное изменениями в жилищных условиях населения, довольно быстро привело к культивации идеи собственной «спаленки».

Информационно-технологическая революция, ведущая к радикальным изменениям на макросоциальном уровне, вносит серьезные перемены и на микроуровне, в том числе на уровне пространств повседневной жизни людей. Эти перемены в случае России еще являются незначительными, но наметившаяся тенденция позволяет считать, что они будут усиливаться и дальше. В частности, проникновение средств электронной коммуникации в наши жилища, не только в гостиные, но и в спальни, ведет к исчезновению прежних функциональных и символических разграничений. Спальня перестает быть местом рекреации, местом, отведенным лишь для отдыха и любви, и стремится к слиянию с компьютеризированным рабочим местом.

Новый виток конструирования сексуальности, поддерживаемый сегодня не столько сексолого-медицинским просвещением, сколько средствами медиа, ведет к дальнейшей полиморфизации сексуальных практик, к выходу за пределы оппозиции «норма/патология». Печатные медиа, в том числе и в России, сегодня не стремятся сопоставлять сексуальную жизнь с таинствами супружеской спальни, хотя и не декларируют своего отказа от этой логики в полной мере. Едва только возникнув в качестве закрытого пространства, спальня вновь открывается внешнему миру, и на рубеже XX и XXI веков ей с трудом удается играть роль «святая святых» семейной жизни.

Анна Темкина

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ В ПОЗДНЕСОВЕТСКОМ БРАКЕ*

В социально-конструктивистских исследованиях последней трети XX века сексуальность и сексуальные отношения осмысливаются как феномены, имеющие историю и регулируемые дискурсами/социальными институтами. Особое место среди этих институтов занимает брак. Отрыв сексуальности от репродуктивного поведения повсеместно признается одной из главных тенденций изменения сексуальных отношений во второй половине XX века («сексуальной революции»). Однако, как утверждает Гейл Рубин, продолжают существовать устойчивые типы (раз)мышления о сексе, согласно которым секс «является допустимым (или, по крайней мере, предпочтительным. — А. Т.), если им занимаются в браке, преследуя репродуктивные цели и не получая от него особого удовольствия», а «сексуальность не имеет ни истории, ни значительных социальных детерминант» (Рубин 2001, 479, 476) и выступает исключительно как природный феномен.

Причины либерализации сексуальности («сексуальной революции») в 1960-х годах в западных обществах связываются с секуляризацией и модернизацией, распространением идеологий и практик женских и молодежных движений, публичным обсуждением сексуальности, формированием рынка контрацепции, коммерциализацией сексуальности и пр. В это время в советском обществе отсутствуют публичные дебаты о сексуальности, а институциональные изменения, влияющие на сексуальную сферу, имеют противоречивый характер. В официальных дискурсах про-

* Автор благодарит И. Кона, А. Клещина и Е. Здравомыслову за замечания и комментарии.

должает доминировать модель исключительно «семейно-брачно-го» сексуального поведения, которая во многом воспроизводится и в повседневной жизни. Однако в это же время происходят существенные изменения сексуальных практик — «революция в повседневности» (Rotkirch 2000, 24), способствующая выходу сексуальности за пределы брака и репродуктивного поведения.

В данной статье я постараюсь показать, как происходило выведение «половых отношений» в позднесоветский дискурс, конституирующий нормы брачной сексуальности и гендерных различий. Затем, используя материалы исследований повседневности, я попытаюсь представить картину брачной сексуальности в России. На основе анализа интервью в статье реконструируются процесс и причины рутинизации позднесоветской брачной сексуальности, а затем способы преодоления «брачной рутини».

Анализ дискурса проводится на основе опубликованных с 1960 по 1985 год научных и научно-публицистических работ, затрагивающих тему «половых отношений». Анализ брачно-сексуальных отношений в повседневности осуществляется по материалам интервью с городскими образованными женщинами и мужчинами, родившимися в период с середины 1930-х до середины 1960-х годов, формативный период которых пришелся на 1950—1980-е годы¹.

Половая жизнь глазами экспертов

Как показали современные исследователи сексуальности и гендерных отношений, на протяжении советского времени регуляция сексуальности, осуществляемая через семейную и гендерную иде-

¹ Эмпирической базой данного исследования являются 18 интервью с женщинами и 18 интервью с мужчинами, которые проводились в 1995—1996 годах в рамках российско-финского проекта «Социальные изменения и культурная инерция в России». Исследование сексуальности осуществлялось под руководством финских социологов З. Хаавио-Маннилы, Й. Рууса и А. Роткирх и включало конкурс сексуальных биографий (организаторы — Е. Лагунова и А. Клещин), опрос населения Петербурга (1996 год), проведение сексуальных интервью (организатор — Е. Здравомыслова). В данном исследовании используются: (1) 18 биографий женщин старше 27 лет трех возрастных когорт: 6 биографий женщин в возрасте 57—63 лет; 7 — в возрасте 39—48 лет; 5 — в возрасте 27—34 лет; (2) 18 биографий мужчин старше 27 лет (14 получены методом интервью и 4 — присланы на конкурс сексуальных биографий), 11 биографий мужчин в возрасте 53—66 лет и 7 — в возрасте 33—45 лет.

ологию и политику, претерпевала изменения: от периода сексуальных экспериментов 1920-х годов — к тотальному подавлению и умолчанию в сталинское время и затем — к индивидуализации и ограниченной либерализации 1960-х годов (Rotkirch 2000, Роткирх 2002; Кон 1997, Чуйкина 2002). До начала трансформационного периода в России сексуальность вообще и брачная сексуальность в частности редко становились предметом общественного внимания и специальных исследований. Дискуссии по вопросам сексуальности (в терминах «полового вопроса» и «половой жизни»), начатые в 1920-е годы, постепенно вытеснялись в 1930-е обсуждением нравственных ценностей и морали в бытовой и семейной сферах. В период репрессивной политики 1930—1950-х годов практически прекратились публичные упоминания интимной сферы. Коммунистическая идеология была призвана поддерживать моральные нормы в общественной и частной жизни, сексуальность должна была быть «очищена» от деструктивной нерепродуктивной страсти и подчинена коммунистической морали.

В позднесоветской публицистической и академической литературе, начиная с 1960-х годов, частная сфера (быт, семья, образ жизни и пр.) постепенно становится легитимным предметом исследования и обсуждения, однако рамки этого обсуждения ограничивались основными постулатами социалистической идеологии и морали. Любовь и половые отношения отождествлялись с браком-семьей — основной ячейкой социалистического общества. Укрепление семьи рассматривалось в контексте совершенствования социалистического образа жизни, реализации возможностей развитого социализма (Харчев 1979, 5). Основные функции семьи — воспроизводство населения и воспитание детей (см. Харчев 1968, *Семья сегодня* 1979) — наделяются государственно-идеологическим значением. Эффективная демографическая политика является одной из задач Коммунистической партии (Антонов 1980); цель воспитания, в соответствии с Программой КПСС, — формирование личности социалистического типа, гармонически сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство (Харчев 1979, 162). Некоторые авторы упоминают и сексуальную функцию семьи (Юркевич 1970, 70), однако эта функция не имеет идеологического подкрепления и потому предстает как «естественное» воплощение того, что не заслуживает специального внимания.

Одновременно, в 1960—1980-е годы на периферии общественного дискурса начинается ограниченное обсуждение темы «поло-

вых отношений» (преимущественно в терминах «половой жизни», «интимной близости», «половых сношений»)². Это связано с ослаблением репрессий и контроля в обществе в целом, с частичной либерализацией сексуальной и гендерной политики, с общими тенденциями изменений в российском и западном обществах, игнорировать которые становится все сложнее. Советской семье и морали угрожает увеличивающееся число разводов, падение рождаемости. Изменяются практики поведения молодежи, получают более широкое распространение добрачная и внебрачная сексуальность. Новые тенденции в основном замалчиваются, однако в ограниченном масштабе возникает критическая рефлексия, выводящая «половые отношения» в публицистический, медицинский, педагогический, социологический, психологический, культурологический и юридический дискурсы³.

Дискурсивное оформление «половых отношений» в сфере общественного обсуждения происходит в двух основных вариантах: с одной стороны, это попытка просвещения, получения и распространения научного знания, с другой — критика «отдельных» сторон советского общества и выработка рецептов для преодоления негативных явлений в области сексуальной жизни⁴.

Отсутствие элементарных знаний фиксируется многими авторами: «несмотря на насущную потребность, различные аспекты семейно-половых отношений абсолютно неизвестны многим людям» (Кушнирук, Щербаков 1982, 10). Просвещение, дающее «элементарные знания» об анатомии, физиологии, половых отношениях, детской сексуальности, начинается в медико-гигиенической области и в основном ею и ограничивается. В 1960—1980-е годы появляются сексологические центры, происходит становление сексопатологии и сексологии (Кон 1997, 178—184). Из популярных, но труднодоступных книг по сексо(пато)логии можно было получить представление о некоторых взглядах Фрейда, Кинзи, Мастер-

² Хронологические изменения, происходившие в дискурсе с начала 1960-х до середины 1980-х здесь не рассматриваются. См.: Голод (1995).

³ В это время в обществе разворачивается дискуссия об отношении молодежи к семье и браку. В советском кинематографе и художественных произведениях широкое распространение получают романтические идеи: любовь, страсть, дружба становятся центральными темами популярного кино и литературы. Вместе с тем сексуальность и эротика в основном остаются за пределами публичной репрезентации.

⁴ Замечу, что оба варианта часто присутствуют в одних и тех же текстах, хотя существуют тексты, тяготеющие к одному из двух.

са и Джонсона, о возрастных и половых особенностях влечения и половых функций, но преимущественно — об их нарушениях: психосоматических сексуальных расстройствах, их лечении и профилактике (Исаев, Каган 1979; Святош 1974, Васильченко 1977)⁵. Сексуальная сфера, рассматриваемая в сексо(пато)логической перспективе, включает не только «нормальное» брачно-репродуктивное поведение, но и отклонения от этой нормы, требующие медицинского вмешательства, а также половое развитие человека, (не)приводящее к сексуальным отклонениям. В результате сексуальная сфера предстает более широкой, чем супружеская половая жизнь. При этом медицинское просвещение находилось под сильным институциональным и идеологическим контролем, многие работы были «сдобрены лошадиной дозой морализирования» (Кон 1997, 182) и только некоторые в основном ограничивались медицинскими аспектами.

С 1960-х годов появляются историко-культурологические исследования сексуальности, в первую очередь И. Кона (Кон 1966; 1967; 1970)⁶, в которых осуществляется попытка противопоставить анализ «объективных социальных сдвигов», включая «сексуальную революцию», «бесплодному морализированию» (Кон 1966, 66). Изменения в сфере сексуальности и эротики рассматриваются как исторически и социально заданные, моральные нормы в сексуальной сфере — как контекстуально обусловленные и подверженные изменению; «секс» и «эротизм» описываются вне рамок супружества (отчасти замещенного фреймами «романтической любви»). Исследования такого рода ограничиваются несколькими работами, в которых, как правило, используется особая дискурсивная стратегия позднесоветского времени — критика буржуазных теорий и капиталистического общества.

Появляется несколько переводных книг по вопросам пола и сексуальности, написанных врачами и обществоведами в научно-публицистическом жанре, которые также остались труднодоступными для широкой публики (см., например, Нойберг 1960; 1967; Борман 1975). В этой литературе, описывающей новые тенденции сексуальности, гигиену половой жизни и пр., подтверждается, что

⁵ Руководства для врачей, изданные под ред. Г. Васильченко, вплоть до настоящего времени (январь 2003 г.) в РНБ С.-Петербурга имеют статус «особо ценных» и выдаются только под залог документа.

⁶ По свидетельству И. Кона, наиболее влиятельной была статья в «*Иностранной литературе*» (Кон 1970).

в социалистическом обществе брак, основанный на любви, является легитимной формой половых отношений и объектом государственного, политического и идеологического регулирования. «Наше главное стремление — это достижение счастья в браке и через брак» (Нойберт 1967, 27). Сексуальные отношения в любом социалистическом обществе (в данном случае речь идет о ГДР) являются предметом общественной заботы: «любовь и сексуальные отношения, будь то брачные, добрачные или наряду с брачными, не должны быть *личным делом* (курсив мой. — А. Т.) участников» (Борман 1975, 50). Поэтому формирование советского образа жизни должно включать подготовку молодого поколения к браку и семье (Борман 1975, 50).

Некоторые аспекты половых отношений в СССР становятся предметом социологических исследований. В работах С. Голода и ряде других немногочисленных исследований показана распространенность добрачного и внебрачного сексуального поведения, добрачного зачатия (Голод 1984; 1970)⁷. Такое поведение рассматривается в рамках эволюционных сдвигов: «предпочтительно, но необязательно вступать в брак; желательно иметь детей, но и бездетность не представляется аномальным состоянием» (Голод 1984, 8). В начале 1960-х годов социологами были «обнаружены» умалчивание роли половых отношений в жизни семьи и потребность молодежи в половом воспитании (Грушин 1964), позднее — поставлены вопросы о роли супружеской сексуальности и эротической привязанности в стабилизации брака, сексуальной неудовлетворенности — в его распаде.

Однако проведение таких исследований, как показал И. Кон, наталкивалось на существенные препятствия. Описание и анализ половых отношений вообще, и особенно тех, которые не полностью совпадали с браком, представляли собой угрозу моральному порядку и потому подвергались особому формальному и неформальному контролю.

⁷ См. также: Харчев (1979, 191—200). Соотношение работ ведущих социологов семьи А. Харчева и С. Голода в области анализа сексуальной сферы и семьи можно проиллюстрировать эпиграммой Л. Н. Когана (воспроизводится по воспоминаниям И. Кона).
Кто был когда-то юн и молод, / Поймет, что значит в сексе голод.
Ни антрекот, ни блин, ни кекс / Не утолят голодный секс.

В трудах А. Харчев, меру зная, / Уют семейный воспекает,
А Голод С., не зная мер, / Усердно хвалит адюльтер.
Оставил сектор нам в наследство / Идеи светлые свои:
По Харчеву — семья без секса, / По Голоду — секс без семьи.

В 1980-е годы появляется несколько «пособий для учителей», в которых предпринимается попытка популярного изложения особенностей полового развития человека (напр., Хрипкова, Колесов 1981; 1982). В таких книгах дается информация о строении и функциях половой системы, о венерических заболеваниях и вредных привычках, о любви и «культуре семейных отношений». Педагогическое просвещение вписывается в моральный дискурс, утверждая принципиальную незыблемость советской семьи. В подавляющем большинстве случаев в данных текстах предполагается и предписывается «нормальное» сексуальное развитие человека, реализующего свои половые потребности исключительно в браке. Семья является не только личным делом, но и гражданским долгом: «создать хорошую семью и сохранить ее здоровой и счастливой — человеческий и *гражданский долг* (курсив мой. — А. Т.) каждого юноши» (Ступко, Соколова 1981, 48). «Для нас брак — священный союз», — пишут кандидат медицинских наук В. Влади́н и врач-сексолог Д. Капустин (Влади́н, Капустин 1988, 15)⁸, авторы нескольких популярных книг об интимной жизни начала 1980-х годов.

Итак, просвещение в области половой жизни осуществляется в основном в рамках нормативной модели семейно-брачной сексуальности, при этом в «просветительских» текстах обнаруживаются многочисленные отклонения от данной модели. Незыблемости семьи и коммунистическому воспитанию молодежи угрожают новые явления в частной жизни. Критика этих явлений и рецепты по их преодолению составляют второй дискурсивный поток, проблематизирующий позднесоветскую сексуальность. Основным объектом «правильного воспитания» становится молодежь, которая должна получать информацию о половых отношениях в ходе и в русле коммунистического воспитания. «Половое просвещение и воспитание *неотделимы от общего коммунистического воспитания* (курсив мой. — А. Т.) — воспитания всесторонне, гармонически развитых строителей нового общества, новых общественных отношений» (Ступко, Соколова 1981, 7).

Советскому браку и — главное — советской морали «угрожают» добрачные и внебрачные связи, ранние беременности, бесплодие, случайные половые связи, онанизм, венерические заболевания, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), психосек-

⁸ Тираж книги — 75 тыс. экземпляров, в РНБ она имеет статус «особо ценной».

суальные отклонения и пр.⁹. В задачи полового воспитания входит формирование «критического отношения к пережиткам и влиянию мешанской буржуазной морали, стойкости к влиянию буржуазной идеологии в сфере взаимоотношений мужчин и женщин» (Хрипкова, Колесов 1981, 94). Молодежи угрожает бесконтрольность, стремление к сексуальной свободе и к максимизации наслаждений, с одной стороны, «викторианская» стыдливость и «постное ханжество» — с другой, а также гомосексуализм, порнография и пр. Последним двум явлениям в литературе уделяется лишь незначительное внимание — они криминализованы и потому серьезной «угрозы» для советских людей не представляют.

Другим угрозам посвящены предисловия, обосновывающие необходимость воспитания в данной области, параграфы и главы научно-популярных книг: «...мы хотим предостеречь вас от ошибок, за которые приходится дорого расплачиваться» (Ступко, Соколова 1981, 7). Особое внимание уделяется добрачной и внебрачной сексуальности — именно эти тенденции (как показывали немногочисленные исследования данного периода) получают распространение и легитимируются в повседневности. Именно от них авторы пытаются предостеречь подрастающее поколение.

Дискурсивная конструкция предостережений включает идентификацию причин («пережитки прошлого» и «влияние буржуазной морали») и описание опасностей, их последствий и способов преодоления. «Легкомысленное поведение» (читай: внебрачные и /или случайные связи) приводит к венерическим заболеваниям, появлению внебрачных детей, утрате (в первую очередь мужчинами) способности к глубоким чувствам, фиксации на физиологии и пр. Последствия гипертрофируются и предстают катастрофическими для личности и гендерной идентичности: «для таких мужчин их потенция становится величайшей жизненной ценностью, определяющей весь смысл их жизни, а ее утрата или хотя бы снижение — крупной жизненной потерей... Результат — психосексуальная деградация личности» (Хрипкова, Колесов 1982, 44, 46).

Мужчины, реализовав предписанную им сексуальную активность (см. далее), рискуют «деградацией» и утратой маскулинности

⁹ Приведу только два примера: «Легко и рано начатая половая жизнь может стать источником ряда трагедий, причем не только самих участников, но и ребенка, который может родиться от такой связи» (Королев 1978, 63); под влиянием алкоголя «молодые люди нередко вступают в случайные половые связи. А это главный путь, ведущий к заражению венерическими болезнями» (Ступко, Соколова 1981, 26).

(отождествленной с сексуальностью), женщины — утратой женственности, реализуемой через «сознательное материнство»: следствием безответственности партнеров (особенно мужчин) «нередко бывают... нежелательное рождение детей или вынужденное прерывание беременности» (Борман 1975, 83). Средством противодействия множественным опасностям является нравственное воспитание, цели которого — формирование «правильной» сексуальности и морали «строителя коммунистического общества». «Девиациям» должны быть противопоставлены высокие идеалы, которым нужно обучать молодежь в целях совершенствования личности.

В дискурсивной борьбе с нежелательными явлениями выстраивается норма сексуального поведения, помещенного в рамки семьи — любви — духовности — деторождения — воспитания детей, которая в конечном счете предстает как «естественная». Основой брака является настоящая любовь, духовное единение и общность интересов, следствием любви-брака — рождение детей. Любовь выступает важнейшим мотивом вступления в брак (Голод 1970а, 49), «любовь — жемчужина человеческих отношений, оправой которой является супружество» (Скрипкин, Марьясис 1985) — этот тезис проходит красной нитью практически во всех текстах, затрагивающих тему половых отношений. Приводимые цитаты из К. Маркса и Ф. Энгельса, В. Ленина, А. Макаренко подтверждают в разных формах важность любви в социалистическом браке; «любовь» в позднесоветском дискурсе становится предметом специального обсуждения¹⁰. Итак, брак основан на любви, и «в идеале моногамный брак равнозначен пожизненному супруеству» (Харчев 1979, 219) — эти утверждения, как уже было сказано выше, повторяются в разных вариантах в большинстве текстов.

Однако любовь может выйти за пределы брака. Если авторы единодушны в осуждении случайных (легкомысленных, беспорядочных) связей, особенно в ранней молодости, то в отношении внебрачной сексуальности, основанной на любви, проявляется лояльность. Если любовь «как основа брака выступает в качестве высшего *морального оправдания* (курсив мой. — А. Т.) половой связи», *приходится* признать, пишет один из ведущих социологов семьи А. Харчев, — «*моральную правомерность* (курсив мой. — А. Т.)

¹⁰ В одних случаях она является эвфемизмом для описания половых отношений — например, в «*Новой книге о супружестве*» Нойберта. В других рассматриваются ее виды, история, литературная репрезентация, соотношение любви и семьи и пр. (см.: Рюриков 1967; 1977).

такой связи, когда любовь по тем или иным причинам не завершилась браком» (Харчев 1979, 219).

Гораздо смелее об этом пишет в публицистических работах Ю. Рюриков, выступая против «морализма» и «морализаторов». Современная семья, с его точки зрения, узка для личности и для любви, хотя и является «одним из главных русел, в которых течет любовь» (Рюриков 1967, 149, 160). Так или иначе, любовь может служить оправданием измен: «иногда это истинная большая любовь, пришедшая с опозданием» (Владин, Капустин 1988, 179). Иными словами, любовь легитимирует отклонения сексуальности от брака. И поскольку возникновение чувств — слабо контролируемый процесс, остается только надеяться, что по мере «большого распространения норм коммунистической морали... такие явления, как внебрачные связи, отомрут, наконец, вовсе» (Владин, Капустин 1988, 173).

Существуют и другие причины внебрачных связей, которые описываются консультирующими медиками и публицистами на основе историй пациентов и писем читателей. К ним относятся, во-первых, «угасание половой любви», когда измены становятся «протестом против привычки, однообразия, вседоступности» (Владин, Капустин 1988, 171, 174). Во-вторых, существуют гендерные особенности: измены мужчин связаны с привычкой и усталостью от брака; измены женщин — с неудовлетворенностью сексуальными способностями мужа (Владин, Капустин 1988 171, 174); жены отстают в духовном развитии, стареют раньше мужей и утрачивают привлекательность, в результате чего муж стремится подтвердить свою сексуальную потенцию с более молодыми женщинами (Нойберт 1967, 226—242). Эти процессы предстают «естественными» следствиями жизненного цикла семьи и половых различий. Авторы осуждают данные явления, указывая на их негативные последствия (венерические заболевания¹¹, разводы, одиночество, страдания детей и супруга(и) и пр.), и дают советы, как избежать измен. Рецепты касаются, в первую очередь, преодоления рутины брака всевозможными способами (привести себя в порядок, устроить незапланированный праздник, провести раздельно отпуск, обратиться к врачу и пр.). «Супруги должны преодолеть монотонность жизни, придать ей определенное разнооб-

¹¹ «Есть *только один* (курсив мой. — А. Т.) абсолютно надежный способ избежать заражения — отказаться от всяких внебрачных половых связей» (Владин, Капустин 1988, 181).

разии», оставаясь в достаточно неопределенных, но жестких нормализующих рамках: «разумеется, в известных границах, чтобы они не приобрели гротескных форм» (Марьясис 1983, 91). И в конечном счете — «я не могу дать супругам лучшего совета, чем совет еще раз влюбиться друг в друга» (Нойберт 1967, 235), чтобы не попасть в ситуацию, которая «противоречит не только нашей социалистической морали, но и морали вообще» (Владин, Капустин 1983, 164). Итак, тенденции изменения в области сексуального поведения в позднесоветский период (в первую очередь, добрачная и внебрачная сексуальность) в данном дискурсивном потоке зафиксированы «негативно» — через критику и необходимость их преодоления.

Таким образом, в то время как в господствующем дискурсе сексуальность молчаливо признается «естественной» характеристикой индивида, на периферии она предстает как объект просвещения и воспитания, эксплицированного нормирования и контроля.

В данных дискурсах проблематизируется и еще одна составляющая сексуальной сферы — половые различия. С одной стороны, в текстах озвучивается и положительно оценивается (преимущественно советская) эмансипация женщин: в социалистическом обществе они «имеют широкие возможности для выбора занятий по своему желанию, и общество не ставит им в этом ограничений» (Хрипкова, Колесов 1981, 81). С другой — негативно оцениваются последствия «стирания различий», утверждается необходимость воспитания, учитывающего природные особенности пола. «Ослабление женственности — большая психологическая беда для семейной жизни, для культуры любви, для всего мира личных отношений» (Рюриков 1977, 55).

Гендерные различия в данных текстах конституируются через апелляцию к естественным биологическим и психологическим различиям полов, мужской и женской сексуальности, а также к «естественному женскому предназначению». Эссенциалистская позиция эксплицитно утверждает себя через внеисторичность и внеконтекстуальность: «*независимо от эпохи* (курсив мой. — А. Т.) женственность всегда будет предполагать чуткость эмоционального восприятия, психологическую пластичность женской природы, специфическую привлекательность для представителей мужского пола; в любую эпоху высоко ценимыми качествами женщины будут качества матери» (Хрипкова, Колесов 1981, 72). При этом имплицитно в такой позиции заложена критика эмансипации (в том числе советского образца), эксплицитно — процессов «маскули-

низации» женщин и «феминизации» мужчин (Исаев, Каган 1979, 14)¹². Женственность и мужественность фактически становятся ресурсом индивидуализации и самореализации позднесоветского человека. Для того чтобы использовать этот ресурс, нужно описать, объяснить и воспитать половые различия. Девочке — женщине предписывается стыдливость, застенчивость, целомудренность, мягкость, чувствительность, аккуратность и пр., мальчику — мужчине — активность, сила, выносливость, решительность, широта интересов, ответственность и пр.

В сфере сексуальных отношений инициатива будет принадлежать мужчине: «не принято, чтобы женщина сама начинала ухаживать за мужчиной», поскольку «это противоречит и женской природе, и конкретно-историческим особенностям женской психики» (Хрипкова, Колесов 1981, 86). Даются и более конкретные советы, в первую очередь по поводу особенностей женского организма и правильного поведения мужа, способствующего сексуальному удовлетворению жены; при этом жена «никогда не должна оценивать сексуальные способности мужа отрицательно, независимо от того, получает ли она удовлетворение» (Владин, Капустин 1988, 82—88). Даются и советы по поводу того, как должны муж и жена вести себя, например, в первую брачную ночь, в частности муж должен раздевать жену, от него требуется особый такт и внимание, «в первые месяцы интимной жизни *муж должен позаботиться* (курсив мой. — А. Т.) о том, чтобы ускорить пробуждение у жены чувственности» (Марьясис 1983, 91) и пр. В обсуждении половых различий, особенностей психологии и сексуального поведения выстраивается конструкция «женщины» — реципиента сексуальных отношений и «мужчины» — их инициатора, ответственного за качество половой жизни супругов.

Однако эссенциализация половых различий и сексуальности несет в себе угрозу моральным основам общества, создавая опасность бесконтрольности и выхода сексуальности за пределы брака. «Природа» затрудняет регулирование советского человека. В первую очередь это касается мужчин, которым предписывается активность и подтверждение маскулинности через сексуальные способности. Негативным последствием таких предписаний становится «комплекс Дон-Жуана», который «гордится своими половыми подвигами и старается их даже раздувать» (Хрипкова, Колесов

¹² О «феминизации» мужчин и кризисе маскулинности см.: Здравомыслова, Темкина (2002).

1982, 47), он стремится к бездуховной физической связи, «уделяет излишнее внимание узкополовым отношениям», пренебрегает потребностями женщины, склонен к изменам и пр. (Хрипкова, Колесов 1982, 44—52). «Природная» сексуальность опасна своей неконтролируемостью, поэтому необходимо не только описание и объяснение половых различий, но и воспитание правильной (нормируемой) мужественности и женственности. Последняя включает эссенциализацию материнских потребностей: женщина «должна знать и помнить, что высшее предназначение в жизни — рождение себе подобного, продолжение рода, а не сиюминутная радость и наслаждение» (Владин, Капустин 1988, 60). Материнство является гражданским долгом женщины по отношению к социалистическому государству, поддерживающему ее целевой социальной политикой¹³, желательно, чтобы оно осуществлялось в рамках полной семьи, однако допускаются (и повсеместно распространяются) отклонения от этой нормы: «материнство вне брака с точки зрения морали не считается больше позорным для женщины» (Нойберт 1960, 50). Эссенциализм в интерпретации женщины не в качестве «человека сексуального», а в качестве «человека рожающего и заботящегося» имеет сильное политическое и идеологическое подкрепление.

Итак, интерпретации «половых отношений» в позднесоветском дискурсе утверждают моральность брачного секса и естественность половых различий, активность мужской сексуальности, которую необходимо контролировать и удерживать в рамках семьи-брака; сексуальную пассивность женщины и ее материнское предназначение. Профессиональные дискурсы и социальные институты поддерживают нормативные предписания. Нормой считается брачная сексуальность, основанная на взаимной любви и духовной близости; предполагалось, что сексуальные отношения в браке должны приводить к рождению детей; сексуальность (половые отношения) не становилась предметом публичного обсуждения, которое ограничивалось профессиональными рамками и критикой негативных явлений. «Половая жизнь» представляла интимным делом супружеской пары, основанным на взаимной любви и «естественности» телесных практик; брачные отношения предполагали верность и моногамию. Семейно-брачные практики, с одной стороны, следовали этим нормам, но с другой — на всех этапах жизненного цикла реальный опыт отклонялся от предписаний, в

¹³ См. подробнее: Здравомыслова, Темкина 2003.

частности, начиная с 1960-х годов получали большее распространение разводы, повторные браки, добрачные и внебрачные связи, происходила нормализация адюльтера в литературе, кино, в повседневности и его проблематизация в периферийных научно-публицистических дискурсах.

Нормативные предписания в отношении брачной сексуальности отражали пронаталистские ценности, лежащие в основе гендерной идеологии и политики государства, и опирались на интерпретацию пола, возраста, деторождения, сексуальности как естественных биологических характеристик и процессов. В повседневной жизни мужчины и женщины следовали данным предписаниям и приспосабливались к ним. Пронатализм и эссенциализм в интерпретации сексуальности выступили основаниями ее повседневной рутинизации в семейно-брачных отношениях. Рутинизация предстает повторяющейся темой в рассказах о брачной сексуальности. Необходимо отметить, что рутинизация сексуальности не является характеристикой исключительно советского брака, однако, как было показано выше, в конкретном контексте циркулируют дискурсы, ее легитимирующие, усиливающие и задающие рамки рассказов о брачном сексе.

Половая жизнь: рутина брака

О семейном сексе вспоминать грустно и обидно. Теперь ясно вижу, что от полового акта какое-то удовольствие получал только я, а жены только исполняли свой супружеский долг (м, 64)¹⁴.

Сквозным мотивом в рассказах о сексуальности в браке является мотив рутинизации. «Рутинизация» в социологии повседневности обозначает предустановленные образцы действия (Гофман 2000, 47) — практическое знание, определяющее, как и когда действовать и как становиться компетентным участником взаимодействия (Garfinkel 1984, 172—173). Применительно к брачной сексуальности это означает, что муж и жена знают (обладают практическим знанием), как себя правильно вести для того, чтобы совершать сексуальное взаимодействие. Это знание основано на здравом

¹⁴ В скобках указывается пол и возраст информанта (интервью проводились в 1995—1996 годах).

смысле и разделяемых моделях поведения, которые обычно не подвергаются рефлексии в повседневной жизни, представляя собой неосознаваемое (автоматическое) воспроизводство уже усвоенных (о-сознанных) образцов.

При этом многие информанты сами называют свою сексуальную жизнь «рутинной», обозначая этим однообразные и привычные действия, противопоставленные эмоционально насыщенным отношениям (как в браке, так и за его пределами), ярким эротическим и сексуальным ощущениям, разнообразию сексуального опыта. «Рутиной» часто — преимущественно женщины — называют брачно-сексуальную жизнь, не приносящую удовольствия и удовлетворения, однако и секс, приносящий удовлетворение, часто — преимущественно мужчинами — описывается как «привычный» и «монотонный». Усвоенные образцы поведения воспроизводятся автоматическим — рутинным — образом.

Воспроизводству таких образцов способствует оценка сексуальной жизни и половых различий как естественных, а брачной сексуальности — как основы морального порядка. «Изыяны и несовершенства есть во всем. Так же, как они есть в самой *природе* человека, так есть они и в *природе* супружества... Первый из них — каждодневное, непрерывное и как бы принудительное общение супругов» (курсив мой. — А. Т.). Происходящее «притупление повторяющихся впечатлений — психологический механизм, который постепенно гасит любовь у многих людей» (Рюриков 1977, 50, 49).

В повседневности сексуальных и брачных отношений гендерная асимметрия считалась естественной: инициатива исходила от мужчины, который определял способы сексуальных взаимодействий, и в конечном счете от его поведения зависело, как оценивается женщиной сексуальная жизнь и ее собственная сексуальность. Устойчивая гендерная асимметрия в сексуальных отношениях часто приводит к неудовлетворенности ими и оценке их как рутинных. Удачная сексуальная жизнь в браке считается следствием «счастливой случайности» и объясняется тем, что муж оказался опытным и заинтересованным партнером. Приписывание сексуальным отношениям и гендерным различиям статуса «естественности» допускало и отделение сексуальности от брака. Внебрачные связи оправдывались повышенными сексуальными потребностями и активностью мужчин. Любовь и страсть, выходящие за пределы брака, допускаются и для мужчин, и для женщин, хотя у женщин чаще сопровождаются чувством вины и в меньшей степени оправдываются.

Беременности и деторождение представляются «естественным» следствием сексуальной жизни. Беременности, не совпадающие с намерением супругов завести ребенка, прерывались абортными — обычной практикой позднесоветского времени. «Планирование семьи» и эффективное использование медикаментозной контрацепции были крайне редкими явлениями. Рождение ребенка в семье для супругов является «поворотным пунктом» в отношениях, влияющим на сексуальную жизнь и изменяющим — чаще всего снижающим — ее значимость в семейных отношениях. Снижение сексуальной активности и уменьшение роли секса в семейно-брачных отношениях связывается также с брачным стажем и возрастом супругов. Такое изменение брачной сексуальности рассматривается как естественная непроблематизируемая рутина. В этом смысле интерпретация сексуальности позднесоветского времени совпадает как с «фундаментальными аксиомами», согласно которым пол и сексуальность трактуются в рамках эссенциализма, секс допускается, «если им занимаются в браке» (Рубин 2001, 476, 479), так и с нормативными идеологическими установками, отождествляющими брак и сексуальность.

В сексуальной жизни не предполагалось специальных знаний; отсутствие знаний не становилось предметом обсуждения между мужем и женой, как и обсуждение других сексуальных проблем. Исключением могли быть проблемы предохранения от беременности, хотя обычно контрацепция, так же как и аборты, считалась «женским делом». Отсутствует сексуальное образование и доступная научно-популярная литература, сексуальную жизнь в браке и за его пределами характеризует «невежество», «умолчание» и «лицемерие» (см.: Zdravomyslova 2001; Rotkirch 2000).

«Естественность» интимной жизни в браке составляет основу морального порядка, (не)подчинение которому сопровождается чувствами «стыда» и «вины». Чувство вины возникает (чаще у женщин), когда нарушается моральный порядок, когда один из супругов влюбляется, вступает во внебрачные отношения, уходит из семьи. Чувство вины присутствует у женщин, когда они — в соответствии с моральным порядком — ощущают себя неопытными и неспособными к получению удовольствия и к вербализации сексуальных проблем, свое тело — асексуальным, когда они не умеют эффективно предохраняться, делают аборты и пр. Однако рутинизация сексуальной жизни, нормализуемая моральным порядком, позволяет совладать с брачными депривациями и приспособиться к ним.

Как утверждают многие информанты, на определенном этапе брака сексуальные отношения становятся воспроизводством повторяющихся образцов поведения, которые «рутинизируются» и «рутинизируются», независимо от степени удовлетворенности ими. Сексуальные отношения либо становятся рутинной сразу, либо эти отношения становятся «очень традиционными, (как) ритуал» (ж, 39) после «медового месяца» (или месяцев) и рождения ребенка.

Причины рутинизации брачного секса рассказчицы связывают, во-первых, с отсутствием сильных чувств или их угасанием в супружеской жизни. В ходе жизненного цикла изменяется роль секса в браке, он становится менее значимым. Во-вторых, рутинизация сексуальных отношений связывается с ограничениями позднесоветского времени (в первую очередь, с недоступностью контрацепции¹⁵ и плохими жилищными условиями), с советской гендерной социализацией и с отсутствием сексуального опыта/знаний. В-третьих, женственность отождествляется с материнством, женская сексуальность интерпретируется как пассивная, зависимая от мужа (мужчины); монотонность, однообразие и неудовлетворительность сексуальными отношениями объясняются женщинами неправильным поведением мужа. Мужественность репрезентирует себя через (брачную и внебрачную) сексуальную активность и компетентность (опыт и знание), женская сексуальность — через материнство, репродуктивные практики, (целомудренное) отсутствие опыта и знаний. В описании брачной сексуальности существует сходство у всех позднесоветских возрастных когорт, хотя более молодым (сорока- и тридцатилетним) свойственна большая рефлексия и проблематизация брачной рутины. Рассмотрим, как репрезентированы причины рутинизации сексуальности в рассказах женщин и мужчин.

«Брак — это непрерывная монотонная функция»

В повседневности рутинные сексуальные отношения описываются через отсутствие сильной эмоциональной привязанности супру-

¹⁵ Контрацепция не являлась абсолютно недоступной в советское время, однако информанты отмечают ее низкое качество, кроме того, существовали устойчивые предубеждения по отношению к медикаментозной контрацепции и отсутствовали знания о ней (см.: Zdravomyslova, Khanzhin 2001).

гов: «Поскольку я не любила своего мужа, то мне всегда хотелось, чтобы он побыстрее отвязался» (ж, 40). Однако и эмоциональная привязанность не всегда изменяет картину, напротив, секс отделяется от чувств и наделяется меньшей по сравнению с ними значимостью: «Я была очень влюблена в своего мужа... А сексуальная жизнь меня не очень волновала» (ж, 39).

Сильная влюбленность проходит с годами, поскольку «брак — это непрерывная монотонная функция... и это очень важно, насколько ты можешь терпеть человека ... Если ты его видишь почти каждый день, фактически каждый день, тут мало чего остается» (м, 35). Взаимное сексуальное влечение супругов угасает прямо пропорционально стажу семейно-брачных отношений. Секс, в отличие от ранних годов супружества, становится менее значимым компонентом брака. Брачная сексуальность вписана в систему разнообразных отношений, брак — «это очень сложная система... материальные, финансовые, нравственные, родственные, жилищные проблемы, здоровье, возраст» (ж, 46). Сексуальная монотонность не препятствует продолжению супружеских отношений, смысл которых не исчерпывается сексом, скорее наоборот, сексуальные отношения становятся «добавкой» ко всем иным. Появление детей в браке часто снижает значимость сексуальных отношений, но одновременно повышает роль самого брака в совместном воспитании:

Наш брак сегодня держится в основном на детях. Потому что дети одиннадцать и тринадцать лет: сын просто стоит у окна и ждет, когда я приеду. Ну, куда я денусь?! Честно говоря, я бы сейчас бы с нею и не жил бы (м, 40).

С ростом брачного стажа жена и муж становятся не только и не столько сексуальными партнерами, сколько партнерами в осуществлении домохозяйства, заботе друг о друге и о детях. «Она заботится о детях, в общем-то, старается заботиться обо мне» (м, 40), — говорит мужчина, который не доволен сексуальными отношениями в браке и постоянно имеет любовниц.

Брачные отношения предполагают исполнение супругами разнообразных ролей. Мужчины озвучивают постепенное возрастание в ходе жизненного цикла значимости карьеры и работы, поглощающих силы и время, и уменьшение интереса к сексу:

Естественно, когда мы были молодыми, то это было чаще... просто молодым людям делать больше нечего. А когда люди стали постарше,

у них же появляется масса дел, и у них полна голова... т.е. человек, только что вступивший в брак, думает в основном о ней (жене), а человек [более старшего возраста] думает обо всех своих делах, и только потом о ней вспоминает... (м, 57).

Проблему совмещения домашних ролей и приоритетов супружества, отодвигающую сексуальные отношения на периферию, озвучивают женщины: «как жена...я должна была стирать, гладить, убирать за ребенком... при этом еще испытывать удовольствие от секса и улыбаться» (ж, 34). Кроме того, женщина совмещает эти обязанности с работой, которая также может интерпретироваться как препятствие для нормальной женственности и сексуальности. Чтобы сексуальная жизнь была полноценной, женщина должна избавиться от роли «работающей матери»: если «от сексуальной жизни надо получать удовольствие, то для этого надо жить так, как живет моя дочка сейчас: не работать и заниматься хозяйством» (ж, 62).

Позднесоветский брак легко разрушается, однако причины разводов чаще всего не связаны непосредственно с сексуальными отношениями. Брачная сексуальность (в случае сохранения брака) постепенно занимает в системе отношений второстепенное место, и такие изменения воспринимаются как естественное течение жизни.

«Жилья же не было, места не было...»

Рутинизация брачной сексуальности, обозначающая неудовлетворенность, связывается мужчинами и женщинами со специфическими условиями советской жизни. К ним относятся жилищные проблемы, недоступность контрацепции, а также отсутствие знаний и воспитание, приводящее к негативному отношению к сексу. Рассказывает мужчина: «Это было ужасно, конечно. Вот матери кровать, вот моя, в одной комнате... Это было очень тяжело, очень тяжело. Может быть, это и сказалось...» (м, 66). У супругов часто отсутствовали даже минимальные условия для интимных отношений, и это могло приводить и приводило к сложностям в сексуальных отношениях, а иногда и к распаду брака.

Следующая проблема, вызывающая напряжение сексуальной жизни — контрацепция:

Их не было, контрацептивов никаких... Что там надо было — спринцеваться или еще что-то. Так не было же и возможностей! Жилья же

не было, места не было... И потом это же вообще достаточно трудно, и хлопотно, и не так уж... эффективно... Всю жизнь трясешься (ж, 59).

Хотя «отсутствие» *контрацепции* в данном случае означает отсутствие *знаний и возможностей* ее использования и недоверие к доступным средствам, но не обязательно *реальное* отсутствие контрацептивов, для многих женщин сексуальная жизнь в браке сопровождалась постоянным страхом нежелательных беременностей, секс становился опасным, не приносящим никакого удовлетворения:

Знаете, страх беременности тогда отравлял все существование в те годы... Я была под постоянным страхом... это портило нашу жизнь... (приходилось себя) ограничивать, и способы как бы по предохранению были варварские, поэтому это было... фригидность была естественным последствием именно этих обстоятельств (ж, 62).

Следствием становятся многочисленные аборт, которые, с одной стороны, сопровождаются в описаниях чувствами страха, боли, стыда, вины, но одновременно превращаются в рутинную супружескую практику контроля над рождаемостью. Если для женщин аборт является неприятными событиями их сексуальной жизни, то мужья не всегда знают или помнят, какое количество абортов сделала их жена, и могут не знать о том, как производились аборт в государственных медицинских учреждениях.

Описывая рутинность брачного секса и неудовлетворенность им, многие информанты апеллируют к советскому воспитанию.

Начнем с того, что выросла я в жуткое время... когда все, любое, просто личность, а уж тем более сексуальность, женственность, она была задавлена, выбита из людей... И давилось — не только окружающая обстановка давила, но сама в себе давила (ж, 59).

От этого воспитания очень трудно отойти, в нас еще заложен тот ген, который говорит: нельзя, не можно, стыдно, не положено (ж, 63).

Урезанное народное, фрагментарное, бытовое знание о сексе, приобретенное опытным путем, в разговорах с друзьями, из художественной литературы¹⁶, формирует отношению к сексу как к «постыдным супружеским обязанностям» (ж, 59). Особенностью позднесоветского брачного сценария является отсутствие (или существенное ограничение) знаний о сексуальности и телесности, разделяемых обоими партнерами. Натурализация сексуальности,

¹⁶ Способы получения сексуальных знаний в советском обществе подробно проанализированы в Rotkirch (2000, 144—177).

характерная для советского дискурса — «все должно происходить естественным путем» (м, 35), делает такие знания ненужными.

«В постели все зависит от мужчины»

Рутинизация сексуальных отношений связана с гендерной поляризацией, которая приписывает ответственность и компетентность мужу/мужчине и ставит женщину в зависимость от его поведения и установок. Про свой брак рассказывает женщина 46 лет, вышедшая замуж в возрасте около 20 лет (в начале 1970-х годов) и прожившая в браке около 10 лет.

[Муж] был неопытный в сексуальном плане человек, у него не было культуры сексуального общения с женщиной, он даже не представлял, что может быть, он был несведущий. И его особенности были в том, что он был малочувствительный человек, человек эгоистического склада, он считал, что мужчина так себя должен вести, как он ведет, и плевать ему. Он был очень неласковый человек, лишен романтизма и многих качеств, которые привлекают. Он был просто очень порядочный. И женившись на мне, он тут же ушел работать... забыв обо мне напрочь. В 11 часов, приходя домой, ложась спать и справляя свои потребности, как поесть, попить. Вот так он относился к нашей сексуальной жизни. И она была убогой невероятно: оба такие, имеющие установку, что это плохо. То есть он считал, что это вредно, а я считала, что это неприлично. И я страдала безумно. Он как мужчина получал свое удовольствие.

Развитие *брачных* отношений в данном случае описывается как проблематизация *сексуального* поведения. Причины — в отсутствии опыта, в «неправильных» установках и отношении к сексу. Такие интерпретации характерны для многих рассказов о браке, однако, как показывают другие истории, наличие доброго опыта не меняет качества сексуальных отношений в браке. Причиной «убогой» сексуальной жизни в браке считается отношение мужчины к сексу, поскольку женщина в этих отношениях — «реципиент», она готова получать знания и усваивать культуру сексуального общения, но если не получает и не усваивает, то оказывается «жертвой» поведения и установок мужа. Гендерная асимметрия становится гендерной иерархией, где мужчина — ответственный, знающий, активный, а женщина — вторична и подчиняема. Пассивное позиционирование себя является оборотной стороной «натурализации» гендерной иерархии в сексуальных отношениях. В таких отношениях сексуальная компетентность ожидается от мужа, и — при ее отсутствии — наступает разочарование.

Репрезентация традиционной гендерной идентичности характерна для женщин разных возрастов: «в постели все зависит от мужчины. Я не очень активна. Я всегда считала, что меня должны ублажать» (59 лет). Более молодые женщины осознают данную проблему как коммуникативную: «Мальчики наши не приучены по этому поводу волноваться... а девочки не приучены требовать этого с мальчиков» (32 года).

В большинстве случаев вербальная коммуникация по поводу сексуальности с мужем вызывает затруднения: «Высказать ему мою заинтересованность в нем как в мужчине... я считала неудобным» (ж, 57). Неудовлетворенность сексуальной жизнью редко становится предметом обсуждения с партнером, во взаимоотношениях часто отсутствуют (вербальные и невербальные) коды, позволяющие партнерам правильно расшифровывать ситуацию: «он считал, что я получаю такое же удовольствие» (ж, 62). «У [мужа]-то получится всегда, а у меня — это как бы никого не интересует» (ж, 32).

Отсутствующие коды вербального сексуального взаимодействия приводят и к случаям сексуального насилия в браке, которое, однако, редко воспринимается как таковое: «Что значит насилие со стороны супруга, с которым спишь в одной кровати в течение семи лет? Ну, вероятно, ему не хватило пяти минут для того, чтобы меня уговорить» (ж, 40).

Материалы интервью позволяют поставить проблему рассогласования женских и мужских историй: отсутствие сексуального удовлетворения фиксируют многие женщины, а мужчины этому не придают значения или утверждают, что женщина его получает. При этом в обеих (женских и мужских) версиях секс не является предметом обсуждения, в коммуникации не всегда возникают разделяемые значения, касающиеся сексуальности и телесности.

Еще одним повторяющимся образцом сексуального взаимодействия в браке является имитация женщиной сексуального удовлетворения. В условиях гендерной асимметрии и естественности сексуальности предполагается, что мужчина, в отличие от женщины, легко достигает сексуального удовлетворения. Однако подтверждение сексуальной компетентности мужчины требует, чтобы и жена получала удовлетворение. В случае отсутствия такового, женщины не хотят разочаровывать партнера и используют стратегию имитации оргазма, которую описывают как обычную сексуальную практику: «я притворялась, и делала это достаточно успешно, я хорошо этому научилась» (ж, 34).

Зависимость и пассивное позиционирование женской сексуальности приводят к тому, что при удачном стечении обстоя-

тельств (встречи с заинтересованным опытным партнером) у женщины есть шансы на иную сексуальность, раскрытие «себя», получение удовольствия: «Я вполне могла бы быть фригидной женщиной, не попадись мне такой вот мужчина (первый муж), не сложись так мой брак» (ж, 40).

Сходные интерпретации «естественности» сексуальности и гендерной иерархии присутствуют и в мужских рассказах. Мужчина 35 лет, в браке с 20 лет, охарактеризовавший брак как «непрерывную монотонную функцию», описывает сексуальные отношения как «супружеский долг», естественный процесс, который не требует разнообразия, обсуждения, рефлексивной коммуникации: «Что говорить? Делать надо». Не предполагается и сексуального «экспериментирования»:

Не могу сказать, что у меня были дискуссии по этому поводу. Не было, не было... чисто естественным путем находились какие-то моменты, позиции, в которых... все и происходило обычно.

Разговоры о сексе — это свидетельство недостаточной компетентности мужчины. «Разговоры импотентов, которые, наверное... смакуют ... выглядят специалистами в данном случае». Все сексуальные отношения (в браке и за его пределами) складываются «чисто естественным путем».

Итак, рутинизация сексуальности в браке описывается как естественное изменение в процессе жизненного цикла и одновременно как следствие советских социальных условий и сексуальной социализации. Сексуальные отношения воспринимаются супругами как «природно заданные», не требующие знаний и обсуждения, гендерная асимметрия приводит к ожиданию от мужчин активности и оправданию женской пассивности и некомпетентности.

Де-рутинизация брака: что меняют измены?

А если рассматривать адюльтер как... увлечение... совершенно естественно, что это увлечение переходит в сексуальные отношения. А говорить, что это плохо? Ну, тут даже в таких категориях нельзя выражаться, потому что тут никто ни прав, ни виноват, влюбился человек, ну что поделаешь... (ж, 34).

В позднесоветский период моногамность супружеских отношений сохраняет свой нормативный характер. Однако в повседневности

формируется другая, «тенева», норма, согласно которой при определенных обстоятельствах и при соблюдении определенных правил допускается нарушение супружеской верности. «Везде: в литературе, в кино, в театре, в нашей повседневной жизни — мы сталкиваемся с фактами внебрачной половой жизни» (Нойберт 1967, 226).

Внебрачные связи позволяют преодолевать рутинность супружеского секса, испытывать сильные чувства (любви, страсти, ревности), получать новые знания в области сексуальности, удовлетворять «естественные» сексуальные потребности. В условиях позднесоветской либерализации легитимными становятся сценарии сексуальности, допускающие внебрачные практики и мужчин и женщин, но сохраняющие двойной гендерный стандарт оценки поведения.

«Теневой» легитимации внебрачных отношений способствовала, во-первых, «естественная» рутинизация брачного секса, осложненная советскими бытовыми условиями. Внебрачные отношения создавали условия для обретения нового опыта и знания, в них удавалось осуществить сексуальную «ресоциализацию». Этот опыт особенно значим для женщин, поскольку, в соответствии с гендерными установками, они ожидали научения от мужчин, и если муж оказался не в состоянии стать «учителем», то эту роль мог сыграть другой мужчина.

Во-вторых, романтические дискурсы, нашедшие широкое распространение в культуре (русской и переводной литературе, в кинематографе позднесоветского времени), представленные в профессиональных дискурсах и в нарративах о повседневной жизни, способствовали возрастанию значимости «сильных чувств», страсти. В официальных предписаниях «любовь» являлась основой брака (и брачного секса), а в повседневности она служила оправданием внебрачных отношений. «Сильные чувства» предстают в нарративах как неконтролируемые и неуправляемые, подчиняющие себе человека. Наряду с влюбленностями сексуальные отношения расширяли возможности индивидуализации, усиливали значимость частной жизни, ускользающей из-под контроля, но тем не менее не нарушающей базовых основ советского общества.

Еще одним дискурсом, способствующим «романтической» легитимации внебрачных отношений, стал позднесоветский дискурс о дружбе («духовная близость»), наделяющий высокой значимостью неформальное общение. Дружеское общение, общие интересы на работе постоянно создавали и воспроизводили ту среду, ко-

торая способствовала близким интимным отношениям, часто включающим и сексуальные. Работающая женщина постоянно находилась в профессиональном, чаще всего гетеросоциальном, коллективе, что существенно расширяло круг ее социальных связей, по сравнению с женщиной-домохозяйкой. «Любовниками» и «любовницами» чаще всего становились коллеги или люди из близкого круга общения. Дружеские связи, включая и сексуальные, так же как и «сильные чувства», создавали ниши для эмоционально насыщенных, слабо контролируемых официальными институтами отношений.

В-третьих, легитимации внебрачного секса способствовала интерпретация сексуальных потребностей как «естественных». Это, в первую очередь, относилось к мужчинам, «которых природа сделала немногогамными». Утверждение и подтверждение мужественности требуют постоянного проявления сексуальной активности, в том числе за пределами брака. Верность в этом случае является сознательным моральным действием, ограничивающим естественные устремления.

«Это же с каждым случиться может»

Отношение к неверности своего супруга(и) меняется в ходе жизненного цикла семьи. В начале цикла поведение совпадает с нормативными предписаниями. На первых этапах брака обычно декларируется и соблюдается супружеская верность:

Заклучая брак, [муж] также говорил о том, что он имеет смысл только при соблюдении верности. И он очень долго, надо сказать, держался, я думаю, года три он держался, и измен не было (ж, 50).

В рассказах о сексуальной жизни многие информанты говорят о том, что моральные обязательства сохранялись на протяжении всего брака, даже если супруги были не удовлетворены браком или его сексуальной стороной:

С одной стороны, я не могла так дальше с мужем жить, в сексуальном отношении меня это не удовлетворяло, с другой стороны, мне казалось, что если я заведу себе какого-то другого партнера, то я его предаю (ж, 39).

Однако мужчина довольно быстро отступает от этой нормы, фактической нормой становятся внебрачные связи. Легитимация

новой нормы происходит через апелляцию к «мужской природе» и «сильным чувствам».

Обратимся сначала к «мужской природе». «С кем я ни сталкиваюсь — со своими приятелями или со всеми... хочет иметь много женщин любой» (м, 41). Эту установку разделяют большинство мужчин, в том числе и те, которых сдерживают моральные обязательства. Наш информант продолжает:

Другое дело — насколько каждый человек себе позволяет, потому что кроме секса существует... еще уважение к человеку и все прочее — много-много чего такого, что останавливает на каком-то этапе (м, 41).

Еще один информант (35 лет), который параллельно браку вступает в многочисленные сексуальные контакты («бывали, да, много, конечно, достаточно, практически не прекращались, да»), интерпретирует свою сексуальность как «природно заданную». Мужчина в его объяснении — «раб гормонов, которые впрыскиваются ему в кровь и бьют по мозгам», «гормоны у него бьют по корке мозга», его «сексуальные ощущения на 99% связаны с физиологией», он «более приспособлен», «более лабилен», менее «ответствен», чем женщина, у него «упрощенная сексуальная организация» (м, 35). Одновременно он исповедует «двойной стандарт»: не допускается возможность наличия любовников у жены. «Это очень дорого бы обошлось жене». Почему? Появление сексуальных связей у жены (за исключением случайных) свидетельствует о сексуальной некомпетентности мужа — появляется «более крутой», который «доделывает работу, которую не доделал муж», которого, в свою очередь, «обскакали на кривой кобыле». Отсутствие внебрачных связей у жены связывается с ситуацией ее подконтрольности, в которой она находится из-за семейных обязанностей, «у нее масса других обязанностей, ну, просто, нет того свободного времени по большому счету, которое есть у тебя». В данном случае, как и во многих других, допускаются случайные связи у жены (о которых никто не знает и которые не угрожают стабильности, статусу и сексуальному авторитету мужа), но не допускаются постоянные привязанности.

Сильные чувства легитимируют внебрачные связи и для мужчин, и для женщин: «Тут никто ни прав, ни виноват, влюбился человек, ну что поделаешь, это же с каждым случиться может» (ж, 34). Влюбленность, параллельная браку, хотя и создавала моральную дилемму, но тем не менее признавалась легитимной причиной для внебрачных отношений. Для женщин супружеские из-

мены (в том числе потенциальные) сопряжены с чувством вины. Женская «природа» не легитимирует внебрачных связей, поэтому связи и влюбленности вызывают стыд, угрызения совести, создающие барьер для вступления в иные отношения. О своей влюбленности говорит женщина 46 лет, состоявшая в браке:

Но... очень, очень была какая-то такая сильная влюбленность, я тоже там роняла тарелки, там обжигалась, там... переживания мои по этому поводу очень забавные: я просыпалась каждое утро, и первая, значит, была радость — ах, сегодня я увижу его! А вторая, значит, такая реакция: что я изменяю не только мужу, но и всей своей семье, т.е. я намучилась вообще от угрызений совести, еще ничего не пережив, ужасно! Я не знаю, может быть, если бы я переступила этот барьер, уже потом этих угрызений бы не было.

«На стороне с любовником она себя всегда раскрывает»

Постепенно моральные барьеры могут преодолеваются. Рутинизация брака способствует возрастанию ценности эмоционально насыщенных отношений. Новые отношения позволяют обрести опыт, знания, новое понимание себя, телесности, сексуальности, что представляет «эксклюзивную» ценность для женщин позднесоветского времени. Интерпретация сексуальных отношений через призму любви позволяет женщине совладать с чувством вины:

Через пять лет после нашего замужества... встретила человека, в которого страстно влюбилась. Человека уже достаточно опытного. Он был ровесником моего мужа, но он в своей жизни перебрал, наверное, много женщин и прекрасно понимал, как строятся отношения. Это была настоящая любовь, страсть. И он был в этой страсти ненасытен. И я поняла, что [это] такое (ж, 46).

Опытный и заинтересованный любовник становится учителем и обучает, «снимает комплексы», меняет отношение женщины к своему телу, таким образом, обеспечивает женщину «эзотерическим знанием» и средствами для сексуальной идентификации. Встреча с опытным партнером воспринимается как «счастливая случайность», дающая единственную возможность женщине обучиться, понять свое тело и получить телесное удовольствие. В рамках брака женщина чувствует себя скованной рутинной, привычкой, приличиями, и поэтому,

может быть, то, что «не положено» дома, женщина получит на стороне скорее, чем дома; если дома с мужем она постесняется проявить себя в ... сексуальной жизни, то, что ей надо, постесняется, то на стороне с любовником она себя всегда раскроет (ж, 63).

Возможность сексуально раскрепоститься вне брака отмечают и женщины и мужчины: брак оказывается той рамкой, в которой монотонность и рутинизация являются одним из правил приличия. Жене приписывается верность, скромность, она соблюдает приличия в брачном сексе, в браке она в первую очередь — мать, которая постепенно становится асексуальной. Однако женщина-любовница может менять свои установки, экспериментировать в сексе, получать удовольствие. Мужчина 63 лет, женатый второй раз, противопоставляет позицию жены-хозяйки, с которой «исполняются обязанности» и все происходит рутинным «деревенским образом», и влюбленной женщины, в отношениях с которой постоянно присутствует новизна и яркие ощущения. В супружеских отношениях, которые «остыли» и «любовь закончилась», жена не допускает разговоров о сексе, его разнообразия, на супружеские отношения не удается распространить новый опыт.

Жена есть жена. Она не позволяла фантазировать... ничего особенного, все это было деревенским образом. А с ней (с любовницей) каждый день все новое... Если человек просто исполняет свои обязанности, то это житье плохое. А когда человек горит и отдает себя всей душой, тогда жизнь приятна... если остыли друг к другу, то надо иметь того, кто тебе мог бы помочь в жизни... Я так порешил, что это труд не нужный — разговаривать на эту тему [с женой]. Хотя разговор был на эту тему, но ответ простой был: «Что я манекенщица какая? Я жена, хозяйка. В чем дело?» Ну, и остужает это дело, правильно? Если хотят только быть хозяйкой и варить щи, а остальное... И всякие эти позы, разнообразие и любовь — это все уже закончилось» (м, 63).

«Я же не забираю его из семьи, не увожу его...»

В интерпретации параллельных отношений происходит их разделение на случайные, незначимые, и на угрожающие, серьезные. По отношению к случайным, в отличие от постоянных, многие супруги демонстрируют свою терпимость, уменьшается двойной гендерный стандарт, в такие связи могут вступать и мужчины и женщины:

Ну, случайные могут, это я не отрицаю. Но систематические, постоянные — нет. Разрывай, либо — либо... Это я считаю просто непорядочно... ситуации бывают разные. Поэтому, и это я не отрицаю, случайно иногда бывает... Ну, бывает как-то, что где-то загулял, там где-то, что-то. Я вполне не отрицаю и того, что и женщина может где-то там, но случайно, не постоянно... Это может быть, но когда уже начинается длительно, это уж некрасиво, это уже неинтеллигентно (м, 66).

В отличие от случайных, постоянные связи и серьезные привязанности создают ситуацию выбора. Наличие значимых отношений, параллельных браку, может приводить к его разрушению и — иногда — к заключению нового. Измена не обязательно разрушает брак, но в случае, если измена обнаруживается, сохранить прежнюю рутину брака становится проблематичным, по крайней мере на определенный период времени.

Стратегией «совладания» с внебрачными отношениями, встраивание их в брачный статус является сокрытие любовных связей. Успешное сокрытие не вносит существенных изменений в брачные отношения, и многие мужчины и женщины придерживаются этого сценария, соединяющего рутину брака с новизной и яркостью внебрачных связей. Если супруг(а) о них догадывается, то ревность возвращает эмоциональную (хотя и негативно окрашенную) насыщенность браку. Об отношении жены к его изменам говорит мужчина 51 года:

Проявление ревности... становится неуправляемым, это... как вулканическое извержение неуправляемо, так вот и это. Там уже остановить, спокойно объяснить, это не принимается. Это проходит время какое-то, этот адреналинчик, и всё это уходит...

Страсть, ревность — это чувства неконтролируемые и неуправляемые, которым человеку приходится подчиняться. Однако их развитие имеет циклический характер, и со временем они проходят.

Многие мужчины и женщины утверждают, что «внебрачные связи укрепляют брак». Говорят незамужние женщины о женатых любовниках:

и у них с женой только еще и лучше все стало, на самом деле, потому что у него немножечко чувство вины какое-то к ней есть, он к ней проявляет больше внимания, она на него больше отвечает (ж, 42).

Мужу хорошо, мне хорошо, ей хорошо. Я же не забираю его из семьи, не увожу его... Я не вижу в этом, что я их чем-то обижаю, что я когда-то с их мужем переспала. Ну и что. Чего тут плохого? (ж, 46).

Если внебрачные связи кратковременны и/или их наличие скрывается от супруга/супруги, они, как правило, не угрожают супружеским отношениям. Знание о внебрачных связях супруга/супруги может стать причиной прекращения брака:

Для меня это неприемлемо, для меня это исключено, разорвал бы отношения... просто чисто физически не смог бы (м, 58).

Она (жена) скрывала... я пытался себя убедить, что этого нет... иначе я не смог бы существовать с ребенком (м, 53).

Женщины не столь категоричны по отношению к изменам мужей, однако и они в основном не знают об изменах, если им об этом не сообщают специально.

По отношению к супружеским изменам двойной стандарт ослабевает, сокрытие внебрачных связей является правилом сохранения брака и для мужчин, и для женщин: «Я даже не совсем уверена, были ли они действительно. Как бы он их демонстрировал... я до сих пор не знаю, изменял он мне во время брака или нет» (ж, 40); «Они [мужья] последние узнают об этом» (ж, 58). Ситуация неопределенности позволяет сохранять брачные отношения, в которых супружеский секс теряет значимость, однако ценность семьи остается высокой.

Итак, брачная измена признается функционально значимой в поддержании брака. Считается, что она позволяла реализовывать чувства, «естественные» потребности, давала возможность обрести новые знания и новое понимание себя, вписать женственность / мужественность в дискурсы романтизма, разными способами преодолевать рутину брака. Внебрачные увлечения, как и любые риски, повышали «эмоциональную наполненность опыта, его интенсивность и напряженность» (Ионин 2000, 339—340). Страсть, увлечения, приключения описываются как нерациональные, запретные, опасные и привлекательные¹⁷. Интересно заметить, что и мужчины, и женщины крайне редко ссылаются на условия, ограничивающие возможности адюльтера: для него всегда находится и время и место. Советские люди умело и компетентно выстраивали внебрачную жизнь, часто не разрушая семью и сохраняя неизменным свой брачный статус. На уровне повседневных взаимодействий они хорошо знали, что и как надо скрывать, хотя такие отношения очень часто оставались тайной только для мужа / жены.

¹⁷ О сексуальных отношениях в отпусках и в командировках см.: Rotkirch 2000, 178—191.

За пределами брака внебрачные связи являлись предметом обсуждения, они также становились и средством эмоциональной связи в кругу друзей и средством повышения статуса. Наличие любовниц подтверждало мужественность (через сексуальную активность), любовников — женственность (через сексуальную востребованность и способность к чувствам). Кроме того, внебрачные связи создавали индивидуальное, интимное, неконтролируемое официозом приватное пространство. Нуклеаризация (в том числе жилищная) семей выводила супругов из-под постоянного контроля ближайшего окружения (многопоколенной семьи, соседей), способствуя процессам индивидуализации и автономизации. Семья сохраняла свою высокую ценность, однако рутинизация сексуальных отношений в браке препятствовала «сексуальной индивидуализации», которая могла происходить за пределами брака. При этом измена угрожала браку, усиливая его хрупкость и неустойчивость. Внебрачные связи, в том числе скрываемые, постоянно создавали ситуации конфликтов, драматических переживаний, ревности.

Заключение

Итак, начиная с 1960-х годов можно говорить о процессе дискурсивного оформления сексуальности (половых отношений), несмотря на то что обсуждение вопросов секса было ограничено профессиональными дискурсами и/или критикой. В рамках просвещения и еще более — в рамках критики «негативных сторон» сексуального поведения утверждалась норма брачной половой жизни, одновременно фиксировалась тенденция к разделению секса и брака.

«Половое воспитание» должно было способствовать не только просвещению, но и утверждению нормы, необходимой для формирования морали строителя коммунистического общества, подконтрольного государственной идеологии и политике. Однако знания о сексе, даже в рамках эксплицированной морали, представляли опасность и широкого распространения не получали. Усиление значимости «половых отношений» повышало ценность интимной жизни, мужественности и женственности. В процессе выведения «половых отношений» в дискурс эссенциализирувались гендерные различия, предписывающие мужчине сексуальную активность, а женщине зависимость. Непреднамеренным последствием эссенциализации было превращение мужественности/

женственности и сексуальных отношений (особенно отклоняющихся от брачной нормы) в ресурс индивидуализации и самореализации позднесоветского человека.

Институциональная гендерная политика усиливала ценности семьи и материнства, женщина как советская гражданка должна была выполнить репродуктивные обязательства перед обществом. Хотя декларируемые государством меры не были полностью реализованы, непреднамеренным последствием такой политики становилась приватизация частной жизни, повышение ее ценности, «теневая» легитимация отклонений «интимной жизни» от нормы.

В сфере повседневной жизни, с одной стороны, воспроизводились официальные нормы, с другой — легитимировались нормы «теневые». В биографиях брачная сексуальность предстает как рутинизированная, ограниченная советскими социальными условиями и социализацией. Сексуальные отношения в основном воспринимаются супругами как «естественные», не требующие знаний и обсуждения, эссенциализация половых различий приводит к оправданию мужской активности и женской пассивности и некомпетентности.

Одновременно в повседневности, при сохранении нормы многогамности, получают распространение практики нарушения супружеской верности. Они преодолевают рутину брака, способствуют получению «знания через действие». Романтические дискурсы, ценности дружбы, представление о «естественности» сексуальных потребностей (в первую очередь — мужчины) задают фреймы оправдания измен. Сексуальные отношения способствуют индивидуализации, повышают ценность интимно-частной жизни, ускользающей из-под официального контроля.

Отметим, что рутинизация брака и ее преодоление, реконструированные по материалам биографий, хотя и являлись широко распространенными и логически встроенными в систему советского брака, разумеется, не сводятся только к рассмотренным вариантам. Данное исследование было ограничено анализом биографий городских образованных слоев, отличия отдельных сред не были приняты во внимание. Здесь также не рассматривались особенности жизненного цикла семьи, связанные с заключением брака и его распадом. Необходимо отметить и то, что во всех поколениях встречается описание эмоционально насыщенных и эротически окрашенных отношений в браке, однако чаще всего такие браки не являются первыми и единственными, и их описания, как правило, даются более молодыми мужчинами и женщинами. Для

всех поколений характерны рассказы о верности в браке, независимо от степени удовлетворенности супругами сексуальными отношениями.

Возраст считается фактором, снижающим сексуальную активность, однако существуют и противоположные интерпретации, связывающие с возрастом опыт и знание, приводящие к иному пониманию сексуальности. На опыт людей, социализированных в советское время, повлияли новые дискурсы о сексуальности, и в середине 1990-х годов (когда проводилось интервью) некоторые информанты рассказывают о переоценке роли секса в своей жизни, хотя это в основном относится к среднему поколению, чья сексуальная жизнь продолжает оставаться активной. Несмотря на сохранение двойного стандарта и сексуального эссенциализма в их жизни, гораздо большее значение начинает придаваться сексуальному удовольствию, телесным и эротическим ощущениям, интимной коммуникации, переговорному процессу между супругами, что в целом характерно для более молодых, современных поколений. Телесность и сексуальность становятся рефлексивными феноменами, постепенно преодолевающими свои эссенциальные границы. Одновременно институционально рефлексивным¹⁸ по отношению к сексуальности становится общество, способствуя изменениям в сфере интимно-сексуальных брачных отношений. Вместе с тем коммерциализация сексуальности, повсеместное распространение дискурсов о ней приводят к рационализации и технологизации отношений, вызывая протест старших поколений. Ценности романтизма, сокрытие интимности от обсуждений, нерациональность и нерегулируемость страстей, «естественность» сексуальности и ее брачной рутинизации, «естественность» мужественности и женственности составляли основу повседневного морального порядка, которому «угрожают» современные трансформации.

¹⁸ Об институциональной (не)рефлексивности российского общества по отношению к сексуальности см.: Zdravomyslova 2001.

Анна Роткирх

«БЕСПУТНАЯ ЖИЗНЬ»: СЕКС, СЕМЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В МУЖСКИХ АВТОБИОГРАФИЯХ*

В этой статье рассматриваются автобиографии двух мужчин из разных советских поколений: «Михаил Иванов» описывает опыт инцеста и сексуального блага в 1950-х годах, а в рассказе «Алексея Лукашина» речь идет о ленинградской шпане и рок-культуре 1970-х. Эти две биографии интересны мне прежде всего с точки зрения отношений, сложившихся между представлениями о мужественности и формами социальной мобильности, с одной стороны, и представлениями о «нормальной» семейной и сексуальной жизни — с другой¹.

Использованные случаи нельзя называть типичными, наоборот, в основе этих жизненных историй — тема нищеты и социальной маргинальности. В материалах, рассмотренных ниже, частично

* Автор глубоко признательна Елене Никифоровой и Елене Здравомысловой за перевод с английского и за их ценные замечания.

¹ Массив первичного материала состоит из 47 автобиографий о любви и сексуальности, написанных жителями Санкт-Петербурга и собранных в 1996 году в рамках финского исследовательского проекта «Мозаичная жизнь. Воспитание, гендер и сексуальность в Финляндии, странах Балтии и Санкт-Петербурге» (см.: Naavio-Mannila, Rotkirch 1998; Naavio-Mannila, Rotkirch 2000). А. Клецин и Е. Лагунова из Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН провели конкурс, в котором через объявление в газетах «Вечерний Петербург» и «Час пик» людей пригласили написать о любовной и сексуальной жизни. Кроме того, в академических институтах и женских организациях распространялись листовки с объявлением о конкурсе. Российско-финское жюри выбрало шесть автобиографий-призеров, авторы которых получили дипломы и денежные призы (от 50 до 500 долларов). Подробный анализ этого материала см.: Rotkirch 2000. Данная статья представляет собой переработанную версию восьмой главы этой книги.

отсутствует информация о классовом статусе авторов биографий, образовании и профессии их родителей или партнеров. И тем не менее, благодаря открытости своих повествований о мужской сексуальности и идентичности, эти тексты выделяются из всего объема собранного материала. Внимательное чтение именно таких маргинальных, но «насыщенных» текстов может помочь нам понять социальную динамику семей и полов (Mauney 1995, 150).

«Сексуальная зависимость» таксиста Иванова

Автобиография Михаила Иванова (р. 1935) представляет собой обширный текст и охватывает всю его жизнь. Потеряв в раннем детстве отца, мальчик вырос с матерью и старшей сестрой. Закончив семь классов, он пошел учиться в профессионально-техническое училище. Его сестра, несмотря на советы матери удовлетвориться образованием на уровне техникума, решительно отвергла этот вариант и поступила в институт, тем самым ясно продемонстрировав наличие социальных амбиций. Сестра скоро оставила семью и позже уехала из Ленинграда. «Михаил»² отслужил три года в армии, а по возвращении устроился работать шофером на крупном предприятии. В конце 1950-х он женился на Рае, первой жене, и к началу 1960-х годов у них было трое детей.

Во второй половине 1960-х «Михаил» развелся с Раей и женился на Ксении, усыновив ее ребенка от предыдущего брака. На момент написания автобиографии в 1996 году «Михаил» жил с Ксенией. Еще во время первого брака он решил сменить место работы и стал таксистом. Хотя «Михаил», по всей видимости, занимался довольно прибыльным извозом как в советское, так и в постсоветское время, в своем жизнеописании он сетует на недостаток финансов.

Основное действие рассказа Иванова разворачивается сначала в родительской семье, где он провел детство, а затем в первом браке. В обоих случаях семьи жили в условиях материальной и культурной бедности, из которой молодой «Михаил» упорно пытался вырваться. Круг его родственников и друзей составляли швейца-

² Здесь и далее «Михаил» и «Алексей» употребляются по отношению к героям автобиографий, фамилии — Иванов и Лукашин — как указатель авторов автобиографий. Все имена и другие узнаваемые биографические характеристики изменены.

ры, заводские рабочие, продавщицы, вокзальные носильщики. Автор не без зависти повествует об одной семье, где жена работала дворником «ради жилья», а муж служил швейцаром в знаменитом ресторане:

Место это было довольно-таки престижное, я не знаю, кто его туда устроил, но меня это мало интересовало. Жили они материально хорошо. Тетка еще скупала, или, как она говорила, покупала, у пьяниц то хрусталь, то золото, серебро, а то и все подряд.

Люди из окружения «Михаила» представляли низшую ступень рабочего класса последних десятилетий советского режима. Практически все они были мигрантами или ленинградцами в первом поколении. Тем не менее, как мы видели на примере, приведенном выше, не все знакомые и приятели «Михаила» относились к категории бедных или материально нуждающихся.

Иванов дает насыщенные описания различных ситуаций повседневной жизни, рассказывая, например, о постоянном пьянстве (с гордостью отмечая, что сам он не пил много накануне выезда на работу, «если мне на другой день предстояло работать, я всегда был в норме и почти всегда трезвый»). Его описания собственной профессиональной карьеры во многом представлены через сексуальные отношения на работе. Сексуальные связи, в свою очередь, выступают лейтмотивом другой доминирующей темы его автобиографии — темы бесконтрольности его поведения, противопоставленной устремлениям к лучшим условиям «нормальной» семейной жизни.

По рассказу Иванова, всю жизнь его соблазняли, использовали и практически насиловали члены семьи, соседки по дому, подруги жены, иногда и женщины-коллеги по работе. Начиная с 17 лет у «Михаила» было несколько сексуальных связей с девушками, но первый половой акт произошел с его собственной матерью. Эти отношения продолжались до его демобилизации из армии и окончательного ухода из дома. Первый брак «Михаила» произошел благодаря стараниям деятельной будущей тещи, которая, по его словам, впоследствии неоднократно пыталась его соблазнить³.

³ Вопросы достоверности этой автобиографии обсуждаются в Rotkirch (2000, 195–197). Особенно настораживает тот факт, что «говорят» в автобиографии Иванова в основном женщины, и все они изображаются как сексуально несдержанные особы, находящиеся в вечном поиске сексуальных связей (только вторая жена, которой приписывается равнодушное отношение к сексу на позднем этапе брака, не подпадает под общую картину). Кроме того, диалоги написаны на языке порнографических расска-

Траектория социальной мобильности Иванова включает и постепенное улучшение его жилищных условий: посредством удачных квартирных обменов «Михаилу» удалось в итоге переселиться из пригорода в центр Ленинграда. Открывает автобиографию описание плачевного материального положения семьи в послевоенные годы.

Как жилось — лучше не вспоминать: как все... нас поселили в небольшой одноэтажный дом... Домик разделили на две половины, оборудовав два входа, и мы получили также комнату, но уже меньших размеров, и кухню, да еще два чулана, мебели у нас особо не было: стол, стулья, две табуретки и две кровати односпальные, но они редко нам служили. В комнате были сколочены большие широкие нары, где мы и спали втроем под одним большим одеялом, так было теплее. Дров на зиму не хватало, топили кое-как, сожгли, наверное, все, что можно было сжечь.

Женился «Михаил» на девушке Рае из такой же бедной семьи. Молодые супруги поселились в деревянном доме без удобств, в котором жила мать жены. Рая и ее мать работали на заводе. Вскоре комиссия нашла их жилищные условия неудовлетворительными, и молодая семья получила комнату в 10 кв. метров в одном из новых домов, построенных заводом. «Вот теперь настала благодать», — пишет Иванов: у них был туалет в самом доме, хотя отопление по-прежнему было печное. «Михаил» с Раей и детьми переехали в новую комнату, но оставались с матерью Раи в географической и социальной близости.

По описаниям Иванова, теща была бесспорной главой семьи, ее центральной и поддерживающей силой, особенно в начале семейной жизни. Все члены семьи отдавали ей свою зарплату. Когда оказалось, что сарай для дров слишком мал, именно она достала прицеп старых досок, чтобы построить новый. Она обеспечивала все семейство дровами, а молодую пару — презервативами; и когда вскоре после свадьбы ее дочь в первый раз забеременела, она научила ее, как вызвать выкидыш.

После переезда материальное положение семьи стало поправляться. «Михаил» не давил на свою, по его словам, ленивую жену, чтобы она вернулась на работу: «денег хватало пока что». Несколь-

зов, и сексуальность отображена в соответствии с психологическими стереотипами, бытующими в порнографической литературе. Тем не менее есть основания предположить, что большинство повседневных практик представлено в автобиографии «Михаила» адекватно.

ко лет спустя семья получила квартиру в центре Ленинграда. Там было все: две комнаты и кухня, центральное отопление, горячая вода, ванная и отдельный туалет: «Боже, какое чудо — не надо заготавливать дрова, носить воду и выносить грязную воду». Теща «Михаила» с другой взрослой дочерью тоже получила двухкомнатную квартиру.

После развода «Михаил» оставил квартиру своей первой жене и детям и переехал вместе со второй женой, ее ребенком и матерью в трехкомнатную квартиру, также в центре города. Мы ничего не знаем о профессии его второй жены, но очевидно, что второй брак стабилизировал и укрепил его возросший социальный статус. Именно с Ксенией «Михаил» окончательно избавился от материальной нужды и морального позора, которые он связывал с жизнью в материнском доме и первым браком.

История избавления «Михаила» от материальной бедности проходит параллельно с описаниями бегства от моральной стигмы и сексуальной распущенности, воплощенных в фигурах матери «Михаила» и его первой жены. В конце 1940-х годов мать «Михаила» устроилась работать в военную часть, расположенную близко от дома. Их соседка работала там же, и обе женщины принимали солдат, которые «приносили продукты» и были их любовниками.

В 14 лет «Михаил» первый раз напился. С того момента отношения сына и матери приобрели открыто сексуальный характер, включая поцелуи, петтинг и ее избыточные деталями советы о том, как правильно обращаться с девушками. «Михаил» неоднозначно оценивал сложившуюся жизненную ситуацию: с одной стороны, он рассказывает о том, как доверял матери и восхищался ею. Вот так, например, он описывает собственные чувства после одной из их первых сексуальных встреч: «Утром все было хорошо. После этого я долго не брал в рот вино и с нежностью стал относиться к своей маме — все-таки какая она у меня умная и хорошая». Их первый половой контакт, произошедший, когда «Михаилу» было 17, тоже описывается как, в общем, счастливое событие.

И мама встала, сняла сорочку, ввела в себя таблетку и голая легла в кровать. Я прильнул к ее грудям и стал сосать соски, сжимая титки, мама мледа... Она была довольна мною, и я был на высоте. Вот так я в первый раз был мужем у своей матери, и это не последний случай... Наутро я проснулся в хорошем настроении. После завтрака разошлись по своим делам. Об этом случае я никому и никогда не рассказывал, даже [другу] Вите, и вот впервые много лет спустя я описываю эту историю.

Однако как до, так и после первого полового акта «Михаил» отмечает, как ему «не хотелось» и как «противно» ему было спать в одной кровати с матерью и даже подходить к ней. Результатом этого стали частые депрессии и отчаяние: «Мне так было тяжело и противно, я начал злиться на всех. Мне трудно описать все мои переживания». С 17 лет «Михаил» начал отдаляться от матери. Он замечает, что, став старше, «может, и ума прибавилось». Учеба стала выходом, возможностью уйти от той интимности и пьянства, куда затягивала его мать:

Я стал по-другому относиться к сексуальной жизни, да и к жизни вообще, меня стали раздражать навязчивые девицы, мужики, приходящие к нам в дом. Все они, как правило, приносили с собой водку. Мама выпивала вместе с ними, они предлагали и мне выпивку. Несколько раз я напивался. Но, проснувшись, я видел в доме бардак. Мать опускалась морально, и мне уже не хотелось с ней разговаривать, не только ложиться с ней в постель. Но когда рядом с ней не было мужчины, она просила меня лечь с ней опять, она говорила, что не может без мужчины, она все время хочет, и плакала. Мне было жалко ее, и от выпивки меня тошнило, особенно на другой день утром. Я боялся похмельки, ведь мне надо учиться, работать, и стал убежать, чтобы не участвовать в выпивке. Я с головой окунулся в учебу.

Закончив училище, «Михаил» начал работать на заводе. В новой среде, с новыми знакомствами продолжался процесс переосмысления собственной семьи и нравственных норм. Оставаться дома было все труднее, и молодой человек ждал армии как шанса для побега:

На заводе был прекрасный спортивный коллектив, своя спортбаза, где летом и зимой можно было заниматься спортом и при случае остаться ночевать. Я понял, наблюдая за такими семьями, что у нас с мамой совсем ненормальные отношения, она мне и мать и не мать, а просто женщина, самка и выпивоха, и это стало меня угнетать. Теперь я стал ждать того дня, когда пойду служить в армию, все другое ушло на второй план.

Готовясь к армии, «Михаил» получил водительские права. Его призвали на три года в начале 1950-х. Он был доволен своими успехами и вспоминает, что армия захватила его полностью; «самое главное — не было женщин». Кроме того, ему удалось реализовать свои социальные амбиции: он поступил в школу сержантов и пользовался всеобщим уважением. «Я оказался один с семилетним образованием и считался ленинградцем».

Но на втором году службы к нему нагрянула мать: «И вот мать — как снег на голову среди лета». С ее приездом «женщины» и сексуальность вторглись в армейскую жизнь «Михаила», в буквальном смысле подведя под ней черту. Иванов описывает, как еще по дороге в гостиницу, где мать и сын намеревались вместе провести его увольнение, она успела переспать с двумя его командирами, объяснив, что поступила так потому, что это было в его интересах. И действительно, спустя всего два месяца после визита матери «Михаил» был досрочно демобилизован, что случилось, по его мнению, именно благодаря ее контактам. Однако после этого их сексуальные отношения прекратились.

Мать... теперь уже с отчимом, мужик он вроде неплохой, но это дело ее, мне с ними не жить, и маме я сказал, чтобы она оставила меня в покое, не знаю, огорчил я ее или нет, но я обрезал сразу, заявив: все, хватит, она как женщина меня больше не интересует...

На мать, свою мать, мне стало противно смотреть. Она стала много пить, курить и вести блядовитый образ жизни. После того, как я демобилизовался, она вскоре родила, но ребенок умер в роддоме. Почему — не знаю, да я и не интересовался, у меня своя жизнь, у нее — своя.

В автобиографии рассказывается, как к концу 1950-х мать «Михаила» все больше погружалась в проституцию и алкоголизм:

Я видел, как опускается моя мать, она все больше и больше ударялась в пьянку, в доме она устроила бардак, к ней приходили разные мужики, она уже не скрывала, что к ней приходят, приносят выпить, а она расплывается своим телом.

Побег в средний класс

«Михаил» осознал, что должен навести в своей жизни порядок. Он начал работать, и вскоре на одной из танцплощадок в пригороде встретил Раю, свою будущую жену, и увлекся ею. В период ухаживания она казалась ему приятной и порядочной женщиной. Кроме Раи в семье было еще трое детей, двое братьев и младшая сестра, которые «все родились от разных отцов. Это я узнал немного позже, а пока я об этом не думал, да и не знал». В то время Рая не пила, в отличие от ее матери, любившей выпить. Та сердилась, когда Рая отказывалась от алкоголя, и говорила, что совершенно нормально немного выпить за обедом. «И это меня сгуби-

ло,— пишет Иванов,— но выяснилось это довольно-таки много времени спустя».

Свидания влюбленных происходили по всем канонам советского романтического ухаживания. Долгое время Рая не разрешала «Михаилу» целовать себя:

но я не настаивал. Но, в конце концов, она сама меня поцеловала, я ей подарил цветы, и потом стали целоваться все время, но дальше этого дело не шло. Рая была девственной, и все мои попытки привлечь ее к себе и потрогать или пощупать руками успеха не имели, а на скандал нарываться не хотел.

Потом начались ссоры, но «Михаил» был по-прежнему увлечен: «Мы стали с Раей скандалить по делу и без дела, но меня все равно тянуло к ней».

Во время этого «невинного» ухаживания «Михаил» занимался сексом с подругой Раи. Морализируя впоследствии о поведении своей матери и первой жены, он описывает собственные добрачные сексуальные похождения в нейтральном и безоценочном тоне. Подруга Раи рассказала ему, что в действительности в таких делах Рая была куда более опытной, чем хотела казаться, но «Михаил» отказался верить этим сплетням. Кроме этого, он ходил к знакомой своей матери, которая работала в общегитии и поставляла ему девушек. «Девушка знала, зачем ее привели сюда, и без слов и прелюдий или обнажалась, или просто снимала с себя трусики». Нам не разъясняется, платил этим девушкам «Михаил» или нет. Упоминается лишь, что женщина, организующая эти встречи, рассчитывала на его сексуальные услуги, в чем ей было отказано.

Если первоначально Рая производила на «Михаила» благоприятное впечатление, то ее мать с самого начала воспринималась им как интриганка и движущая сила домашней жизни. В автобиографии Иванов признает ее способности устраивать дела, но в то же время его отталкивали ее сексуальные аппетиты и настойчивое желание заполучить его в качестве зятя; он даже обвиняет ее в колдовстве с целью приворожить его. В один из вечеров во время ухаживания она напоила «Михаила» и Раю и уложила их спать вместе. По словам Иванова, таким образом Раина мать подвела его к тому, чтобы он лишил ее дочь девственности, после чего был обязан на ней жениться. В другой раз он обнаружил, что погреб Раино дома ломится от вина, водки и спирта. Мать Раи объяснила, что это подготовка к свадьбе: «Я еще думать не думал о женьтибе, а меня уже женили».

В конце 1950-х «Михаил» женится на Рае и переезжает в дом жены и ее семьи. Проблемы обострились после рождения второго ребенка, когда Рая, следуя материнскому примеру, стала курить, пить и без стеснения рассказывать о своих любовных связях на стороне.

Она знала, что я не люблю, когда женщины курят и пьют вино, но позднее [ее подруга] научила курить и Раю, и они стали на пару курить и выпивать, и это было начало конца нашей семейной жизни (забегая вперед, говорю и пишу).

«Михаил» почувствовал себя в западне:

Я открыто обвинял тещу. Я ничего не мог с собой поделать. Я не мог бросить детей, разрушить семью, и я терпел до поры до времени, я говорил: «Это ты меня женила на дочке, зачем ты меня приворожила к ней, зачем?» И ей нечего было мне ответить... И я все чаще стал подозревать в измене мне... Мне все осточертело: работа, семья, но семью надо сохранить ради детей. Работу можно сменить. И, тяготясь работой... взял расчет и перешел работать в такси.

И опять мы видим, как перемены в общественной жизни позволили «Михаилу» осознать возможность контроля над его общественной жизнью. Ранее это было связано с учебой и службой в армии, теперь — с переходом на новую работу. Однако в личной жизни напряжение продолжало нарастать. Пиком стало известие о том, что Рая опять беременна, и у «Михаила» возникли серьезные сомнения по поводу отцовства:

Я, да и теща, ничего не знали об этой беременности. Узнали, когда живот был заметно большой. Все происходило молча, опять же никто не знал, что он сделает. Мы стали ждать третьего ребенка, и от кого, я не знал. Теща говорит: «Вот, мол, наебал ей ребенка, и не знаешь, ты ли...» Я говорю: «Вот родит — увидим».

Для легального аборта уже было слишком поздно; все обычные ухищрения Раи «избавиться самой» на этот раз тоже не помогли. Ребенок родился мертвым и, по всей видимости, с какой-то патологией — «Михаил» так никогда и не узнал деталей. После серьезного разговора с «Михаилом» врач не стала поднимать шум по поводу вреда, причиненного мертворожденному младенцу:

...родила она его уродом, и ее обвинили в криминальном аборте. Об этом мне сказал врач, когда при выписке пригласил меня на собеседование. Врач-женщина долго меня расспрашивала про нашу жизнь,

про наши отношения. Она поверила, что я ничего не знал, и я сказал ей, что не был против еще одного ребенка — ведь есть же многодетные семьи, и материально мы жили неплохо. И тогда врач не стала возбуждать уголовное дело, она так и сказала, хоть криминал и был налицо. Видимо, и Рая созналась в этом.

Когда Рая лежала в больнице, оправляясь после трагических родов, «Михаил» снова начал вовлекаться в многочисленные сексуальные связи.

Спустя несколько лет после этой истории первый брак «Михаила» распался, а вскоре он женится во второй раз. В новой семье ему удастся окончательно вырваться из сетей «беспутной жизни» — это выражение используется им самим при объяснении причин преждевременной смерти матери. В тридцатилетнем возрасте осев в центре Ленинграда, утвердившись в профессиональной сфере и, наконец, обретя семью с «нормальными» отношениями, Иванов определяет себя в качестве полноценного представителя советского среднего класса.

Секс «с чувствами» и секс «по блату»

Автобиография Иванова наполнена описаниями и упоминаниями о сексуальности как о механизме обмена, который проявляется в двух формах: в виде сексуального блата и в виде проституции. Отношения блата представляют собой промежуточную форму между отношениями дарения и обмена, коррупцией и дружбой (см.: Ledeneva 1998). Проституция в данном случае означает более организованный обмен сексуальными услугами за деньги в системе, включающей сутенеров, определенные пространства, контактные лица и т.д. Конечно, во многих случаях граница между сексуальным блатом и проституцией оказывается размытой.

На уровне горизонтальных связей отношения блата эффективно действовали в дружеских кругах, по вертикали блат реализовывался в связях между разными социальными классами или различными ступенями социальной иерархии, в особенности служебной. Так, например, Иванов описывает отношения блата в мире таксистов:

Я никогда не подозревал, что в такси все решают деньги, всем надо давать и за все платить деньгами. Получается, что ты от всех зависишь. Особенно от диспетчеров, и особенно от центральной службы.

Здесь слово «деньги» не означает открытое взяточничество. Это становится ясно в эпизоде о том, как «Михаил» после окончания

рабочего дня идет в диспетчерскую, чтобы поблагодарить одну из женщин-диспетчеров, которой он был обязан выгодными заказами в течение всего дня:

Я решил отблагодарить свою телефонистку, купил торт, коробку конфет и приехал на канал Грибоедова, где была эта служба, и меня чуть не подняли на смех. Потом я выяснил, что надо было брать выпить что-нибудь и сигареты, хотя бы болгарские.

Иванов, видимо, сам не был клиентом проституток и описывает проституцию на основании косвенного знания. Например, он рассказывает о пожилой женщине, живущей с ним по соседству в доме, куда они въехали в 1960-е годы. Она имела отношение к судебному разбирательству по поводу подпольного борделя.

Потом стало известно, что у нас в городе много публичных домов. Особенно плотно я с этим столкнулся, работая в такси. Но это произойдет не скоро, через 10 лет, а пока что закончилась одна часть моей жизни.

Работая таксистом, «Михаил» часто встречал женщин, предлагающих себя в качестве оплаты за извоз (от чего, по его словам, он отказывался). Попадались ему и мужчины, рассчитывающие с его помощью «достать женщину и водки»:

Когда я говорил, что я не знаю, где это взять, мне не верили, что у меня нет водки или вина и что я не веду знакомств с проститутками. Но это было так. Прошло много времени, пока я не проник во все тонкости работы таксиста.

Держась от проституции в стороне⁴, «Михаил» тем не менее часто оказывался звеном в цепочке продажного секса или непосредственным свидетелем блата в сексуальных отношениях. Например, в рассказе о своей работе шофером в одном исследовательском институте Иванов упоминает, как он столкнулся с В. П., «директрисой» этого учреждения. Они договорились встретиться после ра-

⁴ Как пишет Иванов, сегодня он не пользуется услугами проституток из-за нехватки денег, подразумевая, что, в общем, был бы не против. Я, однако, подозреваю, что этот комментарий является, скорее, выражением мужской риторики, чем глубоко прочувствованным возможным решением трудностей с нахождением сексуальной партнерши, испытываемых им сейчас. К тому же, ближе к концу автобиографии Иванов подчеркивает, как важна для него нежность и эмоциональная близость с партнершей.

боты и в итоге провели вместе ночь. Вскоре после этого «Михаила» вызвали в ее кабинет:

И мне было однозначно сказано, что если я буду хоть иногда уделять В. П. внимание в сексуальном плане, то я займу приличное положение в обществе и на работе. Вместо ответа я обнял ее за плечи, прижимая ее к груди, и наши рты слились в едином страстном поцелуе.

Хотя Иванов не склонен морализировать по поводу собственных походов до брака или последующих внебрачных связей, сексуальные отношения «ради блата» порицаются им и описываются в негативном тоне. Любопытно, что это не касается его собственной сексуальной жизни: напротив, он открыто признает полученные в результате выгоды и, по всей видимости, не сожалеет о происшедшем. Осуждение связано с психологическим дискомфортом и социальной стигмой, возникающими в итоге таких отношений:

Но ее это устраивало, и в какой-то мере и меня тоже — сыт всегда, не надо думать о хлебе насущном, и машину новую дали, зарплату повысили, да еще директриса оформила по совместительству в столовую. Вот так удачно секс повлиял на мою карьеру и жизнь. Но так долго, конечно же, продолжаться не могло: мне надо было устраивать свою жизнь...

Работа меня устраивала, приходилось уделять ей внимание, но никаких перспектив — ведь не женюсь же я на ней, она старше меня на много, у нее дочка уже большая. Ну, пока она держит себя в форме, а дальше — то сколько это может продолжаться, ведь со старухой не больно-то приятно, но сексуально я продолжал ее удовлетворять, и она в долгу не оставалась, вот и выходит, что я был проститутком.

Отношения прекратились, когда директрису, пойманную на финансовых махинациях, уволили («на счастье мое и на несчастье ее»). «Михаил» лишился возможности подрабатывать, однако у него появилось больше хорошо оплачиваемых заказов на дальние рейсы. Несколько позже ему предложила вступить в интимные отношения одна из сослуживиц. Когда же он попытался отказаться — «как же без любви?» — она дала понять, что «если я хочу иметь хорошие рейсы и хорошую халтуру, то иногда должен буду уделять ей внимание. ... Так второй раз секс повлиял на мою работу. Так продолжалось еще два года».

Конечно, мы не можем с достоверностью говорить о том, что все эти женщины, вступающие в отношения блата, на самом деле действовали так, как это описывается в автобиографии Иванова. Однако не исключено, что эти эпизоды имели место в действи-

тельности. Подобная расстановка сил в сексуальных отношениях встречалась, несомненно, гораздо реже, а секретность и стигма, сопровождающие отношения блата в целом, а сексуального блата в особенности, в случае домогательства со стороны женщины достигали наивысшей точки. Как мужчина, Иванов мог оправдать свои отношения, ссылаясь на такие ценные маскулинные характеристики, как собственный талант любовника и привлекательность женщин, желающих вступить с ним в связь⁵. В то же время Иванов передает двойственные чувства и ощущение утраты контроля над собственной жизнью, вызванные продолжающимися отношениями блата.

Вторая история сексуальных отношений на рабочем месте и рассказ о неудавшемся фиктивном браке его родственницы являются примерами горизонтальных отношений блата между коллегами или друзьями. В обоих опытах сексуального блата на службе самой серьезной проблемой для «Михаила» было не получение выгоды, а отсутствие чувств между партнерами. Представитель поколения, родившийся в довоенное время или сразу после окончания войны, Иванов типичен в своем восприятии секса без любви как нежелательного (Роткирх 2002, Rotkirch 2000, 144—177). После знакомства со второй женой он отказывается от всех отношений на стороне во имя любви и верности. И когда одна из коллег по работе пытается его соблазнить, он замечает, что

уже не мог торговаться со своей совестью, я полюбил К. и не мог ей изменять, даже с теми, от кого зависел, теперь я не мог заниматься сексом без любви. Это проститутки, занимаясь сексом, получали вместо любви деньги и подарки.

В 1996 году он пишет, что воспринимает как награду нечастые свидания с женщинами моложе его, потому что они дают ему «чувство того, что еще кому-то нужен» и доставляют «неописываемое удовольствие и гордость».

Потребность Иванова в моральном оправдании прочитывается также в историях отказов от услуг проституток или других видов случайного секса. Так, в дальних поездках он немного подрабатывал, подвозя голосующих на дороге, и, по его словам, женщины

⁵ Советской женщине было бы гораздо труднее представить (зло)употребление властью и сексуальную инициативу как часть общепринятой женственности. Мария Арбатова в автобиографическом рассказе «*Мои учителя*» описала вызов, который в 1970-х годах бросала обществу сексуально автономная москвичка (см.: Арбатова 1997).

часто предлагали ему себя в качестве оплаты. Однако Михаил в основном отказывался, опасаясь венерических заболеваний, кроме того, по его словам, «секс в дороге меня не очень прельщал».

В случае Иванова восходящая социальная мобильность связана с отрицанием «беспутной жизни» и созданием «нормальных» семейных отношений. Культурный разрыв между нищим рабочим классом и средним классом, между советскими общественными институтами и неудовлетворенностью в частной сфере вылились в чувства одиночества, амбивалентности и недостатка контроля над жизнью.

В своем исследовании, посвященном рабочим XIX века, Мэри Мэйнс выявила образ мужской самопрезентации, в котором сексуальная сдержанность приравнивалась к наличию самоконтроля и возрастающей социальной мобильности (Maynes 1995). Сходной логике следует и жизнеописание Иванова, обнаруживая противоречивое сочетание двух сосуществующих концепций советской мужественности.

Мужик или рыцарь?

В жизнеописании Иванова употребляются два практически взаимоисключающих представления о мужественности — уличный грубиян, или «*мужик*», и благородный, рыцарский, «*ответственный мужчина*»⁶. «Мужик» — порождение той социальной среды, в которой вырос «Михаил». В автобиографии эту категорию символизирует Леха, лучший друг детства автора. Иванов рос одиноким ребенком, страдающим ревностью, «меня вообще никто не любил как мальчика». Эта тема повторяется в тексте несколько раз. В юношеские годы Леха стал для него тем, кто «во всем мне помог». Идеализированный «Михаилом», Леха первым рассказал ему, что нужно делать с девушками и обучил основному сексуальному словарию. Кроме того, у Лехи был аналогичный опыт отношений инцеста с матерью (и с сестрой), и, в отличие от «Михаила», он рассказывал об этом безо всякого стыда. Этот персонаж представляет грубого, сексуального мужчину-самца, который не пропустит «никого, кого можно трахать».

Интересно, что нигде в тексте Иванов открыто не осуждает идеал «мужика», хотя и рассказывает нам, как он стремился отда-

⁶ Подробнее об этих двух типах см.: Здравомыслова, Темкина 2002; Бараулина 1997.

литься от грубых нравов своего детства. В его тексте подчеркивается важность любви и взаимности в сексуальных отношениях. Это противоречие бросается в глаза, хотя оно не проговаривается и не комментируется Ивановым. Леха фигурирует в автобиографии, в первую очередь, как лучший друг Иванова. Сам же «Михаил» ведет себя как *мужик* только в редких случаях, чаще всего изображая себя как пассивного, незащищенного человека, являющегося объектом соблазнения. Однажды на закате первого брака на какой-то буйной вечеринке он увидел голую молодую женщину, и «одна мысль сверлила меня: как бы ее трахнуть». Но даже в этом случае он оправдывает свое поведение фразой самой девушки, которая легитимировала его супружескую неверность словами: «У вас все равно теперь нет нормальной семьи, каждый сам по себе». Вместе с тем, продолжая рассказ о все том же сабантуе, он отмечает: «Но я ни в кого не влюбился, а так, без любви, у меня не было желания сблизиться ни с кем, у меня даже не было к ним влечения».

Подобное противоречие проявляется и в осуждении Ивановым порнографических журналов. Сначала он неодобрительно отзываясь о чересчур свободных моральных установках своей первой жены. На появление дома импортных презервативов и западных порнографических журналов «Михаил» реагирует следующим образом: «Убери, я не хочу смотреть на голых баб, а уж если и смотреть, так не на картинки». Однако в рассказе о более позднем периоде жизни мы узнаем, что порнографические журналы есть в доме, и проблема только в том, как их спрятать от детей.

Второй, противоположный идеал мужественности вырастает из представлений советского времени о романтическом ухаживании и семейной жизни и рисует образ «ответственного мужчины». Эти каноны были разработаны в 1930-х и 1940-х годах и представляли стиль жизни зарождающегося советского среднего класса (Dunham 1976). В конце биографии Иванов формулирует суть этих представлений: «Сохранение семьи — одна из актуальных проблем современности». Подобная декларация в общем контексте автобиографии звучит как заголовок газетной статьи, как прямая цитата из лекции «эксперта» — психолога или педагога.

Представления «Михаила» о самом себе более приближены именно к этому идеалу ответственного мужчины-рыцаря, образы которого впервые появляются в его жизни в студенческие годы. Они появляются вновь и позже — во втором браке «Михаила». В этой семье его жену смущали разговоры на сексуальные темы, и «Михаил» сам должен был отвечать на вопросы любознательного сына.

Родители заботились о том, чтобы ребенок не стал случайным свидетелем их интимной жизни: не показывались перед ним обнаженными, осторожно занимались любовью, прятали эротическую литературу и журналы. «Михаил» объяснял ребенку, что только муж и жена могут мыть друг друга в ванне. Когда родители случайно обнаружили у ребенка эротические книжки («какой-то бульварный секс») и презервативы, они не стали укорять и читать нотации, ограничившись лишь расспросами.

«Мужик» и «рыцарь» различаются настолько, что напоминают классическую женскую дихотомию между блудницей и мадонной. Тем не менее в одном эти противоположные мужские идеалы схожи: в обоих случаях предполагается, что ситуация контролируется мужчиной. В этом жизнеописании «мужик» и «рыцарь» по-разному реагируют на угрозу женской безнравственности и материальной бедности. Если «приличный» человек — положительный рыцарь-герой — «владеет» собой и потому «владеет» ситуацией, то для «мужика» характерна немедленная и жесткая ответная реакция человека, для которого использование силы — это единственная возможность удержать контроль над ситуацией.

В автобиографии Иванова самопонимание героя остается неоднозначным, хотя противоречивость принципов прямо не обсуждается. Ближе к концу повествования «Михаил» описывает ссору с женой: она недовольна тем, что он разглядывает молодых девушек на улице, он же в ответ укоряет ее за нежелание заниматься любовью и замечает (снова с очевидной отсылкой к популярной педагогической литературе), что «сексуальные отношения формируются в семье, кто как растет, воспитывается, что и как видит человек в своей семье, в своей среде». Жена парирует, замечая, что, глядя на его поведение, действительно каждому понятно, в какой среде он вырос, и рассказывает, что ей стало известно о его предыдущих сексуальных отношениях. За этим откровением жены следует кредо автобиографии Иванова, суммирующее его чувства боли и собственного бессилия в отношении к (женщинам в) семье:

Говоря это, она не понимала, что я рос в такой среде, среди женщин, девчонок, которые, не стесняясь меня, были голые, мылись со мной, вернее, я с ними, в бане, что я спал с матерью, которая была молодая и не чуралась мужчин. Я не был виновен, что она положила меня на себя, делая меня мужчиной, и потом, моя мать не могла и не хотела отказать себе в половом удовольствии, и она не обращала внимание, кто был рядом с ней в тот момент... Так что не надо меня упрекать теперь. И потом, в дальнейшем, вся моя жизнь пошла в какой-то сек-

суальной зависимости, и при том всем я редко домогался женщин, женщины домогались меня, и что, если это им удавалось?

При таком объяснении оказывается, что жизнь «Михаила» целиком зависела от его «среды»; в том, что произошло, его собственной вины нет, все было неизбежно. Жизнь прошла под знаком «сексуальной зависимости» от женщин. И именно женщинам (матерям, женам и т.п.) вменяется ответственность за неспособность обеспечить действие практик, призванных создать «приличную» жизнь.

«Похоть-злодейка» предпринимателя Лукашина

Алексей Лукашин, сначала — студент-медик и рок-музыкант, впоследствии — тренер, массажист и, наконец, предприниматель, работающий в области индустрии развлечений, родился в 1960 году и был вторым сыном в семье. Как и Иванов, он вырос в бедной семье и воспитывался матерью-одиночкой. Мальчик проводил много времени со старшим братом. Из его рассказа мы узнаем, что еще в начале обучения учителя махнули на него рукой: единственным человеком, обращавшим внимание на его школьные успехи, был учитель физкультуры. Правда, именно этот учитель с «налившимися кровью глазами и баскетбольным мячом» однажды гонялся за «Алексеем» вокруг школы после его очередной хулиганской выходки.

В детстве «Алексей» и его друзья немного занимались спортом («самое светлое, что и сейчас иногда снится, это хоккей»), но в основном просто «шатались» вместе. В этой биографии идеал мужественности не вызывает сомнений: здесь много кулачных боев, поножовщины, даже драк с огнестрельным оружием. Герои повествования веселятся, пьют и развлекаются с девушками. С самого начала личность героя строится не через отношения к семьям — собственной или чужим, — а через участие в мужской компании ровесников:

Брат во всей округе был в почете. Дрался очень хорошо. Я старался не отставать от него... Когда возникала необходимость, участвовал в баталиях, когда можно было, гулял вместе с ними в компании с девчонками.

Девушки, которых далее в тексте автор называет «красавицами», фигурируют исключительно в качестве сексуальных объек-

тов, циркулирующих в мужских кругах. Перед нами предстает мир «мужиков», в котором слово «любовь» употребляется только в кавычках, семья и дети — чужие вещи, а рыцарский дискурс присутствует для того, чтобы высмеять или противопоставить ему действительно мужское поведение.

Автобиография начинается с описания «свидания», которое многие назвали бы групповым изнасилованием:

Это было давно. Лет 20 с лишним назад. Мне было около 15 лет. Я был смышленным, шустрым малым. Физически крепким, не по годам. Дружил с одноклассником, но также и с ребятами старше себя года на 3—5.

Первая близкая встреча с женщиной произошла в подвале. Мой старший брат привел какую-то девчонку. Вместе с его друзьями напились и потом все ее трахали. Наверное, десятая очередь дошла до меня. Я очень сильно волновался, переживал все, стоя в очереди. Старшие друзья меня успокаивали, подбадривали. Тебе, говорят, и делать ничего не надо будет. Штаны сними, и все... Когда я зашел, она лежала на полу, курила сигарету. Я, чтоб скрыть свой мандраж, повел себя нагло (как большой), без лишних слов снял штаны. Четко следовал инструкции. Лег на нее. Физически почувствовал ее тело, вихляние, какой-то для меня незнакомый запах. Ощущение близости всего этого подняло мое беспокойство на качественный новый уровень. У меня затряслись ноги. Но я, как бульдозер, ничего не замечая вокруг, действовал... Вяпался. Было очень там сыро... После этого быстро на выход — и домой. Дома помылся, лег в постель. Меня всего трясло от восторга. Прележал я недолго. Вскочил, оделся — и в подвал, но там, увы, уже никого не было.

Это первый эпизод в сексуальных мемуарах Лукашина. Ни одна из сотен других сексуальных встреч не описывается настолько подробно. В воспоминаниях о первом половом акте присутствует множество описаний чувств и ощущений (запахи, неуверенность, дрожь, восторг), далее он ограничится простым перечислением фактов (партнерши, их оценки, позиции, использованные при половом акте, общие впечатления от сексуальной победы). Тем не менее стиль описания сцены в подвале во многих отношениях типичен для всего текста.

С одной стороны, автор действительно прилагает значительные усилия, чтобы вспомнить детали, но, с другой стороны, использует шуточный, анекдотичный тон, который часто служит для приуменьшения значимости событий и создания дистанции между событиями, происходящими в тексте, и читателем. В постскрипуме к автобиографии автор шуточно предлагает «подроб-

ную информацию и дополнительные консультации за дополнительную плату». Частые упоминания смеха — с ребятами или при первом флирте с девушкой — одна из самых приятных личностных черт автора.

С другой стороны, Лукашин совершенно очевидно полагает, что читатель ждет от него историю сексуальных эскападов в жанре «Письма к читателю» в порнографических журналах⁷. Лукашин с явным удовольствием вспоминает некоторые наиболее успешные или необычные приключения, но опускает другие: «Многое я упустил сознательно, а многого, думаю, просто не помню». Некоторые темы, как, например, отношения в семье или религиозные взгляды, рассматриваются как не уместные в данном контексте («это другая история»). Таким образом, уже самой своей структурой рассказ выделяет «секс» из общей сферы интимных отношений — подход, едва ли возможный для поколения таксиста Иванова.

Рассказ о первом сексуальном опыте Лукашина представляет впечатляющий пример типичных для периода позднего социализма «моральной серой зоны» и амбивалентности по отношению к сексуальным нормам (Zdravomyslova 2001). Наверняка было еще много случаев, подобных инициации Лукашина, в которых ни обидчики, ни сама жертва не имели четкого представления о том, как называть, как реагировать или в каких терминах впоследствии интерпретировать происшедшее. Такие практики порождают интенсивные и противоречивые чувства, для которых, очевидно, не находится адекватных и устойчивых рамок интерпретаций. Лукашин рассказывает о второй встрече с «девушкой из подвала». Его первой реакцией было — «конечно» — чувство вины:

Вот так произошла первая близкая встреча с женщиной. Кстати, она меня запомнила (хотя в подвале было темновато). Мы встретились как-то месяца через два вечером на улице. Я ее не узнал, просто две девушки спросили закурить, разговорились. Одна потом ретировалась, а вторая предложила покурить в другом месте — им оказался чердак, и даже благоустроенный, там был диван. Сели, закурили и вот тут-то она мне напомнила историю, которая была в подвале. Я, конечно, сначала в отказ, но она меня успокоила, что никаких претензий

⁷ Похоже, что автор проигнорировал указания к написанию автобиографии, представленные в объявлении о конкурсе (начать с самого раннего детства, писать о любви и половой жизни, писать как бы обращаясь «к лучшему другу», высказать свое мнение по поводу различных феноменов, таких, как, например, гомосексуализм и проституция).

не имеет, сама виновата и т.п., ну, а я ей понравился. Я присмотрелся, она лет на десять старше была.

В этот раз они занимались сексом дольше и разнообразнее. Ретроспективно этот *второй* сексуальный опыт Лукашин — шутя — называет изнасилованием... себя:

После того как я был изнасилован (это я сейчас понимаю) подружкой брата на чердаке, жизнь моя приобрела другие краски. Я как-то резко изменился. В голове моей проснулось что-то такое, что сводило с ума.

Вскоре «Алексей» пригласил одну девушку домой и силой, до боли выламывая ей пальцы, заставил ее раздеться. Девушка согласилась, но с условием, что полового акта не будет. После этого они часто встречались и занимались взаимным петтингом, по всей видимости, безо всякого принуждения с его стороны (во всяком случае, в автобиографии нет упоминания этого). Когда «Алексей» стал настаивать на половом акте, девушка пообещала привести ему для этого подружку. Через некоторое время в кругу друзей появилась новая девушка:

Не знаю, что она ей наговорила, но я с новенькой довольно легко исчез из компании на стройку в строительную будку. Там не помню, о чем говорил, но она спокойно дала себя раздеть и мне лечь на себя.

Обнаружив, что девушка — девственница, «Алексей» занервничал, поскольку не знал, как справиться одному, без помощи партнерши. К тому же на улице у вагончика уже стояла очередь из других желающих. «Все кончилось тем, что мы оделись и я ее проводил до дома, что со мной крайне редко бывало и бывает. Друзья, конечно, остались недовольны».

Очевидно, что «Алексей» спас эту девушку от такого же группового изнасилования, как тогда в подвале. Описывая свое благородное поведение, он использует риторику «выпячивания собственных недостатков», подчеркивая, что практически никогда не следовал основному правилу советского романтического ухаживания, требующему, чтобы мужчина провожал женщину домой. Отношения закончились довольно быстро: «Алексей» и девушка занимались сексом «еще пару раз, и она пошла по рукам».

Описания женщин, видов секса и мест сексуальных встреч в течение следующих пятнадцати лет продолжают до последней страницы повествования, где Лукашин несколько неожиданно

признается, что в действительности устал от всего этого: «Секс для меня давно уже потерял свою актуальность». В тридцать пять лет он не имеет ни семьи, ни определенного профессионального статуса. На момент написания биографии он жил с женщиной, мечтавая тем не менее найти совершенную, «гармоничную женщину», работал предпринимателем, одновременно заканчивал учебу и надеялся, что в его жизни «лучшее еще впереди».

Хотя социальный статус Лукашина нельзя назвать определившимся, его социальная траектория представляет модель, отличную от образца предыдущего поколения. Это становится очевидным в отношениях между сексуальной моралью и социальным успехом, а также в его отношении к женщинам и идее семьи.

Попытки социального восхождения

Первоначально жизненный путь Алексея Лукашина следует той же логике, что и жизнь Михаила Иванова: наводя порядок в своей жизни и начав учиться, молодой человек стремится вырваться из социальной среды своего детства. В конце 1970-х годов «Алексей» отслужил два года в армии, где старался все свободное время

максимально использовать в плане развития своих интеллектуальных и физических качеств. Это дало свой результат. После службы, когда я приехал, все находили меня совершенно другим. Я не пил, не курил, говорил о жизненно важных целях.

Однако драматичное разделение и противопоставление сфер жизни в случае Иванова (домашняя среда/студенческая среда, беспутная семейная жизнь/ответственное поведение на работе) не имеют параллелей в случае Лукашина. Например, несмотря на то что, по свидетельству «Алексея», служба в армии способствовала росту его интеллектуальных амбиций, он отмечает, что «в армии мои каменные мышцы начали сохнуть, в душе появились равнодушие и апатия».

Если Иванов вернулся к прежнему беспорядочному стилю жизни и утрате самоконтроля в первом браке, то Лукашин отказался от своих планов на высшее образование, чтобы поработать несколько лет с гастролирующей рок-группой. У «Алексея» с женщинами было меньше проблем, чем с пьянством, но общая логика — женщины и алкоголь против социального роста и контроля над собственной жизнью — доминирует в начале жизнеописания.

Интересная работа представляется средством избегания принятого им стиля личной жизни:

В то время, чтобы как-то отвлечься от женщин, я активно искал себе поинтересней работу. Хороший знакомый администратор от эстрады предложил позвонить в организацию одного областного центра от него. Я это сделал и получил предложение на роль оператора по свету в рок-группу, в то время более-менее известную. Суть не в этом, а в том, что она карусила по Союзу регулярно.

Жизнь на колесах оказалась еще более насыщенной разнообразными сексуальными приключениями, и «Алексей» снова начал пить и курить, обвиняя в этом встречу со старшим братом в одном сибирском городе, — ясно, что это радостное событие было немислимо без обильных алкогольных возлияний. У него было столько романов, что в группе его прозвали «специалистом по бабам», и он «с девушками серьезно помогал всем остальным». Но дорожная жизнь была изнуряющей. «Часть здоровья я оставил на гастролях, и поэтому была серьезная необходимость в восстановлении прежних сил. Пить, курить бросил, начал ходить в атлетический зал». Через пару лет он оставил рок-группу и начал учиться. Сбалансированный и здоровый образ жизни не мешал «Алексею» иметь параллельно несколько сексуальных связей и заниматься фарцовкой. Когда одна из его подружек забеременела, он женился на ней. По всей видимости, девушка относилась к его поведению, включая его измены во время свадебных празднований, с олимпийским спокойствием.

Но вскоре времена начали меняться, и хотя Лукашин не упоминает о политических и социальных факторах, но вряд ли было простым совпадением то, что он закончил учиться как раз в разгар перестройки в конце 1980-х годов. Он бросил медицинский институт и отказался от врачебной карьеры в сфере феминизированной профессии, низко оплачиваемой в советское время и одной из самых малоодоходных в 1990-х годах. Вместо этого он приобрел менее требовательную квалификацию массажиста. Уже на его первом рабочем месте все закрутилось снова. «И поехало, сначала в кабине. Потом у них дома, на работе. Приходилось трахать и в исполкоме, и в ЗАГСе перед чьим-то бракосочетанием и так далее». В это же время он развелся с первой женой, которая, по его мнению, была слишком «вялой». Следуя классической советской схеме кратких первых браков, ребенок при разводе автоматически остался с матерью, им же досталась квартира, а вновь холостой мужчина переехал в комнату в коммунальной квартире.

«Алексей» предпринял еще одну попытку встать на ноги. По знакомству он получил временную работу спортивного тренера. Он пишет о том, что «не пил, не курил и был в хорошей форме. <...> Где-то полгода я приходил морально в себя. Ни секса, ни каких-либо дел не было. Весь в работе». Правда, в следующем абзаце говорится, как «наиболее интересные девушки-туристки получали полный комплекс удовлетворения» и что отказ получали только местные, хотя те тоже старались его соблазнить.

Той же зимой он пролистал свою записную книжку и позвонил знакомому, который устроил его массажистом в новую частную сауну. В этом месте логика жизнеописания, уже знакомая по тексту таксиста Иванова, рушится. Для Лукашина социальное восхождение уже не равносильно усвоению и следованию моральным нормам (советского) среднего класса. Стремление повысить уровень благосостояния, сменив работу тренера в государственной структуре на менее квалифицированную, но гораздо выше оплачиваемую работу массажиста в частном секторе, привело к тому, что его профессиональная и сексуальная жизни оказались связаны между собой еще прочнее, чем раньше. Гастролируя с рок-группой или работая тренером, «Алексей» тоже вступал в многочисленные сексуальные связи, но все это происходило по его собственному выбору и как дополнение, необязательное приложение к работе. Смена профессии была «психологически сложным переходом из образа тренера в образ чуть ли не банщика. Но надо было жить и как-то себя обеспечивать. Помощи ждать было неоткуда». Хотя

трахаться мне приходилось иной раз несколько раз в день. Естественно, с разными девушками. Все завертелось, закружилось... я начал выпивать, курить. Эта вакханалия продолжалась около трех лет. Вообще я старался как-то регулировать этот процесс.

Природа сексуальных отношений в сауне не ясна — Лукашин говорит, что большинство его клиенток были проститутками, хотя его услугами пользовались также несколько богатых замужних женщин, однако кто кому платил и какого рода обмен любезностями или услугами имел место, не говорится. Ничего не рассказывает автор и об отношениях с клиентами мужского пола, хотя и намекает на предложения, поступавшие с их стороны: «И боже вас упаси подумать, что я удовлетворял всех тех, кто раздвигал ноги. Нет. И еще раз нет. Еще и по этой причине вокруг меня было целое облако всякой всячины: голубой, розовой и т.д.».

Таким образом, в рассказе Лукашина общественная жизнь и советские институты не представлены в роли стабилизирующих и

спасительных структур. Семья тоже не спасает: если у Иванова сформировалось четкое стремление к «нормальной» семейной жизни, приносящей избавление, то у Лукашина такое стремление менее артикулировано («найти гармоничную женщину») и откладывается на далекое будущее. Семья и работа, профессиональная и личная жизнь «Алексея» тесно сплетаются: работа в одной из новых коммерческих структур постсоциалистической России не только не помогла ему избежать поведения, воспринимаемого им самим как проблематичное, но и эксплуатировала и поощряла это поведение. Возможно, циничная эксплуатация его тела работодателями и клиентурой частично объясняет отчетливо выраженное циничное отношение «Алексея» к женщинам.

Женоненавистничество и мужская солидарность

В своих мемуарах Лукашин настойчиво рисует портрет мужчины, единственная цель которого — «трахать женщин». В тексте можно найти лишь пару исключений, в которых «Алексей», например, замечает, что, «кстати, тоже испытывал к ней серьезное большое чувство». Или что он был разочарован, когда после одного свидания «удовлетворена была только похоть, а что так, по-человечески, с расстановкой и размахом, не получилось». Гораздо чаще автор сообщает, что «случка прошла с оценкой удовлетворительно. В принципе мне пар был спущен, а ее мнение не интересовало». Нерешительность или активное сопротивление женщины при занятии сексом всегда оценивается с очевидным презрением. Например, нам рассказывается, как однажды «Алексей» с другом познакомились на рок-концерте с женщиной, напоили ее и оба переспали с ней. То, что это произошло не по ее воле, становится ясно из заключительного предложения: «Утром мы с ней расстались не то чтобы друзьями, но и не врагами». В другой раз они с другом познакомились с женщиной в баре гостиницы и пригласили ее к себе в комнату. Когда она собралась «как бы на выход», «Алексей» попросил ее остаться:

Начался какой-то бред с ее стороны по поводу того, что она честная девушка и так далее. Я-то понимал, что просто мало выпито, и, конечно, не скупился на выпивку. Морально я уже устал, но похоть-злодейка лезла наружу. Наконец она стала меньше говорить и больше отвечать на мои ласки... С девушки как ветром сдуло всю начитанность, воспитанность, манеры, которые изначально исходили от нее как от образца воспитания.

Лукашин пишет, что женщине настолько понравилась ночь, проведенная с двумя друзьями, что на следующий вечер она привела с собой подругу, и они занимались сексом вчетвером. Но, несмотря на чувства женщины, «Алексей» с глубоким презрением высказывается о том, как они договаривались⁸, а особенно о ее образовании и хороших манерах. Сексуальность, а в особенности дикий и смелый секс (как, например, групповой секс с незнакомыми людьми) здесь представлены как естественный порыв, проявляющийся у обоих полов под воздействием алкоголя. Сопротивление образованных женщин сексу есть не что иное, как искусственное и лицемерное поведение. Такая логика знакома многим по порнографическим и эротическим текстам, в частности по книгам Генри Миллера: сексуальность в данном случае «естественна», «внутренне присуща», «животна». Такая интерпретация сексуальности призвана «поставить на место» и унижить прежде всего тех женщин, которые, обладая образованием и амбициями, способны социально конкурировать с мужчинами. Мир «животной сексуальности» Лукашина крайне далек от мира Иванова, в котором женщины воплощают не только сексуальные, но и основные социальные и воспитательные функции.

Женоненавистничество Лукашина сосуществует с сильными гомосоциальными связями. Мужская компания для него выступает в качестве главной референтной группы. Лукашин часто отмечает, что благодаря его физической силе, храбрости и успеху у женщин, многие мужчины относились к нему с уважением и страхом. В годы его юности в той среде, к которой он принадлежал, грубость и готовность к дракам являлись образцом мужественности (Zdravomyslova, Chikadze 2000). Кроме того, мужское общение сопровождалось распиванием спиртных напитков в больших дозах. Лукашин описывает забавный случай мужского братства, когда он утешал своего начальника, заставшего «Алексея» в постели с женщиной, за которой ухаживал начальник:

Начальник начал кричать, махать руками, брызгать слюной о том, какие мы негодяи. Он, порядочный, интеллигентный человек, с ней, оказывается, ужинает в ресторане, провожает до номера, только что сказку не читает перед сном... а она, ну и так далее. Я стоял спокой-

⁸ То, что, по мнению мужчин, может быть рассмотрено как фальшивая невинность и нечестное кокетство, можно также представить как женский способ переговоров и флирта, не менее аутентичный, чем предполагаемая мужская правота (см.: Moi 1994).

но, молча созерцал все это. Драться с ним было просто неинтересно, ну, а выговориться надо было дать человеку. Как только он замолчал, я предложил ему выпить, а он вообще не пьет. Но тут он согласился. Выпили. Наш разговор начал меняться в сторону его сложной жизни. Короче, после этой ночи я стал для него чуть ли не родным братом.

Надо отметить, что рассказчик с жалостью и насмешкой относится к тем друзьям своей молодости, которые из-за женщин резали себе вены, пытались спрыгнуть с крыши или просто страдали от несчастной любви.

Итак, образ героя, нарисованный Лукашиным в автобиографии, представляет своеобразную модель *мужика*—Дон Жуана: область чувственного чаще всего представляется описаниями похотливых желаний, рассказами о физической силе и веселье в мужской компании. Из социальных практик описывается насильственный секс, сексуальная распушенность и пьянство. Только в исключительных случаях подобная прямолинейность нарушена, и чувства, социальные практики и их интерпретации вступают в конфликт друг с другом. В целом же секс есть внутренняя сущностная потребность, лицемерно отрицаемая только образованными или «*чересчур приличными*» женщинами. Эта агрессивная, натурализованная сексуальная идеология, по всей видимости, призвана компенсировать и нестабильность в профессиональной и личной жизни, и неудавшиеся попытки социального восхождения. В самом конце жизнеописания нам приоткрываются более серьезные намерения автора:

На мир смотрю не широко открытыми глазами, но думаю, что лучшее еще впереди. Секс для меня давно уже потерял свою актуальность, то есть трахнуть кого-нибудь не проблема. Проблема в другом. Встретить гармонично сложенную женщину (физически, психически, интеллектуально) очень сложно. Встретив, удержать еще сложнее. Как правило, чрезмерно повышены самооценка, потребности и так далее. Следовательно, стоит ли сходить с ума, забивать себе голову. По-моему, надо положиться на волю всевышнего, и если что-то должно произойти, оно произойдет, и наоборот. Вообще, это тема другого труда...

Цель подобных отступлений — напомнить о законах жанра. Лукашин в своем тексте сознательно следовал логике эротических мемуаров, скрывая, к примеру, свои религиозные или более серьезные социальные взгляды. Интересно также и то, что, обсуждая в заключении текста дальнейшее развитие своей жизни, Лукашин, так же как и Иванов в своей автобиографии, снимает с себя вся-

кую ответственность за развитие событий. Если Иванов, характеризуя свое поколение, отмечает особенности воспитания и доминирующие педагогические идеи, то Лукашин, описывая советские 1970-е и 1980-е годы, обращается к полурелигиозному фаталистическому аргументу: «Если что-то должно произойти, оно произойдет».

От «окультуривания» к размытой мобильности

«Распущенное поведение» низших слоев рабочего класса является господствующим социальным стереотипом как в России в частности, так и в Европе в целом. Но, как отмечает Мэйнс, даже если рабочие и могут иметь менее строгие нормы по отношению к некоторым типам сексуального поведения (например, девственности), это не означает, что их культуры являются более «естественными», не имеющими своих особенных кодов стыда и уважения. Выступая против упрощения сексуальности рабочего класса, Мэйнс замечает, что

связи между сексом и социальной идентичностью в рабочем сообществе в целом не были аналогичны связям представителей высших классов, но, однако, являлись столь же проблематичными (Mauney 1995, 131; см. также: Steedman 1986).

В этой статье мы рассмотрели только мужские примеры сексуальных связей в бедных рабочих культурах. В тех немногих текстах советских женщин-рабочих, которыми я располагаю, акценты расставлены совершенно иначе. Ни один из мужчин—представителей рабочего класса не смог сделать такое примиряющее с жизнью заявление, которое мы встречаем в автобиографии одной рабочей женщины (р. 1923): «Там тоже была жизнь, хоть и очень мрачная, на нормальную не похожая. Но любовь — она везде любовь, как это и ни дико покажется». Для Иванова любовь не была одинаковой *везде*, а для Лукашина она вряд ли существовала. В рассмотренных случаях связи между сексуальной и социальной идентичностями кажутся особенно проблематичными: мужчины испытывают более драматическое расхождение между локальными и господствующими идеями о сексуальности и семейной жизни, и им труднее их примирить.

Жизнь Иванова рисует картину классового перехода от бедного, маргинализованного рабочего к хорошо устроенному представителю высшего рабочего класса. Так же как в автобиографиях рабочих, написанных веком раньше, мужской самоконтроль рас-

сматривается здесь как необходимая составляющая повышения социального положения (Mauney 1995, 135). Хотя мир, изображенный Ивановым, это мир, кажущийся аморальным, его воздействие на этические установки Иванова очевидно. Сквозь всю автобиографию необходимость социального восхождения подспудно увязывается с усвоением морали среднего класса. Начав свой жизненный путь с ситуации, которую скорее можно назвать *акультурной*, чем *некультурной*, Иванов продолжил свой путь вверх через *окультуривание*, через усвоение и реализацию на практике все более строгих социальных норм.

Траектория Лукашина противоположна. Он принадлежит к поколению, для которого жизненный путь стал менее предсказуемым: «свободная» молодость стала дольше, и период «ответственной» рабочей и семейной жизни откладывается (подобно тому как, например, увеличилась средняя продолжительность времени между первым сексуальным опытом и первым браком или сожителем)⁹. У Лукашина — как и у Иванова — сексуальные отношения нередко оказываются основой деловых отношений (одна из его любовниц, работающая администратором в гостинице, всегда обеспечивала «Алексея» номерами люкс). Отличие, однако, состоит в том, что впервые сексуальная беспорядочность оказалась не только необходимым условием карьеры, но и ключевым элементом профессиональной деятельности. Итак, жизненная история Иванова развивается в сторону от *акультурного* окружения к устойчивой жизни советского среднего класса, в середине которой является «нормальная» семейная жизнь и успешный самоконтроль ответственного мужчины. Социальная мобильность Лукашина, наоборот, горизонтальна: его социальный статус остается неопределенным, а его сексуальная активность, смещаясь в центр профессиональной жизни, сводит на нет слабые попытки организовать семейную жизнь.

⁹ Автобиография Лукашина — хороший пример того, как бывшие соцстраны приблизились к западным нормам сексуального жизненного пути (Haavio-Mannila, Rotkirch 1998).

Дмитрий Воронцов

«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО НЕ ДЛЯ НАС»: МИФЫ И ЦЕННОСТИ МУЖСКИХ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ ПАР

Жесткий нормативизм, от которого с переменным успехом пытается освободиться постсоветское общество, и гетеросексизм, который продолжает оставаться одним из его краеугольных камней, приводят к тому, что семью чаще рассматривают исключительно с точки зрения соответствия или несоответствия отношений партнеров традиционной модели брачного союза мужчины и женщины или, в крайнем случае, родительского (а на практике — только «материнского—детского») альянса. Неудивительно, что при такой установке в отечественной мысли возникает непреодолимое стремление отвергать правомочность постановки в один ряд с анализом разнообразия форм семейной жизни не только изучение специфики гомосексуальных союзов (и вкуче с ними — трансгендерных), но даже гетеросексуальной внебрачной практики (Голод 1998). Как правило, отрицание самой возможности подобных исследований на отечественном материале не получает никакой научной аргументации. В лучшем случае можно встретить простое упоминание о существовании «альтернативных зарубежных типологий семьи», в которых есть и «гомосексуальные семьи», после чего разговор резко переводится в направлении того, что для отечественной науки традиционной является постановка проблемы функционирования семьи исключительно в рамках супружеских (муже-женских) и детско-родительских отношений, причем в контексте преимущественно репродуктивной и воспитательной сфер семейной жизни как наиболее важных для социально-психологического анализа (Социальная психология 2001, 145—146). Чаще всего область исследований изначально ограничивается понятием семьи как системы отношений только «между мужем и женой, ро-

«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО НЕ ДЛЯ НАС»: МИФЫ И ЦЕННОСТИ...

дителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» (Эйдемиллер, Юстицкий 1990, 9). И очень редко можно встретить откровенно выраженную морально-этическую ценностную подоплеку безразличного избегания темы гомосексуальных союзов в научном исследовании, как это сделано в труде И. С. Голода, который в своем введении в типологию нетрадиционных моделей современной семьи «между прочим» замечает, что, «в отличие от некоторых американских исследователей», им правомочность такой постановки вопроса «просто отрицается». Выстраивание оппозиции российского ученого по отношению к «отдельным представителям американской науки», как признает сам автор, происходит только потому, что «в отечественной научной литературе обсуждение проблем семьи с гомогенными родителями начисто отсутствует» (Голод 1998, 188).

Если следовать логике упомянутого выше учебника по социальной психологии, в котором наличие гомосексуальных семей хотя бы не ставится под сомнение, то его авторы заранее предполагают, что феноменология и механизмы однополых союзов в принципе не обладают никаким качественно иным содержанием по сравнению с моделями гетеросексуальных семейных отношений. Разница-де только в том, образно говоря, «откуда дети берутся»: или однополые родители их усыновляют/удочеряют (в случае мужских пар), или пользуются услугами «мужчин-доноров» (в случае женских пар). Вопрос о том, что социально-психологические модели гомосексуальных союзов могут значительно отличаться от таковых в гетеросексуальных парах, а также о том, что модели самих однополых парных отношений могут различаться в зависимости от того, образуют их мужчины или женщины, не то чтобы не обсуждается — он даже не упоминается в многочисленных исследованиях семейной проблематики.

Многократно воспроизводящиеся в социально-психологическом анализе семейных отношений статистические и институциональные определения того, что же считается семьей на наших родных просторах, часто игнорируют то, какое содержание в понятие семьи вкладывают конкретные маргинальные и дискриминируемые «социальные акторы». Несомненно, что представления последних о семье могут включать в себя куда более широкий круг явлений, нежели основанный на браке (юридическом или фактическом) союз гетеросексуальных мужчины и женщины, способных (хотя бы потенциально) к воспроизведению рода, проживаю-

щих вместе и ведущих общее домашнее хозяйство. В предлагаемой статье делается попытка рассмотреть специфику длительного партнерства во вполне определенном городском сообществе молодых мужчин с гомосексуальной идентичностью. При этом полагается, что по причине влияния на личность ее социального положения и декларируемой групповой принадлежности, а также специфических особенностей конкретных сообществ, в которые она входит, представленные здесь выводы не могут быть однозначно распространены не только на однополые женские союзы, но даже и на всех мужчин, практикующих гомосексуальные отношения. Это всего лишь один из «срезов» возможных моделей партнерства в мужском гомосексуальном сообществе.

Одним из маркеров реального разнообразия представлений о ненормативных семейных союзах могут служить клишированные анкетные формы в ориентированных на гомосексуалов службах знакомств, в которых в самых различных вариантах и модальностях обыгрывается тема «гомосексуальной семьи»: от просьбы указать «семейное положение» (под которым фактически подразумевается наличие или отсутствие у подателя объявления постоянного друга) до выбора словосочетания «для создания <гомосексуальной> семьи» из формализованного перечня предполагаемых целей знакомства. Тем не менее в свободных, неформализованных объявлениях, текст которых составляется самими подателями, слово «семья» встречается очень редко. Так, более чем из полутора тысяч объявлений на страничке знакомств¹ сайта www.gay.ru на момент обращения к этому ресурсу было найдено всего 10 текстов, непосредственно содержащих слово «семья» в контексте гомосексуальных отношений. В подавляющем большинстве объявлений речь идет о поиске «друга для длительных, постоянных, ответственных отношений». В объявлениях, содержащих слово «семья» в качестве предполагаемой цели знакомства, основной акцент делается на длительности, серьезности отношений, связанных с совместным проживанием на одной территории, не ограниченных только сексуальной стороной. Одновременно в этих объявлениях почти всегда присутствует пожелание, чтобы будущий партнер не любил посещать клубные места, «тусовки», был ориентирован на эксклюзивные моногамные отношения со своим избранником (был «од-

¹ В отличие от «доски объявлений», ориентированной на флирт и поиск нерегулярных сексуальных партнеров, страничка знакомств нацелена на поиск постоянных, долговременных партнеров.

нолюбом») и чтобы эта эксклюзивная парность «пожизненных» отношений «не была обузой» для претендента. Что особенно интересно, среди значимых характеристик «ориентированные на геевскую семью» податели объявлений нередко отмечают свою нелюбовь к выполнению гендерно специфичных видов домашнего труда («выносить мусор», «гладить», «стирать» и т.п.), косвенно задавая обязательное гендерное разделение труда в предполагаемом союзе двух мужчин. Тогда как в ориентированных на «продолжительную, серьезную дружбу» объявлениях бытовые аспекты отношений даже не упоминаются.

Если же взглянуть на содержательную сторону объявлений о поиске друга, в которых никак не упоминается конструкт семьи, то можно обнаружить, что их авторы в основном также подразумевают возможность установления длительных и серьезных отношений, только в более широком диапазоне — от совместного проведения досуга до совместного проживания на одной территории. Эти отношения противопоставляются «разовым» встречам и одинокому существованию вне коротких и случайных сексуальных сессий, а «друг» интерпретируется в качестве «второй половины», с которой должны быть установлены интимные отношения, сопряженные с эмоциональной привязанностью, взаимной поддержкой и ответственностью. Номинация «семейное положение» в разнообразных интернет-анкетах знакомств для геев как раз и подразумевает такое обстоятельство: наличие или отсутствие постоянного друга именно как «второй половины». Следовательно, речь в обеих разновидностях объявлений идет об одном и том же социальном факте — совместном проживании двух эмоционально привязанных друг к другу мужчин, имеющих гомосексуальное влечение. Однако этот факт одновременно обозначается и словом «семья», и словом «дружба», каждое из которых фиксирует несколько различные друг от друга аспекты сожителства.

Два гея, живущие вместе: альтернативная семья или альтернатива семье?

Любой термин и любой дискурс, использующий данный термин, несут в себе двоякую информацию: с одной стороны, речь беспристрастно фиксирует нечто реальное, с другой — в ней дается замаскированное предписание того, что кажется желательным или не-

обходимым компонентом реальности (Gergen 1982). Феномен парных отношений гомосексуальных мужчин — геев², — например, может трактоваться в качестве семейного союза, альтернативного гетеросексуальному конструкту современной супружеской семьи (Николс 2000). Действительно, если под семьей понимать парный союз, вне зависимости от его юридического статуса («брак») и обязательности совместного проживания (Hantrais, Letablier 1996), то геевская пара, несомненно, может считаться «семейной». Статистическое и институциональное признание семейного союза существующими общественно-политическими структурами в данном случае не так важно: главное, чтобы участники «союза» считали свой союз таковым.

Однако уже на уровне объявлений, предназначенных для установления парных отношений, среди геев не наблюдается особого желания обозначать будущую пару словом «семья»: куда большим предпочтением пользуется слово «дружба». Случайно ли это? Если принять во внимание вторую, замаскированную содержательную сторону термина «семья», призванную обозначить желательные или необходимые (но в любом случае — нормативные) характеристики возможного «союза», то, скорее всего, нет.

Несмотря на постулируемую лакановской философией известную свободу связи означающего (слова) и означаемого (явления), каждое понятие тем не менее оказывается в тесной зависимости от

² *Гей* (от англ. gay — «веселый», «забавный», «беспечный», «беспутный») — самоназвание представителей сообщества мужчин, имеющих гомосексуальную идентичность. В отличие от других слов, этот термин не имеет негативных оценочных коннотаций и является предпочтительным. Близкое по смыслу нейтральное слово «гомосексуал» фиксирует внешнюю поведенческую характеристику мужчин, предпочитающих однополые связи, с точки зрения гетеросексуального большинства. Термин «гомосексуалист» является менее предпочтительным, поскольку имеет однозначно негативную оценочную коннотацию «девианта» или «извращенца», злонамеренно нарушающего установленные нормативы сексуальных отношений. Употребление слова «гомосексуалист» также предполагает дискриминационное отношение к маргинальной форме сексуальности исключительно как к «патологии»: гомосексуалист — тот, кто болен гомосексуализмом. Термин «педераст» этимологически восходит к мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мальчиками, а в более узком современном значении — практикующими анальные сексуальные контакты (чаще — в принимающей роли). Эквивалентами научного термина «гомосексуалист» в обыденной речи являются слово «голубой» и различные вульгаризмы, производные от слова «педераст».

господствующего контекста словоупотребления, являющегося результатом взаимодействия институционально-статистического толкования «семьи» и того смысла, которым наделяют это понятие сами акторы. Вряд ли можно точно определить, в какой степени индивидуальные представления о гомосексуальной семье самих социальных акторов являются причиной, а в какой — следствием этих политически мотивированных институционально-статистических толкований. Однако точно можно сказать: то, что акторы называют гей-семьей, почти всегда совпадает с образом гей-семьи, сложившимся у окружающих. Если пара не воспроизводит «знаковые», «типичные» модели взаимодействия семейных партнеров, то такая пара с неизбежностью оказывается в ситуации «семейной неопределенности».

В качестве примера обязательности «цитирования» институционально санкционированных и социально значимых «семейных» характеристик³ может служить высказывание из интервью с одной из девяти гомосексуальных мужских пар — ключевых информантов — представителей сообщества геев г. Ростова-на-Дону⁴.

Пара Саша (28 лет) и Дима (34 года). Оба имеют высшее гуманитарное образование, работают преподавателями в разных вузах. Отношения длятся четыре года. У Саши это первый опыт длительного партнерства, у Димы — второй. С первым партнером Дима прожил пять лет, после чего отношения прервались («Поначалу мы оба были настроены на моногамность, но — не получилось. В конце концов нам это все надоело»). Живут вместе несколько дней в неделю в квартире Димы. Остальное время проводят раздельно, причем Дима открыто практикует сексуальные контакты со случайными партнерами вне парных отношений, тогда как Саша имеет сексуальные связи со случайными партнерами только в рамках парных отношений с Димой («секс втроем»).

Дима: Меня наши геевские друзья уже достали вопросами типа «У вас как: “семья” или вы просто трахаетесь?» А я, в свою очередь, спрашиваю: «А что это меняет?» И что, как ты думаешь, мне отвечают? «Ну, как же! Если семья, то ты — человек несвободный, тогда тебе, навер-

³ О «цитировании» — воспроизводстве сложившихся общепризнанных дискурсивных форм как способе конструирования социальной идентичности см.: Butler, 1990.

⁴ Сбор материалов проводился в период с ноября 2001 по январь 2002 года методом неформализованного тематизированного интервьюирования геевских пар в местах их совместного проживания (квартирах).

ное, изменять своему нельзя. И как твой на это все смотрит?⁵ Ты, наверное, просто его не любишь, если так свободно себя ведешь. А если вы просто трахаетесь, тогда понятно, проблем нет, ведь ты свободен». Получается, если семья, то ты «несвободен» и надо бояться и скрывать, что ты с кем-то там переспал, в чем-то себя ограничивать, страдать. А если не семья, то все в порядке, можно прямо сейчас мне в штаны залезть, хоть на глазах у Саши — свободный ведь. Говорят, странно вы как-то живете, понять никак не можем — вы семья или все-таки нет. Спрашиваю, а что тут странного? Говорят, ну, если вы любите друг друга, то почему вам вместе все время не жить, почему вы «по графику» живете, почему ты открыто трахаешься еще с кем-то, а не только с Сашей? А я говорю: зато привыкания не возникает — каждая встреча как новая. С самого начала у меня так сложилось, когда еще с Олегом⁶ жил. Удобнее так. И не значит это совсем, что мы друг друга не любим. Мы уже несколько лет вместе, у меня такой удовлетворенности отношениями прежде никогда не было. Ведь мы практически не ссоримся никогда! У нас полное взаимопонимание. Нас гораздо больше, чем секс, связывает. Хотя и секс у нас тоже хороший <улыбается>. Ну, так семья мы или не семья? Я лично для себя так вопрос не ставлю. У меня есть любимый человек, мы живем, как нас устраивает, и мне этого достаточно.

В приведенном высказывании содержится важное указание на «цитатный» способ восприятия гомосексуального мужского союза в качестве семьи. В этой паре не воспроизводится традиционная модель прав и отношений партнеров, живущих семейной жизнью: отсутствие сексуальной верности (или хотя бы поддержание ее нормативной видимости), прерывистый характер совместного проживания (три дня вместе, четыре — порознь), отдельный досуг и т.д. Отсутствие знаковых «цитат» делает их отношения «странными», не поддающимися категоризации со стороны членов своего же сообщества («семья — не семья?»). С одной стороны, живут вместе, имеют стабильные сексуальные и эмоциональные отношения, вместе ведут домашнее хозяйство (покупки по дому, приготовление еды друг для друга, оплата коммунальных услуг, уборка) и имеют общий бюджет. С другой стороны, живут «по графику»: если Саша собирается приехать «не в свой день», то он предупреждает партнера об этом заранее («а вдруг он с кем-то встречается в этот день?»), могут отдельно проводить досуг и от-

⁵ Т.е. на то, что информант практикует секс помимо парных отношений с партнером.

⁶ Олег — первый постоянный партнер Димы.

пуск, открыто практикуют внепартнерские сексуальные отношения и заводят новые знакомства через Интернет.

Подобные отношения, разумеется, встречаются и в альтернативных гетеросексуальных семьях. Однако следует обратить внимание на два важных обстоятельства, влияющих на разное восприятие подобной альтернативной модели в ее гетеросексуальной («семья») и гомосексуальной («не-семья») версиях. Это, во-первых, фактический/юридический брачный характер связи партнеров и, во-вторых, наличие детей. Несмотря на многочисленные отличия в отношениях между партнерами, альтернативные гетеросексуальные семьи сохраняют в своей структуре главные компоненты традиционной модели семьи — кровное родство (родители и дети, братья и сестры, прародители) и законное родство (брак) (Хмарук 2000). В данном случае изменения связаны с содержанием «брака», демонстрируя поворот от экономической основы системы отношений (собственность на тело партнера) к ритуально-любовной и послабление жестких установок на сексуальную верность (Коллинз 2000). Традиционное понимание брака как неотъемлемой части семейных отношений гетеросексуальных (нормативных) мужчины и женщины предполагает не только юридическое, психологическое и социальное превращение «постороннего» человека в «своего», делая его «родственником» и для социального окружения в целом, и для родных супруга/супруги в частности. Брак также выступает своего рода взаимным соглашением об исключительном праве на сексуальные связи между партнерами.

Хотя альтернативные формы семьи характеризуются менее жесткими брачными требованиями (в них брак не воспринимается как санкция на долгосрочную собственность на сексуальность партнера), остальные функции традиционного брака здесь, как правило, сохраняются: длительное совместное проживание, общее хозяйство, сексуальные отношения партнеров преимущественно друг с другом. Изменившееся внутреннее содержание брака в альтернативных гетеросексуальных семьях изменяет и социальный контекст, в котором сожительствующие партнеры воспринимаются в качестве семьи (пусть и альтернативной, «нетрадиционной»). Поэтому, для того чтобы и гомосексуальные пары можно было назвать одной из форм альтернативных семей, необходимо соблюдение важного условия: социальной или культурной легитимации такого союза. Последнее предполагает наличие социальных механизмов санкционирования и регулирования отношений между партнерами, установления их прав и обязанностей по отношению друг к другу.

Такие механизмы по отношению к гомосексуальным парам могут существовать как в рамках общества в целом, так и в рамках геевской субкультуры. В условиях современной России говорить о наличии позитивных (точнее аффирмативных — утверждающих, постулирующих) регулирующих механизмов на уровне общества не приходится: союз двух геев окружающими воспринимается исключительно в терминах дружбы, что не предполагает признания окружающими их родственных отношений и права на воспитание приемных детей. Следовательно, речь может идти только о возможных механизмах признания (и утверждения) в рамках субкультуры. В связи с этим интересны высказывания тех информантов, которые сами характеризуют свой союз как «семью» и которых окружающие представители геевского сообщества также считают «семьей».

Пара Саша (30 лет) и Эдик (37 лет). Первый имеет среднее специальное образование, повар, в настоящее время работает продавцом в универсальном магазине, приехал в Ростов-на-Дону из крупного города областного подчинения. Второй имеет среднее специальное образование, техник, работает на предприятии воздушного транспорта, был женат, имеет дочь. Проживают вместе в квартире Эдика. Отношения длятся четыре года.

Саша: Ну, да, конечно, я считаю, что у нас самая настоящая семья. Я с самого начала стремился жить именно семейной жизнью. Я этого блядства просто не понимаю, когда потрахались и разбежались или когда живут вместе, а трахаются с кем попало на стороне, с кем-нибудь еще. Если ты живешь с человеком, то должен жить именно с ним, иначе для чего нужно было все это. По крайней мере, это я так считаю. Может, Эдик и считает по-другому, то пусть хотя бы и делает это, только чтобы я не знал. Ну, в крайнем случае, можно вместе с кем-нибудь потрахаться у нас дома, если Эдику это нужно. А мне это не нужно. Но только чтобы никаких мне личных отношений с ними не было! Если я узнаю, то все, скандал будет. В общем, или я, или он — пусть выбирает. У нас вообще всякое бывает, и ссоримся, и скандалим, но какая совместная жизнь без этого? Главное все-таки то, как он ко мне относится. Я не представляю себе одинокой жизни, так что для меня семья важнее.

В приведенном высказывании прослеживаются основные признаки «семейственности» с точки зрения информанта: эксклюзивный доступ к телу партнера и контроль над проявлениями его сексуальности (отсутствие «блядства»), монополия на эмоциональность в отношениях («но чтобы никаких личных отношений») и

обязательное сохранение позитивного образа сексуальной верности партнеров для внешнего потребления («может трахаться, но только чтобы я этого не знал»). Налицо — косвенное признание невыполнимости предъявляемых требований, однако важным тем не менее считается взаимная демонстрация окружающим формальных признаков семьи и «хороших» внутрисемейных отношений, способных подтвердить подлинность «семейного статуса», несмотря на отдельные погрешности совместной жизни. А вот мнение самого партнера Саши.

Эдик: Семья? Ну, мне это трудно так определить. У меня вот была гетеросексуальная семья. Это совсем другое. Как секс с женщиной отличается от секса с мужчиной, так и отношения. Мы просто живем вместе, мы с Сашкой друг друга любим, это просто отсутствие одиночества, со-жительство. Я за него несу ответственность, он обо мне беспокоится. Может, кто и назовет это семьей... По мне, семья — это обязательно дети. А у нас не может быть детей. Меня же поэтому и привлекают подростки, а Сашка этого не понимает, по-моему. Думает, что я его от этого меньше люблю. Для меня подростки — это как мои дети в сожительстве с Сашкой. Если их так рассматривать, тогда да, наши отношения — это какой-то субститут семьи. Или, как ты говоришь, «альтернативная» семья. Мы так и живем: я с Сашкой и наши «дети». Да я бы с подростками ради самих подростков никогда бы не стал жить. Я не педофил. Это замещение моих родительских чувств < молчит >. Я так думаю. Чтобы мне наши отношения с Сашкой воспринимать как семью, мне нужны они, подростки. Мне нужно за кем-то ухаживать, я люблю детей, возиться с ними. Но ведь нам нельзя иметь детей. Кем они вырастут, глядя на нас? А тут они как бы становятся членами нашей «семьи», потому что я с ними трахаюсь, как и с Сашкой. И к ним у меня отношение, как к «детям», а к Сашке — как к любимому.

Представления партнеров в этой паре ключевых информантов сходятся в том, что их союз есть средство избавления от одиночества посредством установления длительных ответственных отношений. Однако Эдик предпочитает называть их союз «сожительством». Аргументация приводится следующая: не можем иметь детей — следовательно, не семья. Корневым определением семьи для него, таким образом, выступает один из компонентов традиционной семьи детоцентристского типа: если есть дети, отношения можно назвать семьей. В ходе этого рассуждения информант именно так объединяет в единую логическую цепочку свои постоянные отношения с партнером и нерегулярные — с подростками в возрасте 14—20 лет.

Интересно отметить и то, что именно контекст «семейственности» позволяет обоим партнерам сбалансировать необходимость демонстрации формальных признаков семьи для Саши и потребности Эдика во внепартнерских сексуальных контактах. Саша даже не упоминает в своем рассказе об этих отношениях, несмотря на то что подростки зачастую длительное время проживают вместе с ними в одной квартире и с ними завязываются сексуальные отношения. Раз это «дети», то они не нарушают публичного образа МЫ-семья, а, наоборот, органично вписываются в нормативный конструкт семьи традиционного типа. Главное, чтобы эти отношения с «детьми» не выходили за пределы «инцестуально-родительских» связей и не превращались для Эдика в партнерские⁷.

Пара Саша (30 лет) и Саша (33 года). Оба являются медицинскими работниками с высшим образованием. Второй партнер был женат («по социальным, карьерным соображениям, так было надо, потому что она была дочкой профессора, и мне это было просто выгодно»), через 10 лет развелся («эти 10 лет я вспоминаю как самые мрачные годы своей жизни»), имеет ребенка («мальчик, и я хочу, чтобы он тоже был “голубым”»). Проживают вместе (снимают квартиру). Отношения длятся три года.

Саша (30 лет): У нас, конечно, семья. Мы живем вместе, вместе проводим досуг, у нас общие друзья, интересы, бюджет, имущество — у нас все общее. Мы вместе ходим в «Московский»⁸. Я очень люблю Сашу, и он меня тоже любит. Я считаю, что нашел свое счастье в нем. И мне хочется жить вместе с этим человеком, быть как одно целое. Без него мне было бы очень плохо. Я всегда искал таких отношений и

⁷ Согласно статье 134 Уголовного кодекса РФ (в редакции от 25 июня 1998), уголовно наказуемыми являются сексуальные контакты с подростками, *заведомо не достигшими 14-летнего возраста*, поэтому на момент интервью (декабрь 2001) информант не может считаться лицом, совершавшим уголовно наказуемые деяния. Отношение к сексуальной активности подростков в 14—17 лет остается предметом дискуссий. Однако вопросы сексуального и психического здоровья в этих дискуссиях часто подменяются морализированием по поводу неизбежного факта осознанного стремления подростков к реализации собственных сексуальных потребностей до наступления условного возраста полной социальной зрелости (18 лет). Между тем известно, что возраст получения первого добровольного сексуального опыта определяется *взаимовлиянием* социальных и индивидуальных факторов, а значительная часть случаев насильственного вовлечения в сексуальную активность приходится на возраст *до 14 лет* (Келли 2000).

⁸ «Московский» — местный бар, который посещается преимущественно геями и лесбиянками.

мечтал, чтобы, наконец, прекратились эти бесконечные поиски партнера, эта неопределенность, одиночество. Когда просто встречаешься и трахаешься, остается какая-то пустота, бессмысленность. А тут всегда знаешь, что придешь домой, а там тебя ждет любимый человек, которому нужен ты и который нужен тебе. На душе становится как-то спокойно. Ну, и в сексуальном плане тоже. Далеко не всякий подходит. А тут — полная гармония. Именно то, что меня устраивает. Чего или кого еще искать? Я понимаю, когда что-то не устраивает. Или как некоторые наши <другие геи из окружения информанта> говорят: «семейная жизнь — это не для нас». Конечно, это ответственность, обязательства. На компромиссы нужно уметь идти. А с ними и собственная мать не уживется — такая корона на голове. Да, Сашка там иногда флиртует. Но я виду не показываю, хотя никто не знает, что в это время у меня на душе делается. Хотя знаю, что все это у него не серьезно, что он меня любит. И все равно неприятно. Ну, человек он такой. Я — другой. Но я же именно его выбрал. Значит, он мне такой и нужен. Я без него не смогу.

Опираясь на принятые статистические и институциональные признаки семьи (совместное проживание, общее хозяйство, сексуальные и эмоциональные отношения, ответственность и взаимные обязательства), этот информант переносит их на гомосексуальный союз, описывая его при помощи термина «семья». В приведенном высказывании прослеживается тенденция к осуществлению скрытого контроля над проявлениями сексуальности партнера и желание эксклюзивного доступа к его телу, которая подавляется из боязни потерять более значимые для информанта преимущества союза («виду не показываю», потому что «всегда искал таких отношений», «я без него не смогу»). При этом второй партнер не рассматривает сексуальную верность в качестве обязательного признака семейной жизни.

Саша (33 года): Да, семья. Если ты с человеком живешь вместе, он твой любимый, он для тебя дорог, разве это не семья? Я тебя не понимаю, если человека ты любишь, то отчего же тогда не жить с ним вместе? Семья — это же что? Это когда вместе, когда ты не чувствуешь себя одиноким и никому не нужным, там, общее хозяйство, ну, как в словаре написано, совместное проживание и т.д. Но вот только я не считаю, что семья — это обязательно сексуальная верность. Секс и любовь — это же разные вещи. Семья — это когда любовь, когда вы друг без друга обойтись не можете. А секс — это удовольствие. Я Сашке с самого начала сказал, что я люблю трахаться, это у меня в крови, но это ни о чем еще не говорит, что я к нему плохо отношусь или что он мне чем-то не подходит. Мне он очень дорог. И мне с ним очень хорошо. Вот с женой мне было очень плохо. Разве то была настоящая

семья, хотя и ребенок был? Просто жили вместе, а людьми-то были чужими. Она меня не понимала. А когда узнала, что я «голубой», то так до конца и не приняла, хотя и разводиться долго не хотела. Я то, что у меня сейчас, больше считаю семьей. Правда, вот Сашке не нравится, что я себя немножко вольно веду. Но он же понимает меня, понимает, что на моем отношении к нему это никак не отразится.

Как видно из высказываний этой пары, оба партнера ориентируются на господствующее определение семьи. Но если для одного сексуальная верность является важной характеристикой семейных отношений, то для второго существенным становится большая свобода «сексуального контракта» в партнерстве. И благодаря наличию обязательных «цитат», подтверждающих семейный статус этой пары, сомнений по поводу данного статуса уже не возникает ни у самих информантов, ни у окружающих их друзей-геев в отличие, например, от упоминавшейся выше «сомнительной» в плане «семейственности» пары Саши и Димы.

Таким образом, можно говорить о том, что критерием «семейности» отношений в гомосексуальных парах в рамках геевского сообщества выступают характеристики, которые присущи гетеросексуальной модели семейных отношений. И с этой позиции два гея, живущие вместе и имеющие стабильные сексуальные и эмоциональные отношения, в социальном плане могут образовывать как *альтернативную семью* (пока на уровне лишь сообщества), так и форму отношений, которая, по сути, выступает *альтернативой семье* вообще (например, пара Саши и Димы). Дело в том, что альтернативные семьи, будучи альтернативными по отношению к традиционной модели семьи, остаются семьями именно потому, что для них сохраняется традиционная *матрица восприятия* партнерских отношений: сквозь накладываемую гетеросексуальной культурой призму отношений *собственности* (на тело партнера, на имущество, на детей, если они есть). Собственность в семейном контексте есть 1) способ обращения с партнером и 2) регулируемое обществом (сообществом) соглашение о том, кто может или не может обладать телом партнера (Коллинз 2000). Это соглашение (выступающее в виде юридического или фактического брака) может запрещать (традиционная модель семьи), а может только регулировать степень открытости доступа к телу партнера, например, через оговаривание условий, при которых другие вправе пользоваться телом членов семьи (альтернативные модели семьи). Отказ от гетеросексуальной (культурной) матрицы собственного восприятия партнерских отношений в гомосексуальной паре

и приводит, собственно говоря, не к появлению еще одной альтернативной модели семьи, а к появлению альтернативы самой семье как форме партнерских отношений, в которой отсутствует самый важный элемент: восприятие отношений сквозь призму (фактического) брака.

Семья как институционализируемая форма отношений является продуктом традиционного патриархального общества. Изначально среди ее основных задач наряду с осуществлением хозяйственно-потребительских функций (организация быта, удовлетворение разнообразных экономических и духовных потребностей), поддержанием эмоциональных отношений, продлением рода и воспитанием потомства непременно существовали задачи регуляции сексуальных функций и обеспечения принудительной гетеросексуальности через воспроизводство в семейном союзе вполне определенных гендерных отношений и норм (Коллинз 2000). «Назвался груздем — полезай в кузов», — гласит народная поговорка. Это же верно и по отношению к гей-семье. Те, кто изначально пишет свое объявление о знакомстве с целью создания семьи с геем, совсем не случайно делают акцент на гендерно окрашенных видах домашнего труда. Дальнейшее общение с ними по переписке⁹ раскрывало и еще одну сторону их видения семейной жизни: это властные отношения с партнером, выстроенные только по вертикали. Вот обобщенный собирательный образ «идеальной гей-семьи», полученный в результате заочного общения с подателями «семейно ориентированных» объявлений:

Владимир (28 лет): Мне нужен больше «пассивный» партнер, желательно хотя бы немного младше меня, потому что настоящим «мужчиной» в доме должен быть только один человек. И чтобы исполнялось все, что я хочу. В семье каждый должен выполнять свою роль. В том числе и в сексе: или ты трахашь, или я трахаю, я другого просто не понимаю. Да такого и нет вообще, чтобы кто-то был «универсалом» на самом деле. У меня сильный темперамент, значит, я хочу секса каждый день и много. Тебя устраивает такая перспектива?

⁹ Эта часть исследования проводилась следующим образом: на сайтах знакомств выбирались объявления, податели которых прямо заявляли о своем желании создать «гей-семью»; с ними завязывалась переписка от лица человека (гея), тоже желающего найти партнера для создания семьи, во время которой респондентов просили объяснить, как они себе представляют семейные отношения двух мужчин-геев и что, на их взгляд, необходимо для создания «полноценной» геевской семьи.

Андрей (30 лет): Это на мне будет забота сделать все, чтобы человек, с которым я живу, ни в чем себе не отказывал. Я хочу, чтобы я приходил с работы домой, а он меня уже там ждал и чтобы любил меня по-настоящему (т.е. меня одного) и ему нравилось выполнять домашнюю работу.

Алексей (37 лет): Если уж живешь семейной жизнью, то зачем тебе еще какие-то друзья? Достаточно и одного друга — меня. Мы всегда должны быть только вместе. [Семья] требует отказаться от определенных свобод, уважения мнения и желания другого человека, да и друзья уходят на второй план, когда появляется любимый человек. Мы будем «тусоваться», ездить отдыхать, ходить в клубы и в сознании всех окружающих ассоциироваться с парой. Если тебе свобода и самостоятельность дороже всего на свете, то семьи не будет. Видишь ли, опыт показывает, что люди либо мыслят в унисон и имеют близкие потребности, тогда они — семья, либо они самостоятельны каждый от другого, тогда у них просто одиночество вдвоем.

Приведенные примеры отличаются четким прописыванием системы отношений *собственности* в потребных для респондентов семейных отношениях («а он меня уже там ждал», «любил только меня одного», «достаточно и одного друга — меня»), причем в откровенно *иерархическом* властном дискурсе: «Мой партнер должен быть хотя бы немного младше меня», «Чтобы исполнялось все, что я хочу», «Тебя устраивает такая перспектива?» «Другого (надо полагать, мнения. — Д. В.) я просто не понимаю», «Это моя забота — обеспечивать», «Чтобы ему нравилось», «Если свобода и самостоятельность тебе дороже всего на свете, то семьи не будет». Именно это отличает, по их мнению, семью от просто дружбы, что и толкает сразу указывать свою «семейную» направленность в поиске партнеров («друзей достаточно, любимых (и любящих) — нет»). Однако и наши ключевые информанты, как видно из текстов тематических интервью, начав с дружбы, затем стараются воспроизводить в своих парных отношениях все те же задачи регуляции доступа к сексуальности и... норм семейных отношений, принятых в культуре гетеросексуального большинства. Иначе их пара не воспринимается в качестве подлинно «семейной». И раз уж отношения субъективно были определены ими как «семейные», то тут же возникает задача реализации в них формальных признаков, не имеющих, однако, своего внутреннего и внешнего контекста. Другое дело, что отношения собственности в них уже «посвободнее», и иерархический компонент редуцируется. Так же, как и в альтернативных гетеросексуальных семьях, которые неизбежно начина-

ют выступать в роли культурного идеала парных отношений уже только потому, что геи, не имея словаря, аутентичного собственному внутреннему контексту партнерства, маркируют свой длительно существующий союз именно этим словом — «семья».

Гомосексуальная идентичность: научные подходы

Отсутствие *своего* внешнего контекста, в котором долгосрочный союз двух геев мог бы быть воспринят — «узнан» — в качестве семьи, связано с социальными условиями, определяющимися гетеросексистской культурой. В принятии геевскими парами гетеросексуальных норм семейных отношений можно видеть проявление аккультурации сексуального меньшинства в сообществе подавляющего сексуального большинства, попытку интеграции геев в «иное» сообщество с целью доказать репрессивному сексуальному большинству, что геи — тоже нормальные люди, способные подчиниться установленным нормативам.

Однако такое принятие *господствующих* правил вступает в скрытое противоречие с гомосексуальной идентичностью, спецификой которой является ее *маргинальный* социальный статус в гетеросексистском обществе. Именно психологическое содержание гомосексуальной социальной идентичности выступает *внутренним контекстом* отношений в паре.

Прежде чем продолжить эту линию рассуждения, стоит более подробно остановиться на проблеме трактовки самого феномена гомосексуальности и гомосексуальной идентичности. Термин «гомосексуалы» порой охватывает совершенно противоположные группы мужчин, что приводит к яростным спорам в отношении адекватности и правомерности данных, полученных в ходе научных исследований.

В целом можно выделить два подхода к пониманию обсуждаемого феномена: *позитивистский* и *социально-психологический*. Сторонники первого направления в качестве критерия гомосексуальности берут простой факт наличия однополых контактов, который концептуализируется в рамках биолого-эволюционной теории сексуальности. Именно здесь возникают понятия о «врожденной» и «приобретенной», «истинной», «ложной» и «транзиторной» гомосексуальности, а также об «активных» и «пассивных» гомосексу-

алах как сущностно различающихся мужских фенотипах (Имелинский 1986; Исаев 1991).

В центре внимания позитивистского подхода оказывается некоторая сексуальная активность, под которую подводится та или иная разновидность гендерной идентичности: например, «активные» гомосексуалы оказываются обладающими «мужской» идентичностью, тогда как «пассивные» — инверсной «женской» (Исаев 1994(1)). Соответственно сексуальная *ориентация* здесь оказывается синонимом сексуальной *идентичности*, а гендерная идентичность рассматривается только в связи с биологическим полом, которому жестко приписываются определенные паттерны поведения. Наиболее одиозным выражением этого подхода может служить точка зрения одной моей коллеги из клиники доктора А. О. Бухановского¹⁰, известной в клинической психологии специалистки по проблеме транссексуальности: «Существует только мужская или женская половая идентичности, никакой гомосексуальной, ни тем более транссексуальной идентичности просто не бывает в природе». Иначе говоря, тип сексуальной идентичности находится здесь в прямой зависимости от бинарной гендерной схемы: мужчина, который овладевает другим мужчиной, обладает самой что ни на есть мужской половой идентичностью (значит, его можно «вылечить от гомосексуализма»); тогда как мужчина, который допускает, чтобы им овладевал другой мужчина, — женской (и только его можно назвать «истинным гомосексуалистом», от которого еще нужно суметь отличить «истинного» транссексуала).

Раз никакой особой «гомосексуальной» идентичности нет, то гомосексуалами в позитивистском подходе можно называть и гетеросексуальных мужчин, практикующих гомосексуальные связи, и бисексуалов, и лиц, еще не определившихся в своих сексуальных предпочтениях. Внешняя поведенческая схема (согласно которой наибольший интерес представляет вопрос «кто кого?») затмевает содержательное различие, которое вкладывается разными мужчинами в одну и ту же поведенческую форму. И на одной чаше весов оказываются все вместе:

¹⁰ Заведующий кафедрой психиатрии и клинической психологии Ростовского государственного медицинского университета, профессор психологического и юридического факультетов Ростовского государственного университета, доктор мед. наук. Президент лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс». Один из ведущих отечественных ортодоксальных специалистов по транссексуальности.

— *мужчины*, которые посредством ритуальных гомосексуальных действий силой устанавливают или реализуют в социальном пространстве иерархическую систему отношений доминирования и подчинения. Например, в условиях «закрытых мужских коллективов» (исправительные учреждения, армия, интернаты);

— *мужчины*, которые получают сексуальное удовлетворение от символического унижения и ощущения власти в добровольных гомосексуальных контактах. Причем здесь специфическое сексуальное удовлетворение может получать не только тот, кто находится в «проникающей» роли («кто»), но также и тот, кто оказывается в «принимающей» роли («кого»)¹¹;

— *мужчины*, которые ищут гомосексуальных партнеров только ради сексуального разнообразия или эксперимента;

— *мужчины*, которые периодически испытывают сильное эмоциональное возбуждение, привязанность, эротические чувства и к мужчинам, и к женщинам и организуют свою жизнь в параллельных плоскостях: гетеросексуальной и гомосексуальной — нередко с ведома партнеров обоего пола;

— *мужчины*, которые испытывают сильное эмоциональное возбуждение, привязанность и эротические чувства только к лицам своего пола, имеют гомосексуальные контакты и при этом стараются сохранить гетеросексуальное публичное «Я»;

— *мужчины*, которые воспринимают свою гомосексуальность как особое индивидуальное качество, отличающее их от других мужчин.

¹¹ Примером последнего может служить высказывание одного из мужчин, категорически воспринимающего себя только в качестве гетеросексуала, но практикующего эпизодические (раз или два в году) гомосексуальные сессии с анонимными партнерами-мужчинами: «Я всю жизнь занимался профессиональным спортом. Я — борец в классической борьбе. Скажу тебе, что почти любой классический борец — я это знаю — тащится во время схватки от сексуального возбуждения. Я же их члены на себе чувствую. Не все, правда, в этом признаются. Боятся, что с ними потом никто схватываться не захочет. Это ж такой интимный, можно сказать, контакт. Но лично я ловлю кайф от ощущения того, что мною овладевает человек, который оказался сильнее меня. Когда меня трахают, я именно об этом фантазирую, чтобы получить кайф. Я в жизни сильный. Но хочется иногда почувствовать себя слабым, попробовать, что это такое. А с женщиной разве это почувствуешь? Мне главное — это острое чувство того, что тебя «подмяли», ощутить, так сказать, «чувство поражения и унижения», физически на себе прочувствовать. У меня такое желание бывает только в определенные моменты жизни. Когда, я тебе об этом говорить не буду, оно тебе <...> не нужно. А педиков, которые всю жизнь от этого тащатся, что их постоянно трахают, я не понимаю. Хотя отношусь к ним вполне нормально» (Александр, 35 лет, в настоящее время — водитель-охранник в фирме, занимающейся продажей сексуальных услуг).

Включенность в разный социально-психологический контекст внешне одного и того же паттерна гомосексуальной активности делает эти группы мужчин неоднородными с точки зрения мотивации, удовлетворяемых в гомосексуальном поведении потребностей и последствий такого поведения для личности и общества. Однако в позитивистской интерпретации гомосексуальности, испытывающей сильное влияние бихевиоризма, эта группа предстает единой по внешним проявлениям.

Что касается *социально-психологического подхода*, то гомосексуалы здесь рассматриваются в качестве особой группы среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Группа канадских исследователей под руководством Т. Майерса предлагает разделять всю совокупность мужчин, имеющих секс с мужчинами, на следующие группы (Myers et al. 1993):

— *геи* (те, кто осознанно противопоставляет себя в качестве особого сообщества гомосексуальных мужчин лицам с гетеросексуальной ориентацией);

— *бисексуалы* (те, кто характеризует себя имеющими одинаковые по степени выраженности сексуальные и эмоциональные влечения и к женщинам, и к мужчинам);

— *мужчины с диффузной сексуальной идентичностью* (т.е. мужчины, которые вступают в сексуальные отношения с мужчинами, но не противопоставляют себя в качестве особого сообщества гетеросексуальному большинству);

— *гетеросексуальные мужчины*, которые толерантны по отношению к гомосексуальности и могут иметь случайные или эпизодические однополые связи.

В этом подходе разводятся понятия *сексуальной ориентации* (по-видимому, имеющей в определенной мере биолого-эволюционную природу) и *сексуальной идентичности*. Сексуальная ориентация выступает здесь проявлением некоторой психофизиологической активности, предопределяющей степень предпочтения в качестве объекта сексуального влечения лиц своего или противоположного пола. Поэтому иногда ее называют *сексуальными предпочтениями*. Сексуальная же идентичность понимается исключительно как одна из многочисленных социальных идентичностей личности, которая заключается в субъективном отнесении себя к сообществу людей, для которых те или иные сексуальные предпочтения становятся одним из значимых критериев личностного и социального самоопределения.

В социально-психологической трактовке возникновение и существование сексуальной идентичности связано, с одной стороны, с фиксацией *сходства и различия* в сексуальных предпочтениях между людьми («геи», «лесбиянки», «бисексуалы», «гетеросексуалы» и т.п.), а с другой — с осознанием *социального конфликта* между маргинальными и нормативными способами и формами удовлетворения сексуальных потребностей. При таком подходе сексуальную идентичность можно определить как субъективный образ себя в качестве члена определенного сообщества людей, имеющих отличные от других сексуальные предпочтения. И именно отличия в сексуальной сфере выступают в данном случае значимым критерием личностного и социального самоопределения. Этот субъективный образ включает в себя место, которое личность занимает в социальной иерархии, личностные качества, которые связаны с этим местом, собственную и внешнюю оценку этих качеств, а также ценностные ориентации, модели поведения, способы общения и взаимодействия и другие формы внешней репрезентации, которые призваны выступать маркерами принадлежности к особой группе.

Поскольку сексуальные предпочтения могут находить или не находить отражения в самосознании личности, включаться или не включаться в качестве значимого элемента в личностную структуру, соответственно они могут в одних случаях влиять, а в других — не влиять существенным образом на систему отношений человека, которая проявляется в его межличностном поведении и общении. В случае неосознаваемого (или подавляемого) отождествления с представителями гомосексуального сообщества, а также в случае ситуационного принятия образа «Я-в-качестве-гомосексуала» индивид не интегрирует этот образ в свою систему диспозиций, а следовательно, такая неосознаваемая (или ситуационная) идентичность не выполняет смыслообразующей функции, не регулирует взаимодействие и общение с другими людьми, т.е. не образует особого внутреннего контекста межличностных отношений. Когда же гомосексуальная идентичность определяется в качестве осознанной и декларируемой личностной позиции субъекта в социальном пространстве, то она начинает оказывать формирующее влияние на его практики социального поведения, оформлять их и поддерживаться посредством особого стиля межличностных взаимодействий.

Наши информанты подбирались для исследования именно с точки зрения выраженности у них открытой и эгосинтонной (т.е. органично вписанной в обобщенный образ «Я») гомосексуальной

идентичности. Один из них очень ярко проиллюстрировал вышеприведенный тезис о влиянии декларируемой идентичности на практики общения и взаимодействия следующим примером.

Саша (33 года): Идем мы, значит, по Театральной площади. День города. Все орут, обнимаются, целуются. Идут два натурала и у всех на глазах целуются врасос. И никто даже внимания на них не обращает. Ну, и мы тоже решили так же поцеловаться. И сразу же услышали у себя за спиной: «Гля, вон педики идут, целуются!» Ну, почему на тех так никто ничего не сказал, а нас сразу же вычислили?! У нас что, на лбу написано?

Показательно, что внешне члены этой пары ничем не выделяются из толпы мужчин с гетеросексуальной идентичностью, воспроизводя в своем внешнем облике традиционные «цитаты» доминирующей маскулинности. Но, когда они оказываются вместе, пространство межличностного взаимодействия наполняется особым внутренним контекстом, выделяющим их на фоне других мужчин, демонстрирующих внешне сходные формы общения.

Ценности различий

Проведенное в недавнем прошлом авторское исследование социально-психологических характеристик межличностного общения и взаимодействия мужчин с гомосексуальной идентичностью показало, что в условиях гетероцентричной культуры у них формируется гендерно специфический тип межличностного взаимодействия (Воронцов 1999). В рамках этой статьи хотелось бы обсудить те ценностные ориентации, которые образуют, по нашему мнению, ядро социальной и личностной идентичности, а также типичную ориентацию взаимодействия в процессе межличностных отношений. В состав респондентов данного исследования входили и ключевые информанты по проблеме гей-семьи, чьи точки зрения цитировались раньше. Подобная преемственность в исследовании позволяет рассматривать полученные тогда данные в качестве психосоциального контекста партнерских отношений.

Исследование 1999 года проводилось с использованием сравнительного метода (основная и контрольная группы). В основную группу вошли 60 представителей геевского сообщества г. Ростова-на-Дону, декларирующих свою гомосексуальную идентичность (средний возраст 28 лет), и 48 мужчин, декларирующих свою гете-

росексуальную идентичность (средний возраст 27 лет). В процессе индивидуальных и групповых собеседований применялись стандартизированные методики изучения социально-психологических качеств личности, модифицированные в соответствии с исследовательскими задачами.

Ценностные ориентации фиксировались с помощью методики М. Рокича в адаптации Д. А. Леонтьева (Леонтьев 1992). В методике М. Рокича под терминальными ценностями понимаются убеждения в том, что какая-то *конечная цель* индивидуального существования с личной и с общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться в первую очередь; под инструментальными же ценностями здесь понимаются убеждения в том, что какой-либо *образ действий* является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. Респондентам предлагалось проранжировать написанные на отдельных карточках ценности (сначала терминальные, затем инструментальные) в порядке личной значимости. В рамках выполненного исследования были сформулированы 15 терминальных и 15 инструментальных ценностей, определяющих наиболее общие ориентиры личной и сексуальной жизни¹².

Ранжирование пятнадцати *терминальных* ценностей мужчинами с гомосексуальной идентичностью выявило скрытое противоречие между публично декларируемыми в ходе собеседования и достигаемыми целями жизни, выбранными в процессе работы по методике М. Рокича. Если в разговоре участники исследования отмечали ценность партнерских («семейных») отношений, то при сопоставлении с другими вариантами эта ценность в большинстве случаев оказывалась на одном из последних мест списка (общее ранговое место ценности гомосексуальной «семьи» для всей группы респондентов-геев — 15-е). В контрольной группе мужчин с

¹² *Терминальные ценности* в авторском варианте: свобода, здоровье, материально обеспеченная жизнь, интересная работа, любовь, друзья, саморазвитие, жизненная мудрость, уважение и моральная поддержка со стороны близких, карьера, хорошая сексуальная жизнь, высокое положение в обществе, эмоционально насыщенная жизнь (развлечения), сексуальное самовыражение, семья (для геев — гомосексуальная семья, партнерство).

Инструментальные ценности в авторском варианте: доверие, ответственность, чуткость (заботливость), твердая воля (умение добиваться своих целей), стабильность (постоянство), терпимость, чувство юмора, успешность в выполнении своих планов, рационализм, верность, разборчивость, умение сдерживать себя, социальная смелость, практичность, свобода в сексуальных отношениях.

отчетливо выраженной гетеросексуальной идентичностью ценности семейных отношений заняла 8-е ранговое место, опередив ценности профессионального самовыражения и достижения высокого социального статуса (10-е и 15-е места соответственно).

Вместе с тем ранжирование *инструментальных* ценностей обнаружило, что для группы мужчин, имеющих гомосексуальную идентичность, предпочтительными образами действия в ситуациях межличностного взаимодействия стали те из них, которые являются наиболее адекватными для успешного развития длительных партнерских отношений (доверие, ответственность, чуткость, твердая воля, постоянство, терпимость). Несмотря на то что свобода сексуальных отношений вне партнерства не оказалась значимой для респондентов (15-е ранговое место), сексуальная верность тоже не получила высоких рангов (10-е ранговое место).

Противоположная картина обнаружилась в группе мужчин с гетеросексуальной идентичностью. Инструментальные ценности, направленные на установление эффективных эмоционально-личных партнерских отношений, в этой группе мужчин заняли последние места в иерархии. Однако сексуальная верность заняла здесь среднюю позицию (6-е ранговое место).

В целом сравнение данных по ранжированию ценностей группами мужчин с гомо- и гетеросексуальной идентичностями в проведенном в 1999 году исследовании показало, что в иерархии ценностей респондентов-геев ведущие места заняли переменные, обеспечивающие преимущественно гедонистическую направленность отношений и способствующие успешному, открытому для новых контактов взаимодействию в паре. В группе гетеросексуальных респондентов ценностная иерархия в большей мере была ориентирована на достижение прагматических результатов.

Сходную картину в сфере партнерских отношений получил и Д. Д. Исаев, петербургский психиатр, который обнаружил, что гетеросексуальные мужчины воспринимают своих половых партнеров сначала в качестве достигаемого сексуального объекта и только потом — как источник нежности и любви (Исаев 1994б). В этой иерархии семья в первую очередь воспринимается как «крепкий тыл», обеспечивающий мужчине-гетеросексуалу саморазвитие/самореализацию, и только во вторую очередь — как основа эмоционально-личностных, дружеских отношений с партнершей/супругой.

Ценностные ориентации, в свою очередь, выступают основой системы межличностных отношений и придают социальной идентичности (гея или гетеросексуала) устойчивый, внеситуативный

характер. Система межличностных отношений проявляется в виде типичных моделей взаимодействия людей, которые фиксировались в исследовании 1999 года с помощью специального опросника В. Шутца (Рукавишников 1992).

В основу опросника В. Шутца, американского социального психолога психодинамического направления, легла идея о том, что каждый индивид — как член определенного сообщества — имеет характерный для этого сообщества способ социальной ориентации по отношению к другим. Именно эта ориентация на других и определяет специфику его социального поведения.

Согласно В. Шутцу, у человека существуют три основные социально-психологические потребности, которым соответствуют три области социального поведения. Это:

— *потребность включения* — т.е. потребность создания удовлетворительных межличностных отношений, что выражается в разной способности устанавливать контакты и стимулировать взаимный интерес партнеров по общению;

— *потребность контроля* — т.е. потребность сохранения удовлетворительных отношений с помощью силы, что выражается в разной степени стремления создавать и сохранять чувство взаимного уважения, опираясь на компетентность и ответственность или авторитарность;

— *потребность аффекта* — т.е. потребность чувствовать себя достойным любви, что проявляется в степени интимности контакта и в уровне дистанции в отношениях (Рукавишников 1992, 5—16).

Проведенная с помощью опросника межличностных отношений социально-психологическая диагностика показала, что мужчины с гомосексуальной идентичностью одинаково хорошо чувствуют себя как в ситуациях, требующих тесных эмоциональных отношений, так и в ситуациях эмоциональной отдаленности. Они склонны менее остро реагировать на ситуации отказа при установлении знакомства и реже испытывают дискомфорт в тех случаях, когда потенциальные партнеры проявляют чрезмерную (на их взгляд) осторожность в установлении контакта.

Среди респондентов с гетеросексуальной идентичностью оказалась сильнее выражена потребность в привязанности, характеризующаяся подчеркнутым желанием обязательно стать любимым, обостренным переживанием возможности отказа со стороны потенциального партнера и сильным чувством соперничества, приводящим к стремлению, с одной стороны, пресечь попытки потенциальных партнеров установить более близкие отношения с кем-нибудь еще, а с другой — самим установить при этом интим-

ные отношения с как можно большим числом других возможных партнеров. Одновременно эти мужчины предпочитают возлагать на своих потенциальных партнеров ответственность за инициативу и проявленный интерес, т.е. это не сами мужчины, а те, с кем они знакомятся, горят желанием завязать с ними знакомство. Подобная трактовка, в свою очередь, впоследствии создает возможность решать возникающие конфликты с партнершей при помощи аргумента «ты сама меня выбирала»¹³.

Несмотря на обнаруженные статистически значимые различия, результаты нашего исследования 1999 года тем не менее не дают оснований утверждать, что субкультура гомосексуального сообщества формирует *радикально* противоположный гетеросексуальному тип мужчины. В условиях гетеросексистского общества гомосексуальная и гетеросексуальная идентичности на базовом уровне различаются не системами ценностных ориентаций¹⁴, а структурным сочетанием общих элементов этих систем и соответствующими характеристиками (стилями) межличностного взаимодействия.

Измерение тесноты связи и согласованности систем ценностных ориентаций ростовских мужчин с гомо- и гетеросексуальной идентичностями показало¹⁵, что система терминальных ценностей геев является логическим продолжением («заострением») отдельных элементов такой же системы гетеросексуалов. И только системы инструментальных ценностей двух сообществ мужчин имеют низкую степень согласованности. На наш взгляд, это расхождение может объясняться тем, что в гетеросексуальном контакте всегда существует вероятность манипулирования партнером посредством возможности наступления беременности¹⁶. Кроме того, в психоло-

¹³ Такая интерпретация поведения мужчин с гетеросексуальной идентичностью в сфере межличностных отношений вытекает из полученного в их группе значения дополнительного коэффициента партнерской совместимости в области чувств, предлагаемого В. Шутцем.

¹⁴ То есть речь не может идти о геевской «контркультуре».

¹⁵ Измерение велось с помощью коэффициентов Спирмена и Кендалла. Более подробно об этих коэффициентах см.: Айвазян С. А. и др. 1985.

¹⁶ Правда, если раньше эта возможность была только в руках мужчины, то теперь такую же возможность получили и женщины. Однако изменения социальных установок и стереотипов гендерного поведения происходят, как известно, медленнее по сравнению с изменениями на практике. И традиционные патриархатные модели построения гетеросексуальных отношений еще далеко не изжили себя, распространившись и на женщин, получивших возможность равного с мужчинами осуществления гендерных манипуляций.

гическом отношении возможность завершения гетеросексуального акта актом рождения ребенка может характеризоваться как достижение культурно и социально нормативной цели, переводящей отношения партнеров на принципиально новый уровень. В гомосексуальных же контактах возможность такого манипулирования полностью отсутствует. И сам половой акт не завершается достижением культурно и социально нормативной цели в виде рождения другого человека, требующего перестройки сложившихся отношений.

Возможно, эта особенность гомосексуальных контактов, позволяющая иметь гедонистический секс естественным образом и без опасности манипулирования со стороны любого, в том числе нерегулярного, партнера, является одним из ключевых моментов конструирования маргинальной сексуальной идентичности геев. И если для мужчин с гетеросексуальной идентичностью промискуитет, как принципиальная возможность любого члена сообщества стать сексуальным партнером для другого члена сообщества на любой период времени (час, день, месяц, год и т.д.), всегда чреват опасностью разрушения или кардинальной перестройки отношений с этим партнером и соответственно не может являться нормативной формой партнерских отношений, то для мужчин с гомосексуальной идентичностью промискуитет является не только реальной практикой, но и позволяет сделать его специфичной формой выражения гомосексуальной идентичности, т.е. способом репрезентации гея, не-гетеросексуала, в иерархически организованном пространстве межгруппового (и межгендерного) взаимодействия.

Эта логика внутреннего контекста однополых отношений в геевской семье (если, конечно, пару образуют мужчины со зрелой гомосексуальной идентичностью) в значительной степени отличает его от контекста супружеских отношений в гетеросексуальной модели семьи. Сходный вывод можно обнаружить и в работе американского психоаналитика Р. Айсэя (Isay 1993). Он пишет, что при выборе партнеров многие геи исходят из нормативной модели гетеросексуальных отношений, акцентирующей сходства, а не различия в личностных характеристиках членов пары. Однако, с точки зрения этого американского исследователя, существенным отличием гомосексуального партнерства от гетеросексуального является то, что — в отличие от разнополых пар — однополые партнеры уже изначально имеют слишком много общего для взаимного понимания и удовлетворения друг друга. Излишняя похожесть, по мнению аналитика, не оставляет места ни для эмоцио-

нального развития, ни для продолжительного получения сексуального удовлетворения, не в последнюю очередь базирующегося на чувстве новизны. Основываясь на своем клиническом опыте психотерапии гомосексуальных пар, Р. Айсэй утверждает, что стабильностью отношений в данном случае отличаются пары, возникшие по принципу дополнительности, т.е. объединяющие разных по возрасту, расе (этносу), социальному статусу или по личностным характеристикам партнеров. Показательно, что для гетеросексуальных пар такие различия, наоборот, часто служат факторами, осложняющими межличностные отношения.

Логическим следствием из этого вывода Айсэя является его акцент на стабилизирующей роли частой и гибкой смены сексуальных ролей однополыми партнерами, способной предотвратить появление жестко фиксированных сексуальных сценариев, не допустить развития устойчивых властных отношений господства и подчинения между партнерами. Наши геевские пары-информанты, с их сравнительно долго существующей (от трех до шести лет) историей совместных отношений, также не имели жесткого разделения на «активные» и «пассивные» сексуальные роли и часто объединяли разновозрастных членов, обладающих в ряде случаев неодинаковым социальным статусом. Степень напряжения отношений между партнерами почти всегда определялась расхождениями во взглядах на проблему верности. При этом, несмотря на негативное отношение к факту внепартнерских сексуальных связей одного из членов пары, большее значение все-таки придавалось не сексуальной, а эмоциональной верности партнера.

Мифы геевской «семьи»

На первый взгляд, представленные в этой статье высказывания информантов свидетельствуют о наличии у них хотя и специфических, но тем не менее «семейных» связей. Однако если сравнить индивидуальные отчеты о «семейной» жизни наших информантов и результаты социально-психологического исследования, выявившего у них специфические характеристики межличностного общения и поведения, то попытка рассматривать и интерпретировать эти партнерства в терминах и смыслах, возникших в практике гетеросексуальных семейных отношений, начинается казаться спорной. Не скрыто ли здесь глубинное противоречие между словом «семья», которое ряд информантов использует для характери-

ки своих парных отношений, и реальной практикой их партнерской жизни? Не задает ли этот термин селективности восприятия практики совместного проживания? Не направлено ли его использование в речи прежде всего для создания социально приемлемого публичного (и личного) образа нормативного (с точки зрения гетероцентристского — или гетеросексистского — общества) гомосексуального партнерства?

За исключением одного информанта, однозначно отказавшегося категоризировать свои партнерские отношения термином «семья», описания других информантов представляют конфликтную сторону гомосексуальной «семейной» жизни, в основе которой лежит восприятие реального факта совместного проживания двух геев сквозь призму «семейственности». Каждый член пары в представленных случаях вкладывает в слово «семья» (маркер их отношений) разное содержание, акцентируя разные аспекты совместной жизни. Но корневое противоречие заключено в отношении к практике внепартнерских сексуальных контактов. Причем почти всегда если для одного из пары секс вне партнерства является вполне приемлемым и допустимым фактом «семейной» жизни, то для другого он выступает неприятным, но неизбежным следствием, необходимой «жертвой», которую следует принимать во имя сохранения связи с любимым человеком¹⁷. Но как могут согласовываться в партнерском самосознании разнонаправленные по своему содержанию представления членов пары о себе и о своей «семейной» жизни? Возникновение такой согласованности, которая обнаруживается и в речи самих информантов, пользующихся словом «семья» для характеристики своего партнерства, по-видимому, базируется на конкретных защитных механизмах, которые американский семейный психотерапевт А. Феррейра назвал «семейными мифами» (см.: Карвасарский 1999).

Семейный миф представляет собой согласованные, выборочные представления о характере взаимоотношений партнеров. Основными его функциями являются камуфляж неудовлетворенных потребностей и конфликтов, а также создание некоего идеализированного представления друг о друге. Зачастую это — неосозна-

¹⁷ Все девять пар-информантов имеют продолжительный для геевского сообщества срок существования (от трех до шести лет), что позволяет утверждать наличие у них целостного, интегрированного образования — партнерского самосознания, которое регулирует внутренние отношения, согласует позиции партнеров и придает паре стабильность и длительность.

ваемое взаимное соглашение партнеров, с помощью которого они препятствуют осознанию реальных, но по ряду причин отвергаемых характеристик своих отношений.

Материалы интервью позволяют увидеть в партнерском самосознании большинства пар-информантов «семейный миф», реализующий механизм психологической защиты по принципу «расщепления»: когда один из партнеров неосознанно ищет (или провоцирует) в другом качества, которые воспринимаются им в виде символов подавленных аспектов собственной личности, собственной сексуальности. Интересно, что те гомосексуальные пары, которые открыто и уверенно называют себя «семьей» и имеют продолжительный период стабильного, хотя и напряженного, существования, достигают своей согласованности именно с помощью защитного механизма расщепления.

Причиной возникновения «расщепления» как механизма создания семейного мифа, по-видимому, является стремление рассматривать и интерпретировать гомосексуальное партнерство в терминах, возникших из практики гетеросексуальных отношений. Когда члены геевской пары пытаются определить свой союз в *терминах* «семейных отношений», это неизбежно влечет за собой требование установления в такой паре и соответствующей *практики* отношений. Или, в лучшем случае, заставляет рассматривать (точнее, оценивать) подобный союз с точки зрения его соответствия такой практике. Ведь в семье как социальной структуре находят отражение взгляды на желаемое и нормативное поведение партнеров (Коллинз 2000). Ни одна из геевских пар-информантов не практиковала моногамные сексуальные отношения. Причем все пары, которые называли себя «гей-семьей», имели одну и ту же структуру: один партнер, декларирующий (и почти всегда практикующий) моногамность в партнерских отношениях, тогда как другой — обязательно промискуитетный. При этом моногамный партнер всегда «страдает» от промискуитетности своего избранника, тем не менее оправдывая свой выбор именно такого человека для создания семьи и декларируя свою принципиальную «несхожесть» с ним только в аспекте отношения к внепартнерским связям: «Да, Сашка там иногда флиртует. Но я виду не показываю, хотя никто не знает, что в это время у меня на душе делается... Ну, человек он такой. Я — другой. Но я же именно его выбрал. Значит, он мне такой и нужен» (Саша, 30 лет). «Расщепляясь» таким образом, один член пары выполняет функцию «цитатного» воспроизведения и поддержания публичного образа «МЫ-семья», тогда как

другой осуществляет функцию поддержания внутреннего контекста геевской идентичности (через промискуитет как способ утверждения и проявления содержания этой идентичности).

То, что «напряженные», а не гармоничные отношения в гомосексуальных парах выступают фактором возникновения стабильного и длительного партнерства, подтверждается и в цитированном выше исследовании Р. Айсэя (Isay 1993, 82—93). Однако напряжение может возникать на различных основаниях и иметь как конструктивный, так и деструктивный потенциал для развития парных отношений у геев. Если, вслед за Р. Айсэем, возрастные, этнические, статусные, личностные, ролевые различия можно считать стабилизирующими (конструктивными), то «расщепление» имеющих у обоих партнеров сходных — вследствие наличия общей геевской идентичности — социально-психологических личностных характеристик в конечном итоге неизбежно приводит к «износу» партнерских отношений и усталости от борьбы с «ветряными мельницами» сексуальных «измен».

На сегодняшний день социальная практика такова, что самое важное условие трансформации гомосексуальных союзов в альтернативные семьи отсутствует: эти отношения никак не санкционированы и не регулируются внешним образом. Потенциально их можно превратить в альтернативные семьи, придав им легитимный характер и разрешив иметь приемных детей. Но будет ли брачная, по сути, форма семейных отношений адекватной описанным здесь механизмам гомосексуального партнерства? Не приведет ли экстраполяция брачных отношений к разрушению этого союза вместо его укрепления? Не следует ли тогда вести речь не об альтернативной форме семьи, а об альтернативной по отношению к семье форме партнерских отношений?

Гетероцентричные социокультурные пространства с разной степенью толерантности всегда будут накладывать на гомосексуальность гетеросексуальный стандарт отношений. Подчинение этим стандартам неизбежно будет вызывать у представителей геевского сообщества, сформировавших зрелую гомосексуальную идентичность, эмоциональный дискомфорт и неадекватный коллективный образ партнерства («МЫ-семья»). Определяемые такими нормативами формы поведения препятствуют осознанию в гомосексуальном сообществе отвергаемых представлений о реальных практиках отношений и приводят к безуспешному и постоянному поиску несуществующего «идеального» партнера-гея, который бы «не гулял», «был моногамным» и соблюдал права исключительной

собственности на сексуальность. В качестве реакции на невозможность найти подобного партнера может сформироваться стремление искать себе постоянного партнера из «доминирующей» группы мужчин с гетеросексуальной идентичностью (тем более что среди них сейчас не редкость так называемые «мужчины, имеющие секс с мужчинами»). Однако для гетеросексуальных мужчин, которые толерантны к гомосексуальным актам, связи с геями всегда остаются дополнительным элементом, вносящим всего лишь разнообразие в их сексуальную жизнь. Такие гетеросексуалы вряд ли захотят создавать «семью» с геем, хотя будут регулярно иметь с ним сексуальные сессии. Хотя действительно они-то — толерантные к гомосексуальности гетеросексуалы — реально и являются наиболее подходящими «семейными» партнерами для геев, которые видят в гетеросексуальной модели семьи идеал семьи геевского типа. Иногда они и образуют с геем длительные партнерства, внешне напоминающие гей-семью. Пока не найдут себе достойной замены гомосексуальному партнеру среди лиц противоположного пола. Ситуация для гея — безвыходная.

Не потому ли устойчивость гомосексуальных союзов такая редкость, что, называя себя «семьей», они тем самым имплицитно ограничивают формы своих отношений прокрустовым ложем гетеросексуальных представлений о семье? И не потому ли устойчивы некоторые из таких союзов, что рожденные в них «семейные мифы» неосознанно поддерживают в партнерах проявление неприемлемых качеств, поощряя на те формы поведения, которые каждый из них не желает реализовывать сам? В первом случае отношения сами собой быстро разваливаются вследствие появления ревности как чувства угрозы обладанию исключительным правом на тело партнера со стороны «чужих», не являющихся частью пары. Во втором случае развивается хроническая усталость партнеров от поддержания неадекватного образа «мы», а удовлетворение «запретных» потребностей и реализация сути своей идентичности сопровождается переживанием неуверенности в будущем таких отношений, повышенной тревожностью и возникновением чувства вины. Сознательный отказ от обозначения стабильной гомосексуальной пары через понятие семьи позволяет выделить из структуры последней важный и существенный для таких пар компонент — партнерство.

Конструкт семьи обслуживает именно интересы гетеросексуального большинства общества и не приспособлен для удовлетворения потребностей сексуального меньшинства (за вполне понят-

ным исключением сообщества транссексуалов, для которых этот конструкт может оказаться адекватным). То, что в действительности образует гомосексуальные пары, есть именно партнерство как одна из подструктур современной семьи, но не далеко вся семья как социальный феномен.

По определению Я. Щепаньского, партнерство является нормированным социальным отношением, в котором происходит превращение чисто личного чувственного влечения в устойчивое взаимное приспособление и взаимодействие, регулируемое только моральными принципами и поддерживаемое разделяемыми обоими партнерами ценностями (Щепаньский 1969, 144—147). Оно всегда предполагает свободный, неинституциональный характер связи, гендерное равноправие обязанностей и привилегий, а также отсутствие отношений собственности в паре (в семье именно эта сторона регулируется браком).

Конструирование стабильных гомосексуальных союзов не через понятие «семьи», а с помощью понятия партнерства не стоит рассматривать только как постмодернистскую игру словами. Этот процесс позволяет увидеть решение действительных проблем гомосексуальных «семей», оказавшихся заложниками скрытого плана нормативной гетеросексуальности в организации своей гомосексуальной совместной жизни.

Валентина Котогонова

ТРАНССЕКСУАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

*Всеобщая декларация прав человека.
Статья 16, часть 1*

Прогрессивный взгляд на транссексуальность в русскоязычной литературе на сегодня практически отсутствует. По-прежнему сохраняется и даже увеличивается разрыв между нездоровым интересом к экзотике в желтой прессе и статьями медицинских журналов. Страница «транс» на www.gay.ru может рассказать вам душераздирающие криминальные истории, полные гомофобных слез письма из провинции и минимум доморощенных сведений о гормонах, полуподпольных хирургах и психиатрах-убийцах.

На Западе подобная проблема давно вышла из разряда маргинальных. Всюю рекламируются различные услуги для транссексуалов (TS), начиная от магазинов специализированной одежды, обуви и салонов красоты и заканчивая клубами досуга для смешанных семей TS + *gentrust*¹ и психоаналитиков для детей трансгендеров. У нас приходится пока только вздыхать над некорректными пассажами о TS, которые позволяют себе выносить на публику известные люди.

¹ *Gentrust* — дословно: «доверяющий гендеру», новое слово, обозначающее гетеро- или гомосексуального партнера транссексуала.

Транссексуализм: краткая история понятия и явления

Первые описания патологического стремления изменить свой пол, что обозначалось как «превратное ощущение своего пола» или «сексуально-эстетическая инверсия», относятся к середине прошлого века (Миланов и др. 1999, 5—6; Ellis 1915; Ellis and Sumonds 1986). В истории косвенное упоминание о транссексуалах можно найти у Геродота. «Описывая скифов, Геродот рассказывает об одной типичной для них болезни: мужчины становятся женственными по характеру, надевают женское платье и занимаются женскими работами. Они называются “энеями”» (Клейн 2000, 196). В римской мифологии также описаны случаи половых трансформаций. Так, в своих *«Метаморфозах»* Овидий рассказывает о знаменитом греке Тиресии, который достоверно знал, какой из двух полов заключает в себе большее сексуальное желание, так как, прожив семь лет в образе женщины, знал обе стороны любви. Феномен того, что мужчины в течение жизни живут в роли женщин, известен и индейцам. Описание «бердачей», например, можно найти у Пола Рассела в книге *«100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок»*:

Этот человек был мужчиной, одетым в женское платье, и его пол настолько тщательно скрывался, что в течение нескольких лет у меня не было сомнений в том, что это женщина. Кое-кто провозгласил его гермафродитом, однако эти рассказы не внушали доверия, и я продолжала считать Ви-Уа женщиной; и... в племени к нему обращались всегда как к «ней», следуя традиции говорить о мужчинах, которые облачаются в женское платье, как о женщинах... Она была самая высокая среди зуни и, безусловно, превосходила своих соплеменниц как умственно, так и физически. Цвет ее кожи напоминал цвет кожи китайцев, у многих зуни было похожее телосложение... Ее память легко воспринимала практические знания своего народа и все, что она слышала из внешнего мира. Она обладала несгибаемой волей и неутомимой жадной знаний. Ее пристрастия были невероятно сильны. Она все бы отдала за то, чтобы служить тем, кого любила, однако была мстительна по отношению к тем, кто мешал ей. Ее считали строгой, но справедливой (Рассел 1996, 67).

В 1910 году Магнус Гиршфельд ввел понятие *«транссексуализм»* и опубликовал под этим названием монографию с казуистическим и историческим материалом. Однако различную типизацию он заимствовал у д-ра Крафт-Эбинга (Крафт-Эбинг 1984), который,

описывая метаморфозы сексуальной паранойи, различал два варианта: 1) вариант, когда это сексуальное состояние врожденное и одновременно единственно возможное для половой функции; 2) вариант, когда это состояние не является врожденным и проявляет себя как временная аномалия при нормальной половой ориентации индивидуума в дальнейшем. Здесь впервые звучит различие между продолжительной тотальной транспозицией половой идентичности (*транссексуализм*) и проходящей частичной половой идентичности (*транссвестизм*). В 1928 году Эллис написал работу «*Исследования психологии сексуальности*», где он тоже выделил две группы: в первую он отнес людей, одевающихся, как противоположный пол, а во вторую — людей, относящих себя к противоположному полу.

В 1923 году Магнус Гиршфельд впервые использовал выражение «транссексуализм души», что не было тогда принято во внимание, и только в 1949-м понятие «психопатия транссексуализма» было использовано Колдуэлом и Бенджамином. В 1953 году последний дал разъяснение понятию «транссексуализм», впервые описал это явление с научной точки зрения и предложил отграничить это понятие от транссвестизма. Продолжая свою научную деятельность, он в 1964 году как невропатолог доложил о 125 транссексуалах (108 мужчинах и 17 женщинах), а в 1966-м вышла в свет его монография «*Феномен транссексуализма*». В монографии он описывает 152 наблюдения транссексуалов, у 51 из которых были выполнены операции по смене пола в Дании, Голландии, Швеции, Мексике, США и Марокко (Benjamin 1966).

В 70-х годах отмечено увеличение числа операций по смене анатомического пола в Скандинавии, Англии, Франции, Германии. Однако это увеличение показало значительную ограниченность результатов оперативного лечения. Подобное накопление опыта и оценка результатов привели к тому, что после чрезмерного увлечения хирургической «переделкой» пола в 60—80-е годы наступил период не только сдержанности, но порой и отрицания по отношению к данной проблеме. Таким образом, транссексуализм (эонизм, сексуально-эстетическая инверсия, психический гермафродитизм) можно определить как патологическое состояние личности, заключающееся в полярном расхождении биологического и гражданского пола, с одной стороны, с полом психическим — с другой. Иными словами — нарушение половой самоидентификации, которое заключается в несоответствии чувства своей половой принадлежности характеру наружных половых органов, т.е. стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу.

Сочнева З. Г. (1988) и Бухановский А. О. (1993) определяют транссексуализм как внутреннюю убежденность пациентов в принадлежности к иному полу при отсутствии психотической симптоматики, ненависть и отвращение к собственным природным половым признакам, стремление ассимилироваться в обществе среди лиц противоположного пола, а также настоятельное требование трансформации телесного пола. Диагноз «транссексуализм» ставят только после исключения психических отклонений взрослым и подросткам, достигшим половой зрелости и желающим изменить свои половые органы и жить как представители другого пола. Человек с транссексуализмом чувствует себя либо мужчиной, заключенным в тело женщины, либо наоборот. В гармонично организованном теле определенного пола живет «ино-полая» душа, и эта душа не только живет, она чувствует, мыслит, страдает, испытывает желания и влечения, которые не может реализовать. Транссексуализм официально включен в «*Международную классификацию болезней, травм и причин смерти*». Несмотря на это, в нашей стране данное заболевание практически не изучалось и в профессиональной литературе представлено не было. Это делало его неизвестным для подавляющего числа современных практикующих врачей (Бухановский 1993).

Попытки толкования патогенеза транссексуализма с позиций чисто психиатрических в настоящее время окончательно оставлены. В поисках биологического субстрата, создающего эндогенно-конституциональное предрасположение к транссексуализму, был выявлен реальный факт существования половой дифференциации мозга (Бухановский и Андреев 1985). Также стало известно, что к искажению полового самосознания и ощущению принадлежности к другому полу приводят грубые нарушения дифференциации структур мозга, ответственных за половое поведение.

Выраженность нарушения половой дифференциации может варьироваться в широких пределах, что объясняет многообразие клинических вариантов транссексуализма — от ярких «ядерных» до стертых «краевых» форм. Распространенность транссексуализма в мире, по данным различных авторов, колеблется от 1: 40 000 до 1: 100 000 населения. Транссексуализм встречается практически во всех этнических группах, несмотря на значительные культурные различия, что может служить косвенным доказательством наличия его биологической основы. Данных о распространенности транссексуализма в нашей стране нет (Миланов и др. 1999, 16—17).

Если попытаться нарисовать портрет современной российской адаптированной «транссексуалки»², то это, скорее всего, будет женщина 30—40 лет, неоправданно резко порвавшая с прошлым, перебравшаяся в Москву или Санкт-Петербург, прошедшая через гомосексуальный опыт, имеющая не разрешимые до конца проблемы выбора партнера плюс полный маргинальный «букет» из проблем с пропиской, жильем, работой и признанием. Другая категория — это те, кто сумели сделать операцию и сменить документы в годы «первого кризиса», т.е. в 20—21 год, и для которых вследствие этого путь к образованию был отрезан, они пополняют ряды проституток и разного рода шоу. Тех, кому повезло меньше, подхватывает мутный поток криминала, и в конце концов они попадают в тюрьму. Таких тоже немало, обычная история: пыталась заработать на операцию, одежду, взятки чиновникам и психиатрам криминальным путем, так как честно у нас эти 5—7 тыс. долларов не заработать, и в результате — срок.

Сам собою напрашивается вопрос: если транссексуализм включен как тяжелое заболевание в реестр болезней ВОЗ и Российского реестра заболеваний, то почему транссексуалам не дают группу инвалидности, чтобы наш прожиточный минимум не равнялся «нулю»? Почему обследования для смены документов и операции восстановления пола не оплачиваются по полису обязательного медицинского страхования? Человек, который решил восстановить пол, в современной России сталкивается со стеной непонимания и дискриминации. Якобы существующие «легальные» пути на поверку оказываются сплошной липой. Психиатр по месту жительства, скорее всего, посоветует «выбросить эту дурь из головы и найти сексуального партнера», а если вы будете настаивать, упеет вас на одно-двухмесячное «обследование» на предмет шизофрении. В этом отношении наша медицина отстала от стран Европы лет на двадцать. Например, в Голландии тесты на транссексуальность проводятся во всех младших классах государственных школ, и выявленные дети обязательно проходят курс у психоаналитика, который разъясняет им, что их чувства есть абсолютно нормальное явление. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге один сексопатолог попробовал было использовать тестирование по западному

² Для схематизации траектории изменений транссексуала здесь и далее будут использоваться две формулы — $M \rightarrow J TS$ и $J \rightarrow M TS$, — обозначающие смену пола с мужского на женский в первом случае и с женского на мужской — во втором.

образцу для транссексуалов и угодил за решетку как пособник уклоняющимся от службы в армии. Разного рода взятки и вымогательства расцвели пышным цветом в этой области. Если вы не сколько лет обивали пороги ЗАГСов, клиник и психушек и в вас «увидели неисправимого, кто сам хочет себя изуродовать», то вам предлагают вступить в заколдованный круг нашего законодательства, которое полно противоречий. Так, статья 70 Закона «Об Актах гражданского состояния», принятого в ноябре 1997 года, гласит: «Изменения, связанные с изменением пола, вносятся на основании документа, выданного медицинским учреждением, в котором указано, что пол изменен». Каким медицинским учреждением, документы какой формы, кем вносятся и куда? На практике существуют циркуляры Минздрава для психиатров (1999) и хирургов-андрологов (1994), которые противоречат друг другу и предписывают взаимоисключающие вещи. Так, на кафедре эндокринной психологии (sic!) Московского научно-исследовательского института сексопатологии и суицидологии при Институте психиатрии им. Ганнушкина вам скажут, что документы меняются после операции, а хирурги в Санкт-Петербурге и Москве боятся делать операции вагино- и фаллопластики, так как это по существующему УК является членовредительством.

Паспорт меняется по месту рождения на основании нового свидетельства о рождении, в котором будет написано «повторное». В связи с тем, что сейчас многие законы в регионах противоречат общегосударственным, то и чиновник из провинции может снова отправить вас в Москву. Но если вы дали взятку и вам удалось сменить паспорт, то это еще не гарантия того, что все остальные документы, полученные вами ранее, будут вам также сменены. Это касается трудовой книжки, аттестата, дипломов, полиса медицинского страхования, документов на имущество, загранпаспорта. Вы ни за что не «разведетесь» с вашим старым супругом/ой и потеряете право на своих детей, если таковые имеются. И все это на фоне ежедневного риска для здоровья и жизни со стороны уверенных в своей правоте хулиганствующих гомофобов. Немудрено, что до зрелого возраста при таких обстоятельствах доживают единицы, а число сделавших операцию и «адаптировавшихся» к новому гендеру, вернее, к постоянной дискриминации по половому признаку, в России не превышает 50—100 человек. По статистике стран Западной Европы, на 60 000—70 000 человек приходится один транссексуал, так что в таком городе, как Санкт-Петербург, нас должно быть не меньше сотни, а всего в стране — около двух тысяч.

Особенностью течения транссексуализма в нашей стране является высокая отягощенность суицидальным поведением. Различные его проявления отмечены у 86,4% пациентов. В определенной мере, по мнению проф. Бухановского, это связано с репрессивной половой моралью и общественной агрессией в отношении лиц с сексуальными отклонениями. Он также отмечает, что фактически можно говорить о социальной дискриминации лиц, страдающих транссексуализмом, так как, встречаясь с неизвестным и непонятным феноменом транссексуализма, общество ведет себя недостаточно цивилизованно, что проявляется тем набором общественных санкций, с которыми пришлось столкнуться всем обследованным им пациентам: непонимание, вплоть до отрицания этого феномена — 87,6%; осуждение, вплоть до презрения — 78,1%; удивление, вплоть до любопытства — 75,1%; директивное принуждение и пресечение, вплоть до административного и физического воздействия и побоев — 27,9%; табуирование, вплоть до запретов и изгнания (из трудового или учебного коллектива, неформальной группы, гостиниц, самолетов и прочее) — 37,2%. Суицидальное поведение при транссексуализме отражает неразрешимый характер возникших в связи с дисгармонией личности противоречий. Подсказываемые окружающими способы разрешения ситуации сами пациенты не принимают, а способы, которые были бы им известны, сведены к нулю. Единственно приемлемой для пациентов формой разрешения транссексуальных конфликтов, прекращения мучительных страданий и способом обретения внутренней гармонии может стать приведение биологического и паспортного пола в соответствие с полом психическим. Ни объяснения врачей о калечащей сути требуемых операций, ни осознание невозможности существенного изменения биологического пола с созданием полноценного организма не меняют установки пациентов. Именно появление данного убеждения знаменует собой апогей формирования транссексуализма и максимальную степень выраженности симптома отвергания пола — «возникновение транссексуальной установки на его изменение» (Laub D. R. 1974).

Трансексуализм — официально признанное на территории бывшего СССР психическое расстройство. Лица, страдающие транссексуализмом, имеют гарантированное, но не реализованное Конституцией РФ (ст. 41) право на охрану здоровья и оказание им медико-социальной помощи. Изменение пола в бывшем СССР было официально разрешено и остается действующей на территории России практикой при «гермафродитизме». Трансексуализм,

как и иные формы гермафродитизма, до выделения в самостоятельную форму назывался «психическим гермафродитизмом» и под этим названием до сих пор значится среди государственных стандартов «*Универсальной десятичной классификации*» под шифром 616.89-008.442.36 (Миланов и др. 1999, 16—17).

Трансексуальные семьи: типология и практики

Прежде чем приводить примеры семей с участием транссексуалов (TS), необходимо перечислить их основные типы:

- а) Неадаптированный³ TS + гетеросексуал(ы);
- б) Неадаптированный TS + гомосексуал;
- в) Адаптированный TS (непрооперированный — *pre-op*) + гетеросексуал(ы);
- г) Адаптированный TS (*pre-op*) + гомосексуал;
- д) TS (прооперированный — *post-op*) + гетеросексуал(ы);
- е) TS (*post-op*) + гомосексуал;
- ж) TS + TS;
- з) TS + ребенок.

Нетрудно увидеть в перечисленном списке две отличающиеся друг от друга группы. Имитирующие традиционную семью — группы **а**, **г**, **д** и новационные типы — **б**, **в**, **е**, **ж**, **з**. Это разделение обусловлено целым рядом причин, которые можно было бы определить как 1) сексуальная ориентация транссексуала, 2) соотношение между качеством адаптационных признаков транссексуала и их стереотипами в обществе, т.е. степень адаптированности к большинству, 3) субъективные.

Безусловно, что первая группа семей — наибольшая по количеству. По самым приблизительным подсчетам, исходя из общепринятого среднего мирового статистического соотношения (один транссексуал на 60—70 тыс. чел. населения) и учитывая общую численность населения России в 146,7 млн чел., семей группы **а** в России должно быть порядка 2200. В это число я включаю и те семьи, где транссексуал приходится дочерью/сыном или род-

³ Имеется в виду адаптация к новой половой роли.

ственником главы семьи. Определить количество семей типа **а**, где TS является супругой(ом) сложнее. По данным «*Российского статистического ежегодника*» на февраль 2001 года, в стране было 42 млн семей, в которых проживало 130 млн человек. Средняя, полная семья в современной России — это 3 человека, из которых двое — супруги. Поэтому приблизительное количество супругов в России — около 84 млн чел. Применяя те же расчеты, получаем приблизительно 1300 TS, приходящихся кому-то мужем или женой. На деле их, вероятно, еще меньше, так как TS в среднем реже вступают в брак и живут в нем. Кроме того, смертность среди TS выше средней по множеству причин: гендерная дисфория, склонность к суициду, отрицательное влияние гормонотерапии и оперативных вмешательств ухудшают качество жизни и ее продолжительность. Итоговая минимальная группа в 1000 человек, к тому же расплывчатая социально и территориально, не представляет общества или меньшинства в известном смысле этого слова. Тем не менее, концентрируясь в столичных мегаполисах, транссексуалы образуют подобие субкультуры, которая может дать для исследователя массу уникального материала, являясь своего рода «лакмусовой бумажкой», по которой можно в ускоренном темпе, как бы в неких «лабораторных» условиях, проследить динамику трансформации и взаимодействия человека в среде меняющегося по отношению к нему гендера и наоборот. Нужно сказать, что в подавляющем числе стран эта возможность пока упускается из виду.

Традиционные семьи

Приведу три примера типичных ситуаций в семьях группы **а**.

Южно-Сахалинск. Семья из четырех человек: мать, отец, дочь + неадаптированная **М→Ж** TS, по паспорту — Андрей (26 лет), называющая себя в интервью Кристи. Образование высшее, работает программистом в госструктуре. Женский гендер в семье и на работе не проявляет. Участвует в интернет-конференции транссексуалов России и СНГ.

К.: Росла нормальным мальчиком, если не считать, что никогда не нравились подвижные игры, там в футбол, в войну. Тянулась к девочкам, но они, особенно в первых классах школы, перестали впускать меня в свои игры. В школе я училась хорошо, но все более замкнуто по отношению к остальным. Друзей почти нет. Пришлось отслужить в армии два года, — это было нестерпимо тяжело. Потом учеба в техникуме, работа. Личной жизни также практически нет, я только в мечтах могу представлять себя с мужчиной, но понимаю, что они не-

быточны. Нахожу отдушину в компьютерных играх, где играю женские роли. Пишу стихи. Об операции и смене пола не думаю, хотя и мое сегодняшнее положение меня все более тяготит. С восхищением слежу за успехами подруг по конференции. Но я не могу открыться родителям, это будет катастрофа, ведь мы очень дружная семья!

Сосновый Бор, Ленинградской обл. Семья из трех человек: мать, отец + неадаптированный **Ж→М** TS, по паспорту — Алена (25 лет), называет себя Юрием.

Ю.: Моя душа раздваивается. Родители во мне души не чают. Я живу больше для них, чем для себя. Можете себе представить, что я когда-то побеждал на конкурсе «мисс города»! Я пробовал убежать, начать новую жизнь в Петербурге, для этого пришлось даже состричь мои роскошные белокурые волосы, на которые я вылил банку нитрокраски, чтобы оправдаться перед родителями. Потом было очень трудно, нигде было жить. Мне пришлось оформить фиктивный брак с транссексуалом-мужчиной, у которого уже были сменены документы и была питерская прописка. Целое лето я скитался по квартирам, но потом понял, что не смогу жить такой жизнью, и вернулся к родителям. Сейчас мне тоже очень тяжело, потому что я не могу выйти замуж за тех, кого мне прочат в женихи, и не могу играть роль всеми любимой «красавицы», когда сама не являюсь женщиной в душе.

Санкт-Петербург. Семья из трех человек: неадаптированный **М→Ж** TS Сергей (называет себя в женском роде, 28 лет, образование среднетехническое) + гетеросексуальная женщина и их годовалая дочь.

С.: Я не могу рассказать об этом психиатру. Что будет с дочерью, с женой? Посоветуйте, как мне быть, я живу на грани отчаянья! Спасает только чувство ответственности за семью и желание заработать денег, чтобы вырастить дочь.

Волгоград. Марина (23 года, по паспорту Владимир) неадаптированная **М→Ж** TS + гетеросексуальная женщина (официальная жена) + ребенок 3 лет.

М.: Мы очень любим друг друга. Жена понимает меня. Мы нашли выход из положения в том, что я неделю работаю как мужчина, а на выходных передеваюсь в женскую одежду, и мы вместе гуляем по городу.

Подытожив, можно сказать, что из 17 интервью, проведенных в течение последних трех лет, у меня сложился портрет неадаптированного транссексуала, которая/ый, потеряв личные императивы в созданной семье, вынужден/а подстраиваться к сексуально-

сти партнера/ши, играть чужую гендерную роль. Такие состояния, если они не бывают прерваны суицидом, могут продолжаться довольно долго. Самым старшим из этой группы М→Ж TS был человек 54 лет (Кемеровская обл.), пытавшийся восстановить женский пол и гендер, но прекративший попытки в прошлом году из-за многочисленных отказов. Имеет взрослых сына и дочь от брака с женщиной. Несколько лет в разводе.

Новационные типы семей

В России и странах СНГ только молодые транссексуалы (в возрасте до 20 лет) сравнительно проще адаптируются в новой гендерной роли и в целом более мобильны, чем их старшие друзья по несчастью или счастью — сложно сказать. Как правило, они уже находятся в более терпимом к сексуальному выбору окружении сверстников и относятся к предстоящей смене пола как к сложному, но необходимому и планируемому этапу своей жизни.

Подгруппа семей или партнерских пар г встречается гораздо реже и в большинстве известных мне случаев является собой переходное состояние в подгруппы е и д. На Западе такие транссексуалы, включая тех, кто проводит гормонотерапию, пластику груди, но не делает вагинопластику, называются «ши-мэйл». Приведу несколько примеров.

Семья из двух человек. Джулия (31 год), транссексуалка типа М→Ж. Имеет диагноз психиатрической комиссии, подтверждающий транссексуальность. Операцию не делала. Сексуальные контакты с мужчинами с 12 лет. Чтобы заработать на гормоны, одежду и операцию, вместе с партнером участвовала в ограблениях квартир. Отбывала срок в Херсонской обл., где имела постоянного партнера, за которого после освобождения вышла замуж по поддельным документам.

Семья из трех человек. Мария (37 лет, Екатеринбург) М→Ж TS + гомосексуальный мужчина + ребенок от первого брака. Собирается делать операцию, сменила документы и проводила гормонотерапию.

Партнерская семья из трех человек: Галина (29 лет, Нижний Новгород) М→Ж TS + женщина-бисексуалка + ребенок партнерши. Галина находится на этапе смены пола.

Подгруппа д многими транссексуалами рассматривается как цель и одновременно наряду с усыновлением ребенка как оправ-

дание своей трансформации перед гетеросексистскими стереотипами в обществе. Хотя, конечно, отнюдь не все из них и не всегда приходят к такому пониманию. Ваша покорная слуга также не избежала сей участи, поэтому включу в описание отрывок из собственного семейного опыта.

Семья из двух человек. Санкт-Петербург. Валентина М→Ж TS (35 лет, послеоперац.) + гетеросексуальный мужчина. Год официальной семейной жизни, конфликты по поводу имущества и распределения семейных обязанностей привели к разводу.

В.: Муж считал, что мне будет полезно забыть опыт мужской социализации и посвятить себя исключительно заботам о его удобствах. Попытки устроиться на работу не приветствовались мужем, так же как все мои контакты с людьми из «прошлого». Можно сказать, что он старательно пытался вытравить из меня самостоятельного человека. Я отношу это на счет его комплексов и страха потерять доминирующее положение в семье.

Семья из трех человек. Санкт-Петербург. Владимир Ж→М TS (37 лет, послеоперац.) + гетеросексуальная женщина и ребенок, рожденный Владимиром до операции:

В.: Работаю проводником в поездах дальнего следования. Разные бывают пассажиры, кто-то назовет «женщиной», кто-то «мужчиной», а я не обижаюсь, мне все равно, лишь бы не обижали. Иной раз хожу в юбке, иногда в брюках. Танечке [жене] трудно вести домашнее хозяйство, она и яичницу-то толком не знает, как приготовить, поэтому все на мне. С сестрой тоже проблемы — у нее нелады в семье. Мой паспорт весь перештампован вдоль и поперек — это я «женюсь» на «трансах», чтобы им в Питер перебраться можно было.

Семья из двух человек. Санкт-Петербург. Алевтина М→Ж TS (42 года, послеоперац.) + гетеросексуальный мужчина.

А.: Я — депутат местного самоуправления, целыми днями на работе, устаю, но вполне счастлива. Зная, что есть любимый человек, дом, что-то общее между нами. Мечтаю удочерить девочку или усыновить мальчика, но не знаю, смогу ли.

Нетрадиционные формы семейной организации

Члены семьи подгруппы б: неадаптированный TS+ гомосексуал(ка) обычно создают временные или долговременные пары, в за-

висимости от пола транссексуала. Если это биологический мужчина, то союз, как правило, будет временным, потому что транссексуал будет так или иначе стремиться к восстановлению истинного гендера, и опыт показывает, что активным геям обычно не нравятся такой ход событий. Поэтому партнерская пара рано или поздно распадается. Вариант семьи, на мой взгляд, Ж→М TS + лесбиянка более адаптивен в России, поскольку, с точки зрения общественного мнения, ничем не отличается от простой лесбийской пары или совместного проживания двух женщин по экономическим причинам. Вот типичные примеры:

Лайма (паспортное имя узнать не удалось), М→Ж TS (дооперационная, 29 лет, живет в Москве)

Л.: С родителями только сейчас начали восстанавливаться отношения. А так я уже восемь лет с ними не живу. Еврейская семья, а тут такое, ну вы понимаете! Мне пришлось самой добывать свой хлеб с маслом. Тем более что они выписали меня из квартиры. Работали с подружкой, тоже транссексуалкой, в ночном клубе — она танцевала в шоу, а я в баре, за стойкой. На жизнь, конечно, не хватало. Первый постоянный партнер ходил в рейсы, он был дальнобойщиком — я его сильно любила. Но он не терпел моих «фантазий» на тему «бабских прибабасов». Потом с работой не заладилось, подружка уехала в Голландию и вышла замуж. Вначале я ей завидовала, а теперь многое узнала о ее муже, и эйфория прошла. Знаете, он ей даже на кока-колу деньги не дает, представляете, все считает, каждую копейку. Она сидит дома и не работает. Зато он ей внешность «сделал», отпадную! Но я все равно не хотела бы себе такой жизни. У меня сейчас нет постоянного мужчины. Работаю в магазине одежды, пью гормоны и все больше становлюсь похожей на женщину. Прохожу обследование. Мой психиатр — гей, представляете!

Партнерская семья: Алекс (по паспорту Ольга), Ж→М TS (дооперационная, 27 лет, живет в Москве) + гомосексуальная женщина.

А.: Работаю водителем трамвая. Наших [ЖеМ TS] много работает трамвайщицами. С подружкой живем уже лет шесть. Она работает в церкви, одной из этих, современных. Мы снимаем квартиру, хотя с моими и ее родителями отношения хорошие. Операцию я делать не хочу, выгляжу и так хорошо.

Интересно проследить отношения внутри семейных пар подгруппы **в** (адаптированный в новой половой роли TS (дооперационная) + гетеросексуал(ка)). Гетеросексуальные партнеры транссексуалов носят английское название «джентраст». Как ни странно, по всей

видимости, это не просто люди с расширенным сознанием и отсутствием гендерных стереотипов, а нечто другое. Я бы отнесла их к одной из категорий сексуального предпочтения, наподобие тех, кому сексуально нравятся лица определенной расы, возраста или инвалиды. В данном случае я не употребляю термин «сексуальная перверсия», считая его некорректным для людей с адекватным поведением.

Партнерская пара из двух человек. Николай (возраст неизвестен, Санкт-Петербург), адаптированный в новой гендерной роли Ж→М TS (дооперационная) + гетеросексуальная женщина.

Н.: Мы познакомились на автобусной остановке у больницы. Я проходил очередное обследование в институте Бехтерева для получения разрешения на смену пола, а она приезжала навещать свою маму. Наверное, мы очень подходим друг другу. Я не остановлюсь, пока не добьюсь своего. Я нетерпеливый и упрямый. Маша, наоборот, может долго ждать и нести успокоение. Самое интересное, что она сама никогда не считала меня транссексуалом, а просто человеком, мужчиной. Это непостижимое качество! Наверно, в ней очень много, с избытком много женского, женской энергии и понимания.

Партнерская пара из двух человек. Валентина (32 года, Санкт-Петербург), адаптированная в новой гендерной роли М→Ж TS (дооперационная) + гетеросексуальный мужчина.

В.: Петр старше меня на 19 лет. Он был женат, у него взрослая дочь. До меня он жил больше года с женщиной 24 лет, которая хотела сменить пол на мужской и осуществила это «наполовину», удалив молочные железы. Он был шокирован всем этим и замкнулся в себе. Этот транссексуал и познакомил нас, подумав, что Пете я могу понравиться. Так и произошло. Мы — два одиночества в этом жестоком и нетерпимом мире. Это человек с непростой судьбой, он много путешествовал. В детстве я прочла о нем в одной книжке про полярников в Антарктиде. Непостижимо, но мы встретились. Я понимаю, какое сильное давление на него оказывают соседи (мы живем в коммуналке), на работе и просто на улице. Кажется, что все эти смешки и двусмысленные взгляды не задевают его, но это не так. Он очень нежный и ранимый. Я за ним как за каменной стеной.

Перейдем к примерам из группы **е** (адаптированный в новой половой роли транссексуал, сделавший операцию, + гомосексуал(ка)). На первый взгляд, между этой подгруппой и подгруппой **б** мало различий, однако это не так. Как правило, такие семьи и партнерские взаимоотношения создаются TS, имевшими с тем

или иным успехом сожительство с гетеросексуальным партнером, но опыт создания такого союза не удовлетворил имевшихся (во многом — идеалистических) ожиданий. На Западе таких TS иногда называют «трансгомосексуалами». На самом деле нужно сказать, что у TS гендерные проблемы настолько заслоняют собственно сексуальность, что иногда нет достаточного поля выбора партнера или партнерши. Отдаленно это можно сравнить с ситуацией в замкнутых монополюсовых сообществах (тюрьмы, армия и т.п.). Только в случае с транссексуалом сексуальный выбор определяется, с одной стороны, гендерными стандартами всего общества и сложным набором психокультурных особенностей партнера — с другой. Лавируя между этими гендерными Сциллой и Харибдой, внешние проявления сексуальности TS приобретают максимальный аморфизм, а предпочтения внутреннего «Я» отодвигаются на второй и третий планы.

Приведу часть рассказа о такой ситуации одной из моих знакомых. События, о которых говорится, разворачивались у меня на глазах. Типичная транссексуалка типа «женское мышление» в мужском теле и мужском гендере, прошедшая весь невероятно трудный путь из далекой провинции в столичный город, за 9 долгих лет восстановившая свой истинный пол и гендер, она имела опыт партнерства сначала с мужчиной-гомосексуалом, затем познакомилась с гетеросексуальным мужчиной, создала с ним семью, но в силу ряда причин через год рассталась с ним. Что же это за причины?

Анджела (30 лет, М→Ж TS, Санкт-Петербург):

Мы жили вместе, но все больше как бы сами по себе. Личная привязанность подверглась испытаниям. Теперь я понимаю, что играла роль жены, домашней хозяйки, которая наконец-то имела то, что хотела. Через год я начала ясно понимать, что так больше жить не могу. Мои запросы были гораздо выше, и я не могла отсечь свой мужской опыт. Я образованнее его, душевно и духовно более развита. Об этом мне говорили все, кто его знал, даже он сам иногда. У меня разрывалось сердце, потому что я понимала, что больше не найду гетеросексуального партнера никогда. Это был мой шанс. Но понимала я и другое: то, что я уже познала такое, о чем мой муж и не догадывался. То есть он, конечно, знал многое из моих рассказов, но я-то все прочувствовала на собственной шкуре и стала совсем другой. Не знаю — я, конечно, женщина, но женщина, имевшая экстремальный опыт (жизнь в мужском коллективе и в роли мужчины, армия, секс с гетеросексуальной женщиной и т.д.), и я уже не могла полностью вписаться в рамки такой простутки-жены, которая стирает, варит щи, делает ви-

негрет, печет пироги и ждет супруга с работы. О, я не хочу сказать, что в этом нет «кайфа» или что мне это было в тягость, нет. Я многому научилась от него: простоте взаимоотношений, семейственности, выходу из конфликтов. Я стала лучшей подругой с его бывшей женой, тещей и тестем. Наши взаимоотношения как бы переросли рамки обычной семьи, нам удалось стать по-настоящему друзьями. Мы имели почти одинаковое хобби — электротехнику, нам нравились одни и те же фильмы (просто я делала другие выводы), я рисовала, учила языки, имея квалификацию повара 4-го разряда, закармливала его вкусностями. Но... Понимаешь, он стал комплексовать, стусевываться, ему нечего стало преодолевать. Почву для конфликтов создавал он. А я стала понимать, что без них ему хорошо, он не может самореализоваться с женщиной, которая во всем его понимает и исполняет все желания. Я начала сопротивляться и отвечать. Внутренние силы были на моей стороне, а он шантажировал меня имуществом, деньгами, возможностью искать работу и вообще крышей над головой. Поэтому я стала искать лесбийских отношений, в клубах, на тусовках, в случайных связях. Стала нарочно поздно приходить домой, напиваться, устраивать сцены, сравнивать его сексуальные возможности с тем, что мне могли предложить мои новые подруги. Он упрекал меня в «неженскости», говорил, что я пропаду на панели, подхватю СПИД и все такое. Это кончилось страшной сценой: я стреляла в него из его же пистолета, слава Богу, промахнулась и осталась на свободе, только на улице сначала, ведь у меня не было своего жилья. Сейчас танцую в шоу транссексуалов. У меня есть подруга, с которой мы снимаем комнату в коммуналке. У нас есть кот-гермафродит, и нам хорошо втроем. Знаешь, грязь везде хватает, но я не жалею о том, что ушла от него. Мы — как две нежные подруги и не испытываем дискомфорта от того, следуем ли мы стереотипам или нет, а с «натуралом» это невозможно, они постоянно боятся, что не будут соответствовать мнению своих друзей, коллег по работе, стереотипам. А мне это надо?

Без сомнения, наиболее экзотический вид транссексуальной семьи — это союз из двух TS (подгруппа **ж**). В России мне известны единичные примеры как транс-гетеросексуальных, так и транс-гомосексуальных пар. В первом случае такую семью образуют два человека с «взаимобратным» изменением пола.

Геннадий (40 лет, Ж→М TS, послеоперац.) + Елена (25 лет, М→Ж TS, послеоперац.). Брак официально зарегистрирован, партнеры живут в браке 4 года.

Г.: Мы познакомились в клинике, когда я делал третью операцию, а жена первую. Когда я делал четвертую, то она уже присутствовала в операционной и держала меня за руку...

Л.: Если бы можно было «махнуть не глядя», трансплантировать органы, то мы бы это сделали или поменялись мозгами!

Трансгомосексуальная пара из двух Ж→М TS: «Drago» (33 года) + Дамир (29 лет) (настоящие имена узнать не удалось). Вместе живут 8 лет. Имеют дочь 10 лет, которую родил(а) Дамир до операций по восстановлению пола. Брак неофициальный. Имеется четкое разделение по признаку «активный»—«пассивный» партнер. Яркая маргинальность не мешает в быту. Отношения с родителями и соседями по дому ровные. Занимаются помощью мужчинам-транссексуалам: информация, предоставление квартиры на срок обследования и др.

Дамир: Когда дочка говорит в школе, что-то типа: «А мои папы сделали, а мои папы решили...», учительница, зная, какие это «папы», гладит ее по головке и говорит: «Бедная девочка...» Но, кроме шуток, у нас очень дружная и любящая семья, и дочь вырастет настоящим человеком, мы все для этого сделаем!

Говоря о семье «транссексуал + ребенок», можно сказать, что в России это всегда Ж→М TS, имеет ребенка до смены пола и рассматривается обществом, да и законом, все-таки как одинокая мать. Мне известен только один случай усыновления ребенка М→Ж TS в России. Вряд ли российский суд оставит ребенка (если таковой имеется) бывшему отцу (новой женщине) после развода с женщиной, которая является его биологической матерью. Вероятнее всего, будут проблемы и со встречами женщины-транссексуалки со своим ребенком. Хотя на Западе имеются прецеденты таких решений суда. Это показывает направление, в котором нужно двигаться и нашему правосудию. Приведу выдержку из статьи, опубликованной в канадской прессе:

Суд провинции Онтарио (Канада) постановил: «Решение отца изменить пол на женский не вносит изменений в обстоятельства, гарантирующие право отцовства».

Отмечая, что транссексуальность человека не является фактором, влияющим на его или ее способность быть хорошим родителем, недавнее постановление создает прецедент в законе о семье.

После того как Маргарет Салибу узнала, что Говард Форрестер, с которым она прожила три года и который является отцом ее дочери, решил стать женщиной... г-жа Салибу инициировала судебный процесс о лишении отца родительских прав. Отец ребенка, который официально поменял свое имя с Говарда на Лесли и изменил свою внешность на женскую, сейчас живет жизнью женщины, хотя и не делал пока никаких хирургических изменений в процессе перехода в женский гендер. До того, как транссексуальность партнера стала явной, пара имела договоренность о равной и поочередной опеке над дочерью.

Любой родитель, ищущий доказательства для изменения соглашения об опеке, в подобных спорах должен продемонстрировать суду, что возникшие изменения в доходах партнера могут негативно воздействовать на ребенка. В данном случае правосудие в лице Тео Волдер, судьи в Брэмптоне (Онтарио), постановило, что «прецедент транссексуализма, сам по себе, без дальнейшего свидетельства очевидности материальных изменений, не является отрицательным фактором в установлении родительства».

Джоанна Радборд, адвокат отца... сказала, что это решение сможет вдохновить других транссексуалов, которые часто пасуют в борьбе за сохранение своих родительских прав, полагая, что система правосудия будет против них. «Мы живем в трансфобной культуре... Однако проверка условий воспитания и обеспечения всегда исходит прежде всего из интересов ребенка», — сказала г-жа Радборд, описывая отношения между отцом и дочерью в этом случае как «удивительные».

«Лучшая вещь для ребенка в любом споре о попечительстве — это равный доступ к обоим родителям, — сказал в интервью отец. — Если вы действительно любите вашего ребенка и не желаете ему проблем, вы постараетесь сделать все, что в ваших силах, чтобы улучшить его жизнь».

На заседании судья Волдер сказал, что «имеются очевидные свидетельства того, что ребенок счастлив и у него сложились положительные отношения с обоими родителями. То воздействие, которое оказала на борьбу между сторонами эта маленькая девочка, просто удивительно. Вполне очевидно, что девочка очень хорошо воспитана, выглядит счастливой и здоровой; одним лишь ей известным способом она смогла принять перемены своего отца, продолжая поддерживать с ним нормальные отношения, хотя он теперь женщина в психологическом смысле».

Шестилетняя девочка, обращаясь к своему отцу, говорит и «мама» и «папа», хотя и осторожна в использовании слова «папа» в том случае, если их может услышать кто-то посторонний.

Отец говорит, что большинство людей не подозревает, что она — биологический мужчина, полагая, что они — мать-одиночка с ребенком: «Подумайте, что легче для детей и общества: просто принять факт наличия двух мам или иметь дело с нарастающим снежным комом проблем?»

Салиба и Форрестер начали жить вместе в марте 1994 года. Их ребенок родился в ноябре того же года... Они развелись в 1996 году и согласились на равное попечительство. В июле 1997-го транссексуальность Говарда стала известна Маргарет. «Нет сомнения, что новость о его транссексуальности и желание изменить пол с мужского на женский имели стрессовое воздействие на миссис Салибу», — сказал судья.

Процесс о родительских правах был начат весной 1999 года, когда стало ясно, что отец девочки адаптировался к жизни как женщина. Отцу было запрещено брать ребенка в «места, часто посещаемые транссексуалами». Как оказалось, в процессе перемены пола отцом

напряженность в отношении дочери не имела воздействия на саму девочку, которой было три года, когда процесс начался. Психологическая экспертиза подтвердила, что ребенок свободен от любых проблем с самоидентификацией.

«Она такая маленькая, что действительно не имеет ощущения собственного пола, так что они очень открыты в общении», — сказала адвокат Радборд. «Она всегда знала своего отца как женщину. Это — все, что она знает» (Owens 2001).

В российских сексологических исследованиях была привычка (вдохновляемая романом философа Василия Розанова *«Люди лунного света»*, вышедшего в 1911 году) выделять транссексуальность в некий отдельный, «третий» пол. Эта традиция была продолжена в советский период психиатром Белкиным:

Как и все другие разновидности третьего пола, явление, о котором идет речь, известно человеческому роду на протяжении всей его истории. В художественной литературе, а еще раньше — в преданиях и легендах можно найти множество упоминаний о странных людях, отказывающихся признать над собой власть того пола, в котором они рождены. Далеко не все из них решались, по вполне понятным причинам, открыто обнаружить это свое греховное свойство. Транссексуалы, как правило, прятались, душу отводили за крепко запертыми дверями, но все же нередко попадались и с позором изгонялись из общества. Но самым решительным и отважным хватало душевных сил прожить жизнь в дерзко присвоенном себе образе. Женщины, которых все вокруг принимали за мужчин, мужчины, в которых никто не подозревал изящную женщину, оставили заметный след в исторических хрониках. Порою только после смерти, во время подготовки к обряду погребения, раскрывалась эта жгучая тайна. Но я не сомневаюсь, что немалому числу транссексуалов удалось унести эту свою тайну в могилу (Белкин 1976, 121—141).

Подобный редукционистский подход далеко не безобиден, так как создает негативный фон для практик отношения к TS и может привести к окончательной маргинализации нашего образа в глазах общества. Естественно, проще отмахнуться от проблемы, чем последовательно ее решать. Такие намерения могут содержать в себе латентную тенденцию к размыванию прав меньшинств на свою идентичность и разделению теории (а следом, может быть, и практики) сексуальности по гендерному признаку. Запад уже переболел этой болезнью. Достаточно вспомнить критичное отношение среди некоторых американских женских исследовательниц 70-х годов, таких, например, как Глория Стайнем, к стремлению транссексуалов конструировать женский гендер:

Феминистки имеют право чувствовать неудобство при необходимости использования термина «транссексуализм». Даже сейчас, когда мы защищаем право индивидуума на информированность при принятии решения быть идентичным тому, как она или он хотят выглядеть, мы должны ясно дать понять, что это не та цель, к которой мы стремимся. Лучше обратить энергию к изменению мира, чем внутрь, для искажения и трансформирования тел (цит. по: Tuttle 1986, 326).

Об этом писали в 60—70-е годы феминистские исследовательницы Дженис Раймонд (Raimond 1979) и Мэри Дейли (Daly 1977). Но сейчас никто не станет всерьез рассматривать притязания какой-то одной научной школы на абсолютную истинность в вопросах, касающихся целых сообществ реально самоорганизующихся людей. Наоборот, сотрудничество исследователей с TS-группами и их знакомство в подходе к исследованию проблемы с первыми (пусть не столь совершенными профессионально, но содержащими ценнейший материал) работами, на мой взгляд, совершенно необходимо для поиска компромиссов. Серьезное участие ученых, социологов, психологов, медиков, журналистов в непосредственной партнерской работе, как ассоциированных членов, например, в таких организациях, как GEMS (Лондон) или «519 str.» (Торонто), выпуск научно-популярных публикаций помогает находить точки соприкосновения между интересами академической науки, системы медицинской помощи, самой целевой группы и ответственностью.

К сожалению, в России такие контакты носят разовый и неформальный характер. Некоторые исследователи гендера, психиатры и хирурги (Санкт-Петербург), проявляют заинтересованность в создании общественного кризисного Центра для транссексуалов, в рамках которого кроме разносторонней помощи можно было бы осуществлять исследовательские проекты, в частности и по семьям транссексуалов. Дело требует инициативы по созданию такой организации от самих TS. Ваша покорная слуга разработала концепцию такого центра помощи и разместила на сайте gay.ru объявление о готовности взять на себя поиск необходимых средств. В настоящее время создается инициативная группа из транссексуалов Москвы и Санкт-Петербурга, которая прорабатывает вопрос о регистрации организации.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ:
МОДЕЛИ ДЛЯ СБОРКИ
Сборник статей. Кн. 1

Редактор *О. Проскурин*
Художник *Д. Черногаев*
Корректор *Е. Мохова*
Компьютерная верстка *В. Дзядко*

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонементный ящик 55,
тел.: (095) 976-4788
факс: (095) 977-0828
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.97
Формат 60×90¹/₁₆ Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 45.
Зак. №
Отпечатано с оригинал-макета
в ОАО типографии «Новости»
Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46